Тансулпан Гарипова

БУРЕНУШКА

Тансулпан Гарипова

БУРЕНУШКА

Роман-эпопея

Авторизованный перевод с башкирского
Марселя Гафурова

Издательство
"КИТАП"
имени
Зайнаб
Биишевой

УФА · 2009

УДК 821.161.1-3
ББК 84-4 (2 Рос)
Г 20

Гарипова Т. Х.
Г 20 Буренушка: роман-эпопея. — Уфа: Китап, 2009. — 696 с.

ISBN 978-5-295-04627-8

Большие реки текут размеренно и спокойно. Такое же наблюдается и в литературе. Но после прочтения романа-эпопеи «Буренушка» Тансулпан Гариповой мнение меняется: произведение это широкомасштабное, глубокое, как большая река, в то же время оно напоминает стремительный и бурный горный поток.

В мире есть три вечные темы, интересующие любого человека, — это жизнь, любовь и смерть. В этом романе они переплетаются настолько увлекательно, что остается лишь восхищаться мастерством автора. Эти темы сходятся в одной точке, и появляется судьба.

В 2006 году за роман «Буренушка» Тансулпан Гариповой была присуждена Государственная премия Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева.

ТП — 145/09

ISBN 978-5-295-04627-8

УДК 821.161.1-3
ББК 84-4 (2 Рос)

© Гарипова Т. Х., 2009
© Гафуров М. А., 2009
© Мухтаруллин А. Р., 2009

Часть первая

СПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ

Глава первая

Встану утром, глядь, — Буренушка
У ворот моих стоит.
Исстрадался я по девушке,
Что Буренушку доит…

— Удивляешь ты меня, Мадина. — Гульбану взглянула на дочь сквозь слезы, вызванные то ли дымом из очага, то ли грустной мелодией. — О чем только не поешь! У кого переняла эту песню?

— Не знай... — Дочь, угловатая девчонка в коротеньком платье, вскочила с места и, взмахивая руками и такими же худенькими, как руки, ногами, принялась выполнять физкультурные упражнения. — Раз, два, три!..

— Тише, братишек разбудишь! Ну, чисто мальчишка!

И впрямь, если бы не проскакивали в черных, как спелая черемуха, глазах Мадины присущие лишь девчонкам озорные искорки, по повадкам вполне сошла бы она за мальчишку.

Гульбану, сидевшая на корточках перед зевом печи, раздула наконец огонь в очаге под казаном, снова глянула на дочь: тоненькая, как лозинка, в чем только душа держится, а голос... Даже не верится, что такой чистый, мелодичный звук исходит из груди обыкновенной девчонки.

Гульбану, вздохнув, потянулась к висевшей на гвозде телогрейке.

– Схожу, детка, на ферму. Когда нагорят угли, вскипяти самовар и заглуши. Я ненадолго. Загляни в сарай, у коровы воды отошли, вот-вот должна отелиться. – И уже из сеней донеслось: – С братишек глаз не спускай, как бы к самовару не подобрались, не ошпарились...

Мадина и без наказа матери готова была сбегать в сарай: сегодня родится теленочек! Если телочка, то Мадина назовет ее Буренушкой. Неспроста ведь запела давешнюю песню...

* * *

Накинув на плечи зипун, в маминых глубоких калошах, Мадина выскочила во двор и у дверей сарая оробела. Услышав доносившееся изнутри тяжелое дыхание, совсем растерялась.

– Бильдяш! – Корова, обычно отзывавшаяся на свою кличку коротким мычанием, на этот раз не отозвалась. – Бильдяш, слышишь? – Непослушными от волнения пальцами девочка развязала веревочки, заменявшие дверной запор, вошла в сарай, направилась к перегородке, за которой лежала корова. – Бильдяшенка, скотинушка...

Бильдяш не отзывалась. Мадине, конечно, доводилось видеть, как телятся коровы, но это было на колхозной ферме, там возле роженицы хлопотали либо мать, либо другие женщины. Выбегая из избы, и думать не думала, что сейчас так испугается. Она отыскала в плетневой перегородке, заляпанной коровяком, дыру, припала к ней глазом и увидела полные страдания глаза коровы. «Боже, если ты есть, помоги ей», – мысленно взмолилась Мадина. С сильно бьющимся сердцем прошла она за перегородку, присела возле маявшейся коровы на корточки.

– Аллах!.. Тенгри!.. – Знай молитвы, способные помочь роженице, Мадина тысячу раз повторила бы их, обращаясь хоть к мусульманскому, хоть к языческому богу. – Мама, мамочка!..

Побежать, что ли, за матерью на ферму? Но как же она оставит Бильдяш одну в таком состоянии?

Не замечая, что зипун слетел с плеч, Мадина, оставшаяся на холоде в одном платье, припомнила, как дейст-

вовала в таких случаях мать, решительно выпрямилась, положила руку на круп коровы.

– Бильдяш, душа моя, давай, старайся!

Истощенная из-за скудости корма, Бильдяш телилась тяжело. Но вот показались передние ноги теленка, и Мадина осторожно взялась за них, потянула, чтобы помочь корове, а когда теленок вдруг весь выскользнул из материнской утробы, девочка, испачканная сукровицей и обессиленная волнением, опрокинулась на спину. Корова тут же попыталась встать, но сил у нее на это не хватило, она лишь повернула голову назад, стараясь увидеть теленка, замычала.

– Сейчас... Потерпи чуть-чуть... – Мадина, напрягшись, перетащила мокрого теленка к голове коровы. – Это твоя мама, миленький, твоя мама...

Пока Бильдяш жадно облизывала теленка, Мадина побежала с охапкой сена в избу, постелила его возле печи, поближе к теплу.

– Апай*... – подал голос один из проснувшихся братишек-близняшек, собираясь, видимо, закапризничать.

– Замолкни! – сурово приказала ему Мадина и снова пулей – в сарай. Там уложила теленка на свой зипун и, не обращая внимания на жалобное мычание коровы, попытавшейся последовать за детенышем, волоком потащила его к избе...

* * *

Вечером Мадина, взяв учебники, села готовить уроки при свете очага. Мать перед печью, поставив таз на чурбак, стирала в щелоке свою изгвазданную на ферме одежду. Огонь, пылавший в очаге, освещал ее продолговатое лицо, отражался в глазах, обрамленных густыми ресницами. Красивая у Мадины мать, красивая и совсем еще молодая.

– Мам, сколько тебе сейчас лет?

У Гульбану уголки губ дрогнули в усмешке.

– А зачем тебе, дочка, понадобились мои годы?

– Просто так... – Мадина, опасаясь разбудить заснув-

---

*А п а й – обращение к старшей по возрасту сестре или любой женщине.

шего в тепле теленка, перешла на шепот: – Когда родилась я, тебе было всего шестнадцать, да, мам?

– Да, всего-навсего, детка.

– Ой! – Мадина, неожиданно вздрогнув, зажмурила глаза. – Я, мам, никогда замуж не выйду!

– Хм... Интересно...

– Мам, а отец... Если он вернется... – Девчонка запнулась, замолчала, словно собственные мысли устыдили ее.

– Что... отец?

– Я хотела сказать, тебе, может, станет легче, если он вернется.

– Почему только мне? Скажи, всем нам...

– А теленочек у нас очень красивый, да, мам? – Мадина решила сменить тему разговора. Она хотела спросить у матери: «Зачем ты вышла замуж за Уруса Хашима?», но передумала.

* * *

Мадину отец не обижал, только вот пьянствовал. Тогда, еще до войны, были в ауле мужчины, изредка выпивавшие, но таких, чтобы пили постоянно, как Хашим, не было. А он – поедет ли на базар, на мельницу муки намолоть или еще куда-нибудь – трезвым не возвращался. Поэтому-то ему, одному из двух живших в ауле Хашимов, односельчане дали прозвище Урус, имея в виду пьянство в русских деревнях. Прозвище другого Хашима тоже было не из приятных: Пердун. Но Мадине прозвище отца казалось более оскорбительным и отчуждало ее от него. Если твоего отца не уважают, даже презирают, то разве это не бросает тень и на тебя? Сначала Мадине было просто стыдно, что у нее такой отец, со временем для защиты от своей униженности, что ли, она ожесточилась; приветливая по натуре, улыбчивая девочка превратилась в дерзкого подростка. Впрочем, не она одна переменилась. Война всех изменила, многих придавила, пригнула. Иные гордецы, прежде не считавшие нужными поздороваться утром с соседями, теперь улыбаются им ради того, чтобы напроситься на чашку чая.

* * *

Нужда, недоедание стали привычными почти для всех, Гульбану с детьми в еде тоже не роскошествовали. Но вот, слава Аллаху, Бильдяш отелилась. Если прежде Мадина изредка все же ходила к соседям попросить чашку молока или чуточку муки, то теперь уж ни за что не пойдет. А очень надо, так пусть мать посылает близняшек Янтимера и Биктимера. У них, обжор, только и заботы, что поесть. Несмотря на это, мать вечерами ласкает их: то одного любовно похлопывает по спине, то другого, нашептывает им глупые слова, от которых уши вянут. А Мадина лишь детенышей животных любит. Если бы не теленочек, спящий на полу, для нее никакой радости в избе не было бы. Когда вырастет, у нее будет полон двор всякой живности, а родись она в прежние времена – бродили бы по сырту Каратау табуны ее лошадей. Да-да, такой богатой была бы она! И ездила бы верхом на вороном коне, на каком ездит Ихсанбай-сельсовет, и в руке у нее была бы плетка...

При мысли о вороном коне тут же в памяти Мадины возник Ихсанбай. Есть на свете люди, о которых она не может думать без злости. Один из них – отец, Урус Хашим. Ладно, этот ушел на войну и, может быть, не вернется. Второй – Ихсанбай. На войну его не взяли будто бы из-за легочной хвори. Так-то он на больного не похож. Лечился, говорят, барсучьим жиром, оттого и сам стал жирный, как барсук.

Почему Мадина так его не любит, она и сама себе объяснить не может. То ли из-за того, что Ихсанбай, взглянув, словно прожигает ее взглядом заплывших жиром глаз, то ли из-за того, что ходит выставив живот, как беременная женщина... И жена его с несоразмерно маленьким ртом на скуластом лице, тонюсенькими губами и приплюснутым носом вызывает у Мадины неприязнь. Ее безгубому лицу, на которое налеплен недоделанный нос, не идет смех, а она, Сабиля, этого не понимает и беспрерывно смеется, отчего лицо искажается и словно бы умоляет: «Оставь, хватит меня мучить!» К слову, увидев Мадину, Сабиля тоже не пройдет мимо не кольнув ее взглядом.

Как-то Мадина, улучив момент, спросила у матери:

– Мам, этот Ихсанбай, кто он?

Мать немного растерялась, но тут же нашлась:

– Ты что, не знаешь, кто такой Ихсанбай? Председатель сельсовета.

– Ну, это я знаю.

– Раз знаешь...

– Почему он меня ненавидит?

– Кто это тебе сказал?

– Никто не сказал, сама чувствую.

Вечно занятая и вечно спешившая мать резко оборвала дочь:

– Не морочь себе голову всякими глупостями, скоро мальчики проснутся, приготовь им завтрак.

– Из-за них я все время в школу опаздываю.

– Мадина! – прикрикнула мать и ушла, хлопнув дверью.

Осталась Мадина стоять посреди избы со своими терзающими сердце вопросами. Нет, ничего она от матери не может добиться, ни на один важный вопрос не получает ответа. Мать у нее со странностями, все что-то таит в себе, и не надейся выпытать что. Даже о том, что у нее появятся братишки, Мадина узнала, можно сказать, в самые последние минуты перед родами. Мать тогда, вцепившись в край нар, простонала:

– Дочка, беги к тетушке Фаузие, приведи ее...

Испуганная Мадина побежала тогда к дому, порог которого ни разу не переступала, постучала в окно...

И еще одну странность не может она понять: когда приходит письмо от отца, мать меняется в лице и, не вскрывая, испуганно сует его в карман. А если и вскроет, то торопливо пробежит взглядом по листку, будто что-то там выискивая. Мадина смотрит на нее выжидающе, но для матери в такой момент дочери словно бы и не существует, словно бы нет ее совсем.

Однажды Мадина не выдержала. Когда матери не было дома, достала из кармана ее ватника треугольное письмо и, подойдя к окну, развернула его.

В начале письма перечислялись соседи, которым отец слал приветы – «огромные-преогромные». (На лице Мадины обозначилась усмешка: как же, заждались соседи приветов от Уруса Хашима!) Далее отец спрашивал, достаточно ли Гульбану заготовила на зиму сена и дров, не холодно ли в избе. (Будто, пока был здесь, прямо-таки

надрывался, заготавливая сено и дрова!) Мадина в досаде хотела было свернуть письмо и сунуть обратно в карман ватника, но тут бросилось в глаза слово «мальчишек». Стоп, вроде бы речь идет об этих сопляках. «Береги мальчишек, — писал отец, — если я не вернусь, они продолжат род, повзрослев, станут тебе опорой. Мадина ведь девчонка, выйдет замуж и станет... чужой, не нашей. Эх, Гульбану, оказывается, не знал я до войны цену жизни!..»

Дальше Мадина не стала читать. Каким был отец до войны, она и так знает...

* * *

Ворвавшийся в избу холодный воздух превратился в белое облако, в этом облаке обозначились три мужские фигуры, возникшие, как в сказке, словно из-под земли. Так показалось Мадине. Когда пар рассеялся, она узнала в одном из вошедших Ихсанбая, во втором — председателя колхоза Ишмамата. Вообще-то он Ишмухамет, но все его зовут Ишмаматом. Третий, в белых бурках, в каких ходят приезжающие из райцентра начальники, с кожаной папкой под мышкой, Мадине не был знаком.

— Значит, тут живут Насибуллины? — спросил незнакомец и, обращаясь к Мадине, справился: — А ты, карындаш*, кем им приходишься?

Вопрос показался Мадине смешным.

— Я их дочь, — ответила она и, подумав, добавила: — Может, не родная.

— Как, тоись, не родная? Впрочем, это не имеет значения...

Ишмамат пришел на помощь незнакомцу:

— Мы, Мадина, это... по важному государственному делу. Нам это... срочно нужна твоя мать.

— Она на работе. Сейчас время дойки.

— Нам ее мать, тоись Насибуллина, нужна постольку-поскольку, — опять заговорил незнакомец. — Личность нынешней хозяйки двора, тоись Насибуллиной, тут ни при чем. Да! Так что, товарищи, вопрос надо рассматривать по существу.

---

*К а р ы н д а ш — родственник, родственница; применяется и при обращении к любому человеку.

– Так, так! – подтвердил Ихсанбай, кольнув Мадину взглядом. – Основной, так сказать, ответчик отсутствует... Ушел, значит, на фронт, а налоги остались неуплаченными.

В это время близняшки, проснувшись, оба враз, как по команде, сели на своей подстилке, и уполномоченный, увидев их, умолк. Ихсанбай тоже не мог не обратить на них внимания, лицо его вдруг стало серым, но он тут же взял себя в руки.

– Да, – сказал он, – твой отец не уплатил налоги... Какая там, Ишмухамет-агай, сумма?

– Сейчас скажу точно... – Ишмамат потоптался на месте, шарясь в карманах, вытащил бумажку и доложил: – Как раз достаточная для конфискации коровы!

Мадина обмерла. Еще не совсем дошел до ее сознания смысл услышанного, но она уже поняла: им – ей, близняшкам, беспечно спящему на полу теленочку – грозит беда. Корова... У них отнимут корову? Кто-то из стоявших перед ней мужчин обронил слова «долг», «государство»... А перед мысленным взором Мадины предстал отец с опухшим от пьянства лицом. Даже уйдя на войну, он все еще обездоливает семью! У стоявшей возле трехдневного теленка Мадины сжались кулачки, из груди рвалось проклятье: пропади ты пропадом, Урус Хашим!..

– Там с фермы подъехал скотник, идемте, – сказал Ихсанбай и все трое вышли из избы.

Из оцепенения Мадину вывел донесшийся снаружи крик матери:

– Вы что, звери бессердечные, делаете? Лучше жизни меня лишите, зачем она мне, если детей не смогу прокормить?!.

Гульбану влетела в избу, схватила испуганных ее криком близнецов в охапку, метнулась обратно во двор, кинула мальчишек к ногам сельсоветчика:

– Заберите и их! Хоть не увижу, как они с голоду помрут... И теленка тоже...

Гульбану опять бросилась в избу, вынесла теленка, кинула туда же, к своим мальчишкам. Между тем сбежались на крик соседи: кто-то схватил обезумевшую Гульбану, кто-то поднял на руки орущих со страху близнецов, кто-то высказывал сочувствие, кто-то бранился. А подручный начальников – скотник колхозной фермы – вывел корову из сарая, потянул, накинув на рога вере-

вочную петлю, чтобы привязать ее к стоящим на улице саням. Бильдяш артачилась, упиралась в землю всеми четырьмя копытами и душераздирающе ревела, не желая уходить от жалобно мычавшего теленка.

Мадина смотрела на суматоху вокруг Бильдяш в состоянии, близком к столбняку. Все, нет у них коровы. Радость покинула их двор. Больше не ударит поутру звонкая струя в дно подойника, не будет сытая Бильдяш, вернувшись летом из стада, благодушно вздыхать в вечерней тишине, не будет теленочек в нетерпении хватать мягкими губами ее соски – ничего такого уже не будет...

– Стойте! – пронзительный крик заставил всех обернуться. – Стойте!.. – Мадина (откуда только силы взялись?) выбежала с теленком на руках за ворота, положила его в сани и сама на них вскочила. – Он же погибнет без матери! Раз забрали корову, возьмите и его, а с ним и я поеду!

– Доченька!

Не оглянулась Мадина на голос матери. Она никому не покажет слез, брызнувших из глаз помимо ее воли...

* * *

После того, как конфисковали Бильдяш (увели на колхозную ферму), в избе Насибуллиных воцарилась унылая тишина, какая устанавливается после выноса покойника, лишь сверчки наперебой свиристели за печью. Близнецов забрала к себе соседка Магинур, женщина участливая, будто для того и рожденная, чтобы разделять чужое горе. Может быть, потому-то судьба и благосклонна к ней: страна голодает, кругом нехватки, а у нее – две коровы, живет, можно сказать, в достатке. Одно плохо: не очень-то она разговорчива. А Гульбану сегодня нужна собеседница, которой она могла бы излить свои горести-печали, накопившиеся за последние годы, облегчить душу, уже начавшую словно бы обугливаться. Обложила ее со всех сторон безысходность, судьба жесткой рукой взяла за горло, и пожаловаться некому. Мать умерла рано, отца она не помнит, родни в ауле, поскольку мать приехала сюда со стороны, у нее нет. К кому ей обратиться за помощью? Опять к Ихсанбаю? Может, сегодняшний его поступок объясняется тем, что приехал из района упол-

номоченный и не мог председатель сельсовета возразить ему? Тоже ведь на государственной службе. Впрочем, разве это его оправдывает? Мало, что ли, она из-за него натерпелась? Конечно, когда собрались отправить ее дочку в ФЗО*, Ихсанбай помог, вычеркнул Мадину из списка, но какова плата! Всю жизнь теперь нести Гульбану тяжкий груз в душе, избавления от него нет и не будет.

Возможно, все сложилось бы иначе, если б однажды к Гульбану не постучались две девчонки. Тот вечер, та ночь... Постучали в окно. Гульбану увидела в слабом свете, падавшем из окна, две тщедушные фигурки.

— Апай, не пустите ли нас переночевать?

— Кто вы?

— Мы, апай, издалека идем, из Магнитки...

Гульбану догадалась: беглянки. Что делать? Если пустит, ей самой может за это нагореть — время военное, суровое. А не пустить...

— Входите.

Войдя в избу, девчонки нерешительно переминались у порога, оставляя на выскобленном до восковой желтизны полу грязные, с примесью крови следы.

— Деточки... — Гульбану удивленно глянула на их ноги: ботинки у одной были без подошв, у другой — «каши просят».

Сбежавших из ФЗО девчонок Гульбану прятала у себя двое суток. Проводила их, обув в старые калоши. А спустя месяц свалилась беда на ее собственную голову: в самом начале сельсоветского списка подростков, которых по разнарядке сверху собирались отправить в ФЗО, значилась ее Мадина. Гульбану пробовала и скандалить, и плакать, доказывая, что Мадина еще маленькая и не достигла должного возраста, — ее и слушать не хотели. В конце концов Гульбану решила подкараулить Ихсанбая, когда он поведет лошадь на водопой, и поговорить с ним с глазу на глаз.

Ихсанбай частенько держал закрепленную за сельсоветом колхозную лошадь в своем дворе, поил ее из речки чуть выше того места, куда женщины ходили за водой

---

* ФЗО — школа фабрично-заводского обучения.

для своих домашних нужд. И вот Гульбану предстала перед ним с ведрами на коромысле.

– Никак, ты соседка, дорожки перепутала? – спросил Ихсанбай, прикинувшись удивленным.

– Может быть... Из-за войны много чего в жизни перепуталось.

– Если это обернется на пользу тебе и мне, неплохо, что идет война.

– Типун тебе на язык, Ихсанбай!

– А-ля-ля! Даже пошутить нельзя!

– Ты же знаешь, мне не до шуток.

– Я помогу тебе, Гульбану, только...

На лице Гульбану проступила растерянность и одновременно надежда.

– Вправду поможешь? Не шутишь?

– Вправду, только... цену сама знаешь.

Гульбану, конечно, поняла смысл этих сказанных вполголоса слов, и лицо ее залилось краской, даже уши покраснели. Но это лишь добавило прелести ее лицу, вдобавок подсвеченному лучами предзакатного солнца. Ихсанбай смотрел на нее с вожделением: хороша Гульбану, ах, как хороша! Еще в ту пору, когда Гульбану была тоненькой девчонкой, ее стройное тело стало предметом его сладострастных мечтаний, а теперь, обретя женскую красоту, она притягивает еще сильней. Эх, почему его Сабиле не досталась хотя бы половина этой красоты?..

Ихсанбай сразу догадался, зачем Гульбану пришла сюда. Список ведь сам составлял. Знал он, что Мадина малолетка, не наступил еще срок отправлять ее в ФЗО, и предполагал, что Гульбану обратится к нему с мольбой. Все идет как он задумал. Неплохо было бы отправить чернявую дочку проклятого Хашима куда-нибудь, откуда она не вернется, но тогда придется ему, Ихсанбаю, распрощаться с мечтами о Гульбану. А сейчас вот представляется возможность осуществить их, и какой же мужчина откажется проглотить сладкий кусочек, угодивший ему в рот?

Гульбану в смятении схватилась за ведра, зачерпнула воды из речки. Ихсанбай, глядя с полуулыбкой на ее оголенные до локтей руки, на гладкую шею, на обтянутые платьем тугие бугры грудей, прошептал:

– Буду ждать тебя здесь... Когда стемнеет...

* * *

Вечернюю дойку Гульбану провела рассеянно, обуреваемая противоречивыми мыслями. Точно угольки догорающего костра, раздуваемые порывами ветра, вспыхивали в ее памяти разные события, связанные с Ихсанбаем. Товарки удивлялись: попросит у нее кто-нибудь вилы — она протягивает лопату, попросит лопату — подает ведро. А в голове — одни воспоминания.

Воспоминания, воспоминания... Они вернули Гульбану в бесконечно далекое теперь детство. Вот Ихсанбай, просунув голову меж жердями забора, зовет ее, только что проснувшуюся, поиграть вместе. В руке у него две конфетки.

— Кто тебе дал?

— Мама.

— И для меня дала?

— И для тебя.

— Вкусно...

— Ага... У нас еще есть!

— Еще принесешь?

— Ага. А ты будешь моей невестой?

— Буду.

...Вот они купаются в Акъелге. Выбравшись на берег, Ихсанбай начинает метать на водную гладь плоские камешки. Эта забава называется «печь блины». Но Ихсанбая, оказывается, интересуют вовсе не «блины».

— Одна невеста, две... — считает он и кричит, радостно подпрыгивая: — У меня будут две невесты, две!

Гульбану торопливо натягивает платьице.

— Ты куда?

— Домой.

— Зачем?

— Играй с другой своей невестой!

Или вот воспоминания о школе. Гульбану с Ихсанбаем сидят за одной партой. В мешочках, с которыми ходят в школу, кроме учебников, тетрадей, чернильницы-непроливайки, они приносят еще кое-что. Ихсанбай чаще всего хлеб, причем обязательно два ломтика. У Гульбану в мешочке тоже всегда что-нибудь да найдется: сухой корот*,

---

*Корот — кислая творожная масса. Вываривается из заквашенного молока — катыка.

сушеные ягоды... Жили они победней других, но запасливая, расторопная мать старалась, чтобы дочка не смотрела голодными глазами, как едят на перемене ее одноклассники. На первом же уроке начиналось перешептывание и обмен под партой: Гульбану передавала Ихсанбаю свой гостинец, он ей – свой. Думали, учительница не замечает, а та все замечала, и в конце концов такое проявление дружеских чувств ей, видно, надоело – взяла и рассадила их. И надо же: это пустячное, на первый взгляд, происшествие повлияло на дальнейшую судьбу подростков. Ихсанбай, набычившись, закусив губу, сел за парту, где сидела Сабиля, а потерявшая дар речи Гульбану оказалась соседкой Хашима. Сабиля бросила на подружек победоносный взгляд, а у Хашима от радости рот растянулся до ушей, он даже захлопал в ладоши. Когда вышли на перемену, Ихсанбай внезапно, ничего не говоря, ткнул кулаком в сияющее лицо Хашима...

Когда Гульбану училась в пятом классе, ее мать заболела и слегла. Гульбану пошла на ферму вместо нее ухаживать за телятами, да так там и застряла, в школу больше не ходила. Впрягшись с детства в работу, спать ложилась поздно, поднималась чуть свет, возможности ходить в клуб, на посиделки у нее не было. Уже пятнадцатилетней единственный раз пошла на сабантуй, да и то...

Мать тогда достала со дна сундука платье, украшенное ленточками и оборками, елян с вышивкой по бортам, красные сапожки.

– Ты, дочка, уже большая, прогуляйся-ка в этом наряде.

– Атак*! – изумилась Гульбану. – У тебя есть такие вещи? Почему раньше не показывала?

– Так, мала еще ты была.

– Почему сама не надевала?

– Случай не выпадал... – Мать, не любившая рассказывать о себе, и на сей раз ограничилась этим коротким объяснением.

Невиданно красивая одежда привела Гульбану в восторг. Работа, что ли, на ней сказалась – она обогнала в росте своих сверстниц, так что девичий наряд матери оказался ей в самый раз. Ну, почти... Голенища сапожек были тесноваты, а платье и елян в талии излишне сво-

---

*Атак – возглас, выражающий удивление.

бодны. Талия у Гульбану тоненькая, девчонки смеются – как у осы, но все это ничего, терпимо. Только вот мать долго копошится: вытащила еще старинные накосники и принялась заново заплетать ей косы, лучше бы уж сама заплела.

– Скорей, мам!

– Не спеши, народ вон только-только зашевелился.

Но вот, наконец, перекинув отяжелевшие косы на грудь, в платье с оборками и шикарном еляне, в красных сапожках на высоких каблуках встала Гульбану перед зеркалом, глянула на себя и онемела. Какая она, оказывается, красавица!

А мать, Шахарбану, вдруг засомневалась, верно ли она поступила, так нарядив дочку. Сказала обеспокоенно:

– Доченька, может, я ошиблась, может, не нужно все это...

– Почему, мама?

– Что-то тревожно мне стало... Да ладно. Пусть оберегает тебя святой Хызыр Ильяс от дурных глаз!

К месту, выбранному для сабантуя, Гульбану пошла напрямик, выйдя со двора через заднюю калитку. Эх, до чего ж роскошное выдалось тогда лето! Сразу же за калиткой трава стояла по пояс, вся в цвету. Гульбану шагала по узенькой тропке улыбаясь, а монеты на ее накосниках позвякивали, позваниванили, будто пересмеивались меж собой. Зря, пожалуй, пошла она одна, без подружек, – никто ее не видит...

На праздник Гульбану все же запоздала, сабантуй был уже в разгаре. Первой из девчонок встретилась ей Сабиля. Сабиле сшили новое платье с оборками, но оно не шло ей, висело на костлявом теле как мешок на пугале. Гульбану захотелось поддеть ее, – а почему бы и нет, когда у самой такое хорошее настроение?

– Привет красивейшей из красавиц!

Сабиля изменилась в лице, но постаралась ответить сдержанно, сделав вид, будто издевка, прозвучавшая в словах Гульбану, ее не задела:

– Привет.

– Не знаешь, подружка, где борцы схватятся?

– Я как раз туда и направляюсь...

Не ждала Сабиля, не думала, что ее бывшая одноклассница может появиться в таком ослепительном наряде.

А Гульбану, раз уж увял гребешок этой уродки, решила добить ее:

– Интересно, Ихсанбай будет бороться?

Сабиля вдруг вскинула голову, и только тут Гульбану заметила, что веки у нее красные, припухшие от слез.

– Гульбану... – Сабиля запнулась, подыскивая нужные слова. – Я собиралась сказать тебе... Мы ведь... мы с Ихсанбаем...

У Гульбану словно не хватило сил дослушать ее. Стараясь унять сердце, гулко застучавшее в предчувствии чего-то очень неприятного, она деланно засмеялась.

– Что, мешаю я тебе? Больно нужен мне Ихсанбай! Он только для тебя не знай кто...

И голос, и смех Гульбану звучали как-то неестественно, люди стали оглядываться на нее, и она, все еще громко смеясь, махнула рукой и отошла от Сабили.

Народ перетекал с места на место по поляне, расцвеченной женскими нарядами. Мальчишки-наездники, проникнутые чувством собственного достоинства, важно восседали на конях в ожидании начала скачек. Гульбану и прежде замечала, что у представителей сильного пола, как только они сядут на коня, повадки резко меняются, а уж перед состязаниями тем более. Если бы она родилась мальчишкой, тоже, наверно, вот так же сидела бы на коне.

Оказывается, уже началось состязание борцов. Гульбану встала в круг зрителей. И Ихсанбай тут. Очень серьезен, видно, тоже собирается бороться. Он в последнее время немного важничает: окончив седьмой класс, съездил в город на какие-то курсы. Хотя внешне он выглядит спокойным, в синих глазах под нависшими курчавыми волосами горит огонек азарта. Ихсанбай, должно быть, почувствовав взгляд Гульбану, увидел ее. Увидел и остолбенел. Словно бы узнает и не узнает ее. Их взгляды встретились, и Гульбану не смутилась, не опустила глаза: она же пришла сюда с тем, чтобы влюбить в себя всех егетов аула!

Ихсанбаю выпало бороться с Хашимом. Они схватились последними, когда определились сильнейшие в их возрастной группе. Некоторое время топтались, обхватив друг друга полотенцами, и вдруг, не успела Гульбану, что называется, и глазом моргнуть, как Исханбай оказался на лопатках. Судья поднял вверх правую руку Хашима. Де-

вушки согласно обычаю кинулись вручать победителю приготовленные заранее подарки. Делать нечего, Гульбану тоже сунула ему свой подарок – вышитый кисет.

По окончании скачек начались пляски. Тут уж и Гульбану не устояла, вышла в круг. Правду сказать, она сама от себя не ожидала такого пыла и умения. Послышались восклицания:

– Гляди-ка, какая у Шахарбану дочь!

– Вот тебе и тихоня!

– Не девчонка – пиявка*!

В эти мгновения Гульбану казалось, что нет на свете места прекрасней аула Тиряклы и человека счастливей, чем она.

Когда молодежь встала в круг, чтобы сыграть в «Назу», кто-то сзади вложил в руку Гульбану записку. «Наза», собственно, тоже пляска. Парни и девушки сходятся, приплясывая, кружатся попарно, сцепившись согнутыми в локте руками, затем меняют партнеров и партнерш, распевая при этом песню о юной красавице, перебиваемую шуточным припевом:

Косилка, молотилка,
Сортировка, веялка!

Гульбану не хотелось выходить из игры в самый разгар веселья, но руку ей жгла записка. От кого? Лишь бы не от Хашима, зря вручила свой подарок ему... Любопытство все же взяло верх. Отойдя в сторонку, расправила скомканную в потной руке бумажку. «Гульбану, буду ждать тебя у речки возле осокорей». От Ихсанбая! Назначил свидание. Сколько ждала Гульбану этой минуты! Не в силах унять томление сердца, не раз плакала в лесу, обнимая белые стволы берез. Увидев ночью падающую звезду, всегда загадывала одно и то же желание: пусть в душе Ихсанбая вспыхнет огонь любви к ней. И вот наконец небеса услышали ее мольбу... Она поспешила к месту свидания, смеясь и плача. И вдруг:

– Гульбану, постой-ка, дочка!

Голос, словно бы умоляющий и в то же время властный, вернул ее из мира грез в действительность. Увидев

---

*В башкирской народной поэзии пиявка олицетворяет изящество, гибкость.

перед собой тетушку Фаузию, мать Ихсанбая, в неизменном черном платке, Гульбану отпрянула назад.

— Куда, дочка, держишь путь? — Тетушка Фаузия вперила в нее горящие глаза.

— Я это... — Гульбану растерялась и, не зная, что сказать в ответ, солгала: — Я это... домой... поздно уже...

— Да, уже поздно. Мать, наверно, тебя ждет, только аул ведь там... — Тетушка Фаузия движением подбородка указала в обратную сторону.

Гульбану поняла, что просто так от этой женщины с пронизывающим взглядом ей не отделаться. И вообще, что это она так испугалась? Разве тетушка Фаузия не была всегда добра к ней? Разве не она, отправляя Ихсанбая в школу, клала в его мешочек непременно два кусочка хлеба — один для нее, для Гульбану? И не она ли в голодное время, когда Гульбану с матерью оказалась на краю гибели, оставляла по ночам на их завалинке еду? Давно уж и Шахарбану, и Гульбану догадались, что не святой Хызыр Ильяс, а именно тетушка Фаузия спасала их. И, наконец, разве женщина, родившая Ихсанбая, не вправе знать правду?

— Я... мы... Меня ждет там Ихсанбай! — решительно выложила Гульбану.

— Ихсанбай... — Казалось, тетушка Фаузия с трудом раздвоила белую черточку губ на темном лице, а руки ее потянулись к Гульбану. Что это она? Обнять хочет или... задушить?

— Инэй*! — Гульбану почувствовала, что у нее на лбу, на спине выступил холодный пот.

— Ты... ты никогда не станешь женой Ихсанбая! Слышишь? Никогда!

— Зачем так говоришь, инэй? Что плохого я тебе сделала?

— Ты еще не поняла меня, девочка? Ни Ихсанбай, ни эта одежда не принесут тебе счастья. Сними ее, выброс, сожги!

Гульбану испуганно попятилась: мелькнула мысль, что тетушка Фаузия сошла с ума, затем в смятении сорвалась с места, побежала в сторону аула.

---

*Инэй — вежливое обращение к пожилым женщинам.

* * *

В это время Ихсанбай, прислонившись к корявому стволу раскидистого осокоря, ждал Гульбану. Сегодняшнее поражение его особо не расстроило, ведь перед этим он легко кинул на лопатки шестерых. Досадно было только оттого, что верх над ним взял Хашим. Жаль, не свернул ему шею еще тогда, когда подрались в школьном дворе. После этого Хашим пропадал где-то в городе, да вот опять объявился на сабантуе. Он не участвовал в отборочной борьбе, вышел в круг со свежими силами, чтобы схватиться с ним, Ихсанбаем, уже одолевшим шестерых, да и то Ихсанбай, наверно, не поддался бы ему, если бы не увидел перед этим Гульбану, ослепительно красивую в ее необыкновенном наряде. Из-за мыслей о ней он не смог сосредоточиться на схватке. Вот и сейчас он думал о Гульбану несколько растерянно, не зная как встретить ее, что сказать. Что он услышит в ответ, если скажет: «Я люблю тебя, стань моей подругой на всю жизнь»? И как отнесется отец к его намерению жениться? Подвыпив, отец бьет себя в грудь: «Я – потомок великих ханов!» Он может сказать: «Нам не нужна дочь нищенки!» Разве только мать сумеет переубедить его. Мать, приветствующая других соседей лишь сухим кивком, почему-то относится к Гульбану и ее больной матери как к очень близким ей людям. Да, вся надежда на мать. Если не поторопиться, того и гляди, перехватит Гульбану кто-нибудь другой. На сегодняшнем сабантуе не только у тиряклинцев, но и у парней из соседнего аула Сабаклы глаза загорелись. И Хашим все на нее поглядывал. Ихсанбай, зажмурившись, стиснул зубы: вдобавок Гульбану этой обезьяне подарила кисет.

– Ихсанбай!

– Гульбану!

Однако радость Ихсанбая оказалась напрасной: открыв глаза, он увидел перед собой Сабилю.

– Ты-ы?

– Да, я... – Сабиля сунулась к нему, намереваясь обнять. – Не отталкивай меня, не обрекай на одиночество! Она... она к тебе не придет...

– Что ты болтаешь? – Ихсанбай и сам не заметил, как скомкал в кулаке платье на ее груди. – Когда ты наконец перестанешь следить за мной?!

– Хочешь – рабыней твоей буду, хочешь – стелькой в твоем сапоге, только не отвергай меня, Ихсанбай! – С платья, натянутого рукой Ихсанбая, посыпались пуговки, грудь Сабили обнажилась, но она, не обращая на это внимания, припала к парню, коснулась жаркими губами его шеи, впилась в губы.

– Что ты делаешь! – почти простонал Ихсанбай, теряя волю. – Я же не люблю тебя!

– Не люби... Моей любви хватит на нас обоих! – Пальцы Сабили, такие же горячие и жадные, как ее губы, скользили, теребя его рубашку, все ниже, ниже. – Не бросай меня, пожалей... У нас ведь... будет ребенок...

* * *

После того как Гульбану убежала, тетушка Фаузия обессиленно опустилась на землю и просидела сколько-то времени, предавшись горестным мыслям. Бедное дитя! Пришлось оборвать надежды милой девочки, разбить их вдребезги... Но нельзя было поступить иначе.

Не вредным характером или корыстью было вызвано это вмешательство в сердечные дела Гульбану и Ихсанбая, а необходимостью предотвратить то, что запрещено и Богом, и людьми – чтобы спасти их от кровосмешения. О судьба! Еще и с этой стороны нежданно ударила она Фаузию-Барсынбику. Чье проклятье пало на ее семью, за что преследует ее злой рок? Да, не Фаузией была она наречена, когда родилась, а Барсынбикой. И подлинное имя ее мужа не Сибагат, а Дингезхан. Не последними людьми были они в этом мире, но судьба, или злой рок, или злые силы – назовите это как хотите – отлучили их от степных просторов, где бродили стада принадлежавшего им скота, и от кадок, в которых набирал силу живительный кумыс... «Ах, Ихсанбай, сыночек, не лишись мы всего этого, был бы ты сейчас самым завидным женихом, смог бы высватать любую из самых красивых девушек, – думала Фаузия... – И ты, кровиночка моя, Гульбану... Не Гульбану ты – родив, дала я тебе другое имя – Кукхылу, потому что родилась ты синеокой. Солнышком моим в белой юрте должна была ты стать, но жизнь обернулась так, что вы, два моих птенчика, радость и боль моя, выросли порознь и влюбились друг в друга, и я должна раз-

лучить вас, чтоб родная дочь не стала мне невесткой. Я много об этом думала, изболелась душой, истерзалась. Как мне слабой силой человеческой распутать узел судьбы, определенной волей Всевышнего?! Господи, в растерянности ропщу на тебя, но ведь сама, лишь сама виновата во всем! Как земля меня терпит, почему солнце не иссушит меня, не убьет?!» Тетушка Фаузия горячей ладонью погладила траву в том месте, где недавно стояла Гульбану. Как идут ей доставшиеся от матери красные сапожки! И платье... и елян... и накосники...

Кто-то, – в сумеречном свете тетушка Фаузия не разглядела, – пробежал в сторону осокорей, возле которых Ихсанбай ждал Гульбану. Неужто упрямая девчонка не вняла ее словам? Придется сходить туда: раз уж затеяла спор с судьбой, надо противиться ей, бороться, покуда хватит сил.

...Ихсанбай, увидев приближающуюся мать, отпрянул от Сабили. Сабиля, ещё не успев понять, что случилось, лежала с задранным подолом. Фаузия замедлила шаги, дала им время привести себя в порядок.

Но вот прозвучал ее суровый голос:

– Коль уж, ты, сынок, решил подобрать себе пару на затоптанном выгоне, послушай, что я скажу: ты женишься на Сабиле и будешь жить так, чтобы она могла ходить с гордо поднятой головой и говорить: «Я – жена Ихсанбая!» Одно и то же я не повторяю дважды.

Готовому провалиться сквозь землю Ихсанбаю не оставалось ничего другого, кроме как молча принять сказанное матерью.

* * *

Шахарбану ждала возвращения дочери в смутном беспокойстве, готова была, что называется, своим дыханием ее притянуть. Сходив на ферму и напоив телят, за которыми ухаживала Гульбану, она вышла через заднюю калитку на задворки и в нетерпении смотрела в ту сторону, откуда должна была прийти дочь. Пошла бы и сама туда же, да ноги болят. Или уж, сжав зубы, пойти поискать? Ай, не случилась бы с деткой какая-нибудь беда! Зачем только дала ей одежду, к которой сама боялась

притронуться? Шайтан, видно, руку ее направлял, Иблис* дурную мысль внушил. Дескать, дерево красно листвой, человек – одеждой. Давно уж эти вещи надо было выкинуть в речку во время половодья...

Боже, вон она, голубка, идет! Будто плывет по зеленому морю. Не выдержала Шахарбану, заковыляла навстречу. Но что это? Почему на лицо, сиявшее утром как майское солнышко, наплыла туча?

– Мама! – Шахарбану почувствовала, что припавшая к ее груди дочь трепещет, словно угодившая в сеть птичка. Деточка... Не носила ее Шахарбану под сердцем, не рожала в муках, но любит эту девочку всем своим существом, любит искренне – Бог и солнце тому свидетели.

– Что случилось, дочка? Кто тебя обидел?

– Мама!.. – Гульбану не могла выговорить более ни слова, ее душили рыдания, слезы стекали с ее щек на грудь Шахарбану, горячие, жгучие.

– Расскажи, детка... Тебе станет легче. – Шахарбану уже и сама плакала.

– Мама, мне... тетушка Фаузия велела... сжечь эту одежду. И сказала, что я... что Ихсанбай... никогда... – Гульбану, заголосив, обессиленно опустилась к ногам матери.

– Фаузия?! Сжечь?! Вон оно что...

Шахарбану побелела, затем, словно бы придя к какому-то категорическому решению, стала теребить дочь.

– Вставай, детка. Не реви так, люди услышат. Скажут: Гульбану пришла с сабантуя опозоренной.

Ночью они обе не сомкнули глаз, но лампу не зажигали. На противоположной стороне улицы, в доме, расположенном наискосок от них, горел свет, там тоже не спали: Фаузия с мужем вели разговор о предстоящей свадьбе Ихсанбая.

Утром Шахарбану пошла в правление и вернулась на подводе. Войдя торопливо в избу, подошла к дочери, еще не поднявшейся с постели.

– Вставай, дочка. Мы уезжаем...

– Куда?

– На Русский хутор.

– Зачем?

---

*Иблис – дьявол.

– Не могут найти людей для работы в свинарнике. Я согласилась.

– В свинарнике?!

– Свиньи тоже божьи твари, дочка.

Не прошло и часа, как Шахарбану крест-накрест заколотив окна избы досками, погрузила нехитрые пожитки на телегу и хлестнула лошадь кнутом:

– Н-но, поехали!

* * *

От хутора, именуемого Русским, веяло тоскливым одиночеством и вонью, исходящей от раскиданных вокруг куч навоза и мусора. До революции здешняя земля принадлежала помещику, давала завидные урожаи, но со временем пришла в запустение, и хутор стал в глазах тиряклинцев местом ссылки для никчемных людей, своего рода Сибирью, где могли приткнуться и такие бедолаги, как Шахарбану с дочкой.

Вон среди куч мусора бродит даже более грязный, чем эти кучи, дурачок Шангарей. Имя, которое дал ему мулла, зарегистрировано и в сельсовете, но Шангарея чаще называют Шариком. К этому большеголовому, коротконогому созданию с умом ребенка невесть кем придуманное прозвище прилипло крепче, чем имя. Шарик – сын Ишмухамета-Ишмамата от первой его жены. Пока была жива мать, Шарик жил в ауле, бегал по улице, стравливая собак, шастал по дворам старушни, воровал из курятников яйца, забирался в погреба, чтобы полакомиться сметаной. Когда мать Шангарея умерла, угорев в бане, Ишмамат женился на свояченице, и молодая жена быстро избавилась от племянника-пасынка. Ишмамат привез сына на хутор, приставил помощником к работавшему свинарем пареньку – сироте Абдельахату.

* * *

– Айда, устраивайтесь, апай, – сказал Абдельахат, застенчиво улыбаясь. – Жизнь у нас тут не очень веселая...

– Зимой, наверно, холодно, – заметила Шахарбану, оглядывая затянутые паутиной углы и замшелые от сырости стены просторной избы.

– Так-то если топить, согреть можно. Но печь дымит и дров надо много. Летом запасти – рук не хватает. Приставили в помощники Шангарея, да он один десятка свиней стоит...

– Стены бы побелить. Дочке моей веселей бы стало. – Шахарбану глянула на застывшую в углу Гульбану. И Абдельахат теперь повнимательней посмотрел на нее, и словно бы на душе у него потеплело, он оживился.

– Сделаем!

На следующий же день паренек вывалил к крыльцу воз белой глины и дров сухих привез.

И зажили они на хуторе вчетвером. Так ли, сяк ли перетерпели лето. Но зимой... Не столько мучили бесконечные бураны и морозы, сколько нехватка корма для свиней. Колхоз завел их на отшибе по приказу районного руководства, решившего мало-помалу приохотить народ к содержанию отвергнутых мусульманской верой животных. Завести-то завел, а вот о кормах особо не заботился. Человек и голод, и холод стерпит, но если голодна свинья... Не имела Шахарбану прежде дела с такими мерзкими тварями и теперь за голову хваталась: чуть не доглядишь – голодные свиноматки начинают пожирать своих поросят. Жрут с жадностью лютых хищников.

Гульбану после каждого такого случая плачет, просится домой в аул. Вдобавок ко всему, мать с Абдельахатом в отчаянии разделывают трупы сдохших свиней, варят дохлятину и, посыпав отрубями, скармливают ее еще живым свиньям, повергая девушку в ужас.

А с приходом зимы еще и разум Шангарея совсем расстроился, дурачок забастовал – попробуй заставь его хотя бы почистить свинарник!

– Иди уж, Шангарей, Абдельахату ведь одному тяжело, – уговаривала его Шахарбану.

– Ы-ы. Я бурана боюшь.

– Вон Абдельахат и Гульбану, несмотря на буран, и за дровами, и за соломой ездят.

– Ы-ы...

– Почему ты не слушаешься, Шангарей?

– Ты дочку жа меня жамуж не отдаешь.

– Отдам, отдам.

– Когда?

– Вот как потеплеет, так отдам.

– Ладно, пойду. Только за Абдельахата не отдавай.

– Сказала же...

– Я крашивый.

– Да-да, красивый.

– Я умный.

– Умный, Шангарей, умный.

– Тогда я пошел. Вешь шнег жа ижгородь перекидаю, жаодно и швиней.

– Ах, негодник! Попробуй только тронуть их!

Едва закроется дверь за Шангареем, Шахарбану хватается за свой ватник: за дурачком глаз да глаз нужен, а то и в самом деле загубит животину.

Так, в маете и нищете, то хлопоча в свинарнике, то кашляя и чихая в задымленной избе, отсчитывали они день за днем. После переезда на хутор Гульбану сникла. Ладно еще рядом был Абдельахат. Вечерами паренек брал в руки старенькую гармонь и пел частушки. Вроде вот этой:

Кабы я зеленым кленом,
Ты соловушкой была,
Ты бы, песни распевая,
Средь ветвей моих жила...

В один из таких вечеров грустная Гульбану спросила у матери:

– Мама, почему ты не рассказываешь мне об отце?

– Нельзя, дочка, тревожить души покойных. – Уже не первый раз Шахарбану уклонялась от ответа на вопрос дочери.

– И вспоминать о покойном нельзя?

– Я ведь с ним прожила недолго. Ты еще не родилась, когда он... утонул. Унесло его в половодье. Тело не нашли.

– Ты об этом уже говорила.

– Что ж тогда еще?

– Я хочу знать, какой он был. Ну, внешность, характер...

– Как тебе сказать... Он был красивый, как ты, а в общем – обыкновенный человек.

– А зачем ты уехала из аула, где вы раньше жили?

– В ту пору многие переезжали.

– А далеко отсюда до того аула?

– Не допытывайся, дочка. В том ауле у тебя никого нет, ни единой родной души. Лучше займись вязаньем, готовь себе приданое.

— Зачем оно мне?

— Бэй*, разве ты не девушка? Замуж не выйдешь, что ли?

— Не знаю... — Может быть, оттого, что мать впервые заговорила с ней о замужестве, Гульбану вспыхнула, залилась краской. — Наверно, не выйду.

— Вот тебе на! Слышу, как говорится, новость из старых уст. — Шахарбану удивленно посмотрела на дочь. — Это что еще за выдумки?

— Вовсе не выдумки. Кто возьмет девушку, работающую в свинарнике?

— Ни в какой работе позора нет!

— Почему же тогда не могут найти желающих работать тут?

Шахарбану не нашла, что на это ответить.

За окном темно. Там то ли ветер завывает, то ли волки к хутору подошли. Абдельахат, взяв ружьишко, предоставленное ему колхозом, вышел из избы с тем, чтобы обойти хуторские строения, пугнуть зверей выстрелом. Несколько минут спустя кто-то постучал в окно. Шахарбану насторожилась, подошла к двери, прихватив возле печи полено.

— Кто там?

— Принимай сватов, Шахарбану!

— Атак-атак!..

Дверь распахнулась, и порог переступили трое — Хашим с отцом и двоюродным братом.

— Ты уж, Шахарбану-карындаш, не сердись, что явились мы свататься вместе с женихом, — заговорил, поздоровавшись, отец Хашима Башар. — В такую ночь, когда только ведьмам гулять впору, мы без Хашима, пожалуй, сбились бы с дороги...

— Так кроме ночи есть день, — сердито отозвалась Шахарбану, все еще стоявшая с поленом в руке.

— Так-то оно так... — Башар смущенно кашлянул. — Да Хашим приехал из города уже в сумерках...

— Ну и что? Не на пожар приехал, не горит, к чему такая спешка?

— Тут ведь как посмотреть. Вспомни, Шахарбану: было время, когда и у тебя самой сердце пылало. — Башар,

---

*Бэй — возглас, выражающий удивление.

преодолев смущение, заговорил уверенней, голос его окреп.

— Нам с тобой, как тебя, Хаербашар, ударяться в воспоминания о делах сердечных, кажется, уже не к лицу, — отрезала Шахарбану. У нее задергалось веко — это случалось, когда она сильно расстраивалась или сердилась.

— Так-то оно так, но что молодые скажут?

— У молодых есть родители, Хаербашар. Мне не доводилось слышать об обычае вваливаться со сватовством среди ночи. Так что извини.

— Значит, заворачиваешь нас назад, даже чаем не угостишь?

— По привету, как говорится, и ответ.

Гульбану не показывалась, безмолвно сидела за занавеской, которой они с матерью отгородились от Абдельахата с Шангареем. Хашим, потоптавшись у порога, положил руку на плечо отца:

— Айда домой, не вышло у нас...

* * *

Вскоре после этого происшествия приехал на хутор Ишмамат. Вручив сыну сменную одежду и продукты, обернулся к Шахарбану:

— Дочку твою это... в комсомол решили принять. Мне это... велено привезти ее. Дорогу это... занесло, лошади будет тяжело, но раз приказал райком, это...

Услышав слово «комсомол», Шахарбану перечить не стала. По ее мнению, и комсомол, и партия были все равно что государство, а с государством разве поспоришь?

* * *

В тот день в помещении бывшей мечети, переоборудованной под клуб, в комсомол приняли довольно-таки большую группу пятнадцати-шестнадцатилетних ребят и девчат, и тут же им предложили написать заявления с просьбой отправить на учебу в ФЗО. Многие написали. Написала и Гульбану. Ей хотелось вырваться из здешней проклятущей жизни. Уехать и не вернуться. И Ихсанбай,

и Сабиля, и Хашим, и свиньи – пропади они все пропадом! Маму только жаль.

Выйдя с такими мыслями из клуба, она направилась к своей избе с заколоченными окнами. Просто взглянет на нее, постоит на крыльце. Переночует у соседки, у Магинур, а завтра... Завтра отправится в Магнитогорск. Наверно, ФЗО не отвратней свинарника. Маме пока о своем решении не сообщит, а то она не отпустит, ляжет поперек пути...

Гульбану уже поднялась на крыльцо, когда сзади послышался скрип снега под чьими-то ногами. Оглянулась – Хашим.

– Ай!

– Ты чего испугалась, Гульбану? Не к лицу это храброй комсомолке, решившей уехать в город!

– Ты уж сколько времени в городе обитаешь, и не умер же там.

– То ведь я... Ты что это, Гульбану, так заважничала? Сватов назад заворачиваешь, с ухажером свысока разговариваешь. Или уж ханского сына ждешь? Вообще-то, ханским сыновьям, говорят, шибко нравятся девчонки, пропахшие свиньями...

– Зато девчонки, пропахшие свиньями, на дух не переносят ухажеров, от которых воняет водкой!

– У-у!.. Вон как! А мы сейчас проверим, переносят или не переносят!

– Чего это ты надумал? – Гульбану и в голову не пришло остерегаться человека, с которым она училась в одном классе, сидела за одной партой.

– Сейчас увидишь... – В мгновение ока Хашим завел руки Гульбану ей за спину и, дохнув водочным перегаром, впился губами в ее губы. Она мотнула головой, выкрикнула:

– Отпусти, дурак!

Не отпуская ее, Хашим пинком открыл кое-как прибитую женскими руками дверь сеней, – она бы даже от сильного порыва ветра открылась, – затем втолкнул Гульбану в избу.

– Мерзавец! Не прикасайся ко мне!

– Ну покричи, покричи. Можешь и поплакать...

Опять впившись в ее губы, Хашим опрокинул ее на голые нары, шустрая рука нырнула под подол платья, рванула штанишки, и в ту же минуту тело Гульбану

пронзила боль. Пытаясь отбиться, она ударилась головой то ли о стену, то ли о нары и потеряла сознание.

* * *

– Мама, дай попить... – Гульбану открыла глаза, чувствуя, что в горле у нее пересохло. – Хашим?! Что ты тут...

– «Мама», – передразнил ее Хашим. – Теперь уж ты не маменькина дочка...

Гульбану, ощутив, что нижняя часть тела у нее оголена, окончательно пришла в себя, закричала:

– Что ты наделал, зверь бессердечный!

Хашим хихикнул.

– Запомни, Гульбану: все мужчины – звери. Кроме, конечно, Абдельахата с Шариком. Они, недотепы, упавшее им в рот яблочко проглотить не сумели.

– Ой, мама, что же мне теперь делать?!

– Что делать... Я вот, видишь, печь разжигаю, избу надо согреть. И ты вставай, приведи одежду в порядок. Штанишки, правда, порвались, но ничего, я тебе из города новые, шелковые, привезу.

Гульбану вдруг затрясло, зуб на зуб не попадал.

– Холодно... Как холодно!

– Сейчас... Надо найти посуду какую-нибудь, сходишь за водой. Вскипятим, изнутри тебя согреем.

– Я не могу... Встать не могу...

– О-о! Ты уж слишком. Не соль же тебе в разрезанные пятки всыпали – всего лишь девственности лишилась.

– Зверь! Хищный зверь! – Приподнявшаяся было Гульбану заплакала и опять упала на нары.

Сидевший на корточках перед печью Хашим поднялся, присел на край нар.

– Верно, Гульбану, я зверь. Но когда ехал на хутор, чтобы высватать тебя, я был, заметь, получше. Если бы вы не развернули нас назад, все это произошло бы не на голых досках в нетопленой избе, а в мягкой постели в доме твоего свекра. Хоть ты и не сумела оценить благородство егета, я цену твоей красоты знаю.

– Подонок ты!

– Грубовато разговариваешь в брачную ночь, а все же... – Хашим начал медленно расстегивать брюки. – Все же какие бы слова ни прозвучали из уст красавицы, они

должны быть вознаграждены. Ты и впредь не жалей таких слов, ладно?

У Гульбану не было сил сопротивляться. Хашим опять навалился на нее, и снова она испытала боль. Боль и отвращение. Для нее это была пытка.

Потом, когда Хашим каким-то образом предотвратил ее отправку в ФЗО, и она, чтобы избежать позора, вынуждена была расписаться с ним в сельсовете, пытка эта повторялась неисчислимо много раз, пока его не забрали на войну.

* * *

Внезапно открылась дверь, заставив Гульбану вздрогнуть. Оказалось, это Мадина. Вбежала, смеясь, в избу, попила воды и опять убежала на улицу. Хотя мало досталось ей ласки, в особенности от отца, все-таки жизнерадостная у Гульбану дочка. Если бы знала она, на что ради нее решилась мать, куда собирается пойти вскоре... Может, зря решилась, может, есть какая-нибудь другая возможность спасти девочку от ФЗО? А может, не так уж и страшно это самое ФЗО? Нет-нет. Неспроста же те две девчонки сбежали оттуда...

Когда одна из них, та, что ростом была пониже, вышла во двор по нужде, Гульбану заговорила с другой, чинившей чулок:

— Что-то твоя подружка больно уж смурная, не улыбнется, слова не проронит.

— Она, апай... беременная. Мастер снасильничал...

— Ах!

— Ты уж, апай, ничего ей не говори. Я ее из петли вынула, веду домой, кое-как уговорила.

— Как бы опять не надумала... Ты внушай ей, что потом полегчает. Ребенок много радости принесет.

Легко другим советовать, а сколько сама слез пролила, узнав после той страшной ночи с Хашимом, что забеременела. Совсем уж собралась в прорубь кинуться. Ночью было дело. Сняла верхнюю одежду, стала примеряться к проруби, и вдруг обжег ей спину ивовый прут.

— Ай!

— Больно? Еще надо?

Увидев перед собой тетушку Фаузию в одном платье, босую — в зимнее-то время! — Гульбану даже забыла, за-

чем пришла на речку. Как она узнала о ее намерении? Ведь никому ничего не говорила. Мать, вернувшаяся с хутора в аул, и то не заметила, как дочь выскользнула из избы.

– Ты что, инэй?

– Позволь спросить: а ты что?

– Я... мне опостылел этот мир, не хочется жить, инэй. И во всем ты виновата! Ты, ты разлучила меня с Ихсанбаем!

– Не ярись! Иди живо домой, ложись спать. Надумаешь повторить сегодняшнее, так пеняй на себя: горячей головней загоню домой!

– Я же... Я не смогу полюбить ребенка от Хашима, я буду его ненавидеть!

– Говорят, не дойдя до реки, сапоги не снимают. Дитя, выношенное под сердцем, само заставляет любить себя. Иди, дочка, иди домой... – Голос тетушки Фаузии смягчился.

И Гульбану почему-то подчинилась ей. Поплелась на ватных ногах в сторону своей избы.

* * *

Прождав уехавшую вступать в комсомол дочь три дня и не дождавшись, встревоженная Шахарбану махнула рукой на буран и отправилась с хутора в Тиряклы. Отшагала двадцать километров при ее-то больных ногах. Увидев в пустой избе скрючившуюся на голых нарах дочь, схватилась за сердце и осела на пол. После этого она слегла и больше уже не поднималась. Покинула она этот мир, оставив дочку с трехмесячным ребенком на руках.

На проводы покойной собрались старушки и кое-кто из молодых соседок. Гульбану не знала, что делать: нет у нее ничего – хоть бы ткань на саван была. Хашим вроде муж и не муж, пропадает в городе, изредка наезжая, иногда оставляет немного денег, на них и живут. И вот, когда Гульбану думала в отчаянии, к кому обратиться, у кого попросить помощи, в избу неожиданно вошла тетушка Фаузия с узелком в руке. Кивком поздоровалась с собравшимися, сотворила, присев на нары, молитву. Старушки воззрились на нее в удивлении: Фаузия общительностью не отличалась, на похороны и вообще туда, где собирались люди, никогда не ходила. А она подняла

тяжелый взгляд и, кажется, угадав мысли старушек, сказала:

– В этом узелке – все, что нужно для похорон. Для себя готовила, но раз соседка ушла раньше, ей, видно, это было предназначено. Воду согрели? Я обмою покойную. Мои мужчины выкопают могилу, зарежут овцу для поминок...

Сколько бы ни старалась, не сможет, наверно, Гульбану понять эту женщину. Что она за человек? Ангел или прислужница Иблиса? Лишила ее, Гульбану, счастья и в то же время всегда приходит на помощь. Вот и сейчас обращается к ней как ни в чем ни бывало, вернее, приказывает:

– Не стой, детка, столбом, утри слезы и пошевеливайся! От слез можно лишь ослепнуть, а пользы делу не будет. Надо успеть с похоронами до святой пятницы, дабы покойной легче было, представ перед Высшим судьей, отчитаться за земные дела. И да упокоится душа ее в раю!

– Аминь! – сказала одна из старушек. – Хоть Шахарбану и не местная, в ауле ее любили. Худым словом никого не обидела и безотказно работала везде, куда ее начальники ставили.

– Сколько мы прожили рядом, но ни разу косого взгляда друг на дружку не бросили. – Это сказала Магинур, стоявшая с заплаканными глазами у изголовья покойной.

Подавленная горем Гульбану и слышала, и не слышала разговор женщин. Взяв на руки заплакавшую Мадину, она старалась помочь хоть чем-нибудь тетушке Фаузие, принявшейся обмывать тело ее матери: то ковш надо было подать, то мыло... Тетушка Фаузия сдвинула свой платок на затылок, и Гульбану как-то краем сознания отметила, что не так уж она и стара, а казалась старой из-за этого черного платка, всегда приспущенного на лоб.

Но вот покойную обмыли, завернули в саван и, положив на широкий лубок, вынесли из избы. Покидает, покидает Шахарбану дочку, уходит ногами вперед туда, откуда возврата нет.

– Ах! – Все перед глазами Гульбану поплыло, она почувствовала, что Мадина выскальзывает из ее рук. – Ах!

– Ребенка!.. Дай ребенка мне! – Мадину подхватила Магинур, а покачнувшуюся Гульбану приобняла одной ру-

кой тетушка Фаузия, другой рукой погладила ее по щеке:

– Крепись, дочка, крепись!

* * *

Говорят, вместе с умершим в могилу не ляжешь. Это верно говорят, надо как-то жить. Гульбану, когда оставив Мадину у Магинур, когда взяв ее с собой, бегала на работу, на ферму. Хашим изредка наезжал из города и всегда нетрезвый. Ни разу не взял он ребенка на руки, не приласкал. Удовлетворив свою мужскую потребность, тут же начинал храпеть, бредил во сне какой-то Зоей, какой-то Людмилой. Гульбану несколько раз не открывала дверь, пыталась не пустить его в избу, но обычно дело заканчивалось тем, что лежала потом, избитая, не в состоянии даже воды глотнуть. Она не могла понять характер Хашима. То ли он ненавидел ее, чувствуя не холодность даже, а отвращение к нему в постели, то ли так выказывал свою любовь. Бьет – значит любит, считают иные женщины. Трудно сказать, сколько бы так продолжалось, если бы однажды, после очередного избиения, Гульбану не столкнулась у речки с тетушкой Фаузией.

– Атак, у тебя все лицо в синяках! Чьих рук дело? – спросила Фаузия.

– Чьих же еще может быть, когда муж у меня есть.

– Ну, если не знает он, куда силу девать, покажу я ему!..

Тетушка Фаузия ушла с речки первой. Гульбану, вернувшись домой, увидела такую картину: Хашим, вытаращив глаза, лежит на нарах, разъяренная тетушка Фаузия душит его, цедя сквозь зубы:

– Все, Хашим, кончилось мое терпение!

– Ы-ы-ы...

– Не надо, инэй, что ты делаешь?! – закричала Гульбану и вцепилась в руки тетушки Фаузии, попыталась оторвать их от шеи Хашима.

– Собаке – собачья смерть! Он и ногтя твоего не стоит! Зачем бьет? Зачем над тобой издевается?

– Ы-ы-ы...

Тетушка Фаузия все же разжала руки, отпустила шею Хашима, но тут же схватила с печного уступа скалку.

– Все равно убью! Башку разможжу!

– Оставь, инэй! Ради Бога, ради ребенка моего!

Плач Гульбану вроде бы несколько отрезвил Фаузию, но ярость ее до конца не унял. Она приставила конец скалки к паху Хашима, надавила...

– Кричи, собачий сын, отца, сестру зови на помощь! Пусть увидят, что я с тобой сделаю!

– Под суд пойдешь... мать твою!..

– Не пугай и мать мою не трогай! Знай: я людского суда не боюсь, отбоялась. И помни: еще раз на Гульбану руку поднимешь, я вот эти твои причиндалы, – Фаузия сильней надавила на скалку: – истолку, и ты паршивым дворнягам будешь завидовать!

Она ушла, не сказав более ни слова. И Гульбану впервые услышала, как Хашим плачет. Он плакал, перекатываясь на нарах с боку на бок, навзрыд, как ребенок. Сказать спьяну, так в тот день выпить он еще не успел.

Гульбану думала, что после этого он уйдет и больше ее порога не переступит, а вышло наоборот. В тот же день Хашим перетащил к ней от родителей все свои вещи: одежду, постель. Потом, написав заявление, вступил в колхоз, устроился фуражиром на ферме.

Но пить он не перестал. Чего только не придумывал, чтобы добыть денег на водку. К этому времени свиноферму на Русском хуторе ликвидировали – охотников ухаживать за свиньями более не нашлось, дурачок Шангарей вернулся в аул, и Хашим принялся «доить» несчастного. Как только встретится с ним, происходит примерно такой разговор:

– Жениться хочешь?

– Жнамо. Шам ведь женился.

– Давай подыщем тебе невесту.

– Не надо.

– Почему?

– Мне Гульбану нужна.

– Бери Гульбану, отдам.

– Обманываешь!

– Истинно говорю! С тебя магарыч, Шарик! Давай, слетай за деньгами.

– А ты не обманываешь?

– Вот еще, не верит! Пусть земля меня проглотит, если вру.

Услышав это, Шангарей опасливо отходит от Хашима: а вдруг земля под ним разверзнется?

– Коли так, лечу! – Шангарей отправляется к отцу и, как-то там уломав его, возвращается с деньгами на бутылку.

– Тэ-эк, – говорит Хашим, – я схожу в лавку, а ты посиди тут. Жди!

Сидит, бедняга, ждет.

А Хашим вскоре, пинком открыв дверь, сообщает жене:

– Гульбану-у! Я тебя Шангарею за пол-литра продал! Ха-ха-ха!

Только Гульбану не смешно. И не смеется она, и не плачет. Омертвела ее душа, уподобилась растрескавшейся засушливым летом бесплодной земле.

В таком вот состоянии проводила она мужа на войну.

В Хашиме перед тем, как он, уже собранный в дорогу, вышел из избы, словно бы шевельнулась совесть.

– Ладно, жена, – сказал он, – всяко было в нашей жизни, прости. Не убьют, так вернусь. Наверно, вернусь – ухожу ведь, не сумев зачать мальчишку... – И склонился к удивленно смотревшей на него дочери: – Ты уже большая, помогай матери!

На проводы к сельсовету Гульбану пришла последней из собравшихся там женщин. Не мужа провожать пришла, скорее разделить с людьми горе, придавившее всю страну.

С мужем рассталась без сожаления, а вот с дочерью... Не может она допустить, чтобы беда эта поглотила самое дорогое для нее существо. Время суровое, родителей, препятствующих отправке детей на фабрики и заводы, тянут к ответу. И не только родителей, самих подростков тоже, но ведь Мадине еще и тринадцати нет, совсем ребенок... Будь жива мать, Шахарбану, возможно, нашла бы какой-нибудь иной выход, а ей, Гульбану, не удалось, оставалось только, стиснув зубы, исполнить прихоть Ихсанбая.

А день уже угасал, солнце, расплывшись, как топленое масло на сковороде, скрылось за горизонтом, лишь облачко в небе еще пламенело да березняк на вершине горы, просвеченный последними лучами невидимого светила, будто горел. И в груди Гульбану, вышедшей во двор, казалось, пылал огонь, стыд припекал ее сердце.

Тут прибежала Мадина, неожиданно, сзади, подала голос. Гульбану вздрогнула:

– Уф, испугала! Что это у тебя?

– Рыба! – Мадина была возбуждена, щеки раскраснелись.

– Кто дал?

– Никто не дал, сама поймала. Мы на просяном поле на прополке были, потом искупались. Она под камнем притаилась, хотела уплыть, быстрая такая, но я догнала и хвать ее!

– Это же налим, еще живой!

– Мы его зажарим, да, мам?

– Да-да. Потерпи. Мне надо сходить по делу. Ты посиди дома.

– Бригадир сказал, нас через два дня увезут.

– Знаю... Так ты чуточку потерпи...

Гульбану хотелось крепко прижать дочку к себе, но еще не совершив, а лишь собираясь совершить грех, она уже чувствовала себя грязной, и у нее не хватило смелости прикоснуться к своему чистому безгрешному ребенку.

Пошла она к месту встречи, приказала непослушным ногам идти. Между тем, невесть когда успевшая наплыть туча закрыла небо, сразу стало темно, упали первые крупные капли дождя. Пусть падают, по крайней мере, смоют следы скатывающихся по ее щекам слез...

– Ступай, Гульбану, осторожней, не споткнись в темноте. – Ихсанбай встретил ее ближе назначенного для встречи места. – Извини-те, ханум, не смог я устлать дорогу коврами!

У Гульбану стеснилось дыхание: он еще и насмехается, издевается над ней!

– Эх, Ихсанбай, если бы не взяла меня за горло беда, я и по коврам не пришла бы.

– Злая ты... – Гульбану почувствовала на груди его жаркую ладонь. – Но от этого еще желанней... – Он поцеловал ее в губы, легонько прикусил через платье сосок.

– Ох!

– Сколько я ждал этой минуты! Ты горячая... сладкая...

Гульбану обмякла. Голова закружилась от сладостного пополам со стыдом ощущения. Хашим никогда не ласкал ее, овладевал грубо, ничего, кроме отвращения она при этом не испытывала. А тут...

Она пришла на свидание поневоле, проклиная принудившие ее к этому обстоятельства, а когда уходила, не нашла слов, чтобы обругать себя за неожиданную податливость.

Туча, уронив редкие крупные капли, уплыла. Прежде чем вернуться домой, Гульбану спустилась к Акъелге. «Речка-реченька, ты смываешь любую грязь, не очистишь ли мою душу, не унесешь ли мой грех?» Если бы Ихсанбай был груб, если бы изнасиловал, возможно, ей было бы легче. Эта проклятая, уворованная встреча одарила ее вдруг неведомым ей доселе, заставившим содрогнуться наслаждением. Господи, наверно, она не человек, а животное. А может быть, все это лишь сон? Вот она проснется и, чтобы страшный сон изгладился из памяти, отнесет какой-нибудь бедной старушке подаяние...

Мадину свою тогда она спасла – Ихсанбай вычеркнул ее из списка.

Через девять месяцев (десять после ухода Хашима на войну) родились мальчишки-близнецы.

* * *

Должно быть, злой рок решил не давать Гульбану покоя, пока не уложит в могильную нишу. Больше ни у кого не отняли корову, только у нее. Лишь один Хашим оказался в долгу перед государством. Как ей вырастить троих детей без коровы, без молока? О Боже, хоть и грешна она, так ведь одна грешна, зачем же их-то обрекать на голод, на страдания?

Много дум передумала Гульбану за ночь. Мысли ее вновь и вновь возвращались и к Хашиму, и к Ихсанбаю. Первый, как ни в чем ни бывало, в письмах называет мальчонок родными кровинушками. Второй поначалу изводил, добиваясь новых встреч. Потом, когда у Гульбану заметно выпятился живот, стал обходить ее стороной.

Очень удивляет Гульбану неожиданно обнаруженный долг перед государством. Пить Хашим пил, но налоги они платили. Не помнит Гульбану, чтобы они сметаной да маслом себя баловали, часть молока и масла, сколько положено, сдавали государству. Может быть, два малыша, что спят, посапывая, в углу, посланы ей Всевышним в наказание, но если даже так, терять их она не хочет. Цып-

ленка, вылупившегося из яйца, и то жалеешь, а это ведь не цыплята. Раз уж, совершив грех, выносила детей под сердцем, не может она допустить, чтобы умерли они от голода.

Гульбану приняла решение: она обратится к районным властям. Наверно, есть там начальники повыше уполномоченного, отобравшего корову. Не тот, так другой ее выслушает, не тот, так другой поймет...

Еще и не светало, когда Гульбану разбудила Мадину, предупредила, что уходит в райцентр, и отправилась в путь: ничего, что надо отшагать сорок пять километров, она отшагает и добьется справедливости!

* * *

Ихсанбай пытался проснуться, но удалось это не сразу. Снился ему дурной сон. Будто бы гонится за ним не то Гульбану, не то ее Мадина. Только собрался обернуться и ударить ее – девчонка превратилась в красного быка, вот-вот поднимет на рога. Вдобавок, вцепились ему в полу какие-то щенки. Хотел отпихнуть их, но видит: не щенки это, а близнецы Гульбану.

– Ах-ха-ха, – громко позевнул Ихсанбай, проснувшись наконец. И подумал, что отец не от призыва в армию его спас, а на адские муки обрек. Пытаясь отделаться от неприятных мыслей, он перевернулся на другой бок, ненароком ткнув при этом коленом в живот Сабили. Жена, проворчав что-то, отодвинулась от него. Он разозлился: «Отрастила живот, как собравшаяся ощениться сука!» Терпеть не может Ихсанбай жену, когда та беременна. И без того некрасивую, беременность вовсе уж безобразит ее: синюшные губы безвольно свисают, приплюснутый нос словно проваливается еще глубже, стягивая желтую кожу лица, глаза, расставленные шире, чем у других людей, припухают и краснеют. Ну и жена ему досталась! И все из-за матери.

Ихсанбай и думать не думал жениться на девчонке, с которой связался лишь ради того, чтобы потешить плоть. А она вцепилась в него: дескать, забеременела. Хоть бы здоровых детей потом нарожала что ли, так и на это оказалась неспособной. Каждый год «радует» мертворожденной двойней.

Гульбану... Стоило вспомнить о ней, как по телу пробегала волна сладострастия. Всем существом своим жаждал ее Ихсанбай. Но после той встречи Гульбану избегала его, делала вид, что не замечает знаков, которые он подавал. А когда он увидел, что у нее растет живот...

Ихсанбай, застонав, снова перевернулся в постели. Когда он увидел ее живот, ему стало страшно. Казалось, в ту же минуту его заметят и другие, и раздастся гневный крик: «Ах ты, мерзавец! Мы там кровь проливали, а ты, дезертир, тут солдатских жен брюхатил!» К этому времени начали уже возвращаться в аул покалеченные воины. Злые, мрачные. Около них Ихсанбай старался и сейчас старается вести себя сдержанно. И вообще отбросил гонор, особо не петушится, хоть и представляет в ауле Советскую власть. Если кто-нибудь узнает, от кого Гульбану родила близнецов, считай, пропал Ихсанбай! «Ладно, как-нибудь все утрясется, – успокаивал он себя. – Теперь, после конфискации коровы, мальчишки Гульбану долго не протянут. И без того были еле живы...»

Ихсанбай поворочался в постели, стараясь снова заснуть, однако сон более не брал его. В конце концов он поднялся и, накинув на плечи полушубок, вышел во двор. Удивился, увидев свет в окнах скотной избы. Изба эта была поставлена для того, чтобы ранней весной, в холодное время, держать в ней телят и ягнят, но отец с матерью, женив его, Ихсанбая, перебрались туда сами. Что это они – слишком рано поднялись или еще не ложились? Старик совсем распустился: чуть ли не каждый день напивается. Он, наверно, не спит, морочит матери голову пьяным разговором.

Ихсанбай тихонько подошел к окошку. Видит: отец сидит на табуретке перед печью, зажав голову руками. Плачет, что ли? Мать на нарах что-то вяжет: то ли носок, то ли варежку. Накатила на Ихсанбая злость. Толкнул дверь, рыкнул, войдя в избу, на отца:

– Ты что опять сидишь ноешь? Чего тебе еще не хватает?

– Не твое дело, сопляк! Проваливай, пока я тебе не врезал! Нос у тебя еще не дорос, чтоб на отца голос повышать!

Ихсанбай встал перед ним, сжав кулаки.

– У-у, пьянчуга!..

Отец хотел было подняться, но не удержался на ногах, плюхнулся обратно на табуретку.

— Когда отец... заплатив золотом... спас тебя от призыва на войну... небось, хорош был...

— Молчи! Я просил тебя об этом? Просил?

— Не просил? — Отец скривил губы в усмешке. — Что же не соскочил с саней, когда я тебя повез к доктору? Или связанным вез? На аркане тащил?

— Хватит! Ложись, спи!

— Сам, сопляк, спи! А у меня сон давно пропал. Все я потерял. И табуны коней, и стада коров, и отары овец... Говорил твоей матери: давай уйдем за кордон... в Турцию уйдем... Не послушалась! Заставила приехать сюда... в колхозе спину гнуть!

— Будешь пить и ныть, вспоминая потерянное в ханские времена, так и этого лишишься! — Ихсанбай ткнул пальцем отцу в голову.

А Фаузия продолжала вязать, ни слова в разговор сына с отцом не вставила.

Ихсанбай снова вышел во двор. Постой-ка, что это? Вроде калитка Гульбану скрипнула. В такое время... Доярка подниматься еще рано. Уж не мужчина ли от нее вышел? Ихсанбаю это было бы на руку: появилась бы возможность, как говорится, вину белого кобеля перевалить на черного. Но нет, из калитки вышла сама Гульбану. При ясной луне разве лишь слепой не разглядел бы, что это она. Вот она пошла вдоль по улице. В переулок, ведущий к ферме, не свернула, направилась к большаку. Ах, мать ее!.. Неужто отправилась с жалобой в райком?

— Ты что топчешься тут, как племенной бык в загоне?

Ихсанбай вздрогнул: когда это мать успела выйти из избы и подойти к нему?

— Кто... я топчусь?

— Кто же еще! В эту пору порядочные мужчины в теплой постели, в объятиях жен лежат.

Хотелось Ихсанбаю сказать в ответ насмешливо: «Наградила ты меня как раз такой женой, в чьих объятиях чувствуешь себя как в раю!», но воздержался. К сожалению, пока что семьей правит мать, отец лишь ее тень. Попробуй ей хоть слово поперек сказать! Ихсанбай счел за лучшее поскорей убраться домой. Насчет Гульбану подумал: пешком далеко не уйдет, на пути — русская деревня Казанка, там ей придется переночевать, там он ее и догонит...

Придя к такому решению, Ихсанбай немного успокоился, но мысли о Гульбану вдруг возбудили его плоть, вызвали дикое желание. Недолго думая, он взгромоздился на жену.

– Ай! – вскрикнула Сабиля, проснувшись. – Ребенка... Ребенка погубишь!

– Заткнись! – процедил он сквозь зубы.

– Да поосторожней ты! Ай, ай...

– Не верещи, сучка!

...Потом Сабиля, постанывая и вздыхая, долго еще поглаживала живот, а Ихсанбай, сделав свое дело, сразу уснул.

* * *

– Уйми ребенка! – Властному рыку мужа нельзя не подчиниться, но и исполнить его приказ Барсынбика не может. Прижатый к ее груди теплый комочек надрывается в крике, несоразмерном с маленьким тельцем, и крик этот в ночной тишине, наверно, далеко слышен.

– Чу, дочка, чу! – В одной руке Барсынбики – поводья летящего вихрем коня и узелок с одеждой, в другой – Кукхылу. Или уж отстать ей от несущихся рядом Дингезхана и его товарища? Отстала бы, да второй из ее двойняшек, Ихсанбай, у мужа. Ай, как же ей быть? Как успокоить ребенка? Должно быть, болит у дочки что-то... А сзади уже отчетливо доносятся собачий лай и яростные голоса, вот-вот преследователи настигнут их. Впереди – речка, за ней темнеет лес. Если успеют переправиться через речку, может быть, оторвутся от погони. В лесу дороги обычно разветвляются...

– Брось! Брось, говорю, ее! – Руку Барсынбики, которой она прижимала к себе дочку, ожгла плетка, и плачущая Кукхылу выпала из-под руки, тут же и узелок с одеждой полетел вслед за ребенком, упавшим то ли на речной берег, то ли уже в воду.

– Дитя мое!

Шум вспененной копытами воды заглушил крик Барсынбики. Дальнейшее произошло в мгновение ока: они еще не достигли другого берега, когда Дингезхан всадил нож в спину своего спутника, с которым они этой ночью вырезали семьи волостного начальства...

Фаузия, заснувшая совсем недавно, может быть, полчаса или час назад, проснулась, и в ее сознании вновь стал прокручиваться только что приснившийся сон. Собственно, сон ли это? Ведь в нем повторилось то, что было на самом деле, правда, давным-давно: и погоня, и пронзительный крик Кукхылу, и удар плеткой по руке, которой она прижимала ребенка к себе...

– Уф! – Она приподнялась и увидела, что Сибагат спит на полу перед печью, – где сидел, там и уснул, положив голову на табуретку. Сдал старик, сильно сдал. Много пьет, того и гляди спьяну выболтает тайну и погубит Ихсанбая. Не ладят отец с сыном, и что ей с этим делать? Надо бы все же Ихсанбаю быть почтительным к отцу: в самом деле, кабы не отцовское золото, хлебал бы сейчас солдатское лихо...

...Тогда они ушли от погони. Почувствовав себя в безопасности, Дингезхан обернулся к Барсынбике:

– Помни: отныне я – Сибагат, ты – Фаузия. Документы я выправил заранее. Имя мальчишки не изменил. О Кукхылу забудь, пусть душа ее упокоится в раю.

Барсынбику, ставшую Фаузией, трясло. С трудом подняла взгляд на мужа:

– Куда же мы теперь?

– Далеко... Советы, похоже, утвердились надолго. В эти края никогда уж не вернемся...

Фаузия глянула на маленькое окошко скотной избы, и на нее уставилась зловещим оком ее единственная наперсница – темная ночь. Только ночи поверяет она свои мысли, которые не высказывает никому, даже мужу. Значительная часть жизни человека проходит во сне, а жизнь Фаузии словно бы стала вдвое длинней – за счет бессонных ночей. Сколько дум было передумано, сколько дорог пройдено после того, как она, наотрез отказавшись бежать в Турцию, в конце концов убедила мужа вернуться к речке, где остался ее ребенок. Надеялась: может, Кукхылу жива, может, не в воду упала, а на берег, может, подобрали ее – там вроде бы неподалеку было какое-то селение...

Сибагат-Дингезхан, потеряв все богатство, кроме накопленного ранее золота, и оказавшись вне закона, начал мало-помалу терять и силу духа, опускаться, а в Фаузие-Барсынбике, напротив, нарастала решимость отыскать

дочь, и постепенно, приложив немало душевных сил, она взяла верх над мужем, подчинила его своей воле. Прожив некоторое время в казахских степях, они вернулись в Башкирию. Сибагат-Дингезхан когда-то овладел — не по нужде, а из интереса — ремеслами пимоката и паяльщика-лудильщика, и теперь это позволило им как бы ради заработка перемещаться по здешним местам, перебираться из аула в аул. Ихсанбаю шел седьмой год, когда Фаузия напала на след девушки по имени Шахарбану, которая, взяв с собой найденную на берегу речки малютку, покинула с ней свой аул. Потом удалось поселиться в Тиряклах почти напротив избы Шахарбану. Думала Фаузия, что как только отыщет дочку, так сразу примет ее под свое крыло, но для этого одного ее желания было мало — Всевышний ведь все решает по-своему. Не могла Фаузия предъявить права на дочь, выношенную под сердцем и рожденную в муках, — прошлое не позволяло. Пришлось довольствоваться возможностью жить рядом, видеть ее и опекать на правах соседки...

Фаузия взяла кумган, вышла во двор с намерением совершить омовение и удивилась, увидев свет в окнах большого дома. В чем дело? Надо зайти, выяснить...

Сабиля, когда вошла свекровь, сидела на корточках перед дверью.

— Что случилось, килен*?

— Ох, живот... Умираю...

— Тебе надо лечь. Зачем поднялась?

— Уй, Ихсанбай... ребенок...

— Что Ихсанбай? И в том, что ты не можешь нормально родить, муж виноват? — разъярилась Фаузия и не удержалась, кинула сгоряча лишнее: — Уже полкладбища заняли твои мертворожденные дети!

— Да что же мне делать-то?!

— Приляг тут, полежи спокойно, — смягчилась Фаузия. — Я приготовлю травяной отвар, хоть боль снимет...

Спустя некоторое время она подала невестке пиалу с горячим отваром и направилась в дальнюю комнату, где спал Ихсанбай.

— Ихсанбай, проснись-ка! Есть разговор.

— М-м-м...

---

*Килен — невестка, сноха.

– Не мычи, не дитя малое, чтоб вести себя так. Вот что я тебе скажу: пока не родится ребенок, не смей прикасаться к Сабиле! Еще тронешь ее – очередная могила, которую предстоит выкопать на кладбище, станет твоей!

– Да ты что, мать?..

– Ты понял или нет? Ох, люди... У скота и то ума больше!

Фаузия вновь вышла во двор. Взглянула на луну. Луна светилась в туманном ободке – к непогоде, что ли? Да ладно, погода испортится и через день-другой наладится, а вот обретет ли когда-нибудь покой душа Фаузии? В отличие от мужа, она не горюет о потерянном когда-то богатстве – из-за детей сердце болит. Прежде всего из-за Гульбану. Ухитрилась в столь трудное время нажить двух мальцов неведомо от кого. Ни в роду Сибагата, ни в роду самой Фаузии такого еще не было. Как же это ее Кукхылу-Гульбану допустила такую оплошность? Нет-нет, не она виновата – кто-то, видать, воспользовался ее одиночеством и навалившимися на нее горестями. Вдобавок корову у нее отняли, ограбили средь бела дня. И Ихсанбай там был. Знал бы он, кого ограбил! Хоть бы могла Фаузия открыто ходить к Гульбану, помогать ей, так нет... Сабиля страшно ревнует к соседке не только мужа, но и за каждым шагом свекрови следит, и чуть что докладывает Ихсанбаю. А он теперь сильно от жены зависит: тот врач, что справил бумаги, избавившие Ихсанбая от призыва в армию, – двоюродный дядя Сабили... Господи, куда, как говорится, ни кинь – везде клин!

* * *

Гульбану рассчитывала проделать значительную часть пути при лунном свете, чтобы к вечеру дойти до Казанки. Переночевав у кого-нибудь, она успеет в райцентр до того, как рабочий день у тамошних начальников закончится.

Туманный ободок вокруг луны предвещал дурную погоду, вскоре может разыграться буран, в такое время лучше бы сидеть дома. Еще встарь было сказано: «Если луна оградилась, укрепи свои ограды». Будь осмотрителен, обереги себя от опасностей, не рискуй – вот что означает это иносказание. Но что поделаешь, надо идти, нужда заставляет.

Снег поскрипывал под ногами, но ни одна собака, пока Гульбану шла по улице, не встревожилась, не взлаяла. Аул был погружен в глубокий сон. Лишь на скотной избе Ихсанбая горел свет. «Должно быть, тетушка Фаузия бодрствует», – подумала Гульбану. В ауле считают, что старуха якшается с нечистой силой, потому-то и не спит по ночам, занимается темными делами. Может, так оно и есть?

Но ведь и сама Гульбану, если дня не хватает, а надо что-то сделать, не поленится, ночь прихватит. Позапрошлым летом стояла засуха, так она, спасая картошку, ночью таскала воду из речки и чуть не на ощупь поливала куст за кустом. Урожай тогда порадовал. А нынче не хватило у нее сил для должного ухода, и картошка не уродилась. Ослабла она, вынашивая близнецов, потом навалились заботы о них и разной прочей работы было много, на огород заглядывала урывками. Накопанную картошку уже съели, а дальше как быть, чем детей кормить? Надеялась, корова выручит, с молоком-то перебедуют зиму, да вот ведь как получилось...

Порыв ветра подтолкнул Гульбану, она ускорила шаги. Где она сейчас, далеко ли отошла от аула? Бэй, дошла, оказывается, всего лишь до тропы, убегающей в сторону ее сенокосного надела. Вон чернеет старый осокорь, чуть дальше – Журавлиный брод и за речкой – сенокосные угодья. Когда-то мать, Шахарбану, научила ее там правильно держать косу, косить траву чисто, а минувшим летом сама Гульбану учила тому же Мадину. Не будь близняшек, требовавших постоянного внимания и заботы, вдвоем порядочно сена запасли бы.

Не будь близняшек... Нет, наверно, на свете существа загадочней человека. Гульбану сама себя понять не может, не может до конца разобраться в собственных чувствах. Детей своих она не просила, не вымаливала у Бога. Увидев Мадину впервые, дала ей свою грудь и равнодушно положила на лежавшую рядом подушку – поласкать, понежить ее и в голову не пришло. Теперь в том, что характер у дочери жестковатый, Гульбану винит себя: недодала девочке ласки. Почему же к близнецам относится иначе? С работы, соскучившись по ним, бежит бегом; если они спят, ждет не дождется, когда проснутся. В сравнении с Мадиной они неказистые, вялые, со

вздутыми — из-за недостаточного питания — животами, слабенькими ручками-ножками. Но как увидит Гульбану две пары обращенных к ней синих глазенок, будто наполняется ее душа небесным сиянием.

Дорога пошла на подъем, повела на гору, потом она нырнет в Глубокий лог. «Пока пройду лог, наверно, уже начнет светать», — подумала Гульбану. Утром, может быть, сани попутные догонят. Хорошо бы! А то вот подул навстречу резкий верховой ветер, бросая в лицо колкие крупицы снега. Гульбану прикрыла лицо узелком, в котором несла два комка сушеного корота и ломтик хлеба, затем время от времени шагала задом наперед, отвернувшись от ветра.

В Глубоком логу не дуло так сильно, как наверху, снежная взвесь медленно оседала на землю. Тихо, покойно... Но Гульбану вдруг ощутила холодок и дрожь в спине. Она не озябла, разогрелась в движении, отчего же возникло это ощущение?

Вообще-то, случалось с ней такое и раньше. Связано это было со смутным воспоминанием о какой-то реке, о бурном потоке либо со сновидением, что на нее набегают волны, вот-вот захлестнут. Ей становилось страшно, и в детстве она часто просыпалась, захлебываясь слезами. Мать тогда свела ее к старухе-знахарке, надеясь, что та как-то избавит ребенка от кошмарных снов. Расспросив, что и как, старуха сказала: «Детку, должно быть, в младенчестве сильно испугала вода...» — и принялась нашептывать заклинания, которые никакой пользы Гульбану не принесли.

Она не сразу осознала, что здесь, в Глубоком логу, ее испугали светящиеся точки, появившиеся впереди. Мелькнула мысль, что кто-то там курит, — может быть, кто-нибудь приехал за сеном и сейчас возвращается домой. Впрочем, в такое время за сеном не ездят, разве лишь чтобы украсть...

Между тем в предрассветной темноте (луна скрылась за тучами) светящиеся точки обозначились ясней, они двигались попарно, чуть погодя появились и сбоку, на склоне лога. Ножом по сердцу полоснула догадка: «Волки!!!» Гульбану в ужасе прикрыла лицо своим узелком, обессиленно осела на корточки...

* * *

Ихсанбай всегда уходил на работу рано, а сегодня ушел из дому даже раньше обычного. Во-первых, не хотелось видеть скулящую в углу жену. Во-вторых, раздражала мать – суется во все, шагу без ее вмешательства не ступишь. Разве не из-за этого ему пришлось жениться на Сабиле, что мать ходила следом, как ищейка? Его жизнь с Сабилей можно сравнить с ольховыми дровами или ржаным хлебом: гореть горят, а тепла нет, набить живот набьешь, а удовольствия это не доставит.

Надоели ему и бесконечные ссоры отца с матерью. Отец поныне льет слезы по богатству, отобранному советской властью, с горя совсем спился. Мать, хоть и потеряла то же самое, не утратила властного характера. Откровенно говоря, отца Ихсанбай сейчас и в грош не ставит, только боится, как бы он спьяну не проболтался. Что касается матери – ни черта не поймешь ее. Взять, к примеру, вчерашний случай. Готовили к отправке на фронт теплые вещи – носки, перчатки, связанные колхозницами. Глядь, и мать пришла с узелком, разложила на столе свои подарки для бойцов. Когда секретарь сельсовета записал, что она принесла и вышел, Ихсанбай, оставшийся наедине с матерью, усмехнулся:

– Оказывается, ты у нас патриотка. А я и не знал.

– Теперь будешь знать.

– Только есть тут одна закавырка: сын-то у патриотки вроде как бы... дезертир...

Она не изменилась в лице, только плотно сжатые губы сомкнулись еще плотней, потом шевельнулись:

– Ты, Ихсанбай, все равно не стал бы хорошим солдатом, потому что и хорошим сыном не сумел стать. – Сказала так и ушла, хлопнув в сердцах дверью.

Странная у него мать, очень странная. Вон ведь чем ночью пригрозила! Дескать, очередная могила на кладбище – для него. А узнай она правду о близнецах Гульбану, так... кожу с него, живого, сдерет. Верно люди говорили, нет ли, что однажды она за что-то излупила Хашима чуть не до смерти. Никого и ничего мать не боится: ни Бога, ни дьявола. Для него, Ихсанбая, было бы благом, если бы мальчишки Гульбану покинули этот мир, пока не раскрылось, кто их отец. Но сейчас важней всего – как-то остановить Гульбану. Надо же, в райцентр отправилась! С жалобой, конечно. Ихсанбаю и в голову не приходи-

ло, что она на это решится. Смирная, тихонькая, да не зря, видно, говорится, что в тихом омуте черти водятся.

Ихсанбаю стало зябко от собственных мыслей. Приложил ладони к печке-голландке. Она была горячая: тетушка Рауза, уборщица, а заодно посыльная сельсовета, топит печь до прихода председателя.

Некоторое время Ихсанбай посидел в раздумье за своим столом, тут и тетушка Рауза пришла за списком людей, которых сегодня надлежало вызвать в сельсовет. Протиснула тучное тело в дверной проем, утвердилась на скамейке, слегка раздвинув слоновьи ноги. Пока Ихсанбай составит список, она выложит и перетрет последние аульные новости. В руке Ихсанбая — карандаш, одно ухо обращено к телефону, другое — к устам тетушки Раузы. Давно у них так повелось.

— Ох уж эти люди, ох уж этот народ!.. — начала тетушка Рауза и примолкла. Ихсанбай даст знать, что слушает ее, тогда она продолжит.

— Что стряслось, Рауза-апай?

— Сам бы должен знать. Кто у нас сельсовет, ты или я?

— Ты, Рауза-апай, — пошутил Ихсанбай.

— Рауза-апай, Рауза-апай... Я, слава Аллаху, со дня рождения Рауза...

— Так-то оно так...

— Еще бы не так! — В щелочках глаз женщины мелькнуло что-то вроде укоризны. — Я ведь помню, как твои отец с матерью пришли в Тиряклы, ведя тебя за руку и толкая двухколесную тележку. Да-да! Первым человеком, попавшимся им навстречу, была я. Я и показала им, где у нас сельсовет. Это было еще до того, как пропало золотое колечко, подаренное мне твоим езнэ*. Оно было маленькое, поэтому я носила его на мизинце правой руки...

Рассказами об этом «золотом» колечке Ихсанбай сыт по горло, но он не перебивает тетушку Раузу, знает: она не двинется дальше, пока не упомянет о своем недолгом, случившемся лет двадцать пять назад пяти- или шестимесячном замужестве за пришлым татарином, о нажитом от него сыне Хусаине, и, конечно же, о колечке, на самом деле медном, но обманно выданном «твоим езнэ» за зо-

---

*Езнэ — муж старшей сестры или родственницы. Но так можно назвать и любого женатого мужчину, поскольку все жители аула обычно связаны родством, хотя бы и дальним.

лотое, из-за чего колечко и было украдено. Ладно еще, если словоохотливая тетушка этим ограничится. А если начнет вспоминать о поездке на базар в Красную Мечеть, где татарин бесследно исчез, оставив жену горевать в одиночестве? Или примется рассказывать о пропаже колечка в подробностях? Это само по себе – целая история, тут уж и сказкам Шахерезады придется постоять в сторонке.

Тетушка Рауза, ударившись в воспоминания, взяла разгон и, похоже, останавливаться не собиралась. Переменила положение на скамейке, села поудобней, расставив ноги пошире. Неужели не видит, что Ихсанбай сегодня не в настроении, долго слушать ее не намерен? Чтобы отвлечь тетушку от воспоминаний, он вклинился в короткий разрыв в потоке ее слов, сказал одобрительно:

– Жарко ты печку натопила...

Чуткая к похвале, как барометр к состоянию погоды, тетушка Рауза обрадованно подхватила новую тему разговора:

– Топить-то я всегда жарко топлю, кустым-турэ*. Топить-то топлю... Только ведь сколько дров уходит!

– Это уж моя забота, Рауза-апай.

– Чья бы ни была... Сплошная канитель с ними, с дровами-то... А то и беда... Вон вчера вечером Ишмамат поехал за дровами, так ужас что с ним приключилось. И все из-за жадности Зарифы. Дров у них полон двор, а ей все мало. Из-за этого, говорю, бедняга Шангарей чуть отца не лишился, а сама Зарифа – мужа. Я, кустым-турэ, думаю, не проклятье ли старшей сестры на нее пало...

– Постой, ничего не понял!

– Что тут непонятного? Первой женой Ишмамата была старшая сестра Зарифы...

– Я не об этом... Что с Ишмаматом?

– Так разве я не для того начала рассказывать, чтобы объяснить, что и как? – В глазах тетушки опять мелькнула укоризна. – Думаешь, решила насчет Зарифы позлословить? Да хотя бы и решила, она того стоит. И у нее самой язык – я те дам! Тот еще язык. Говорят, когда

---

*К у с т ы м-т у р э – букв.: братишка-начальник.

семенное зерно очищали, насчет Гульбану трепалась. Мол, ее близнецы не от Уруса Хашима. Если, мол, не верите, на пальцах посчитайте, знаете ведь, когда Хашим ушел на войну и когда Гульбану родила...

Ихсанбая прошиб холодный пот, во рту стало сухо. Схватил графин с водой, налил в стакан, выпил.

— Рауза-апай, ты это... насчет Ишмамата...

— Я какырас* к тому и веду. С чего Зарифа взбеленилась? Пришла к ним Гульбану и говорит Ишмамату: «Это ты велел отобрать у меня корову, пойду с жалобой к районным начальникам». Ишмамат ей: «Моей вины тут нет, сосед твой, Ихсанбай-сельсовет, распорядился». Вот у кого ни стыда ни совести! Разве ж ты, Ихсанбай-кустым, по своему усмотрению лишил бы пищи малюток, сидящих, как птенцы в гнезде, разинув рты? Ты же понимаешь: Гульбану — жена фронтовика. Отправься она в район, чье слово окажется правым, если не ее?..

«Ишмухамет — хитрая лиса, — озлился Ихсанбай. — Мы же вместе обдумывали, как за счет конфискаций коров из личных хозяйств покрыть падеж на колхозной ферме. Правда, внести Гульбану в список должников предложил я. Тут и уполномоченный из района как раз нагрянул...»

— Рауза-апай... — прервал он тетушку, увлеченно, со смаком продолжавшую свой рассказ. Фу-ты, в голове все смешалось, что он хотел ей сказать? Ах, да! — Вот что, Рауза-апай, если про меня будут спрашивать, скажешь: поехал проверить, все ли ладно в кошарах, время сейчас неспокойное...

— Я тебе об этом и талдычу! Волков много развелось. Ишмамат на стаю нарвался...

Это прозвучало уже вслед Ихсанбаю, влетело ему в одно ухо, в другое вылетело. В мыслях вертелось: надо скорей догнать Гульбану, остановить! Если она поднимет шум и его, Ихсанбая, проделки раскроются, считай, пропал он. Районное начальство, конечно, по головке не погладит, но пострашней будет ярость вернувшихся в аул по ранению фронтовиков. Вон Мирхайдаров все ярится, перевешал бы, кричит, тыловых крыс. Попадись к нему в руки — за ширинку подвесит...

---

*Какырас — искаженное русское «как раз».

Тетушка Рауза и после того, как ушел Ихсанбай, не умолкла.

– Волки из балки, со стороны сенокосного надела Гульбану выскочили. Ладно еще Ишмамат запряг в сани солового жеребца. Кабы не жеребец, стал бы уже Шангарей круглым сиротой, а ты, Зарифа, вдовой, – продолжала тетушка Рауза, будто увидев за председательским столом жену Ишмамата. – Останься без мужа, поняла бы ты, какова она, жизнь одинокой женщины. Тогда, может, и сама двойню, даже тройню родила бы. А то осуждаешь других, забыв, что у самой рыло в пушку. Люди все помнят, всем известно: втюрившись в Ишмамата, ты кинула на каменку бани куриный помет, чтобы сестра твоя угорела и умерла. Одиночество... – Тут тетушка Рауза от жалости к покойной и к самой себе прослезилась, в носу у нее захлюпало. Вывернув подол платья, высморкалась. Затем, успокоившись, растянулась на скамейке, с трудом задрала ноги, чтобы отлила кровь, расслабила натруженное тело и, немного погодя, подсунув руку под голову, задремала. Поднялась-то затемно, притомилась.

* * *

Когда Ихсанбай пришел на конный двор, Хусаин, сын тетушки Раузы, собирался поить лошадей. Наверно, заартачится, откажется запрячь лошадь, пока не напоит. Хусаин предан своим подопечным всей душой, поэтому и приставлен к ним, но иногда его заботливость оборачивается помехой в спешном деле и, бывает, хочется шарахнуть его чем-нибудь по башке, иначе этого упрямца не переупрямишь.

– Хусаин, соловый жеребец на месте?

Хусаин с ответом не спешил, сразу видно: с левой ноги встал.

– Тебя, Хусаин, спрашиваю, соловый здесь?

– Соловый-то? – Хусаин цыкнул слюной сквозь зубы. – Он пезде...

Был Хусаин до службы в армии вполне нормальным парнем, а вернулся слегка чокнутым, что ли. Когда не в духе, ругается по-русски, выговаривая при этом «п» вместо «в». Одни в ауле считают это следствием конту-

зии, другие прослышали, что его при возвращении домой будто бы сбросили с поезда, оттого и чокнулся. Но все сходятся на том, что вселился в него лошадиный бес.

– Как же это он может быть везде? Соловый жеребец в колхозе один.

– Один, а как будто сто их, тысяча! – взвился конюх.

Ихсанбай подумал растерянно: совсем, видно, с катушек съехал. Сказал, стараясь сохранить спокойный тон:

– Не чуди, Хусаин. Запряги солового, кошевка у меня во дворе. Мне надо съездить в район.

– Псем надо! Псе его просят! Один вчера чуть не скормил его волкам! Вот вам соловый! – Конюх выставил руку из рукава полушубка, сложил пальцы в кукиш.

– Ты забыл, с кем разговариваешь?

Хусаин, видимо, понял, что председатель сельсовета рассердился не на шутку. Зыркнул глазами из-под надвинутого на лоб лохматого малахая и направился под навес, где висела сбруя.

Шагая по улице в сторону своего дома, Ихсанбай заметил, что ветер взметывает снежную пыль, гребни сугробов курятся. Буран начинается. Без тулупа в пути не обойтись.

Когда он зашел за тулупом в скотную избу, мать возилась с овечьей шерстью.

– Куда это ты собрался? – спросила она, посмотрев на него испытующе. – Буран вот-вот разыграется. Что за спешное дело в такую погоду?

– Во время войны все дела спешные. Знай свою работу, свяжи еще двадцать пар носков, – буркнул он и ушел.

Прежде, не так уж давно, перед дальней дорогой он просил у матери благословения, и она, пожелав ему доброго пути, подносила полную миску молока.

* * *

Уже не раз Ихсанбай задумывался о странной, на его взгляд, закономерности: чего бы, связанного с Гульбану, он ни коснулся, непременно наживает неприятности. Назначил, встретив ее на сабантуе, свидание, а в результате женился на Сабиле. Горьким последствием еще од-

ной встречи явилось рождение близнецов. Отобрали ее корову, и вот, невесть чем это еще обернется. И вообще, не Гульбану ли виновата в том, что его душа всю жизнь трепыхалась, как рыба, выброшенная на сушу? Впрочем, сваливать все на нее будет не совсем верно. Нелишне и в себя заглянуть. Он ведь чуть ли не с малых лет чувствовал себя раздвоенным, словно жил одновременно на двух противоположных берегах реки. На людях, на разных собраниях произносил здравицы типа: «Да здравствует партия, слава коммунистам!», а дома слышал о той же партии, тех же коммунистах: злодеи, мерзавцы!

Он хорошо помнит день, когда его приняли в пионеры. Вернулся домой, подпрыгивая от радости, похвалился: вот и он теперь будет носить красный галстук! А мать хмуро сказала:

– Было бы чему радоваться! Сколько уж душ эта удавка сгубила!

– Что ж мне, не носить его? – спросил Ихсанбай, растерянно глядя то на нее, то на отца.

– Придется носить, что поделаешь.

Но радость Ихсанбая уже угасла. Снял галстук с шеи, сунул в карман. Им велели снова прийти в школу, уже не на уроки, а на пионерский сбор. Вот тогда и повяжет.

После обеда он привычно забежал к Гульбану. У девчонки щеки пылали, как красный галстук, синие глаза сияли. Увидев Ихсанбая, она вскочила с места и, как наказывала им учительница, вскинула руку в пионерском приветствии:

– К борьбе за дело Ленина-Сталина будь готов!

Ихсанбаю пришлось тоже вскинуть руку, хотя он был без галстука.

– Всегда готов!

Вместе побежали на сбор. У школьных ворот Ихсанбай остановился, надел галстук.

Сколько уж времени с тех пор прошло! Ихсанбай давно привык жить лукавя, по необходимости носить на лице маску добропорядочного человека, как носил на шее тот галстук...

...Когда соловый жеребец, пофыркивая, достиг вершины горы, откуда предстояло спуститься в Глубокий лог, навстречу бешено ударил снежный заряд.

– Ах, черт побери!.. – ругнулся Ихсанбай и плотнее запахнул тулуп. – Ну и погода! Хоть обратно поворачивай!

В этот момент к шуму ветра примешался волчий вой и донеслись клокочущие звуки, злобное рычание. Можно было предположить, что звери грызутся меж собой из-за какой-то добычи. Соловый жеребец застриг ушами, затем резко попятился, встал на дыбы. Кошевка накренилась, Ихсанбай, вывалившись из нее, вцепился в оглоблю. Вожжи! Вожжи бы не упустить!.. Нет, не упустил.

— Выручай, скотинушка!

Лошадь развернула кошевку, наметом понеслась вниз. Лишь подъезжая к аулу, Ихсанбай опамятовался и почувствовал, что крепко сжимает в руке какой-то предмет. Оказалось, ружье. Он ведь, зайдя за тулупом, прихватил с собой и ружье. В груди у него потеплело. Оглянулся назад. Там, в серой мути бурана, невозможно было что-либо разглядеть. Но на всякий случай он направил ствол дробовика вверх и дрожащим мокрым пальцем нажал на спусковой крючок. Береженого, по присловью, и Бог бережет...

* * *

Мадина сбегала утром на ферму, напоила закрепленных за матерью телят, подкинула им сена. Вернувшись домой, развела огонь в очаге. Вскоре закипела вода в казане, по остывшей за ночь избе клубами поплыл пар. Налила вскипевшую воду в самовар, насыпала в трубу жаркие угли. Самовар запел, и в избе как будто стало теплей. Теперь можно бы сходить к соседке за братишками, но они ведь сразу запросят есть. А чем их накормить? Мать вечером замочила в миске немного пшеницы, да разве это еда? От нее только в животе пучит. Поискать, что ли, в подполе картошку, может, там сколько-нибудь найдет? Постояв в раздумье, спустилась в подпол, пошарила по углам, и вот радость: выковыряла из-под камней фундамента три картофелины. Теперь можно жить!

Мадина подбросила в очаг дров, опустила найденные картофелины в горячую воду и побежала к соседке.

— Пусть бы побыли у меня до возвращения матери, — сказала Магинур. Доброта ее тронула Мадину до слез.

— Уй, апай, ты и так уж... — Мадина, пряча глаза, склонилась к братишкам. — К вечеру мне опять надо на ферму... Мама, наверно, сегодня до района не успеет дойти, как назло, еще и буран...

— Ихсанбай рано утром выехал по большаку в ту сторону, может, подвезет ее.

— Хорошо бы... — Мадина обеспокоенно глянула на окна, по которым то и дело ударяли порывы ветра. — Апай, я уж опять принесу их к тебе. Покормлю и...

— Принеси, как же ты иначе-то? Я тем временем о скотине своей позабочусь.

С двумя мальцами на руках, расчихавшись в снежной круговерти, кое-как добралась Мадина до своей избы. И подумала, что вся надежда при такой погоде — на дяденьку Ихсанбая. Господи, хоть бы посадил он маму в свои сани!

Когда сварилась в казане картошка, Мадина растолкла ее, смешала с распаренной пшеницей и принялась ложкой совать эту еду в рот братцам. Судя по белым засохшим ободкам вокруг губ, Магинур уже напоила их катыком, но мальчонки все равно жадно разевали рты. Хоть и маленькие, а так много едят: то ли останется самой Мадине сколько-нибудь, то ли нет.

Неожиданно за ее спиной скрипнула дверь.

— Абау*... — удивилась Мадина, увидев вошедшую в избу тетушку Фаузию. — Из-за бурана я и не услышала, как калитка открылась. Проходи, инэй, вот у меня как раз самовар горячий... — Девочка всегда немного терялась под пронзительно-пытливым взглядом соседки, да еще смутилась оттого, что увидит она, какая скудная у них еда, но все же постаралась предстать перед ней радушной хозяйкой.

— А где мать? — спросила тетушка Фаузия.

— В райком ушла, в Таулы.

— Когда?

— Ночью еще.

— По какому... — в горле старухи будто застрял комок, и она с трудом его вытолкнула: — ...делу?

— Да насчет коровы. Мама говорит, не было у нас случая, чтоб налог не заплатили. А что корову отняли — это... подлость здешних начальников.

— Так ведь... буран разыгрался!

Затаенная злость Мадины, вызванной мыслью о том,

---

* А б а у — возглас, выражающий удивление.

что среди людей, забравших корову, был и сын этой старухи, выплеснулась наружу:

– Буран не буран, а они вот все равно есть просят!

– А чем это ты сейчас их кормила? – Мадине вопрос показался язвительным. Неужели старуха не видит, что она и так готова провалиться сквозь землю?

– Да им что ни дай, все едят, – пробормотала девочка.

Старуха приблизилась к мальчонкам.

– Аллах мой, до чего похожи!..

– Так ведь близнецы, – начала Мадина и осеклась, увидев, что лицо тетушки Фаузии стало мертвенно-белым. – Инэй, что с тобой?

– Воды... Подай воды, детка...

Старуха торопливо сделала несколько глотков из поднесенного Мадиной ковша и, приложив руку к сердцу, направилась к выходу. У двери, не оборачиваясь, сказала глухо:

– Возьми, что я в сенях оставила. Это вам...

Выйдя следом в сени, Мадина чуть не споткнулась об увесистый сверток. Развернув его в избе, обнаружила муку, толокно, сушеный красный творог, топленое масло и соль.

– Ата-ак... я даже спасибо сказать не успела! – Мадина кинулась к окошку, но ничего не увидела: стекла заледенели, на улице бушевал буран.

* * *

Войдя в свой двор, тетушка Фаузия едва отдышалась: ей не хватало воздуха, сердце билось неровно. Не сразу пошла в свою избу, осталась стоять у ворот еще и потому, что из-под навеса слышалась перебранка. Судя по голосам, скандалили там Ихсанбай с Хусаином.

– Жеребца в пену вогнал! – ярился Хусаин.

– Не ори! Не твой жеребец.

– И не твой – колхозный!

– А вот это понюхать не хочешь? – Должно быть, Ихсанбай поднес к носу конюха кулак.

– Псе хозяева! Псе командиры! – не унимался конюх. – До чего довели коня, приходившего на сабантуях первым! Уже запрягают его, чтобы дрова возить!

– Хватит! Марш отсюда!

— Разве так коня остужают? Не умеешь за ним ухаживать — не езди!

— Проваливай, тебе сказано!

Хусаин вывел жеребца из-под навеса, вскочил на него.

— Стой! Слезь!

— Счас!

Не обращая внимания на выкрики Ихсанбая, Хусаин направил коня к воротам и тетушка Фаузия раскрыла их перед ним. Разъяренный Ихсанбай рыкнул на мать:

— Зачем открыла? Служанкой к нему нанялась?!

— Да я возвращалась домой... вот и...

— Возвращалась! Откуда? Куда ходила?

Тетушка Фаузия, придя в себя, выпрямилась.

— Что это ты, сынок, как медведь, проглотивший ежа, кидаешься на людей?! На мать вздумал кричать!

Под властным взглядом матери Ихсанбай сник, почувствовал себя маленьким.

— Уж и слова не скажи...

— Где Гульбану?

— Какая Гульбану?

— За кем ты чуть свет помчался?

— Да я... только на стога съездил взглянуть...

— Если с Кукхылу что-нибудь случится!.. — Тут тетушка Фаузия смолкла, осознав, что впервые назвала при сыне настоящее имя дочери.

— Ты, кажется, начала бредить наяву, — пробормотал Ихсанбай и отправился в сельсовет, а мать побрела к своей избе.

* * *

Войдя в избу, тетушка Фаузия обессилела. Опустилась на край нар, приложив дрожащие пальцы к груди напротив сердца.

— Точь-в-точь такие же... — Из глаз тетушки Фаузии, давно уж, казалось бы, разучившейся плакать, горошинками выкатились слезы, потекли по лицу. Мальчонки Гульбану показались ей отлитыми с ее брата-близнеца, каким он был в младенчестве. Когда она, Фаузия, оставила дочку на берегу той реки, Ихсанбай был такой же

маленький, с синими, как васильки, глазами... Сибагат! Что заставило подчиниться тебе? Плетка? Или страх потерять обоих детей?

Молода еще была тогда Барсынбика, оттого и слаба. Правда, выйдя замуж за Дингезхана, двенадцать лет прожила бездетной. И почему-то в самое смутное время, когда все в мире вскипело, как в адском котле, Всевышний ниспослал ей сразу двух младенцев... Плачь, Барсынбика, плачь! Когда ты последний раз плакала?

Помнит она тот день, помнит. Случилось это спустя два месяца после того, как она с Дингезханом пришла сюда, в Тиряклы. Тогда мать Раузы была еще жива, пустила их поквартировать во вторую половину своего дома. Дингезхан сразу же приспособился катать валенки в ее бане, чинить-паять самовары, кумганы, всякую прохудившуюся посуду тиряклинцев. Барсынбика стала время от времени навещать бездетных женщин, чтобы помочь им, исходя из своего опыта, избавиться от бесплодия; могла и вывихнутый сустав на место вставить, и сердечную болезнь облегчить, и от испуга излечить — в свое время переняла у своей бабушки разные знахарские приемы, нашептывания и заговоры.

К Дингезхану пришел сам председатель сельсовета с просьбой принять на себя аульную кузницу. Дингезхан обещал подумать. Долго тянул с ответом, твердого решения без согласия жены принять не мог. А она все в окно смотрела и каждый день твердила, что надо отправляться дальше. Хотя и понимала состояние мужа: устал скитаться, хочет осесть, обзавестись хозяйством.

— Хороший дом нам сулят, — сказал он однажды, — может, останемся здесь?

Разговор этот начался ночью, выражения его лица Барсынбика не видела, но, судя по голосу, он уже утвердился в этом решении.

— Как тебе сказать... — Не говорит она определенно, уже привыкла таить свои мысли. А ему словно и в голову не приходит, что, скитаясь-перебираясь из аула в аул, Барсынбика ищет свое дитя. Хоть бы раз вспомнил он о Кукхылу, то ли оставшуюся лежать на берегу реки, то ли упавшую в воду! Единственное, о чем думает — как бы его не разоблачили. А Барсынбике не дает покоя услышанное шесть лет назад в ауле Атъетар: девушка, ни ра-

зу не замеченная с каким-либо парнем, можно сказать, непорочная, вдруг объявилась с младенцем и, дабы избежать позора, покинула свой аул. Куда она делась, никто не смог сказать, в сердце Барсынбики врезалось лишь ее имя: Шахарбану. Вот и из Тиряклов она рвалась в надежде напасть на след этой девушки.

– Что молчишь? – Муж перевернулся на бок, лег лицом к Барсынбике.

– А что я должна сказать?

– Надо в конце концов осесть где-нибудь.

– Я же не говорю, что не надо...

Признаться, аул этот пришелся Барсынбике по душе: рядом полноводная река с высокими осокорями по берегам, вокруг – горы, покрытые лесом. Конечно, для них, степных башкир, горы непривычны, но с другой стороны, эти горы и леса, казалось, могут оберечь, защитить их.

Барсынбика приподнялась, села, глянула, откинув полог, в окно. Полоска зари, такая юная, нежная, вдруг исторгла из каких-то глубин ее души щемящую грусть, и Барсынбика тихонько запела старинную песню:

Шубку заячью себе я заказала,
Чем, не знаю, поверху обшить.
Это лето я отлетовала,
Где, не знаю, зиму пережить...

– Ох!

Обернулась к мужу, а он лежит, уткнувшись лицом в подушку, стонет.

– Такая уж судьба нам выпала, Дингезхан, – сказала она. – Волею Всевышнего предначертанная.

– Не Всевышним она предначертана, Барсын, а Иблисом!

– Терпи. Ради Ихсанбая.

– Разве я не терплю? Сама видишь: терплю!

– Не один ты терпишь.

– Тебе что, ты баба...

– Не унижай меня, Дингезхан! Я из рода батыров, сложивших головы ради свободы отчизны. Прабабушка моя – Бандабика!

Задел муж гордость Барсынбики. Вот и напомнила о своей знаменитой прабабушке. Во время одной из давних смут напали на башкир калмыки. Старая Бандабика

сама, по своей воле, отправилась за угоняемыми в полон невестками и внуками, чтобы напоминать им на чужой стороне, кто они и откуда, а если удастся, вернуть их на родную землю. При воспоминании об этом на глаза Барсынбики навернулись слезы.

— Барсын...

— Молчи! Давно уж ты простился с женщиной по имени Барсын.

— Ладно, понял! — Дингезхан заелозил, сползая к краю нар.

— Подожди, я еще не все сказала.

— Хватит, а то Ихсанбая разбудим.

— Сердца у тебя нет...

— Ну сколько можно!.. — взмолился Дингезхан, повернув к ней расстроенное лицо.

И оба они надолго замолчали. Должно быть, последовали за покатившимися каждый своим путем клубками памяти. Когда-то связала эти клубки меж собой горячая любовь, теперь от них же веяло холодом отчужденности.

— Чем сегодня будешь заниматься? — нарушила молчание Барсынбика. — Кажется, остался у тебя заказ на пару валенок. Давай, закончи эту работу и...

— Есть дела и кроме нее.

— Какие?

Дингезхан поднялся, сунул руку в карман висевшего на гвозде полушубка.

— Вчера одна женщина принесла браслет, попросила закрепить в нем глазки. Вот посмотри-ка, похоже, золотой. С бирюзовыми глазками.

— Браслет с бирюзовыми глазками? — Барсынбика заволновалась. — Зажги-ка спичку!

...Он! Ее браслет! Тогда, перед бегством, спеленав детей, Барсынбика быстренько увязала в узелок свой праздничный наряд и украшения. По семейному преданию, ее прадед, совершивший хадж в Мекку, по пути купил в Бухаре два таких браслета. Один из них носила прабабка Бандабика, другой по наследству достался ей, Барсынбике.

— Кто тебе его принес?

— Сказал же: одна женщина. Имени не спросил. Бледная такая, хворой мне показалась.

— Когда закрепишь глазки, браслет отдашь мне!

— Никак Барсынбика вновь превращается в женщину? Уж не хочешь ли присвоить? — в голосе Дингезхана послышалась усмешка.

— Думай, что говоришь! Я владела пятью табунами коней, пятью мельницами, могла одеть в шелка и золото пять таких женщин, как сама, так неужто позарюсь на эту вещицу?

— Ай, отец мой небесный... уж и пошутить нельзя!

— Шути, да знай меру. Я хочу увидеть хозяйку браслета, верну его ей сама...

Когда Дингезхан закрепил камешки браслета, Барсынбика взяла его и, привычно надвинув на лоб черный платок, вышла на улицу. Первой, кого увидела, была Рауза. Она уже тогда нередко подменяла свою мать, работавшую в сельсовете или, как говорили в ауле, в канцелярии, — уборщицей и посыльной.

— Подожди-ка, Рауза! — окликнула ее Барсынбика.

— Я бы подождала, Фаузия-апай, да тороплюсь, — отозвалась та, но тем не менее остановилась и, сделав большие глаза, сообщила: — Ночью приехали люди с наганами, арестовали председателя, так я теперь одна за двоих работаю: и за себя, и за председателя.

— Я тебя надолго не задержу, — сказала Барсынбика, глянув по сторонам. — Послушай-ка, в ауле живет женщина по имени Шахарбану?

— Как же она может жить в ауле, когда у нее нет избы? На ферме она живет. Может, к весне колхоз избенку ей поставит. Это я со слов председателя говорю. У своих нет, так и ладно, а для пришлых начальники наши расстараются. Вот и для вас дом готовы построить. У Сибагата, говорят, руки золотые, коль решит осесть в ауле, будет ему дом.

— Рауза...

— Мне, апай, раз уж председателя увезли, долго с тобой разговаривать некогда. Я и в тот раз, когда увезли мугаллима*, тоже захлопоталась. Учила ребятишек различать буквы. А про то, что до мугаллима арестовали нашего муллу, я уж и не говорю...

— Рауза, сестрица, с кем живет Шахарбану?

— Атак-атак, с кем она может жить? Думаешь, каждой

---

*Мугаллим — учитель. Так по старой памяти называли учителей, получивших образование до Октябрьской революции 1917 г.

пришлой тут мужа приготовили? Как же, держи карман шире! Не то что чужачке с ребенком, своим девушкам в соку замуж не за кого выйти.

Малочисленность женихов в ауле — больное место Раузы. Конечно, понять Раузу можно: и сама она, и три ее сестры — незамужние. Но Барсынбика не дослушала ее сетования до конца, повернулась и пошла в сторону фермы.

Шла то ускоряя, то замедляя шаги. Сколько дорог, странствуя, она прошла, сколько рек пересекла не уставая, а тут вдруг обессилела, казалось, не сможет дойти до хуторка, расположенного в километре от аула.

Наконец показались длинные, низкие строения фермы и в сторонке от них — две избенки. Барсынбика не стала искать кого-нибудь, чтобы спросить, в которой из них живет Шахарбану, ноги словно бы сами понесли ее к нужной двери. В волнении и не заметила, как открыла ее, как переступила порог. Из темного угла на нарах, где горкой была сложена постель, послышался тонкий голосок:

На горе, где зайка скачет,
Мой Кукьян, сынок мой, плачет.
Масла дам — не умолкает,
Меду дам — не умолкает...

Эта напеваемая маленькой девочкой песенка чуть не свалила Барсынбику с ног, колени у нее ослабли, и она начала оседать на пол.

— Кукхылу! Доченька!..

Из-за подушки показалась черная головка.

— Я не Кукхылу... Мое имя Гульбану, моя мама — Шахарбану, а деток моих звать одного Кукьяном, другого — Бикьяном. Мама обещала мне сшить еще детку-девочку.

— А эту песенку... ты ее сама придумала?

— Наверно, мама... А я запомнила. Мама говорит, я плаксой была, не хотела сосать.

— Кук... Гульбану, а ты...

Тут открылась дверь, в избу вошла молоденькая женщина, скорее даже девушка, выглядевшая подростком.

— Уф, со свету ничего не вижу, или уж в избе так темно? Как ты тут, дочка? — Только проговорив это, Шахарбану увидела Фаузию, перед этим разговаривавшую с девочкой стоя у нар на коленях, а теперь поднимавшу-

юся на ноги. – Ах, у нас, оказывается, гостья! – Удивленно глядя на Фаузию, Шахарбану поспешно села на нары рядом с Гульбану, как бы выказывая готовность защитить ее от чужачки.

Фаузия медленно выпрямилась, достала из кармана браслет, протянула Шахарбану:

– На, Сибагат закрепил глазки.

– Спасибо! Сколько я должна?

– Ничего не надо. Будьте здоровы!

Фаузия вышла, ни слова больше не сказав девушке, в ноги которой должна бы упасть из благодарности за спасение своей дочери. Но не могла она открыться. Да и какую надо было бы иметь совесть, чтобы назваться матерью малютки, ради которой эта девушка покинула родной дом, пожертвовала своей девичьей честью и любовью родителей и близких?

Фаузия ушла с фермы не помня себя, не соображала, куда идет, что делает. При одном из просветлений сознания оказалось, что она, рыдая, рвет на себе волосы на кладбище. Зачем она пришла сюда? Попросить у Всевышнего смерти? Но для нее и сама смерть давно уже умерла. И разве для того столько лет она искала свою дочь, чтобы умереть, оставив ее на попечении этой хлипкой на вид девушки?

Она добралась до дома, где квартировали, когда в ауле уже засветились окна. Сибагат, удивленный тем, что жена, не раздеваясь, свалилась на постель, спросил:

– Где ты была? Роды, что ли, у кого-нибудь принимала? – Но ответа не дождался.

Три дня и три ночи Сибагат поил из ложечки впавшую в горячку жену. Готов был уже позвать какую-нибудь старушку, чтобы прочла ясин – отходную молитву, но не решился. Фаузия бредила, звала дочку и невесть что могла наговорить в бреду. Ихсанбай не понимал, в каком состоянии мать, целые дни пропадал на улице: сошелся со здешними ребятишками, играл с ними, пообвыкся. «Пусть играет, пусть подружится», думал Сибагат. «Не дай Аллах, чтобы и он испытал горькую участь изгоя, жил чужим среди чужих. И не дай умереть Фаузие». Что ему делать в этом мире без нее? Она ведь для него не только жена. Чья еще душа вместила бы в себя и выдержала все то, что случилось в его жизни, что он перенес и натворил? Как ни резка, все же близка ему лишь

она. Даже яд готов принять из ее рук Дингезхан, пусть только живет, не оставляет его один на один со страхом, порождающим мрачные, темнее ночи, думы, и сердцем, полным ненависти.

На четвертый день очнулась Фаузия, открыла глаза. И, увидев рядом неподвижного, как изваяние, Сибагата, подала голос:

— Вы тогда... и детей волостных начальников... зарезали?

— Барсынбика!

— Ответь на вопрос!

— Барсын... что осталось от твоего цепкого, как чилижник, и моего разросшегося, как крапива, рода? Ты видела когда-нибудь врагов, не отвечающих кровью за кровь?

— Проклятье пало на нас, Дингезхан! Вот это... я увидела...

И снова впала Фаузия в беспамятство. Но вскоре мало-помалу начала выздоравливать. И наступил день, когда она смогла подняться, сесть. Выпила немного бульона и, велев мужу присесть рядом, сказала:

— Я согласна остаться здесь. Место для дома я выберу сама. Только... — Фаузия непроизвольным движением руки сдвинула свой платок на шею. Не успел Сибагат удивиться тому, что волосы у жены стали белым-белы, как она, кольнув его взглядом, предупредила: — Отныне ты не будешь класть голову на мою подушку. Чтобы не пытался нарушить запрет, напомню: женщины тоже владеют ножом...

Сибагат, лишившись дара речи, смотрел на жену в изумлении. Нет, нет, это не она! Куда делась красавица, за которую он отдал косяк коней, до этого взяв верх в борцовском кругу и на скачках над всеми егетами, которые добивались ее руки и сердца? Перед ним сидела седовласая, со впалыми щеками и погасшими глазами старуха.

— Барсынбика! — Ошеломленный Сибагат, скользнув по краю нар, опустился на колени, попытался обнять ее ноги.

— Не прикасайся ко мне. Встань. Так будет лучше. Для нас обоих.

С этого дня супружеская близость между ними стала невозможной. Барсынбика превратилась в суровую повелительницу Фаузию, а Дингезхан стал ее тенью, ее бессловесным рабом Сибагатом.

...Думала Фаузия, что тогда выплакала все слезы, но нет, оказывается, еще остались. Не уберегла она Гульбану. Не успев вновь обрести свою Кукхылу, кажется, опять ее потеряла.

— Господи! Почему ты этой ночью лишил меня чутья? Ведь всегда, чуть скрипнет калитка Гульбану, я поднималась посмотреть, куда она идет. Почему, милостивый, на сей раз отказал мне в помощи?!.

Глава вторая

В Глубоком логу ветер не дул так сильно, как на открытой равнине. Хашим решил полежать в затишье, сбросил вещмешок и растянулся на очистившемся от снега, пригретом солнцем бугре. Немалый путь одолел он пешком с тех пор, как вышел из райцентра, нет-нет да стягивала икры судорога, пятки горели. Решил немного полежать, отдохнуть. Потом, перевалив через гору, напьется воды из родника Тенгрибирде. Чуть выше родника прежде был сенокосный участок его отца. Отца уже нет; кто, интересно, на этом участке косит? Наверно, его Ишмамат с Зарифой прихватили. Впрочем, это не так уж и существенно. Главное, что он, Хашим, жив и возвращается домой.

Немного погодя он приподнялся, сел. До смерти хотелось закурить, а махорка у него кончилась. Может, на дне вещмешка хоть табачную пыль на цигарку наскребет? Развязал тесемку, сунул руку внутрь — она ткнулась в мягкую теплую ткань. Подарок для Гульбану. В Ялте, выписавшись из госпиталя, пошел Хашим на городскую толкучку. Там какой-то чернявый мужчина, то ли цыган, то ли молдаванин, стоял с красивой цветастой шалью. Хашим уговорил его отдать шаль в обмен на немецкий кинжал с серебряной рукоятью... Гульбану, наверно, уже и не думает, что увидит его живым. Навалялся он в госпиталях: ранение, контузия, слепота... Врачи уже не надеялись, что выживет, а он выжил, воскрес и снова стал видеть.

Неподалеку застрекотала сорока, над самой головой каркнул ворон.

— Не каркай, не спеши! Хашим не просто с войны, с того света возвращается!

Солдат встал, улыбнулся, глядя на проклюнувшуюся возле кустарника травку. Почему он до войны не видел, не замечал эту красоту, не ценил эту землю, этот воздух, предпочитая суетную жизнь на чужой стороне? Теперь он хоть в травинку согласен превратиться, лишь бы оставаться здесь. «Ах, Гульбану, меня ведь тогда гнала из аула безысходность, я уходил из-за бессилия, из-за того, что не мог завоевать твое сердце!..»

Мысль о Гульбану заставила его вновь заторопиться. Вот ополоснет лицо водой из родника, напьется из пригоршни и пошагает к аулу, теперь уж недалеко...

Не зря родник когда-то был назван Тенгрибирде — Дарованный богом солнца. Вода в нем хрустально чистая, зимой не замерзает, летом не согревается. Жаждал этой воды Хашим в госпитале, после операции на легких, мысленно видел ее, набирал в пригоршню, пил и ополаскивался ею. Несколько суток, когда он находился между жизнью и смертью, родник вместе с ним боролся за его жизнь. И вот наконец Хашим наяву пришел к нему.

— Здравствуй, Тенгрибирде!

Хашим прикоснулся губами к воде, чуть-чуть подсоленной капнувшими в пригоршню слезами. Попив, почувствовал вдруг слабость, захотелось присесть. Глянул по сторонам, увидел выступавший из-под прошлогодней листвы белый камень, склонился к нему. Рука ощутила совершенно гладкую поверхность. Постой-ка, камень это или... Хашим разворошил листву, и его бросило в жар. Бэй, это же череп! Преодолев растерянность, Хашим сдвинул его с места. И убедился: да, череп. Человечий. Он еще не успел подгнить, потемнеть. Значит, смерть наступила не так давно. Судя по ровным, некрупным зубам, это была женщина. Хашим отшатнулся от неожиданной находки, голова у него закружилась. Ему показалось, что на него, оскалив в посмертной улыбке зубы, смотрит пустыми глазницами Гульбану.

— Таубэ-таубэ*! Нет! Нет! — Хашим кинулся прочь от родника, не решаясь оглянуться. — Причудилось, причудилось! — сорвалось с его побелевших губ. Сейчас он дойдет до аула и увидит Гульбану, живую, по-девичьи строй-

---

* Таубэ — заклинание, примерно соответствующее русскому «свят-свят-свят!».

ную, может быть, с грустной улыбкой, с какой она проводила его на войну...

* * *

Тетушка Фаузия проснулась в удивлении: беспробудно проспала всю эту ночь. Проснувшись, принялась вспоминать, что ей приснилось. Это был не совсем обычный сон. А может быть, и не сон? Может быть, в полудреме она вспоминала свое детство и свою бабушку Кукхыу?..

Кукхыу означает «Голубая вода», странноватое было у нее имя.

– Бабушка, почему у тебя такое имя?

– Оно тебе не нравится?

– Я просто так спросила. Ни у одной другой бабушки такого имени нет.

Фаузия, тогда – Барсынбика, и любила бабушку, и побаивалась ее. Знала: жизнь всего их рода вращается вокруг бабушки Кукхыу. Что бы ни случилось: у коров опухли соски, на овец напала хворь или чей-то ребенок плачет непонятно почему – все идут за советом и помощью к ней. Одних бабушка встречает приветливо, при этом ее морщины словно бы разглаживаются, глаза молодеют. А кое-кого она как будто слушает и не слушает, лицо ее мрачнеет, взгляд останавливается на какой-то видной только ей точке.

Сегодня – это Фаузие так приснилось – приехали муж с женой, сказали, издалека. Муж внес в юрту довольно большого мальчишку, жена обратила к бабушке полные мольбы глаза.

– Ради всего святого помоги, инэй! Малому одиннадцать лет, а все еще не ходит...

– Вижу, – сказала бабушка, хотя сидела закрыв глаза. – Прости меня, сестрица, не обижайся, я не могу вылечить этого мальчика.

– Господи! Сколько мук мы пережили, сколько рек пересекли...

* * *

— Понимаю... — Бабушка обернулась к занавесу, разделявшему юрту на две половины, распорядилась: — Айбагуш, утолите жажду путников. Скажи младшей снохе, пусть разожжет огонь, заложит мясо в котел.

— Инэй!.. — Приезжая женщина вновь, плача, обратилась к бабушке Кукхыу. — Вся надежда была на тебя, инэй.

— Понимаю, — повторила бабушка. — Вот что я должна вам сказать: если я его вылечу, пострадают трое ваших сыновей, оставшихся в кочевье, и ваш скот. Болезнь мальчика сдерживает действие проклятья, павшего на ваш род.

— Господи... — Женщина понурилась, муж ее тяжело вздохнул. Мальчик-калека, ничего не понимая, переводил взгляд то на мать, то на отца.

Кукхыу, вновь закрыв глаза, сказала:

— Мальчика не обижайте, в еде не ущемляйте, будьте с ним ласковы...

— А я в вознагражденье овцу привез... — сказал мужчина.

— Увезите ее с собой. На обратном пути вас ждет неприятность, откупитесь этой овцой.

— Тогда прощай, инэй!

— Прощайте.

Барсынбике, сидевшей за сложенной горкой постелью, стало жалко мальчика с грустными глазами и досадно оттого, что бабушка не помогла ему. Но сказать ей об этом она не посмела. А бабушка улыбнулась, будто ничего неприятного не произошло, и как бы продолжила начатый еще до приезда этих людей разговор с внучкой:

— Значит, мое имя кажется тебе странным?

Барсынбика осмелела, она знает: если морщины бабушки лучиками сходятся возле уголков глаз, можно разговаривать с ней без боязни.

— Я не говорила так. Я сказала, что у других людей такого имени нет.

— Послушай, Барсынбика, я тебе кое-что расскажу.

— Сказку?

— Сказки днем не рассказывают. Это очень-очень давняя история. Наши племена отдельными родами кочевали тогда близ Большой воды, далеко от здешних мест.

У них было много скота, и верховодили в родах женщины. Чтобы тот или иной род не ослабел, они устраивали состязания мужчин и сами выбирали себе самых сильных из них.

Но однажды Тенгри разгневался и наслал великую засуху. Все в степи выгорело, все источники воды иссохли, на скот напал мор. Сколько люди ни просили Тенгри ниспослать дожди, он не пришел на помощь. Лишь ветер свистел, как суслик в степи.

В отчаянном положении оказался и род наших с тобой предков. Рядом было голубое море, но вода в нем соленая, пить ее невозможно. И начал род вымирать от голода и безводья, раньше всех гибли дети. «Все погибнем, – говорили люди. – От Божьего гнева нет спасения. Это – наказание за набеги на соседние племена и роды».

Женщина по имени Тыумарас, возглавлявшая род, ночью, сидя у изголовья заснувших сородичей, погрузилась в глубокое раздумье. Не раз спасала она свой род от разных бед, но сейчас сковала ее безысходность. Вдобавок под сердцем носила она двух близнецов. Если они появятся на свет и тоже погибнут, весь род будет обречен на исчезновение. Больше уж не сможет она рожать детей, прошло ее время выбирать на состязаниях мужчин для зачатия младенцев, а просто ради того, чтобы потешить плоть, она с ними никогда не сходилась.

Когда она думала об этом, до ее слуха донесся звериный вой.

– Волки!..

Давно уж их не было слышно: как только началась засуха, они покинули степь. А это, должно быть, какая-нибудь проходящая стая, учуявшая запах их единственного еще не погибшего верблюда. Что если волки, свалив верблюда, потом набросятся на людей?

– О Тенгри! Помоги, просвети мой разум. Что мне делать, что делать?

Тыумарас темными, как ночное небо, глазами вглядывалась в утробу ночи, а там множились светящиеся точки. Волки прекратили выть, чуя близость живой плоти. Боже! Верблюд, поднявшийся на ноги, шумно рухнул на иссохшую землю. Или это разорвалось сердце Тыумарас?

Оно и разорвалось бы, будь единственным, но в ней ведь бились три сердца. А волки приближались, взяли

в кольцо кучку людей: от многолюдного рода осталось их к этому времени меньше двух десятков.

— Что же мне теперь, обратиться к крайнему средству? Услышь меня, мой Тенгри!

Тыумарас поспешно встала на колени, трижды ударилась головой о землю и выкрикнула магическое слово, которое когда-то услышала, однако никогда не произносила. В то же мгновение волки кинулись на людей, но оказалось, что это не люди, а валуны. А возле мертвого верблюда лежала Белая волчица...

Кукхыу подняла руку, погладила внучку по голове, а внучка прильнула к ней.

— Бабушка, если бы я знала, как Тыумарас, магическое слово, то превратила бы этого мальчика в птицу!

— Какая ты добрая, детка!

— Бабушка, а Белая волчица спасла людей и привела сюда, да ведь?

— Я притомилась, потом доскажу, иди поиграй с детьми.

— Как же мне с ними играть, я ведь сама уже бабушка, — удивилась Фаузия.

— Знаю, но все равно иди поиграй. Хорошо, что ты сменила имя, а то проклятье давно уж нашло бы тебя...

Тут прокричал петух, и Фаузия проснулась. Полежала немного, заново переживая вспомнившееся ей во сне. Поднявшись, глянула на другой край нар — Сибагата не было. Ах, старый мерин, верно, значит, люди говорят, что он повадился ходить к Раузе, теперь вот и ночевать у нее остался.

Тетушка Фаузия расстроилась, хотя уже много лет они с мужем были равнодушны друг к другу. Дрожащей рукой потянулась к кумгану, а в мыслях: как отвадить его от этой толстухи? Стыд-то какой! Хоть бы к бабе помоложе, поприличней прилепился что ли...

Не успела она, выйдя во двор, умыться, как открылась дверь другого их дома, оттуда высунулась взлохмаченная голова невестки.

— Кайнам*, твой сын опять ночевать не пришел.

Хотела тетушка Фаузия сказать в ответ, что мужья только от дурных жен на сторону бегают, но сдержалась. Во-первых, сама оказалась в таком же положении, во-вто-

---

*Кайнам — обращение к матери мужа.

рых, приучила себя выглядеть в глазах невестки всегда спокойной, уравновешенной. Тем не менее не смогла скрыть раздражение.

— Ах-ах, — ответила она, неторопливо наливая в ладошку воду из кумгана. — Не пришел, так не умирать ведь ушел. Зачем кричишь? А то выйди вон на улицу, там поори, что муж где-то загулял, пусть весь аул услышит!

— Я же не говорю, что загулял.

— Что ж, коли так, тогда и нечего ныть попусту, займись делом. Когда подоишь корову, смажь соски мазью, которую я тебе дала, чтоб молоко, как вчера, опять не высосала змея. — В ауле полагали: если корова возвращается с пастбища без молока, значит, его высосал уж, змея, в общем-то, безвредная. Тетушка Фаузия была такого же мнения. Вернувшись к своему крыльцу, она добавила к сказанному невестке: — В самовар вчерашнюю воду не наливай, сходи за свежей.

— Хорошо, кайнам, я так и сделаю.

Не любит Фаузия Сабилю и в то же время дивится ее смирению. Сколько ни обижал Ихсанбай, ни разу не уходила она, как другие жены, к родителям, да и вообще с родней своей не общается. В ауле злословят: «Фаузия заколдовала свою невестку». Но в этом отношении совесть тетушки Фаузии чиста: не было нужды напускать чары на женщину, и без того ставшую тенью Ихсанбая.

* * *

Сибагат проснулся с ощущением легкости во всем теле. Давно уж он такого не испытывал. Забавно: пошел он к сельсовету, немного выпив, последить за Ихсанбаем — в ауле судачат о нем, дескать, шляется по бабам, дома не ночует, ну и решил Сибагат выяснить, к кому сын ходит, да и сам влип в такую же историю. У сельсовета встретилась ему Рауза, он, во хмелю, шутки ради ткнул ее рукой в бок, она ответила тем же. Разбаловались, как молодые, сошлись его многолетняя тоска по женской ласке и ее неистраченная бабья нежность, и, в конце концов, обернулось это тем, что лежат они сейчас в одной постели, положив головы на одну подушку. Посмотри на них кто со стороны, стало бы этому стороннему наблюдателю

смешно, а они пригрелись, прижавшись друг к дружке, и им хорошо...

Пил Сибагат, крепко пил, старался залить тоску водкой, но не вышло.

Сколько уж воды утекло с тех пор, как Фаузия, любимая, отвергла его и словно окаменела. Теперь не горюет он ни из-за того, что лишился богатства и высокого положения, ни из-за того, что сын на него волком смотрит, ни из-за того, что спрятался от людей в закопченной кузнице и жил, как бы превратившись в бестелесный дух... Только покоя и ласки жаждал он и нашел их у глуповатой на вид, устрашающе толстой женщины. Вот она сладко спит, уткнувшись носом ему в подмышку.

— Эх, всегда бы так!.. — неожиданно для самого себя проговорил Сибагат.

Рауза открыла глаза, пухленькими пальцами сдвинула наверх упавшие на лоб пряди волос.

— Что ты сказал?

— Ничего. Спи.

— Уже рассвело... — Губы Раузы тронула виноватая улыбка. — Гляди-ка, заснула и не разбудила тебя.

— Хоть бы и разбудила, я б не ушел.

Рауза приподнялась, опершись на круглое, розовое предплечье, пытливо глянула на его лицо. Послюнявила палец, потерла черное пятно на его щеке.

— Хы... Оказывается, родимое пятно. Вроде бы прежде его не было.

— Было, теперь открылось. Я ж бороду сбрил.

— Зачем?

— Чтоб молодым выглядеть, а то, думаю, не будешь меня любить.

Рауза покатилась со смеху. Сибагат тоже рассмеялся и голоса своего не узнал — уже не помнит, когда последний раз смеялся, так давно это было.

Неожиданно раздался стук в дверь. Рауза рывком села.

— Уй, не то уж твоя старуха?!

— Не может быть... — Сибагат быстренько поднялся, потянулся к своим брюкам. — Лежи-лежи! Я сам...

Окна были занавешены, поэтому в комнате стоял полумрак. Когда Сибагат открыл дверь, в лицо ему ударили лучи восходящего солнца. Увидев незнакомого мужчину, Сибагат успокоился.

— Посыльная сельсовета здесь живет? — спросил незнакомец.

— Здесь.

— Пусть она живенько отыщет председателей колхоза и сельсовета, скажет: Камалетдинов велел отыскать. Я буду ждать их в правлении.

— Ладно, сейчас!

Камалетдинов посмотрел на Сибагата, приподняв бровь, как бы стараясь вспомнить, где видел его раньше, но не вспомнил, повернулся и пошел к калитке. Когда Рауза ушла, Сибагат направился не в сторону своего дома, а в переулок, где жила Зарифа. У нее всегда в запасе есть либо самогон, либо кислушка. Она с тех пор, как мобилизовали мужа в трудармию, приторговывает хмельным, и Сибагат частенько захаживал к ней, чтобы опохмелиться, пригасить терзающий нутро огонь, но сегодня, как ни странно, выпить его не тянуло, и задача у него была другая: найти Ихсанбая. Сам председатель райисполкома его требует. Худо дело, если Ихсанбай, оставшись на ночь у Зарифы, напился вдрызг...

Ворота были заперты изнутри. Сибагат посмотрел в щелочку. Ага, вроде бы дурачок Шангарей бродит во дворе.

— Шангарей!

В ответ дурачок залаял, прикинувшись собакой.

— Эй, не глупи, парень! Мне Ихсанбай нужен, он не у вас?

— Гав-гав-гав!..

— Брось!.. Так у вас Ихсанбай или нет?

— Гав... Убирайша, пока я тебя не укушил!

— Ну, хватит. Ты же не собака.

— А Жарифа говорит шабака. Она жаштавляет меня шпать в шарае. Будешь, говорит, хорошо охранять двор — буду кормить, нет — жначит нет.

— Ладно, открой ворота, я тебе за это хлеба принесу.

— Не обманываешь?

— Клянусь!

— А два кушка?

— Зачем тебе два куска?

— Я их мальчишкам Гульбану шкормлю. Они ведь мои. Гульбану была моей невештой, понял?

— Понял, понял!

– Чьи, жначит, мальчишки?

– Твои, Шангарей.

– Не врешь?

– Клянусь.

– Тогда открою ворота. А то Жарифа говорит: тоже мне, герой. Мальчишек, говорит, ветром надуло.

– Вот если вернется Хашим, укоротит ей язык.

– Жарифа Хашима не боится.

– Ну, отец твой, Ишмамат, вернется...

– Отец с наганом приедет. Жарифу – тох-тох! И твоего Ихшанбая – тох-тох! Ха-ха-ха!

Дурачок, хохоча, отпер калитку. Сибагат, войдя в дом, остолбенел: Ихсанбай валялся на полу в чем мать родила. А Зарифы не видно. Может, в другой комнате спит?

– Змея подколодная! – процедил сквозь зубы Сибагат. Придя в себя, потянул сына за голую ногу. – Эй, вставай! – Ихсанбай перевернулся на бок, но, кажется, не проснулся. – Ихсанбай, тебя Камалетдинов ищет!

– А?.. – Ихсанбай опять пошевелился, однако не мог открыть глаза. Сибагат, озлившись, взял стоявшее у печи ведро с водой и опрокинул его над сыном. – На, раз пьешь, не умея пить!

– Ай! Кто это? Отец?!

Сибагат не стал ждать, пока Ихсанбай оденется, ушел. Эх, видать, ошибся он, откупив сына от призыва на фронт. На глазах гибнет – не там, так тут под расстрел угодит...

Чем ближе подходил Сибагат к своему дому, тем неуверенней становились его шаги. Сейчас пронзит его мрачный взгляд Фаузии. Сказать она ничего не скажет. И сколько ни вглядывайся в ее лицо, не прочтешь в глубоко запрятанных глазах, не угадаешь по плотно сжатым тонким губам, что у нее на уме... Все отдал бы Сибагат в эти минуты, лишь бы не переступать свой порог.

* * *

– Мальчики! – Не обнаружив братишек дома, Мадина выглянула из сеней. – Янтимер, Биктимер, где вы?

Направилась было, чтобы поискать их, на улицу, но остановилась, увидев входящую во двор подружку.

— Ты что стоишь, как растерявшая цыплят клушка? — весело заговорила Галима.

— Мальчишки куда-то запропастились... — Мадина сразу заметила, что на подружке новое платье с крупными красными цветами по зеленому ситцу, и потянулась ущипнуть ее. — С обновкой тебя! Скрытная какая, ничего ведь не говорила...

— Хай, когда же могла сказать, тебя дома не застать!

Галима с нынешней весны сидит в правлении колхоза над бумагами — учетчицей ее назначили. Раз живет с отцом-матерью, сумела окончить седьмой класс и не мучается, как Мадина, на черной работе.

— В правление, — продолжала Галима, — начальство из района нагрянуло, так председатель меня оттуда выставил, вот я и пришла к тебе.

— Кто приехал-то? — поинтересовалась Мадина. У нее еще не угасла надежда вернуть конфискованную корову.

— А пес его знает, Камалетдинов какой-то. Ихсанбай-Сельсовет тоже туда пришел.

— Камалетдинов этот... не начальник ли района?

— Да ну их, начальников. Им не до нас, нам не до них. Идем-ка лучше в избу, что-то покажу.

— Галима...

— Идем, идем! Помнишь, я тебе говорила... — Хотя никого поблизости не было, подружка склонилась к уху Мадины. Мадину заинтересовали ее слова.

— Ну, идем...

Когда вошли в избу, Галима развернула небольшой сверток, извлекла из него вещицу, похожую на две пришитые друг к дружке шапочки для младенцев.

— Вот!

— Чья это вещь?

— Учительницы нашей, тети Сарбиназ.

— Уй... какая потешная штучка! А как ее носить?

— Вот же пуговичка на лямке, за спиной застегивается.

— Ты сама, что ли, попросила?

— А кто же? Сказала: посмотрим, чтоб такие же для себя сшить, и вернем.

— А из чего шить?

— Не горюй, есть из чего! — Галима вытащила из-за пазухи и развернула около метра белой ткани.

— Это у тебя откуда?

— Привезли на халаты для доярок миткаль, я и слямзила немножко.

— Ой, подружка, а если бы попалась?

— Не попалась же!

— Ну ничего ты не боишься!

— Э, если всего бояться!.. — Галима звонко засмеялась. — Мы бы с тобой даже слова «тоись» не знали. Давай ножницы, нитки с иголкой я принесла.

Всякие проказы и выдумки и прежде исходили от Галимы, и теперь так. Мадина привыкла во всем подчиняться ей. Еще в детстве, лет восемь-девять им тогда было, Галима подбила Мадину съездить на базар в Алайгир, дескать, научатся там у русских разговаривать по-ихнему. Отец ее, Мухаррям-агай, вняв мольбам дочери, посадил их к себе в телегу и повез. Выехали затемно, поэтому около десяти часов утра были уже на базаре. И Галима, и Мадина, увидев столько народу, поначалу растерялись. Мухаррям-агай остановил лошадь у забора, расслабил чересседельник и велел девочкам:

— Сидите тут, не спускайте глаз с лошади. А я постою вон там, поторгую. — И, взяв свой товар — сушеный корот да охапку чилиговых метел, ушел.

Как ни вслушивались Галима с Мадиной в доносившиеся с базарной площади голоса, толком расслышать отдельные слова не могли, стоял сплошной гул. И не могли различить, где они там, эти русские, — вон те выстроившиеся в ряд толстые тетки, что ли?

Несколько освоившись в непривычном для них месте, девочки обратили внимание на стоявшее неподалеку строение с вывеской. Галима соскочила с телеги.

— Пойду-ка посмотрю, что там.

— А если отец заметит, что ты ушла?

— Ну и пусть... — Галима приблизилась к строению и принялась читать, что написано на вывеске: — Ла... лав... ка... Мадина, тут написано «лавка».

На крыльце лавки появилась какая-то женщина, глянула с улыбкой на Галиму.

— Ты откуда, девочка? То есть чья будешь?

Галима, не понимавшая по-русски, сочла за лучшее поскорей вернуться к своей телеге.

— Что она тебе сказала? — полюбопытствовала Мадина.

— Разве сама не слышала? Сказала: тоись.

На обратном пути Мадина, глянув на подружку, огорченно вздохнула:

– Ни слова по-русски не запомнили.

– Хи! А «тоись»?

– Это слово и от тети Раузы можно было услышать.

...Теперь вот, когда принялись разрезать белый миткаль, вспомнилась им та поездка.

– Подружка, ты слышала, что ваш сосед, старый мерин, вытворяет? – спросила Галима.

– Кто, Ихсанбай?

– Нет, старший.

– Сибагат-бабай?

– Он самый.

– Нет, не слышала. Что же он вытворяет?

– К Раузе ходит.

– Ну и что?

– Уф! Неужели не понимаешь?

Мадина покраснела. Как легко Галима говорит о таких вещах!

– Какие только сплетни люди не выдумают!

– Сплетни! Пока жива Рауза-апай, никаких сплетен не надо. Сама она о себе рассказывает. Я, говорит, теперь как в сказке живу. Я – Зухра, Сибагат – Тагир, каждый, говорит, наш день, прожитый в ожидании ночи, сам по себе целая жизнь!

– Врет, наверно. Люди не поверят.

– Да как же не поверят, если старый хрыч даже бороду сбрил. – Галима вновь звонко засмеялась. – Сбрил, и на правой щеке у него открылось родимое пятно. Точь-в-точь похожее на этот... на русский крест.

Мадина вздрогнула, словно ей стало зябко. У Янтимера родимое пятно на правой щеке тоже похоже на крест. И у Биктимера на том же месте...

Галима, упиваясь своими сообщениями, не замечала, что Мадина то краснеет, то бледнеет, спешила выложить накопленные за неделю новости.

– Подружка, а наш председатель Мирхайдаров хочет, чтобы Ихсанбая прогнали с его должности.

Мадина опять вздрогнула. Когда она слышит имя председателя сельсовета, он представляется ей гифритом, чудовищем, которое играючи держит людские судьбы на кончике пальца и может распорядиться ими, как ему угодно.

– Ой ли... – засомневалась Мадина.

– Я сама слышала начало разговора Мирхайдарова с этим Камалетдиновым. Председатель-агай назвал Ихсанбая протухшим трупом.

– Иди ты!

– И представь себе, этот урод заходит ко мне, когда никого нет, и говорит: ах, поцеловать бы хоть раз райскую гурию, тоись меня.

– Ой, подружка... будь осторожна!

– Хи! Сама знаешь, кто мне нравится. – На смородинки глаз Галимы набежала грусть, правда, ненадолго. – Эх, может, он снова приедет на побывку?

– А у меня со вчерашнего дня дергается нижнее веко правого глаза. – Мадина, не испытавшая в последнее время ничего, кроме горестей, сообщила об этом встревоженно.

– А сны? Тревожные сны тебе не снятся?

– Вроде бы нет.

– Тогда все хорошо. Не к добру бывает, если дергается веко.

– Все же отнесу подаяние какой-нибудь старушке.

Галима посмотрела на подружку с жалостью. Что она отнесет? В избе пусто, хоть бы крошка хлеба нашлась...

* * *

Камалетдинов попросил показать ему схему пахотных земель колхоза. Рассматривая исчерченный неумелой рукой лист бумаги, четче представил себе очертания полей, мимо которых проехал ранним утром. Да, в хорошем месте, на плодородной земле стоит аул Тиряклы. Нынешнее Гнилое озеро когда-то простиралось над всеми угодьями колхоза. Должно быть, древние донные отложения обогатили здешнюю почву. Старики рассказывали, что до революции подводы с зерном шли на окрестные базары, в основном, со стороны Тиряклов. Да и сам он, Аюп Камалетдинов, в своем сиротском отрочестве, слыша толки об урожайности тиряклинских полей, мечтал увидеть их, когда вырастет, и вдоволь наесться хлеба. Но выпали ему иные пути-дороги, носило его по белому свету, даже в дальних странах с оружием в руках побывал. Вернулся в

родные места не по собственному желанию, а по велению партии, она сюда направила.

— Хорошая у вас земля... — сказал он, и эти слова вызвали у Мирхайдарова неожиданную реакцию.

— Что толку, что хорошая, если командовали здесь такие, как Ихсанбай, и все развалили! Ладно еще Ишмамат успел убраться, а то бы я его, паразита!..

— Товарищ Мирхайдаров, вы... всегда такой горячий?

У Мирхайдарова нервно подергивалась щека — фронтовая контузия напоминала о себе при сильном возбуждении, но замечание председателя райисполкома несколько остудило его.

— Виноват, товарищ Камалетдинов.

— Есть хозяйства, где дела обстоят хуже, чем у вас, — мягко заметил Камалетдинов.

— Все же и у нас нечему радоваться. Ишмамат... Опять же этот Ихсанбай... Разве он председатель сельсовета? Косячный жеребец, вот кто он! — опять разгорячился Мирхайдаров. — С людьми не считается, дисциплина в ауле только на страхе держится, но здесь же не штрафбат! От него, как от разложившегося трупа, зараза на других перекидывается...

Камалетдинов поднялся со стула, торопливо, подойдя к окну, свернул махорочную цигарку, закурил. Председатель колхоза продолжал что-то доказывать, Камалетдинов и слышал его, и не слышал — ушел в свои мысли. Почему-то не выходил у него из головы старик или, скорей, пожилой мужчина, открывший дверь, когда он постучался к посыльной сельсовета. Где он его прежде видел? Лицо вроде бы знакомое...

Тут вошел в комнату рыхлолицый, синеглазый человек с набрякшими веками, чем-то похожий на того старика. Надо думать, это и есть Ихсанбай Муратов. Перед поездкой Камалетдинов ознакомился с показателями здешнего колхоза за годы войны. Неплохие показатели. Не было случая, когда колхоз, да и сельсовет, не выполнили бы планового задания. За что же Мирхайдаров взъелся на Муратова? Каково было бы на фронте без крепких тыловиков? А почему, кстати, Муратов не был призван в армию? Судя по мешкам под глазами, у него, наверно, не в порядке либо почки, либо сердце...

— Здравствуйте, товарищ Камалетдинов! — поздоровался Ихсанбай. — Вы как-то... неожиданно нагрянули, без

предупреждения... Но я забежал в сельсовет, прихватил вот бумаги.

– Здравствуйте, товарищ Советская власть! – ответил Камалетдинов, улыбнувшись. – Я тут проездом. Присаживайтесь. Расскажите, как у вас идут дела, какие трудности испытываете.

– Трудности... без них, конечно, не обходится, но пока особо не жалуемся. – Ихсанбай, присев к столу, раскрыл принесенную с собой папку. – Вот итоги первого квартала. Здесь – сколько собрано у населения масла, молока, здесь – яиц, шерсти. Стараемся, товарищ Камалетдинов.

– Трудно народу живется?

– Как сказать... – Ихсанбай почесал затылок. – Народ к нехваткам привычен, терпит, а достаток его портит, люди начинают баловаться.

– Интересное рассуждение... – Камалетдинов усмехнулся. – Но ведь мы для того и стараемся, чтобы народу жилось лучше, не так ли?

– Знамо, так... – Ихсанбай запнулся. Он сразу понял, что Камалетдинов не тот орешек, который можно расколоть первым же укусом. С какой же стороны к нему подступиться? Во всяком случае, нельзя оставить вопрос без ответа, выказать растерянность при Мирхайдарове, который сразу, как только вернулся с фронта, возненавидел его, Ихсанбая. Поэтому Ихсанбай набрался решимости и попробовал подобраться с другого боку.

– Раз, товарищ Камалетдинов, печемся о народе, убавили бы нам плановые задания.

– К сожалению, не можем. Во многих других хозяйствах и сельсоветах положение сложней, чем у вас. Вот думаю собрать руководителей в райцентре, обменяться опытом. Поэтому останусь у вас до вечера. Хочу познакомиться с вашим хозяйством поближе.

– Тогда я пойду скажу, чтоб запрягли для вас лошадь, пусть ваша отдохнет, – вскочил Ихсанбай и направился к двери.

Мирхайдаров, посмотрев ему вслед, поморщился. Повернулся к Камалетдинову:

– Я велел жене приготовить чай. Насчет лошади тоже распорядился. Пока позавтракаем, пригонят к моим воротам.

Когда вышли на улицу, Камалетдинов, искоса глядя на председателя колхоза, сказал:

– Неладные у вас отношения с председателем сельсовета.

– А!.. – Мирхайдаров досадливо махнул рукой. – Тыловая крыса! Бабник!..

– Но показатели у него неплохие.

– Конечно, раз по семь шкур с людей сдирает.

– Все же... было бы лучше, если бы вы нашли общий язык... Кстати, утром я видел старика, схожего лицом с Ихсанбаем. Кто он?

– Наверно, это был Сибагат. Отец Ихсанбая. Кузнец.

– Кузнец, говоришь...

– Вот мы и дошли, товарищ Камалетдинов. Добро пожаловать в мой дом! – Мирхайдаров распахнул калитку и крикнул: – Сарбиназ, самовар у тебя готов?

* * *

Хашим кинулся прочь от ужасной находки как от огня и пошагал, забыв об усталости. Скоро он доберется до аула, идти совсем немного. Вон впереди зеленеет озимь, виден дым, поднимающийся из труб. Немного успокоившись, он оглянулся назад и... увидел Гульбану.

Она улыбнулась ему.

– Гульбану! Это я, Хашим!

Весь охваченный радостью, он рванулся к жене, ничуть не изменившейся. Те же глаза, та же улыбка, обнажившая ее ровные, жемчужно-белые зубы. Выходит, череп у родника ему привиделся, это была... как это называется... галлюцинация?

Он протянул руки, спеша обнять ее, но Гульбану исчезла. Хашим остановился в растерянности.

– Гульбану!!!

Ответило ему лишь эхо, рожденное его собственным криком.

Хашим обессиленно сел на мокрую землю. Сердце его стиснула невыразимая тоска, сознание мутилось, но и помутившееся, оно отчетливо подсказало ему: ее нет, она умерла. Гульбану умерла!!! Там, у родника, лежит ее череп... Он мысленно закричал: «Гульбану, я же вырвался из когтей смерти, чтобы снова увидеть тебя!» И это была правда. На фронте, придавленный обломками раз-

рушенного здания, чувствуя, что умирает, он покаялся во всем, что натворил в жизни, и просил неведомо кого дать ему возможность вернуться домой не человеком, так птицей, не птицей, так облаком и увидеть Гульбану хотя бы еще раз. «Гульбану, я ведь не успел получить твое прощение. Долго, очень долго возвращался...» – «Хашим...» – послышалось ему. Он лежал зажмурившись близ своего аула и боялся открыть глаза – откроет, и Гульбану опять исчезнет. «Ах, Гульбану, ты не дождалась меня, не простила!» – «Мое прощение, Хашим, в моих мальчиках, в близнецах». – «Я по твоим письмам обо всем догадался, все понял». – «Спасибо, Хашим!»

Минуту назад он хотел умереть, уйти в эту землю, но вдруг ему полегчало, неимоверная тяжесть, гора тоски, придавившая его к земле, словно бы улетучилась. Он сел. Какая-то сила возрождала в нем желание жить, побуждала взглянуть на окружающий мир доверчивыми, как у ребенка, глазами. Свет выглянувшего из-за туч солнца, упоительный весенний воздух, вибрирующий в вышине голос невидимого жаворонка – все это волшебным снадобьем вливалось в душу и заставило его подняться и направиться в сторону аула, все более ускоряя шаги.

Перевалив через пригорок, дорога пошла вдоль поля, засеянного озимой рожью. В конце поля – полоса кустарников, а там уже и первые избы.

Неожиданно Хашим заметил какое-то копошение у кромки поля. Там что-то шевелилось. Опять виденье? Хашим тряхнул головой, поморгал глазами. Нет, в самом деле что-то там шевелится. Из любопытства он направился туда, а существа эти, должно быть, заметив его, скрылись – то ли легли на землю, то ли забились в какую-нибудь яму.

Дойдя до примеченного места, Хашим с удивлением обнаружил двух затаившихся мальчонок. Если бы не светились на грязных рожицах ясные синие глаза, трудно было бы назвать их человеческими детенышами.

– Вы что тут делаете?

Один из них, зажавший в кулачке пучок зеленых ростков ржи, спрятался за спину другого, а этот, оказавшийся впереди, громко заплакал.

– Ну, я же вас не трону. Вы чьи?

Мальчики не ответили. Держась друг за дружку, они тихонько пятились, похоже, намеревались улизнуть от

чужого дядьки. Глянув на их следы на только что освободившейся от снега почве, Хашим понял, что они рвали зеленые ростки ржи. Зачем? Господи, они, наверно, голодные! От жалости в глазах у него защипало, в горле встал комок. И тут же вспыхнула догадка: да это же близнецы Гульбану, то есть его дети!

– Мальчики... мальчики мои!..

Он сгреб их в охапку, прижал к себе.

– Вы не бойтесь, не бойтесь! Я ваш папа...

Хашим почувствовал, как под его ладонями трепыхаются их сердчишки, поцеловал их в грязные щечки и заплакал. Будь ты проклята, война, будьте прокляты изверги, вынудившие детей есть траву! Плачь, Хашим, плачь... Это только начало, тебе предстоит еще выплакать немало слез за прежнее твое жестокосердие!

Держа мальчиков на руках, он спустился к речке, умыл их личики, затем развязал вещмешок, дал им по ломтю хлеба и по кусочку сахара. Мальчики тут же впились зубами в хлеб, быстро его съели. На сахар лишь посмотрели непонимающе.

– А это что?

– Сахар.

– Его едят?

– Можно и грызть, и лизать, и сосать. Для таких маленьких мальчиков, как вы, он очень полезен.

Мальчики заложили сахар за щеки, принялись с удовольствием сосать его. Хашим пошел в аул, ведя их за руки и чувствуя прилив новых сил. На душе у него стало так хорошо, будто и не было позади фронта и пережитых им мук, будто всю жизнь он вот так шел и шел, ощущая в ладонях теплые детские ручонки.

Он ни словом не обмолвился об их матери, ни о чем не спрашивал. Войдя в аул, не стал раздумывать, куда сперва направиться, – конечно, к себе, в избу Гульбану, а уж потом – в родительский дом. Оставил мальчиков на скамеечке у ворот, открыл, от волнения еле держась на ногах, дверь избы.

Сидевшая с шитьем на нарах девушка вскинула голову и как-то замедленно заелозила, чтобы спуститься на пол. Хашиму показалось, что он видит Гульбану. То же лицо, та же фигура. Только черные глаза – в отличие от синих у матери – выдавали дочь.

– Мадина!

Ему не сразу далось слово «дочка». До войны из-за своего вздорного характера он дочкой ее не называл — дескать, Гульбану не отдалась ему по доброй воле, не приняла сердцем, не в любви дочь была зачата, а потому она для него как бы неродная... Но сейчас перед ним стояла не тонконогая, прыгучая, как кузнечик, девочка, а почти взрослая девушка с очень серьезным, говорившим о пережитых страданиях взглядом. Что это она держала в руке? Кажется, лифчик... Да, повзрослела его Мадина.

— Дочка... — хрипло выдавил из себя Хашим, и по выражению ее лица понял, что ко всему пережитому ею добавилось горе, вызванное потерей матери. А когда люди в горе, разве не обнимутся они, не прильнут друг к другу?

— Отец! — вскрикнула Мадина, кинулась к нему, приникла к его груди.

Глава третья

Фаузия, услышав о возвращении Хашима, вновь впала в беспокойство. С дурным человеком связала судьба ее дочку. Теперь жаль ей внуков, наверно, обижать их будет. Почему-то вернулся к ним, в избу Гульбану. Хотя родители Хашима умерли и все их имущество перетащила к себе его сестра Зарифа, дом-то, сосновый, крепкий, стоит на месте, долго еще простоит, и на Хашимов век его хватит.

Терзают Фаузию горькие мысли, и нет конца ее думам. Будто мало было у нее горя — еще и характер Ихсанбая после рождения близняшек Гульбану испортился. А в последнее время он совсем озверел. Терпеть не может, когда мать отправляется в избу напротив. Как узнает, что отнесла она туда краюшку хлеба или миску катыка, так словно с цепи срывается. Не только сам за ней следит, Сабилю на то же настроил. Ох, дети, дети... Всех жалко. По присловью, пальцы на руке не равны, но какой ни укусишь — одинаково больно... Сабиля на глазах вроде бы уважительна, чуть не поет: кайнам, кайнам, а на самом деле настоящая шпионка и ябеда.

Сидит Фаузия, горюет, что не может помогать внучке и внукам, живущим всего ничего — на той стороне улицы. Ахти, задумавшись, забыла о сковородке, в кото-

рой поджаривалась в масле лепешка, она уже пригорать начала.

По избе поплыл чад, даже во двор, должно быть, просочился, – дверь распахнулась, раздался сердитый голос Ихсанбая:

– Что у тебя тут горит?!

Лицо у сына черней подгоревшего хлеба. Однако надо напомнить ему, что здесь по-прежнему командует мать, должен считаться с ней.

– Кухонные дела тебя не касаются, Ихсанбай.

– Меня в этом мире все касается! Где этот олух?

Фаузия чувствует спиной исходящую от Ихсанбая злобу, но с ответом не спешит. Положила на сковородку вместо подгоревшей новую лепешку. Неторопливо поправила тыльной стороной руки съехавший на глаза платок. Села поудобней, устроив ноги на стоявшей перед печью низенькой скамеечке.

– Что молчишь? Где, спрашиваю, старик?

– Старик, о котором ты спрашиваешь, сынок, между прочим твой отец и у него есть имя.

– Плевал я на него и на его имя! Хватит жеребца своего защищать!

– Опомнись, Ихсанбай! Мы с твоим отцом уже много лет не ложимся в одну постель. Ты смеешься над моим достоинством!

– Не я – весь аул смеется! Этот старый дурак сбрил бороду, выставил на смех и тебя, и меня. Пусть он, если сегодня же не приклеит ее обратно, добра от меня не ждет!

Ихсанбай ушел, яростно хлопнув дверью. Фаузие было видно через окно, что сын, нервно походив туда-сюда по двору, скрылся под навесом у сарая. О Господи, какие еще беды падут на ее голову?! Ах, Ихсанбай, если ты спьяну набросишься на отца, неизвестно, чем это кончится. Он ведь и убить может...

Спустя некоторое время заявился Сибагат. Глянула на него – вроде трезвый, но в самом деле без бороды.

– Бороду-то... бороду, старый ишак, зачем сбрил? Примета же твоя открылась, крест на щеке...

– Все! Хватит! Отбыл свой срок Сибагат! Надоело жить в страхе! Сыт по горло!

– Пожалуйста, не кричи. Ихсанбай в ярости. Пусть он пока не знает, что ты дома. Боюсь, невесть что натворит...

– Ты не за меня боишься, Барсынбика, все над сыночком безмозглым трясешься!

– В нем – твоя кровь. Ему продолжать наш род.

– Продолжать род... Ха! Дело нехитрое, волк тоже продолжает свой род, плодит волчат...

– Ты сошел с ума, Дингезхан!

– Во! Хан! Я – хан! Без славы, без богатства, а все-таки хан. Владею своей жизнью. Повелеваю своей судьбой. А ты – раба. Раба Ихсанбая, невестки, соседей, дурацких обычаев...

– На тебя напустили порчу, Дингезхан. Тебя...

– Наоборот, Барсынбика, с меня сняли порчу. Я заново родился. Заново начинаю жить.

– Перестань, чушь несешь!..

* * *

Ихсанбай решил проехаться верхом по полям. Этот Камалетдинов, шельма, успел один, без сопровождения, осмотреть поля. Что, интересно, высмотрел? Похоже, намеревается нацелить колхоз прежде всего на хлеборобство. Мирхайдаров – идиот, вообразил себя народным заступником. Если руководитель жалеет людей, считай, все пойдет прахом. Угодишь народу – не угодишь вышестоящему руководству. Надо же понимать: над каждым начальником сидит следующий начальник. У кого рука жестче, тот выше и поднимается. Вот он, Ихсанбай, показал бы, на что способен – жаль, знаний маловато. Мать с отцом его, единственного своего ребенка, держали при себе, боялись отпустить учиться на сторону. Впрочем, он и сам не трепыхался, не рвался из родительского гнезда. Чтобы трепыхаться, нужны крылья, а у него их не было, не выросли. Разве ж они вырастут, если тебя на каждом шагу одергивают, предупреждают: не делай этак, делай так, держи язык за зубами, а то услышат, донесут... Теперь вот Мирхайдаров... Попробуй выстоять, столкнувшись с ним, бывалым воякой, когда тебя самого до таких лет, как говорится, ни ветер, ни дождь не коснулись. И еще отец... Долго терпел Ихсанбай его пьяные выходки. Во время войны в ауле не было мужчин, которые могли бы взять его за шиворот и как следует встряхнуть. Сейчас другое время. А старик, черт бы его побрал, сов-

сем распоясался, ищет приключений... ладно бы, если только на свою голову...

Под копытами коня захрустел ледок и взбурлила вода. Ихсанбай переехал вброд речку, прихваченную у берегов ночным морозцем. Миновал полосу кустарника, и перед ним распростерлось ржаное поле. Неплохая нынче озимь, если не принимать в расчет всходы, задохнувшиеся в залитых низинках. Соскочил с коня, повел в поводу по краю поля, время от времени наклоняясь, чтобы лучше рассмотреть зеленые ростки. А это что такое? Всходы на небольшом участке поля были истоптаны. Собаки, что ли, свадьбу тут справляли? Нет, на влажной земле ясно видны отпечатки босых детских ног. Местами еще лежит снег, кто же мог в такую пору отпустить босых детишек в поле?

Присевший на корточки Ихсанбай вскочил. Мадина! Ее щенки тут побывали! Мысль о близняшках, все еще живых, расстроила его. Желание осмотреть поля пропало. Ихсанбай вскочил на коня, развернул его в сторону аула, яростно ударил каблуками в бока.

* * *

Мадина, выйдя из помещения фермы, направилась домой не сразу. Постояла, как бы решив подышать весенним воздухом, хотя он припахивал здесь соломой, силосом и навозом.

Доярки поодиночке и парами расходились по домам. Пора и ей. Сегодня впервые ждут ее дома не только братишки. Как это странно: ее ждет отец. Отец... В детстве она смотрела на него исподлобья и уже не помнит, называла ли его отцом. Но не забыла, как он обижал маму. В детской душе откладывается прежде всего то, что ее ранит. Разве Мадина виновата, если в ее памяти оставили след лишь дурные черты характера и отвратное поведение Хашима?

Вчерашний вечер и ночь были напряженными. Днем Хашим выстругивал для мальчишек деревянных лошадок, смастерил игрушечную тележку. После вечернего чая лег спать, положив их рядом с собой. Мадина постелила постель для себя на другом краю нар, но глаз так и не сомкнула. Раздеться постеснялась, и тело не отдохнуло.

Хашим тоже ворочался, точно лежал на гвоздях. До самого рассвета Мадина слышала его тяжелые вздохи.

Как они уживутся под одной крышей, если он по-прежнему будет пить? Думает Мадина, думает и ни к какому выводу прийти не может. Все же надо идти домой, накормить... семью. Вчера соседка Магинур-апай, должно быть, по случаю возвращения Хашима принесла им ведро картошки...

Подходя к своей избе, Мадина увидела, что створки ворот сняты, под одним из столбов белела щепа. Понятно: отец, несмотря на то, что земля еще не оттаяла, выкопал покосившийся столб и, отпилив сгнивший конец, поставил его на прежнее место. К добру бы!

Занятая своими мыслями, Мадина не обратила внимания на раздавшийся за спиной топот копыт и едва не лишилась чувств с испуга, услышав рык:

– Мадина!

Соскочив с коня, помахивая плеткой, к ней подошел Ихсанбай.

– Ты почему, мерзавка, не следишь за своими щенками? Или сама их послала топтать озимь? Вот запру их за потраву вместе с телятами или пришибу, как котят!

Ихсанбай угрожающе взмахнул плеткой, но тут будто из-под земли возник Хашим, ударил его по руке, вторым ударом сбил с ног.

– Ах ты, сволочь!..

Ихсанбай, изогнувшись, дернул его за ногу, Хашим, едва не упав, все же успел сесть на него верхом, схватил за горло.

– Убью! Нет твоей подлой душонке места в этом мире, капут тебе пришел, Ихсанбай!

– Пусти... покаешься... – прохрипел Ихсанбай, задыхаясь. Его лицо побагровело, вены на висках вздулись, глаза выпучились.

Стоявшая рядом Мадина застыла в испуге, ни закричать, ни шевельнуться не могла. Но тут с ее отцом что-то случилось: он разжал стиснувшие шею Ихсанбая руки, посмотрел на них как бы удивленно, затем взглянул в небо, словно услышав оттуда чей-то голос, поднялся и попятился от поверженного врага.

Спустя какое-то время Ихсанбай пришел в себя, нашарил лежавшую рядом плетку, встал на карачки, выставив зад, успевший намокнуть в минуту пережитого ужаса...

* * *

Только было Фаузия вскинула на плечо коромысло с ведрами, собравшись сходить на речку, как перед ней предстала невестка:

– Атак, я же рано утром принесла воды!

– А разве я говорю, что не принесла? – отозвалась Фаузия, бросив на невестку взгляд исподлобья.

– Давай, раз надо, я еще схожу!

Понимает Фаузия, откуда в невестке такая прыть. Ихсанбай подстрекает ее следить за каждым шагом свекрови, пусть, дескать, старуха не таскает еду мальчишкам Гульбану. А у нее сейчас припрятаны за пазухой два ломтя хлеба для них. Но вот встала на пути Сабиля, готовая, как озлобленная сучка, цапнуть ее. Вообще-то Фаузия Ихсанбая не боится, лишь ради того, чтобы не поднимался в семье скандал, придерживает свой язык. Поэтому и сейчас, подавив раздражение, ограничилась объяснением:

– У тебя и так забот много. Хочу заодно почистить ведра, потереть их красной глиной.

– Сын твой опять обругает меня, скажет, заставляешь старуху воду таскать. Знаешь ведь его характер.

– Ничего не поделаешь, у каждого свой характер, – сказала Фаузия и вышла за ворота.

Эх, встретить бы мальцов близ речки! А то все никак не удается отдать им приготовленные для них гостинцы. Весть о возвращении Хашима не обрадовала ее. Если для единокровной Мадины он ласкового слова не находил, то как будет терпеть близняшек? «Гульбану, бедняжка моя, не знала я того, что творилось в твоей душе. Какое злосчастье заставило тебя нажить этих двух малышей?!»

Подходя к мосткам, чтобы зачерпнуть воды, вдруг увидела она, что из-под бережка высунулась круглая голова дурачка Шангарея. Не то уж он как есть, в одежде, барахтается в речке?

– Шангарей! – испуганно воскликнула Фаузия. – Что ты, божий человек, тут делаешь?

Дурачок поднялся из воды. Его трясло, зуб на зуб не попадал.

– Так что ты тут делал?

– Ы... Не шкажу. Шкажу, так ты Ихшанбаю наябедничаешь.

– С чего ты взял? Когда это я ябедничала?

– Ы... Ты ведь его мать.

– Ну и что? У него своя жизнь, свои дела...

– Дашь хлеба – может, шкажу.

– Дам, дам!

– А ты щаш дай.

Фаузия вынула из-за пазухи ломоть хлеба, протянула ему.

– На, Шангарей, для тебя не жаль.

– Дай ишшо, у тебя же два.

– Откуда знаешь?

– Жнаю. Один для Янтимера, другой для Биктимера.

– Кто тебе сказал?

– Никто. Шам жнаю.

– Ай, Шангарей... На и другой. Может, ты передашь хлеб мальчикам?

– Жнамо передам. Кабы я их не кормил, они бы давно там были... – Шангарей указал подбородком в сторону кладбища.

– Ладно еще ты есть... – Фаузие захотелось ласково похлопать это перепачканное тиной большеголовое создание по спине. Бедняга, тоже ведь человек, рожденный матерью в муках. Только вот живет сейчас у Зарифы на положении собаки.

– От отца нет вестей? – спросила она, но Шангарей не ответил на ее вопрос, продолжал свое:

– Они – мои, я их отец.

– Брось, еще Хашим услышит. Наверно, знаешь, что он вернулся?

– Пушкай ушлышит. Я ишшо до войны Гульбану у Хашима жа бутылку водки купил. Мальчишки мои, а Хашиму – во! – Шангарей показал кукиш.

– Ай, Шангарей, какой ты грубый! Бога бы побоялся!

– Шама-то не больно боишься.

– Почему?

– Почему-почему... На людей жнак штавишь.

– Что ты выдумываешь? На кого какой знак я поставила?

– Атак! На мужа, на Янтимера, на Биктимера. Я твой хлеб не ем, а то и на мою щеку крешт поштавишь, как им.

— Невесть что несешь, Шангарей! Ты, оказывается, недобрый...

— Нет, добрый! Я хочу выжволить Гульбану!

— Вызволить?.. — Фаузия почувствовала слабость, на лбу выступил холодный пот. — Она же умерла!

— Ы! Не умерла. Ты ее кошти видела? Где они?

— Той зимой много снега выпало. Весной полая вода бревна из аула унесла...

— В эту речку... В ней ишшо шабля одного швятого лежит. Никто ее не нашел, а я найду и выжволю Гульбану.

— Как это? Человека можно из тюрьмы вызволить, а она...

— Ее Ихшанбай вжаперти держит... Я Ихшанбая — кх, кх...

— Иди ты! — рассердилась Фаузия. Помолчав, уже мягче сказала: — Иди домой, обсохни, а то простудишься.

Глава четвертая

Ранняя весна кого-то в Тиряклах обрадовала, а кого-то и огорчила. Для крестьянина, у которого запас кормов иссякал, это, конечно, было в радость. Скот стали выгонять по утрам на луга, пусть что-нибудь там щиплет. Для начальства же пробуждение природы оказалось преждевременным: подготовка семян и посевного инвентаря еще не закончена, лошади истощены, надо подкормить, а время не ждет, коров запрягать, как во время войны, теперь не дело.

Ихсанбай должен как-то повернуть все это себе на пользу. Положение во всем районе примерно одинаково. У кого сейчас сил немерено или лишние семена найдутся? Но Год Кабана, говорят, приносит удачу, малость постараешься, поднапряжешься, так и авторитет свой укрепишь...

Выйдя из бани, домой он не пошел, решил посидеть на крыльце. Разнежился, обдуваемый легким ветерком, под лучами щедрого весеннего солнца, лениво поглядывал по сторонам. Вон как повеселело все вокруг: посвистывают скворцы, суетятся воробьи, под карнизом воркуют голуби; похожая на волчицу Кукбуре растянулась посре-

ди двора на солнцепеке, шесть щенков копошатся у ее сосков, спешат насытиться, пользуясь благодушием матери. А петух-то как важничает! Гребешок у него тугой, налит кровью, окрас перьев ослепителен. Ихсанбай чувствует, что петух его не любит, все посматривает искоса. Вот и сейчас, глянув на него так, взмахнул крыльями, яростно прокукарекал. Видишь, мол, кто ты и кто я. Затем хитро прикрыл глаза пленкой и издал тревожный горловой звук, будто увидел в небе коршуна, хотя никого там не было. Знает, подлец: такой звук – сигнал тревоги – заставляет кур искать укрытие, сбиться в кучу, а ему это и нужно для исполнения своей петушиной обязанности. И вот он, потоптав одну из хохлаток, удовлетворенно взлетел на ограду, снова прокукарекал, косясь на соседний двор. Соседи в прошлом году зарезали своего старого петуха, оставили молодого, и этот задира норовит помериться с ним силами.

Эх, была бы человеческая жизнь так же проста, как у этих птиц, у животных! А то ведь живешь и не знаешь, что еще на твою голову свалится. Надо же, проклятый Хашим, оказалось, жив. Какому дьяволу было нужно, чтобы он объявился спустя два года после войны? Едва успев вернуться, положил его, Ихсанбая, на лопатки. И поди, притяни его к ответу! Фронтовик проклятый!.. Из-за одной Мадины он так накинулся или кто-нибудь напел ему насчет близнецов? Но ведь Гульбану унесла тайну на тот свет...

И с отцом беда, свихнулся на старости лет. А прошлое – что рогожа: найди конец, потяни, она вся и распустится. Опасен стал старик, может лишнее сболтнуть, при таких обстоятельствах с тем, что он твой отец, считаться не приходится...

Да-а... со всех сторон грозят опасности. Мирхайдаров, пожалуй, не самая большая из них, но открытая борьба с ним может привести к тяжелым последствиям. Чувствует Ихсанбай, что не каменная опора у него под ногами, а зыбкая трясина, готовая разверзнуться под ним...

В бане скрипнула дверь, должно быть, Сабиля выходит. Представив голое тело жены, Ихсанбай поморщился. Иные о женах говорят: «Дар судьбы!», а для него Сабиля не дар, а швырок судьбы, больно ударивший по сердцу. Достанься ему жена поприличней, может, не плясал бы

сейчас под дудку Зарифы. Но и Зарифа – лишь средство потешить плоть, пустоту в душе не заполнит. Вот Гульбану... да что о ней думать, нет ее...

Мысли Ихсанбая оборвал шум. Ага, петухи на ограде дерутся! Соседскому, видать, вконец надоело бессовестное поглядывание чужака на его гарем, сам взлетел на забор. Ихсанбай хоть и видел, что его петух по всей вероятности потерпит поражение, вмешиваться не стал, пусть себе дерутся. Так уж устроен этот мир: кто сильней, тот и побеждает, а кто побеждает, тот и властвует.

* * *

Хашим после столкновения с Ихсанбаем долго не мог собраться с мыслями. Вроде и понимал, и не понимал, отчего впал в такую ярость. Оттого, что пришло время рассчитаться с мерзавцем за прошлое, или оттого, что к старому добавилось новое?

Правду, связанную с рождением Янтимера и Биктимера, он не знает. Но еще до ухода на войну он хотел, очень хотел, чтобы у него с Гульбану родился сын. Его желание дошло до Всевышнего: ниспослал сразу двоих. Неважно, каким образом это получилось. Как говорят русские, пути Господни неисповедимы. Хашим свое чувство к Гульбану перенес на мальчиков. Близняшки – его сыновья, и точка!

В Берлине, после того, как его, израненного, вытащили из-под обломков рухнувшего здания, во сне, длившемся по его прикидке около месяца, привиделся ему старик, который сказал: «Дома тебя встретят двое близнецов, ты прими их как дар небес и люби». Старик еще что-то говорил, но когда боль вернула Хашима в почти покинутый им мир, он все забыл. Потом были долгие месяцы на госпитальных койках, череда операций, мостики надежды, возвращавшие его из тьмы в сияние дня, наконец, выздоровление, – но ничто не восстанавливало в его памяти сказанного стариком-провидцем. После схватки с Ихсанбаем забытое каким-то чудом вдруг стало вспоминаться: как угольки в погасшем было костре, вспыхивали слова, прозвучавшие тогда во сне. Вспомнилось, что сам себе Хашим почему-то снился в образе мальчика

в длинной белой рубашке. В то же время он ощущал себя взрослым. «В ауле остался человек, которого я ненавижу. Он, проклятый, пытался отправить мою двенадцатилетнюю дочь на тяжелые работы, обрек семью на голод, лишив коровы. Если мне суждено вернуться домой и встретиться с ним, как погасить огонь, пылающий во мне?» — спросил он у старика. Ответ был краток: «Тебе помогут жена и дети».

Жена... Нет ее самой, но ее дух рядом. Хашим почувствовал вчера, насколько он, этот дух, силен. Вцепившись в горло Ихсанбая, он, должно быть, краем глаза видел Мадину, а показалось, что видит Гульбану. Она беззвучно шевельнула губами, словно бы сказала: «Не надо, погубишь себя, а ты нужен детям». И он подчинился, разжал пальцы, стиснувшие шею ненавистного ему человека.

Прежде, до войны, когда водился с городской шпаной, он ни в Бога, ни в черта, ни в духов не верил. И сейчас еще не до конца поверил в их существование. Но, вспоминая о том, как лежал заживо погребенным и выжил, ослеп и снова прозрел, оглох и снова стал слышать, чувствует он в душе смущение и готов признать, что мир объят загадочными неземными силами.

Однако надо думать прежде всего о земных делах. Пожалуй, придется съездить в райцентр, похлопотать о возвращении отнятой у семьи коровы — мальчонкам нужно молоко. Наверно, его там выслушают, поймут, к фронтовикам сейчас относятся уважительно. Только сам он не может понять: кому и зачем понадобилось обрекать детей Гульбану на голодную смерть? Впрочем, будет жив, так получит ответ и на этот вопрос. Ведь тот старик-провидец сказал ему: «Не выпытывай ответы у людей — время тебе ответит».

Хашим на случай оказии приготовил вещмешок: положил в него солдатскую фляжку, кружку, ложку. Несмотря на переезды из госпиталя в госпиталь, свои фронтовые пожитки он не потерял. Немного подумав, сунул в вещмешок и саперную лопатку. Не давал ему покоя череп, увиденный у родника Тенгрибирде. Надо выбрать время, предать его земле и насыпать могильный холмик.

* * *

А Фаузие не давало покоя услышанное у речки от Шангарея. Родимые пятна близнецов, такие же, как у Сибагата, ее не удивляют: чего только внуки не наследуют от своих дедов! Но вот то, что дурачок болтает об этом, вызывает тревогу. Мало этого, так он еще ищет саблю, чтобы расправиться с Ихсанбаем. Ну ладно, хоть и убогий, а все же человек, влюбился по-своему в Гульбану, но почему возненавидел не Хашима, ее мужа, а Ихсанбая?

Стараясь отвлечься от горестных мыслей, Фаузия занялась работой. Приготовила курмас, поджарив на сковороде пшеницу: она, пока горячая, вкусна и в таком виде, а остывшую можно истолочь и сварить не менее вкусную кашу; поставила кипятить воду, насыпав в нее размолотый овес, — затеет на отваре бузу*; достала с чердака сухой красный творог и сушеные ягоды, смолола ручной мельницей, чтобы смешать со сливочным маслом... Усмехнулась: «Будто к свадьбе готовлюсь!» Вроде бы увлеклась работой, забылась, но нет, опять предстал перед мысленным взором Шангарей. Попыталась успокоить себя: он ведь безумный, кто станет слушать его? Но в каком-то уголочке души затаилось несогласие с ее доводом, все свербило там и свербило.

Фаузие вспомнилось, что давным-давно, когда она собиралась выйти замуж за Дингезхана, такой же, как Шангарей, диуана, то есть дурачок, пристал к ее бабушке: выдай, дескать, внучку за меня.

— Барсын еще сорокадневной была помолвлена со своим женихом. Уговор свят, — принялась объяснять ему бабушка Кукхыу.

Фаузия (в то время Барсынбика), услышав их разговор, удивилась.

— Что это ты с ним разлюбезничалась? Почему не прогнала? — спросила она потом у бабушки.

— Нельзя, детка, обижать убогих.

— Хы, нельзя! Он ведь так не отвяжется!

Бабушка варила корот в большом, подвешенном над костром котле. Она передала мешалку Барсынбике, отойдя в сторонку, села на чурбак и заговорила задумчиво:

---

* Буза — легкий хмельной напиток.

– Всевышний наделяет людей умом и чувствами не в равной мере. Один, бывает, умен, но лишен чувств, у другого сильные чувства, да ума нет. Безумный тоже вправе любить, и сама любовь часто безумна, но ведь влюбленных за это не наказывают. Встарь еще было сказано: прервавшего путь змеи никто не осудит, прервавшему путь любви счастья не будет...

У Барсынбики от удивления глаза округлились.

– Бабушка, никак ты уговариваешь меня выйти замуж за дурачка?

– Глупенькая... У тебя есть нареченный, которому ты была обещана еще в младенчестве. Дингезхан...

– А раз так...

– ...ты должна попросить прощения у Сатыбалды. Отнесясь к несчастному высокомерно, ты совершила грех.

– Ах-ах, сейчас побегу к Сатыбалды, встану перед ним на колени! Дескать, прости, я сговорена с другим! – Барсынбика даже изобразила, как это произойдет: встала на колени и всплеснула руками.

– Не кривляйся! – посуровела бабушка. – Прощения можно попросить и мысленно.

...В разгар свадьбы Дингезхана с Барсынбикой разнеслась весть: диуана Сатыбалды бросился со скалы в пропасть.

Ладонь Фаузии, сжимавшая рукоять ручной мельницы, взмокла, сердце забилось неровно. Неужели бесчисленные горести, выпавшие на ее долю, объясняются сказанным тогда бабушкой Кукхыу?

Странная у нее была бабушка, и в словах, и в поступках не такая, как другие люди. Третья жена деда, она родила ему единственного сына, отца Барсынбики, погибшего на охоте. Отец разламывал в лесу трухлявый пень, намереваясь поджечь гнилушки, чтобы выкурить из берлоги медведя, но не успел, сверху, с дерева, на него прыгнула рысь. Неожиданная, зряшная гибель известного в округе охотника потрясла всех, кто его знал. Только бабушка Кукхыу, кажется, не уронила ни слезинки. После похорон сказала безутешно рыдавшей невестке, матери Барсынбики:

– Не плачь, килен, такова была его судьба. Карахан с малых лет не тяготился убийством живых существ, играл со смертью, оттого и лишился жизни невзначай.

Горько и мне, некому теперь продолжить наш род, осталась одна Барсын...

Барсынбика, уже носившая под сердцем Ихсанбая и Кукхылу, сказала ей в утешение:

— Не горюй, бабушка, я семерых сыновей рожу.

— Семерых? Как пришло тебе в голову это число?

— А что тут такого?

— Никто не знает тайну числа семь. В нем есть и единица, а чем она может обернуться — тоже неведомо.

Права оказалась бабушка: вместо обещанных семерых сыновей родился один Ихсанбай. И неведомо, чем это в конце концов обернется.

Тяжки думы Фаузии, и мысли порой путаются. Руки ее, способные избавить человека от семидесяти недугов, то безвольно опускаются, то еле заметно дрожат. Ей было бы легче, если бы старик ее не впал в сумасбродство. Как с ним быть? Ладно, попробует расставить перед ним приготовленные явства, он ведь все же потомок древних ханов, привычных к сытой жизни. Пусть хоть свои остатние дни проживет в довольстве. Захочет выпить, так пусть выпьет, все равно уж спился. Разве, кабы не спился, опустился бы до Раузы и сбрил бы бороду? Ай, как сглупил! Дураков не сеют, не жнут, они сами растут — не про таких ли, как он, это сказано? Не подумал о примете на лице. Даже дурачок Шангарей ее углядел. А если той ночью, будь она проклята, когда Дингезхан с сообщником зарезали волостных начальников, кто-нибудь уцелел, остался свидетель, запомнивший эту примету? Эх, Дингезхан, Дингезхан!

Ихсанбай тоже хорош, поперек все стоит, с отцом пререкается. Может, и из-за этого взбеленился старик. И Сабиля никак не может родить живого ребеночка. Бродит по пустому дому, как привидение, каждый год беременеет, и каждый раз через пять-шесть месяцев — выкидыш. Появись в семье малыш, была бы им, старым, радость, было бы утешение.

Вон рядышком — родная кровь, мальчики Гульбану словно срисованы с Дингезхана, Мадина — точь-в-точь Барсынбика в юности, да не в радость это. Если бы не запуталось все в их судьбе, Сибагат, наверно, не нарадовался, лаская внучку и внуков, а так, без деток, какой от

жизни толк? Вот и потянуло его в одну сторону, Ихсанбая – в другую, ищут отраду в разврате.

Вдобавок ко всему она сама спит мало, два, от силы три часа в сутки. Остальное время заполнить нечем. Работа уже не доставляет удовольствия: ради кого ей стараться? Прежде была забота – Ихсанбай, сыночек, но и он теперь душу не греет. И остается ей только смотреть в окно, на избу Гульбану, и думать о мальцах, иначе, наверно, сошла бы с ума. Надо бы их приодеть, но как это незаметно сделать? Мадина почему-то побаивается ее, смотрит отчужденно. Но все равно она, Фаузия, по мере возможности помогала и помогает им. Если вдруг разоблачат Сибагата, и ему, и Ихсанбаю – конец. О себе Фаузия не думает, ей и смерть не страшна, но кто без нее будет помогать Мадине и близнецам? Они ведь, правду сказать, только благодаря ей живы...

* * *

Сибагат, придя со двора, ополоснул руки водой из латунного кумгана. Распространившиеся по избе вкусные запахи щекотали нос. Сибагат посопел, пытаясь угадать, чем пахнет, прошел к нарам, сел. Фаузия молча расстелила рядом скатерть. Разговор хочет затеять, предположил Сибагат. Что ж, очень хорошо!

Фаузия выставила на скатерть разную вкуснятину: тут тебе и красный творог, и сушеные ягоды, вишня, черемуха, размолотые и смешанные со сливочным маслом. Запасливая у него жена, и готовить умеет, только вот охладел к ней Сибагат, опротивела она ему, надоел ее пронзительный, осуждающе-повелевающий взгляд. В ее черные глаза впечаталось, въелось прошлое, о котором не хочется вспоминать.

Если бы Сибагат не видел их, ему жилось бы проще. Почему он раньше не позаботился о том, чтобы избавиться от этого взгляда, от этих глаз? Других свидетелей своих былых дел он тут же устранял, но от Барсынбики не только не избавился, а даже стал ее тенью, ее покорным рабом. Эх, идиот! Зачем он обзавелся здесь хозяйством, зачем потратил золото, покупая свободу Ихсанбаю от фронта? Все из-за нее же, из-за старухи с ястребиным носом и глазами коршуна, она настояла, дескать, надо во

что бы то ни стало уберечь Ихсанбая, он должен продолжить род. Как же, продолжил! Кабы Сибагату выпало счастье потетешкать внуков, не была бы его жизнь такой отвратной. Ладно еще после стольких лет, прожитых в положении евнуха, подвернулась Рауза. С ней почувствовал себя как в раю. А Рауза размечталась: возьму, говорит, да и рожу сына. Только вряд ли в их годы это получится. Правда, в Сибагате, хоть уже и не молод, мужское влечение, оказывается, не угасло – лишь дремало, а теперь проснулось. Будто запертая до поры до времени вода прорвала плотину и, попробуй, останови ее! Но что делать с этой старухой? Не даст ведь она просто уйти и предаться беспечной жизни. И так и сяк прикидывал Сибагат, но не находил способа избавиться от нее. А если ночью, когда она уснет, положить на ее лицо подушку?

Занятый своими мыслями, Сибагат к еде еще не притронулся. Фаузия, присевшая напротив него и вроде бы задремавшая, вдруг вскинулась:

– А? Что ты сказал?

Сибагат вздрогнул, растерялся, но быстро взял себя в руки.

– Ничего я не сказал, молчу.

– Что-то в сон меня клонит, почудилось... – Фаузия наполнила из чайника чашку, стоявшую перед Сибагатом. – Выпей-ка вот травяного чаю, спать будешь крепче. Пасмурно сегодня, душно, все тело ломит...

Сонливое состояние Фаузии возбудило в Сибагате злую решимость исполнить только что мелькнувшее в мыслях намерение, удары его сердца участились. Чтобы скрыть волнение, он кашлянул, прошелся ложечкой по выставленным яствам, выпил чай. Сказал, не поднимая глаз:

– В дурную погоду, как говорится, хорошая еда в самый раз. Давно ты такое угощение не выставляла.

Фаузия вновь наполнила его чашку.

– Пей, пей и ешь в полное свое удовольствие. Я приберегала все это на случай, если Сабиля родит и придется принимать гостей. Но она опять лежит, схватившись за живот...

По мере того, как Сибагат пил травяной чай, тело его наливалось приятным теплом. Ему тоже захотелось спать. Что ж, поспит малость. А Фаузию сон уже совсем смо-

рил, не стала даже убирать посуду, прикорнула на нарах, положив под голову подушку-думку. В сумерках ее смуглое лицо казалось бледным, платок съехал на брови, под глазами — темные полукружья, должно быть, это тени от ресниц... Были времена, Барсынбика, когда и ты славилась своей красотой, были. Будь иначе, не вступил бы Дингезхан, уже в младенчестве помолвленный с тобой, в состязание с десятками егетов, мечтавших о тебе. Помолвка помолвкой, но надо было еще завоевать твое сердце, твою любовь... Однако всему свое время. Долго Дингезхан был привязан к тебе памятью о былой любви, долго терпел. Все, хватит! Спи спокойно, Барсын... Ты уже давно и сама не живешь, и мне жить не даешь...

Глава пятая

Камалетдинова разбудила боль. Ныли фронтовые раны. Хай, когда же они перестанут напоминать о себе?! Почему жизнь всегда была так немилосердна к нему? В шестилетнем возрасте он осиротел. Мало того, что осиротел, — своими глазами видел, как убили самых близких ему людей — отца с матерью. Кажется, только что, перед пробуждением, они приснились, жаль, Аюп не может вспомнить, с кем из них разговаривал — с отцом или с матерью. Почему-то в последнее время, проснувшись, он тут же забывает, что ему приснилось, хотя помнит: что-то снилось. Досадно. Всю жизнь для него пусть и небольшим, а все же утешением было видеть родителей во сне.

За окнами — ночь. Безлунная, непроглядная. И тогда, той проклятой ночью, было вот так же темно. Помнит, как постучали в дверь. Аюп еще проснулся первым, разбудил отца. Отец, прежде чем подойти к двери, вдруг толкнул его за печь, прошептал:

— Тс-с... Постой там смирно.

Едва звякнул откинутый дверной крючок, как дверь распахнулась, и отец, коротко охнув, упал. Кто-то перескочил через него.

— Газиз!.. — вскрикнула мать и умолкла.

Вспыхнула спичка: в руке человека, который зажег ее, был нож. Тут же вспыхнула вторая спичка. Убийцы бегло оглядели комнату.

– Сматываемся, больше никого тут нет, – сказал один.

– Постой...

– Пошли, пошли! Мы должны заглянуть еще в три дома...

Когда они ушли, испуганный Аюп не сразу вылез из-за печи. Потом заметался, плача, между трупами отца и матери. К рассвету весь перепачкался в их крови. Его старенькая бабушка, жившая в другом доме, рассказывала ему об ангеле смерти Газраиле. И он решил, что его папу и маму зарезали именно они, Газраилы. Так и сказал утром людям с револьверами:

– Пришли два Газраила. У них были голоса дяденек.

– Как они выглядели? Ты видел их лица? – спросили у него.

– Да. Они зажигали спички.

– Раньше тебе не доводилось видеть их где-нибудь?

– Нет.

– А мог бы узнать кого-нибудь из них, если бы снова увидел?

Аюп призадумался. У одного на щеке он заметил пятно, похожее на что-то знакомое. Вспомнил: однажды он с отцом и матерью ездил в город и там заинтересовался необычным домом. Спросил у отца, что это за дом. «Церковь», – ответил он. – «А что там, наверху?» – «Крест».

– Да, – сказал Аюп человеку с револьвером на боку. – У одного на щеке – крест.

– Крест?!

А сейчас Камалетдинов вдруг вспомнил, что ему приснилось. Вот они идут по городу... Мама ведет его за руку... Проходят мимо церкви... Мама другой рукой указывает на крест... Стоп! Ведь недавно он видел человека с подобной приметой на щеке! В холодном поту Камалетдинов приподнялся на постели, сел. Из соседней комнаты слышалось ровное дыхание Абдельахата. Разбудить его, что ли? Тоскливо сидеть одному в темноте, веря и не веря неожиданной догадке.

– Ахат!.. Абдельахат!..

Тот мгновенно проснулся.

– Что, Аюп-агай? Что случилось?

– Сон мне приснился...

– Сон? – Абдельахат вышел из своей комнаты, нашарил в темноте стул. – Что за сон?

– Зря, наверно, я тебя разбудил...

– Ничего! Закурим?

– Давай... Понимаешь, заехал я на прошлой неделе в Тиряклы...

– Знаю.

– Ты ведь оттуда, а не спросил, что и как там. Никого, что ли, у тебя там нет? Родных, близких?

– Нет... Сейчас нет, Аюп Газизович.

– А раньше были?

– До войны я там на хуторе свинарем работал. Жил с одной семьей в избе.

– И где же она теперь?

– Шахарбану-апай умерла. Ее дочь, Гульбану... – О трагедии, случившейся с Гульбану, Абдельахат услышал, вернувшись с войны. Вот ее он мог бы назвать близким человеком, хотя сама она об этом и не знала. – И Гульбану погибла.

– Погибла?

– Да. На волчью стаю нарвалась.

– Ты мне ничего о ней не говорил.

– А что я мог сказать? Она замуж вышла за другого.

– Дети у нее были?

– Дочка. Теперь, наверно, уже выросла.

Перед мысленным взором Абдельахата предстала Гульбану, молоденькая, какой он ее впервые увидел, – гибкая девчонка с грустными синими глазами и длинными черными ресницами. Зачем ей надо было родиться красавицей? Лишь для того, чтобы промучиться всю жизнь и принять мученическую смерть? Если б не была она такой красивой, у Абдельахата, может быть, хватило бы смелости признаться ей в любви. Впрочем, все равно не хватило бы, ведь был он тогда совсем еще мальчишкой...

– Абдельахат, тебе надо съездить в Тиряклы.

– Зачем?

– На разведку, старший сержант.

– Слушаю вас, товарищ генерал-полковник!

– Лучше уж сразу в маршалы произведи, – усмехнулся Камалетдинов, опуская босые ноги на пол.

– По нынешней должности ты если не генерал, то уж точно полковник. А в среднем получается генерал-полковник...

Отношения у них сложились непринужденные, допускавшие такого рода шутки. После демобилизации из ар-

мии Абдельахат, не имевший ни кола ни двора, приехал по закону фронтового братства к Камалетдинову посоветоваться насчет устройства на работу. Аюп Газизович ему не только по этой части помог, еще и предложил пожить в своей холостяцкой квартире.

— Ладно, шутки шутками, а дело предстоит серьезное, — сказал Камалетдинов. — Потому я тебя и разбудил. Дело такое. Сон навел меня на мысль, что один из убийц моих родителей живет сейчас в Тиряклах. Надо осторожненько выяснить, что за человек тамошний кузнец, откуда взялся...

* * *

После собрания Ихсанбай вышел на улицу в подавленном состоянии. Крепко досадил ему Мирхайдаров. Гляди, как разошелся! Дескать, они кровь проливали, а тем временем некоторые руководители тут ударились в разгул. Пьянствовали, склоняли солдаток к «любви», отбирали у семей фронтовиков коров, обрекая детей на голод. Все это адресовалось Ихсанбаю, но его имя не было названо, и он не мог встать и опровергнуть брошенные ему обвинения, сидел будто приклеенный к скамье.

А разве он не знал, что сказать в свою защиту? Взять ту же историю с конфискацией коровы. Район требовал все больше мяса и план по молоку не уменьшал. Складывалось положение как у девицы, которая должна и родить, и невинность при этом сохранить. Невыполнение плановых заданий считалось пособничеством врагу, слабохарактерных руководителей хозяйств судили и приговаривали к расстрелу. Об этом сообщалось в газетах. Что было делать Ихсанбаю? Конечно, приходилось и хитрить, обманным путем для пополнения колхозного стада отбирать коров у тех, кто не мог постоять за себя. Что да, то да — был жесток, зато шло государству и мясо, и молоко, и зерно. Лозунг «Все для фронта!» истолковывался в буквальном смысле, и в пору уборки урожая, когда на токах накапливались горы зерна, тем, кто его вырастил, не позволялось взять для себя даже горсточку — народ питался вареной травой, в лучшем случае забеливая ее катыком. Возвращавшихся с работы колхозников и колхозниц обыскивали, дабы не прятали зерно в карманы или

другие потаенные места, ничего не уносили домой ни с поля, ни с фермы. Разоблачили в воровстве двоих-троих, отправили в тюрьму, после этого никто больше не осмеливался воровать...

Пьянствовали, дескать... Ну, случалось. И с солдатками баловались. Ихсанбай тоже не пренебрегал тем, что само шло в руки. А фронтовики что, святыми с войны вернулись? Человеческую натуру не переделаешь!

У Мирхайдарова доказательств нет, пользуется слухами. А если копнет поглубже? Заявил сегодня: «Надо на следующем собрании рассмотреть вопрос о правомерности пребывания некоторых товарищей в рядах партии». Если дело и дальше так пойдет, считай, пропала твоя головушка. Тут еще и отец... Как-то обронил, что Камалетдинов больно пристально его разглядывал. Почему-то старого шайтана это испугало. Ни он, ни мать не любят вспоминать о своем прошлом. Похоже, было у них там и кроме взятки что-то такое, чего они сильно опасаются. Невесть что еще и с этой стороны может всплыть...

Дойдя до переулка, где живет Зарифа, Ихсанбай остановился в раздумье. Зайти к ней или нет? Идти домой не хочется. На кислое лицо Сабили, этой занозы в сердце, смотреть противно. Опять, кажется, собирается родить мертвого ребенка. Интересно получается: Сабиля не может выпросить у Аллаха хотя бы одного живого младенца, а Гульбану после единственной короткой встречи родила сразу двоих. Теперь вон подрастают живые доказательства вины Ихсанбая. Смой с их рожиц грязь, и никакого расследования не надо: его, Ихсанбая, копии.

Нет, все же надо идти домой, слишком уж сгустились тучи над головой.

Подавленный тревожными мыслями, Ихсанбай толкнулся в свою калитку. Обычно ее запирали изнутри на крючок, а сейчас она была открыта. Окна скотной избы не светились, хотя к этому времени мать всегда зажигала лампу. Что это сегодня с ними? Наверно, старый хрыч ушел к Раузе, а где же мать? Ихсанбай подошел к двери избы, прислушался. Ничего не услышал, тихо там.

Неожиданно в загородке у сарая кукарекнул петух. Так ведь их петух сдох, соседский его до смерти заклевал. Должно быть, курица кукарекнула. Говорят, не к добру это. Тем более, если она кричит по-петушиному

в сумерках, когда порядочные куры уже спят. Надо эту дуру завтра же зарезать. Только как ее отличить от других?

* * *

Абдельахат дал лошади идти на подъем по своей воле. За этим холмом – Глубокий лог. Дальше еще один подъем, и покажутся Тиряклы.

С тех пор, как Абдельахат приступил к работе в райцентре, прошло уже больше года. Давно хотелось побывать в Тиряклах, но что-то его останавливало. Собственно, ничего, кроме грустных воспоминаний, его там не ждало.

Сиротское детство... Голодный 1931-й год... Когда мать умерла с голоду, он был еще мальцом. Но Абдельахат хорошо ее помнит. Ведя его за руку и неся в другой руке его братца, младенца, она отправилась в город вслед за мужем, ушедшим туда в поисках заработка. Шли так, по пути останавливаясь в аулах. Мать там ходила по дворам, просила милостыню. Иные сердобольные люди наливали им катык, другие гнали прочь – сами, мол, голодны.

От жары ли, от голода ли братец запоносил. Дойдя до какой-нибудь речки, мать стирала испачканные пеленки и, повесив их сушиться на ветки деревьев, ложилась отдохнуть в тенечек. Раньше она была красивая, а теперь остались от нее кожа да кости.

– Потерпи, – говорила она Абдельахату, погладив его по голове иссохшей рукой. – Уже немного осталось. Отыщем в городе отца, и он принесет тебе много хлеба...

– А почему в ауле хлеба нет?

Мать молчит. А братец надрывается в плаче. Мать сует сосок в его разинутый рот. Братец соснет раз-другой и опять орет. Абдельахату хочется убить этого человечка со вздутым животом.

– Мам, давай убьем его!

– Да ты что?! Отсохни твой язык!

Абдельахату обидно: он сказал это из жалости к маме, а она его не поняла. Ведь если человек умрет, то есть не попросит. Вот и бабушка не просила. Лежала, вытянувшись, на нарах и молчала.

– Почему бабушка не встает попить чаю? – спросил тогда Абдельахат.

– Она умерла, – сказала мать.

...Младенец опять испачкал пеленки. Мать пошла к речке стирать их. Велела Абдельахату присматривать за братцем.

– Ладно, – пообещал он. Но как только мать ушла, углядел на дереве птичье гнездо и полез посмотреть, нет ли там яиц. В ауле он видел, как мальчишки доставали яйца из сорочьего гнезда и, разбив, высасывали, что в них было. Абдельахат, перебираясь с ветки на ветку, уже почти добрался до гнезда, как вдруг внизу раздалось собачье рычание. Откуда-то набежала свора собак. Оскалив зубы, рыча, они подпрыгивали под деревом, на которое взобрался Абдельахат. Затем их внимание привлек плачущий ребенок. Спустя минуту он умолк.

– Мама! Мама-а-а! – отчаянно закричал Абдельахат.

Пока мать выскочила с палкой в руке из-под речного берега, от младенца осталась лишь кровь на пеленках.

Много крови видел Абдельахат на войне. Сам был ранен, лежал в госпитале. Однако всякий раз, когда видит кровь, прежде всего вспоминается ему та давняя трагедия.

Отца они тогда не нашли. Кое-как перебивались в городе некоторое время, ночевали в каком-то бараке. Однажды утром мать не проснулась. Обозники, ночевавшие в том же бараке, знали историю их мытарств, один из них увез Абдельахата обратно в аул, к его тетке Нисе, горбатой сестре матери. У нее и вырос. Когда работал свинарем на хуторе, тетя Ниса тоже умерла. Потом призвали его в армию. На фронте командиром Абдельахата оказался земляк Камалетдинов. Это обстоятельство обоих обрадовало. Двое выросших в сиротстве людей быстро нашли общий язык. После войны Аюп Газизович посоветовал фронтовому другу попробовать свои силы в области культуры.

– Ты здорово играл на гармони, и голос у тебя неплохой, – сказал он. – Давай направим тебя на курсы культпросветработников, как раз из столицы способных людей запросили. Будешь поднимать культуру. Теперь, чтобы побыстрей залечить нанесенные войной раны, песня нужна.

Абдельахат согласился. Окончив курсы, прямиком приехал к Камалетдинову домой. С тех пор живут вместе. Стали друг другу опорой.

Сейчас вот едет Абдельахат в Тиряклы. К кому там заехать? В родном ауле обращаться насчет постоя в сельсовет неудобно. У тети Нисы жил он в соседях с Раузой-апай. Вот к ней, пожалуй, и заедет. Правда, как помнится, очень уж она болтлива, завтра же всему аулу станет известно, сколько у него пуговок на рубашке. Но с другой стороны, для выполнения поручения Камалетдинова как раз Рауза-апай и нужна: она все обо всех знает.

Итак, Аюпа Газизовича интересует отец Ихсанбая Сибагат. Абдельахат помнит его смутно. Видел всего один раз, когда приехал на кузницу подковать лошадь. Борода запомнилась и еще синие глаза. У темнолицых башкир глаза чаще всего черные, синие встречаются редко. А вот жену Сибагата, всегда ходившую в длинном черном платье, приспустив платок или шаль до бровей, Абдельахат отлично помнит. Он смотрел на нее с любопытством, смешанным со страхом. Как ее звали-то? Кажется, Фаузией.

И вот что еще связано в памяти с ней: впервые обнаженное женское тело Абдельахат увидел, став уже юношей, и это было ее тело. Запропастилась тогда куда-то лошадь, выделенная свиноферме. Два дня искал ее Абдельахат. Было это в середине лета, погода стояла знойная, весь народ дневал и ночевал на сенокосных лугах. Усталый, измученный жаждой, Абдельахат направился к речке, чтобы напиться. Прошел через заросли ивняка, раздвинул густые кусты и замер: посредине речки спиной к нему стояла голая женщина. Воздев руки к небу, она проговорила:

— Тенгри, помоги моей Кукхылу благополучно разрешиться! Очень уж тяжело она ходит, сохрани ей жизнь ради ее младенца!..

Вначале Абдельахат подумал, что это русалка. Ее распущенные длинные волосы рассыпались по воде, и течение словно бы уносило их. Покатые плечи, тонкая талия и полные бедра придавали ее фигуре сходство со статуей богини, которую Абдельахат видел в какой-то книге. «Русалка» неожиданно обернулась к нему. Прикрытый листвой, он даже дыхание затаил. Она его не заметила, а он с удивлением узнал в ней Фаузию. Вот тебе и старуха! То есть он считал ее старухой, а тело-то у нее, оказывается, вон какое налитое — теперь он видел и ее ту-

гие, стоявшие торчком груди. Удивительно, ему прежде и в голову не приходило, что обнаженное женское тело очень красиво. Если уж немолодая Фаузия столь привлекательна, то как же выглядят те, кто помоложе? Осторожно, стараясь не шумнуть, он шагнул назад, тихонечко ушел.

Пропавшую лошадь он обнаружил, вернувшись на хутор, — она сама объявилась там. Лошадь была частью реального мира, стало быть, и то, что Абдельахат увидел на речке, ему не приснилось. Одно лишь не поддавалось пониманию: Фаузия просила Тенгри сохранить жизнь Кукхылу, а в ауле не было никого с таким странным именем...

Выехав из Глубокого лога на гору, Абдельахат натянул вожжи. Впереди блеснул брод через речку, открылись взгляду луга, где он с тетей Нисой заготавливал сено. Сколько времени прошло с тех пор, а земля и речка все те же, ничего не изменилось, вон и старый осокорь стоит на берегу. Абдельахату здесь каждый куст черемухи был знаком. Нет, просто так проехать мимо этого места он не может, надо остановиться у речки, отряхнуться, умыться, немного отдохнуть.

У брода он напоил лошадь и решил сходить, оставив ее на привязи, к роднику Тенгрибирде. Самому лучше из родника попить, там вода вкусней. Шел туда, задумавшись, и вздрогнул, вдруг услышав:

— Абдельахат!

— Хашим?!

Вроде никого здесь не было, откуда он взялся?

Хашим протянул руку для рукопожатия:

— Привет, браток!

Он был в солдатской форме, недавно, что ли, демобилизовался? Хашим уловил вопрос во взгляде Абдельахата, понял его без слов.

— Так уж, браток, вышло, — сказал он. — Пока валялся в госпиталях, много времени прошло.

— Как ты теперь?

— Благодарение, как говорится, небесам, передвигаюсь на своих двоих. Слеповат, но вижу, глуховат, но слышу.

Абдельахат испытывал двойственное чувство: с одной стороны, перед ним стоял свой брат-фронтовик, с другой — этот человек был ему неприятен. Долго в свое время го-

ревал Абдельахат, узнав, что Гульбану вышла замуж за Хашима. Можно сказать, второй раз тогда осиротел.

— А куда сейчас держишь путь? — поинтересовался он из вежливости.

— В район, к начальству. По нужде...

— Пешком? Подвернулась бы, наверно, подвода.

— Может, и подвернулась бы, но мне надо было попутно одно дело завершить. Идем-ка, посмотришь...

Абдельахат последовал за Хашимом. Когда поднялись на взлобок над речкой, увидел свеженасыпанный продолговатый холмик земли, огороженный обкатанными водой камнями. С южной стороны холмика была вкопана стоймя каменная плита.

— Могила?!

— Да. Могила одной из жертв войны. Долго еще нам придется хоронить их...

Абдельахат присел на корточки, прочитал выбитую на плите надпись:

— Насибуллина Гульбану... Здесь?..

— ...Что от нее осталось. Должна же сохраниться память о ней.

— Красивое место ты выбрал.

— Если б это было в моих силах, я похоронил бы ее посредине райских садов. Вернее, если б это было в моих силах, не отдал бы ее смерти...

Абдельахат вскинул удивленный взгляд: неужто это прозвучало из уст Хашима, прозванного за беспутство Урусом?

— Я слышал, дочь была у Гульбану... у вас.

— Да, Мадина, она сейчас в ауле. Кроме нее, еще двое мальчишек-близнецов. Так что, браток Абдельахат, я — отец троих детей! — В голосе Хашима прозвучала гордость.

Они разговорились и довольно долго сидели у могильного холмика. Похоже, от прежнего зимагора* Хашима осталась лишь внешность, а внутренне он сильно изменился. Даже взгляд у него был совсем другой, из глубины глаз исходило тепло, которое растопило ледок в душе Абдельахата.

---

*Зимагоры — селяне, уходившие на зиму в поисках заработка на горные заводы Урала. Это слово приобрело значение бродяги.

Расставаясь, по-дружески пожали друг другу руки.

– Ты расскажи обо всем Камалетдинову, – наказал Абдельахат. – Зайди прямо к нему домой. Сошлешься на меня, переночуешь в моей комнате. Аюп Газизович – порядочный человек, тоже всякого натерпелся в жизни. Выслушает, поможет...

– И ты в ауле отправляйся прямо к нам, – сказал Хашим. – Мадина придет с фермы вечером. Скажешь ей, что со мной повидался. И насчет того, что знал Гульбану, расскажи... Ладно, пока!

Глава шестая

Рауза вечером забыла задернуть занавески, и ее разбудили лучи утреннего солнца, ударившие через окно в лицо. Она не спешила подняться, полежала, жмурясь, размышляя о своей теперешней жизни. Ее одержимый лошадьми сын давно живет в караулке, пристроенной к колхозной конюшне. Домой его, чтобы хотя бы в бане помылся, не дозовешься. И от матери отбился, и жениться не женится, совсем одичал. Даже затем, чтобы привезти дрова, Раузе приходится обращаться к посторонним людям, у сына один ответ:

– Не хватало еще мучить лошадей, им и так достается!

Причем отвечает он по-русски, Рауза понимает его с трудом.

К тому, что мать связалась с Сибагатом (а это ни для кого в ауле не секрет), сын отнесся равнодушно:

– Ладно, сама знаешь... Наверно, лучше, чем домовой...

Правду сказать, Рауза готова была сойтись хоть с домовым. Одиночество, говорят, к лицу лишь Аллаху. Сколько она прожила с тем татарином? Едва успела нажить с ним сына, да и тот ни то ни се, и не русский, и не башкир, не к Раузе душой прикипел, а к лошадям.

Несмотря ни на что, с чужими мужьями она никогда не заигрывала, совесть свою не запятнала. Все же был у нее сын, оберегала его от насмешек. А Сибагата к ней, наверно, Бог в мудрости своей неизреченной направил. Работая в сельсовете, при Ихсанбае, Рауза, естественно, общалась и с его отцом, но не то что завлекать, думать

о нем не думала. Он сам прилип к ней. Пришел и остался. Была, выходит, на то Божья воля. Вчера Сибагат предупредил: «Скажу этой карге и совсем переберусь к тебе». А та, видать, вцепилась в него, не отпустила. В Фаузие уже ничего привлекательного для мужчины нет, так зачем бы ей ерепениться? Если подумать, Сибагат теперь ее, Раузы, доля, и Фаузия, стало быть, пытается лишить ее этой доли. Нет уж, не выйдет! Раузе не остается ничего другого, как отстоять свое. Она потеряла своего татарина и довольно! Не хватало еще, чтобы отказалась от мужика, который сам влез в ее объятия!

Рауза встала, потянулась за висевшим на перекладине праздничным, обшитым лентами платьем. Обычно она надевает его, когда идет в гости, а сейчас наденет, чтобы пойти и забрать Сибагата... Камзол вот тесноват, не застегнуть, но ничего, зато позументы на нем золотом горят.

Выйдя на улицу, Рауза увидела вдали, на кладбищенском холме, людей, копающих могилу, и приостановилась. Поблизости не было никого, чтобы спросить, кто умер, — пошла дальше. Конечно, она побаивается пронзительного взгляда Фаузии, но ведь, по присловью, кто волков боится, тот в лес не ходит и сидит без дров. Сибагат — ее запоздалое счастье. Удивительно, как она до сих пор жила без него? Должно быть, верно говорят: чем человек старше, тем сильней любовь... Ага, Шангарей навстречу идет, надо у него спросить, он обычно все знает.

— Шангарей, ты что это не здороваешься?

— Гав, гав!

— Как это понимать?

— Я — шабака. Гав, гав!

— Пусть отсохнет язык у того, кто сказал, что ты собака! Я ведь ничего такого не говорила...

— Гав, гав!

— Шангарей, братишка, зачем люди на кладбище пошли? Что случилось?

— Ничего.

— Кто-то умер?

— Никто не умер.

— Правда?

— Правда-правда! — Шангарей, попеременно подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, отправился в сторону кладбища, но, отбежав немного, обернулся, крикнул,

смеясь: – Обманул, обманул! Кто поверил – кошкин жад оближнул!

– У-у, глупый! И я, дура, нашла у кого спросить! – рассердилась Рауза.

Подходя ко двору Сибагата, натолкнулась на трех разговаривающих у забора старух. Они удивленно уставились на Раузу, будто впервые ее увидели. Вернее, уставились на ее праздничный наряд. Но одна тут же продолжила прерванный разговор:

– Так вот, Ихсанбай и слышать не хочет, чтобы позвали муллу. Какой, говорит, мулла, какие могут быть тут молитвы! Он ведь коммун...

– У Ихсанбая есть мать, – сказала другая старуха, отведя взгляд от Раузы.

– Есть-то есть, но решают теперь дети.

– Так-так, не то теперь время, когда слушались старших...

Ошарашенная догадкой Рауза еле набралась сил спросить:

– Сибагат?..

– Да-да, – сухо подтвердила одна из старух. – Умер старик.

У Раузы зашумело в ушах, потемнело в глазах. Казалось, вот-вот под ней разверзнется земля и она полетит в тартарары. Закричала бы: «Помогите!», но голос пропал. Ну, хотя бы одна из старух протянула руку, поддержала ее, все осталось бы как есть, не полетела бы она во тьму. Помогите же!!! Ведь Рауза, как могла, помогала всем вам. Разделяла с вами ваши горести. Даже придя с вызовом из сельсовета, как бы ни спешила, находила возможность посидеть, поговорить, что-то посоветовать или просто выслушать... Не успев вытолкнуть из себя вскрик, Рауза рухнула на землю.

* * *

Еще выезжая на гору из Глубокого лога, Абдельахат заметил людей на кладбище, подумал мельком, что кто-то, должно быть, умер, но это как-то скользнуло мимо его сознания – внимание переключилось на общий вид аула. Аул особо не изменился, лишь исчезли березняк, подступавший к его окраине, и осокори, стоявшие вдоль

речки, видимо, во время войны безлошадные женщины спилили их на дрова. Абдельахату стало грустно оттого, что нет в Тиряклах, как говорится, ни одной трубы, то есть ни одного дома, который связывал бы его прошлое с настоящим.

Подъезжая к аулу после встречи с Хашимом, он столкнулся с еще одним тиряклинцем. На дорогу сбоку, со стороны болота, выехал в тарантасе мужчина средних лет и натянул вожжи, увидев Абдельахата.

— Здравствуй, Абдельахат-кустым! Кто это, думаю, к нам едет? Оказывается, свой!

И Абдельахат узнал его, помнил по прежним годам да и в райцентре несколько раз видел.

— Мирхайдаров-агай! Здравствуйте!

— Здравствуй, здравствуй!

Оба сошли на дорогу, Мирхайдаров, здороваясь, протянул по-стариковски обе руки, потом по-дружески похлопал Абдельахата по плечу.

— Я гляжу, настоящим мужчиной стал, заматерел! Хорошо, что вспомнил наконец о родном ауле! Айда, следуй за мной, поедем ко мне, я утром курицу зарезал, енгэ твоя, наверно, уже сварила, есть чем гостя попотчевать!

То, что Мирхайдаров обрадовался, как ребенок, встрече с ним, растрогало Абдельахата до слез. «Кто я ему, а встретил как родного брата, — думал он, глядя в спину Мирхайдарова, на выцветшую его гимнастерку. — А сдал он, сильно сдал. Нелегко поднимать расстроенное войной хозяйство. До войны он ведь директором школы был, видно, заставили принять колхоз...»

— Сарбиназ, открывай ворота! Гостя тебе привез!

Выбежавшую открывать ворота круглолицую женщину Абдельахат сразу узнал: она же работала в школе учительницей пения! Он не помнил ее настоящего имени — для всех она была Матур-апай*.

— Матур-апай! — обрадовался он. — Здравствуйте, Матур-апай!

О деле, по которому приехал, Абдельахат заговорил лишь после того, как поели и вышли покурить в холодке, под навесом. Вернее, само собой это вышло.

— Да, — вспомнил он, — сегодня ведь кого-то хоронят?..

---

*Матур-апай — букв.: красивая тетя.

– Старика Сибагата, – сообщил Мирхайдаров.

– Кузнеца?

– Его, отца Ихсанбая. Ночью, когда спал, сердце остановилось. Не успел перебраться к молодой жене.

– Молодой жене?

– Ну, не совсем молодой... К Раузе, уборщице сельсовета, собирался уйти. Похоже, дома земля под ногами загорелась.

– Да-а...

– А что, ты его хорошо помнишь? Они ведь неместные, переселились сюда...

– Откуда?

– Пес их знает! Раньше много было такого народа. Иные во время раскулачивания ударились в бега.

– Думаешь, и они?

– Приходит в голову такая мысль. Не с пустыми, видать, руками явились, неплохо жили. У них одних, считай, крепкие, на русский лад, ворота.

– Да-да, помню...

– Ихсанбая как-то от войны сберегли.

– У него вроде бы какую-то болезнь нашли.

– Какая там болезнь! Вон и сейчас хоть запрягай его и землю паши. А жена Сибагата, Фаузия... Она ведь с людьми не общалась. Жила затворницей.

– У них и сноха, кажется, была.

– А-а... Сабиля... Ну, она так, для отвода глаз. У Ихсанбая чуть не в каждом доме по жене...

Абдельахат сидел огорошенный. Выходит, опоздал он, не может выполнить поручение Камалетдинова. Впрочем, какой с мертвого спрос?

– Мне надо взглянуть на него, Азат-агай.

– На кого, на Ихсанбая?

– Нет, на его отца.

– Хы! Хоть смотри на него теперь, хоть не смотри... Но раз надо, так пошли!

На погребение они опоздали, несколько мужчин уже досыпали земляной холм над могилой. Собравшийся на кладбище народ на Мирхайдарова с Абдельахатом особого внимания не обратил, – ну, пришли и пришли, председатель, знать, тоже счел своим долгом проститься. Лишь один старик, подойдя к ним, встал рядом и пояснил:

– Решили не утомлять покойного, предать земле до вечерней молитвы.

– Вам лучше знать, как надо, – отозвался Мирхайдаров.

– Только вот... тело на скелет положили.

– Как это?

– Выкопали могилу, а на этом месте, оказалось, кто-то уже был похоронен. Давно, должно быть. Скелет не тронули, положили Сибагата сверху. Никогда прежде такого у нас не случалось.

– М-да...

Народ начал расходиться. Абдельахат удивился, увидев, насколько изменился Ихсанбай: то ли опух, то ли разжирел. В райцентре его считают одним из лучших председателей сельсоветов. Кстати, поскольку он, Абдельахат, ведает клубами, придется встретиться с Ихсанбаем. Дело того требует. Выполнить поручение Камалетдинова не удалось, но что тут поделаешь? Люди, как говорится, полагают, а Бог располагает...

* * *

После похорон Ихсанбаю захотелось напиться. С одной стороны, в какой-то части души он почувствовал облегчение: старик, особенно в последнее время, держал его в напряжении. Эту старую потаскуху Раузу надо завтра же отставить от сельсовета, пусть попотеет на колхозной работе – меньше станет жиру и похоти. С другой стороны, неожиданная смерть отца вызвала и чувство жалости к нему. Всю жизнь человек прожил под каблуком жены, не удостаивавшей его ласкового взгляда. И от него, Ихсанбая, доброго слова не слышал. Может быть, он потянулся к Раузе, чтобы избавиться от этой униженности и хоть немного пожить иначе?

Сам Ихсанбай живет тоже как-то не так, раздвоенно живет: говорит одно, делает другое. В матери тлеет какая-то непонятная ненависть к жизни, это чувство, пусть и неосознанно, она привила и ему, сыну. Вместо того, чтобы весело смеяться, он стискивал зубы; в пору, когда должен был безумно влюбиться и кинуться в огонь ради этой любви, отступил, обменяв слетевшую на его руку жар-птицу на ворону; когда другие поднялись на защиту

Родины, он затаился, и чем дольше таился, тем глубже погружался в гиблое болото. Теперь собственный дом кажется ему холодной тюрьмой. К Зарифе он ходил из-за растерянности, чтобы на какое-то время забыться. Он и Зарифа в чем-то схожи, и смотреть на нее, как на свое отражение в зеркале, видеть себя таким, какой есть, ему не очень-то интересно. Ихсанбай, когда трезвый, терпеть ее не может. Случалось, проснувшись утром и увидев эту женщину протрезвевшими глазами, он впадал в ярость – хотелось спихнуть ее с кровати.

Запуталось все в его жизни, и концов не найти... Да еще Мирхайдаров досаждает, крепко досаждает. Зачем он и Абдельахат пришли на кладбище уже в конце похорон? Странно, очень странно... Существует какая-то тайна, разгадка ее, кажется, запрятана в темных глазах матери, но разве она скажет, раскроет душу?

Ихсанбай, потоптавшись у ворот, вошел во двор. Дверь избы, где жили старики, была открыта. Ихсанбай заглянул внутрь. На нарах было полно чашек-ложек, должно быть, мать покормила тех, кто вырыл могилу, и еще не прибрала посуду. В глазах матери, когда их взгляды встретились, Ихсанбай увидел такое страдание, что сердце у него екнуло.

– Мама... – произнес Ихсанбай необычайно мягко. Давно уж он не обращался к ней с такой сыновней лаской.

Мать закрыла глаза, шевельнула бескровными губами:

– Уйди...

Глава седьмая

Возвращение отца подействовало на измученную нуждой и тоской душу Мадины благотворно, возродило светлую надежду на будущее. Ни при каких обстоятельствах надежда, оказывается, не угасает, тлеет хотя бы искоркой, готовой превратиться в пламя, как только повеет свежий ветерок. Теперь есть человек, который позаботится о мальчишках, о том, чтобы они были сыты, одеты и обуты. Конечно, Мадина стеснялась отца, если уж в детстве не могла приласкаться к нему, то теперь тем более. И все же хорошо, что он вернулся. Вон их огород уже вспахан – отец договорился об этом с Мирхай-

даровым. Сам сразу и ворота починил, и упавшую ограду привел в порядок, и развалившуюся печную трубу заново сложил. Мальчишки виснут на нем, если один взберется на колени, другой норовит вскарабкаться на плечи, а он это терпит, не скажет даже, чтобы не баловались.

Вечером, когда лягут спать, приходят в голову Мадины разные мысли. Например, думает она о том, почему мать не была счастлива с этим отнюдь не безобразным и в общем-то не злым человеком. Была бы мама жива — спросила бы у нее об этом...

А отец нет-нет да и вздохнет тяжело. Однажды Мадина увидела, что он плачет, держа в руке мамино платье. И вообще его приводит в волнение не только платье, которое носила мама, но и все, к чему она прикасалась. Прибираясь в избе, Мадина обнаружила под нарами старую мочальную кисть и понесла во двор, чтобы выбросить, а отец остановил ее:

— Постой-ка, Мадина, не выбрасывай.

— Зачем она? — удивилась дочь. — Ведь вся уже истерлась?

— Пусть лежит, — сказал отец и положил эту ни на что не годную вещь на припечек. — Помню, перед Первомаем Гульбану этой кистью побелила избу. Я ее по завязке узнал. Она, — тут отец усмехнулся, — все развязывалась и рассыпалась. Дай-ка, говорю, завяжу ее покрепче. И скрутил проволокой...

В такие моменты Мадине становится не по себе. Накатывает горечь, хочется закричать: «Хватит, не береди душу! Ее уже не вернешь!..»

Да, маму не вернуть. Мадина уже свыклась с этой мыслью. Надо как-то жить дальше. Если, дай-то Аллах, отец добьется, чтобы вернули отобранную корову, тогда мальчонки вдоволь напьются молока. Тогда и сам он не ворочался бы всю ночь в постели, не вздыхал...

— Подружка!

Мадина, задумчиво глядевшая на огонь в очаге, обернулась на голос Галимы. У той — рот до ушей.

— Ты что это запыхалась, будто медведь за тобой гнался?

— Мадина, из района человек приехал, Абдельахатом, что ли, звать. Он хочет собрать молодежь в клубе, будет отбирать талантливых на учебу!

– Ну и?

– Я как услышала, так сразу побежала к тебе.

– Я-то тут при чем?

– У тебя же голос! Споешь!

– У меня и без этого забот хватает.

– Да ты что?! – вытаращилась Галима. – Мой папа говорит: если подучить Мадину, настоящая бы артистка получилась.

– Артистка... – Мадина погрустнела. – У меня так пальцы болят, что ночью заснуть не могу. Меня, Галима, поставили раздаивать первотелок.

– Станешь артисткой – ни доить, ни навоз выгребать не будешь!

– У меня же... образования нет.

– Так я же говорю: на учебу будут отбирать. Нам, говорят, нужны молодые таланты, сама слышала!

– Он молодой? – спросила Мадина и покраснела.

– Ну, не старый. Прилично так разговаривает. Культурный.

– Мне нечего надеть, чтобы идти туда.

– А эта... одежда твоей мамы, где она?

– В сундуке.

– Ну-ка открой сундук!

– Это ведь... память о маме.

– Ну и что? Не продавать же понесешь!

– Неловко... Еще застесняюсь там... – заколебалась Мадина.

– Торгуешься, будто я тебе дом продаю! – Галима решительно открыла сундук и начала выкладывать хранившиеся в нем богатства: расшитый золотыми нитями елян, красные сафьяновые сапожки, платье, украшенное лентами и оборками, звонкие накосники, браслет... – Эх, был бы у меня такой наряд!.. Давай-ка сперва я сама его примерю!

Мадина смотрела на возбужденную подружку с некоторой завистью. Стать бы и ей хоть ненадолго такой же беспечальной, забыть свои горести! Может, права Галима – стоит попытать счастья? Жаль, отца дома нет, что бы он посоветовал?

* * *

Не зря говорится, что женщины живучи как кошки. Ожила Рауза. Дома сын, Хусаин, привел ее в чувство заговоренной солью и травяным отваром. Всю ночь не отходил от матери. И вот что еще удивило Раузу: разговаривая с ней, Хусаин ни разу о своих лошадях не помянул и ни слова по-русски не сказал.

– Ну и напугала ты меня! – говорил он, убирая прилипшие к ее лбу колечки волос. – Мне ведь сказали, что ты лежишь мертвая на улице. Ты уж сильно не переживай. Я теперь всегда буду рядом, ладно?

Эх, если бы и раньше он с ней так разговаривал! Словно подменили его... А не переживать у Раузы не получится. Только не знает она теперь, на кого обижаться. Если бы Сибагата отняла у нее какая-нибудь женщина, не растерялась бы, знала, кого проклинать, у кого волосы выдрать. А тут ведь совсем иное: будто гром с ясного неба грянул и унес Сибагата. На Аллаха бы взроптала – не положено, и на судьбу пожаловаться она не может – что ни говори, подарила ей сына.

А сердце горит. Пламя распространяется по всему телу. Ай, тяжело это терпеть! Вон уже алеет заря. Зачем она разгорается? Для кого взойдет ослепительное солнце? Сияние дня больше ее не порадует...

Рауза все же встала, умылась. Привычно налила воды в самовар, подоила корову, выгнала ее в стадо. Посадив Хусаина завтракать, и сама присела рядом, но есть не хотелось, чай показался отвратным, с привкусом золы.

По привычке же ноги как бы сами понесли ее в сельсовет. Сегодня, правда, она запоздала, солнце поднялось уже довольно высоко. Подумала об Ихсанбае: может быть, и не появится в канцелярии, тоже ведь, бедняга, осиротел.

Но Ихсанбай оказался на месте. Господи, никогда еще Рауза не видела его таким сумрачным. С горя, что ли, лицо у него такое свирепое или с похмелья?

– Здравствуй, сынок...

Рауза и сама не ожидала, что с ее языка сорвется слово «сынок». А Ихсанбай вскочил в ярости, заорал, схватив стоявший на столе чернильный прибор:

– Какой я тебе сынок?! Катись отсюда, б... старая, пока я тебя не пришиб! И больше здесь не появляйся!

Рауза растерялась, но быстро взяла себя в руки и даже почувствовала удовлетворение: ну вот, нашелся человек, на которого она может выплеснуть свою боль и злость. Встала, расставив ноги пошире, уперла руки в бока.

– Как ты назвал меня, Ихсанбай? Ну-ка повтори! С чего это ты взялся обличать меня в блуде? За всю свою жизнь всего-то двоих мужчин я к себе допустила – не пьянствовала, не развратничала...

– А спать с чужим мужем, по-твоему, не блуд?

– У нас все было чисто, по любви, не то что у тебя, жеребца косячного! Пока другие воевали, ты ни одну солдатку в ауле нетронутой не оставил!

Ихсанбай побагровел так, что, казалось, вот-вот с лица брызнет кровь.

– Ты соображаешь, что несешь?!

– Соображаю и тебя не боюсь! Думаешь, если люди молчат, никто ничего не знает? Близнецы Гульбану с неба упали? Это ты, пес, погубил несчастную!

– Поклеп! У тебя нет доказательств!

– А-а! Доказательства тебе понадобились? Пожалуйста: у обоих мальчонок на лице родимые пятна – как у их деда, твоего отца. Нужны еще доказательства?

– Вон отсюда, исчезни с моих глаз!

– Ты меня из сельсовета просто так не прогонишь, я здесь всю жизнь проработала – к пыркурору обращусь! К самому Камалетдинову зайду! – Круто развернувшись, Рауза лицом к лицу столкнулась с вошедшим в кабинет Абдельахатом. – А, Абдельахат-кустым, вот слышал, как в Тиряклах издеваются над людьми? Вы там кровь проливали, а этот в тылу день и ночь пьянствовал, баб тискал...

– И тебя, что ли? – язвительно бросил Ихсанбай.

– Еще чего! Упаси меня Аллах от такого, как ты, пакостника!

Рауза ушла, выкрикивая еще что-то уже на улице. Ихсанбая трясло, он стиснул зубы, стараясь взять себя в руки. Как-никак перед ним представитель районной власти. Надо выглядеть спокойным. Уже совсем другим голосом Ихсанбай предложил:

– Садись, Абдельахат-кустым! Не удалось вчера поговорить.

Абдельахат сделал вид, что не придает значения тому, чему только что стал свидетелем.

– До меня ли было тебе вчера! Такое вдруг горе! Пусть земля будет ему пухом...

– Да-а... Неожиданно он ушел... – Ихсанбай вперил взгляд в дверной проем, словно там все еще стояла Рауза. – Эта женщина его погубила. Как говорится, седина в бороду, бес в ребро, связался отец с ней под конец жизни. Вот я сегодня и взорвался...

Абдельахат достал из кармана портсигар:

– Закурим?

– Можно...

Ихсанбай не имел представления, по какому делу приехал Абдельахат. Остановился у Мирхайдарова. А тот уже успел, наверно, кое-что напеть ему. Надо осторожно прощупать – что?

– Ты, я слышал, в отделе культуры работаешь?

– Да. Пришел к тебе как раз в связи с этим. Мы ищем особо одаренных ребят и девчат, чтобы послать на учебу. Надо своих для работы на культурном фронте выучить.

Ихсанбай оживился:

– Значит, нужны те, кто хорошо поет и пляшет?

– Совершенно верно. Найдутся такие в Тиряклах?

– Найдем! Созовем молодняк в клуб, я распоряжусь!..

* * *

Как и во многих других селениях, в Тиряклах под клуб была переоборудована мечеть. Абдельахат своими глазами видел, как сдернули с нее минарет. Мал еще тогда был, но все хорошо запомнил. Обвязали минарет длинными арканами, подпилили стойки, а сдернуть собирались конной тягой. К парням, занятым этим, подошел старый-престарый мулла, сказал:

– Зря вы это делаете, сынки! Места для строительства божьих храмов были определены еще при сотворении мира. Я этого не увижу, а вы, наверно, увидите: ваши дети или внуки восстановят здесь мечеть.

– Что нам, бабай, велено, то мы и делаем, – ответил один из парней. – Приказ спущен сверху. Ты уж не проклинай нас.

– Прежде чем проклинать, следует хорошенько подумать, – сказал мулла. – У проклятия, сынки, два конца. Один нацелен на проклинаемого, и то ли настигнет его, то ли нет, а другой остается у проклинающего...

Здание клуба, то есть бывшей мечети, старательно возведенное старыми мастерами, переживет еще не одно поколение людей. Сосновое, оно вдобавок обшито сосновыми же досками. Оконные наличники покрыты искусной резьбой, диву даешься, разглядывая ее: сколько терпения надо было для сотворения такой красоты и сколько веков надо было для достижения совершенства в таком непростом искусстве!

Абдельахат разглядывал знакомое с детства здание, как бы заново знакомясь с ним, когда подошел запыхавшийся Мирхайдаров. Не вытерпел, неспокойная душа, тоже решил посмотреть да послушать.

– Задержался я, все дела, дела... Ты прослушивание еще не начал? – справился он.

– Нет еще, идем!

Войдя в клуб, увидели четверых девчат и троих ребят, сидевших на скамейке, остальные скучковались возле печки. Эти семеро, должно быть, решили показать, на что способны. Но когда дошло до дела, все застеснялись. Абдельахат объяснил, что сегодня лишь предварительное знакомство, а через две недели он приедет со специалистами, чтобы окончательно решить, кто поедет учиться. Тогда одна из девушек сказала:

– Мы все равно отбор не пройдем, пусть только Мадина споет.

– А кто из вас Мадина?

Поднялась с места стройная девушка в старинном башкирском наряде. Абдельахата бросило в жар.

– Гульбану?! – непроизвольно воскликнул он.

– Я Мадина... Дочь Гульбану...

Абдельахат хотел было извиниться, сказать, что знал ее маму в таком же возрасте, но передумал: неизвестно, как воспримет это девушка. Может ведь совсем смутиться, и вместо прослушивания черт знает что получится. Ограничился вопросом:

– Что ты решила спеть, Мадина?

– «Буренушку».

Оказалось, что у нее есть напарник – со скамейки

встал паренек с кураем в руке. И сначала плавно полилась мелодия курая, затем к ней присоединился голос, необыкновенно чистый и сильный, в то же время естественный, как весенние ветры, как цветы на лугу, как радость и печаль.

Все собравшиеся в клубе замерли, слушали Мадину завороженно.

Смолкла песня, и взволнованный Мирхайдаров сказал:

— Лишил ты нас доярки, Абдельахат-кустым. — И спросил, обратившись к Мадине: — А что, если я не отпущу тебя учиться, а?

Мадина потупилась.

— Значит, судьба у меня такая. Окончить десятилетку помешала война, теперь вы...

— Я пошутил, дочка, пошутил! — На глаза Мирхайдарова набежали слезы, он отвернулся, чтобы скрыть их.

Песня Мадины, ее голос и трогательная непосредственность глубоко взволновали и Абдельахата. Эх, взять бы сейчас в руки гармонь, излить переполнившие душу чувства. Не хватает ему гармони, и всю жизнь будет не хватать. Он взглянул на свою правую руку, словно решил проверить, не отросли ли пальцы взамен оторванных осколком вражеской мины? Нет, торчали на ней лишь два пальца, да и те изуродованные...

Что поделаешь, не повезло ему. Но не все потеряно, он будет помогать другим, таким как Мадина, одаренным девчатам и ребятам, чтобы раскрылись их способности, чтобы играла гармонь и звучали песни, как звучали испокон веков.

Он думал об этом и потом, когда, простившись с собравшимися в клубе, спустился к речке и долго сидел на берегу, вспоминая прошлое и пытаясь представить будущее. Вспомнились Шахарбану-апай и Гульбану, вечера, проведенные с ними, счастливые вечера, озаренные его первой любовью. Гульбану поныне жила в его сердце, но сегодня ее образ слился с образом Мадины, и возникла сумасшедшая мысль, что Мадина ниспослана ему небесами вместо потерянной Гульбану. А в самом деле, вдруг Мадина полюбит его? Конечно, разница в возрасте большая, но в душе он будто семнадцатилетний. Между прочим, почему бы ему самому не поступить учиться? Он во сне сочиняет музыку, и какие только мелодии в уме у него не рождаются! Если бы он овладел нотной грамо-

той и стал записывать эти мелодии, сочинять песни, а Мадина исполнять их...

Словом, размечтался Абдельахат и заторопился в аул, решив повидаться с Мадиной – теперь у нее дома.

* * *

Порученцы Ихсанбая с ног сбились, собирая молодых тиряклинцев по составленному им списку. За кем-то пришлось бежать на ферму, кого-то вытаскивать из воды – день выдался жаркий, самые храбрые любители купания уже плескались в речке. Ихсанбай сам в клуб не пошел – надо это бывшему свинарю (про таких русские говорят: из грязи – в князи), так пусть он этим и занимается.

Но увидев на улице идущую в клуб Мадину, Ихсанбай чуть с ума не сошел. Примстилось, что это Гульбану. Девчонка была в том самом наряде, в котором много лет назад Гульбану пришла на сабантуй – тогда, пораженный ее красотой, Ихсанбай сунул ей в руку записку с приглашением на свидание. Вместо Гульбану на свидание явилась Сабиля, и с этого начались все его несчастья.

Ихсанбай привык видеть Мадину в замызганной телогрейке, перетянутой в поясе бечевкой, в лаптях и надвинутом на лоб выцветшем платке. И вдруг эта нищенка предстала царевной. И до чего же похожа на мать, на ту, поразившую его на сабантуе! Правда, у той глаза были синие, у этой – черные, и взгляд у Гульбану был нежный, у этой – недоверчиво-испытующий. Но остальные черты лица – дужки бровей над широко распахнутыми глазами, ямочки на щеках, заостренный подбородок с маленькой родинкой – одинаковы.

Губы у Мадины обветренные, в мелких трещинках, но все равно притягательные, как у Гульбану. И фигура та же, что у матери: покатые плечи, тонкая талия, под елянном обозначились тугие бугорки грудей – когда это у девчонки они успели появиться? У Ихсанбая даже во рту пересохло, нахлынуло вожделение. Вот где, оказывается, зрело счастье, совсем рядом, по соседству! Одна ночь с такой девчонкой целой жизни стоит. Давно угасшие чувства воспламенила в нем Мадина. Он пожирал ее глазами и словно бы уже чувствовал вкус ее губ, очень

похожий на вкус губ Гульбану, который он не мог забыть после той ночной встречи у речки...

Та встреча... Мысль о ней, вернее о ее последствиях, отрезвила его. Вспомнил выкрики Раузы в сельсовете, ее слова о мальчишках-близнецах. Проклятье! Само их существование оборачивается для него бедой. Что делать? Как от мальчишек избавиться? Вот о чем надо думать прежде всего. Правда, кое-что он уже предпринял...

* * *

Мадина, вернувшись из клуба домой, присела на край нар и довольно долго просидела в нарядной своей одежде, оглушенная событиями этого дня. Как же у нее хватило духу одеться так, пойти в клуб и спеть при дядьке, приехавшем из района? Удивительно! Вдобавок, он смотрел на нее как-то странно, как никто до сих пор не смотрел. И почему-то, обращаясь к ней, назвал имя мамы. Выходит, они были знакомы? С ума сойти! А если ее в самом деле отправят учиться? Ой, не может этого быть! Да и на кого она оставит близнецов? Кстати, где они? Совсем от рук отбились, далеко в последнее время уходят играть.

Мадина быстренько сняла праздничную одежду, уложила обратно в сундук. Опять влезать в заношенное старье не хотелось. Надела новое, сшитое соседкой ситцевое платье – ситец привез в подарок отец. Может быть, приезжий из района опять встретится, заговорит с ней, надо выглядеть прилично.

Глава восьмая

Кукбуре лежала на заднем дворе, наблюдая за возней своих щенков. Рано утром она поймала в поле зайчонка, притащила сюда. Щенки пытались разодрать его труп. Пусть учатся, привыкают к мясу. Окрасом все они пошли в отца, живущего в лесу. Серые, как ненастное небо. Кукбуре поняла, почему не любит аульных псов и почему прежде щенки у нее рождались мертвыми. В этом году поняла. Однажды ночью она завыла в тоске. Другие собаки не присоединились к ней, напротив, все умолкли.

Ответный вой донесся со стороны леса. Теперь Кукбуре знает, что щенков, как только они окрепнут, уведет в лес. Их отец приходил несколько раз, звал ее туда. А тогда, услышав ее вой, пришла целая стая зверей. Она почувствовала кровную близость с ними. Пошла за ними в лес. Там несколько дней справляли «свадьбу» с отцом нынешних щенков. Он не хотел отпускать ее, но она предпочла вернуться в привычный уже двор и ощенилась в своей конуре.

Скоро Кукбуре уйдет в лес, скорее всего, навсегда. Этого требуют ее кровь и плоть. Когда-то вытащили ее из теплого логова и, сунув в мешок, унесли в аул. Потом посадили на цепь, научили слушаться, выполнять приказы людей. Когда свыклась с ними, стали отвязывать на ночь. Людей она не боится, но прикасаться к себе позволяет лишь живущим в этом дворе. Для нее главный из них хозяин – Ихсанбай.

Неподалеку послышались детские голоса. Кукбуре насторожилась. Опять идут «те». Повадились ходить сюда двое мальчишек. Сначала они смотрели через щели в дощатой ограде. Потом Хозяин зачем-то отодрал одну доску, и мальчишки стали просовывать головы во двор. Они явно зарились на щенков. Если бы Кукбуре не была настороже, давно бы их утащили. Сейчас она, положив морду на вытянутые лапы, прикинулась спящей.

Мальчишки тихонько покричали: «Мах-мах!» – пытались подозвать щенков, затем осторожно протиснулись через проем в ограде, в том месте, где была отодрана доска, и приблизились к ним. Кукбуре не понравилось такое нахальство, но она решила набраться терпения, посмотреть, что будет дальше. Эти маленькие человечки не очень опасны, не то что взрослые. К тому же они похожи на Хозяина. Кукбуре чувствует, что у них одна кровь, не понимает только, почему Хозяин не относится к ним так, как она к своим щенкам.

Один из мальчишек ухватил тонкими пальчиками ее щенка, взял на руки. Кукбуре напряглась. Щенок было заскулил, но быстро успокоился. Он был сыт, насосался материнского молока так, что живот раздулся. Второй мальчишка тоже схватил щенка. О! Этот у нее слабенький, последыш. Он отчаянно взвизгнул. И тут уж Кукбуре не выдержала. Инстинкт подсказал ей, что надо спа-

сать щенка. Она взвилась в прыжке, вонзила клыки в тонкую шею мальчишки. Разорвав его горло, мгновенно перекинулась на другого. Мальчишки и пикнуть не успели, задергались, упав в высокую траву. Щенки, повизгивая, побежали к своей конуре. Кукбуре побегала возле конуры и тоже забралась в нее.

* * *

– Ихсанбай-агай, мальчишек наших не видели?

Неожиданное появление Мадины несколько смутило Ихсанбая.

– Да нет... – отозвался он. – Я задворками шел и никого не встретил.

– Люди говорят, что видели, как они пошли в эту сторону.

– Не знаю... Может, они к болоту ушли?

Встревоженная Мадина побежала дальше. У Ихсанбая зачастило сердце. Неужто?.. Он давно заметил, что близнецы прибегают посмотреть на щенков Кукбуре. Поэтому-то и отодрал одну доску ограды. Мальчонки не стерпят, полезут во двор, а Кукбуре, если кто-либо приближается к ее щенкам, звереет... На этом и построил Ихсанбай свой расчет. Не может же он прожить всю жизнь рядом с живыми свидетельствами его греха. Вон ведь что выкрикнула в сельсовете Рауза, да еще при Абдельахате. Может и по всему аулу разнести. Хашим и без этого точил на него зубы. И Мирхайдарову это на руку. Смерть отца избавила Ихсанбая от некоторых неприятностей, еще бы и от мальчонок избавиться. Если оправдается его расчет, то он спасен. А иначе затянется петля на шее...

Ихсанбай, просунув руку в дыру, отпер высокую калитку, вошел в задний двор. Кукбуре лежала в конуре. Увидев хозяина, подняла голову, однако с места не сдвинулась. А Ихсанбай тут же заметил два окровавленных тельца и застыл: перед ним среди кустов лебеды лежали трупы Янтимера и Биктимера.

Молнией промелькнула мысль: что делать? Колени у Ихсанбая затряслись, в горле пересохло. И заметалось в голове: нет, нет, он не виноват! Конечно, их рождение

и жизнь были для него нежелательны, однако в их смерти он не виновен!

Но если люди узнают, что загрызла их его сука, все равно возложат вину на него. Пойдут разговоры... А тучи над ним и без этого сгустились... Взгляд Ихсанбая остановился на лопате, прислоненной в углу под навесом. Он побежал к ней, схватил, вернулся обратно. Надо быстрей закопать сопляков. Но копать яму нельзя, мальчишек, безусловно, начнут искать и свежевыкопанную яму обнаружат. А вот... Ихсанбай посмотрел на огуречную грядку. На толстом слое навоза, покрытого землей, уже зеленели готовые зацвести растения. Под навозом земля тоже разрыхлена. А главное, огурцы будут расти и расти...

Ихсанбай принялся выгребать рыхлую землю из-под навоза. Пока он спрячет тельца тут, а потом видно будет. Впрочем, кому придет в голову искать их под давно посаженными огурцами?

Когда поволок старый мешок с трупами к выкопанной под грядкой пещерке, его удивило, что тяжести он почти не почувствовал. В тощих мальчонках весу было не больше, чем в ягнятах.

* * *

На следующий день весть об исчезновении Янтимера с Биктимером разошлась по всему аулу. Накануне искала их одна Мадина. Побегала вдоль речки, по задворкам, аукала в ближнем лесочке у болота — никто не откликнулся. Когда стемнело, обессилев, не зажигая огня, упала на нары.

В избе Фаузии, напротив, всю ночь горел свет. Она лежала, устремив неподвижный взгляд в невидимую точку. По-разному переживают люди горе, по-разному сходят с ума.

Об исчезновении внуков она уже знала. Сколько стараний приложила, чтобы они не умерли с голоду! Из-за них невестка окатывала ее холодным взглядом, и от Ихсанбая веяло тем же холодом. Поскольку не могла она открыто выказывать свою заботу, Мадина с близнецами тоже смотрели на нее недоверчиво, даже отчужденно. Фаузия не понимала, почему Ихсанбай так не любит их,

особенно мальчишек. Кое о чем она догадывалась, но отмахивалась от этих догадок, боялась утвердиться в них.

Как же быть Мадине, если братишки не найдутся, и как перенесет такую потерю Хашим? Да-да, и Хашима Фаузие жаль. Не перестает она удивляться тому, как война изменила этого бродягу. Совсем другим человеком вернулся. С его возвращением и мальчишки переменились, повеселели, стали озорней, и с лица Мадины сошло выражение сиротства. Фаузия, что называется, макушкой до неба достала, когда услышала, что Мадина в клубе своим пением обворожила приехавшего из района начальника, а председателя колхоза даже довела до слез. Ее, Фаузии, кровь в ней! Ведь и она пела когда-то так, что не только у женщин — у стариков набегали слезы на глаза. Бабушка говорила ей: «Певучие люди обычно бывают несчастливы». Пусть же это правило не коснется Мадины, не найдет дорогу к ней, заблудится! Фаузия выпавшего на ее долю не то что близким — врагу не пожелает.

На дворе ночь. В окнах Мадины так и не зажегся свет. Страшно, наверно, ей одной, раз отца дома нет, горюет, думая о братишках. «Выйду-ка, посижу у ворот, решила Фаузия, — оберегу избу Мадины до рассвета от дурных глаз и дурных снов...»

* * *

Хашим, завершив свои дела в райцентре, не стал ждать попутной подводы в сторону Тиряклов, отправился домой пешком, хотя время уже перевалило за полдень. Было отчего торопиться, хотелось поскорей обрадовать Мадину. Сейчас он восстанавливал в памяти подробности сегодняшнего разговора с Камалетдиновым, и хорошо было у него на душе.

— Поздравляю, Хашим, — сказал председатель райисполкома, — подняли мы касающиеся тебя и твоей семьи бумаги, никакого долга перед государством у тебя не было. Исполком принял решение вернуть вам конфискованную корову, можешь потребовать и приплод за три года. А на Ихсанбая заведено уголовное дело...

Если отобранная корова приносила каждый год по телочке, то выходит, что Хашим может получить три коро-

вы. Да зачем ему столько! Мальчишкам хватит молока и от одной. Но раз выпало так, он возьмет две, старую продаст, на вырученные деньги оденет-обует Мадину с мальцами. Затем приведет в порядок родительский дом, и переселятся туда. Не жить же всю жизнь в соседстве с Ихсанбаем. Хотя Камалетдинов и сказал, что на него заведено дело, лучше держаться от него подальше. Даже убив змею, надо, говорят, остерегаться ее яда.

И еще Камалетдинов сказал, что в Тиряклах может понадобиться новый председатель сельсовета. Ты, сказал он, грамотен и русским языком владеешь, как посмотришь, если предложим тебя? Не знай, не знай... Впрочем, чем он хуже других? И пресного, и кислого в жизни отведал, во главе дела такой человек, наверно, и нужен.

* * *

На обратном пути в райцентр Абдельахату встретился шагавший домой Хашим. Постояли, поговорили. Абдельахат обиняком высказал свое неравнодушное отношение к Мадине. Получилось это как-то само собой.

— Я не против, если она поедет учиться, — сказал Хашим, — но страшновато будет мне отпускать ее, ведь девчонка еще.

— Так я тоже поступлю учиться, вот мы и будем вместе...

В глазах Хашима, еще недавно таких печальных, заплясали веселые искорки.

— Какие вы быстрые! Давно ли ты мне сказал, что не знаешь, к кому заехать в Тиряклах! Уже спелись?

Абдельахат покраснел, как мальчишка, застигнутый врасплох на месте преступления. Преодолев смущение, заверил:

— Хашим-агай, я сделаю все, чтобы Мадина была счастлива!

Тепло попрощался с ним Хашим. Конечно, Абдельахат намного старше Мадины, но, если подумать, это и неплохо: мужчина по-настоящему ценит женщину лишь вступив в зрелый возраст. Не потому ли Хашим обижал Гульбану, что был молод и глуп? Ну, еще и потому, что между ними стоял Ихсанбай. Теперь вот Гульбану нет, а все равно он ревнует ее к Ихсанбаю...

* * *

Аюпа Камалетдинова не обрадовало сообщение Абдельахата о смерти тиряклинского кузнеца. Унес старик тайну в могилу, не свершилось возмездие. Конечно, следователь мог бы вызвать и допросить его жену, но, во-первых, нет у Аюпа привычки воевать с женщинами, во-вторых, он не уверен, что жена была в курсе дел мужа и сможет раскрыть его связи.

Камалетдинов сам, без помощи милиции, кое-что выяснил. По его запросу из республиканского архива сообщили, что Муратов Сибагат Ярлыкапович и Муратова Фаузия Тайсиновна в актах гражданского состояния не значатся. Следовательно, эти люди носили не свои имена и фамилию. Если покопаться в списках раскулаченных в конце двадцатых и начале тридцатых годов, возможно, выяснится, кто они на самом деле, но это слишком хлопотно. К тому же Камалетдинов теперь не сомневался в том, что узнал убийцу своих родителей. Его счастье, что умер...

Что касается Ихсанбая, то сын за отца не отвечает, но и сам он не безгрешен. Им занялись следователи. Заинтересовались, почему он не был призван в армию. Болел туберкулезом или не болел — установить не трудно. Кроме того, к делу уже приобщены жалобы на его бесчинства в годы войны. Вот, например, уборщица сельсовета жалуется на незаконное увольнение с работы и заодно связывает гибель колхозницы Гульбану Насибуллиной с развратным поведением Ихсанбая. Но и без этого достаточно оснований для предания его суду.

* * *

Время приближалось к полуночи, а Ихсанбай все еще сидел в своем кабинете, зажав голову ладонями. Перед ним на столе лежала телефонограмма — вызов на заседание бюро райкома для рассмотрения его персонального дела. Все. Это конец... Совсем недавно казалось, что все козырные тузы в его руке, сейчас — одни простые шестерки. Когда, в чем он ошибся? Отчего все в его жизни запуталось? Кто сбил его с верного пути? Разве не был он в свое время полным энергии и надежд, умным

ясноглазым парнишкой? Почему, почему? Вопросов много, ответов нет. Впрочем, он сам с собой лукавит – есть ответы, только надо поискать их в своем прошлом.

Почему он не женился на девушке, с которой дружил с детства и в которую потом страстно влюбился? Мать воспротивилась. А почему он не вступился за свою любовь? Потому что уже тогда жил двойной жизнью. Одна побуждала его идти вперед, другая тянула назад, вынуждала хитрить, лукавить, таить свои мысли... И в конце концов его любовь обернулась ненавистью. Ненавистью Гульбану к нему, его ненавистью к детишкам, которые теперь лежат под огуречной грядкой.

Порою Ихсанбаю хочется вытащить их трупы, объявить о них всему свету. Пусть бы его мать их увидела: это она, она сбила его с пути, сломала его жизнь! Разве Ихсанбай, когда его сверстники поднялись, чтобы защитить Родину, не был способен взять в руки оружие? Был. Но опять же мать встала поперек. Сказала тогда отцу: «Если не сумеешь избавить сына от призыва на войну, лучше на глаза мне не показывайся!» Правда, и сам Ихсанбай против не возразил, лишь закусил губу и потупился.

Теперь вот... А, пропади все пропадом! Он почувствовал себя приговоренным к казни и подумал, что когда-то было принято исполнять последнее желание приговоренного. А чего бы он, Ихсанбай, пожелал? В ответ на этот вопрос вдруг представилась ему Мадина в праздничном наряде. Поразила она его при встрече на улице, всколыхнула давно заглохшие в нем чувства, крепко зацепила. И ничего желанней ночи с ней не смог он сейчас придумать.

За такую красавицу можно заплатить высокую цену. Пусть придется ему выложить на стол партбилет, пусть изгонят его из родного аула – что же, он уедет... но только с Мадиной. Воображение Ихсанбая разыгралось, и он представил, как увезет девчонку с собой. У него есть остатки отцовского золота, кони найдутся, надо лишь уговорить Мадину. Но девчонка может заартачиться. Все равно Ихсанбай не отступится от нее. В свое время Хашим нашел способ уломать Гульбану, а чем Ихсанбай хуже?.. Ладно, надо пойти домой, поспать. Утро, говорят, вечера мудренее.

Ихсанбай погасил лампу, дунув в стекло, и зажег спичку, чтобы не споткнуться в темноте...

* * *

Зарифа бродила по комнате, не находя себе места. Открыла окно с уличной стороны, прислушалась. Кругом стояла тишина, лишь изредка взбрехивали собаки. А днем было совсем по-другому: можно сказать, весь аул вышел искать пропавших близнецов Гульбану. Зарифа участия в поисках не приняла. Когда она пошла за водой на речку, встретившиеся ей озабоченные люди смотрели на нее удивленно: как же, мол, так, пропали дети твоего брата, а ты сидишь дома! Одна из соседок даже принялась допрашивать:

— Атак... Ты разве дома?

— Как видишь, — огрызнулась Зарифа. — А что, из-за чужих сопляков я бегать должна?

— Побоялась бы Бога! Твои ведь племянники! — сказала соседка.

— Оттого, что боюсь Бога, я и не рожаю, — ответила Зарифа.

Она давно уже сделала для себя вывод: если не будешь беззастенчивей, злоязычней других, тебе тут же сядут на шею. А ей и так нелегко. Ее Ишмухамет не вернулся с войны. Война уже шла к концу, когда его перевели из трудармии в действующие войска и успели убить. Правду сказать, пока он был дома, Зарифа желала, чтобы его мобилизовали, муж мешал ей встречаться с Ихсанбаем. Если, думала, Ишмухамета заберут, руки у нее развяжутся, и перетянет она Ихсанбая к себе. Уже и вместе прикидывали, как ей избавиться от мужа. И вот избавилась: и Ишмухамета теперь нет, и Ихсанбай заглядывает к ней лишь для того, чтобы напиться. Без хозяина дом — сирота, частенько сидит Зарифа без дров. Приносит Шангарей хворост на загорбке, да разве этим печь как следует согреешь?

Печаль старит Зарифу раньше срока. Сегодня посмотрела в зеркало и вздрогнула: не было у нее на лице ни морщинки, и на тебе — появились возле глаз. И губы, алевшие без всякой помады, обесцветились. Так она скоро совсем превратится в старуху, и кто на нее тогда взглянет? При Ишмухамете у нее даже обычных для

женщины домашних забот не было: утром встанет — очаг уже разожжен, самовар вскипячен, завтрак готов... После помывки в бане Ишмухамет на руках ее домой приносил. Эх, верно, оказывается, сказано: что имеем — не храним, потерявши — плачем. Ихсанбай быстро забыл свое обещание перебраться к ней, когда Ишмухамет уедет. Мало этого, так еще, напившись, руку на нее поднимает. Стараясь угодить ему, Зарифа выпивала вместе с ним и постепенно втянулась. Споил ее Ихсанбай, и пошла о ней дурная слава...

Зарифа закрыла окно, побоявшись, что налетят комары, но душно стало в комнате, снова открыла, прислушалась к ночной тишине. Не дает ей покоя зародившееся в душе подозрение: не нашел ли Ихсанбай другую? Если переметнулся к другой после всего, что между ними было, после того, как довел Зарифу до такой жизни, она его не простит, не сможет простить.

Дрожащими пальцами Зарифа взяла спички, зажгла семилинейную лампу. Затем, выдернув из стоявшего на печи бочонка пробку, нацедила полную миску кислушки, высосала ее до дрожжей, и руки перестали трястись. Держа в руке лампу, она подошла к зеркалу. Женщина, взглянувшая на нее из зеркала, оказалась неприглядней, чем представлялось Зарифе: под глазами — темные ямы, веки опухли, губы приобрели какой-то синюшный цвет... Да-а, Зарифа, ничего от былой твоей красоты не осталось... Ишмухамет сейчас и не узнал бы тебя...

А ведь Ишмухамет любил ее. «Я тебя еще девчонкой полюбил, как только стал твоим езнэ», — говорил он. Перед сном брал ее на руки и баюкал, как ребенка, утром будил поцелуем. Сперва и Зарифе казалось, что безумно любит его. Разве иначе дошла бы до состояния, толкнувшего ее на убийство старшей сестры? Чур, чур ее! Об этом никто не знает. Только старуха Рауза вроде догадалась, треплет, проклятая, языком...

Нет, все-таки она по-настоящему любила одного лишь Ихсанбая и никому его не отдаст! Живым не отдаст. Вот пойдет сейчас, походит под окнами всех подозрительных баб, найдет Ихсанбая. Раз он не пришел к ней, наверно, развлекается с какой-нибудь вдовушкой. Зарифа им покажет, что она не из тех, кого можно обсосать и выплюнуть!

Перед тем, как выйти из дому, она сунула себе в рукав кухонный нож. Хмель ударил ей в голову, но еще не до такой степени, чтоб она ничего не соображала. Выйдя во двор, вспомнила, что Ихсанбай иногда спьяну забредал спать в ее баню. Надо проверить, не там ли он... Услышав скрип банной двери, в хлеву замычала корова – Зарифа забыла подоить ее вечером. Ладно, это потом... Баня была пуста.

Выйдя из переулка на главную улицу, Зарифа остановилась. Возможно, Ихсанбай, идя домой от новой зазнобы, пройдет тут? Хотя нет, он, когда припозднится, остерегаясь лишних глаз, перебирается через речку по висячему мостику, потом идет задворками к своей задней калитке. Вот на мостике она его и дождется.

Сердце у Зарифы гулко забилось, она крепче сжала рукоять ножа: «Сегодня или никогда!»

* * *

Хашим сменил влажную тряпку на пылающем лбу Мадины. Как ему дальше жить на белом свете, если и дочь покинет его? Близнецов не нашли. Может быть, кто-то невзначай набредет на скелеты безгрешных малышей, как он набрел на череп Гульбану. Если же они, как считает Мадина, утонули в болоте, никто никогда не найдет их косточек. «Земля их поглотила, земля!» – стенала старуха Фаузия. «Но земля скорей поглотила бы ее Ихсанбая, а мальчиков-то за какие грехи?» – думает Хашим.

Впервые после возвращения Хашим встретился с соседкой лицом к лицу вчера, в лесочке у болота. И без слов поняли они, что привела их туда одна и та же забота.

– Я вдоль по речке дошел до Большой горы, – сказал Хашим, стирая рукавом пот со лба.

– Не могли они так далеко уйти, маленькие ведь еще. – Фаузия, схватившись за ветку, прислонилась к корявой березе. – Обычно на задворках играли...

– Я уж это в растерянности... – Оттого, что кто-то и кроме него переживает из-за исчезновения мальчиков, на глаза Хашима навернулись слезы. – Теперь и не знаю, где их искать, что делать...

– Хашим... – проговорила Фаузия и умолкла. В черных глазах старухи он прочел невысказанный вопрос. И сперва возмутился. Вопрос касался его отношения к Гульбану и мальчикам. По какому праву она спрашивает у него об этом? Но тут же он понял, что вопрос вызван не любопытством, свойственным уличным сплетницам, а, напротив, желанием защитить Гульбану от сплетен, ибо и после смерти имя и честь человека нуждаются в защите.

– Фаузия-инэй, – сказал Хашим, – все, что связано с Гульбану, для меня свято. Мальчиков я принял как дар небес.

Теперь уже в глазах Фаузии появились слезы.

– Ты хороший человек, Хашим, – сказала она. – Вернулся с войны совсем другим...

Они пошли в разные стороны, чтобы продолжить поиски, и вновь сошлись спустя несколько минут. А на краю болота возле кокоры – вывернутых корней какого-то старого дерева – Ихсанбай пытался вытянуть из болотной жижи ушедшую в нее до плеч Мадину. Увидев это, Фаузия в ужасе завопила:

– Люди! Кто тут есть! На помощь!

Пока Хашим с готовым выпрыгнуть из груди сердцем прибежал туда, Мадину уже вытащили на сухое место, и Фаузия, раскрылившись над ней, как гусыня над гусенком, отпихивала Ихсанбая:

– Не трогай ее! У нее есть отец, он и унесет ее в свою избу!

– Если бы я не подоспел, она утонула бы. Я ее спас, я за нее отвечаю! – упорствовал Ихсанбай.

Хашим понял, что Ихсанбай намеревался унести Мадину к себе домой, и поддержал Фаузию:

– Отойди, Ихсанбай, не видишь разве: она потеряла сознание.

Хашим приподнял голову дочери. Она открыла глаза.

– Отец...

– Дочка! Ты жива!

– Мальчики... Мне кажется, они здесь...

Фаузия решила обшарить все вокруг этого места, Ихсанбай остался с ней. Хашим понес Мадину на руках домой. Прикоснулся губами ко лбу дочери и почувствовал, что у нее начинается жар. Испугался: как бы она не раз-

болелась, не схватила воспаление легких! Смысл жизни в эти минуты сосредоточился для него на Мадине. Если потеряет и ее, зачем ему жить?..

* * *

Выйдя из сельсовета, Ихсанбай остановился в раздумье. Если пойдет по улице, может столкнуться с Зарифой – она уже не раз подкарауливала его, чтобы затащить к себе. Не хочется ему ее видеть, опротивела, а она этого не понимает. Как встретятся, начинает талдычить: «Давай уедем отсюда!» Дескать, она продаст и свой дом с хозяйством, и родительский, так что деньги будут. Не поймешь этих женщин: мужа, носившего ее на руках, терпеть не могла, а с человеком, который и в грош ее не ставит, готова отправиться хоть в ад.

Решил пойти кружным путем. Подходя к висячему мостику, закурил и ступил на него, попыхивая папиросой, поэтому не сразу заметил темневшую впереди фигуру.

– Ихсанбай!

– Зарифа?! Ты... – Не успел спросить, что она тут делает, как при свете луны в ее руке блеснул нож.

– Раз ты не мой!..

Ихсанбай отпрянул, одновременно пнув ее в колено. Зарифа непроизвольно отпустила трос, за который держалась другой рукой, и полетела вниз, в речной поток. Лишь коротко вскрикнула: «А-а-а...» – и умолкла. Видимо, ударилась о камень, выступавший из воды. Бесстрастное течение подхватило ее, понесло туда, куда река устремляет свой бег с незапамятных времен.

Охваченный ужасом, Ихсанбай припустил в сторону своего дома. Бежать! Оставаться в Тиряклах он уже не может! Возможно, день-другой Зарифы еще не хватятся, кому она, пьянчуга, нужна! Но потом... Потом, конечно, начнут искать и, если найдут труп, первым заподозрят в убийстве его, Ихсанбая, – об их связи в ауле знают все. Бежать, бежать! Вороной как раз стоит у него во дворе. Надо лишь забрать золото и... Мадину.

Подходя к задней калитке, он услышал угрожающее рычание. Сердце у него екнуло, по телу побежали мурашки.

— Кукбуре! — окликнул он, углядев неподалеку собаку, показавшуюся большой, как теленок. В ответ на оклик собака снова угрожающе рыкнула, глаза у нее горели зеленоватым огнем. «Волк!» — догадался Ихсанбай. Тут через проем в ограде вылезла и Кукбуре, за ней, повизгивая, выбрались и щенята.

— Кукбуре... — прошептал Ихсанбай, теперь уже не подзывая суку, а умоляя защитить его. Он забыл, что в кармане у него лежит наган, выданный ему как председателю сельсовета. Впрочем, если бы и вспомнил, наган не понадобился бы. Кукбуре подбежала к волку, за ней последовали щенята, и все вместе они потрусили в направлении болота. Должно быть, зверь пришел, чтобы увести свое потомство. Ихсанбай все же долго еще не мог сдвинуться с места, будто прилип ногами к земле. Кукбуре еще щеночком подарил ему знакомец Михаил, приезжавший из города поохотиться. У Ихсанбая возникало сомнение в том, что Кукбуре — собака, однако не ожидал он, что дело обернется таким вот образом.

Наконец, войдя во двор, он сунулся под навес, где была привязана лошадь, и не обнаружил ее там. Не было на месте и тарантаса. А дома выяснилось, что нет и Сабили, вместо нее увидел мать...

* * *

Сон у Фаузии короток, коротки и сновидения. Сегодня ей приснилась степь, накрытая непроглядным бураном. Будто бы сквозь эту снеговерть мчится неведомо куда табун лошадей. Фаузия и сама на коне, в руке — плетка. Она должна завернуть табун, направить в загон, но ей это никак не удается. Снег слепит глаза, уши глохнут от топота. И вот, обессилев, она падает с коня...

— Ах! — вскрикнула Фаузия и открыла глаза. Какой страшный сон ей приснился! «Не пересказывай свои сны, — советовала ей бабушка, — люди, как колдунья-мэскей, обязательно истолкуют их превратно, предскажут что-нибудь дурное». Фаузия следовала совету, но все равно все у нее в жизни получалось будто по предсказаниям злой колдуньи.

Скрипнула дверь сеней. Должно быть, пришел Ихсан-

бай. Трезвый или пьяный? Хотелось бы, чтоб был трезв, а то опять учинит скандал, подумала Фаузия. Тем временем открылась дверь дома, вошел Ихсанбай. Кажется, трезв. Только почему лицо у него такое бледное?

– Где Сабиля? – спросил Ихсанбай.

– Дядя ее, Ансар, умер. На похороны уехала.

– Обязательно мою лошадь надо было угнать?

– У кого же она должна была попросить, когда в своем дворе стояла сытая, откормленная чистым овсом лошадь? Я ей разрешила.

– Ты! Вечно ты мне все портишь, – закричал Ихсанбай. – Всю жизнь поперек моих дел, желаний стояла! Ты сделала меня несчастным! У-у, задушил бы тебя своими руками!..

Ихсанбай впал в истерику, принялся, как сумасшедший, биться головой о стену. Фаузия испугалась, но постаралась сохранить спокойный тон:

– Ихсанбай! Не я виновата в твоих несчастьях, а судьба, проклятье, павшее на нас.

– Какая судьба?! Какое проклятье?! Что это у тебя за бесконечный бред?!

– Я, сынок, в ясном уме.

– В ясном уме? А в каком уме ты была, когда заставила сына жениться на уродке, которую, хоть маслом обмажь, собака не оближет? Вот что: достань-ка золото. Где ты его прячешь?

– Золото?

– Не прикидывайся дурочкой. Отдай мою долю, и я исчезну. На мне тройное убийство, я попал в беду, должен скрыться. Возьму только золото и... прихвачу Мадину. Ты не дала мне жениться на Гульбану, так пусть хоть ее дочь мне достанется!

– Не смей Мадину трогать! Слышишь? Никогда!

– Не твое дело! Надо, так Хашима и любого, кто встанет на моем пути, порешу.

– Ихсанбай, сынок, послушай... – Фаузия впервые смотрела на сына с мольбой в глазах. – Мадина – твоя племянница. Гульбану – твоя сестра, вы двойняшки...

– Ух, змея! Чего только не придумаешь, чтобы помешать мне!

– Это правда. Поэтому я не могла допустить твоего брака с Гульбану.

— Мне некогда слушать сказки. Давай золото. Хоть раз позаботься о благополучии сына.

— Я делала все ради тебя, ради твоего счастья.

— Ради меня?! Ты и сама не жила, и мне не давала.

— Я ради твоего благополучия... лишила жизни твоего отца.

— Что?! Отца?! Ты?!

— Да, я! Я! Он стал опасен... для тебя опасен. Он совершил в молодости страшные преступления, мы вынуждены были сменить имена и фамилию, его могли разоблачить, а это ударило бы по тебе. В одном ты прав: я не жила, я ушла в тень, чтобы уберечь тебя. Теперь сожалею об этом. Чем больше пеклась о тебе, тем больше ты дурел...

— А теперь ты хочешь убить и меня? Давай золото! Пойми, я — на волоске!

— Я тебя не держу... Золота у меня нет. Часть отдали доктору, остальное Сибагат сбыл в городе за деньги... На какие, думаешь, шиши он пьянствовал?

— Ладно, обойдусь без золота. А Мадину... будь она хоть племянница мне, хоть сам черт, возьму с собой. Назло Хашиму, тебе, судьбе!

— Ты не сделаешь этого! Мадину я тебе не отдам! Подниму шум!

Ихсанбай вытащил из кармана наган, направил на Фаузию.

— Не поднимешь!

— Опомнись, Ихсанбай! Я твоя мать!

— Нет у меня матери, а у тебя — сына! Мокрый воды не боится, мне уже нечего терять. Я собственных детей закопал под грядкой... — Ихсанбай приставил палец к спусковому крючку. — Ты сама вынуждаешь меня обратиться к последнему средству...

Он не успел спустить курок, но в избе, освещенной дрожащим светом керосиновой лампы, громыхнул выстрел. Ихсанбай сделал шаг в сторону матери, застывшей, вытаращив глаза, в углу, и рухнул на пол, задев керосиновую лампу. Лампа полетела с печного уступа, разбрызгивая тут же вспыхнувший керосин.

Пламя осветило в дверном проеме фигуру человека, отпрянувшего назад, в темноту.

* * *

Аул, погруженный в глубокий сон, не сразу учуял пожар. Благо ночь была безветренная, огонь охватил только дом Ихсанбая и перекинулся на сарай, а скотной избы не коснулся. Сбежался народ — кто с ведром, кто с багром, соответственно табличкам с рисунками, прибитым к каждому дому на случай пожара, но тушить было уже поздно.

К утру во дворе с крепкими русскими воротами образовались две груды золы и догорающих углей. Среди людей, суетившихся возле пожарища, не было ни Ихсанбая, ни Фаузии, ни Сабили.

На улице недоуменно мычала выведенная из сарая корова Фаузии, выискивала взглядом хозяйку.

— Вымя у нее, наверно, набухло, может, подоишь? — сказал Хашим дочери. Она уже оправилась после вчерашнего потрясения.

— Хау, хау... — позвала Мадина. — Иди ко мне, Буренушка, на, хлебушка дам.

Корова доверчиво пошла за ней. Вскоре звонко ударили в дно ведра белые струи. А рядом капали на землю слезы Мадины. Жаль ей хозяйку Буренушки. Добра была к ней тетушка Фаузия. Добра, как никто другой, кроме, конечно, мамы. Долго будет Мадина скучать по ним. Скучать и грустить. Грусть перельется в ее песни, песни, затронув души слушателей, завоюют их любовь.

А пока льются белые струи, и звучит в ведре порожденная ими обыденная музыка жизни...

Часть вторая

НАДЕЖДА РЯДЫШКОМ С ПЕЧАЛЬЮ

Глава первая

В квартиру, в которой жила после выселения из общежития, Мадина вернулась запоздавшись. Хозяйка квартиры, симпатичная, разговорчивая татарка Нафиса, встретила молодую квартирантку укоризненным взглядом.

– Миленькая, не то уж ты в Бутырках собираешься родить?

Мадина, с трудом нагнувшись, расстегнула промокшие боты. Сказала с досадой:

– Ох уж эта московская зима!

– Батюшки, у тебя же чулки мокрые, хоть выжимай! – всполошилась Нафиса. – Снимай скорей, вот сухие носки, надень их.

Пока Мадина – у нее зуб на зуб не попадал – сняла чулки и натянула на отекшие ноги носки, Нафиса успела поставить около нее поднос с чашкой чая.

– Ну, повидалась?

– Нет.

– И что же думаешь делать дальше?

Мадина оставила вопрос без ответа. Что она могла сказать? Сколько уж пережито, думано-передумано после того, как арестовали Абдельахата, а ничего не добилась. Вдобавок ко всему лишилась места в общежитии, ладно еще эта женщина, работающая там комендантом, привела ее к себе домой. Временно, до возвращения мужа из дальнего плавания...

– Пей чай, пока горячий. – Голос Нафисы вывел Мадину из глубокого раздумья.

– Давид... не приходил?

– Ай, память моя дырявая! Заглянул в общежитие, просил передать, что вечером сюда придет. Чтобы ты, значит, в это время не ушла куда-нибудь. Ах, вроде бы стучат в дверь? Должно быть, он...

В самом деле, это был Давид Гредель. Из сокурсников Абдельахата он один остался верным дружбе.

– Добрый вечер! Я вам не помешаю?

– Нисколько! – Приветливая Нафиса тут же поставила на поднос еще одну чашку чая. – Озяб, наверно, присаживайся! Наша красавица только что пришла еле живой. Скажи ей... Разве можно в ее положении, а?

Давид присел напротив Мадины.

– Ну как?

Мадина отрицательно качнула головой. Нафиса ушла на кухню. Воспользовавшись этим, Давид достал из кармана листочек бумаги, протянул Мадине. Когда она увидела знакомый почерк, буквы запрыгали перед глазами.

«*Любимая*! – прочитала она. – *Как только получишь эту записку, собирайся и уезжай домой, в аул. Сбереги ребенка. Останусь жив – встретимся. А пока – прощай!*»

Взглянула сквозь слезы на Давида. На его смуглом лице, в черных глазах – нетерпеливое ожидание: что она скажет?

– Как тебе удалось?..

– Я продал свою скрипку. Деньги понадобятся и тебе на дорогу.

– Значит...

– Да, ты должна уехать.

Когда Нафиса вернулась в комнату, они безмолвно стояли у окна, глядя на Москву-реку. Лица у обоих печальные. Нафиса понимает Мадину: большое горе пало на молодую головушку. Но и этот еврей горюет. Успел так крепко подружиться с ее мужем?

В квартире царила тишина. Слышно было только, как тикают настенные часы и на кухне из крана капает вода. За окном, словно отражая настроение стоявших возле него людей, вдруг крупными хлопьями повалил мокрый тяжелый снег. Мадине почудилось, что сейчас сверху рухнет еще что-то огромное, придавит ее трепыхающуюся в тисках безысходности душу.

– Жаль твою скрипку... – Ей хотелось закричать, а произнесла это шепотом.

Давид сходил в прихожую, принес оставленный там сверток, развернул ткань.

– Вот новая скрипка, о которой я говорил. Скоро я ее доделаю.

Мадина прикоснулась кончиками пальцев к шершавому грифу.

– Доделай скорей... Эх!..

Неожиданно она стиснула рукой ручку окна, прижалась лбом к холодному стеклу и негромко запела:

Ушел мой муж, мой милый, на охоту
У Ашкадара норок добывать.
И там погиб, молоденькой оставил
Меня в печали век свой вековать...

Печаль героини старинной песни, перекликаясь с переживаниями Мадины, словно бы обернулась непроглядным бураном, застигшим охотника на норок у Ашкадара, и унесла ее к далеким, покрытым глубокими снегами полям и лесам. Не только печаль была в этой песне. Она хранила память о страстном чувстве, возносившем два молодых сердца в заоблачные выси, вобрала в себя и восторг, присущий любви, и скорбь, вызванную невосполнимой утратой.

– Спасибо! Спасибо тебе, Мадина! – Голос Давида дрожал, в глазах стояли слезы. – Такую мелодию... такое исполнение... мне больше ни от кого не доводилось слышать. Может, я сделал не все, чтобы тебя оставили в консерватории, может, нужно еще что-то предпринять?

– Нет, Давид, Абдельахат велит мне уехать. Значит, так надо. Как мне тут жить... с ребенком, без квартиры, без работы, без денег? Об одном тебя прошу: не оставляй Абдельахата без своей помощи. Он должен жить!..

* * *

В закопченном подобии избы, сооруженной из жердей в пещере, ничем снаружи не напоминавшей человеческое жилье, у чувала (сложенной из камней печи типа

камина) сидел волосатый, диковатого вида мужчина и чинил что-то из одежды. Это был Ишмухамет.

— Сегодня ты сильно бредил, — проговорил он, глянув в сторону жердяных же нар, на которых спал второй обитатель пещеры, живший в ней на правах гостя. Тот на миг проснулся, невнятно мыкнул в ответ и снова заснул.

— Из чего, интересно, эти твари зарождаются? — пробормотал Ишмухамет, раздавив меж ногтей вошь. Придвинул одежду ближе к огню, опять посмотрел в сторону гостя. — Ты выкрикнул имена «Сабиля», «Гульбану», кажется, еще Мадину упомянул. Вот я и говорю: не то уж... — Услышав храп, Ишмухамет замолк. А может быть, замолк оттого, что вновь резнула по сердцу мысль: не Ихсанбай ли этот обезображенный до неузнаваемости человек? Не просто резнула — бросила в дрожь.

В одном из писем из Тиряклов, полученном на фронте, Ишмухамету сообщили, что его Зарифа спуталась с Ихсанбаем. Сама Зарифа написала, что своих мальчишек Гульбану нажила, оказывается, от того же Ихсанбая. Ишмухамет сообщению об измене Зарифы не поверил: она ведь любила его, и он ее на руках носил. И все же зародились в душе сомнения. Жгучее желание узнать правду, — мог ведь «доброжелатель» возвести поклеп на его любимую, — побудило Ишмухамета выпрыгнуть, не подумав о последствиях, из эшелона, шедшего в Сибирь за воинским грузом. Он воспользовался тем, что был прикомандирован к вооруженной охране эшелона.

О том, как стал дезертиром, добирался до родных мест, как набрел на пещеру и жил в ней, таясь от людей, Ишмухамет откровенно рассказал этому одноглазому, да и то с обожженными веками калеке, живой головне, случайно обнаруженной им в лесу. Появился рядом такой же, как сам, несчастный человек, было теперь с кем словом перемолвиться, облегчить душу в разговоре. Гость, не назвавший своего имени, стал единственным свидетелем бессонных ночей и долгих, как годы, дней Ишмухамета.

Пуганая ворона, как говорится, и куста боится. Обреченный судьбой на одиночество, Ишмухамет должен был опасаться любого человека, но нет-нет да возникавшие подозрения относительно гостя гнал прочь. Побывать в родном ауле, где каждая собака его знала, он так и не решился. Однако о событиях, происшедших в Тиряклах, знал. Ошеломила его рассказом о них живущая на окра-

ине райцентра старуха Муглифа, с которой сошелся так же случайно. Через нее Ишмухамет сбывает добытые им шкурки пушных зверей. Не верить услышанному от Муглифы у него нет оснований. Старуха отнеслась к нему с искренним сочувствием. Каждый раз, когда Ишмухамет условленной ночью, крадучись, приходит к ней, его ждут истопленная баня и свежеиспеченный хлеб.

Ишмухамет, потерев заслезившиеся от дыма глаза, обвел взглядом свое жилище. Да, более удобное для беглого логово днем с огнем не сыскать. Лаз в пещеру расположен сбоку, к тому же его прикрывают оголенные корни огромной лиственницы. И вот что удивило Ишмухамета: и до него в этой пещере жили люди. Судя по оставленной ими утвари, обитало в ней не одно, а по меньшей мере два-три поколения. Последний обитатель умер здесь же. Скелет пожилого, надо думать, человека лежал на нарах, где сейчас спит гость. Прежде Ишмухамет к понятиям «душа», «дух умершего» относился скептически. Но после того, как он предал скелет земле, случилось с ним нечто странное.

Помнится, и тогда в чувале мерцал огонь. Наевшись тушеной зайчатины, отяжелев, он прилег на нары. Хотя и не привык еще к этому жилищу, дала знать о себе усталость — задремал. И вдруг слышит:

— Ну-ка, мусафир*, подвинься немного...

Открыв глаза, вроде бы сразу узнал подавшего голос бородача: хозяин того скелета!

— Да, — подтвердил бородач, — я — дух похороненного тобой сегодня человека. Спасибо тебе, божье создание, наконец-то я обрел покой, кости мои лежат там, где им надлежит лежать.

Странно, Ишмухамет сознавал, что разговаривает с пришельцем с того света, но ни чуточки страха не испытывал.

— Что заставило тебя жить в этой пещере? — спросил он, стараясь разглядеть лицо духа.

— Человек превращается в беглого не от хорошей жизни. В свое время я украл коня ради того, чтобы повидаться с любимой.

— А я... — На глаза Ишмухамета навернулись слезы. — Я тоже... ради нее... А она...

---

*Мусафир (*араб.*) — путник, прохожий.

— Рано или поздно все в этом мире проходит. Узнав, что любимая умерла, я тоже решил умереть. Сорок дней ничего не ел, на сорок первый душа отделилась от тела.

— Эх, если бы я знал, что у меня получится так! Если бы знал, что она шлюха!

— Я любил замужнюю женщину. Она не смогла переступить установленное обычаями. Но я не виню ее.

— Значит, ты счастлив...

— Духи не могут быть ни счастливыми, ни несчастными. Ну, мне пора в свой мир, прощай!

— Постой, не уходи! Объясни, как Всевышний навел меня на этот укромный уголок?

— Помнишь серую белочку?

— Да-да... — Ишмухамет смутился, вспомнив, как нацелил на пушистого зверька винтовку, предназначенную вовсе не для этого. А белочка, добежав до корней одинокой лиственницы, исчезла. Полез по склону горы посмотреть, куда она подевалась, и обнаружил лаз в пещеру.

— Так вот она волею Всевышнего и помогла тебе найти приют. — Дух поднялся, отошел к чувалу, возле которого стоял чугунок с остатком тушеной зайчатины. — А ты без жалости убиваешь лесную живность...

— Но как же мне иначе добывать пищу и одежду? Я нашел здесь старое ружье с припасами. Выходит, и ты охотился. Разве не так? Молчишь? Ладно, скажи тогда ради Бога: долго ли еще мне жить в этой пещере?

— До конца жизни. Но недолго.

— Почему недолго?

— Около тебя появится еще один человек...

— И что же?

Дух не ответил. Направился к лазу, намереваясь уйти из пещеры.

— Дух! Ответь! — отчаянно закричал Ишмухамет и очнулся.

Картина в его пристанище была все та же: в чувале мерцал огонь, рядом стоял закопченный чугунок. Лаз был закрыт каменной плитой — как Ишмухамет поставил, так она и стояла...

Что же это было? Бред наяву или сон? Не его ли,

Ишмухамета, лицо напоминало истомленное одиночеством лицо духа? Почему у него, Ишмухамета, не хватило силы воли своевременно явиться в военкомат и признаться в своем преступлении? Боялся тюрьмы? Но тюрьма, наверно, не страшней его теперешнего безвыходного положения.

Хорошо еще, что судьба свела его с Муглифой. Он носит ей свою охотничью добычу, она, сбыв шкурки, покупает для него порох, кое-что из одежды, еду. Старуха помогла поставить на ноги и этого вот «гостя». Когда Ишмухамет нашел его в лесу, это был почти мертвец. Заживо гнил, зачервивел, черви объели нос, губы, одно ухо. Ишмухамет спас его, подумав, что все-таки рядом будет живая душа. Правда, тот не очень-то разговорчив, о своем прошлом предпочитает молчать. Но в этом каменном мешке долгими зимними ночами слышать рядом дыхание хотя бы такого убогого существа и то ведь счастье, верно?

* * *

Камалетдинов – теперь он первое лицо в районе – вечерами надолго задерживается в райкоме, любит посидеть-подумать, отрешившись от дневной суеты. Если не принимать во внимание позвякиванье ведра Гульмарьям-апай, занятой уборкой в коридоре, можно сказать, что в здании райкома воцаряются на ночь глядя тишина и покой. Правда, еще часы надтреснутым звоном напоминают о том, что с момента сотворения мира начало и конец всего сущего в нем определяет Время.

Таким образом, Аюп Камалетдинов после окончания рабочего дня остается в одиночестве. Жизнь остального населения подчинена не одной лишь работе: люди общаются с родней и друзьями, кто-то женится – идут на свадьбу, кто-то умирает – прощаются с ним...

У Камалетдинова дело обстоит иначе, и он к этому привык. Народ в районе смотрит на него, он, в свою очередь, смотрит на народ, но никого, кто полностью владел бы его сердцем и умом, до последнего времени у него не было. Да так оно и лучше: руководитель действует свободней, если не опутан нитями родственных и дру-

жеских связей. Он никому и никто ему ничем не обязан. К сожалению, кого из председателей колхозов, местных уроженцев, ни возьми, у каждого насчитывается сорок-пятьдесят родственников и свойственников. Спросишь иного, почему поступил так, а не этак — сто причин выложит: этот у него болен, у того — горе, сам в расстройстве... Может быть, оттого, что вырос в детдоме, Камалетдинов родственные отношения считает помехой делу. Если бы это было возможно, поставил бы во главе всех учреждений и хозяйств района бывших детдомовцев. Айда, командуй, как на фронте. Там порядок был прост: хорош приказ, плох ли — обсуждению не подлежит, исполняй!

Привычка Сталина работать по ночам приучила к ночным бдениям и нижестоящих руководителей. Вождь мог неожиданно позвонить главе республики или области, а тот в свою очередь — главе района. Камалетдинов засиживался в райкоме и по этой причине. Сегодня тоже не спешил домой. Но причина на сей раз была другая.

Уже наплывал сон, черная коробка телефонного аппарата расплывалась в глазах, то увеличивалась, то уменьшалась. Какую еще весть принесут телефонные провода? Умер Сталин. Сколь бы напряженной ни становилась работа при нем, на душе, оказывается, было спокойней. Народ взбудоражен, как потерявший матку улей. Кто придет на смену Сталина? Не верится, что кто-то другой сможет повести страну дальше так же уверенно, как он.

Тревожное, смутное наступило время.

* * *

Перед пещерой нет тропинки. Ишмухамет и летом и зимой поднимался к своему приюту по каменным уступам. Поднявшись выше и присев под скалой, можно было оглядеть окрестные дали, докуда достанет глаз, в ясные дни справа увидеть дымы Таулов, напротив — тиряклинские крыши. Поблескивала вдалеке река, напоминая серебряные позументы на праздничной одежде, блики на излучине вспыхивали золотыми серьгами. И щемило сердце у Ишмухамета: там, у Тиряклов, покоятся его деды-прадеды, там его дом, там живет его, пусть и убогий умом, сын Шангарей...

На матери Шангарея он женился потому, что подошло время жениться, да и нравилась она ему, но после того, как родила сына не на радость, а на горесть, опостылел ей Ишмухамет, лишила его близости в постели. А он ведь был мужчина в самом соку, оттого, что жена холодна, мужскую страсть не утратил. Вот и прибрала его вскоре к рукам игривая сестра жены. Не познавший, живя с женой, бурную женскую ласку, Ишмухамет растаял в объятиях Зарифы, как масло на солнце. Проворней волосатика* проникла она в его сердце и утвердилась в нем. Если бы жена не умерла, угорев в бане, Ишмухамет все равно развелся бы с ней и женился на Зарифе. Лишь ради того, чтобы хоть один раз погладить ее упругое тело, стоило родиться и жить в этом проклятом мире. Желание опровергнуть сообщение об измене Зарифы овладело всем его существом, помутило разум. Однако вернуться домой он не смог, законы, установленные для военнослужащих, были сильней его желания.

Сидя на камне у полюбившейся скалы, Ишмухамет вспоминал, как впервые за время своего отшельничества увидел внизу, у подножья горы, человеческую фигуру. Присмотревшись, угадал в ней женщину. Вряд ли она пришла из Тиряклов: во-первых, далеко, во-вторых, дороги с той стороны поблизости не было.

Ишмухамет, забыв второпях прихватить ружье, спустился вниз, осторожно, скрываясь за деревьями, приблизился к женщине, понаблюдал за ней. Оказалась она древней старухой, лицо было изборождено глубокими морщинами. Старуха собирала какие-то травы. Сорвав растение, внимательно его разглядывала и, пробормотав что-то, совала в мешок. Вдруг в памяти Ишмухамета всплыло имя: Муглифа. Да-да, старуха Муглифа, как же это он сразу ее не узнал?! Еще до войны, до вступления в законный брак с Зарифой, видел он однажды эту старуху. Жила она в Таулах, в крайнем доме Кривой улицы, слыла знахаркой и прорицательницей. Прослышав о ней, Зарифа пристала, что называется, с ножом к горлу: давай съездим к старухе, пусть погадает, что нас ждет! Он, влюб-

---

*Волосатик — обитающий в водоемах тонкий, как нитка, червь. Считается, что при купании может легко проникнуть в тело человека.

ленный и послушный, как щенок, хотя и не верил в гаданья, взял Зарифу с собой, когда поехал в Таулы по своим делам.

Муглифу они застали сидящей на краю нар – толкла что-то в маленькой ступке. Первое, что удивило Ишмухамета в ее доме – множество книг. Знахарки представлялись ему темными, невежественными личностями, а эта, выходит, много читает.

– Да, сынок, как видишь, и так бывает, – улыбнулась Муглифа, отставив ступку в сторону.

– Ты о чем, инэй?

– О том, о чем ты подумал...

Тут и Зарифа, успевшая оглядеться, вступила в разговор:

– Мы, инэй, я и вот мой езнэ, ай, Ишмухамет, хотим, чтобы ты погадала – суждено нам или не суждено быть вместе...

– Садитесь, – предложила Муглифа и вытащила из-под сложенной по-старинному горкой постели небольшой кисет, развязала его, высыпала на постланный на нарах палас горсть гладких разноцветных камешков. Ишмухамет присел на лавку у входа, Зарифа – на нары напротив знахарки.

Длинные узловатые пальцы старухи замерли над камешками, и сама она замерла, закрыв глаза, словно задремала, придавленная усталостью.

Посидела так некоторое время, затем коснулась пальцами камешков, начала передвигать их. Посмотрела, как они расположились, приложила руку к груди, тяжело вздохнула. Зарифа, теряя терпение, заерзала. Наконец, старуха заговорила:

– Ты, сынок, терзаешься оттого, что единственный твой ребенок родился с ущербным разумом. Не ты в этом повинен – род ваш помечен печатью возмездия за неправедные дела. Далее он не продолжится, твой сын – последний в нем, не будет больше мальчиков.

Огорошенный ее словами Ишмухамет вскочил с места:

– И девочки не родятся?

– Родились бы... но суждена тебе жизнь в стороне от твоего дома.

– А я? Что мне суждено? – Зарифа тоже поднялась.

– Тебе, дочка... – Старуха помолчала в раздумье. – Тебе не даст жить в радости тяжкая обида, нанесенная тобой близкому человеку. Не сердитесь на меня за прав-

ду – я не вижу, где вы обретете последний приют и проводят ли вас туда с почестями. Это все, что я могу сказать вам.

Ишмухамет растерялся, красивое лицо Зарифы исказилось.

– Не верю я тебе! – выкрикнула она.

– Не обрадовала ты нас, инэй. Все же прими на чай... – Ишмухамет достал из кармана деньги.

– Не надо... Купи на эти деньги гостинец для сына. Не обижайте его, старайтесь почаще радовать. Сказано в Священной книге: тому, кто обидит убогого, гореть в аду.

Зарифа вышла из дома знахарки первой, в сердцах громко хлопнув дверью. Ишмухамет ненадолго задержался.

– Побеспокоили тебя, инэй, извини нас, не кори, – попросил он. – Не думал я, что все так обернется... Живешь и не знаешь, что тебя ждет.

Муглифа усмехнулась.

– Кабы и знал, одна лишь красная книжечка, которую носишь в нагрудном кармане, изменить судьбу не в силах.

Ишмухамету стало не по себе. Только в эту минуту осознал, что совершил, придя к знахарке, непростительный для члена партии поступок. Пробормотал обеспокоенно:

– Это... соседи твои не болтливы? Не подвели бы меня... Время такое...

– Не волнуйся, нет их сейчас дома, рядом – две избы, обе на замке.

– Ладно, инэй, может, еще встретимся. Если помощь какая понадобится...

– Может быть... Только гора с горой, говорят, не сходится.

– Да, вот еще о чем хочу спросить. Много разговоров о войне. В самом деле она может начаться?

Муглифа, ссыпавшая камешки в кисет, глянула в окно, обращенное на запад. Ответила на вопрос иносказательно:

– Тучи давно уже сгустились. Движутся в нашу сторону...

И вот снова увидел Ишмухамет перед собой эту старуху. О, силы небесные! Во сне или наяву? С тех пор, как поселился в пещере, еще ни разу не довелось ему встретиться с живым человеком, пригрезившийся дух – не в счет. Колени Ишмухамета ослабли. Предстань перед

ним кто-то другой – не решился бы обнаружить себя. Старуху окликнул:

– Инэй! Муглифа-инэй!

Старуха, склонившаяся над каким-то растением, резко выпрямилась, обратила лицо в сторону дерева, за которым притаился Ишмухамет.

– Ты кто?

– Беглый. Жизнь моя в руках Всевышнего. Ты одна? Нет поблизости других людей?

– Не беспокойся, нет. А я не из душегубов. Можешь мне довериться, так покажись, не можешь – дело твое.

Ишмухамет вышел из-за дерева. Старуха, глянув на его заросшее черным волосом лицо, ничего не сказала, ждала, что еще скажет он. Должно быть, не узнала его. Он засыпал ее вопросами:

– Как ты дошла досюда? Путь от Таулов немалый. По-прежнему живешь там? Помнишь, я еще до войны побывал у тебя с молодой женщиной? Ты сказала тогда: только гора с горой не сходятся...

– Помню. Ты знаешь, где я живу. Приди через недельку, если есть нужда ко мне, – сказала старуха, закинула мешок с травой за спину и ушла. Ишмухамет, боясь вздохнуть, уставился ей вслед, пришло вдруг на ум: впрямь ли это была Муглифа, не привиделась ли?

А вскоре судьба свела его с полуживым калекой. «Моя тюремная кличка – Барсук», – сообщил он, когда немного оклемался. Но Ишмухамет нарек его просто гостем. Лечил его ожоги и раны снадобьями, приготовленными знахаркой. Жизнь в пещере заметно изменилась. Из добытых Ишмухаметом шкур Муглифа шила шапки и продавала на базаре, к его приходу припасала хлеб, топила баню. Но привести гостя, даже осведомить его, кто она, где живет, не разрешила. Помня впечатление, произведенное ее давним гаданием, Ишмухамет несколько раз просил старуху опять погадать насчет его будущего, но ответ был один:

– Судьбу не изменить, а раз так, зачем гадать?

– Не хочу, инэй, умереть беглым. Я сшил шапку из собольих шкурок, хочу своими руками надеть ее на голову сына.

– Это уж как судьба распорядится. Никто не может умереть ни раньше, ни позже предназначенного ею срока и носить на себе то, что не суждено носить.

Разговор этот состоялся недавно, при последней их встрече. Отправляя Ишмухамета в баню, старуха вручила ему нижнюю рубашку и штаны, сшитые из белой миткали.

– О, в таком белье неплохо бы очутиться в объятии молодушки, – пошутил он и добавил серьезно: – Впрочем, и умершего хоронят в чистой одежде, завернув почему-то в белую ткань...

Воспоминания Ишмухамета прервал оклик:

– Ишмамат!

Услышав свою аульную кличку, он вздрогнул, вскочил на ноги, и тут же прогремел выстрел. Не успел Ишмухамет сообразить, откуда, кем послана смерть, – как оторвавшийся от скалы камень, покатился вниз, к занесенной сугробами речке, однако не докатился до нее – подкинутое последним уступом горы безжизненное тело застряло в ветвях стоявшего чуть ниже старого вяза.

* * *

Таулы остались далеко позади. Мадина шагала, ничего вокруг не замечая, подгоняемая унижением, пережитым в квартире Камалетдинова. Не знала она, что Аюп Газизович женился. Хоть бы прежде чем толкнуться в знакомую дверь, поспрашивала о нем у здешних людей. Нужна она тут как прошлогодний снег! Поняла это, едва переступив порог, по брезгливому взгляду женщины в роскошном атласном халате. Надо было сразу повернуться и уйти, но не ушла. Стояла, чувствуя, что съеживается ее душа перед высокомерием этой женщины, назвавшей себя Маликой-ханум.

– Говоришь, ты – жена Абдельахата? – Малика прищурилась, словно хотела разглядеть через Мадину неведомого ей человека. – Мой муж ни разу ни о каком Абдельахате не упоминал.

– Мы уехали в Москву... Уже два года прошло... – Теперь Мадина почувствовала, что язык плохо ее слушается. – Они дружили...

– Хы... Отец Флориды, – так Малика-ханум дала понять, что у них есть дочь, – нередко ошибается в людях. Да, ошибается.

— Аюп-агай и Абдельахат... Они вместе прошли войну...

— Ах уж эти ссылки на войну! Как будто там можно было выбирать друзей! Знай Аюп, что этот... Абдельахат станет бандитом, разве подпустил бы его близко к себе?

— Как вы... можете?!. — Мадине трудно стало дышать. Не нашла больше слов, чтобы выразить возмущение. Вцепилась одной рукой в дверную ручку, другой пошарила у ног, отыскивая свой узелок. В голосе Малики, понявшей, что попала в цель, в самое больное место Мадины, зазвенел металл:

— Как, как... У меня-то, слава Аллаху, совесть чиста, а вот как вы... Как твой муж докатился до этого — стал врагом поставившего его на ноги народа?!

— Абдельахат не враг! И не был им никогда!!! — То ли Малике это выкрикнула Мадина, то ли на улице — выбежала не помня себя. Ноги словно бы сами понесли ее к дороге, ведущей в Тиряклы, и вот уже порядочное расстояние отшагала по ней. Наверно, даже после исключения из консерватории и выселения из студенческого общежития не было ей так тяжело, как сейчас. Тогда согревало душу сознание, что есть родные места, куда она в крайнем случае может вернуться, есть люди, которые ее знают и приветят, в том числе Аюп Газизович, очень хорошо относившийся к Абдельахату и к ней. Приехав в Таулы, к нему первым делом и решила зайти, думала, что встретит как прежде, поможет добраться до Тиряклов. Да не оправдалась надежда.

Неожиданно ребенок в ее чреве задергался, поясницу пронзила боль.

— Ах, не уж то... — Не зная, что делать, Мадина перевела взгляд с убегавшей вдаль пустынной дороги на простиравшееся рядом заснеженное поле и свернула туда. Поняла, что малыш — до сих пор единая с матерью душа, единая плоть — может в любой момент в любом месте явиться в этот мир, отделиться от нее. Сердце Мадины зачастило, ноги подкосились от страха. Что она надела-ла! Зачем вместо того, чтобы постучаться в Таулах к добрым людям, отдохнуть, сразу отправилась в нелегкий путь? Сорок с лишним километров по зимней дороге — не шутка, тем более в ее положении.

— Помогите! — закричала она, хотя видела, что поблизости никого нет и можно надеяться только на чудо. — А-а-а!..

Немного погодя, несколько успокоившись, подумала: как же теперь быть? Повернуть назад? Но далеко уже ушла от Таулов, да и помогут ли ей там? Решила: надо, во что бы то ни стало надо дойти до Тиряклов, до родного дома!

* * *

Мартовское солнце ослепляло, нанизывая на лучи крупинки зернистого снега. Хашим хотел было мимоездом постоять у могилы Гульбану, но глубокие, рыхлые сугробы не дали добраться до нее. Ладно, придет, когда растает снег, проклюнется травка и вспыхнут цветы горицвета – глаза весны. У Гульбану глаза были такие же чистые, притягательные, да на беду и жизнь оказалась короткой, как у этих, самых ранних, цветов...

Ехал Хашим за сеном, взялся привезти сразу два воза – вторая лошадь с санями шла сзади в поводу. В конце Глубокого лога повернул по санному пути, проложенному вдоль ручья Тенгрибирде, в сторону стога, который прошлым летом завершал он сам.

Нагружал сани торопливо, думал лишь о том, как побыстрей управиться с этой работой. А не спеша разматывать клубок мыслей он примется на обратном пути, лежа на высоком возу. Думам Хашима конца-краю нет, и бездонны они, как синее небо над головой. Каждого человека, каждую живую душу, каждую травинку старается понять Хашим, но чем больше старается, тем сложней становятся вопросы, требующие ответа. В последнее время не дают ему покоя судьба Шангарея и разговор с Мирхайдаровым.

К слову сказать, вспоминается Хашиму случай, происшедший в его раннем детстве. Это был, кажется, праздничный день – у взрослых закончился мусульманский пост. Он вышел на улицу в обнове – сшитой матерью из ярко-желтой в горошек бязи рубашке, зажав в руке сваренное вкрутую яйцо. Набежали его сверстники.

– Ого, новая одежка!

Двое-трое больно ущипнули Хашима. Он молча стерпел это. Таков порядок: раз надел обнову, день-другой терпи щипки.

– А что у тебя в руке?

– Яйцо. – Хашим раскрыл ладонь.

– Хе! Это же картошка! – Мальчики, чтобы подразнить его, прикинулись разочарованными. Хашим обиделся:

– И вовсе не картошка! Не верите, так нате посмотрите.

Никто и глазом не успел моргнуть, как яйцо очутилось во рту Шарика, то есть Шангарея. И тут же, напрягшись так, что глаза выпучились, Шарик проглотил его целиком, в скорлупе.

– Обжора! – Уже готовый подраться Хашим не долго думая дал дурачку зуботычину. Тем временем вышла, оказывается, на улицу мать.

– Ты что это, Хашим, себе позволяешь?!

– А зачем он проглотил мое яйцо?

– Он не виноват. Это нужда вас, сынок, ссорит. Идем домой. Курица еще снесется, я тебе другое яичко сварю. А ты, Шангарей, подожди здесь, дам тебе теплого хлебушка.

– Не давай ему! Он же диуана.

– Тш! – Мать ладонью прикрыла рот Хашима. – Того, кто обижает диуану, счастье обходит. Он божий человек.

Слова матери Хашим быстро забыл. И не счесть, сколько раз потом обижал Шангарея. Высмеивал его дурацкую любовь к Гульбану. Эх, если бы можно было исправить то, что натворил в прошлом!.. После возвращения в аул с войны взглянул Хашим на беднягу другими глазами, по мере возможности старался помогать ему, да что толку. Одним доставляло удовольствие потешаться над безответным дурачком, другие, как комары, как мухи, готовы были укусить, ужалить. Зарифа низвела пасынка до положения собаки, для Ихсанбая он был не более чем вошь. Не для того ли Всевышний создал этого несчастного, чтобы служил он мерой добропорядочности других?

...Лошади, пофыркивая, натужно потащили тяжелые возы в гору. Хашим, ехавший на переднем возу, изредка оглядывался на Гнедуху. Умная скотинка. Если бы она умела разговаривать, Хашим поговорил бы с ней о том, о чем не может столковаться с людьми. Когда он отправляется в путь с этой лошадью, душа у него спокойна. Вот как сейчас.

Вокруг тихо. Иногда только сороки застрекочут, шум-

нут крыльями, перелетая с дерева на дерево. Нет, оказывается не одни сороки тут обитают. Вон, будто выпавшие из чьих-то саней яблоки, сбились в кучку красногрудые снегири.

Откуда-то издалека, сзади вроде бы донесся крик: «А-а-а!..» Хашим натянул вожжи. Гнедуха застригла ушами. Крик повторился, на этот раз еще более пронзительный. Похоже, кричала женщина. «Волки, что ли, кого-нибудь напугали?» — мелькнуло в голове Хашима. Он довольно долго всматривался в оставшийся позади Глубокий лог, но никто там не показывался...

* * *

Увидев скорчившуюся у придорожного сугроба женскую фигуру, Ихсанбай остановился в замешательстве. Ба, это же Мадина! Не раз представала она перед его мысленным взором, когда он, вытащенный Ишмухаметом почти с того света, мало-помалу поправился и мужское естество вновь стало давать знать о себе. Но не ожидал Ихсанбай такой встречи. И вот она сама перед ним — виновница его ссоры с матерью той окаянной ночью, ниспосланное ему Божье наказание. Чего только мать не напридумывала, чтобы он отказался от намерения увезти Мадину с собой: дескать, Гульбану — ха-ха! — его родная сестра, а Мадина, стало быть, родная племянница.

— Ы-ы-ых! Умру сейчас...

Ихсанбай безмолвно наблюдал, как Мадина корчится, хватаясь за гребень сугроба, пока она не обернулась к нему.

— Помоги мне, помоги, агай!

— А как?

Сбросив лыжи, Ихсанбай попытался приподнять ее, но Мадина забилась в его руках и вновь вцепилась в гребень сугроба.

— Не-е-ет! Лошадь... в аул...

Слова, срывавшиеся с посиневших губ Мадины, требовали решительных и быстрых действий. Но где ему взять лошадь? Она, наверно, приняла его за охотника, а он не охотник, скорее призрак. Во всяком случае, для Тиряклов — давно умерший человек.

Мадина неожиданно выпрямилась, должно быть, боль на какое-то время отпустила. Но стоять ей было тяжело, обессилела. Села на твердый бугорок у дороги, спросила, отведя взгляд от его страшного лица.

– Ты кто, агай?

– Не узнаешь? – Ихсанбай в душе порадовался тому, что и голос у него не похож на прежний, сипит-хрипит обожженная гортань. – И не догадываешься?

– Нет.

– Я – Ишмухамет, муж сестры твоего отца.

– Да?! – В черных глазах Мадины застыло изумление. – Тебя на войне так?

А Ихсанбай сам своих слов испугался. По спине побежали мурашки, на лбу выступила испарина. Назвался Ишмухаметом опрометчиво. Ладно бы, если покойник числится в пропавших без вести, а не в дезертирах. Сказанное обратно не вернешь, придется продолжать игру, и может она закончиться по присловью: бежал от волка – набежал на медведя...

– Да, сестренка, на войне, – выдавил из себя Ихсанбай. – Вот только-только возвращаюсь, можно сказать, из ада. Адские муки пришлось мне перетерпеть. И ты немного потерпи...

– Шангарей... – начала Мадина и побелела: опять начинались схватки. – М-м-м... бедняга обрадуется...

Ихсанбай растерянно глянул по сторонам, не зная, как ей помочь, и вдруг сообразил, что они находятся примерно в том месте, где на Гульбану напали волки. Он и сам тогда едва не нарвался на стаю. Стоит пройти лог и подняться на гору – до аула уже рукой подать.

– Ты посиди здесь, Мадина, я в аул. Быстро обернусь!

Ихсанбай встал на лыжи и заскользил в сторону горы.

Итак, испытание первой встречей с человеком из Тиряклов прошло для него гладко. Если успеет спасти беременную Мадину, будет еще один, притом немалый, выигрыш в пользу его предстоящей жизни в ауле.

Поднявшись на гору, он увидел два воза с сеном, остановленные, видимо, для того, чтобы дать передышку лошадям. А вон и возчик идет навстречу ему. Ах ты, это ведь, кажется, проклятый Хашим? Да, он самый...

Малике частенько приходится ждать возвращения мужа с работы до глубокой ночи. Ладно еще есть у нее доченька, Флорида. Гугукнет она, протянет к маме маленькие ручки, и все тревоги, беспокойные мысли, неприятные воспоминания уступают место радости. Сейчас девочка спит. Малике нравится сидеть в это время, оглядывая при пригашенном освещении преображенную ее стараниями холостяцкую квартиру мужа – теперь она выглядит райским уголком. Темная полоса жизни Малики осталась в прошлом. Если не принимать в расчет поздние возвращения и вообще перегруженность Аюпа работой, отличного мужа удалось ей подцепить. Вдобавок к высокому положению в районе, он не пьет, добросердечен по отношению к ней, не скуп, даже не спросит, на что она потратила деньги. А уж к Флориде как привязан! Если позвонит домой, первым делом справляется, как она, не заболела ли. Всегда бы так им жить!

Малика сладко потянулась, халат распахнулся, приоткрыв налитые груди, она потрогала их рукой, подумала: останутся ли такими же тугими, когда перестанет кормить ребенка своим молоком? В Москве, в общественной бане Малика навидалась всяких женских тел – и молодых, крепких, и обвислых, старушечьих. Тьфу-тьфу, пока она на свое тело не может пожаловаться, только... Только вот Аюп редко балует его ласками, в постели сдержан. Впрочем, Малика и по этой части не в обиде. До того, как вышла замуж за него, обрыдли ей не только похотливые мужские взгляды, но и похотливые руки, уж и не надеялась встретить порядочного человека...

– А-а... – мысли Малики прервал голос дочки.

– Что, доченька? Баю-бай, спи, моя красавица!

Но девочка уже широко открыла глаза. Такая вот она: просыпается в полночь и до утра не спит. Можно подумать, что что-то у нее болит, так редко когда заплачет. Показывала ее докторам, без толку, никто из них к какому-либо определенному выводу не пришел.

– Ой, деточка... – Малика подняла дочку с постельки, прижала ее к груди. – Маешься, не спишь в самую пору, когда спать бы тебе и спать. Сказать, что ли, папе твоему, что надо бы тебя к московским врачам свозить?

Упомянув Москву, вспомнила Малика и молодую жен-

щину, которая приехала оттуда и хотела встретиться с ее мужем. Фактически выставила она несчастную на улицу, и сама не сразу поняла, почему обошлась с ней так сурово. Об аресте Абдельахата Малика знала, печалился о нем Аюп. Конечно, не очень-то обрадуешься, если в твой дом придет жена человека, угодившего в тюрьму, но главное не в этом. Только сейчас, когда в окна смотрела бесстрастная ночь, вдруг осознала Малика причину своей суровости: в этой беременной молодой женщине, искавшей, где бы приткнуться, она узнала себя – прежнюю, жалкую. Да-да! Не женщину, в черных глазах которой таилась мольба о помощи, выгнала она из этой хорошо обставленной, уютной квартиры, а свое прошлое!

Зазвонил телефон, заставив вздрогнуть и Малику, и ее маленькую дочку. Наверно, Аюп звонит...

* * *

Фаузия, осматривая дом старухи Муглифы и снаружи, и внутри, делала для себя все новые и новые открытия. Дом стоял в конце когда-то оживленной, а теперь порастерявшей хозяев улицы. Разросшиеся осокори и два косогора заслоняли его, так что при взгляде со стороны не бросался он в глаза. Под одним из косогоров бил родник, в него была вставлена труба, и там, где вода вытекала из трубы, стояла баня, а почти впритык к дому – летняя кухня – аласык. Встарь такие лачуги обычно ставили поодаль от жилья. Был во дворе и сарай, старуха прежде, видимо, держала в нем какую-то живность. На кольях плетня, ограждавшего двор, белели три конских черепа.

По лиственничным бревнам трудно определить, когда построен дом, но можно было не сомневаться, что он, крытый смолистым тесом и обшитый такими же досками, простоит еще долго. Пол внутри тоже из лиственничных досок, если его хорошо вымыть, проступит, засияет розоватый окрас древесины.

Удивила Фаузию в доме старинная утварь. Кадки, бадейки, большие и малые чаши, плошки, ковш, поднос, ручная мельница – все деревянное. Была и глиняная посуда – восточный кувшин, кружки, должно быть, привезенные когда-то из Бухары или Мекки. И, похоже, в дом,

в котором хранится такое богатство, с тех пор, как хозяйка ушла, никто не заходил, ничего не тронул.

Среди посуды увидела Фаузия (будем для краткости называть ее этим именем) точно такую же неглубокую плошку, какая была у самой в детстве – любила она разглядывать нанесенные на нее узоры. На глаза навернулись слезы: красивая посудка соединила ее нынешнюю жизнь с той частью, что оторвалась подобно хвосту ящерицы и осталась на другом берегу потока, именуемого Временем. Вспомнилось: она, маленькая Барсын, стоит перед бабушкой, сбивающей в пахталке масло. Глаза у бабушки добрые, от них веселыми лучиками разбегаются морщинки. Бабушка кладет деревянной ложкой в ее посудку пену с пахты: «Поешь-ка, внученька, будешь такой же нежной». – «А от топленого масла не буду?» – «Топленое масло приедается, много не съешь – затошнит...»

Нежный возраст Барсынбики прошел быстро, словно опал и исчез, как та пена, которой угощала бабушка, а от оставшейся части жизни затошнило похлеще, чем от топленого масла. Но хватит думать об этом, нет уже мочи вспоминать о пережитом. Сегодня повеяло на нее покоем, как будто от этой старой утвари, от старых стен передалась ей сила духа людей, живших здесь, и защищает ее.

Однако снаружи послышались какие-то звуки, заставив ее напрячься, как тогда, когда родной Ихсанбай нацелил на нее наган. Кто-то ходит, что ли, во дворе? Посмотрела в окно – ничего там не видно, темно. А звуки повторились, будто кто-то поскребся в дверь сеней. Ну, будь что будет – Фаузия с лампой без стекла вышла в сени, открыла дверь и разинула рот в удивлении; на крыльце стояла собака, вперив в нее прямо-таки по-человечьи умоляющий взгляд усталых желтых глаз.

– Ах-ах, чего тебе, божья тварь?

Собака, не услышав в голосе Фаузии недоброжелательности, обрадованно завиляла хвостом.

– Ладно, раз пришла, айда заходи. Особых угощений у меня нет, все же чем голод утолить найду.

Собака в ответ на приветливые слова словно бы вздохнула с облегчением и осторожно, как человек, впервые входящий в чужой дом, последовала за незнакомой женщиной.

* * *

Камалетдинов заснул, сидя за своим столом, а когда проснулся, не сразу всплыло в затуманенном сознании, что приснилось. Ощутив в руке карандаш, тоже не сразу сообразил, откуда он взялся. Ах да, забыла его на приставном столике хирург Лидия Николаевна Башкирцева. Приходила днем с жалобой на неудовлетворительную организацию питания больных. Эта смуглая женщина с озерно-синими глазами, майор медицинской службы в запасе, прошедшая войну от начала до конца, никак не может поладить с главврачом районной больницы Лукманом Талиповичем. Тот в свою очередь жалуется на нее: из-за ее резкого характера нервничает весь медперсонал больницы, что, естественно, не лучшим образом сказывается на лечебном процессе. Вот и такими делами приходится заниматься Аюпу Газизовичу. В сердцах вызовет к себе Башкирцеву, решив как следует отчитать, но натолкнется на ее взгляд, грустноватый, как бы безразличный по отношению к самой себе, и вся его решимость пропадает. Кажется, когда-то где-то этот взгляд ему запомнился. Впрочем, мало ли дорог он прошел, с кем только не встречался...

Вот сейчас заснул с карандашом Лидии Николаевны, а приснилось ему, что тихонечко подошел к кроватке Флориды. Нравится ему стоять около спящей дочки. То ли ничем не замутненная душа ребенка его притягивает, то ли ищет он на безгрешном личике свои черты и такие далекие теперь черты своей матери.

– Флорида, доченька... – прошептал он. Девочка услышала, открыла глаза. Но... у нее на голове – черные кудряшки, глаза – синие! Это не Флорида, хотя отдаленно похожа на нее. – Ты кто?

– Твоя сестренка, Хатира. Не помнишь меня?

– Хатира?! – Аюпа Газизовича разбудил его собственный голос. Молнией во тьме блеснуло в памяти это имя. Хатира! Да-да, была у него сестренка! Была! Вспомнил: мама металась на нарах, вскрикивая: «Ай, умру!..» У нее опухли груди, не могла кормить ребенка. «Малышка с голоду умрет...» – это опечаленный голос отца. Потом за окном остановилась подвода. В дом вошла женщина в тулупе. Вспомнилось еще, что она взяла ребенка из колы-

бели на руки, и цепочка событий тех дней в памяти оборвалась.

Аюпу Газизовичу захотелось рассказать об этом жене, позвонил домой. Сонный голос с другого конца телефонного провода пригасил его волнение. Да, поняла. Вспомнил, и что дальше? Грустно, но что поделаешь, в такое время живем...

И то правда — не одного только Аюпа жестокое время осиротило, не одну лишь его семью пропустило через свою мясорубку. В память о тех, кому он обязан жизнью, осталась фотокарточка. На ней — его отец, мать и сам он, ростом чуть выше отцовского сапога. А сестренки нет, должно быть, к тому времени, когда сфотографировались, еще не родилась. Карточка — единственное, что досталось Аюпу от родителей, сумел ее сберечь, пронести через суровые годы.

Выпив воды из графина, Камалетдинов окончательно успокоился. Взглянул на часы. Третий час ночи. Повертел в руке карандаш Башкирцевой. Надо будет вернуть его хозяйке. Карандаш необычный, в серебряной оболочке, скорее всего трофейный. Видимо, кто-то на фронте ей подарил. Да, жизнь и эту женщину не баловала, может быть, Лукман зря к ней придирается...

* * *

Мадина открыла глаза. Понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что лежит она в просторной комнате. Через большое окно что есть мочи светила луна, высвечивая поставленные рядами кровати. Кровати... Тут рядом с ней что-то зашевелилось, что-то живое, Мадина протянула руку, коснулась маленьких влажных губ и окончательно вернулась в реальность. Она, Мадина, стала матерью! У нее родился сын! Абдельахат говорил: если родится дочка, назовут ее Нафисой* — будет она в соответствии с именем красавицей, а если сын, то в честь его друга-скрипача — Даутом, так по-башкирски звучит имя Давид.

---

*Нафиса (*араб.*) — красивая, прелестная, нежная.

Мадина и не подумала вытереть слезы, покатившиеся по ее щекам. Это были счастливые слезы, потекли они оттого, что рядом сопел малыш, выношенный под ее сердцем и благополучно явившийся в этот мир. «Господи! – Возглас, сорвавшийся с потресканных, горячих губ, никто в погруженной в сон палате не услышал. – Я бесконечно благодарна тебе за моего малыша! Теперь, Господи, огради его от бед и горя!»

Нельзя сказать, что Мадина веровала в полном значении этого слова. Она выросла в условиях ярого насаждения в стране безбожия. Но религия уже глубоко проникла в сознание народа, особенно в аулах, наложила свою печать на обычаи, на весь жизненный уклад. К тому же во время войны власти стали терпимей к вере. И бывает, что и неверующий искренне обращается к Богу, вот как сейчас Мадина. Она почувствовала себя обязанной счастьем обретения ребенка небесам, поверила, что судьба каждого – в руках Божьих. Иначе могло ли случиться так, чтобы в отчаянный для нее момент, когда она и ребенок были уже на краю гибели, будто с неба свалился ее отец, Хашим? Он положил ее, завернув в тулуп, на кучу сена в санях и, нахлестывая кнутом саврасого жеребца, помчался в райцентр...

...Малыш беспокойно зашевелился, повернул голову, открыв рот. Пососать просит? Мадина еще не кормила его, не научилась. Как начать?

Посмотрела на спящих соседок. Хорошо, что никто не видит ее в минуту растерянности. Расстегнула верхние пуговки платья, выпростала набухшую грудь, чувствуя, что краснеет из-за своей неловкости. Примет ли малыш грудь и не будет ли ей больно? А он, учуяв то ли запах молозива, то ли ее тепло, тут же нашел сосок, и по телу Мадины пробежала сладостная дрожь. Ребенок зачмокал, принялся за первое в жизни дело. Мадина, ощущая удовольствие оттого, что напряженная до боли грудь малопомалу расслабляется, смежила веки.

* * *

Ихсанбай не мог нарадоваться: с тех пор, как он вышел на дорогу, обстоятельства складывались в его

пользу. Верно сказано: если Всевышний решит чем-то наделить раба своего, то выставляет это на его пути. Во-первых, встреча с Мадиной, притом, в момент, когда она отчаянно нуждалась в помощи, ему, Ихсанбаю, зачтется. Он не бросил ее одну на погибель, постарался помочь. Во-вторых, в аул он вернется не с пустыми руками, а на возу сена. Правда, разговор с Хашимом был неприятен, но на более теплую встречу и сам Ишмамат, вернись в аул он, вряд ли мог бы рассчитывать.

– Оставить-то лошадь я тебе оставлю, но кто ты? – сказал Хашим, буравя Ихсанбая взглядом.

– Кто бы ни был, не бойся, не сбегу. Не то что на лошади, на аэроплане мне не скрыться, видишь: весь в метках, – просипел Ихсанбай.

– Да уж... Что, в танке горел?

– Было дело. Но сейчас, Хашим, не до разговоров. Мадину надо спасать.

– Откуда ты нас знаешь?

– Как не знать! А ты езнэ своего, Ишмухамета, не узнаешь?

– Хы... – Хашим не нашел, что сказать в ответ, только удивленно хыкнул.

– Я тоже думал, что живым тебя не увижу, но хватит об этом, давай поторопись!

– Отгони воз на ферму...

Сено с переднего воза еще до этого разговора они свалили на обочину дороги. Хашим вскочил на сани, взмахнул кнутом, и Саврасый налегке рванулся с места в карьер.

Ихсанбай, вскарабкавшись на воз, сунул руку за пазуху, ощупал нагрудный карман – проверил, на месте ли документы Ишмухамета. Если удастся благополучно поставить покойного на учет в военкомате, эти документы и новое обличие станут для него, Ихсанбая, надежной защитой от прошлого.

– Н-но, скотинка!

Гнедуха охотно потянула воз в сторону аула, где ждало ее теплое стойло, а Ихсанбай улегся поудобней, расслабив усталые ноги, и предался мыслям о Мадине. Представились ее расширившиеся от боли глаза, искусанные до крови губы, но и такой ее образ вызвал вожделение, Ихсанбай почувствовал напряжение в паху, по телу разлилось сладострастное томление.

* * *

Став продавщицей сельповской лавки, Рауза первым делом поставила перед собой задачу изменить свою походку. Прежде, когда была уборщицей сельсовета, могла ходить как угодно, теперь так нельзя. Теперь она важная фигура, наделена знаком власти – связкой ключей, и весь аул на нее смотрит. Поэтому-то стала она ходить не спеша, гордо вскинув голову, выпятив грудь. Зачем спешить, не срочное председателево поручение бежит выполнять. Конечно, к ее приходу у двери лавки уже толкутся нетерпеливые покупатели, ну и пусть толкутся. Небось, дела у них не важней, чем у Раузы.

Вон и сегодня топчутся возле лавки несколько мужчин и одна женщина, похоже, Галима. Хы, прослышала, видать, чертовка, что в лавку привезли духи «Сирень», самое ценное – за ними и пришла. Какой из этого можно сделать вывод? Вот какой: слухи о том, что Галима путается с заведующим фермой, верны. Иначе зачем ей духи? А один из мужчин – ее, Раузы, сын Хусаин. Всерьез, непутевый, начал курить, за куревом явился. За тридцать уже человеку перевалило, а по-прежнему ни жены у него, ни ребеночка нет, некого Раузе поняньчить. Хусаин опять домой не приходит, при лошадях своих живет, там и ночует.

Еще один из мужчин, что в лисьем малахае, – Касим, дядя Хашима. Этому, интересно, что понадобилось? Жена его, Хусниямал, обычно сама приходила за покупками. Хай, не берегут иные жены своих мужей! Это какую же душу надо иметь, чтобы могучего, как дуб, мужика гонять за всякой мелочью в лавку? Или уж вовсе нет души у Хусниямал?

Двое стоят особняком, если один из них – Галяу, то другой, конечно же, – Валяу. Они братья-близнецы. Галяу хочет выпить, а Валяу ходит следом, чтобы не дать ему такую возможность. Но разве за выпивохой уследишь? Кроме того, как бы Рауза без людей, которым наплевать на свое счастье, выполняла план? Выполнение плана не только Раузе, но и государству нужно. А раз так, она, разумеется, не должна обижать жаждущих выпить. В этом мире всяк по-своему с ума сходит. Вон Касим тину из речки на свой огород таскает, от этого, дескать, земля становится плодородней. Так вот, насчет выпивох: чем

больше люди пьют, тем больше выручки у Раузы и пользы государству. Это политика. Уж Рауза-то, с младых, можно сказать, ногтей работавшая в сельсовете, в политике разбирается.

Первым поприветствовал Раузу Галяу, это ее насторожило: ясное дело, опять намеревается выпить в долг.

– Здравствуй, Рауза-апай! Как себя чувствуешь?

– Терпимо, Галяутдин-кустым, вашими, как говорится, молитвами, – отозвалась Рауза и обернулась к Хусаину: – Хоть бы за хлебом пришел, совсем от родного дома отбился.

– А я не голодаю. – Хусаин безмятежно осклабился. – И тебе экономия.

– Вот покажу я тебе экономию, дождешься!

– Ладно, приду сегодня.

– Касим, никак Хусниямал заболела?

– Не-е-ет, некогда ей, еще и за хозяйством Хашима ведь присматривает.

– А где он сам? Уж не свататься ли куда уехал? – У Раузы, подумывавшей, не прибрать ли к рукам бобыля Хашима, голос задрожал.

– Не-е-ет, Мадину свою в Таулы, в больницу повез.

– Мадину?! – Неожиданная новость взволновала Раузу до такой степени, что у нее на носу капельки пота выступили. – Мадину, говоришь?

– Ну да. Встретил в Глубоком логу и тут же помчался с ней в Таулы.

– Ах-ах! А зачем? – Забыв обо всем на свете, насторожившись, как кошка, учуявшая мышь, Рауза смотрела Касиму в рот. – Зачем в Таулы?

– Говорю же – в больницу, у нее это... срок рожать подошел.

– Ыста-ыста!* Откуда знаешь? Кто тебе сказал?

– Бэй, не слышала разве, Ишмухамет вернулся?

– Ишмухамет?! – Услышав сногсшибательную новость, Рауза вцепилась в рукав Касима. – Правду говоришь?

– Правду. Сам его видел. Шангарей давно не показывался, дай-ка, думаю, в дом Зарифы загляну. Заглянул, а

---

*Ыста-ыста (*искаженное арабское «астагфируллах» – «Боже мой!»*) – возглас, выражающий так же, как «бэй», «атак», удивление или недоумение. В башкирской народной речи часто употребляется в форме «астагафирулла».

там зять мой, Ишмухамет, стало быть, сидит. Он и сказал...

— Ата-а-ак! — Рауза поняла, что не успокоится, пока не увидит Ишмухамета своими глазами, — ведь такие события случаются в Тиряклах, может быть, раз в сто лет, — и заторопилась. — Ну, кому что нужно? Заходите пожив ей!

Но когда торопишься, тебе обязательно что-нибудь помешает. Дверной замок, будь он неладен, заупрямился, не отмыкался. Пока Рауза возилась с ним, топтавшийся рядом Касим сказал:

— Раз зять вернулся, сама знаешь — что. И для Мадины нужное ей Хусниямал велела купить.

— Ах-ах, велела! Пускай сама придет. Не мужское это дело. Надо же, за такими вещами мужа послать! — Рауза глянула поверх голов собравшихся на Хусаина: — Курево для тебя дома припасла. Ты не Галяу или Валяу, чтобы возле лавки крутиться. Так ведь, Галяутдин-кустым?

Наконец, замок поддался, лавка открылась. Рауза прошла за прилавок, сняла варежки и выставила перед Касимом, стукнув донышками, две бутылки водки с баночкой рыбных консервов. Протянутые им деньги не стала пересчитывать.

— Правильно подсчитал?

— Вроде бы правильно.

— Ладно. Галяутдин-кустым, ты мне четыре рубля задолжал, пока с долгом не рассчитаешься, ничего не получишь.

— Четыре? — усомнился было Валяу, но Рауза быстро нашлась, ответила пословицей:

— Не едок знает, сколько съел, а тот, кто кормит. Идите-идите, не торчите здесь! И ты тоже! — Кинула все же Хусаину пачку «Казбека».

Через несколько минут Рауза, заперев лавку, уже летела в сторону дома Ишмухамета. Да-да, летела, не чуя ног под собой, забыв о своей новой походке. Ее, проработавшую почти всю жизнь в органе государственной власти, то есть сельсовете, не устраивают новости, разносимые мочальным телефоном, привыкла получать их свежими, видеть все своими глазами. Поэтому, пока она дослушала Касима и обслужила покупателей, сердце едва не выпрыгнуло из ее груди. Вот ведь, жив человек, так сколько времени спустя вернулся, а ее Сибагатушка

лежит там, откуда не возвращаются. Лучше бы вместо страстной натуры достался ей хоть плохонький муж! Нет, не выпало женское счастье на ее долю. Как говорится, привалило нищему еды, да рот раскровавлен, жевать не может. Так и у нее. И у Ишмухамета вроде этого: сам вернулся – Зарифы нет. Не смогла она умерить свои дурные желания, оттого, знать, и пропала. Тьфу-тьфу-тьфу, упаси Аллах от такой участи!

Трижды плюнув через правое плечо, Рауза торкнулась в ворота двора, в который в последнее время, кроме Шангарея, можно сказать, ни одна собака не заглядывала.

* * *

Через оконце караулки на ферме света проникает мало, Шангарею, чтобы лучше видеть, приходится прищуривать глаза. Дел у него по горло, готовится к свадьбе. Чьей? Мадины с Абдельахатом. В каждые «сани» он запряжет пару «коней». Кони стоят наготове. Шангарей взглянул в угол подоконника на привязанных ниточкой за ноги тараканов. Вот Саврасый, он лучший, но и остальные не подведут. Помчат с ветерком. Осталось еще одни «сани» сделать. Шангарей подтянул к себе клочок блескучей обертки плиточного чая, заодно придвинул к тараканам хлебные крошки. Свадебные «кони» должны быть сыты. Так, «сани» тоже готовы. Теперь надо рассадить в них всех, кто поедет в свадебном поезде. В блескучую кошевку запряжет Саврасого в паре с Гнедухой, а поедет в ней бумажная фигурка по имени Шангарей. Красивая фигурка. Самая красивая. Так и должно быть, потому что посадит он рядом с собой Гульбану. А как же иначе, мужу с женой положено сидеть вместе. С ними поедут двое мальчишек, Янтимер с Биктимером, они тоже гости. Вот на эти большие сани сядут его отец, Ишмухамет, с мачехой – теткой Зарифой. А куда же посадить родную мать? Она к свадьбе сшила себе новое платье, купила новые белые валенки. Атак, пусть сядет с ним, Шангареем, места хватит!

Теперь очередь вот этих кособоких, сделанных коекак «саней». Ладно, сойдут для Ихсанбая с Сабилей. И лошади у них должны быть захудалые. Чтобы отстали от других. Тогда на них нападут волки (Шангарей взгля-

нул на «волков» — двух посаженных в пузырек клопов) и сожрут. Нет, жену не тронут, зачем волкам костлявая Сабиля? А Ихсанбая пусть сожрут, так ему и надо!

И для старухи Фаузии с Сибагатом приготовил Шангарей сани. Узковатые, правда, получились. Фаузия поверх толстой шали то ли шапку на голову напялила, то ли тастар* намотала. Зачем ей надо было так наряжаться? У-у... Рауза еще стоит тут, плачет. Куда ее посадить? Коней маловато, и тех у Хусаина еле-еле выпросил. Айда, садись на козлы Сибагата. Или уж пересадить на сани Ихсанбая? Нет, нельзя. Волки могут сожрать. Больно уж ты, тетушка Рауза, толстая, жирная, такую волкам только дай...

Ну, почти всех рассадил. Теперь посадит рядом с собой Гульбану с детьми и... Тут Шангарей будто бы увидел прислонившегося к печке долговязого человека, между ними происходит такой разговор:

— Ты что там штоишь, Хашим?

— На свадьбу собрался...

— Ах-ах, а куда шядешь?

— Рядом с Гульбану.

— Кукиш тебе! Ш ней я поеду.

— Она моя законная жена.

— Как бы не так! Ты ее мне жа бутылку водки продал? Продал!

— Дуй отсюда, Шарик!

— Ы!

— Дуй, тебе говорят!

Шангарей сложил в фигу давно не мытые пальцы. В это время дверь открылась, и, согнувшись, чтоб не удариться головой о низкую притолоку, в караулку с залитого светом мартовского солнца крыльца шагнул сам Хашим.

— Фу, со света ничего не вижу. Шангарей?

— Не кричи, коней напугаешь!

— Какие еще кони? Слышь, Шангарей, есть новости.

— Не надо мне новоштей.

— Ну, тогда... радостные вести. Ко мне Мадина моя вернулась, она сейчас в больнице, а к тебе — твой отец, Ишмамат...

---

*Тастар — длинное полотнище, которое встарь пожилые женщины наматывали на голову, как чалму.

Глава третья

Войдя в избу, Мадина остановилась у порога, как бы раздумывая, куда положить завернутого в одеяло ребенка. Какая маленькая, низенькая у них изба! А ведь жили в ней ее бабушка, мать, сама она с двумя братишками, отец. Нары, печь, стол со скамьей, чурбак у входа... Раньше на подоконниках стояли цветы, теперь их нет, остался один горшок от цветка, засохшего, должно быть, последним.

И занавесей у входа нет, вообще нет ничего, что говорило бы о женской заботе, об уюте. И ничего нового не появилось, кроме двух увеличенных фотокарточек на стене напротив входа, с них смотрят мать и отец, совсем еще молодые. Мать — в старинном девичьем наряде. Мадина его тоже надевала, и тогда становилась очень похожей на мать, запечатленную на фотокарточке. Только глаза у нее черные, а у мамы были синие, обрамленные густыми ресницами — таких удивительных глаз Мадине больше нигде не доводилось видеть. Отец увеличил свою карточку, снятую на фронте. На карточке глаза у матери — как у заблудившегося олененка, у отца — задумчиво-суровые...

— Айдук*, дочка! — Хусниямал, жена Касима, протянула руки к ребенку. — Предлагала я мужчинам, чтобы тебя в наш дом привезли, а Хашим не согласился, у Мадины, мол, есть свой кров.

— Спасибо, апай, я и так, гляжу, много хлопот тебе доставила. — Передав ребенка в руки Хусниямал, Мадина расстегнула застежки бот. — Согрела избу, пол вымыла...

— Э, пустяки! — Положив младенца на подушку на нарах, Хусниямал потянулась к заранее приготовленным чайным ложечкам. По обычаю ребенка надлежит встретить угощением — дать капельку чего-нибудь вкусненького. — Это вот, детка, мед, чтобы речь у тебя была сладкой, а это — чтобы характер был мягкий, как масло...

Тем временем в двери показалась соседка Магинур.

— Ах-ах, с утра ждала, прилегла маленько отдохнуть и проглядела! Мадина, дочка, здравствуй!

---

*Айдук — в смысле «добро пожаловать».

У Мадины, когда увидела добрую женщину, сделавшую для нее столько хорошего, брызнули слезы.

— Вот, апай, опять я... одинока.

— Не говори так, дочка, у тебя есть отец.

— Да-да! — присоединилась к разговору Хусниямал. — Что людской суд против Божьего! Вон, раз суждено было, Ишмухамет, хоть и покалеченный, вернулся домой. Волею Аллаха, глядишь, и твой Абдельахат приедет. Брось, не плачь. — Встав перед Мадиной, Хусниямал принялась расстегивать пуговицы ее шубки. — Ты теперь — мать, а мать должна быть терпеливой. Ты видела когда-нибудь, чтобы Гульбану билась, отчаявшись, головой о стену? Вот человек! Все свои горести, все печали в себе унесла. Хоть полон рот крови был, на людях не выплевывала. У тебя для утешения есть теперь дитя, дай ему Аллах здоровье и добрую душу!

— Верно, верно... — Магинур посадила Мадину на край нар. — Возьми, к примеру, меня: и дом есть, и бабай*, и живность на дворе, а детей нет. Случись что с бабаем — останусь одна. Хоть и говорят, что среди людей и воробей не пропадет, боюсь одиночества. Я тебя так ждала! Может, согласишься, чтобы стала я тебе названой матерью, а, дочка?

Мадина ткнулась мокрым от слез лицом в грудь Магинур:

— Ах, Магинур-инэй!..

* * *

Не ожидала Рауза, что увидит Ишмухамета в столь изменившемся обличии.

— Атак-атак! — Изумленно уставилась на пытавшегося разжечь печь одноглазого, с испещренным рубцами лицом человека. — Ты ли это, Ишмухамет?

— Проходи, Рауза. Ну, давай поздороваемся... — Ихсанбай поднялся, скособочившись, с корточек, протянул руку. Рауза подалась к нему и почувствовала в своей ладони подрагивающую кисть, такую холодную, будто

---

*Бабай — дед, старик. Так пожилые женщины иногда называют своих мужей.

перед ней стоял не живой человек, а мертвец, только что вылезший из могилы. — Вот... наверно, войну потому и называют бойней, что может человека так изуродовать... Извини, Рауза, угощение предложить не могу. Что нового в ауле? Как сами поживаете?

Рауза примерилась было, чтобы сесть, к чурбаку, но решив, что он маловат для ее седалища, примостилась на краю нар.

— Мы-то живем... потихоньку. Хусаин мой все при лошадях...

— Невестку тебе не привел?

— Невестку! Не то что жениться — в бане помыться его не заставишь. Да и не в том я пока возрасте, чтобы полеживать на нарах, переложив все на невестку. Хусаината я, Ишмухамет, молодой еще родила. Самое большее двадцать семь мне тогда было. И-и, какой двадцать семь, наверно, около двадцати пяти, а?

— А сама где работаешь? — поспешил спросить Ишмухамет-Ихсанбай, зная привычку Раузы жевать одно и то же, пока вконец не измочалит.

— Я-то? Бэй, ты, раз только что вернулся, конечно, и ведать ничего не ведаешь. Я, Ишмухамет-кордаш*, большим ведь человеком стала. Спасибо бартии и бывительству, — это Рауза как бы по-русски ввернула, — сильно они женщин возвысили. Всем — полная воля. Кем я была? У поганца Ихсанбая, чтоб ему в могиле покоя не знать, в уборщицах ходила!

— А теперь? — У Ихсанбая в голове зашумело. Нервно пощипывая бороду, он присел на корточки перед разгоравшимся в печи огнем.

— Атак, к тому я теперь и подвожу, кто я сейчас. Раз жила пристойно, с соизволения Всевышнего приняли меня в бартию. А когда приняли, как тебя, Ишмухаметулла-кордаш, все путем пошло. Члены капирата** выдвинули меня в продавщицы. Ладно еще я в сельсовете, при этом племенном жеребце Ихсанбае, научилась на счетах считать. Специальность, значит, получила. Без нее не выдвинешься. Кабы у твоей Зарифы была специальность,

---

*Кордаш — ровесник, сотрапезник, здесь — в значении «современник».

**Капират (искаж.) — кооператив. Имеется в виду сельское потребительское общество.

может, вместо того, чтобы блудничать день и ночь с Ихсанбаем, трудом себе на жизнь зарабатывала бы. Я ведь застала их за этим – тьфу, прости, Господи! – делом. Поставили беднягу Шангарея у ворот лаять, а сами блудной игрой занялись. Вижу в окно: Ихсанбай, гори он вечно в аду, голышом за Зарифой по дому скачет...

Не обращая внимания на тяжело задышавшего собеседника, Рауза продолжала:

– Вот так, кордаш. Жизнь – колесо, когда-нибудь да задавит... Скажи-ка, смог бы ты убить детишек, которых сам же породил?

– Брось, пустое несешь, – просипел Ихсанбай, почувствовав озноб, от которого распылавшийся в печи огонь не мог спасти его.

– Вовсе не пустое. Косточки пропавших мальчиков нашлись бы, кабы они как-то сами погибли, но ведь до сих пор не нашлись. Не иначе, как этот Газраил, об Ихсанбае говорю, утопил их в болотной кокоре.

Весь аул так считает. Будь Ихсанбай сегодня жив – забили бы его насмерть камнями!

– Пустое! С чего бы Ихсанбай зуб на детишек имел?!

– Ах-ах, какырас об этом говорю: близнецов-то покойная Гульбану родила от него. Вдосталь понадругались оставшиеся в тылу мужчины над солдатками, а больше всех – проклятый Ихсанбай. Надо было ему следы замести...

– А сама ты... – Ихсанбай, стараясь скрыть злость, закурил. – Сама-то святая была?

– Ах-ах, что сама? Может, я никогда не заставила бы своего Хусаина смотреть в глаза отчима, хоть таким, как я, женщинам в соку мужики проходу не дают. Но тут кузнец Сибагатулла, земля ему пухом, посватался.

– Посватался?

– Ну да. Замуж выйти меня попросил.

– Так у него ведь жена была.

– Не было у него жены! – Рауза, вывернув подол платья, громко высморкалась.

– Да была же! Кто старуху Фаузию не знал!

– А они вместе не спали. Бедняга Сибагатулла сам мне об этом сказал. А коль вместе не спят, какая она жена? Зачем мужчину зря при себе держать, а?

Ихсанбай кинул уже начавший обжигать пальцы окурок в огонь.

– Как я понял, Сибагат... агай... умер? А старуха Фаузия? Жива-здорова? Где Ихсанбай?

– Атак, не писали, что ли, тебе? Все ведь они поумирали! Все! Хоть бы Сибагатулла мой остался жив! И Фаузия, и Ихсанбай, и Сабиля. Уй, ты уж о той ночи не спрашивай. И Зарифа той же ночью пропала. На месте Ихсанбаева дома только куча углей и золы осталась. Люди подходить к ней боятся. А твой Шангарей говорит: ночью приходит туда Фаузия, вся в белом, роется в золе, косточки Янтимера с Биктимером ищет...

– Выпить бы, Рауза.

– Ах! – Рауза вытащила из-за пазухи бутылку. – Самато я непьющая. Но вот прихватила, чтобы горе твое разделить. Выпей, Ишмухамет, и Шангарея отыщи, приведи домой. Он без тебя, бедняжка, совсем измаялся. И Гульбану не может забыть. Посмотришь на него – безумный, а огонь любви, оказывается, и безумных не щадит, а?

* * *

Когда Рауза ушла, оставив запах карамели, пряников и еще чего-то вкусного, Ихсанбай прилег, подложив под голову думку Зарифы. Да, немало приятных ночей провел он на этих нарах. Зарифа дала ему то, что другие женщины, с которыми он сходился урывками, ненадолго, дать не могли. Правда, его отношение к Зарифе сильно отличалось от отношения к Гульбану. Гульбану вызывала жгучее чувство, словно бы опалявшее его и изнутри, и снаружи. Всего лишь раз испытал Ихсанбай телесную близость с ней, но ее испуганно-умоляющие глаза и солоноватый вкус губ преследовали его с тех пор, вызывая сердечную муку.

Нет, к Зарифе не тянуло Ихсанбая так сильно, но чего только она ни делала, чтобы удовлетворить его мужское желание! Искусная в любовных играх, она обладала способностью пробуждать каждую клеточку его тела, превращала его в неистового зверя. Ее стоны сквозь зубы лишь еще сильней распаляли Ихсанбая. Он уходил, оставляя ее предельно изможденной, но к следующему его приходу она опять была готова все повторить, встречала, обрызгав колыхающиеся груди одеколоном, и сияя, как полная луна.

Эх, жизнь! Где теперь кости Зарифы – шайтан знает. Что было бы сейчас, не встань она той роковой ночью на его пути? Наверно, сразу узнала бы его. Кто-кто, а она бы не ошиблась.

Рауза наказала отыскать Шангарея. На кой ему, Ихсанбаю, сдался этот идиот? Он Ишмаматова выродка терпеть не мог, а теперь возись с ним, прикидывайся отцом! Как такое испытание выдержать?

После ухода Раузы прошло довольно много времени. Ихсанбай поднялся, подошел к окну. Вдали виднелась горная гряда с горой Куктау, внутри которой он скрывался. Его мучительное одиночество, неприкаянность остались там. Теперь, если что, могут привязаться только к его документам, а то и не привяжутся: кому захочется копаться в жизни потерявшего нормальный человеческий облик калеки?

Выпитая водка, что ли, подействовала – Ихсанбай почувствовал, что голоден как волк. Сходил в сени за своей котомкой, достал из нее замороженное барсучье мясо и, не дожидаясь, пока в казане вскипит вода и сварится мясо, отрезал кусочек, принялся его разжевывать.

* * *

Наевшиеся за ночь лошади встретили Хашима коротким радостным ржанием.

– Что, скотинки, пить хотите? Сейчас...

На Саврасом, ведя Гнедуху в поводу, поехал к речке.

По должности Хашим – сторож молочной фермы, но частенько и подвоз сена ложится на его плечи. Скотники Ягафар с Сайгафаром, его двоюродные братья, пользуются покладистым характером старшего по возрасту родственника, находят всякие поводы отлынить от выполнения своих хлопотных обязанностей. Вот Хашим и заботится о закрепленных за фермой лошадях, ездит за сеном. Скандалить с хитрыми братцами, выставлять их в невыгодном свете не хочется, не чужие ведь, родня все-таки. К тому же надо как-то улучшить отношения с заведующим фермой Саяфом, младшим братом Ишмухамета, задобрить его усердием в работе.

Саяф – своего рода неразгаданная загадка. Смотрит на Хашима косо, будто мстит ему за то, что Ишмухамет

в свое время связался с Зарифой. До того, что Хашим с Зарифой, хоть и рождены одной матерью, характерами совершенно не были схожи, Саяфу дела нет. Хашим свою красивую на вид, но легкомысленную сестру не понимал. Теперь вспомнит иногда о ней и, словно увидев впервые, хочет о чем-то спросить, да нет уже ее. Ночь, поглотившая Ихсанбая с Фаузией, поглотила и Зарифу — пропала бесследно...

Когда Хашим запряг лошадей и отправился, завернувшись в тулуп, за сеном, снова нахлынули думы, от которых еще вчера вечером засаднило в сердце. В юности дал он себе волю, попробовал пожить бесшабашной жизнью, потом прошел войну — все равно что в аду побывал, и любви, и тоски отведал, а все-таки ни себя, ни людей, ни мироустройство до конца понять не мог.

Вспомнился недавний разговор с Мирхайдаровым. Председатель после утреннего наряда попросил его задержаться. Закурили. Затянувшееся молчание нарушил Мирхайдаров:

— От дочери есть вести?

— Мадина часто пишет.

— А зять? — Голос Мирхайдарова дрогнул. Почему? Знает, что Абдельахат арестован?

— А что, думаешь, зять не способен письмо написать?

— Да нет... — Председатель раздавил окурок в пепельнице. — Я просто так спросил. Сам как, жениться не собираешься?

— Это тебе тоже сверху велели выяснить? — разозлился Хашим. — Спросят, ответь: горячий больно, имел привычку бить жену, поэтому не склонен создавать новую семью.

— Брось, Хашим, я же по-дружески спросил!

— Разве начальники могут дружить с подчиненными?

— Опять двадцать пять! Странный ты человек, Хашим. В партию не вступаешь, от ответственной работы отказываешься. Дурачка Шангарея в караулке пригрел, только с ним и ладишь. Не понимаю я тебя.

— Ты знаешь, Азат, сколько звезд на небесах? — неожиданно спросил Хашим и пожалел, что назвал председателя по имени, как-то по-панибратски это получилось.

— Кто их считал?.. Ты давай-ка не уводи разговор в сторону!

— А я и не увожу. Я это к тому, что никому не приходит в голову выстроить звезды, как солдат, в одну шеренгу и выровнять. Людей в мире тоже не счесть, и они разные, а вы почему-то стараетесь поставить всех в строй, сделать одинаковыми. — Сказал Хашим так и ушел, успев заметить на лице Мирхайдарова досаду. Должно быть, он что-то прослышал и хотел еще до чего-то докопаться. О зяте спросил...

Теперь вернулась Мадина, рассказала о своем горе навестившим ее женщинам, и арест Абдельахата уже ни для кого не секрет...

Хашим выехал с фермы на заре. И подобно тому, как звездный рой в небе поглощался пламенем зари, его мысли постепенно поглощались одной главной мыслью, вернее, все более усиливавшейся тоской. Если люди в песнях объясняют грусть-тоску Луны недостижимостью для нее самой яркой звезды небосклона, именуемой вечером Зухрой, утром — Сулпан*, то и тоску Хашима можно объяснить именем, имя это — Гульбану. Вот он поравнялся с ее могилой. Сердце забилось учащенней, к горлу подступил комок. Хашиму стало жарко, он сбросил с плеч тулуп, выпрямился в санях. И подосадовал на себя: заволновался, будто подросток, впервые пришедший на свидание с любимой. Под сорок уже ему, не к лицу зрелому мужчине такое состояние. Но что поделаешь, сердцу ведь не прикажешь...

Лошадь, воспользовавшись тем, что хозяин ушел в свои мысли, плелась еле-еле. Хашим поддернул вожжи, приподнял кнут.

— Давай, скотинка!..

* * *

В окошке пристроенной к сараю каменной клети обозначилось зимнее утро. Разукрашенные изморозью стекла становились все светлей, а потом порозовели и вспыхнули в лучах восходящего солнца.

У Сабили вошло в привычку наблюдать за рождением дня через это единственное окошко, связывавшее ее с

---

*Зухра и Сулпан — башкирские названия планеты Венера.

внешним миром. Солнце, играя в стеклах разноцветными узорами, поднялось выше, приняло в свои объятия весь окружающий мир, чтобы, как заботливая мать, купать в море света все живое – людей, скот, деревья – пока не скатится, утомившись, за горные хребты.

Сабиля теперь тоже мать. После стольких неудачных беременностей наконец-то вроде бы достигла счастья материнства. Ах, какие это минуты, когда ребенок, покинув чрево матери, возвещает отчаянным криком о своем рождении! Мечтала Сабиля, что будет, как небесное светило, ласкающее мир, нежить своего малыша, своего Абубакира, ласково будить, ласково укладывать спать. Однако ребенка она лишь выносила и родила, дядя и его жена тут же отобрали его у нее. Правда, поначалу енгэ, Рашида, приносила малыша покормить грудным молоком. Глядя в окошко своего жилища, Сабиля в нетерпеньи ждала, когда енгэ вынесет из дома белый сверток со спящим младенцем. Потом она прикасалась соском к его розовым губкам, мальчонка в полусне как бы нехотя брал сосок в рот. Почуяв вкус теплого молока, вздрагивал, окончательно просыпался и принимался торопливо, захлебываясь, сосать. Насытившегося ребенка две женщины, действуя одна осторожней другой, снова заворачивали в одеяльце.

И за эти счастливые минуты Сабиля благодарна небесам. Оставшись одна, утешала себя мыслью, что в большом доме условия для ребенка лучше, там тепло, светло, есть кому за ним присматривать. Но спустя некоторое время Абубакир изменил свои повадки. Немного пососав, он отрывался от груди, гугукал, будто вступив в разговор с матерью, разевал беззубый рот в радостной улыбке.

Рашида всполошилась:

– Астагафирулла! Так ведь он никогда не насосется. Еще простудит в этом каменном мешке легкие!

Соглашаясь с ней, Сабиля сказала:

– Может, мне самой... ходить в дом... кормить моего сыночка там?

– Боже упаси! Как бы дядя не услышал тебя! – Енгэ опасливо глянула на дверь. – Ты для всех – просто кормилица, не забывай об этом!

– Забыть-то не забываю... – Сабиля почувствовала, что кровь у нее прилила к лицу. – Нет, не забываю...

Рашида неожиданно взяла разнежившегося на коленях матери малыша и начала завертывать его в одеяльце, приговаривая:

– Сыночек у нас уже подрос... теперь ничего не случится, если перейдем на коровье молоко...

– Енгэ-э! – умоляюще вскрикнула Сабиля. В ответ хлопнула дверь.

С тех пор прошло уже довольно много времени. Сабиля по-прежнему встает на рассвете у окошка и ждет, надеясь, что откроется дверь большого дома и енгэ вынесет белый сверток с дорогим ей, Сабиле, маленьким существом. Но ребенка к ней больше не приносили.

* * *

Мадина впервые приготовилась уложить своего младенца в подвешенную отцом на матице колыбель. В этой хранившейся на чердаке зыбке когда-то лежала она сама, потом качала в ней братишек. Сколько времени с тех пор прошло! Не сгнило ли полотняное дно? Впрочем, оно же соткано из конского волоса, чтобы влагу не задерживало, и не гниет. Ах, мама ведь говорила, что бабушка Шахарбану заказала зыбку для нее, дочки своей, то есть для мамы Мадины. Это та самая колыбель...

– Бисмиллахи...*

Малыш зачмокал губами, как бы собравшись пососать, но глаз не открыл.

– Спи, сыночек, и пусть на четырех углах колыбели четыре ангела охраняют твой сон!

Что еще, касающееся младенца, знает Мадина? А... нож нужен! Если придется ненадолго отлучиться, оставив не достигшего сорокадневного возраста ребенка без присмотра, надо на него, произнеся «бисмиллу», положить нож. Иначе...

– Можно к вам?

Из-за занавеси на колыбели Мадина не сразу увидела, кто к ним пришел.

– Входите, входите!.. Галима, ты? Встреться в другом месте – я бы тебя не узнала, как ты изменилась!

---

*Бисмиллахи – восхваление Аллаха, первое слово мусульманской молитвы, которым верующие предваряют важные дела.

Заметно раздавшаяся в теле, округлившаяся Галима поздоровалась с Мадиной, протянув обе руки.

– А ты все такая же. Нет, еще красивей стала.

– Городские калачи, наверно, сказались. Ну, как поживаешь?

– Дочку ращу...

– За кого замуж вышла?

– Ни за кого... Не каждой достается приехавший из района начальник. Эх, счастливая ты. Хоть и арестован, есть у твоего ребенка законный отец.

– Каждый ребенок, подружка, рождается со своим счастьем. Работаешь? Где?

– На ферме, где ж еще? Коров дою. А ты, наверно, в канцелярии или в клубе устроишься? Как-никак в Москве училась.

– Мне, Галима, ферма привычней.

За окном показалась въезжающая во двор подвода. Мадина схватила самовар.

– Отец приехал. Раздевайся, Галима, вместе чаю попьем.

– А ты знаешь, Ишмухамет в аул вернулся. Видела бы, какой он!

– Знаю. Видела. – Внутри у Мадины будто что-то оборвалось, она содрогнулась, как от озноба. – В избе у нас вроде бы тепло, что это меня затрясло? Ты раздевайся, раздевайся. Вода у меня в казане вскипела, сейчас перелью в самовар...

– Я тороплюсь. По пути на вечернюю дойку зашла. Взглянуть на твоего... – Галима кивнула в сторону колыбели.

– Мальчик у меня. Даутом его запишу, так друга Абдельахата зовут.

– Здорово!

– Почему здорово?

– Да я просто так... Слушай, если бы знала, что Абдельахат окажется... врагом народа, ты вышла бы за него?

– Галима! – Мадина задохнулась от гнева. – Ты мне... больше об этом...

– Все-все! Сболтнула с чужих слов. Ладно, я пойду. Не сердись, подружка!

Галима ушла так же внезапно, как пришла. Мадина обессиленно опустилась на край нар. Началось! Да, это только начало судов-пересудов в ауле... Ой, сейчас ведь отец войдет, лучше будет, если не увидит ее в расстройстве. Он радуется, что дочь приехала, а она в таком виде радость у него отнимет.

Мадина взяла себя в руки. Быстренько перелила кипяток из казана в самовар, насыпала в трубу жарких углей. Вытащила ухватом из печи чугунок. В избе вкусно запахло тушеной картошкой.

Спасибо Магинур-инэй, сметаны и масла занесла, будет заносить, пока корова не отелится... Налив в кумган теплой воды, Мадина повесила себе на плечо полотенце, – отец распряг лошадь, вот-вот войдет, руки вымоет...

Глава четвертая

Камалетдинов собрался с работы домой раньше, чем обычно.

Площадка перед двухэтажным, срубленным из сосновых бревен зданием райкома была очищена от снега. «Конюх Жиханур-агай и уборщица Гульмарьям-апай любят порядок», – удовлетворенно отметил Аюп Газизович.

К вечеру похолодало, но чувствовалось, что дни уже повернули на весну. С удовольствием вдыхая свежий бодрящий воздух, Камалетдинов направился к райкомовской конюшне, чтобы приласкать своих любимцев. В конюшне – пять лошадей, две из них – из потомства тиряклинского Солового. Айкашка – жеребец с белой звездочкой на лбу – первым учуял приближение хозяина, заржал. Судя по овсу в кормушках, Жиханур-агай был где-то рядом. И в самом деле, скрипнула боковая дверь и в конюшню просунулась голова в лисьем малахае.

– А, Камалетдинов-кусты, оказывается, это ты. Надо куда-нибудь поехать?

– Сегодня нет... Сена у тебя достаточно?

– Пока дороги не развезло, не мешало бы подтянуть трактором стог с Карагай-тюбы.

– Завтра напомнишь мне.

– Ладно. – Старик долго разговаривать не стал, скрылся за боковой дверью.

– Да, скотинки, весна наступает, весна...

Камалетдинов приласкал лошадей: той лоб погладил, этой – холку... Жеребцу по кличке Чапай дал припасенный на такой случай кусочек сахара. Чапай к этому привык, не дашь, так начинает ощупывать чуткими губами его карман. Наверно, нет животных умнее лошадей. Можно сказать, душа в душу с конем прошел Аюп войну. Как тогда сдружились его Чубарый и Игренька Абдельахата! Когда Игренька пал, сраженный осколком мины, из глаз Чубарого горошинами покатились слезы. Как он ржал, как бил копытом по земле, стараясь поднять дружка! Потом перестал есть, исхудал, а худой конь командиру не спутник, пришлось расстаться с ним.

Сколь бы ни старался Аюп Газизович не думать об Абдельахате, не выходит он из головы. Не верится, что парень, которого знал смолоду, к которому относился как к сыну, как к близкому другу, мог стать врагом народа. Но... Прислали из Москвы бумагу с указанием проверить благонадежность его семьи, родни. А откуда у выросшего сиротой Абдельахата взяться родне? Знает лишь его жену, пообщался с ней дважды. Первый раз в Таулах, когда они собирались уехать в Москву на учебу, второй – в Москве, в студенческом общежитии.

Камалетдинов побывал тогда в столице на совещании по сельскому хозяйству в числе приглашенных из республики секретарей райкомов партии и вернулся оттуда с Маликой. Красота Мадины раззадорила его, что ли, – взял да скоропалительно женился там. Малика по-своему тоже красива. Познакомился с ней в ресторане при гостинице, был под хмельком после дружеского ужина, и этого хватило, чтобы недолго думая предложить понравившейся молодой женщине руку и сердце. Малика ответила согласием. Пришедшему на вокзал проводить их Абдельахату Камалетдинов сказал шутливо: «Между твоей Мадиной и моей Маликой разницы нет». Имел в виду, что обе красивы. Теперь-то он понял: между чистосердечной певуньей Мадиной и холодной, высокомерной Маликой разница – как между небом и землей. Но что теперь поделаешь, близок локоть, да не укусишь.

До своего дома, расположенного напротив райкома, Камалетдинов дошел быстро. Но не спешил зайти, закурил. Весна делает свое дело: во дворе образовалась

огромная лужа. Прорыть бы канавку, отвести воду в сторонку, да в хозяйстве у них лопаты нет. Ладно, не беда. Завтра попросит Жиханур-агая заглянуть сюда, он такой блеск наведет, что двор словно заулыбается.

Пока, зайдя домой и раздевшись, мыл руки под рукомойником, опять нахлынули мысли об Абдельахате. Абдельахат не первая его утрата, много друзей потерял Аюп за свою жизнь, особенно на войне. Как еще сам остался жив в это кровопролитное время. Может, спасло его то, что после убийства родителей контрой попал в детдом, научивший его не просто жить, а выживать. Потянувшись к полотенцу, он увидел в зеркале свое лицо. М-да, неважно он выглядит. На лбу образовались складки, вокруг глаз — сеточки морщин, ямочки на щеках, придававшие ему в детстве миловидность, превратились в две глубокие борозды. Лишь почти сросшиеся над переносицей брови и острый взгляд остались от прежнего Аюпа.

Появилась в развевающемся халате Малика.

— Ну, как ты? — Запнулась, увидев недовольное лицо мужа. — Ужин... на столе.

Дочь не подавала голоса, поэтому Аюп, не заходя в соседнюю комнату, сел за стол. Было видно, что Малике, проведшей день в одиночестве, если не считать ребенка, хочется поговорить, но она не находит, с чего начать.

— Флорида спит? — спросил Аюп.

— Кажется. С час прошло, как закрыла глаза.

— Врач приходил?

— Я сама с ней сходила.

— К кому?

— К главврачу, Лукману Талиповичу. Он вызвал эту... русскую врачиху.

— Лидию Николаевну? Она же хирург, а нужен, наверно, психиатр.

— Ну, не знаю. Она осмотрела Флориду и сказала, что нужно сделать анализы. Ребенок, говорит, вроде бы здоров, видимых причин нарушения сна нет... Добавить тебе супу?

— Угу...

— Я из лосятины, которую лесник прислал, сварила.

– Угу...

– Заодно я и в дом Лукмана Талиповича, к его жене заглянула. Мальчонка у них уже бегает.

– Угу...

Разговор на этом прервался. Если бы дочка не маялась бессонницей, Аюп дома, может быть, вовсе бы не разговаривал. Но Малика не из тех, кто быстро отказывается от намеченной цели.

– Как-то к нам зашла одна молодая женщина, тебя хотела повидать, – сказала она, чтобы продолжить разговор.

– Когда?

– Давно уж. Недели две-три назад.

– Кем назвалась?

– Женой этого... ты сказал, что бумагу о нем из Москвы прислали.

– Абдельахата?!

– Да, его женой. Вроде она беременна...

– И ты только сейчас мне об этом говоришь?!

– Бэй, я думала, тебя не интересуют случайно забредшие в твой дом женщины.

Аюп Газизович вскочил с места, в ярости швырнул ложку на стол.

– А ты сама здесь... не случайно?

Малика прикусила язык. Да, ей с ее прошлым лучше держать его за зубами.

Камалетдинов больше ничего не сказал. Снял с вешалки ватную телогрейку, перекинул через плечо и ушел во двор курить.

* * *

Оставив принявшуюся мыть пол Мадину и зашедшую понянчить ребенка соседку Магинур одних, Хашим отправился на ферму. Ехал по дороге, испещренной выступившими из-под ноздреватого снега комками конского навоза, клочками сена и соломы, предавшись мыслям, одновременно и радостным, и грустным. Радостным оттого, что стал дедом, а грустным оттого, что Гульбану не дожила до рождения внука. Обеспокоило еще и подавленное настроение Мадины. Уж не пришло ли ей в голову,

что с таких лет останется вдовой? На работу, говорит, выйду. А какое сердце должен иметь он, Хашим, чтобы позволить ей оставлять ребенка без присмотра?!

Возле клети, где хранился фураж, на куче соломы в санях что-то чернело. Вроде бы человек лежит. Хашим повернул туда.

— Эй, кто там?

— Не кто, а я!

Оказалось, Шангарей. Греется под мартовским солнышком. Вон и коровы с удовольствием подставили спины под его долгожданные лучи. Шангарей боится быка по кличке Гифрит, поэтому, видать, зарылся в солому.

— Что ты тут делаешь? — спросил все же Хашим.

— Шмотрю. В небе война идет.

— В небе? А кто там воюет?

— Белые и черные ангелы.

— Говорят, все ангелы — белые, откуда черные могли взяться?

— Они из нашей трубы вылетают. Их шегодня больше.

— Выдумываешь ты все!

— Не выдумываю.

— Я думал, ты дома с отцом сидишь.

— У меня нет отца.

— Ты что, не сходил домой, не видел отца?

— Ы!

— Что — «ы»?

— Ы, не пойду домой. Там теперь убыр* живет.

— Брось, Шангарей, не говори так. Война ведь была, я видел людей, покалеченных еще хлеще. Хоть какой, а все-таки он твой отец.

— Нет, отец умер. Я буду жить ш тобой в караулке.

— Но ведь у меня Мадина вернулась, я буду жить у себя дома. Кто еду тебе будет готовить?

— Не надо. Еды много. Молока — во! По горло. Хлеб доярки-апай дадут.

Шангарей не только неразумен, но и упрям. Хашим попытался переубедить его новыми доводами:

— И-и, если бы вернулся мой отец, разве я усидел бы тут? Наверно, у него много медалей. А может, он и сахар привез...

---

*У б ы р — мифическое существо, упырь.

Шангарей пропустил это мимо ушей.

– А детенок у Мадины крашивый?

Хашим улыбнулся.

– Красивый!

– На меня похож?

– С чего это он должен быть похожим на тебя? Он на своего отца похож.

– Хы!.. А где он шпит?

– В колыбели.

– И мой отец лежит в колыбели. Далеко.

Хашим бросил окурок цигарки в лужицу.

– Тебе хоть говори, хоть не говори!

– Не говори. Я шам жнаю.

– Черта с два ты знаешь!

– Жнаю!

Раздосадованный Хашим двинулся дальше. Подумал: у Ишмухамета хватило сил вернуться из ада, а прийти на ферму повидать сына не может. Парень валяется где попало, еще простудится...

* * *

Мирхайдаров, послав уборщицу правления за Мадиной, задумался о ней. Вспомнилось время, когда по всей республике искали талантливых юношей и девушек для направления на учебу в Московскую консерваторию. Способных молодых людей нашлось немало, но такой голос, как у Мадины... Короче говоря, тиряклинская девушка привлекла к себе особое внимание, послали ее учиться. Когда случалось выступить в школе, Мирхайдаров непременно хвалил Мадину, гордился тем, что в Тиряклах выросла такая девушка. При встречах с Хашимом справлялся, как она там, есть ли от нее вести. Дома, за чаем тоже нередко заходил разговор о ней, не сходила Мадина и с языка Сарбиназ, его жены. И нате вам – нежданно-негаданно Мадина вернулась, да не одна, с ребенком на руках...

Абдельахата Мирхайдаров тоже хорошо знал. Трудолюбивый был паренек, куда ни пошли, там и работал, не делил работу на чистую и грязную. Войну до конца прошел, полна грудь медалей. А теперь вот позвонил Камалетдинов, велят, говорит, держать семью Абдельахата под

контролем. И что же, в горячее посевное время, когда человеку, чтобы всюду поспеть, впору разорваться на пять частей, Мирхайдаров должен сидеть, карауля Мадину? Будто иных забот у него нет... Снега нынешней весной выпало много, таял он медленно, а сверху ведь потребуют отрапортовать о завершении сева к Первомаю! Ни приличного агронома не пришлют, ни порядочной техники нет, мужчин – на пальцах пересчитать. Обрадовался было, узнав о возвращении Ишмухамета, сходил повидаться с ним, но ему самому, оказалось, помощь нужна, еле-еле душа в теле...

Ага, Мадина пришла. Мирхайдаров встал, решив, что будет неприлично, если встретит молодую женщину сидя за столом.

– Здравствуйте, Азат-агай! – Мадина вложила худенькую руку в ладонь председателя колхоза.

– Здравствуй! Садись, рассказывай, как там Москва...

Мадина покраснела.

– Не знаю. Я мало что успела увидеть...

Мирхайдаров внимательно посмотрел на нее и понял, что перед ним сидит не простодушная девушка, какой ее помнил, а многое пережившая, испытавшая нужду и горе женщина.

– Да-а... – протянул он, соображая, как повести разговор дальше. – Вот... скоро сев, а рабочей силы в колхозе маловато. Так уж у нас: нос вытащишь – хвост увязнет, хвост вытащишь – нос...

– Зачем... меня вызвали?

– Тебя-то? Сама не заходишь... У нас клуб стоит пустой, человека, чтоб наладить там работу, нет. Агитбригаду создать, концерты ставить. Может, ты возьмешься?

– Я подумаю, агай. Ребенок ведь у меня еще очень маленький.

– У нас в аулах не принято ссылаться на ребенка. Как говорится, в поле родится, так в поле, на ферме родится, так на ферме растет...

Мадина поднялась.

– До свиданья, Азат-агай!

Она ушла, оставив в пропитанном запахами табака, солярки, дегтя, конской сбруи помещении какой-то особый аромат, присущий, может быть, молодости или красоте. Мирхайдаров последил через окно за удаляющейся женской фигурой. Есть в Мадине помимо красоты еще

что-то, что заставило его, пятидесятилетнего мужчину, внутренне вытянуться перед ней в струнку, как в солдатском строю, и растерянно мямлить в разговоре. Но ладно, в работе всякое бывает, в следующий раз он поговорит с красавицей пожестче. Раз велено держать ее под контролем, придется выполнять приказ.

* * *

Настроение у Ихсанбая после того, как побывал в Таулах, в военкомате, заметно приподнялось. Военком, молодой еще майор с покалеченной кистью левой руки, увидев перед собой изуродованного донельзя человека, постарался поскорей выпроводить его. В долгие ночи, проведенные в пещере, Ихсанбай тщательно обдумал легенду о том, как он, то есть Ишмухамет, был назначен сопровождающим в воинский эшелон, как эшелон якобы попал под бомбежку, как вытащили его из горящего вагона, и все это изложил в письменном заявлении. Может быть, в придуманной им истории не все концы с концами сходятся, но за годы войны были разбомблены сотни эшелонов, госпитали, в которых будто бы лечили его, давно свернуты. Их документация, наверно, хранится в каких-нибудь архивах, но кто будет рыться в них, разбираться в судьбе одного из миллионов людей, покалеченных войной? Вон и военком, бегло прочитавший заявление, не минул этой участи.

— Эх, теперь уж нам на гармошке не сыграть! — просипел мнимый Ишмухамет, намеренно намекая на скрюченные пальцы военкома.

— А вы играли?

— Что уж об этом вспоминать! — махнул скривившейся в огне рукой «Ишмухамет». — И жена меня не дождалась. Кому калека нужен?

Строгое выражение на лице военкома сменила жалость.

— Ладно, агай, поезжайте домой, — сказал он. — Поставим вас на учет, я позвоню вашему председателю, вам помогут.

— Спасибо, спасибо, браток! Вот ведь, не перевелись

у нас добрые люди... – Ихсанбай, опираясь на посошок, поковылял к двери, обернулся у порога: – Не по своей воле человек становится калекой. Кабы не вытащили меня из огня, кабы сгорел, не пришлось бы испытать такие муки...

Теперь Ихсанбай чувствует себя в доме Ишмухамета хозяином. Правда, скота во дворе нет, после смерти Зарифы всю живность разобрали ее родственники. Шангарей зимой обитал на ферме, летом здесь, в летней кухне. Он ворота не открывал, пролезал под ними, считая себя собакой; в том месте, где пролезал, в земле образовалась канавка. Поскольку Ишмухамет ходил в начальниках, дворовые строения добротны, сарай, баня срублены из сосновых бревен, довольно большой картофельный огород обнесен штакетником. Словом, хозяйствовать здесь можно. Только ведь Ихсанбай самостоятельно хозяйствовать не умеет, привык жить на всем готовом: прежний двор обустроил отец, о еде заботилась мать.

Да, тяжело ему будет без женщины в доме. Конечно, в его положении мечтать о райской гурии неуместно. За такого не то что Мадина, растолстевшая Галима замуж не пойдет. К тому же он привык к Сабиле – женщине покорной, безответной. Вообще в ауле много одиноких женщин, но опять же кто польстится на такого «красавца»? А может, закинуть удочку на Раузу, хоть и старовата она? Работает продавщицей, детьми не обременена, хозяйство вести может. Если согласится, то ясно как день, что окружит его заботой, дождинке, как говорится, не даст на него упасть. Она всю жизнь мечтала о замужестве, и за калеку выйдет. В самом деле, набраться, что ли, решимости да и сделать предложение Раузе?

* * *

Енгэ, Рашида, после того как решила перевести Абубакира на коровье молоко, все же передумала, Сабиля некоторое время сцеживала и отдавала для малыша свое молоко. Но ее груди, больше не чувствуя тепло ребенка, увяли, висят пустые, будто и не торчали, как тугие бурдюки, выставив розовые соски.

Пропало у Сабили молоко, и сына видит она редко. Каменный пристрой к сараю, где Сабиля живет, был когда-то клетью какого-то бая, а теперь превратился в прачечную расположенной по соседству больницы. Сюда приносят из больницы грязное белье и забирают обратно, когда Сабиля все выстирает и выгладит. Она сама и дрова для прачечной колет, и печь топит, и за дядиным скотом ухаживает.

Как она сюда попала?

Сабиля до сих пор не может решить, радоваться она должна тому, что произошло в Тиряклах, или горевать.

...Она лежала тогда, схватившись за разболевшийся живот, когда послышался голос свекрови, Фаузии:

– Килен, ты дома?

– Дома.

– Собирайся, ты сейчас уедешь! Отбери и сложи в узел лучшее из своей одежды. – Войдя в горницу, Фаузия отцепила от своей косы связку ключей, кинула ее Сабиле. – Достань из сундука золотые и серебряные ложки, свои украшения тоже положи в узел. Я запрягу лошадь.

Спрашивать куда уедет, зачем Сабиля не стала. Свекровь ничего зря не затеет. Значит, есть причина. С трудом уняв волнение и дрожь в руках, Сабиля принялась отбирать свои вещи, несколько раз случайно коснулась одежды Ихсанбая и подумала, холодея: старуха затеяла это скорей всего без его ведома, а он вдруг придет и будет опять скандал! Когда-то Сабиля любила Ихсанбая и душой, и телом, теперь... Довести мысль до конца у нее не хватило сил. В животе трепыхнулся ребенок, и она заторопилась, начала собираться быстрей.

– Лошадь готова.

– Ой, я, кажется, еще не все собрала.

– Человек не то что за две-три минуты – за целую жизнь не успевает собрать все. Присядем... Теперь выслушай меня внимательно. Ты уедешь в Таулы к своему двоюродному дяде Лукману. Я списалась с ним, он тебя примет. Ихсанбай может погубить и этого ребенка, поэтому поживешь там. И никто здесь не должен знать об этом. Я найду, что сказать Ихсанбаю. Поняла?

Сабиля хотела спросить, а как же быть с лошадью, но волнение помешало задать вопрос.

– Родишь благополучно – пусть ребенок подрастет там же. – Голос Фаузии дрогнул. – Постарайся, насколько смо-

жешь, чтобы не только телом, но и умом рос. Это золото и серебро – вознаграждение Лукману за его доброе отношение к тебе.

– Кайнам!.. – Сабиле впервые за годы совместной жизни захотелось обнять эту суровую старуху, но Фаузия уже встала.

– Это все, что я должна была сказать. Лошадь сыта, отдохнула, Лукман решит, как с ней быть. Не жалей ее. Даю тебе и ребенку мое благословение. Аллах акбар!

Так они простились.

А через несколько дней Лукман сообщил Сабиле о пожаре в Тиряклах, о том, что Ихсанбай и ее свекровь погибли в огне.

Она жила затворницей в каменном пристрое к сараю. В нем на нарах и родила. Роды принимал дядя, он ведь доктор. По его мнению, мальчик родился здоровенький. Когда Сабиля немного пришла в себя, Лукман зашел поговорить с ней. Сказал, что она может остаться жить здесь, но с условием: мальчик станет его приемным сыном. Он с женой люди уже немолодые, детей у них нет и не будет, им нужен наследник. Что Сабиля может дать ребенку без своего дома, без мужа? А у них малышу будет хорошо, они для него ничего не пожалеют. Чтобы не возникли кривотолки, Лукман с Рашидой объявят, что усыновили малютку, родившегося в другом районе, а ее, Сабилю, якобы наняли кормилицей. Для окружающих она будет приезжей, потерявшей своего ребенка после родов. Согласна?

Что Сабиле в ее положении оставалось, кроме как согласиться? Другого выхода у нее не было. Ах, если бы в этот момент рядом была свекровь! Что она посоветовала бы? Как она хотела, как ждала внука!..

Потом дядя показал свидетельство о рождении Абубакира. В графе «отец» значился Карагужин Лукман Талипович, в графе «мать» – Карагужина Раиса Максимовна.

Сегодня Лукман Талипович (он запретил Сабиле называть его дядей, чтобы отвыкла от этой привычки, а то еще при посторонних людях так назовет), – напомнил, что прав на Абубакира у нее нет. Зашел в ее прачечную, присел, расстегнув пуговицы полушубка, на край нар.

– Ну, как настроение, Сабиля?

– Да как сказать... – отозвалась она, снимая с протяну-

того через помещение шнура высохшее белье. – Стираю вот да сушу, так жизнь и проходит.

– Не у нас одних она проходит. Вон в больнице чуть ли не каждый день кто-нибудь умирает.

– Что ж поделаешь... Бабушка Абубакира, свекровь моя, бывало, говорила: смерть и незваный гость без спросу приходят. Все-таки жаль, что люди умирают. Гусенок погибнет, и то жалко...

– И это ты от свекрови слышала? – Лукман резко поднялся, застегнул полушубок. – Вот что, Сабиля: тебе надо забыть о существовании Абубакира.

– Забыть?! – Сабиля встала перед ним, прижав к груди снятое со шнура белье. – Но я ведь... его мать!

Лукман кольнул ее злым взглядом из-под мохнатой шапки:

– Помни уговор! Нет у тебя ребенка! Я не люблю повторять одно и то же много раз!

Осталась стоять Сабиля со скомканным на груди бельем.

– Дитя мое! Сыночек!..

* * *

Появление на ферме Гифрита разладило налаженную жизнь Шангарея. Раньше он чувствовал себя среди животных как рыба в воде, но племенной бык почему-то сразу невзлюбил его. Только высунет Шангарей свою круглую голову из-за угла – бык взревывает, принимается рыть копытом землю, выказывает намерение напасть.

Правду сказать, и доярки побаиваются Гифрита, и скотники предпочитают держаться подальше от него. Удивляется Шангарей: раз все боятся этого чудовища, зачем его купили? Вон в ауле быков запрягают, если надо зачем-нибудь съездить или вспахать огород, и никто их не боится. Почему? Шангарей спросил об этом Хашима. Хашим, как обычно, ответил коротко:

– Те – оскопленные. Ну, яички у них отрезали, а у этого нет.

С запозданием дошло до Шангарея, почему Гифрит устрашающе силен: сила его – в мошонке. У других быков кое-что отрезали, а у этого все осталось на месте.

Шангарею, когда он был еще маленьким, один бабай, приведенный отцом, тоже сделал обрезание.

— Тебе не больно? — спросил бабай, присыпав кровь на срезе каким-то порошком.

— Нет, — сказал Шангарей. — Ешли хочешь, еще отрежь.

Бабай больше резать не стал, взял протянутые отцом деньги и быстренько ушел.

Теперь Шангарей сожалеет, что сглупил, дался тогда в руки бабая. Если бы не дался, был бы сильным, как Гифрит, и никого не боялся: ни людей, ни индюков, ни гусаков. Сами бы его боялись. Вон Сталина все боялись, выходит, у него ничего не отрезали.

Скотники загнали Гифрита в плетневую загородку возле коровника. Шангарей понаблюдал за ним через дырочку в плетне. Бык его не видел, а то принялся бы вскидывать копытом навоз и солому.

Сзади раздался голос Хашима:

— Что ты тут делаешь?

— Мне нужен ножик, — ответил Шангарей, не отрываясь от дырочки.

— Зачем?

— Отрежу у Гифрита мошонку.

— Что?!

— Подойду, когда зашнет, и отрежу.

— Глядите-ка, что он надумал! Ты знаешь, сколько колхоз за быка заплатил?

— А зачем он на меня кидается?

— Катись отсюда, Шангарей! Пялишься на него, вот он и злится на тебя. На меня ведь не кидается.

— Ы! Еще пошмотрю.

— Тьфу, окаянный!

Хашим заторопился в коровник: подошло время задавать скоту корм. Шангарей расширил пальцем дыру в плетне, решил дождаться, когда бык, наевшись, уляжется спать.

* * *

Сугробы в лесу опадали, вершины гор уже очистились от снега. Проталина перед логовом Кукбуре изо дня

в день становилась шире. Кукбуре вылезла из логова погреться на солнышке. Легла на подсохшую землю, вытянув передние лапы, подняла морду, принюхалась к веющему с запада ветерку. Он доносил со стороны аула запахи оттаявшего навоза и дворовой живности. До аула далеко, а зайцы и прочие мелкие обитатели леса сейчас не оставляют на ноздреватом снежном насте заметных следов. Трудно стало Кукбуре добывать пищу, да к тому же после гибели Бывалого охотиться ей не хотелось. Вспомнив о Бывалом и почувствовав болезненную тягость в теле, Кукбуре заскулила, покрутилась на проталине и снова легла. Эх, недолго длилась их радость! Вспомнилась еще та ночь, когда она, задрав морду к луне, завыла. Тогда, услышав подсказанный присущим всему живому инстинктом призыв к продолжению рода, пришел к ней Бывалый. Теперь не приходит. И никогда не придет. Его скелет лежит перед пещерой у горы Куктау. Ушел Бывалый по пороше на охоту и погиб там. В тоске, охваченная жаждой мести, несколько раз побывала Кукбуре у пещеры, но запах людей из нее уже не исходил.

Может быть, напрасно ушла она из аула? Там кобель ли сдохнет, сучка ли, остальным собакам до этого дела нет. У волков иные законы. Не знала она, что оставшуюся в одиночестве волчицу другие волчицы к стае не подпустят. Попробуй приблизиться — тут же какая-нибудь из них вцепится в твое горло!

Измученная одиночеством и голодом, Кукбуре опять приподняла голову, уловила принесенные ветром из аула давно знакомые вкусные запахи. Щекотнув ноздри, усилили они безысходную тоску Кукбуре, побудили ее завыть громче, отчаянней, чем прежде.

* * *

Ихсанбай приучил себя, когда жил в пещере, постоянно держаться настороже. Опасался тварей, обитающих как на поверхности земли, так и под землей, например, мышей. Ишмухамет, давно привыкший к отшельнической жизни, казался ему чересчур беспечным.

— Давай и днем, и ночью будем поочередно дежурить у входа в пещеру с ружьем, — предложил Ихсанбай однажды Ишмухамету.

— Зачем? Люди здесь не появляются, а со зверьем я живу в ладу.

— В ладу... Я видел неподалеку волчьи следы.

— А, это следы Кашкара*, волка с черной отметиной на лбу. Я назвал его для себя так, потому что он похож на собаку. Здесь его территория. Пока он жив, никакой другой хищник сюда не сунется.

— Надейся на волка!

— А почему бы не надеяться?

— Волк — извечный враг человека.

Простодушие Ишмухамета разозлило Ихсанбая. Но хозяин пещеры — Ишмухамет, с этим приходилось считаться. А Кашкар этот все более наглел, как-то ночью завыл почти рядом с пещерой.

— Чего ему, подлюге, тут надо? — разъяренно просипел Ихсанбай.

Ишмухамет ответил, как обычно, спокойно:

— Ему это... твое появление здесь, похоже, не понравилось. Я это сразу почувствовал. Меня принял, тебя почему-то не может принять.

— Принять! Тоже мне министр!

— Здесь в самом деле хозяин он, а мы вроде как гости.

Бессонными ночами под волчий вой перебирал Ихсанбай в памяти пережитое и приходил к выводу, что ничего хорошего в его жизни не было, ни одно сокровенное желание не исполнилось. Самое горькое его поражение — Гульбану. Не этот ли воющий близ пещеры хищник повинен в ее смерти? А может, как раз он и позвал его, Ихсанбаеву, стражницу Кукбуре в лес? Увел ее с щенками на его глазах. Какая наглость! Немало всяких потерь было в жизни Ихсанбая, почему он, как гнилой пень, должен впитывать все в себя, прощая обиды, не мстя за утраты? Почему должен жить, превратившись в тень Ишмухамета? Отец, бывало, бил себя в грудь: я, мол, потомок ханов! Стало быть, и в Ихсанбае течет не заячья, а ханская кровь...

Утвердился Ихсанбай в этой мысли, и однажды вечером, когда Ишмухамет ушел в Таулы, нацелил его винтовку на появившегося перед пещерой волка...

Увидев растянутую для просушки волчью шкуру, Иш-

---

*Кашкар — кличка собак с пятном на лбу.

мухамет опешил. Вытер шапкой пот со лба, присел на чурбак. Сказал, придя в себя:

– Теперь, пожалуй, на охоту нам придется ходить вдвоем.

– Почему?

– Кашкар охранял свою территорию, а заодно и нас, не подпускал сюда других хищников. Ты нарушил порядок в их мире.

– Хы! Какой у них может быть порядок?!

– Я прожил здесь дольше, чем ты, знаю, что говорю. Рысь, например, опасней волка.

Возможно, Ишмухамет был в чем-то прав, но убив волка, Ихсанбай почувствовал облегчение. Сон у него стал спокойней. И здесь, в ауле, в особенности после поездки в военкомат, пожаловаться на свой сон он не мог. Но нынешней ночью, в полнолуние, его опять разбудил волчий вой. Что побудило зверя подойти так близко к аулу? Ихсанбая кинуло в холодный пот. От воспоминаний о жизни в пещере сердце захолонуло. Еле дождался утра. Печь разжигать не стал, заторопился на улицу. Постукивая посошком по прихваченной весенним морозцем дорожке, направился к дому Раузы.

* * *

Рауза обычно спала крепко, до рассвета даже с боку на бок ни разу не переворачивалась, а этой ночью ей не спалось. Сказать, что переела вечером, так нет: только плошку оставшейся от обеда шурпы, подкислив коротом, выпила. Поняв, что быстро не уснет, вышла во двор, совершила возле сарая омовение, послушала, как дышат ее буренка и овечки. Затем, привычным движением сдвинув шаль с головы на шею, посмотрела на полную луну.

– К луне с молитвой обращаю взор: да будет полон живности мой двор! – проговорила она, вспомнив заученный еще в детстве старинный стих, и направилась обратно в дом.

Благодарна Рауза небесам за то, что не переводится скот в ее дворе. Но почему бы ей не попросить у той же луны спутника жизни? Все живность да живность просит. А чем она хуже других, чтобы без мужа жить? Ну, полновата, так мало, что ли, в мире полных, даже

жирных жен? Правда, после войны много стало вдов и незамужних женщин, вот и у нее две сестры в старых девах ходят. Ладно еще Рауза одного ребенка да родила, пусть и недолго, а замужем пожила. А те ведь сроду мужского лица близко не видели. Но и у нее, Раузы, жизнь – не сладкий мед. Лежишь долгими ночами одна-одинешенька, слушая волчий вой, и хоть сама завой! Только никто тебя не услышит, никто в окошко не постучит. Вон Хашим свободен, а каким-то женоненавистником держится – Гульбану его заколдовала, что ли? Конечно, жена у него красивая была, надо это признать! Но ведь и Рауза не обсевок в поле! Вдобавок продавщицей работает, весь аул, считай, в глаза ей смотрит. У кого, как говорится, в руках, у того и во рту. Все у нее есть. Одного не хватает: поворковать вечерком, после работы, с мужем за чашкой душистого чая с конфетами...

Провздыхав всю ночь, чуть свет Рауза села в постели. Привычка вставать рано осталась у нее с той поры, когда работала в сельсовете. Посидела, потирая занемевшие руки и ноги, потянулась за чулками, неторопливо оделась. Дальше все пошло обычным порядком: ополоснула лицо, открыла трубу печи, достала с шестка растопку, разожгла огонь в очаге. Сухие дрова быстро вскипятили воду в казане. Рауза только было открыла самовар, чтобы перелить в него кипяток, – послышался стук в дверь сеней. Поскольку час был еще слишком ранний, Рауза, прежде чем выйти открывать дверь, посмотрела на крыльцо через окно.

– Ах-ах, кто это? Не то уж Ишмамат?!

* * *

После разговора с Сабилей Лукман места себе не находил. Зашел он в прачечную просто для того, чтобы проверить, все ли там в порядке, не думая, что получится такой разговор с двоюродной племянницей. Тем, как держится, выражением лица, взглядом сказала она Лукману больше, чем словами. Дикая самка, дура набитая! Никак не может понять, что в ее положении притязания на Абубакира глупы. Мальчик в надежных руках, растет в хороших условиях – вот что важней всего. Сам он, Лукман, еще в детстве был отдан отцом на воспитание

в обеспеченную семью и ничего из-за этого не потерял, напротив, выиграл...

Обуреваемый такого рода мыслями, Лукман нервно походил туда-сюда по своему кабинету и решил отправиться домой. Дом у него старинной добротной постройки, с высоким кирпичным цоколем, в подвале обустроена комната, где в плохом, как сейчас, настроении Лукман уединяется.

Услышав хлопок входной двери, из кухни на миг высунулась Рашида, удостоверилась, что пришел муж. Навстречу ему выбежал двухлетний Абубакир.

— Папа! Папа присел! Сяй пить!

Лукман подхватил его, подкинул. Из глаз мальчонки разлилось синее сияние, комната наполнилась радостным визгом. Из кухни вышла Рашида.

— Ну-ну, Абубакир, хватит, папе надо раздеться. — И мужу: — Рано ты сегодня.

Опустив мальчика на пол и сняв верхнюю одежду, Лукман направился к лестнице, ведущей в подвал.

— Чай не готовь. Посижу внизу, — предупредил он жену.

Она не возразила, давно привыкла к повадкам немногословного мужа. Убранство подвальной комнаты составляли дубовый стол, несколько стульев, топчан, шкаф, полки с книгами и разнокалиберными банками и склянками, весы с мелкими гирьками, разные схемы, развешанные по стенам. Было здесь тихо, спокойно. С фотографии на стене строго сквозь очки смотрел мужчина с округлой бородкой — бывший хозяин дома Степан Ильич.

Лукман налил в стакан спирт из стоявшей в углу бутыли, вскрыл, достав из шкафа, консервную банку. Надо бы сходить наверх за хлебом, да ладно, сойдет и так, решил он.

— Ну, будем, Степан Ильич! — проговорил Лукман и выпил налитое в стакан. Спирт обжег горло, но немного погодя разлился по телу приятным теплом. Вообще-то Лукман не выпивоха, лишь изредка в сумрачном настроении запирается в этой комнате. И радуется в душе, что есть у него убежище, где может, как в раковине, спрятаться от остального мира. К слову сказать, родился он под знаком созвездия Рака, и этим как бы было предопределено, что будет у него возникать нужда в таком вот уединении.

Если подумать, не так уж много лет прожито, только-только ступил Лукман в свой шестой десяток, но сколько за эти годы рытвин и ухабов, крутых обрывов и поворотов пройдено! Его отец, Талип, был в Тиряклах скотным доктором, занимался кастрированием животных, в ту пору, когда Лукман осознал себя, жил неплохо. Благодаря своему ремеслу отец и познакомился со Степаном Ильичом.

А отец Степана Ильича, Илья Николаевич, еще в XIX веке поселился в Таулах, лечил население уезда. Сосланный из Петербурга по политическим мотивам лекарь обрел не только пристанище, но и известность среди башкир, заслужил высокую степень их доверия. С открытием в этих краях золотоносных участков Илья Николаевич женился на дочери хозяина Султановского прииска Навалихина, приумножил свое состояние, однако не перестал ездить по аулам, врачуя народ, не изменил своей профессии. И смерть свою встретил здесь. Когда возвращался домой из глубинного аула через горы, лошадь, напуганная каким-то зверем, понесла, повозка перевернулась, и доктор погиб.

Степан, помогавший отцу в сборе лекарственного сырья, изготовлении разных снадобий и иногда сопровождавший его в поездках, остался с матерью жить в этом доме. Средств на жизнь у них было достаточно, но привыкнув с детства работать в подвальной комнате, он продолжал трудиться в ней не поднимая головы. Человек ли заболеет, скотина ли какая – жители Таулов и окрестных селений обращались за помощью к нему. Но если Илья Николаевич сажал на козлы кучера и ехал туда, где в нем нуждались, то Степан Ильич чаще ограничивался тем, что выслушивал посетителя, вручал ему пузырек с лекарством и объяснял, как им пользоваться.

Беда одна не ходит. Вслед за отцом вскоре скончалась и мать Степана. Спустя некоторое время он женился на дочери приискового мастера Михаила Любаше. Но и Любаша прожила недолго. Ширококостная и на вид здоровая, она почему-то не смогла нормально родить. Пометавшись в отчаянии, Степан послал человека в Тиряклы за тамошней бабкой-повитухой. Пока бабка ехала, и Любаша, и не успевший родиться ребенок покинули этот мир.

Похоронив Любашу, приехал Степан в печали к своему тиряклинскому знакомому – Талипу. Засели они в

пропахшей дегтем и карболкой, наполовину ушедшей в землю хозяйственной лачуге. Гость привез с собой спирт. Лукман заносил им приготовленные матерью угощения – бишбармак, казы, тултырму – нафаршированную яйцами курицу, шурпу, корот. Из лачуги слышались то «Буранбай», то «Шумел камыш», отец наигрывал на курае то мелодию «Карабая», то «Барыню». Этот шайтанов пир завершился тем, что отец посадил Лукмана на Степановы козлы и сказал:

– У меня мальчишек и без тебя хватит. Степан выведет тебя в люди, обучит ремеслу. Я оставить богатство в наследство не смогу, вот ремесло и будет тебе наследством. Слушайся Степана, не бузи. Прощай!

Отец открыл ворота, хлопнул лошадь ладонью по крупу:

– Айда, скотинушка, с Богом!

Мать, никогда не перечившая отцу, безмолвно плакала, прикрыв рот уголком шали.

Крестьянскому сыну, приученному в многодетной семье к труду, жизнь в Таулах показалась не слишком хлопотной. Колол дрова, топил печь, помогал Степану по хозяйству и с особым интересом и удовольствием – в изготовлении лекарств. Сносно овладев русским языком, начал читать книги по анатомии и физиологии человека, заинтересовался всей богатой библиотекой, собранной еще Ильей Николаевичем. Поднаторел в некоторых медицинских вопросах настолько, что Степан стал обращаться к нему за советами.

После того, как Степан вновь женился, Лукман с головой ушел в изучение медицинской литературы. Его опекун высватал в ауле, расположенном в семидесяти верстах от Таулов, дочь державшего там мельницу предприимчивого русского мужика Раису. Раиса разговаривала по-башкирски так же свободно, как воду пила. С легкой руки кого-то из посетителей ее переименовали в Рашиду, и она с этим свыклась. Следуя примеру Раисы, и Степан мало-помалу научился говорить по-башкирски.

Имея молодого, старательного помощника, он заметно укрепил свое материальное положение. Для Лукмана приобрели отдельную лошадь и тарантас. Когда разражалась какая-нибудь эпидемия, Лукман, набив кожаный баул лекарствами, один выезжал лечить народ. А уж то, что хозяйка неожиданно увлеклась им, превратило его из неотлинявшего стригунка в молодого лоснящегося жеребчика.

Степан уехал в какой-то аул к женщине, четвертые сутки маявшейся родами. Лукман, плотно поужинав, спустился в эту комнату, прихватив книгу «Криминальная анатомия». Вскоре скрипнула лестница, следом спустилась Рашида. Лукман оторвался от книги.

– Что, Степан Ильич вернулся?

– Нет... Зачем... – Рашида вдруг перешла на русский: – Я больше не могу... Сокол ты мой ясный, не томи меня, не гони...

Лукман попытался отстраниться от обвивших его шею мягких рук, горячих губ, полных страсти глаз:

– Что ты делаешь... Рашида-апай!.. Раиса Максимовна!..

– Поцелуй меня! Ох! Какой ты... сладенький мой!

Остальное Лукман плохо помнит, словно нашло на него тогда затмение. Объяла его сумасшедшая страсть хозяйки.

Долго потом он не мог поднять взгляд на Степана. А Рашида как будто стала ласковей к мужу, как-то вся переменилась, лицо ее светилось, глаза сияли от счастья. Лукман удивленно думал: «Наверно, то, что со мной случилось... привиделось во сне. Вон ведь как они меж собой воркуют».

Но оказалось, что он поторопился с выводом. Степана Ильича по какому-то важному делу вызвали в Оренбург, и в первую же ночь после его отъезда все повторилось. Кажется, Рашида не оставила на теле Лукмана нецелованного места, не счесть, сколько нежных слов наговорила, то смеясь, то плача.

Неделю Лукман не выходил из подвальной комнаты, исполняя желанные теперь прихоти хозяйки. Оба они похудели, но чувствовали себя так, будто сбросили с плеч какой-то давивший на них до сих пор груз. И семнадцатилетний Лукман понял, что без этой красивой, уже досчитывавшей свой третий десяток женщины жить не сможет.

Политические катаклизмы, порожденные революцией, – Гражданская война, продразверстка, коллективизация, раскулачивание – как-то обошли и Степана Ильича, и Лукмана стороной, но набирало силу то, что назовут потом культом личности Сталина. В чем был обвинен Степан Ильич, Лукман не знает, хозяина его арестовали в 1933-м году, и он не вернулся, сгинул где-то. Рашида в первую же после ареста Степана Ильича ночь позвала

Лукмана наверх, и утро они встретили в постели, в которой раньше она спала с мужем. Потом Рашида сходила в органы, написала заявление об отречении от супруга.

С тех пор они вместе, со временем узаконили свой брак, только вот детей так и не дождались. Хотя у Лукмана не было документа об окончании специального учебного заведения, его как знающего специалиста-практика из батраков пригласили на официальную службу в больницу и в конце концов повысили до должности главврача.

На войну его не призвали – обнаружилась язва желудка. За военные годы вырос его авторитет в районе и состояние приумножилось. Ихсанбая он спас от призыва на фронт не ради того, чтобы не лила племянница слезы, мзду получил золотом. Из-за этого все более наглевший Ихсанбай стал для него чрезвычайно опасен. Получив от старухи Фаузии письмо, в котором она сообщила о тяжелом положении Сабили и угрозе жизни еще не родившегося ребенка, Лукман принял решение обезопасить себя. Он выстрелил только в Ихсанбая: собаке – собачья смерть! Но той ночью почему-то исчезла и Фаузия. Будто сквозь землю провалилась. В ауле считают, что и ее кости, если что-то от них осталось, лежат под золой в глубоком подполе сгоревшего дома. Но шайтан знает, так ли это. Поэтому неспокойно на душе Лукмана.

Всем сердцем полюбил он Абубакира, словно мальчонка с сияющими синими глазами не сын Ихсанбая с Сабилей, а плод счастливой любви его и Рашиды. Этим счастьем он не хочет делиться ни с кем. Ему жилось бы спокойней, если бы послал тогда пулю и в Фаузию. А может, она в самом деле сгорела? Была бы жива, так давно уж пришла бы к невестке. Сейчас самый опасный для семьи Лукмана человек – Сабиля. Мысль об этом не дает покоя и Рашиде. Она даже предлагала уехать в Сибирь к ее унесенным туда ветрами революции родственникам. Предложение жены не лишено смысла. Лукман где угодно, хотя бы кастрируя козлов, обеспечит свою семью. И золота у него, слава Аллаху, достаточно. Но есть закавыка: Сабиля может поднять шум, заявить в НКВД, что они сбежали, забрав ее ребенка...

...На востоке первые лучи солнца пронзили перистые облака, когда в усталом мозгу Лукмана мелькнула мысль:

а не отправить ли Сабилю в психбольницу? Пусть себе живет там взаперти. На прошлой неделе отправили туда женщину, объявившую себя матерью Пророка. Поди отличи в нынешнем свихнувшемся мире здравомыслящего человека от душевнобольного! Взять, к примеру, их рьяную Лидию Николаевну – к какой категории ее отнесешь? Опять собралась пожаловаться Камалетдинову: дескать, главврач использует больных в качестве бесплатной рабсилы. Ну, велел нескольким выздоравливающим, дабы подышали свежим воздухом, раскидать снег на больничном и своем дворе, так что ж, позументы у них, как говорится, из-за этого осыплются?

Лукман закурил, хотел налить в стакан еще малость спирта, но передумал. Проснется Абубакир, и не поласкаешь его, скажет: фу, от тебя пахнет!..

* * *

После разговора с Мирхайдаровым у Мадины настроение приподнялось. Верно сказано: на миру и воробей не погибнет. В Москве с арестом Абдельахата отношение к ней резко изменилось, преподаватели, вчера лишь восхищавшиеся ее голосом, стали проходить мимо, будто не узнают свою талантливую студентку. А в ауле встретили ее тепло. Председатель вот работу в клубе предложил. Вдохновленная добрым отношением земляков, Мадина, пока ребенок спал, побелила печь. Порадовалась, наблюдая за хлопотами скворцов, поселившихся в установленной на шесте у ворот скворечне. А увидев травку, пробивающуюся навстречу по-матерински ласковым солнечным лучам, даже прослезилась. Запела бы, чтобы излить переполнившую душу радость, но казалось, что в стенах избы ее песня не уместится. Ей нужна была большая сцена, либо полевой простор, либо устремленный к высокому небу лес.

Залюбовавшуюся пробуждающейся природой Мадину заставила вздрогнуть упавшая к ее ногам тень. От ворот подходил к ней отец.

– Мадина... – проговорил он и вдруг изменился в лице. Мадина насторожилась.

– Что с тобой, папа? Что-нибудь случилось?

– Нет, ничего... Ты... ты в мамином платье...

Он словно бы поискал рукой опору в воздухе и обессиленно присел на завалинку.

– А, да... Я побелила печь. Отыскала ее старое платье, чтобы свое не испачкать.

– Уф!.. – Хашим обтер рукавом потное лицо. – Работы сегодня было много. Хотел прилечь, отдохнуть до того, как пойду караулить ферму.

– Отдохни. Малыш спит. Я схожу за водой к колодцу Мунавары, в речке мутноватая пошла.

– Далековато. Но сходи, коль так решила.

Мадина сняла со столбиков ограды начищенные до блеска ведра и, подвешивая их на коромысло, торопливо вышла на улицу. Она каждый день поглядывала через окно на не тронутую огнем малую избу, в которой обитали тетушка Фаузия и старик Сибагат, но не думала, что пройти мимо их двора будет так тяжело. Мадина почувствовала, что ноги у нее ослабли. Надо же, большой красивый дом, стоявший горделиво, как бы говоря: «Смотрите, каков я!», за несколько часов превратился в золу. Огонь перекинулся на сарай с клетью, только до избы, предназначенной для телят и ягнят, а потом превращенной стариками в жилье, не достал. Впрочем, тетушка Фаузия после смерти ее старика, кажется, перебралась в большой дом, да прожила в нем недолго.

В этот двор теперь разве лишь какая-нибудь скотина забредет, а люди обходят его стороной, может быть, потому, что о тетушке Фаузие ходили слухи, будто бы она то ли колдунья, то ли убыр, словом, связана с нечистой силой. Но Мадина знала ее лишь с хорошей стороны, помнит, как помогала она ее маме Гульбану и им, детям. К тому же старуха по-доброму разговаривала с Шангарем. У Шангарея разум как у ребенка, говорят, такие люди, подобно лошадям и собакам, сразу чувствуют, с добрым человеком имеют дело или злым. Шангарей тетушке Фаузие доверял. Мадине и самой иногда хотелось выплакаться, уткнувшись в подол этой женщины. По отношению к ней она испытывала двойственное чувство: и побаивалась ее, и... любила.

Мадина сочла неудобным пройти мимо уцелевшей избы не остановившись. Постояла, потом повесила коромысло с ведрами на ограду, несмело вошла во двор.

На двери избы висел замок. Зная, что люди имеют привычку оставлять ключ над дверью, Мадина как-то непроизвольно пошарила рукой на выступе притолоки. Вот он, ключ! А что если она сделает шаг, на который не решалась, когда тетушка Фаузия была жива, и войдет в ее избу?

Поколебалась, но взяло верх любопытство. Открыла дверь, вошла. Окинула взглядом внутренность избы. Небольшая печь с боковым очагом под казаном. Вдоль всей стены напротив входа — нары, накрытые паласом. Рядом на сундуке высокой горкой уложены тюфяки, одеяла. Далее на глаза попались кумган, большая деревянная чаша, мелкие чашки-плошки на полке. Пучки каких-то трав, засохшие кисти калины, смородины на стенах. Недопряденная шерсть с веретеном — будто тетушка Фаузия, оторвавшись от работы, вышла во двор и вот-вот вернется.

— Ах, а это что?! — Увидев на прибитом к стене оленьем роге знакомые вещи, Мадина едва не лишилась чувств, присела на корточки. Это же... их, ее пропавших братишек, вещи!

* * *

Проводив взглядом отправившуюся за водой Мадину, Хашим вошел в избу. Осторожно, чтобы не разбудить ребенка, разделся. Ополоснув руки теплой водой из кумгана, подошел к колыбели, приоткрыл занавеску над ней, послушал ровное дыхание малыша.

Чистота и порядок в избе, свежевыбеленная печь, появившиеся на подоконнике цветы с готовыми раскрыться бутонами, колыбель со спящим в ней внуком — все это затрагивало самые тонкие струны в душе Хашима. Прилежная у него дочка, любит уют. Точь-в-точь как мать, Гульбану такая же была. Так же, как в ней самой, и вокруг нее все было уместно, опрятно. Вот он только что чуть не упал, приняв Мадину за Гульбану. Чудак, разве же умерший человек может ожить и вернуться?!

Хашим намеревался прилечь, поспать, но взволновался, и теперь сна, что называется, ни в одном глазу не было.

Хорошо, что есть у них Даут. Он похож на его пропавших мальчиков. Удивляет это сходство Хашима. Ма-

дина говорит: «Малыш похож на мою маму». Пусть будет так. У Даута – глаза Гульбану. И Биктимер с Янтимером были похожи на нее. Как хотелось Хашиму, чтобы жена родила ему сына! Может, Гульбану забеременела до его ухода на фронт? Хашим, конечно, знает, что дети у людей рождаются через девять месяцев. Но может быть, близняшки, чувствуя, что их ждет, не спешили расстаться с чревом матери, задержались еще на месяц? Говорят, чудес на свете не бывает, а разве не чудо, что Хашим остался жив, вырвался из когтей смерти?

Как бы там ни было, через Биктимера с Янтимером пришло к нему чувство отцовства и ощущение своей необходимости в этом мире. Ниспослал Всевышний двух птенцов в Хашимово с Гульбану гнездо, а каким путем – на то была его воля. Горько только, что эти безгрешные птенцы сгинули бесследно. Может, забрала их Гульбану оттого, что стало ей одной на том свете невесело? Или же для того к себе позвала, чтобы не маялись детки без матери, получая от жизни одни тычки да подзатыльники? Эх, Гульбану, ушла ты, не узнав, как дороги стали Хашиму эти мальчонки! Не заглянув в сердце мужа ушла! Сейчас крикнул бы он так, чтобы весь мир услышал: «Я люблю тебя!», да не достигнет человеческий голос тех мест, где обитает твоя душа...

– Отец! – Мадина влетела в избу запыхавшись, будто преследуемая кем-то. Хашим вскочил с места.

– Что?

– Вот... – Дочь протянула ему черную фуражку с кокардой и детскую сандальку.

Перед мысленным взором Хашима предстали его мальчишки – один в фуражке железнодорожника, другой в пилотке с красной звездочкой. Они носили эти головные уборы поочередно, меняясь ими каждый день. Поскольку пилотка у Хашима была одна, он достал с чердака свою старую фуражку с железнодорожной эмблемой.

– Папа ваш не только воевал, но и на железной дороге работал, – сказал он тогда, глядя на Янтимера, насадившего на голову слишком большую для него фуражку по самые глаза. – Кто знает, может и ты, когда вырастешь, будешь работать как я...

Хашим и сандалии помнил. После того, как вернули положенных им коров, он одну зарезал, мясо продал в

Таулах и привез сыновьям в гостинец яблоки и по паре сандалий. Мальчишки, не носившие прежде никакой обуви, помаялись, привыкая к ним...

— Где... нашла? — хрипло выдавил из себя Хашим, проглотив вставший в горле комок.

Мадина отвела полные слез глаза в сторону.

— Я... в избе Фаузии-инэй побывала, там...

— Хы!.. — выдохнул побелевший Хашим, не зная, что сказать.

Ни разговор с Мадиной за чаем, ни тютюшканье проснувшегося ребенка Хашима не успокоили. Так и не отдохнув, пошагал он по раскисшей дороге на ферму. Буравила его мозг неотвязная мысль: выходит, старуха Фаузия была близка к разгадке загадочной истории с исчезновением мальчиков. Но почему она не показала свои находки ему, Хашиму, или Мадине? Что ей помешало? Жаль, не получить уже от нее ответов на эти вопросы. Неужели фуражка с сандаликом нашлись лишь для того, чтобы Хашим всю оставшуюся жизнь метался в паутине безответных вопросов? Или же это — кончик нити, потянув который можно вытянуть правду об обстоятельствах гибели его сыновей?

То ускоряя, то замедляя в раздумье шаги, дошел, наконец, Хашим до фермы: в ноздри ударил запах силоса и преющего навоза. Ага, вон и Шангарей идет в загон для выгула скота. Постой, что у него в руке? Не топор ли? Что еще он надумал? Хашим припустил трусцой к воротам загона, за которыми скрылся дурачок.

— Шангарей! Эй!

Коровы, увидев Хашима, поприветствовали его дружным ревом. Тем временем в дальнем углу загона поднялся переполох, послышались вопли доярок:

— Убьет!

— А-а-а!

— Вилы! Дай твои вилы!

— А-а-а!

Хашим кинулся туда и... увидел Шангарея лежащим навзничь на рогах племенного быка. Гифрит мотал головой, мог либо размазать несчастного по стене коровника, либо затоптать, сбросив его с рогов. Хашим с разбегу вскочил сзади на широкую спину быка и, приподняв Шангарея, перекинул на другую сторону изгороди, затем,

пока бык не сообразил, что произошло, сам прыгнул туда же. Доярки разбежались кто куда, потом собрались возле лежавшего на земле Шангарея.

– На кой черт ты полез к быку?!

Шангарей лишь простонал, ничего не мог выговорить.

– Что теперь с ним делать?

Хашим зачерпнул горсть снега из сохранившегося в тени сугроба, обтер им окровавленное лицо дурачка.

– Давайте отнесем его в караулку. Потом вместе присмотрим за ним.

– Зачем в караулку? – Языкастая Галима уставилась на Хашима. – У него что, своего дома и отца нет? Ишмамат после возвращения ни разу не пришел повидаться с сыном, вот пусть теперь поухаживает за ним!

– И то правда!

– А кто его отвезет?

– Как это кто? Ты, Хашим. Ишмамат твой езнэ!

Хоть и не лежала душа Хашима к Ишмамату, не оставалось ничего другого, кроме как согласиться с женщинами.

* * *

Мирхайдаров обеспокоился: весть о происшествии с племенным быком разошлась по аулу, наверно, дойдет, обрастая всякими домыслами, и до районного руководства. Как это Камалетдинов до сих пор не позвонил? Дойдет до него, так может вызвать для объяснений, а то и приехать сюда. Лучше будет, если не приедет: полевые работы из-за медленного таяния снегов толком еще не развернулись, на ферме туго с кормами, телята запоносили, гибнут... Может быть, ему, Мирхайдарову, под каким-нибудь предлогом самому съездить в райцентр, зачем ждать вызова от Камалетдинова?

Народная мудрость гласит: коль замахнулся, так ударь, задумал дело, так исполни. Мирхайдаров направился к конюшне. Надо предупредить Хусаина, пусть подкормит лошадь, чтобы завтра ранним утром можно было выехать по затвердевшей ночью дороге. Не обнаружив Хусаина в караулке, прошел к лошадям. Ага, вон стоит Саврасый, сена в его кормушке достаточно. Услышав доносившиеся сверху голоса, Мирхайдаров полез по приставной лестни-

це к лазу на сеновал. Приостановился, когда оттуда уже отчетливо донесся басок Хусаина:

— Эх, ребята! Вы вот не верите, а Акбузат в самом деле летал. Он ведь был из потомства дуль-дулей и тулпаров. Наш Саврасый — той же породы. Когда он мчится галопом, где коснется земли копытом, где нет. Только пламя из ноздрей не пышет, как у тех.

— А почему он не летает?

— Разучились теперь лошади летать. Увлеклись подножным кормом. К тому же их кровь смешалась с кровью тарпанов. Ну, скрестились они, как случается и у волков с собаками.

— Тарпаны, значит, не летали?

— С чего бы им летать? Они же, как коровы, земные животные. А дуль-дули не только летали, но и по воде плавали. Вы знаете, что конина не замерзает?

— Да-да, слышали.

— То-то! Что конина, что гусятина — не замерзают, потому что кони раньше тоже водоплавающими были. И разговаривать умели!

— Во заливает!

Мирхайдаров узнал голос Галяутдина. И братец его Валяутдин здесь. Галяу — выпивоха, как бы и Хусаина не приучил выпивать!

— Хы! Стану я тебе заливать! — Это опять голос Хусаина. — Зря, что ли, в сказках рассказывается, что егеты советовались со своими конями? Тулпары были наделены ниспосланными с небес способностями.

— А как они летали?

— Организм у них был такой. Внутри — газ. С чего, думаешь, у них из ноздрей пламя било?

— Брось врать-то!

— Ничуть я не вру. Ты, братец, еще молод, мало чего знаешь. Не веришь, так поднеси горящую спичку к исходящему из тебя газу, увидишь, как он вспыхнет.

— А почему они теперь не разговаривают?

— Теперь-то? Люди подурнели. Считают себя умней всех. Иной всю жизнь на лошади ездит, и не то что ее послушать, в глаза ей ни разу не посмотрит!

— Тебе бы, Хусаин, книгу написать!

— Коль я примусь книгу писать, кто о том же Саврасом позаботится?

– Я, я за ним присмотрю! – отозвался Галяу вроде бы вполне искренне.

– Тебе доверить, так... – Послышалось, что Хусаин цыкнул слюной сквозь зубы. – Лошади запах водки не любят. Саврасый пьяных начальников на дух не переносит. Ладно еще наш нынешний председатель не пьет.

Мирхайдаров, удивленно слушавший трепотню обычно немногословного Хусаина, раз уж речь зашла о нем самом, кашлянул.

– Эй, Хусаин, где ты?

Над лазом показалась взлохмаченная голова. Мирхайдаров, может быть, впервые с явной симпатией посмотрел в веселое лицо уже отпустившего бороду и в то же время простодушного, как ребенок, конюха. Забавный, оказывается, человек этот Хусаин!

– Мне, кустым, завтра с утра надо выехать в Таулы. Приготовь лошадь... – Мирхайдаров не назвал Саврасого. Назовешь – Хусаин может взвиться: «Псем нужен Саврасый!» А так, если уйдешь, не расстроив его, сам сделает все, как надо.

* * *

Камалетдинов принял Мирхайдарова сразу же, без задержки в приемной.

– Хорошо, что приехал, а то я уже собирался выехать завтра в вашу сторону, – сказал он, пожав Азату руку и жестом пригласив присесть.

«Знает! – мелькнуло в голове Мирхайдарова. – Шило, в самом деле, в мешке не утаишь».

– К севу вы приступили, – продолжал Камалетдинов, – но почему так вяло? Шесть процентов за неделю?

– Почва еще сырая, на пашню не въехать.

– Ладно, пусть подсохнет. – Камалетдинов тронул перекидной календарь на столе. – От меня требуют отрапортовать о завершении сева к Первомаю, я должен требовать от вас...

– Сделаем! – заверил Мирхайдаров, хотя и знал, что к Первомаю еще не отсеются. – Как только земля подсохнет, будем работать в три смены. Семян у нас достаточно...

– Теперь по животноводству. В расчете на сто коров вы получили пятьдесят телят. Так?

— Что ж тут поделаешь, многие коровы яловыми оказались, — солгал Мирхайдаров. Телята-то у них рождаются, но насчет того, что трудно сохранить весь приплод, лучше было промолчать.

— Скоро у вас, я гляжу, коровы вообще перестанут телиться!

— Что уж вы так... До этого дело не дойдет.

— Дойдет, раз на единственного племенного быка с топором кидаются.

— Это... Это, Аюп Газизович, случайность.

— В социалистическом хозяйстве не должно быть случайностей. Преступник задержан?

На лбу Мирхайдарова выступил пот.

— Так ведь... идиот Шангарей кинулся.

— В каждом ауле найдется свой идиот! Это не оправдание!

— Кто же мог подумать... Сторож...

— Кто сторожит ферму?

— Хашим. Может, помните его, насчет конфискованной коровы к вам обращался. Человек, у которого жену волки съели.

— Тесть... Абдельахата?

— Он. Отец Мадины.

— Понятно... — Камалетдинов задумался. Почему сказал «понятно», он, по правде говоря, и сам не понял. Помнит Аюп Газизович этого человека. Помнит, что его семью, когда сам воевал, сильно обидели. И о том, что двое мальчишек у него пропали, знал. Постойте-ка, ведь об этих самых мальчишках было упомянуто в жалобе на Ихсанбая Муратова. Будто бы от него родила жена Хашима. Тогда Хашима никто ни в чем не заподозрил. Но не он ли сам избавился от чужих для него детей? Скажем, натравив на них дурачка, кинувшегося теперь с топором на быка?

— В каких отношениях Хашим с этим... названным тобой идиотом?

— Шангарей племянником ему приходится. Хашим жалел его, присматривал за ним, кормил.

— Хашим, кажется, вернулся в аул через год после войны?

— Да. Год пролежал в госпиталях. Он ведь в Берлине под развалинами остался.

– И спасли его союзники? – Камалетдинов встал, подошел к окну. – Что-то много темных пятен в его биографии получается. Теперь вот Абдельахат... Как там Мадина?

– Я предложил ей работу в клубе.

– Нельзя! Абдельахат под следствием. И с ее отцом придется разобраться. Направь на ферму.

– У нее маленький ребенок.

– Не у нее одной маленькие дети!

Камалетдинову представилась Мадина – гибкая, как лоза, мягонькие при пожатии руки...

– Знаю, почему молчишь, – сказал он, кашлянув. – Мадину предупреди, чтобы не отлучалась из аула. И пошли ее все же на ферму. Так будет лучше. Ее отцом займутся органы...

Когда Мирхайдаров поднялся, собираясь уйти, Камалетдинов спросил:

– Ты в столовую заглянул?

– Нет, прямиком сюда. А что?

– Закрыта она. Ремонт. Пошли, у меня пообедаешь.

– Да нет, – замялся Мирхайдаров, – я и так до дому доеду.

Он бывал у Камалетдиновых, а сейчас попытался отказаться от приглашения, вспомнив, как Малика сказала про него: «Этих приезжих из аула сразу можно отличить, от них навозом несет».

– Ладно, ладно, пусть лошадь отдохнет. Жиханур-агай накормит ее и напоит.

– А что килен скажет?

– Ее... Их нет дома. Дочка ведь у нас болеет. Малика сейчас в Москве, решила полечить ее там. Айда, а то мне неудобно, не раз гостеприимством Сарбиназ-енгэ пользовался.

Мирхайдаров, преодолев неловкость, последовал за Камалетдиновым.

* * *

После сватовства «Ишмухамета» прошло уже довольно много времени, а Рауза все еще не могла прийти в себя. Неожиданное предложение привело ее в замешательство. Растерялась Рауза. С одной стороны, посватался человек честь по чести, и сама она о замужестве меч-

тала. Калека, конечно, но что поделаешь, времена такие, вон девушки в соку и те сохнут в одиночестве. Все же есть талант у Раузы, третий раз за ее жизнь мужчина к ней постучался. Кому еще привалит такое счастье? Может быть, поэтому возгордилась она или же видная, что ни говори, должность стала тому причиной – нашла в себе силы, чтобы не ответить сразу согласием. «Постой, как тебя, Ишмухамет, – сказала она, – надо подумать». Да, именно так сказала. У нее, как-никак, есть сын, не лишне поговорить с ним, посоветоваться. А то, приняв на себя стороннее мужское хозяйство, может обидеть его. Хоть и говорят, что Хусаин только о лошадях думает, вон как близко к сердцу принял он ее отношения с Сибагатом, загоревал после его смерти и даже разговаривать с матерью по-русски на некоторое время перестал. Поэтому на сей раз решила Рауза не спешить. К тому же ее надежды на Хашима не успели оборваться. Тот все еще, смущая ее душу, ходит неженатым. Обрек себя, видите ли, на лебединую верность. Подумав и о нем, сказала Рауза «Ишмухамету»: «Давай отложим этот разговор до осени». Потом загрустила. На дворе – весна. Ее мать, бывало, говорила: «Весной даже в щепочке кровь играет». А Рауза ведь живой человек. И почему это она, оттолкнув готового на все жениха, должна ночами лежать одна-одинешенька, слушая волчий вой?

Когда шла Рауза, погруженная в думы обо всем этом, из лавки домой, встретился ей Галяу.

– Слышала, Рауза-апай, новость? – спросил он заискивающим из-за неоплаченного до сих пор долга голосом.

– Какую новость?

– Шангарей угодил на рога Гифрита. Лежит весь израненный.

– Ах-ах! Где он сейчас?

– Дома. Хашим-агай домой его привез. Оттуда иду. Состояние у бедняги тяжелое.

– Ах-ах!

Галяу отправился дальше своей дорогой, Рауза затопталась на месте, не зная, как быть. Ишмухамет сам калека, а теперь еще и Шангарей, божий человек... Им помощь нужна. Если она, Рауза, откажется, кто за двумя калеками согласится ухаживать? Пойти, что ли, к ним? Она глянула по сторонам, как бы выискивая кого-нибудь, с кем можно посоветоваться. Хоть бы Хусаин появился!

Нет никого. Ладно, будь что будет! Придя к твердому решению, Рауза пошагала к шестистенному, под четырехскатной крышей, дому Ишмамата.

* * *

Только было Мадина с отцом сели за утренний чай, как за окном показалась торопливо идущая к ним Магинур.

– Рано сегодня наша соседка... – обронил Хашим.

Мадина ничего не успела сказать – Магинур уже вошла в избу.

– Айда, соседка, отведай с нами благословенной утренней пищи, – сказал Хашим, придвигая к нарам табуретку.

– Уй, я не за этим... Апа* ваш... не встает! – Магинур прикрыла рот уголком платка.

– Апа? Не встает?! – Мадина вскочила с места. Она все поняла: некоторые пожилые люди, помня древний суеверный обычай не говорить о смерти напрямую, сообщают о ней вот так, иносказательно.

Хашим, обуваясь, попытался успокоить ее.

– Ты сядь. И не ходи туда. Тебе нельзя волноваться – кормишь ребенка.

Вскоре после того, как отец и Магинур ушли, к соседнему дому потянулся народ. Мадина видела в окно, что несколько мужчин пришли с лопатами и ломами.

– Апа умер! Вчера только ходил по двору!

Вон и отец пошел на кладбище копать могилу. А ей нельзя даже зайти проститься с покойным... Уф! Ладно хоть Магинур-инэй опять к ней идет.

– Мадина! Покинул нас твой апа, Мадина!..

Обняв худенькое тело названой матери, Мадина тоже заплакала. Вот жил рядом тихий, небольшого росточка человек с улыбчивыми глазами, был немного загадочной, но доброй частью ее мира и нет его теперь.

– Только ты у меня и осталась, – сказала Магинур и, осушив слезы уголком платка, присела на край нар. –

---

*В некоторых диалектах башкирского языка слово «апа» соответствует слову «агай», то есть означает старшего брата или старшего по возрасту мужчину.

К возвращению копающих могилу надо приготовить обед. Ты замеси тесто, нарежь лапшу.

– Мне к вам пойти?

– Нет! Сказал же тебе отец. Матери младенца в дом, из которого вынесут покойника... Нет, нет, нельзя! Тут, у себя, этим займешься. Я вот муку и яички принесла. Ладно уж, туда-сюда побегаю. Что поделаешь, вслед за покойным в могилу не ляжешь. Бедняжка мой! Святой был человек. В пятницу в землю уходит. И ей ведь такие нужны...

С уходом соседки Мадина, надев фартук, замесила тесто. Мать говорила ей: «Если хорошо промесишь, лапша в казане не разварится». Старается Мадина делать все основательно, как мама учила... «Атак! – удивилась она, глянув в окно. – Милиционеры! Что им тут...»

– Можно? Хашим здесь живет?

– Здесь.

Вошли двое: один средних лет, другой – молодой.

– Здравствуйте, – сказал молодой.

– Здравствуйте.

– Вы ему кто?

– Дочь.

– А отец...

– Он на кладбище.

– Как то есть на кладбище?

– Сосед умер. Могилу для него там копают.

– А-а... Тогда, пока он вернется, придется задать пару вопросов тебе.

– Хоть пять...

Старший из милиционеров сел на табурет, достал из полевой сумки бумагу и карандаш. Мадина поняла, что будет официальный допрос.

– Вам, чтобы писать протокол, наверно, стол нужен? – спросила она и перенесла доску для раскатывания теста со стола на нары. Милиционеров, наверно, немного удивило, что молодая женщина ничуть не смутилась. А Мадина, конечно, внутренне напряглась, но старалась выглядеть спокойной. Ее уже допрашивали в Москве, она представляла, что примерно дальше последует. – Скоро мужчины вернутся с кладбища, к их приходу надо обед приготовить, поэтому я заодно лапшу буду резать и отвечать на ваши вопросы, – добавила она.

– Вы одна здесь с отцом живете? – Старший милиционер опять перешел на «вы».

Вопросов у него оказалось отнюдь не пара. Мадина подрастерялась, когда допрос коснулся гибели ее братишек. Надо сказать о фуражке с сандаликом или нет? Пожалуй, надо. Может быть, милиция уже располагает какими-нибудь сведениями насчет мальчиков...

Вовсе уж обеспокоил Мадину вопрос о том, кем приходится ее отцу Шангарей.

– Да никем! – обозлилась она. – Просто наш отец... такой человек.

– Какой?

– Добрый, людей жалеет...

– Вы его дочь, поэтому, наверно, так его оцениваете.

– Я его дочь, поэтому знаю его. И говорю то, что знаю.

– С вашей матерью он дружно жил?

– А это зачем вам знать?

– Мы все должны знать.

– Уж сколько лет, как мама... умерла!

– Вы помните, когда ваш отец ушел на фронт?

– Насчет этого вам военкомат даст сведения поточней. А, вон отец сам идет!

...Хашим сразу догадался: милиционеры приехали за ним. Вчера Мирхайдаров отстранил его от работы на ферме. Был он хмурый, ничего не объяснил. И сам Хашим, придя ночевать домой, ничего удивленной Мадине объяснить не мог. Сказал только, что председатель отправил его отдыхать.

В течение почти всей минувшей ночи Хашим не сомкнул глаз, строил догадки. Никакой вины за собой он не чувствовал. Разве лишь в истории с быком могут его обвинить: пригрел Шангарея на ферме, не доглядел за ним. Но, предположим, история эта в каком-нибудь перевернутом виде дошла до райотдела НКВД. Там могли расценить ее как попытку совершить вредительство. Куда смотрел сторож? А не сам ли он все это и подстроил? Попытка зарубить колхозного племенного быка – дело нешуточное. Времена ныне строгие, не так еще давно людей сажали в тюрьму за горстку прихваченного с колхозного поля зерна. Мирхайдаров побывал в райцентре, там ему, скажем так, посоветовали отстранить сторожа на

время разбирательства от должности, а то еще повторит попытку... Чушь это, конечно, но всякое могло прийти в голову энкавэдэшников.

Подумал Хашим и о том, что эта неприятность, возможно, связана с арестом его зятя Абдельахата. Еще до войны, общаясь с городской шантрапой, слышал он приглушенные разговоры об арестах врагов народа. Арестовывали не только их самих, но и их родственников и свойственников. Может быть, и сейчас повторяется то же самое. «А, чему бывать, того не миновать», — решил он в конце концов. Только бы Мадину с ребенком не трогали, а сам он попадал в положения и похуже... Эта мысль его успокоила.

И теперь он повел себя спокойно. Войдя в избу, обратился сначала к дочери:

— Ну, место для упокоения апы готово. Земля ему пухом! — Затем — к милиционерам: — Вы... ко мне?

— Вы догадливы. Сразу видно: человек бывалый, — ответил старший из милиционеров. В его голосе послышалась уважительная нотка. Похоже, невозмутимый вид Хашима пришелся ему по душе.

Хашим неторопливо снял обувь, сел напротив незваных гостей.

— Сколь бы человек ни повидал в своей жизни, все равно она не перестает удивлять, — сказал он, окидывая милиционеров взглядом. Младший из них только мельком посмотрел на него и опять восхищенно уставился на Мадину. Бедняга раскрыл и забыл закрыть рот. Хашим решил пошутить: — Кустым, как бы тебе в рот воробей не залетел!

Парень, растерявшись, вскочил.

— Никак нет, не залетит!

Все рассмеялись. Старший милиционер, как бы извиняясь за спутника, пояснил:

— Он недавно из армии, только с прошлой недели у нас.

— Тоже сразу видно, — сказал Хашим и добавил, посерьезнев: — Может, продолжим разговор там, на месте? Тут... тесно и ребенок маленький...

— Что ж... Только надо поторопиться, путь неблизкий...

— Я сейчас... Мадина, мне понадобится сменное белье... Корова на днях отелится... ну, ты знаешь, что делать...

– Отец!..

– Успокойся, дочка! – Хашим приоткрыл занавеску колыбели, посмотрел на малыша. – Давай договоримся: мой внук должен сосать не горькие слезы, а сладкое молоко. Биктимер с Янтимером насосались слез, хватит с нас этого. Не горюй, не жалей меня: старому дереву все равно, когда оно упадет...

«Старое дерево»! Он еще только свой пятый десяток начал отсчитывать!

Мадина вышла проводить отца на улицу. Как выдержало бы это ее сердце, если бы она точно так же не пережила уже расставание с Абдельахатом?!

– Отец! – вскрикнула она опять, когда повозка с тремя мужчинами тронулась с места.

– Мы же договорились!

* * *

Скитаясь в поисках пищи, Кукбуре поднялась на гребень Куктау. С горы был виден аул. Издали темные строения казались небольшими, как ульи на пасеке. Кукбуре коротко взвыла и легла, положив морду на согретый солнцем камень. Не раз добегала она до аула, побывала и на своем прежнем дворе. Там пахло гарью. Нашла место, где были закопаны тела мальчонок, которых она загрызла. Хотела было откопать их, но слишком уж неприятный запах исходил из земли.

Урона аульным хозяйствам Кукбуре не наносила. Лишь однажды поживилась у речки гусем, утолила голод. И сегодня она была голодна. Поймала утром зайчонка, да разве это добыча?! По языку, можно сказать, размазалось, до глотки не дошло. Пока был жив Бывалый, не испытывала Кукбуре такой нужды в пище. Но нет его теперь. Их территорией завладел Белолобый. Он жесток, не то что его отец. И вообще волчьи законы беспощадны. В том году, когда Кукбуре пришла за Бывалым в лес, одна волчица осталась без пары. Стая ее отторгла. С разумом волчицы что-то стряслось: выла дни и ночи напролет без видимой причины. Повыла, повыла и сдохла.

Наверно, такая же участь ждет и ее, Кукбуре. Или голод ее доконает. На стадо напасть она не решится и не только потому, что боится пастухов: выросла среди дво-

ровой живности, помнит категорический запрет нападать на домашних животных. Для Бывалого запретов не существовало. Но его нет. Уже и кости его укрыла трава.

Кукбуре встала, решила спуститься к ручью, полакать воды: может быть, это ослабит чувство голода. Пробираясь среди чилижника и высоких цветущих трав, она уловила удивительно знакомый запах. Ткнулась туда-сюда, обнаружила оборванное растение, которое, казалось, было все пропитано этим запахом. И словно прозвучал в ушах ласковый голос: «Кукбуре!», вернул ее в то далекое время, когда она была еще щенком, напомнил о руке, гладившей ее. Кукбуре заскулила, ей захотелось вновь ощутить прикосновение этой руки. Запутавшийся среди трав знакомый запах вывел ее на отчетливые следы, оставленные прошедшим здесь не так давно человеком, и Кукбуре побежала, обрадованно принюхиваясь к ним.

* * *

Из трехдневного похода за лекарственными травами Фаузия вернулась сильно уставшей. Пес Карабаш встретил ее на подходе к дому. Выразив радость несколькими прыжками около нее, он ухватил зубами набитый травами мешок, потащил в свой двор.

Фаузия жила теперь в доме Муглифы. Соседей это особо не удивило. Умерла старуха-знахарка, вместо нее прижилась другая, вроде бы дальняя родственница покойной. Она и раньше здесь появлялась. Приезжая в Таулы на базар, Фаузия навещала Муглифу. У них были общие интересы: делились знахарскими секретами и знаниями о целебных свойствах трав...

Дома и во дворе все было в порядке. Куры снесли довольно много яиц, старая Пеструшка уселась высиживать цыплят. Коза с двумя козлятами лежали на завалинке, жевали свою жвачку.

Фаузия, уходя куда-нибудь, не запирает дом, поручает его охрану Карабашу. Посетителей Карабаш пропускает к хозяйке беспрепятственно, а когда ее нет дома, рычанием предупреждает, что входить во двор нельзя. Пес, как бы ни проголодался, без разрешения ничего не трогает. И то, как Карабаш пришел к ней, и верную его

службу Фаузия считает проявлением божьей помощи ей. Пес, кажется, все понимает, только разговаривать ему не дано. Поэтому она, вернувшись, первым делом развела огонь в летней печурке во дворе и сварила еду для своего помощника. Затем разложила собранные травы в тени для просушки и вновь поставила бронзовый казанок на огонь, чтобы вскипятить воду для себя, утолить жажду чаем.

Ее поход был удачен, сделала все, как нужно. Ведь к каждому растению нужен особый подход. Одни из них положено срывать, когда они спят, другие – когда высохнет роса. При этом Фаузия строго соблюдает ритуал: сначала просит у растения разрешения сорвать его, произносит краткую молитву; сорвав, не забывает сказать спасибо. Так собирала травы ее бабушка. Фаузия помнит и ее слова, и каждое движение.

«Нельзя срывать травы со злым умыслом, – наставляла бабушка, – только от сорванных с добрым намерением будет польза человеку». Помнит Фаузия ее наставления, но однажды использовала силу травы для того, чтобы оборвать человеческую жизнь. Ах, Дингезхан! Дингезхан-Сибагат! Не сменой ли данного родителями имени объясняется такая твоя бесталанность? Но ведь и сама она давно уж не Барсынбика. Может быть, Всевышний послал эти смутные времена для испытания людей, или же сами люди, не ведая, что творят, вмешались в Божьи дела?

Вода в казанке вскипела. Фаузия кинула в кипяток листья смородины, земляники, ежевики. Они снимут усталость, вернут ей бодрость. Карабаш, съев свое варево, растянулся напротив хозяйки. Дескать, и он с ней почаевничает, безмолвно побеседует с ней.

Скрипнула калитка. Фаузия обернулась посмотреть, кто пришел, но не разглядела: зрение у нее после пожара ослабло. Собака насторожилась, однако не залаяла.

– Инэй, можно к вам?

– Проходи. Откуда ты?

– Из Тиряклов. – Молодая женщина осторожно приблизилась к столику у летнего очага, возле которого сидела Фаузия. – Я, инэй, с гостинцами, масло, сметану, корот принесла.

– Что ж, очень кстати. Я как раз собралась жажду утолить. Сходи в дом, принеси себе чашку с блюдцем, ложку, вместе чаю попьем...

Фаузия села поудобней, вытянув ноги. Потерла левую ногу: ныла нестерпимо. Тем временем молодая женщина принесла, что было велено, поставила на поднос.

– Присаживайся рядом. Из Тиряклов, говоришь?

– Да.

– Доярка, значит.

– Да. А как ты, инэй, догадалась?

Фаузия усмехнулась.

– От доярок колхозной фермы силосом попахивает. Неужто ты этого не знаешь?

– Атак! Не замечала...

– Звать тебя как?

– Галимой.

– Галимой?!

– Не то уж, инэй, ты меня знаешь?

– Нет, – прикинулась Фаузия. – Так, от приходящих ко мне людей о тиряклинцах слышала. И кое с кем знакома.

Галиму-то она узнала, а Галима ее – нет. Пожар сказался и на облике Фаузии. Замешкалась она, когда дом загорелся, на обожженном лице кожу слегка стянуло, и голос изменился – наглоталась горячего воздуха.

– Что нового там у вас? Как Хашим поживает?

– Уй! Арестовали его!

– Арестовали? За что?

– Не знаю. Может, из-за дурачка Шангарея. В ауле разные разговоры ходят. Не слышала ты о двух пропавших мальчишках? Будто бы жена Хашима их от человека по имени Ихсанбай родила, а Хашим, когда с войны вернулся, мальчишек убил и трупы в болоте утопил. Рауза-продавщица так говорит. Да, бывший наш председатель колхоза Ишмамат ведь вернулся. Рауза за него замуж вышла. Слух об убийстве мальчишек то ли от Ишмамата, то ли от самой Раузы пошел...

Галиме и в голову не приходило, что старуха, слушая ее, не чай – огонь глотает.

– Интересный у нас аул, – увлеченно продолжала Галима. – Есть одна такая, Мадиной звать. Ровесница моя. Мы даже подружками были. Она вообразила себя не знай кем, выскочила замуж за начальника из района; уехала

с ним в Москву и на тебе, вернулась. А куда было ей деться? Собака и та возвращается туда, где ее кормили...

— А почему она вернулась?

— Мужа арестовали. Думала, за большого человека замуж вышла, а он не больно-то большим оказался!

— Беда, говорят, не по верхушкам деревьев — по человеческим головам ходит... — Стенала душа у Фаузии, но она старалась держать себя в руках. — Какая у тебя нужда ко мне?

Галима спохватилась, вспомнила, зачем пришла.

— Уф, инэй! Я ведь передовая доярка! На карточку меня тут сняли, ее перед райкомом повесят.

— Очень хорошо.

— Было хорошо, но если эту вернувшуюся из Москвы Мадину на ферме коров доить поставят...

— Думаешь, твоих коров ей отдадут?

— Моих коров? Ей?! — Галима сложила красные, огрубевшие, как у всех доярок, пальцы в кукиш. — Вот ей!

— Так что же тебя беспокоит? Человек, кто бы он ни был, должен где-то работать.

— Пускай работает! Только не на ферме!

— Не понимаю...

— Ну, инэй, она же, эта Мадина, красивая. Стоит мужчине на нее взглянуть — сразу влюбится!

— Ну и что?

— Как ну и что? Любой завфермой ее в передовики выведет. Если не завфермой, так районные начальники. В депутаты выдвинут, орденом наградят... — Галима, вывернув подол платья, вытерла повлажневшие глаза и нос. — Ты, инэй, поворожи, придет Мадина на ферму или нет?

— Что еще?

— Еще... Не буду от тебя скрывать, инэй. Саяф... завфермой твердит, что любит меня. С женой, говорит, разведусь, на тебе, говорит, женюсь. Правда ли это?

Фаузия задумалась. Нахлынули вихрем, закружились мысли об Ихсанбае, о мальчиках Гульбану, о Мадине. Она долго молчала, так долго, что угли в очаге подернулись пеплом и Галима обеспокоилась — ей еще предстояло вернуться в Тиряклы.

— Почему молчишь, инэй? Мне так и уехать, ничего не скажешь?

— А? Да-да, поезжай. Я не ворожея, только лечу людей травами. А все же скажу тебе вот что: не строй козни против других, лучше думай о здоровье своего единственного ребенка!

— А откуда ты...

— Знаю, что есть у тебя дочь, что отцом ее ты записала человека, не имеющего к ней никакого отношения. Это нехорошо. Ребенок должен носить фамилию своего отца.

— Ах-ах, что же мне теперь делать?

— Смотри сама. Вместо того, чтобы искать себе горести там, где их нет, думай об этом.

— Тогда... прощай, инэй!

— Прощай!

Когда Галима ушла, Фаузия с трудом поднялась со скамеечки. Да, не столь утомляет человека дорога, сколь тяжкие думы. Направилась было в дом, хотела прилечь, но едва успела сделать несколько шагов, как Карабаш, страшно зарычав, кинулся к воротам.

— Фу, Карабаш, нельзя!

Из-за ворот послышалось ответное рычание.

— Чья еще там собака? Уймись, Карабаш! Атак!.. Это... Это же ты, Кукбуре!

Услышав голос хозяйки, Кукбуре бросилась к ней, на полпути припала к земле, поползла, виновато повизгивая, вскочила у ее ног, лизнула руку, лицо.

— Ты! Кукбуре! Откуда ты взялась?!

Ветром из прошлой жизни ворвалась Кукбуре в новый двор Фаузии, и у нее, давно разучившейся плакать, потекла по щекам солоноватая влага, защипала потрескавшиеся губы. Фаузия зажала голову собаки в ладонях, посмотрела ей в глаза. Удивительно: и из глаз Кукбуре катились слезы...

* * *

Камалетдинов протянул Лидии Николаевне ручку:

— Прошлый раз вы у меня ее забыли.

— Спасибо! А я обыскалась... Памятная для меня вещь.

— Я так и подумал. Знаете, когда я взял ее в руку, мне тоже вспомнилось... очень давнее...

— Что, если не секрет?

— Как ни удивительно, вспомнил вдруг, что я был в своей семье не единственным ребенком, была еще сестренка.

— В самом деле удивительно. Вам это до сих пор не вспоминалось?

— Нет. — Камалетдинов взволнованно прошелся по кабинету. — То, что мне пришлось пережить, могло отшибить память не только у ребенка, но и у взрослого.

— Значит, ручка... возбудила ваше подсознание.

— Возможно. Я в медицинских вопросах не силен. Послал запрос в республиканский архив, жду ответа... А вы сегодня ко мне по какому делу, товарищ Башкирцева? Кстати, интересная у вас фамилия, все собирался спросить...

— Качество пищи в больнице, особенно в психиатрическом отделении, никуда не годится. Прошу дать указание провести проверку. Это, собственно, все, ради чего я пришла. Что касается моей фамилии, дали мне ее в детском доме. Почему такую, сказать не могу. Может быть, потому, что я смуглая, решили таким образом обозначить мое происхождение. А записали русской.

— Выходит, вы тоже...

— Да, детдомовка. Когда исполнилось семь лет, меня взяла в свою семью медсестра Анастасия Павловна. У нее выросла. Окончила школу и институт. После войны отыскать приемных родителей не смогла. Перед началом войны они переехали в Ленинград, видимо, погибли во время блокады. В общем, положила букет цветов на братскую могилу и поехала в Уфу искать фронтовую подругу. Но и ее не нашла. Мне было все равно, где жить, получила назначение сюда...

— Вон оно как...

Человека не поймешь, пока не поговоришь с ним. Теперь характер Башкирцевой стал Камалетдинову понятней.

— Вы захаживайте ко мне, — добавил он по-дружески.

Женщина улыбнулась.

— Я уж, наверно, надоела вам своими просьбами.

— А вы, Лидия Николаевна, и просто так заходите. Мы ведь с вами как бы... однополчане.

— Пожалуй... — Уже взявшись за ручку двери, Башкирцева обернулась: — У меня, Аюп Газизович, возникло ощущение, что вам хотелось спросить еще о чем-то.

— Да. Как бы это правильней сказать... — Камалетдинов

подошел к окну, взглянул на свой дом. — У нас в семье проблема... Вам она известна.

— Что вы имеете в виду?

— Дочка... Флорида ночами не спит. Жена свозила ее в Москву, показала тамошним светилам. Никакой болезни не нашли.

— В медицине такие случаи зафиксированы. Объяснения нет. Могу дать лишь один совет: не расшатывайте организм девочки лекарствами. Со временем это само собой пройдет. Я Флориду осматривала. Красивый у вас ребенок.

— Спасибо!

— До свидания!

— До встречи!

Слова Лидии Николаевны Камалетдинова не успокоили, не уняли тревогу за дочь, возраставшую изо дня в день. Аюп Газизович почти физически ощущал, как стискивает его сердце безысходность.

Дверь кабинета приоткрылась, заглянула уборщица.

— Уй, я думала, на обед ушел.

— Заходи, заходи, Гульмарьям-апай!

— На улице грязно, если два раза за день не подтирать пол...

— Я же сказал: заходи. Подотри.

— Некоторые начальники не любят, чтобы прерывали их работу... — сказала Гульмарьям-апай, зашоркав по полу шваброй. — Говорили, килен уехала в Москву, не вернулась еще?

— Вернулась.

— Вот что я скажу, кустым: люди теперь чуть что — бегут в больницу. А мы, считай, без всяких больниц выросли.

— Не болели, наверно.

— Ни в кого железный сердечник не вставлен. Тоже болели. Кого мулла молитвой лечил, кого знахарки нашептываниями и снадобьями. И сейчас у нас в Таулах есть одна старуха, которая от какой угодно хвори излечит. Сходили бы с дочкой к ней.

— Мне, секретарю райкома, сходить к знахарке?!

— Будешь, Аюп-кустым, сидеть, оберегая авторитет, так дочки можете лишиться. Килен, жена твоя, уже не шибко молода, то ли родит еще, то ли нет... Ладно, извини. Я, старая, как думаю, так напрямик и говорю.

Аюп Газизович чуток рассердился на пожилую женщину, а все же потом, когда она ушла, завершив свою работу, задумался над тем, что она сказала. Может быть, не лишены смысла ее слова?

* * *

Хашим все же надеялся, что его допросят насчет происшествия на ферме и отпустят. Но его положение оказалось посложней, чем он думал. К истории с Гифритом добавились обстоятельства гибели Биктимера и Янтимера. Хашима посадили в камеру предварительного заключения, оттуда водили на допросы. Следователь Алимов, пожилой усатый мужчина, вел их дотошно.

– Вы кем приходитесь пропавшим мальчишкам, то есть Биктимеру с Янтимером?

– Как это кем? Отцом!

– Вы помните день, когда ушли на фронт? Так-так, помните... Согласно записи в актах гражданского состояния мальчики родились десять, да, десять месяцев спустя. Вам это известно?

– Известно.

– Как вы лично оцениваете это обстоятельство?

– Положительно.

– То есть?

– Я, например, нигде не записан. Живу со свидетельством о рождении умершего до меня ребенка.

– Как так?

– Мать с отцом решили обойтись без лишних хлопот. Ладно еще у Гульбану хватило ума записать детей через месяц после их рождения.

– У вас после возвращения с войны не было скандала с женой по этому поводу?

– Не было.

– И даже разговора?

– Не было.

– Что-то у вас все чересчур гладко шло.

– К тому времени, когда я вернулся, жена уже умерла.

– Ах да, извиняюсь! Каковы были ваши отношения с Ихсанбаем Муратовым?

– Говорят, право соседа – право Тенгри. Соседям положено уважать друг друга.

– А все же... Вот к нам поступило письмо, в нем сообщается, что вскоре после возвращения вы избили Муратова. В ауле ходили слухи, что близнецы родились от него. И в общем, ваши отношения с ним нельзя было назвать теплыми.

Хашим задумался. Он в самом деле чуть не задушил Ихсанбая, тот даже обмочился. Но никто, кроме Мадины, этого не видел, никого поблизости не было. Интересно получается!

– Слухи не могут служить доказательством. – Хашим, сам того не сознавая, перешел на язык закона. – Свидетелей избиения вы не найдете, значит, оснований для обвинения меня в этом нет.

– Так-так... Хозяйство Ихсанбая Муратова сгорело при странных обстоятельствах, и сам он с матерью погиб странным образом...

Хашим впервые за время этого допроса поднял взгляд на следователя.

– А есть у вас факты, подтверждающие смерть Ихсанбая и Фаузии Муратовых? Кто видел их трупы?

– Как, разве их не похоронили?

– Нет. До Тиряклов всего сорок километров, в любое время можете съездить, проверить...

Следователь устало обернулся к охраннику:

– На сегодня хватит. Уведите!

* * *

Камалетдинов шел домой, но все еще его осаждали мысли, связанные с работой. Сверху ежедневно торопят с севом. Как ни тужатся люди в колхозах, из-за нехватки рабочей и тягловой силы добиться желательных темпов сева не удается. Бывая на местах, видит Камалетдинов, как, живя на жидкой похлебке, старается народ, работает, туго затянув пояса, а там, наверху, ведут себя так, словно не знают об этом. Приходится Аюпу Газизовичу отделываться обещаниями: сделаем, слово сдержим! А дома встретит его Малика с недовольным лицом, начнет жаловаться: «Флорида сегодня опять не спала!» – как будто в том, что девочка родилась с каким-то отклонением, один Аюп виноват...

Он загасил окурок, зашел домой. Малика возилась на кухне. Лицо усталое, веки припухли от слез. Первое, что сказала:

– Эта девочка родилась, чтобы свести меня в могилу!

– Зачем ты так говоришь?!

– Еще спрашиваешь! Попробуй посидеть хоть сутки с ребенком, не дающим покоя ни ночью, ни днем!

– Хорошо, посижу. А ты вместо меня поработай.

– Один ты работаешь!

– Малика!

– Честное слово, кинусь я с ней с моста!

Камалетдинов и сам не успел сообразить, как в ярости замахнулся на жену.

– Еще раз... такое услышу!..

– Ай-й!

В соседней комнате, услышав вскрик матери, заплакала Флорида. Камалетдинов приостыл.

– Ребенка испугала!

– Уеду я, Аюп.

– Куда?

– Туда, где раньше жила.

– Не спеши, с этим еще успеется...

Взяв ребенка на руки, Аюп присел к столу.

– Ладно, прости, Малика. Сорвался. И на работе нервы все время натянуты, и... Когда стемнеет, сходим с доченькой к одной бабке-знахарке.

– К бабке?! Ты ли это говоришь?

– Я, я...

Поужинали молча. Прибрав на столе, Малика подошла к игравшему с дочкой мужу.

– Ты давеча... серьезно сказал?

– Насчет чего?

– Насчет бабки.

– Да. Одевайся, зайдем по пути к Гульмарьям-апай, узнаем, где эта бабка живет...

* * *

Фаузия не знала, как истолковать возвращение Кукбуре. Что это? Возвращение к ней, ну, не счастья, так удачи, что ли? Или же предвестие какой-нибудь новой беды? Карабаш поначалу никак не мог принять суку,

пришедшую из леса, потом снюхались, даже подружились. Уходили со двора куда-то вместе, уж не свадьбу ли справляют? У них-то отношения наладились, только у Фаузии душа не на месте: как бы урон соседям не нанесли. Раньше Кукбуре дворовую живность не трогала, а теперь, после того, как долго где-то пропадала, кто ее знает...

Да, неспокойно на душе у Фаузии. Вон ведь еще какие новости сообщила ей приехавшая из Тиряклов Галима! Значит, внучка, свет ее очей, вернулась в аул, и не одна – с ребенком. Каково ей сейчас без мужа и отца?

Может быть, проклятье, лишившее счастья Гульбану, отыскало теперь и Мадину? Отыскало и накинуло на ее грядущие дни, на предстоящие рассветы черное покрывало? Хватило бы уж и того, что лишилась Фаузия недавно сына. Ни душу его, ни тело не смогла она уберечь...

Той ночью, когда в доме вспыхнул пожар, Фаузия простояла какое-то время в оцепенении, потом схватила одеяло, пыталась погасить им огонь, но пока гасила в одном месте, пламя взвивалось в другом. Горящий керосин растекся по половицам, поджигал все, что могло загореться. Дом наполнялся удушливым дымом. Увидев, что горит одежда на бесчувственном Ихсанбае, Фаузия бросилась к нему, потащила, обернув одеялом, к выходу. А там уже горели дверные занавеси. Искры, сыпавшиеся с них, подожгли ее платье. Благо рядом с крыльцом, под водостоком, стояла бочка с водой. Облилась из нее, облила Ихсанбая. Уйти, бросив у огня человека, которого выносила под сердцем, не смогла. Потащила, задыхаясь, дальше. Куда? Просто подальше от этого проклятого места. Прочь, прочь от него! Тащила долго, пока не упала, потеряв сознание. А когда очнулась, мучимая жаждой, никого рядом не было.

Весь наступивший день она пробродила по лесу, обожженная, почти обезумевшая. Ее черное платье висело клочьями. Сняла его, бросила, осталась в белом исподнем, прогоревшем лишь в нескольких местах. Как теперь быть? Вернуться в аул, где ничего у нее не осталось, где перенесла столько страданий, где родной сын, признавшись в тройном убийстве, собрался выстрелить в нее? Одна лишь мысль об этом вызывала содрогание в серд-

це. Нет, нет! Она уйдет из Тиряклов. Пусть люди думают, что сгорела. А куда уйдет? В Таулы, к Муглифе...

Все же следующей ночью Фаузия пришла к пепелищу в надежде найти на ограде что-нибудь из висевшего на ней старья, чем могла бы прикрыться, защититься от ночного холода. Оказалось, уцелела скотная изба, а в ней – вся ее одежда. Подойдя к двери, замерла: кто-то шел по улице. Уф, кажется, дурачок Шангарей. Прошел мимо, вроде бы не заметил ее... Быстренько переоделась в избе, собрала в узелок самое необходимое из одежды, нашла припрятанные деньги и кое-какую припасенную впрок еду: несколько головок корота, сушеные ягоды. И ушла, простилась с проклятым аулом навсегда...

...С потолка, наращивая невидимую при тусклом, падавшем из очага свете паутинку, спускался к столу паучок. Заметив его, Фаузия удивилась. Если примета верна, к ней кто-то идет. Кому это могло прийти в голову на ночь глядя? Она теперь живет без лампы, встает вместе с солнцем и ложится спать после его заката. Так живут цветы: раскрываются утром, засыпают с заходом солнца...

А примета оказалась верной.

– Можно к вам?

– Ах! – Фаузия обернулась к входившим в дверь мужчине с ребенком на руках и следовавшей за ним женщине. – Собаки что-то не залаяли...

– Мы не видели собак.

– А, должно быть, куда-то убежали. Проходите. Ребенок спит? Не надо бы выносить его в сумерках...

Камалетдинов в полутьме осторожно прошел к нарам, позвал жену:

– Иди, Малика, сюда, сядь вот здесь... Почему, инэй, не надо в сумерках?

– Люди полные хозяева в этом мире только с восхода до захода солнца. В остальное время появляются иные существа.

Аюп усмехнулся:

– Мне ни с какими существами, кроме людей, не доводилось встречаться. Хотя ребята в детдоме всякие страшные истории рассказывали.

Фаузия помешала кочергой огонь в очаге, оббила головни, чтобы запылали ярче и свету прибавилось.

– Не все в мире можно увидеть и пощупать. Того, что

невидимо, больше... Впрочем, вы, партийные люди, в это не верите.

– Ты, инэй, знаешь меня?

– Видела несколько раз лишь издали, но наслышана... Что у вас с ребенком? Болеет?

– Не можем понять. Не спит дочка ночами. Кому только мать ее ни показывала, причину не находят. Может, ты, инэй, определишь...

– Давайте посмотрю на нее.

Камалетдинов положил дочь на нары, развернул одеяльце. Флорида открыла глаза и, видимо, испугавшись незнакомой обстановки, захныкала. Старуха провела ладонью по запотевшему оконному стеклу, увлажнила собранной там влагой ее лицо и шею, и девочка сразу успокоилась. Затем знахарка, пошептав что-то над ней, достала с полки пузырек, протянула Малике.

– Это травяной настой. Не бойтесь, он не причинит вреда. Я сама им пользуюсь, если долго не могу уснуть. Будете давать девочке каждый вечер по капле с чайной ложкой воды. Но это только для начала. Ты, килен, принесешь ее ко мне еще трижды. Днем. Добудьте немного олова. Надо исполнить обряд изгнания страха.

Камалетдинов давно, еще до войны, видел однажды, как исполняется этот обряд: над головой ребенка держат ковш с водой, в эту воду выливают расплавленное олово. В общем, чепуха какая-то. Он не выдержал, хмыкнул.

– Аюп! – Малика просительно притронулась к нему. – Посиди спокойно, просто выслушай... Бабушка, Флорида чего-то испугалась?

– Нет. Думаю, ее отец когда-то пережил очень сильный испуг, это передалось девочке. Сделаем, что я сказала, и сон у нее наладится.

– Спасибо, бабушка!

В глазах Малики засветилась надежда. Надежда, она ведь рядышком с печалью живет.

– Килен, ты еще придешь ко мне, а пока можешь выйти с ребенком. У меня есть маленькая просьба к твоему мужу...

Притворив дверь за Маликой, Фаузия села напротив Камалетдинова.

– Просьба у меня такая: к тебе обратится за помощью одна молодая женщина. Пожалуйста, помоги ей. Верь ее словам.

– Как ее звать?

– Она сама себя назовет. Поможешь? Я тебе тоже еще понадоблюсь...

– Ладно, помогу, насколько смогу. – Камалетдинов поднялся. – Секретарь райкома и знахарка... Неожиданный получается дуэт, а?

– Бог, сотворив воду, сотворил и ее противоположность – огонь...

– Я, инэй, в Бога не верю.

– А пришел ко мне.

– Ради ребенка... в растерянности...

– И я попросила тебя ради ребенка. Дитя – плод слаще меда, но, бывает, вызывает горечь горше полыни. Горечь эта надрывает сердце. Ну, прощай пока, Аюп-кустым.

– Прощай, инэй... Значит, наладится сон моей девочки?

– Наладится.

Когда Камалетдинов ушел, Фаузия посидела, глядя в темное окно. Думала о неожиданном посетителе. Что-то в его лице, какие-то черты показались ей издавна знакомыми. Как будто не раз видела его очень-очень давно. Или не его самого, а человека, похожего на него.

Легла, положив под голову думку. Напрягла память: где видела? Память молчала... Потом ей показалось, что подушка зашевелилась, заскользила... Это еще что? Сердце у нее замерло, сознание подсказало: она не Фаузия, а Барсынбика, и под головой у нее не думка, а свернувшаяся кольцом черная змея. Приподняла бы голову, да страшно, обеспокоенная тварь может ужалить, но и лежать на змее она ведь не может! Со страха в горле пересохло, кожу прошиб холодный пот. Уф! Как это она забыла заклинание против змей? Помнила же, когда собирала траву... Пытаясь подавить страх, Фаузия открыла глаза. За окнами светало. Ах, оказывается, это был сон! Никакой змеи нет, под головой – обыкновенная подушечка. Странный однако приснился ей сон.

Фаузия встала, вышла, взяв кумган, во двор совершить омовение. Подумала, что после утреннего намаза надо будет подать кому-нибудь из нуждающихся милостыню в угоду духам предков семи колен. А в утренней молитве она попросит у Всевышнего защиты Мадине с ее младенцем, Сабиле с ее ребенком, а также Хашиму

и благословения всем родившимся и еще не родившимся потомкам.

* * *

Сабиля набралась решимости зайти в дом, чтобы повидать своего ребенка. Дядя не терпит ее появления там, но стосковалась она по сыну до крайности. Стирает ли, дрова колет или ухаживает за скотом — все время сыночек перед глазами. Поцеловать его в синие глазки, ощутить его тепло, прижав хоть ненадолго к груди — хватило бы этого Сабиле, больше ничего и не надо.

Дождавшись ухода Лукмана на работу, зашла. Ударил в ноздри запах пекущегося в печи пирога. Услышав хлопок двери, из кухни вышла Рашида-енгэ.

— Сабиля?! Что тебе нужно?

— Ничего... — Сабиля растерялась. — Все хорошо... Я только на Абубакира посмотреть...

Енгэ встала перед ней, словно бы стараясь заслонить своей дородной фигурой внутренность дома.

— Не понимаю, зачем тебе на него смотреть?

Сабиля растерялась еще больше, еле выговорила:

— Соскучилась... Вы совсем перестали показывать его мне...

— Вот как? А ты не подумала о том, сколько всякой заразы приносят к тебе с больничным бельем? Хочешь Абубакира заразить?

— Я в чистое переоделась.

— Насчет Абубакира можешь поговорить только с Лукманом Талиповичем. Меня впредь по этому вопросу не беспокой. Ясно?

Енгэ распахнула дверь, и Сабиле не осталось ничего другого, кроме как уйти.

* * *

Ухаживая за Шангареем, занимаясь и множеством прочих дел, Рауза давненько не виделась с сыном. Никогда доныне не была она так занята. Теперь ведь на ней два хозяйства. Проводя большую часть свободного от работы в лавке времени в доме Ишмамата, она заботится

и о том, чтобы свой дом не остыл и не было Хусаину невесело, если нет-нет да заглянет туда. Раз вышла замуж, надо, конечно, прежде всего обхаживать мужа. Сколько сил пришлось потратить, выгребая грязь из его запущенного дома! Сестер на подмогу не позвала: умрет Рауза, но не повторит ошибку первой жены Ишмамата. Как ни маялась, все же одна навела блеск в его хозяйстве. Перетащила к нему свое приготовленное, как говорится, еще во времена Ноя приданое: палас, тюфяк, стеганое одеяло, две подушки, занавески. Заметил это Ишмамат, нет ли – сама удовлетворена, исполнила то, что предусмотрено обычаем при переезде невесты в дом мужа.

Теперь вот, вспомнив о сыне, решила до того, как позовет соседей на чай, сходить к нему, поговорить. Собрала в узелок снедь – хлеб, сметану, сласти – и направилась к конюшне. Направиться-то направилась, да дойти до нее, оказалось, не просто. Люди не очень-то считаются с тем, что ты человек занятой. То и дело останавливали Раузу встречные, затевали тары-бары:

– Что-то редко показываешься, Рауза, в последнее время.

– Атак-атак! – удивлялась она. – Как же показываться? Думаешь, легко мужа обхаживать? Я ведь еще и на государственной работе.

– Значит, это правда, что ты замуж за Ишмухамета вышла?

– Еще бы не правда! Не достоин, что ли, Ишмухамет того, чтобы за него выйти? Не каждой такой мужчина достается!

– Хы, пожалуй... Вы уж Шангарея не обижайте, он ведь Божий человек.

– С чего я мужнина сына обижу? Я, чай, мать, вон и своего вырастила!

Шла Рауза вот так, отвечая на вопросы любопытствующих, а тех, кто норовил пройти мимо просто поздоровавшись, и сама не жаловала, лишь сухо кивала в ответ. И тогда ей бросали:

– Никак загордилась ты, Рауза?

Или:

– Заважничала, хорошо, видать, живется замужем...

Слыша такие слова, главным образом, от овдовевших

женщин либо старых дев, Рауза не упускала случая кольнуть в ответ:

– Во времена нехватки мужчин жить замужем, конечно, неплохо, да не всем удается выйти замуж. Богатым, как говорится, жир мешает, бедным худоба. Я, слава Аллаху, ни лицом, ни телом не обделена. И собака ведь на голую кость не кинется...

Наконец, дошла Рауза до конюшни. Войдя в караулку, место обитания сына, ужаснулась. Кругом грязь, на покосившемся ящике – немытые плошки-ложки, засохшие огрызки хлеба. «Бедняга! – Рауза вытерла рукавом затуманившие взор слезы. – Господи, почему мой сын уродился таким? В назидание другим, что ли? Два идиота на одну мою головушку! Там Шангарей, тут Хусаин. Тоже недалеко от Шангарея ушел...»

Не успели еще высохнуть слезы Раузы, когда в караулку вошел Хусаин.

– Уй, сынок, – вскинулась Рауза, – как ты тут терпишь? Почему домой не приходишь?

– Времени нет.

– Куда оно, время твое, делось?

– После сева – сабантуй. Надо коней к скачкам готовить. Саврасого – к районному сабантую. Перседателю, – слово «председатель» Хусаин произнес на аульный манер, – я сегодня сказал: все, скакунов больше запрягать не дам!

– Хусаин, хоть бы спросил, как мать живет. Пока не умерла от тоски в одиночестве, мать вышла замуж, а ты даже об этом не знаешь.

– Поесть не принесла?

– Вот, принесла... Что ж не спросишь, за кого вышла?

– Саврасого и самому перседателю не дам. Пускай на Таштуяке ездит. Тоже резвый конь, только для скачек не годится. Быстро устает.

– Я тебе – «а», а ты мне – «б»!

– Коней надо каждый день тренировать. Мальчишек подобрал, сперва их поучу. Только тогда, когда к душе коня своей прикипишь...

– Не человек ты, Хусаин! – Обиженная Рауза ушла, громыхнув в сердцах дверью.

Идет домой, из глаз слезы катятся. Шепчут припухшие от слез губы: «Аллах мой, неужели не было побли-

зости от тебя другой женщины, кроме меня, чтобы назначить матерью этого твоего создания?!»

* * *

Проходил день за днем, и надежда Мадины на то, что отца отпустят, таяла. Ее беспокойство передалось ребенку, Даут стал капризничать, чаще плакать. А тут еще вымя у коровы набухло, вот-вот отелится, – Мадина старалась не спускать с нее глаз. И земля под картошку не вскопана. Вскапывала Мадина урывками, пока ребенок спал, да много ли так одна наработаешь?

А в природе, дождавшейся тепла, все буйно зазеленело, зацвело. От аромата цветущей у речки черемухи может закружиться голова. Мадина и туда успевала сбегать за водой. Луг запестрел цветами одуванчика, будто рассыпали по нему жаркие огоньки. Красиво – глаз не отвести. Эх, был бы рядом Абдельахат, наверно, побежали бы по этому лугу, радостно смеясь, и присоединили свои голоса к голосу кукушки, отсчитывающей года в молодом березняке. И Даут бы не капризничал: озарилось бы его младенчество счастьем отца с матерью. Но сейчас это лишь мечты. Болит у Мадины сердце, и ноет все тело, отвыкшее за два года от тяжелой работы, рукоятка лопаты натерла ее ладони до кровавых мозолей. Ночами в короткие промежутки, когда ребенок спит, закрывает Мадина глаза, надеясь увидеть Абдельахата во сне, но едва он приснится, как будит ее плач Даута...

Хоть и тяжело было на душе, при отце Мадина старалась не поддаваться унынию. Почему его не отпускают? Из-за нападения Шангарея на быка, что ли, держат? Но ведь с Гифритом ничего не случилось. Вчера видела его Мадина, когда перегоняли колхозное стадо в летний лагерь. Жив-здоров, шел, сотрясая воздух ревом, напоминая коровам, кто в стаде хозяин.

Убедившись, что малыш заснул, Мадина собралась было выйти во двор, но пришла соседка Магинур.

– Дома места себе не найду, хожу и хожу к тебе... Корова твоя в дальний конец аула убрела, зашла сказать, чтобы в другом месте не искала.

– В стадо я ее не выгнала, боюсь, как бы на пастбище не отелилась, а тут сено кончилось...

– В той стороне травы много, луг ведь там заливной, вот и побрела, туда. Огород, я гляжу, ты еще не весь вскопала?

– Я как раз собралась покопать. Может, посидишь, инэй, возле ребенка?

– А зачем я вязанье прихватила? Иди, поработай.

Магинур взобралась на нары, села, подобрав ноги под себя, а Мадина – ей хоть разорвись – торопливо вышла из избы.

* * *

Когда Рауза ушла на работу, Ихсанбай облегченно вздохнул. Достала уже его эта старуха, стрекочет и стрекочет, как сорока. Сама-то она старухой себя не считает, изображает молодуху. Колечки дешевые, платочки носовые раздает тем, кто помоложе, дескать, по обычаю невеста, выйдя замуж, должна одарить окружающих. Откровенно говоря, Ихсанбая в постель с ней не тянет. Сабиля, хоть была и некрасивая, постная, согревала горячим дыханием, возбуждала его плоть, а эти полтора центнера мяса... Хорошо, что он сразу приучил Раузу спать отдельно. Сам спит в боковой комнате, заперев дверь. А то еще она войдет, а он во сне, в бреду проговорится, выдаст себя.

С удовольствием вдыхая свежий утренний воздух, Ихсанбай вышел на задворки. Хозяйственный был мужик Ишмамат. Половину просторного огорода засевал медоносами, пчел держал – стоят теперь сиротливо пустые ульи. Часть забора упала – не было в последние годы пригляда за хозяйством. Несмотря на инвалидность, сила у Ихсанбая еще есть, упавший забор может одной рукой поднять. Надо как-нибудь заняться им, привести в порядок.

Поднявшись на навозную кучу, Ихсанбай поглядел вокруг. Аул жил утренней жизнью, всюду дымили печные трубы, на огородах копошились люди, усердно вскапывали землю. Бросил Ихсанбай взгляд и на далекую вершину Куктау. От воспоминания о пережитом там одиночестве и заброшенности сердце похолодело. Нет, такое не должно повториться, Ихсанбай сделает все, чтобы оставшуюся жизнь прожить в достатке и довольстве.

Кое-что для этого он уже предпринял. Съездил благополучно в военкомат, заодно сунул в почтовый ящик кое-как накарябанное, адресованное прокуратуре письмо без подписи. Донос на Хашима. И вон как повернулось колесо жизни! Теперь внимание аула приковано не к вернувшемуся неожиданно, будто свалившемуся с неба Ишмухамету, а к оказавшемуся преступником Хашиму. Хватит ему ходить в святых, и так уж отведал отпущенного щедрой рукой счастья. Мало того, что женился на девушке, до которой нос у него не дорос, так еще ходил, задрав голову, в отцах редкостной красавицы. Ничего... сломаем и оставшуюся без опоры Мадину. Дайте только Ихсанбаю как следует окрепнуть.

К слову сказать, питаться ему надо бы получше. Прежде он неплохо жил, в самые голодные годы не переводилось у них мясо и молочного было вдоволь. А там, в пещере, вовсе к одному мясу привык. Теперь он оказался в положении волка, вынужденного довольствоваться жидкой похлебкой. Старуха Рауза от одного лишь чая толстеет. Все чай да чай на столе. Пока она не появилась в доме, Ихсанбай пару забредших к нему куриц ощипал. А дальше как жить?

Сойдя с навозной кучи, он поковылял к дому. Ах, черт побери! Во двор забрела чья-то корова. Похожа на их бывшую Пеструшку: растопыренные рога, длинный хвост. Брюхо раздуто: то ли такая жирная, то ли стельная. Корова постояла, как бы раздумывая, вернуться на улицу или пройти дальше по двору. Шумно вздохнув, направилась в тень, под навес у сарая. В Ихсанбае вдруг пробудился хищнический инстинкт. Торопливо запер ворота, подпер снаружи дверь летней кухни, где лежит Шангарей, и, взяв топор, кинулся под навес...

* * *

Сабиля после того, как енгэ выставила ее за дверь, впала в отчаянье, не знала, куда себя деть. Вспомнилась свекровь: сурова была, а все же насколько человечней! Отправила, ее, Сабилю, в Таулы, чтобы сохранила ребенка, даже золото свое и серебро не пожалела. Здесь родился Абубакир, и мир, казалось, засиял всеми цветами радуги. А теперь... Теперь живет она бестолку в кле-

ти, в которой из-за кипячения белья капает с потолка. На мокрых день-деньской руках выступили цыпки, от холода, веющего с каменного пола, опухли суставы ног. У нее и кроме стирки много работы: она и корову доит, и навоз выгребает, и дрова рубит-колет. У дяди, по присловью, котелок хорошо варит, то есть хитрости ему не занимать. Кабы не так, не владел бы этой добротной усадьбой, перехваченной у состоятельного русского доктора.

Конечно, и ту часть жизни, которую Сабиля прожила с Ихсанбаем, не назовешь сладкой. Но тогда не навалива-ли на нее тяжелую черную работу, ее заботы сводились, в основном, к тому, чтобы муж был вовремя накормлен и чисто одет. От обид со стороны соседей она была защищена, свекровь, старуха Фаузия, требовала от нее не больше того, что положено требовать от невестки. Сабиля чувствовала, что семью Муратовых отделяет от внешнего мира невидимая пропасть, что поведение свекрови и свекра, да и Ихсанбая определяется чем-то, скрытым от нее завесой тайны. Она пыталась размотать клубок загадок, но не хватило для этого у нее ни ума, ни проницательности.

Теперь вот она одна-одинешенька. Ребенка у нее отняли, золото и серебро сама отдала Лукману. Может, неправильно делает Сабиля, живя почти взаперти, не обращаясь ни к кому за помощью? Неужели нет в этом мире никого, кто может выслушать и понять ее? В разговорах с санитарками, приносившими грязное белье и забиравшими чистое, несколько раз слышала она о главе района Камалетдинове, хвалили его. И Хашим, помнится, обратился к нему, вернули ему тогда на удивление всему аулу конфискованную корову да еще с приплодом. Может, взять да отправиться Сабиле к Камалетдинову? Только не доводилось ей разговаривать с такими большими начальниками. Как она попадет к нему, как начнет разговор?

И все же вечером, когда уже смеркалось, принарядилась Сабиля. Ну, принарядилась — это громко сказано. Чистое сменное платье надела, на голову чистый платок повязала. Теперь главное — дойти до райкома, набраться решимости войти туда...

...В коридоре райкома уборщица мыла пол. Пожилая женщина, чем-то напоминавшая тиряклинских старух.

– Апай, ты не тиряклинская? – обратилась к ней Сабиля.

Уборщица подняла на нее удивленный взгляд.

– Ах-ах! Раньше жила там. Но уже сорок лет, как высватал меня здешний парень. Кто тебе нужен, к кому пришла? Меня Гульмарьям-апай зовут. Давно я тут работаю, старик мой за лошадьми ухаживает, а я, видишь, полы мою...

– Я, апай, хотела Камалетдинова повидать.

– Ах-ах! Испуганная ты какая, что-нибудь случилось?

Сабиля чуть не заплакала оттого, что встретилась с участливой женщиной.

– Случилось... Помоги мне, апай!

– Коли так, айда заведу к нему, он еще не ушел. О своей нужде сама расскажешь...

* * *

Минувшим днем Камалетдинов был доволен: наконец, последний колхоз отрапортовал о завершении сева. Большинство хозяйств уже перевело скот в летние лагеря. В связи с переселением надои молока снизятся, но через недельку все наладится. Сейчас основная забота Камалетдинова – предстоящие сабантуи. Народ соскучился по праздникам. Райком собрал председателей колхозов на специальное совещание по этому вопросу. Камалетдинов сообщил на совещании, что колхоз, чей конь придет первым на районном сабантуе, получит главный приз – автомобиль «Победа». При этом многие председатели посмотрели на Мирхайдарова: жеребец из его колхоза «Алга!»* уже не раз завоевывал призы на скачках. А тот будто сразу подрос на вершок. Хитро улыбнулся, стараясь выглядеть спокойным.

Камалетдинов сказал ему после совещания, что приедет посмотреть на Саврасого. Не худо бы основательно заняться развитием коневодства в районе, да от текущих дел, от нехваток не отрешишься. Все же надо подобрать в колхозах приличных кобылиц, скрестить с Саврасым,

---

* «А л г а !» – «Вперед!»

в Тиряклах создать племенную конеферму. Без этого не обойтись. Отрасль обещает стать прибыльной. Вот племенных быков закупают на стороне; они чуть ли не на вес золота...

Камалетдинов, как обычно, задержался в райкоме после окончания рабочего дня, чтобы посидеть, подумать. Днем — шум-гам, суета. Сейчас тихо, только возвякиванье ведра уборщицы доносится иногда из коридора. Но вот она, кажется, вошла в приемную, послышался ее неуверенный голос:

— Не рассердился бы... Не время приема...

Аюп Газизович подошел к двери кабинета, открыл.

— С кем это ты, Гульмарьям-апай?

Уборщица подтолкнула к нему худую некрасивую женщину с испуганным лицом:

— Скажи сама...

Камалетдинов отступил назад, и женщина шагнула в кабинет.

— Ты... вы... Камалетдинов?

— Да.

— Ой! Ребенка... моего ребенка... дядя... Ой-й...

Камалетдинов налил из графина воды в стакан, протянул ей:

— Ничего не понимаю! Нате-ка, выпейте, успокойтесь.

Женщина, отрицательно мотнув головой, продолжала:

— Он ведь мой... Я родила. Я... Уй-й-й...

— У кого ребенок? Кто ваш дядя?

— О-о-х... Лукман... врач... Помогите мне, агай!

— Присядьте. Посидите здесь. Я сейчас...

Аюп Газизович вышел в приемную, прикрыв за собой дверь. Телефонистка телефонной станции быстро соединила его с больницей.

— Это вы, Лукман Талипович? Извините, что беспокою в поздний час. У вас есть племянница? Она здесь, у меня... Душевнобольная?.. Разумеется, надо лечить... Сейчас подъедете? Хорошо, жду!

Камалетдинову стало жалко Лукмана Талиповича. Оказывается, он содержит у себя душевнобольную племянницу. Помешалась, говорит, из-за своих мертворожденных детей, может в любой момент сбежать, похитив его ребенка.

Когда Аюп Газизович вернулся в кабинет, женщина поспешно поднялась со стула. Выглядела она немного успокоившейся.

— Вы сидите, сидите... Лукман Талипович ваш родной дядя?

— Двоюродный. Только он в русской семье вырос, его усыновили. И жена у него русская. Детей у них не было. Моего...

Тут дверь распахнулась, в кабинет вошли Лукман Талипович и следом — двое мужчин в белых халатах. Сабиля обомлела.

— Агай, я...

— Дома поговорим.

— Я не вернусь к вам! — Сабиля почувствовала себя разъяренной львицей. — Отдайте мне моего ребенка! Закон на моей стороне!

— Она опасна! Свяжите ее! — распорядился Лукман Талипович. Те двое в белых халатах немедленно вцепились в Сабилю. До ее сознания дошло, что это — санитары психиатрического отделения, и она забилась в их руках, закричав так отчаянно, что на губах запузырилась слюна.

— Я не пойду туда! Там бьют, морят голодом! Я не больная, мне только мой ребенок нужен! Вы не имеете права!..

Сабилю, не обращая внимания на ее выкрики, потащили на улицу, втолкнули в крытую санитарную машину.

— Извините, Аюп Газизович! — сказал Лукман Талипович, садясь в кабину машины, вышедшему вслед Камалетдинову. — У нее обострение...

После этого происшествия Камалетдинову сидеть в кабинете в одиночестве расхотелось. Настроение испортилось. Вливавшийся через форточку аромат цветущей черемухи и сирени, казалось, утратил свою прелесть. Перед глазами стояло вначале испуганное, затем искаженное безумной яростью лицо рвавшейся из рук санитаров женщины.

Хорошо, что Флорида у него поправилась. Спит нормально, а проснувшись, весело гугукает, играет. Не обманула та старуха, хотя Аюп Газизович сомневался в ее способностях. Теперь он с нетерпением ждет, когда дочка произнесет первые слова, назовет его папой...

* * *

В медицинском институте Лидия Николаевна специализировалась по психиатрии, хирургом стала на войне вынужденно, принудил к этому огромный поток раненых. В мирное время необходимость в хирургических операциях возникает не столь часто, поэтому в районной больнице она постепенно отошла от хирургии, предоставив ее молодым врачам, вернулась к своей первоначальной специальности и сейчас заведует психиатрическим отделением.

Сегодня, проводя утреннюю пятиминутку, Лидия Николаевна узнала, что в отделение поступила новая больная.

— Кто она?

— Муратова Сабиля Таиповна.

— Откуда?

— Здешняя. Кажется, родственница Лукмана Талиповича.

— Родственница? Степень родства? — Башкирцева потянулась к только что начатой истории болезни, лежавшей на ее столе.

— Пришлось применить к ней силу, — сказал дюжий санитар, прозванный Алпамышой*. — Буйная она. Только после укола успокоилась...

В это время зазвонил телефон. Лидия Николаевна сразу узнала голос в трубке.

— Слушаю вас, здравствуйте!.. Как раз о ней говорим. Надо было вчера меня вызвать... Решили не беспокоить? Но это ведь моя работа!.. Прямо сейчас? Я еще не сделала обход... Хорошо-хорошо, подожду...

Башкирцева немного удивилась: как ласково разговаривал с ней главврач! У больничной поварихи есть присловье, которое она часто повторяет: коль загорелся подол, поневоле всполошишься. Вот и у Лукмана Талиповича «загорелся подол» — племянница сошла с ума. Может, он теперь к больным будет относиться почеловечней?

---

*Алпамыша — богатырь, герой башкирских народных сказок.

— Та-ак... Быстро все по своим местам! — распорядилась Лидия Николаевна. — Сейчас главврач к нам заглянет. Всюду должен быть полный порядок, чтобы не склоняли потом наше отделение на общебольничных оперативках. Понятно?

Едва сотрудники успели разойтись, как в ее кабинет вошел Лукман Талипович.

— Доброе утро, Лидия Николаевна!

— Доброе... Хотя...

— Да-да, беда у меня... — Лукман Талипович отер платочком лоб.

— Беда, говорят, без спросу приходит... Я больную еще не видела. Диагноз, как правило, ставлю я сама, но в данном случае хотела бы услышать ваше мнение: что могло послужить причиной расстройства?

— С этим я и зашел к вам. Коротко: она живет у меня, устроил ее на работу в прачечной больницы. Была замужем, не раз беременела, но ни одного ребенка не смогла доносить до рождения. Видимо, на этой почве у нее возникла навязчивая мысль, что наш приемный сын — ее ребенок. Психика у нее менялась постепенно, я думал, что это просто блажь, сама собой пройдет...

— Понимаю вас, Лукман Талипович. Меня настораживают ваши слова о постепенном изменении психики. Если бы расстройство произошло в результате нервного шока, можно было бы надеяться на скорое выздоровление. Но мы постараемся, вы уж чересчур не беспокойтесь.

— Как не беспокоиться? Муж у нее погиб, родители умерли, я ее единственная опора.

— Ей, если бы не заболела, можно было бы позавидовать. Мне бы такого заботливого дядю!

— Спасибо за комплимент! — Лукман Талипович поднялся с места. — Вы, оказывается, обратились к Камалетдинову по поводу питания в больнице. Мы бы и сами эту проблему разрешили... Я просмотрел заявки, ваши требования будут учтены... Будьте здоровы!

Пораженная Лидия Николаевна где стояла, там и осталась стоять. Она же на каждой оперативке говорила о крайне неудовлетворительном питании больных и ничего до сих пор не менялось... Достала дрожащими пальцами папиросу, закурила. Фронтовая привычка...

К Сабиле Муратовой она зашла, закончив обход остальных больных.

– Здравствуйте!

Женщина, стоявшая у кровати, мгновенно обернулась и приложила палец к губам:

– Тс-с-с! Он уснул...

– Кто уснул?

– Мой ребенок. Абубакир.

Тут Лидия Николаевна увидела на подушке «ребенка» – свернутую кофту, повязанную сверху платком.

– А-а... Извините!

Женщина приблизилась к ней, прошептала:

– Пусть остальные выйдут, я тебе одной что-то скажу...

Лидия Николаевна дала сопровождавшему ее медперсоналу знак выйти из палаты.

– Ты спрячь меня тут, ладно? – сказала больная доверительно. – А то Лукман со своей женой отнимут у меня сыночка. Я буду тебе стирать, полы мыть. Только спрячь. Еще... не давайте Абубакиру лекарства. Если надо, свекровь будет травяным настоем его поить. Она все знает, помогла мне родить Абубакира.

– Хорошо, все сделаем, как ты хочешь. Но тебе самой лекарства надо принимать. Голова у тебя не болит?

– Ничего не болит. И молока у меня для сыночка хватит. Если придет Лукман, скажи: Сабиля болеет или умерла. Так и скажи. Не пускай его сюда!

– Ладно, мы твою комнату будем держать взаперти.

– Держи, держи! – Женщина со странным блеском в глазах вдруг нагнулась и поцеловала полу халата Лидии Николаевны. – Спасибо! Век тебя не забуду!

Как только Лидия Николаевна вышла из палаты, санитар запер дверь.

* * *

Верно, должно быть, говорят, что беда одна не ходит: вскоре после ареста отца у Мадины исчезла собиравшаяся отелиться корова. Оставляя малыша под присмотром Магинур, за два дня оббегала она все окрестности аула, аппетита и сна лишилась. Из-за переживаний грудное молоко у нее пропало.

– Некоторые коровы уходят, чтобы где-нибудь на стороне отелиться, потом возвращаются с теленком, – утешали ее одни.

– Может, в болоте утопла? – удивлялись другие.

– Нынче весной возле самого аула волки выли, не они ли сожрали скотинку? – строили догадки третьи.

Только соседка Магинур особо не расстраивалась.

– Хватит, больше не ищи, – сказала она. – Коль суждено, так вернется, а не вернется, так молока от моей коровы нам на обеих хватит. Давно уж хотела я тебе сказать: давай переберись ко мне, будем жить вместе, подпирая друг дружку.

Мадина не согласилась. Вернется отец, не увидит дыма из их трубы – что он подумает? Если Абдельахат приедет, тоже в окошко этой избы постучится.

– Инэй, лучше ты ходи ночевать ко мне, – предложила Мадина. – Не могу я из родных стен уйти.

Поиски она прекратила. Но пропавшую корову из памяти сразу не вычеркнешь. И Магинур как-то за чаем заговорила о ней:

– Хорошей породы была скотинушка. Может, на ферме телочка от нее на расплод осталась? И корова Фаузии из того же потомства была, ее после пожара тоже ведь к колхозному стаду присоединили...

– Я ее один раз подоила, – вспомнилась Мадине растерянно мычавшая у пожарища корова, которую она зазвала потом к себе во двор.

– Ладно, не горюй. Считай, дочка, что и я сама, и все мое хозяйство теперь твои.

– Инэй, если я в район, к отцу схожу, Даут...

– Ах-ах, Даут же мне не чужой, поживу с ним! Козьим молоком буду его поить, так делают все, если у матери молоко пропадет. Только ты пешком не вздумай отправиться, лошадь попроси.

– Дадут ли?

– А ты не к председателю, прямо к Хусаину пойди. Он коней к сабантую готовит, каждый день мальчишек к скачкам приучает. А тебя и учить не надо, девчонкой с седла не слезала, мальчишек на скачках обгоняла. Пойди к нему, пойди!

...Хусаин возле конюшни расчесывал гриву Саврасого. Конь, увидев поверх его плеча подходившую к ним Ма-

дину, коротко заржал. Хусаин обернулся, в его черных глазах под густыми бровями вспыхнули веселые огоньки.

— Гляди-ка, узнал тебя подлец!

Мадина достала из кармана кусочек сахара.

— Дам ему?

— Валяй, никто кроме тебя сладким его не угостит.

Саврасый мягкими губами осторожно взял с ладони Мадины сахар. Она погладила его по холке. Хусаин, отойдя в сторонку, присел на корточки, закурил.

— Давно приехала?

— Давно уж. А ты не слышал?

— Когда мне слушать? Работы много. И муж твой приехал?

— Его, Хусаин, арестовали...

— Ничего, приедет!

— А ты не женился?

— Где там! Говорю же: работы много.

— А у меня ребенок родился. Мальчик.

— Это хорошо! Когда исполнится три года, приведешь ко мне, я его на Саврасого посажу.

— Ладно. А мне можно на него сесть?

— Раньше без спросу садилась.

— То ведь раньше.

— А теперь что, хуже стала?

— Повзрослела. Даже старой себя чувствую. Эх!.. — От разговора с простодушным конюхом у Мадины выступили на глазах слезы. — Почему, Хусаин, не все люди такие, как ты?

— Старой... Промчишься на коне с ветерком и сразу помолодеешь. Ты не плачь, а то вон у Саврасого дрожь по спине пробежала. Не надо его расстраивать перед скачками. И тебе нельзя расстраиваться — ребенка кормишь.

— Хусаин, мне надо в Таулы съездить.

— Атак, сядь на Саврасого и слетай. Никто ведь не будет следить, куда ты поедешь. Саврасый должен пропотеть, убавить вес перед соревнованиями, так что не жалей его...

— Договорились, Хусаин!

— Я сейчас оседлаю его, а ты сходи домой, надень брюки...

* * *

Увидев вошедшую в кабинет Мадину, Камалетдинов глазам своим не поверил: она это или не она? Он помнил Мадину девушкой, а сейчас перед ним стояла молодая женщина, озаренная зрелой красотой материнства.

– Здравствуйте, Аюп-агай!

Ощутив в ладони ее шершавую, огрубевшую от мозолей руку, Камалетдинов полушутливо заметил:

– Аул уже успел поставить на твою руку свою печать...

Мадина вздохнула: если бы только аул и только на руку! Попробуй сосчитать, сколько печатей наставила жизнь на ее сердце!

– Ну, каким ветром? Мирхайдаров, правда, сказал мне, что ты вернулась, но никаких подробностей я не знаю... – Камалетдинов, направив Мадину к стулу, сам сел напротив. – Что случилось с Абдельахатом?

– Аюп... – Мадина с трудом преодолевала отчужденность, возникшую из-за того, что они давно не виделись. – Он ведь простодушный, чистосердечный. Товарищи его уважали: фронтовик, по возрасту старше всех... Короче, пооткровенничал он на экзамене по философии. Насколько знаю с его слов, преподаватель задал ему вопрос: «Вы верите во всеобщее равенство?» Абдельахат ответил: «Нет, не верю. Людям ни ум, ни память, ни способности, ни таланты не раздаются поровну. Одним чего-то достается больше, другим меньше. А натура человека такова, что он хочет приобрести то, чем не обладает, стремится к совершенству, это и движет его по жизни вперед. Но если все люди станут одинаковыми, равными во всем, этого стремления не будет, и человечество перестанет развиваться». Преподаватель снова задал вопрос: «А как вы смотрите на то, что принципы социализма и коммунизма, их высокие идеалы опираются на идею построения на всем земном шаре человеческого общества, основанного на всеобщем равенстве?» Разговор у них шел один на один, Абдельахат взял и ляпнул: «В такое общество тоже не верится. Народы на земном шаре стоят на разных ступенях развития, есть еще даже первобытные племена...» На следующий день его арестовали.

– Печально... – Камалетдинов встал, закурил, отойдя к окну.

– Я, Аюп-агай, приехала похлопотать за отца. Его то-

же арестовали. Я только что побывала в прокуратуре. Против отца, оказывается, выдвинуто невесть сколько ложных обвинений. Даже смерть моих братишек, которых он очень любил, пытаются приписать ему. Кто-то написал на него анонимный донос – на этом основывают все обвинения. Будто бы в пожаре и гибели Ихсанбая и Фаузии Муратовых повинен тоже он. Доказательств нет, одни предположения...

Камалетдинов вспомнил просьбу старухи, лечившей его Флориду: «К тебе придет молодая женщина... Верь ей... Помоги...» Он слушал Мадину, глядя на ее разалевшееся от волнения лицо, на стройную, будто отлитую каким-то волшебным образом фигуру, и думал восхищенно: до чего же она красива! Не место ей в ауле, среди обыкновенных, зачастую грубых, неотесанных людей. От этой мысли ему даже стало жарко, душно, пришлось ослабить галстук.

– Ты чересчур не переживай. Постараюсь помочь, – сказал он.

– Больше мне некого просить об этом.

– Понимаю. Отца твоего я помню, был у меня после возвращения с войны... Сама-то как думаешь жить дальше? Давай переберись в райцентр. Работу найдем, с квартирой помогу...

Мадина усмехнулась:

– Но ведь... в моем положении... Как жене врага народа понадобится пройти официальную процедуру.

Камалетдинов удивился: как быстро она все схватывает и понимает!

– Это так, но ничего страшного я тут не вижу. Должна же ты как-то жить! Может быть, понадобится лишь написать формальное заявление, что никакой связи с арестованным мужем не имеешь...

Мадина встала.

– Если бы, Аюп Газизович, я написала такое заявление, то была бы сейчас в Москве, продолжала учебу!

– Ну вот.... – Камалетдинов смутился. – Вот и среди башкирок появились декабристки...

– А среди нас их, Аюп Газизович, даже больше, чем у других народов. Мы же из рода женщин, исстари сражавшихся рядом со своими мужьями. – Мадина протянула руку: – До свидания, Аюп-агай! В вопросе об отце я надеюсь только на вашу помощь...

Проводив ее до двери, Камалетдинов вернулся к ок-

ну. Бэй, Мадина, оказывается, приехала на Саврасом! Вот она легко вскочила в седло, выпрямилась. Очень ей идет сидеть в седле! Спортивные брюки подчеркивают стройность ее фигуры. И Саврасый хорош! Словно понимая, какая красавица на него села, гордо вскинул голову. Грудь у него широкая, ноги точеные, брюхо подтянуто, шерсть блестит, точно у соболя. Пожалуй, первенство на сабантуе останется за колхозом «Алга». Как это Мирхайдаров доверил Саврасого Мадине? Впрочем, найдется ли мужчина, который откажется выполнить просьбу такой женщины? Если и найдется, то только слепой...

* * *

За возвращавшимися из Таулов Мадиной и Саврасым Хусаин наблюдал, взобравшись на крышу конюшни. Хай, какая умелая наездница эта Мадина! Приникла к летящему стрелой коню, и если бы не ее красная кофта, можно было бы подумать, что Саврасый сам по себе мчится. Эх, хоть и прожил Хусаин почти всю жизнь среди лошадей, сам достичь мастерства в верховой езде так и не сумел. Как-то так у него получается, что голова клонится в одну сторону, зад сползает в другую, ноги – врастопырку... Такого уменья, как у Мадины, ни у одного парнишки нет. Хорошо, что перед скачками сгоняла она Саврасого на дальнее расстояние, большое испытание конь прошел, теперь у него дыхание станет свободней, уверенность в себе возрастет.

Объезжая аул стороной, Мадина придержала коня, сделала круг по дороге, уходящей в направлении Куктау, и вот гладит его на медленном ходу по шее, успокаивает...

Хусаин встретил ее на дворе конюшни улыбкой.

– Ну как, годится Саврасый для скачек?

Мадина показала большой палец:

– Во конь!

– Может, ты и поскачешь на нем на сабантуе, а, Мадина?

– Не-е... Неудобно...

– А что тут неудобного? Никто тебя не обскачет.

– Не знаю...

– Подумай, сестренка!

– Спасибо тебе, Хусаин-агай!
– Управилась в Таулах со своими делами?
– Вроде бы... Ну пока, Хусаин-агай!
Мадина ушла домой. Хусаин завел Саврасого под навес остывать.

* * *

Камалетдинов любил ходить в баню на первый пар. Приятны сухой жар, проникающий в каждую клеточку тела, и запах только что залитых горячей водой березовых листьев. В бане на душе спокойно, ты сам себе хозяин. Можно отрешиться от бесконечных забот и всяческой суеты.

Аюп растянулся на полке, подложив под голову распаренный веник. Попытался забыться, но замелькали перед мысленным взором, как кинокадры, события и эпизоды минувшей недели: женщина, требовавшая вернуть ей ребенка; сессия райсовета; неожиданно залетевшая в его кабинет жар-птица – Мадина; разговор с прокурором, ознакомление с делом Хашима Насибуллина...

Хотя отказ Мадины переехать в райцентр рассердил Камалетдинова, свое обещание он выполнил, дал прокурору установку: не спешить с обвинительным заключением, разобраться в деле Хашима самым тщательным образом.

...Вдоль позвоночника бегали мурашки, уходил из тела холод, только в старой ране на правой ноге ощущалось онемение, словно это место было заморожено и никак не могло оттаять. Аюп плеснул на каменку воду, в которой замачивался веник. Ух-ху-ху! Пыхнуло от раскаленных камней жаром. Должно быть, Гульмарьям-апай вложила в веник веточку черной смородины и душицу – баня наполнилась их ароматом. Хорошо! По крайней мере половина беспокоящих Аюпа мыслей останется на банной полке! Он еще раз плеснул на каменку душистую воду. Здорово! Теперь можно помахать веником.

Когда Аюп вышел в предбанник остудиться, вновь возникла перед его глазами Мадина. Сначала она была в плотно облегавших фигуру черных брюках и красной кофте, отсвет от которой придавал ее алым, как вишня, губам и лицу еще большую яркость, но минуту спустя... разделась. Камалетдинов, словно убоявшись ослепнуть при виде божественно прекрасного тела, зажмурился.

«Старый черт! Ты что?! – Он поискал слова покрепче, чтобы обругать себя, удивленно покачал головой. – Идиот! Нужен ты ей как прошлогодний снег!» Но богиня красоты упорно стояла перед его мысленным взором. Дай ей волю, так сядет тебе на колени, коснется губами твоих губ, упрется в грудь тугими сосками... «Нет! – Аюп вскочил на ноги. – Не нужен мне этот мираж!» Зашел в баню, опрокинул на себя ведро холодной воды. «Вот тебе, старый дурак! Как беременная женщина, захотевшая змеиного мяса, захотел жену своего друга!» Затем он выплеснул на каменку три ковша воды подряд. «Пусть тело горит, а не сердце!»

Исхлестав себя веником чуть не до потери сознания, красный, как вареный рак, Аюп свалился на пол предбанника.

* * *

С юго-запада, нагоняя сонливость, надвигалась черная туча, стало сумеречно, и Хусаин раньше обычного растянулся на своем лежаке. Несколько раз просыпался в беспокойстве, порывался встать, но опять засыпал. И вот приснилась ему саврасая кобыла, щипавшая траву на зеленой поляне. Рядом, вытянув курчавый хвост, носился жеребенок.

– Скакун! Хороший скакун из него получится!

– Брось, вряд ли...

Посмотреть на жеребенка собрался народ. Бэй, люди ли это, не волки? Хусаин пытался закричать, спасти жеребенка, а волчья стая сжимала кольцо вокруг него. Жеребенок, невесть когда успев превратиться во взрослого коня, отчаянно заржал, взметнулся к грохочущему небу.

– Саврасый! – закричал Хусаин и вскочил, разбуженный своим криком. Тело у него ныло от напряжения, в горле пересохло. Дождь, кажется, давно уж прекратился, за окошком светало. Хусаин, подняв ведро с водой, напился и вышел из караулки. Подумал: наверно, Саврасый заржал во сне, в это время лошади тоже спят.

Справив малую нужду, он собрался было вернуться в караулку, полежать еще, но насторожился, услышав донесшийся из конюшни звук, похожий на стон.

– Саврасый!

Конь в ответ заржал негромко, как бы превозмогая боль. Хусаин распахнул ворота конюшни и ахнул, увидев у переднего копыта Саврасого лужицу крови, набежавшей из раны в его ноге, – раны, на первый взгляд, небольшой, кровь теперь еле сочилась из нее, но этого было достаточно, чтобы привести Хусаина в отчаянье. Он припал головой ко лбу коня, простонал:

– Саврасый! Как же это, как же я не уберег тебя, проспал?!

Тут понял Хусаин, что их лучшего скакуна перед самыми скачками намеренно ранил какой-то завистник, и закричал в ярости:

– Не успеешь, сволочь, далеко уйти, настигну я тебя!

Он торопливо вывел лошадь из соседнего стойла во двор, вскочил на нее. Выехав за ограду, увидел на мокрой после дождя земле отчетливые следы от подкованных копыт. Кто-то подъезжал к конюшне верхом...

Следы уходили в сторону Куктау. Хусаин поскакал туда же. Следы были хорошо видны. В одном месте он увидел кучу конских катышков – сплошь овсяная шелуха. Овсом сейчас кормят только скакунов, подготавливаемых к состязаниям на сабантуе. Значит, точно из зависти решил кто-то вывести Саврасого из строя. Ну, приехал бы, попросил не выставлять его на состязания, что ли! Эх, люди!..

Следы оборвались у переезда через ручей. Видимо, злодей поехал по его руслу.

* * *

В ауле появились двое верховых в милицейской форме. Многие подумали, что приехали они по вопросу о Саврасом. Однако милиционеры, выйдя из сельсовета, направились по улице в другую от конного двора сторону. Мадина, возвращавшаяся с водой от речки, сразу узнала их: те люди, что допрашивали ее.

Милиционеры, поравнявшись с ней, спешились, поздоровались.

– Вы... ко мне?

– Мы, сестрица, по спецзаданию, – заговорил старший из них, усатый. – Посланы обследовать дом, то есть место, где стоял дом Ихсанбая Муратова.

– Вон оно, напротив.

Милиционеры посмотрели на огороженное жердями место. Огородил его сельсовет, чтобы не угодила в яму, засыпанную золой, чья-нибудь скотина.

– Тут значит...

Вскоре в сопровождении нескольких мужчин с лопатами подоспел председатель сельсовета. Мадина догадалась: будут искать кости Ихсанбая и тетушки Фаузии. Вот они начали разбирать ограду. Мадина подошла к ним. Место, где был подпол, сразу бросалось в глаза: зола уплотнилась, осела, а вокруг – бурьян. Мадина обратилась к усатому милиционеру:

– Вы, пожалуйста, укажите в протоколе, что место было огорожено и никто здесь доныне не копался.

Усатый глянул на нее усмешливо:

– Никак ты в следственных органах работала? Все-то знаешь...

– Нужда заставляет знать...

– Ладно, я пошутил, сделаем все как положено.

Посмотреть на работу милиционеров сначала сбежался самый любопытный народ – ребятишки. Потом стали останавливаться будто бы проходившие мимо старики и старухи. Аул молниеносно облетела весть: ищут скелеты Ихсанбая и Фаузии. Пришли с лопатами, хотя никто их к этому не обязывал, братья Галяу и Валяу. Заперев лавку, приперлась Рауза.

Вот уж лопаты достигли дна ямы, разворошили золу вдоль фундамента. Полетели в сторону горшки и глиняные черепки, осколки столовой посуды, покореженная лампа, металлическая кухонная утварь, обручи сгоревших кадок. Попадались осыпавшиеся с женских праздничных украшений монеты, рассыпавшиеся бусы. Нашли несколько птичьих скелетов, скелет овцы, скелет теленка, но кроме этого никаких костей не обнаружили.

Молодой милиционер фиксировал в протоколе каждую крупную находку, потом собрал подписи взрослых свидетелей обследования. Мадина и после того, как народ разошелся, долго еще стояла, остолбенев, у разрытого пепелища: выходит, тетушка Фаузия и Ихсанбай не погибли? А куда делась Сабиля? Были разговоры, что кто-то видел, как незадолго до пожара она куда-то уехала, но никто не знает, куда и зачем...

* * *

Хотя и случались в Тиряклах выходящие из ряда вон события, народ вскоре возвращался к своим привычным делам и жизнь продолжалась обычным порядком. Колхоз завершил сев, все занялись личными хозяйствами, сажали картошку, подновляли заборы. Женщины, скучковавшись, помогали друг другу мыть стены изб изнутри либо белить их снаружи.

Сегодня сабантуй. Состояние Саврасого не улучшалось. Ветеринар наложил повязку на его простреленную, похоже, малокалиберной пулей ногу, но рана не заживала, опухоль поднималась все выше. При очередном осмотре раны ветеринар заикнулся было, что лучше бы, пока не поздно, пустить коня на мясо, но Хусаин тут же поднес к его носу грязный кулак:

— А этого попробовать не хочешь?

Невеселый в последние дни, Хусаин вывел из конюшни пятерых коней, отобранных для участия в скачках на сабантуе, дал мальчишкам-наездникам последние наставления. На коне, которого он вывел первым, предстояло выступить на районном сабантуе, — велел его юному наезднику быть особо внимательным.

Когда Хусаин начал выводить коней, Саврасый застриг ушами, шумно задышал, раздувая ноздри, и яростно заржал вслед уходящим скакунам. Это еще сильней расстроило Хусаина. Сам он на сабантуй не собирался, что ему там делать в таком настроении? Проводив мальчишек, стоял опечаленно посреди двора и вздрогнул, услышав сзади голос Мирхайдарова:

— А ты что стоишь тут? Давай живо на сабантуй! Разве можно доверять коней одним мальчишкам?

Пришлось Хусаину сесть на оставшегося в конюшне серого дунэна* и отправиться на праздник.

* * *

Мадина встала утром раньше, чем обычно. Стараясь не разбудить Магинур, сходила подоить ее корову, напек-

---

*Дунэн — трехгодовалый жеребец. У башкир каждый возраст лошади в зависимости от пола имеет свое название.

ла на летней печурке блинчиков. Магинур проснулась, когда Мадина вошла в избу с кипящим самоваром.

— Раненько ты поднялась, дочка... А я заспалась. Покойный апа твой мне снился... Ах, ты уже и блинов напекла?!

— Сегодня ведь праздник.

— А, сабантуй!

Малыш спал. Мадина с названой матерью сели попить чаю, беседовали вполголоса.

— Ты ведь пойдешь на сабантуй?

— Не знаю...

— Как это не знаешь? В твои-то годы!

— Абдельахат в тюрьме, и отец... Не до веселья мне.

— Прежде пела на сабантуях, а сегодня не будешь?

— Так, говорю же...

— Не надо, дочка, горе в себе копить. Люди для того и поют, чтобы печаль развеять.

Мадина пожала плечами.

— Нечего плечами пожимать! Вот соберемся и втроем с Даутом пойдем! Сейчас быстренько яичек сварю, юаса* у нас есть, сметаны еще возьмем, там присоединимся к кому-нибудь, попьем чаю. Допью только эту чашку и...

Магинур любила почаевничать. Иной раз, разохотившись, до девяти чашек выпивала, а сейчас, ограничившись двумя, молитвенно мазнула ладонями по щекам:

— Аллах Акбар! Дай Всевышний вам с Абдельахатом каждодневную пищу и нескончаемое изобилие, чтобы дожили вы вместе, как мы с твоим апой, до седых волос и желтых зубов!

— Аминь, инэй, да будет так!

— Будет, будет! Надо только немного потерпеть.

Магинур ушла по своим делам, а Мадина открыла сундук. Вот он, мамин праздничный наряд! До чего же он красивый! Лишь золотого браслета с бирюзовыми глазками теперь нет, отдала его Мадина в Москве охраннику, пытаясь добиться трехминутного свидания с Абдельахатом.

Ладно, пойдет она на сабантуй, уговорила Магинур-инэй. В мамином наряде. Приняв такое решение, Мади-

---

*Юаса — башкирское национальное кушанье из теста, приготовленное в кипящем масле.

на заплела волосы в две косы, вплела в них накосники с серебряными монетами. Затем разогрела утюг, погладила платье. Ай, как оно ей идет! В самый раз! Похудела она, что ли, из-за тяжелой работы? Надев поверх платья елян, нацепила перед зеркалом сережки. Тут проснулся Даут. Хорошо выспался, радостно заулыбался матери. Мадина, расстегнув пуговки платья, поднесла сына к набухшей за ночь груди...

Тем временем жители аула кто на подводе, кто пешим ходом стали стекаться к месту проведения сабантуя, именуемому Талмуруном. Вскоре многие подвесили казаны над кострами и задымились трубы самоваров. Пестро одетый народ кучковался близ казанов в зависимости от родства или дружеских отношений. Расстилали на траве радужные паласы, одеяла, взбивали подушечки, готовя места для самых уважаемых пожилых людей.

Повеселел майдан. Подъехала на телеге, распространяя запахи конфет и пряников, Рауза. Половина телеги была заставлена ящиками, другую половину занимала она сама. Подъехала и тут же начала торговлю. И всем, кто спрашивал и не спрашивал, объясняла:

— Одна приехала, одна. Раз на государственной работе, не должна сидеть дома, так ведь? А муж, знамо, не может оставить хозяйство без присмотра. Шангарей там больной, ума-то у него нет, возьмет да, упаси Аллах, подпалит дом. Видели ведь, вон что от усадьбы Ихсанбая осталось...

Одни слушали Раузу, другие, зная, что ее болтовне не будет конца, отходили. Мальчишки-наездники важно прогуливали коней, разминались борцы, бегуны, закатав штанины, нетерпеливо топтались у стартовой линии.

Только мрачному Хусаину майдан казался пустым, ничего его не интересовало. Подошел к нему один из стариков:

— А кони у тебя, кустым, ничего, справные.

Хусаин поморщился:

— Разве это кони? Тьфу!

Старик счел за лучшее поскорей отойти от него.

На майдане появилась Мадина с ребенком на руках, сопровождаемая старухой с узелком. Хусаин оживился. Издали помахал молодой женщине рукой, всем своим видом как бы говоря при этом: «Эх, Мадина, размечтался я, что поскачешь на районном сабантуе на Саврасом, да

видишь, как вышло!» Мадина, кажется, поняла его, у самой сердце болело за Саврасого не меньше, чем у Хусаина. Вчера она побывала в конюшне, приласкала раненого коня.

Объявили начало состязаний. Скакунов выстроили на старте. Прозвучал сигнал – выстрел из ружья, и кони, высекая подковами искры, рванулись вперед.

В это время Хусаину вроде бы послышалось знакомое ржанье. Со стороны аула. Саврасый?! Не может быть! Как он... Сердце Хусаина забилось учащенно. Он вспрыгнул на своего дунэна и поскакал к аулу.

* * *

Когда один из распорядителей сабантуя начал составлять список желающих спеть, Мадина заколебалась: записаться или нет?

– Что сидишь, как виноватая? Иди, запишись, – пристала к ней Магинур. – А то сама запишу!

– Не надо, инэй.

– Есть еще желающие? – крикнул распорядитель.

Мадина промолчала.

Состязание певцов началось после завершения скачек и схваток борцов. Наезднику коня, пришедшего первым, вручили хромовые сапоги, сильнейшему из борцов – овцу. Лучшего певца ждал патефон. Очень хотелось Мадине получить его, но внутренний голос подсказывал: не надо, не записывайся, коль и споешь, то после того, как определятся места. Знала Мадина, что кое-кто из пожелавших спеть, если запишется и она, попросит вычеркнуть себя из списка.

В Тиряклах слушают песни с большой охотой. И кураистов в ауле много, и многие старинные песни родились в этих краях: создал и берег их здешний народ. «Турякай», «Сибай», «Ильяс», «Зульхиза», «Гильмияза»... Каждую из этих песен, исполненных на певческом кругу, Мадина слушала увлеченно, каждый певец затронул дремавшие до этого струны ее души. Но вот песни смолкли, вручили победителю патефон. Тогда Мадина, передав ребенка Магинур, встала и объявила:

– В честь сабантуя, в знак уважения к только что выступившим певцам я тоже спою одну песню.

Она не вышла на середину майдана, а встала у плакучей березы, близ которой сидела, постояла там, задумавшись, и запела песню о герое Отечественной войны 1812 года Буранбае Кутдусове, незаслуженно обвиненным и сосланным властями на каторгу в Сибирь:

Испещрены рукою Буранбая
Бумаги белой чистые листки…
Его письмо печальное читая,
Слез не сдержали даже старики…

Почему Мадина выбрала именно эту песню? Наверно, потому, что мелодия «Буранбая» давно жила в ней, была созвучна с ее горестями и печалями – и когда уходил отец на войну, и когда потеряла маму, и когда мерзла на лютом холоде у ворот Бутырской тюрьмы в надежде увидеть любимого. Песня словно бы сама вырвалась из ее переполненной души и, не уместившись на майдане у Талмуруна, разнеслась до самых предгорий Куктау, Улубиика и Каратау.

А Хусаин между тем, войдя в конюшню, Саврасого там не обнаружил. Он оставил ворота конюшни открытыми, понадеявшись на жердины, которыми был перегорожен выход из стойла. Конь, сломав жердины, вырвался на волю... И вновь послышалось Хусаину яростное ржание. Он поскакал в ту сторону, откуда оно донеслось. Ага, вон он, Саврасый! Мчится, развевая гриву, вверх по склону Шайтан-горы. Куда он? Там опасно, там, по преданию, сорвалась со скального выступа кобылица, с тех пор и называют тот выступ Скалой чалой кобылицы, а внизу – Шайтанова топь.

– Саврасый!

Ветер вернул крик Хусаина обратно к нему. Как ни напрягал силы дунэн, догнать Саврасого, хотя у того нога ранена, не мог.

– Савра-а-асый!!!

Хоть бы оглянулся! Вот он достиг скального выступа, остановился у самого обрыва, опять заржал, огласив окрестные горы, леса и луга, которые помнили его жеребенком, а потом стали свидетелями его любовных игр с кобылицами, его побед на состязаниях, постоял мгновение и... полетел вниз. Может быть, подвела его раненая нога или же сам из-за нестерпимой боли совершил прыжок в вечность, кто теперь скажет?

– Саврасый!!!

Хусаин, оставив дунэна на склоне, подбежал к месту, где только что стоял Саврасый, – еще скатывались, падали вниз потревоженные его копытами камешки, словно скала роняла каменные слезы. Хусаин сел, до боли зажал в ладони горсточку камешков и впервые с тех пор, как помнит себя, заплакал.

Побудила его поднять голову долетевшая издали мелодия. Хусаин встал. Внизу на майдане сабантуя, поодаль от Шайтановой топи, собравшийся в круг народ слушал Мадину.

Часть третья

ОТЧЕГО СОЛОВУШКЕ НЕ ПОЕТСЯ

Глава первая

– Хай, хай, хай, хай... – Капелла – выстроившиеся в несколько рядов мужчины в черных костюмах поверх белых рубашек – ритмично повторяет одно и то же звукосочетание, настраивает, прочищает голоса. – Хай, хай, хай... – Смущенная Мадина, стоя за дирижерским пультом, притронулась рукой к лежащей перед ней партитуре. «Поэма» Хачатуряна. Но не успела она объявить, что исполнят это произведение, как рядом, словно черт из табакерки, возник горбатый профессор.

– Нельзя! Запрещено!

Мадина, чувствуя себя неловко перед устремившим на нее взоры хоровым коллективом, кладет перед собой другую партитуру.

– Прокофьев. Шестая симфония...

И опять не успела она взмахнуть дирижерской палочкой – сердито блеснули казавшиеся за толстыми стеклами очков неестественно большими глаза горбуна.

– Нельзя! Запрещено!

На лбу Мадины выступил пот. Капелла продолжала:

– Хай, хай, хай...

Теперь уж неуверенный голос Мадины прозвучал еле слышно:

– Увертюра к опере Мурадели «Великая дружба»...

На сей раз лысый горбун в ярости схватил партитуру, принялся рвать ее и бросать клочья нотной бумаги в лицо Мадины.

— Ты, Ирназарова, не прочитала постановление ЦК ВКП(б) о проявлениях декадентских взглядов в советской музыке! На тебе сказалось влияние твоего мужа. Да, да! Врагам народа нет места в нашей консерватории!

Мадина, пытаясь защитить лицо, попятилась и, сорвавшись со сцены, полетела в оркестровую яму...

— Ах!.. — вскрикнула она и открыла глаза.

Понадобилось некоторое время, чтобы сообразить, где она находится. Обвела взглядом помещение. Узенькая дверь, печь с мерцающим в ней огнем, на укрепленном перед печью шесте сушится какая-то одежда. Бэй, она, оказывается, лежит в караулке на ферме! Мадина приподнялась. Сегодня она дежурная на ферме. Начался отел, доярки поочередно дежурят по ночам, чтобы не случилась какая-нибудь неприятность с коровами. Прилегла отдохнуть, не сбросив с себя шаль и стеганку, и надо же, уснула. Шаль затянулась на шее, душила, оттого, видно, и приснился страшный сон, в котором смешались быль и небыль... А где же караульщик, Галяутдин? Хорошо, если поглядывал на коров, пока она спала...

За дверью послышались шаги. Мадина торопливо спустила ноги с нар, поправила задравшуюся юбку. В караулку, смахивая шапкой налипший на полушубок снег, вошел Галяутдин.

— Ну, разверзлись небеса! — сказал он возбужденно. — Мадина, никак ты не поспала?

— Поспала. Только что проснулась. Пойду на коров взгляну...

— Да я как раз оттуда!

— Как там моя Буренушка? Жвачку жует?

— Вроде бы... Но через часок-другой, может быть, отелится.

— Ой, схожу все же!

— Погоди, не спеши. Я в горячую золу картошку закопал, должно быть, уже испеклась. Вот и чай вскипел...

Крышка медного чайника, стоявшего в печи возле жарких углей, дребезжала, выпуская пар. Галяутдин поставил на стол, сколоченный из нестроганых досок, две кружки, достал щипцами из печи несколько картофелин.

— Ух, горячие!.. Давай-ка сними свою стеганку, пусть тело отдохнет, и садись к столу. Такую вкуснятину твоим московским профессорам, наверно, и пробовать не доводилось. Айда, айда!

Мадина разломила пыхнувшую парком картофелину, но не сразу приступила к еде, сидела вялая после сна. В ушах у нее все еще звучало ритмичное «хай, хай, хай...», только казалось теперь, что звуки эти исходят от окрестных гор и скал, от стоящих там столетних деревьев.

— Галяутдин-агай, как думаешь, не начнется буран? — спросила она.

— Да нет... Просто снег идет... Тихий снегопад...

Его ответ не успокоил Мадину. У нее был чуткий ко всяким звукам слух, но не столько слухом, сколько сердцем она, казалось, улавливала гул надвигавшейся откуда-то издалека непогоды.

— Сколько, интересно, подвод сегодня за сеном пошлют?

— Не знаю... Как Саяф скажет... — Увлеченный печеной картошкой Галяутдин не обратил внимания на тревогу в голосе Мадины.

— Пойду-ка я в коровник. Когда придет Саяф, скажу, что надо на ферме сеном запастись. Чувствую, буран разразится. И надолго.

— Да не печалься ты! Ничего с колхозным скотом не случится. Не дадут ему пропасть, найдут выход, — ответил Галяутдин безмятежно.

* * *

В это время тиряклинцы досматривали предрассветные сны. Лишь в пяти-шести домах, где живут доярки и скотники, горел свет. Работники фермы поднимаются раньше всех.

Уже к середине зимы дома в ауле наполовину занесло снегом, а самые низкие строения завалило по самые крыши. Иногда в просвете между тяжелыми, навевающими тревогу тучами, показывалась луна, освещала объятое сном селение, и тогда с возвышенности, на которой расположена ферма, оно было видно как на ладони. Когда луна в очередной раз выглянула на минутку из-за клубящихся туч, Мадина высмотрела свою избу. В обращенном в сторону фермы окошке мелькнул свет. Должно быть, Магинур-инэй решила развести огонь в очаге, согреть остывшую избу, чтобы не озяб Даут. Когда рядом с ним Магинур-инэй, за сына Мадина может не бес-

покоиться. Единственное, что ее сейчас тревожило – это положение на ферме.

Засветились и окна дома Мирхайдарова. Он тоже встает рано. Не Саяф, так председатель уж точно должен позаботиться насчет запаса кормов на случай затяжного бурана, подумала Мадина. У входа в темный коровник она нащупала в кармане стеганки спички. Надо скорей зажечь фонарь, висящий в тамбуре, и оглядеть коров. Если какая-нибудь из них съест, отелившись, послед, молока у нее, говорят, не будет.

Снегопад внезапно прекратился, но тревога в душе Мадины не унималась.

* * *

По ночам Ихсанбая стали мучить бессонница и неизбежные при этом мрачные мысли. Появляться на людях, вызывая своим видом отвращение, он боялся, поэтому отсыпался днем. Не позволял Раузе открывать ставни. Так он чувствовал себя в какой-то мере защищенным от внешнего мира.

Когда-то мать говорила ему, что на плечах каждого человека сидят два ангела-хранителя. Но ангелы Ихсанбая оказались слабоватыми. Не уберегли его от ошибок, обернувшихся в конце концов леденящим душу страхом. Он попытался спастись от страха бегством и дорого за это заплатил: теперь и человеком-то его можно назвать лишь с большой натяжкой.

И рядом нет никого, кто мог бы утешить его, помог обрести душевный покой. Рауза – чистая сорока, готова каждому встречному настрекотать, как им живется. Прогнал бы ее Ихсанбай, да боится остаться в полном одиночестве, к тому же без добровольной прислуги.

Да, смутен душевный мир Ихсанбая. И в стране происходит что-то неладное, привычный порядок нарушился. При Сталине кружили над головой коршуны, хватая то того, то этого, зато дисциплина была крепкая. Государство выпалывало, как сорную траву, людей, сомневающихся в правильности избранного пути, в основном, образованных, прихватывало при этом и ни в чем не повинных, а таких, как Ихсанбай, пусть и невежественных, но знающих свое дело недоучек не трогало. Правда, и на него приезжавшие из района начальники точили зубы,

однако Ихсанбай расстилал перед ними бумагу с показателями по сельсовету, и его оставляли в покое. Он вызнавал показатели по другим сельсоветам, сопоставлял со своими и любой ценой добивался, чтобы его сельсовет выглядел чуть-чуть лучше остальных, это спасало его от многих бед.

Теперь вот поставили во главе правительства страны какого-то Маленкова. Одни лишь клички прежних вождей — Ленин, Сталин — вызывали трепет. А фамилия этого бедняги прямо-таки кричит, что человек он маленький. Не подходящая она для руководителя великого государства. Не выйдет у Маленкова ничего, сменит его кто-нибудь другой. Но кто? Народ в России привык к крепкой узде, ему нужен волевой, сильный предводитель с твердой рукой.

Недоволен Ихсанбай и тиряклинскими руководителями. Что представляет из себя Мирхайдаров? Был школьным учителем, так и оставался бы им! Став председателем колхоза, не отрешился он от своих учительских пристрастий. Кто красиво говорит, того и слушает, поддерживает, хвалит. А дельный человек обычно немногословен, красноречием особо не блистает. Ты, если не глуп, поинтересуйся сначала, какие у человека показатели, только после этого возвышай его, хвали. Так нет же, ошибочную линию ведет Азат. Директор школы Сынтимер Аглиевич Мирхайдаров был намного сильней председателя колхоза Азата Аглиевича Мирхайдарова. Хотя это одно и то же лицо. Должно быть, имя Сынтимер, которым нарек Мирхайдарова мулла, придавало ему больше сил. В свидетельстве о рождении он значился Азатом*, так записал его принявший сторону красных отец. Неузаконенное имя на зафиксированное в метрике Мирхайдаров сменил уже в зрелом возрасте.

Колхоз под его руководством топчется на месте, как заболевшая вертячкой овца, хотя МТС** предоставляет теперь хозяйству мощную технику — трактора и комбайны. Эх, распоряжайся ими Ихсанбай — распахал бы и засеял все окрестные залежные земли. Кинув всех на выращивание овощей и фруктов, на торговлю ими, сказочно

---

* А з а т — свободный.

** М Т С — машинно-тракторные станции, обслуживавшие колхозы на договорной основе.

обогатил бы колхоз. В Тиряклах до сих пор нет электричества. Срамота! Нет приличных хранилищ даже для получаемого в нынешних условиях урожая. В свое время был в колхозе тайный амбар, скрываемый от районного начальства. Убедил Ишмухамета в его необходимости Ихсанбай. Сильно, конечно, рисковали, припрятывая часть зерна, зато весной не ходили с протянутой рукой, выпрашивая семена у районных властей. В любом деле нужны смекалка и предприимчивость. Во время войны многих тиряклинцев спасла от голодной смерти их богатая рыбой речка. Запрудить бы ее сейчас, заняться рыбоводством, и пожалуйста – превращай дармовое богатство в деньги! Поделиться, что ли, этими соображениями с Мирхайдаровым? Нет, не поймет он Ихсанбая. Ответит любимым интеллигентским словечком: утопия!

Нет у Азата хозяйской хватки, да и откуда взяться в выходце из бедняцкого сословия качеству, которое должно быть в крови, вырабатывалось и передавалось по наследству лишь в состоятельных семьях? Не скоро еще пришедшие ныне к власти люди, кичащиеся своим происхождением из бедняков, станут настоящими хозяевами. Как говорится, пока жеребенка превратишь в коня, сам превратишься в собаку. Так и тут.

От этих мыслей на душе Ихсанбая стало еще муторней. Захотелось выпить. Но выпивки на дне большой аптечной бутыли, хранимой в подполе, осталось совсем немного...

Происхождение этой бутыли – одна из тайн Ихсанбая. Зарубив корову Мадины, он нажил себе уйму хлопот. Когда освежевал тушу и срезал мясо с костей, оказалось его, пожалуй, центнера два. Кости и всякие прочие отходы закопал ночью на дальнем конце огорода, а как с мясом быть? На дворе разгорается лето, ледника в погребе нет. Как скрыть его от посторонних глаз и уберечь от порчи? Но выход нашелся. Башкиры издревле вялили мясо впрок. Дело не очень хитрое. Ихсанбай развесил куски мяса на чердаке дома, устроил там сквознячок. Благо, мухи к этому времени еще не успели расплодиться. Мясо хорошо завялилось. После этого пришло Ихсанбаю на ум, что часть добычи надо сбыть с выгодой для себя. И тут помогла ему смекалка. Отправился в деревню Казанку, навестил там мужика, которого знал по

прежним временам как заядлого самогонщика, рассказал ему по секрету байку: я, мол, завалил в лесу сохатого, мясо завялил, есть теперь закуска, да выпивки нет, давай совершим сделку, я тебе – хоть пуд, хоть два, хоть три вяленой лосятины, ты мне – самогон. Выложил для пробы кусок этой самой «лосятины». Мужик налил по стакану своей продукции, выпили-закусили. Закуска казанцу понравилась, предложение принял и сам вызвался отвезти Ихсанбая домой с бутылью самогона, а от него уехал с двумя мешками вяленого мяса. Условились, что оба насчет сделки будут помалкивать.

Взяв на себя хозяйство Ихсанбая, Рауза обнаружила его приобретение и, конечно, поинтересовалась, откуда у него взялось столько выпивки. Пришлось рыкнуть на нее, чтобы не совала нос куда не надо и держала язык за зубами. «Твое дело – только наливать мне, когда захочется выпить», – сказал Ихсанбай и на этом поставил точку.

Вот и сейчас он решил окликнуть ее, чтобы слазила в подпол за самогоном. Рауза, спавшая в передней комнате, не отозвалась. Ну и здорова дрыхнуть! Засунь ее в медвежью берлогу, так на всю зиму уйдет в спячку!

– Жена! – крикнул Ихсанбай повторно. На сей раз его голос прозвучал басовито, сипа-хрипа в нем вроде бы поубавилось.

– А? – Рауза поднялась – заскрипели доски ее лежанки. – Атак, это ты, Ишмухамет? Мне снилось, будто я в сельсовете собираюсь затопить печь. Потянулась к вьюшке, а этот племенной жеребец Ихсанбай хвать меня сзади за талию...

– Ладно, придержи язык! Я не старуха, чтобы сны твои выслушивать. Слазай в подпол, достань мне...

– Ах-ах, там, наверно, уже нет, не бездонный колодец...

– Сказано тебе – слазай! – Угрожающий, как шипенье змеи, голос Ихсанбая заставил Раузу вздрогнуть.

– Сейчас...

Рауза зажгла лампу, открыла лаз и проворно, как барсук, нырнувший в свою нору, скрылась в подполе. Вылезла оттуда, перелив остаток самогона из бутыли в ковш, поставила перед сидевшим в подштанниках, спустив ноги на пол, Ихсанбаем и тут же легла на свое место, закуталась с головой в лоскутное одеяло – в доме было прохладно.

– Рауза... – Хлебнув «шайтановой слюны», Ихсанбай несколько успокоился и голос у него подобрел.

– Чего еще?

– Мирхайдаров тебя обо мне не расспрашивал?

– Только и забот у него, что о тебе думать.

Ихсанбаю захотелось поговорить, и он, хотя и почувствовал, что у Раузы такого желания нет, продолжал допытываться:

– А народ?

– У тех, кто приходит ко мне в лавку, на уме покупки, а не ты.

– Заважничала ты, что ли? Грубишь, толком со мной не разговариваешь...

– Ай, Аллах мой! Кому охота разговаривать среди ночи, когда самое время спать? Ты-то можешь просидеть всю ночь, как сыч, и отоспаться днем, а мне с утра на работу.

– Не камни там ворочаешь...

– Ну и что ж, что не камни! Работа у меня умственная, весь аул, считай, от меня зависит.

– Ладно-ладно! Уж и слова тебе не скажи! О чем еще я хотел спросить? Да, корова Мадины так и не нашлась?

– Какое тебе дело до коровы Мадины? Не то что корова, люди, как иголка, угодившая в щель в полу, пропадают. Старуха Фаузия, Ихсанбай, Сабиля, Зарифа, братишки опять же Мадины... Одно дело, кабы о них, раз не спится, думал, а то – корова!

– Ну, хватит! – разозлился Ихсанбай. – Умолкни!

– Хватит так хватит...

Рауза умолкла и вскоре засопела, засыпая. Лампа в это время замигала и погасла – керосин в ней кончился. В доме стало темно, как в пещере. Ихсанбай провел рукой по своей подстилке. Войлок. А там, в пещере, он спал на шкурах. И стены там обтянуты шкурами, хранили тепло, исходившее из чувала. С одной стороны, было в пещере тихо и спокойно, с другой...

Ихсанбай встал, в темноте добрался до печи, открыл вьюшку, закурил. Торопливо затягиваясь, почувствовал озноб. Казалось, не тело – сердце у него озябло. Тьма в доме кромешная, как в могиле, подумал он. И от самой жизни веет могильным холодом. На кой черт нужна такая жизнь, что в ней его удерживает? Может быть, мечта о Мадине? У нее сейчас трудная пора, то ли дож-

дется мужа, то ли нет, отец в тюрьме. Если бы он, Ихсанбай, не покалечился так... Впрочем, Мадина ведь уже не девочка-недотрога, а женщина, познавшая мужчину, и ее плоть тоже, должно быть, своего требует. Заарканишь женщину, овладеешь ею разок и все, она твоя... Лучше бы вместо того, чтобы ломать голову над проблемами колхоза (пропади он пропадом!), хорошенько обдумал это.

Ихсанбай, забыв закрыть вьюшку, допил оставшийся в ковше самогон и свалился на свою постель. В печной трубе завывал ветер, было похоже это на волчий вой. Ихсанбаю вдруг вспомнилась Кукбуре. Вот и ее не хватает ему, что ли? Охраняй его она – возможно, спал бы спокойно.

* * *

С очередной сессии райсовета Камалетдинов вынес лишь головную боль. С докладом «О мерах по обеспечению сохранности скота и приплода в зимний период, повышению продуктивности животноводства» на сессии выступил главный зоотехник района. Все в докладе было сказано вроде бы верно. Кормов заготовили достаточно, скотоводческие помещения утеплены, работниками фермы укомплектованы. Почему же надои молока низки, молодняк гибнет, животные, поставленные на откорм, не достигают к моменту сдачи на мясокомбинат должного веса и упитанности? Причину такого положения не только в районе, но, пожалуй, и во всей стране аналитики видят в отсутствии у колхозников личной заинтересованности в высоких результатах труда. Добросовестно ли работает человек, спустя ли рукава – ощутимой разницы в заработках нет, одинаково живет бедно. Для морального хотя бы поощрения старательных работников Камалетдинов добился учреждения во всех колхозах «Досок почета», портреты лучших колхозников вывешиваются и перед райкомом партии, а показатели в хозяйствах все те же...

Увидев у входа в райком тиряклинского председателя, Камалетдинов оживился.

– Ага, ты, оказывается, еще не уехал! Айда заходи, поговорим...

Мирхайдаров, поджидавший Камалетдинова, обрадовался:

– Раз уж приехал, сам хотел напроситься...

Камалетдинову показалось забавным, что Мирхайдаров оглядел его кабинет, будто попал в него впервые.

– Что-нибудь тут у меня переменилось?

– Сейчас переменам особо удивляться не приходится. Был Маленков, теперь Хрущев всплыл. Смотрю, не сменился ли в кабинете портрет...

– Уж и не знаю, Азат Аглиевич, что тебе по этому поводу сказать. Маленков начал неплохо. Порадовал народ, выкинув на прилавки товары из госрезервов. Заговорили при нем о материальном стимулировании труда крестьян. А то ведь одними лишь словами да бумагами поощряли. Но вот и в работе Маленкова будто бы обнаружили ошибки. Что ни день, то новость... Однако давай спустимся из высоких сфер на землю. Что-то и у вас в колхозе не видно подвижек в лучшую сторону. В чем дело?

– Откровенно говоря, устал я. Отпустите меня из председателей!

– Ну, если уж и ты так настроен, на кого мне надеяться?

– Я же учитель. В школе был на своем месте. А тащить колхоз силенок маловато.

– До сих пор охов-вздохов слышать от тебя не доводилось.

– Возраст, должно быть, дает знать о себе. Есть фронтовики помоложе, пусть они попробуют...

– Это не мне решать. Что колхозники скажут... А пока объясни, почему у вас надои резко снизились.

– Многие коровы в запуске.

– А может, доярки и скотники работают с ленцой?

– Нет, упрекнуть их в этом не могу.

– Как там Мадина?

– Она приняла группу первотелок и намаялась с ними летом.

– Намаялась, говоришь?

– Как было не намаяться? Первотелок надо к дойке приучить, а тут еще жара, оводы, слепни, мухи... И отец ее не вернулся. Странноватый он человек, но вреда никому не причинял. И все-таки посадили его. Гибель тех мальчонок-близнецов на него свалили, что ли?

Камалетдинов на вопрос не ответил. Попытался он

выручить отца Мадины, но его власти для этого не хватило. Слишком большую силу обрели карательные органы при Сталине, можно сказать, встали над партией, по меньшей мере, над ее низовыми звеньями. Хотя НКВД преобразовали в два министерства – внутренних дел и госбезопасности, методы дознания в них сохранились прежние. Если уж кто-то угодил в их сеть, пусть даже безвинный, считай, легким испугом не отделается. Могут подвести и под срок, и под расстрел. Не зря следователи зловеще шутят: был бы человек, статья для него найдется...

Не дождавшись ответа, Мирхайдаров вздохнул и сменил тему разговора:

– Давно уж ты, Аюп Газизович, у нас не показывался. Если приедет большой начальник и поговорит с народом, он начинает пошевеливаться усердней.

Камалетдинов полистал настольный календарь.

– Дату колхозного отчетно-выборного собрания не изменили? Приеду на собрание. Но с условием: чтоб насчет ухода с поста председателя я от тебя больше не слышал!

Мирхайдаров тяжело поднялся с места. Оставалось только поднести руку к виску и ответить: «Слушаюсь, товарищ генерал!». Но вместо этого он сказал:

– На улице метет. Как бы буран не разыгрался...

Камалетдинов тоже встал и, прощаясь, полушутливо предупредил:

– На улучшение показателей колхоза даю тебе, Азат Аглиевич, месяц!

Аюп Газизович в самом деле давно не появлялся в Тиряклах, и причиной тому была... Мадина. Он часто думал о ней, носил это короткое, из шести букв, имя в сердце, и оно вызывало то радость, то грусть. Упоминание о Мадине в разговоре с Мирхайдаровым приподняло настроение Аюпа Газизовича, но тут же он снова загрустил. Ну почему, почему свое неожиданно вспыхнувшее чувство он должен держать за семью замками, жить, борясь с самим собой, отказываться от поездки в Тиряклы из опасения встретиться с Мадиной? Да, она – жена его друга, и он не собирается открыться ей, просто любит ее, и с этим ничего не поделаешь. Любит, как никого еще не любил. А дочку? Разве маленькая Флорида для него не дороже кого бы то ни было? «Ты, Аюп, сходишь с ума!» – сказал он сам себе. Сел, вернувшись за свой стол, зажал голову руками, простонал:

– Человек ты, товарищ Камалетдинов, или не человек?

* * *

После того, как Малика трижды побывала с дочкой у старухи-знахарки, Флорида повеселела, потянулась к игрушкам, хорошо кушала. Щечки у нее разрумянились, в глазах вспыхивали шаловливые искорки. Только вот попыток заговорить она не делала, и это тревожило Малику. Сынок Лукмана Талиповича и Рашиды тараторит без умолку, а ее девочка молчит. Поделилась бы тревогой с мужем, да боится, что он вспылит. Хлопнула входная дверь. Ага, вот и он сам. Малика торопливо вспушила волосы, чуточку надушила их стоявшей на комоде «Красной Москвой» и, напустив на лицо улыбку, вышла в переднюю комнату.

— Оказывается, папочка наш пришел, а я...

— Ужин готов?

— Ой, Аюпушка, когда же твоя жена встречала тебя без готового обеда или ужина?

— Вот и хорошо.

Пока муж мыл руки, Малика принесла тщательно отглаженное полотенце. Старание жены угодить ему не осталось незамеченным, Аюп коснулся губами ее душистых волос. Стосковавшейся по ласке Малике хватило и этого. Она приникла выпиравшими из-под халата грудями к груди мужа, привстав на цыпочки, поцеловала его в подобревшие глаза.

— Рано ты сегодня. Как это тебе удалось вырваться?

— Флорида...

— Она спит...

Потеплевшие было отношения между мужем и женой дальнейшего развития не получили, причиной тому стали слова Аюпа:

— Сессия прошла напряженно. Дела в хозяйствах не ладятся. Да еще Мирхайдаров в отставку просится. Придется съездить в Тиряклы... — Должно быть, глянув поверх головы Малики в зеркало, висящее на стене, он добавил: — Волосы у меня, оказывается, сильно отросли...

Малика отстранилась от него. Холодок в его голосе остудил ее и вызвал смутное подозрение. Неожиданно для нее самой вырвался вопрос:

— Не замечал, что волосы отросли, чуть ли не до пояса, пока не собрался съездить в Тиряклы?

Аюп, прищурив глаза, глянул на нее из-под густых, вскинувшихся, как крылья ласточки, бровей, вздохнул и направился к столу.

— Налей мне супу.

— Сейчас.

Опасаясь еще сильней рассердить мужа, Малика больше ничего не сказала. Взяв тряпку, предназначенную для того, чтобы вытирать пыль, ушла в дальнюю комнату. Вернулась, услышав, что муж отодвинул опустевшую тарелку.

— Слушай, — сказала она, наливая ему чай, — пока есть кому присмотреть за ребенком, то есть пока ты дома, схожу-ка я на Кривую улицу, ладно?

— Зачем?

— Во-первых, надо отблагодарить старуху. Во-вторых, посоветоваться. Сын Лукмана Талиповича Абубакир давно уж вовсю разговаривает, а наша дочка ни слова еще не произнесла, хотя пора уж...

— А почему в больнице не проконсультироваться?

— Аю-ю-юп! — умоляюще протянула Малика. — Сколько мы к врачам обращались, когда ее мучила бессонница, а толку!

— Да... это так. Ладно. Может, машину вызвать? — У райкома была теперь легковая машина.

— Нет-нет, — возразила Малика. — Мне ведь тоже надо немного свежим воздухом подышать.

Когда за женой захлопнулась дверь, Аюп вздохнул облегченно. Пройдя в дальнюю комнату, постоял возле спящей Флориды, затем устроился в кресле с газетой в руках. Однако скользил взглядом по газетным строчкам, не улавливая их смысла, — в душе, жаждавшей встречи с любимой женщиной, вновь взвихрились противоречивые чувства. Представала перед глазами Мадина, то воодушевленная, со счастливым лицом, какой ее увидел в Москве, то уверенно сидевшая в седле на Саврасом. У нее на шее, как раз над верхней застежкой платья есть, кажется, маленькая круглая родинка. А может быть и нет, просто причудилась ему. Вот родинку на лице он точно помнит...

Чтобы избавиться от этого наваждения, переключить мысли на что-нибудь другое, Аюп встал, подошел к окну. На улице кружились крупные хлопья снега. Буран может разыграться. Подтянули в хозяйствах стога к фермам, нет ли?..

* * *

С наступлением зимы Фаузия погрузилась в чтение книг, оставшихся от Муглифы. Хорошо, что в детстве, благодаря бабушке, нанявшей мугаллимов, она овладела арабским языком и фарси. В беспокойную пору жизни в Тиряклах многое выветрилось из ее памяти, но знания, полученные в детстве, оказывается, не забываются.

Удивляется Фаузия: как Муглифе удалось собрать столько старинных книг и сохранить их? В одной из них она прочитала надпись: «Дорогая моя! Милости Аллаха безграничны. Память у тебя цепкая, ум светлый. Надеюсь, идя по пути, пройденному мной, ты вберешь в сердце наставления этой книги и передашь ее пришедшей в этот мир после тебя девочке».

Эти слова, казалось, были обращены непосредственно к ней, но имелась ввиду, конечно же, не она. А кто? Фаузия задумалась. Чтобы хотя бы приблизительно представить себе, кому адресована надпись в книге, надо было тихонечко размотать клубок памяти, поплавать мысленно в житейском море, поглотившем множество судеб, жизней, переживаний...

За окном скрипнула калитка, тронутая то ли ветром, то ли человеком. Собаки не залаяли, должно быть, умотали куда-то. Решив проверить, не пришел ли к ней кто-нибудь, Фаузия, на ходу сунув ноги в кожаные галоши, вышла в сени, толкнула, сдвинув щеколду, дверь, запертую с тем, чтобы не распахнул ее ветер.

– Ах, Малика, это ты, дочка?

– Я, инэй... Вот опять я у твоей двери...

– Заходи. На то и дверь, чтоб в нее входили-выходили.

Войдя в дом, модно одетая ханум принялась выкладывать из сумки на нары гостинцы.

– Ну навалила! Кто тут столько съест? – проворчала старуха.

– Зима долга, на холоде продукты не испортятся.

– Что верно, то верно... Раздевайся, садись, рассказывай...

Пока Малика раздумывала, с чего начать разговор, старуха, пробормотав краткую молитву, взяла в руки небольшой кисет и высыпала из него на палас какие-то камешки.

– Что это, инэй?

— Камешки для гаданья. Возникла у меня одна мысль, проверю ее достоверность.

— Мысль? Насчет меня?

— Потерпи...

У Фаузии, видимо, не хватило духу сразу выложить то, что ей открылось или пришло на ум при ворожбе. Не одна она, оказывается, обижена немилосердной судьбой — чего только не пережила сидящая перед ней сравнительно молодая женщина, и сколько еще предстоит ей пережить!..

— Давай-ка, дочка, чайку попьем, — сказала Фаузия. — Самовар у меня горячий, лишь немного приглушила, оживлю угли, и он сейчас же запоет.

Старуха быстренько унесла самовар в сени, а Малика, не зная что и подумать, застыла, сидя на краешке нар. Сидеть бы ей и сидеть бездумно, подобно каменным статуям в Сибири, где она родилась. Стоят те статуи, уставившись в небо незрячими глазами, и ничего им не нужно, ничто их не волнует...

Наука утверждает, что человек произошел от обезьяны. Удивляет это Малику: если утверждение ученых верно, то почему древние статуи схожи с людьми, а не с обезьянами? Она часто думала об этом, когда была беременна, и тревожилась, как бы ее ребенку не передался облик тех далеких предков, а то родишь обезьянку людям на смех, себе на горе. Но родилась у нее красивая, как куколка, девочка, только вот хлопот с ней...

— О чем задумалась, дочка?

Вернувшаяся из сеней старуха разостлала на нарах скатерть, поставила на нее поднос, на поднос — самовар и принялась расставлять посуду для чаепития.

— Я, инэй, часто думаю, откуда на земле взялись люди. Ученые пишут, что человек произошел от обезьяны...

— От обезьяны? — Старуха, прикрыв рот уголком платка, хохотнула. — Я ничего насчет этого не слышала. Одно могу сказать: многие науки ныне ложны. Самая древняя на свете книга — «Иске гахед»*. Ни о каких обезьянах в ней не говорится, а сказано, что отец рода человеческого — Адам, мать — Ева. Дожив до преклонных лет, я ни разу не видела, чтобы, например, корова превратилась в лошадь, а лошадь — в корову... А вот невежество порож-

---

* «Иске гахед» — пересказ Ветхого Завета на языке тюрки.

дается неведеньем, люди не читают древние книги, это на руку правителям: невежественным народом управлять проще...

– Мне Аюп велит читать больше, но я все равно мало что знаю. А ты такая умная, инэй! Я родом из Сибири, там, помню, тоже были знахарки вроде тебя.

Фаузия усмехнулась.

– Таких старух в любом краю немало... Ты пей-ка чай и ешь, не стесняйся. Моя бабушка говорила: кто поест свои гостинцы, у того жизнь будет долгой.

– Спасибо, инэй. Я чувствую себя здесь одинокой. Как поговорю с тобой, на душе становится легче.

– Издалека, значит, приехала ты в наши края. А ведь тебе, детка, предстоит снова проделать этот путь...

– Снова? Но там же у меня никого из близких теперь не осталось! – Малика растерянно уставилась в темные глаза старухи.

– Выпей-ка чай, а то остынет. Я добавила к заварке успокоительную травку.

– Я уже успокоилась. Говори, инэй, я все выдержу... ради Флориды...

– Сказано в старых книгах: человек не ляжет в могилу, пока не познает все, что ему предначертано. А тебя еще многое ждет впереди...

Малика перевела взгляд со старухи на начищенный до зеркального блеска самовар, увидела свое искаженное отражение – вытянутое лицо, расширившиеся глаза и, стараясь подавить волнение, приготовилась выслушать прорицания знахарки...

* * *

Небо как будто прохудилось: валил и валил снег.

Передав насосавшегося досыта ребенка названой матери, Мадина потянулась к своей стеганке. Магинур глянула на нее удивленно.

– Уже уходишь? Рано ведь еще на вечернюю дойку.

– Пойду-ка, душа у меня не на месте. Все трактора, оказывается, отправили на лесозаготовку, сумеют подвезти сено на санях по такому снегу, нет ли...

– Аллах мой, чем же будете кормить столько скота, если запас на ферме кончится?

— Поэтому я и беспокоюсь. Если задержусь там надолго, накорми Даута кашей.

...Мадина еще издали углядела своих первотелок. Несмотря на снегопад, все стадо стояло на выгулочной площадке: коровы других доярок — вразброд, а подопечные Мадины, сбившись в ожидании хозяйки, в кучу. Едва увидят скотинушки вдали ее белую пуховую шаль, начинают мычать, нетерпеливо теснятся у ворот площадки, а когда она подойдет, Буренушка норовит лизнуть ее в лицо.

Нелегко далась Мадине эта взаимная привязанность. Раздаивать группу первотелок, взять на себя тяжелую обузу не каждая доярка согласится, а Мадина согласилась потому, собственно, что ничего другого ей на ферме и не предложили. Ну, пока скот содержали в коровнике, еще куда ни шло, лишь лягнули ее пару раз нервные подопечные, настоящая маета началась после перевода стада в летний лагерь. Показали ей там первотелки, почем фунт лиха. Чего только не выкидывала лижущая теперь ее лицо Буренушка. Даже самые смирные первотелки с появлением кровососущих насекомых взбеленились. Взбрыкивали, лягались, не давали выдоить молоко до конца.

Буренушка возвращалась с пастбища в летний загон во главе стада, но Мадина доила ее, если это удавалось, самой последней из своей группы. Пока она управлялась с остальными первотелками, взбалмошная Буренушка следила краем глаза за ее действиями, возможно, раздумывая, что бы такое еще выкинуть. Сейчас положение изменилось. Загнав группу в коровник и разложив по кормушкам соль, Мадина в первую очередь подошла с подойником к Буренушке. У нее молока много, ждет дойки с нетерпением. Она теперь послушна, любит ласку и сама ласкова. Когда из ее податливых сосков белыми нитями заструилось молоко и в подойнике зазвучала своеобразная, радующая слух музыка, Мадина, действуя уже машинально, предалась воспоминаниям о пережитом в летнем лагере...

...Другие доярки уже закончили дойку, готовили ужин: по загону разносился от костра горьковатый дым, а хлопотам Мадины еще конца не было видно. К ней подходили товарки, предлагали помощь, но разве же своенравные первотелки подпустят их к себе! И Мадине-то, уже не первый день работающей с ними, удается выдоить у иной лишь половину набравшегося в вымени молока.

Наконец, очередь дошла до Буренушки.

– Ну, красавица моя, постой спокойно...

Мадина погладила ее по шее, затем, поглаживая бок, передвинулась к вымени, подставила под него подойник, опустилась на корточки, протянула руки к набухшим соскам. Но тут ветер изменил направление, дым отнесло в сторону, на Буренушку, видимо, налетели какие-то насекомые, и она дернулась, ударом копыта отбросила подойник.

– Ай, скотинушка, до чего же ты нетерпеливая!

Один из пастухов, молча наблюдавших за тем, как мается Мадина, посоветовал наложить на задние ноги Буренушки путы. Она не согласилась. Если корова привыкнет к путам, хлопот с ней добавится и характер у нее может совсем испортиться, надо приучить ее к нормальной дойке.

Пастухи, чтобы разогнать кровососущую нечисть, разожгли три дымных костерка. Мадина снова подошла к Буренушке.

– Потерпи, пожалуйста! Тебе же, глупенькая, самой будет плохо, если не подою!

У Буренушки, конечно же, болит разбухшее вымя. У раздоенных коров в таких случаях молоко само по себе брызжет из сосков, а у этой молочные каналы еще не раскрылись как следует.

Мадина опять присела, теперь уже решительно обеими руками взялась за соски. Взмолилась мысленно: «Господи, помоги!» Если действовать быстро... Но и на этот раз постигла ее неудача. Буренка, вздрогнув, хлестнула хвостом по лицу Мадины.

– Стой спокойно! – жестко приказала она.

Нет, не послушалась Буренушка. Шарахнула копытом по подойнику и отошла в сторонку.

– Попробуй положить перед ней какой-нибудь корм, – посоветовал один из пастухов.

– А что я положу? Есть, правда, у меня немного муки, болтушку ей, что ли, сделать?

– Ага! Потом она каждый день будет ждать болтушку!

– Не сможешь ты ее раздоить. От таких первотелок доярки обычно отказываются.

— Да как же я от нее откажусь? — Мадина переводила взгляд то на стоявшую в сторонке первотелку, то на пастухов. — Кто ее возьмет?

— А надо сдать ее на мясо! Так ей и надо!

— Нет уж! Вот увидите, Буренушка станет самой удоистой коровой в моей группе. Она из потомства Бильдяш, которую отняли у нас во время войны.

— Ну раз так, мучайся с ней, а мы не можем торчать тут всю ночь из-за этой твари.

В тот вечер подоить Буренушку так и не удалось. Наутро объявился Саяф, распорядился:

— Привяжите ее крепко к столбу, наложите путы и на передние, и на задние ноги, пусть попробует тогда поартачиться!

— А потом все время доить ее так?

Мадина испугалась за свою подопечную: пропадет скотинушка! Решила предпринять еще одну попытку подоить ее не связывая. Направилась к Буренушке с ломтем хлеба в руке.

— На хлебушка, постой уж спокойно, а то погибнешь, детка!

Корова сделала пару шагов ей навстречу, мыкнула, уловив запах хлеба, и охотно приняла гостинец. Но едва Мадина прикоснулась к ее распухшему вымени, как получила удар чугунной крепости копытом в грудь. В глазах у нее вспыхнули искры, затем мир объяла тьма.

Очнулась Мадина в шалаше. Рядом столпились доярки. Мадина попыталась привстать, но боль в груди не позволила. Закашлялась и выхаркнула кровь.

— Что со мной?.. Буренушку не подоили?

— Да кому же она поддастся? Ушла со стадом на пастбище. Не переживай, такое, когда раздаиваешь первотелок, частенько случается... — Пожилая доярка Шамсинур подсунула руку под голову Мадины, чуть-чуть приподняла ее: — На-ка, выпей травяной отвар. Пей-пей, все выпей!

Хотя снова в груди резанула острая боль, Мадина выпила. Тут же ее затошнило.

— Тазик... тазик дайте. Вырвет сейчас...

Поднесли латунный тазик. Изо рта Мадины хлынул в него выпитый отвар со сгустками крови.

— Давай еще, еще! Чтобы болезнь не осталась в тебе.

Мадине стало легче. Шамсинур опустила ее голову на подушку.

— Теперь полежи спокойно, не двигайся. Маленько погодя смажу тебе грудь целебной мазью, есть у меня... Пей этот отвар, больше не затошнит. Ты молодая, скоро поправишься.

Доярки ушли. Мадина лежала, разглядывая каркас шалаша. На жерди были срублены молодые деревца, на них засохли зеленые, едва успевшие раскрыться листочки. «Вот и ты, смолоду придавленная нуждой, увянешь еще зеленой», — подумала о себе Мадина.

У нее начали слипаться глаза. В последнее время она постоянно недосыпала, глаза из-за этого покраснели. Надо бы дать им отдохнуть. Сегодня вечернюю дойку, наверно, возьмет на себя Шамсинур-апай, и она, Мадина, поспит вдоволь. Если лежать не шевелясь, боль вроде бы особо не беспокоит.

Вскоре она заснула и проснулась оттого, что перед шалашом жалобно замычала корова. Мычание повторилось. В переводе на человеческий язык оно, кажется, выражало нестерпимую муку. Буренушка?

— Ы-ых... — Превозмогая боль, Мадина передвинулась к выходу из шалаша, приподняла прикрывавшую его ткань. И тут же к ней просунулась Буренушка, лизнула ее волосы.

— Ой, детка, подоить просишь? Шамсинур-апай, принеси мне, пожалуйста, подойник и скамеечку!

— Господи, таки подняла она тебя, Мадина!

— Пропадет ведь скотинушка... Еще бы тряпку и теплую воду...

После того, как Мадина, постанывая, обмыла теплой водой вымя Буренушки, та позволила прикоснуться к соскам. В подойник тоненькими ниточками заструилось молоко. Выдоив его, можно сказать, досуха, Мадина вернулась в шалаш и свалилась на свою постель. Голова у нее кружилась, перед глазами как будто мельтешил рой черных мошек.

Снаружи доносился голос Шамсинур-апай, она бранилась, пытаясь подоить первотелок, а те противились. Беззастенчиво матерились пастухи. Если бы животные понимали человеческий язык, честное слово, со стыда бы сгорели.

Усталая Шамсинур забралась в шалаш, когда уже стемнело, легла спать не поужинав.

Утром Мадину опять разбудило мычание. Шамсинур повернулась на другой бок, пробормотала:

— А ну их!..

— Буренушка! — окликнула Мадина, и та обрадованно мыкнула в ответ. Выбравшись из шалаша, Мадина чуть не присела от удивления: за Буренушкой столпились остальные первотелки.

— Ай, скотинушки... — На глаза Мадины навернулись слезы. Приласкала Буренушку, погладив ее по скулам. — Глупышка ты моя!

Животные, словно почувствовав беду, случившуюся с их опекуншей, с этого дня стали послушней. Нельзя сказать, что в дальнейшем все пошло гладко. Несмотря на старания Мадины, у Буренушки засох один сосок. Правда, все равно молока она дает вдвое, а то и втрое больше, чем другие первотелки. И все-таки... Буренушка лишилась одного соска, Мадина — голоса. Разговаривать она разговаривает, а петь не может. Попытки спеть заканчивались тем, что у нее горлом шла кровь. Магинур-инэй поит ее отварами трав, болезнь, говорит, пройдет, да Мадине не очень в это верится. Раньше, бывало, если становилось грустно, нападала тоска, утешала ее песня. Теперь заглушить тоску она может только работой...

...Закончив дойку, Мадина решила заглянуть в «Красный уголок», повидаться с заведующим фермой. Саяф, похоже, был не в духе, сидел, нервно перекидывая цигарку из одного уголка рта в другой.

— Саяф-агай, я глянула, сколько на ферме сена осталось. Не более, чем на два дня.

— Ну и?

— Что будем делать, если забуранит?

— Ты, Мадина, кем тут работаешь?

— Как то есть кем? Дояркой.

— Вот и иди, занимайся своими коровами. Запас сена — не твоя забота.

— Пока вы озаботитесь, того и гляди уже поздно будет.

— Что ты ко мне привязалась? Сказано же тебе...

Мадине ничего другого не оставалось, как повернуться и уйти. Обидно стало ей до слез. Должна же она не обо всей ферме, так о своих подопечных позаботиться! Не сходить ли, подумала, к Мирхайдарову? А если и он выставит ее, как Саяф? Может, в самом деле много она на себя берет? Может, зря паникует? Руководители

хозяйства ведь люди сельские, не первый год занимаются животноводством, дело свое знают, потому, наверно, и не волнуются.

Не пошла Мадина к председателю, поделилась тревогой только с Магинур-инэй. А когда та мягко побранила ее, мол, сама себе головную боль ищешь, — успокоилась, посадила Даута на колени, выпростала из-под платья набрякшую грудь...

* * *

В Таулах, рядом с близким человеком, жизнь Кукбуре потекла спокойней. Иногда, правда, она злилась на Карабаша, но лохматый черный пес был покладист. Чутко улавливал, чего подружка хочет и чего не хочет, не забывая, что Кукбуре — лесная хищница, то есть в природной иерархии занимает более высокое, чем у него, положение. Нет-нет да охотились они вдвоем в окрестных лесах. Случалось, поймают лисицу, зайца, куропатку, на худой конец зазевавшуюся сороку. Карабаш никогда не кидался на добычу первым, уступал ее Кукбуре. Потому они и ладили меж собой. Лишь в тех случаях, когда Кукбуре норовила убежать слишком далеко от дома, Карабаш, оскалив зубы, предупреждал: нельзя! Она все же убегала куда-то и возвращалась день-другой спустя.

В один из предвесенних буранных дней Кукбуре почувствовала беспокойство и поздно вечером ушла со двора одна. Поднявшись за околицей, села на холм, издала тоскливый волчий вой и крупными скачками двинулась в ту сторону, где жила прежде.

Верно замечено: сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит. Инстинкты, заложенные в зверя природой, можно приглушить, но полностью вытравить невозможно. Достигнув к утру Глубокого лога, Кукбуре увидела волчьи следы, еще не занесенные снегом, и по запаху определила, что совсем недавно здесь прошла стая Белолобого. Белолобый силен и сноровист, как Бывалый, но в отличие от отца чрезвычайно жесток: отверг Кукбуре, свою мать, и вся стая отвергла ее, потому что после гибели Бывалого стала она просто одинокой, обременительной для стаи сукой. Вспомнив об этом, Кукбуре присела и горестно завыла.

Однако прибежала она сюда не для того, чтобы вернуться в стаю. Кукбуре и до этого несколько раз побывала в Тиряклах и однажды уловила знакомый, сильно взволновавший ее запах. Он не был так резок, отчетлив, как прежде. К нему примешались другие запахи – навоза, лошадей, сбруи, дегтя. Но Кукбуре выделила из этой смеси запах, который был присущ лишь одному человеку – ее Хозяину. И на сей раз, несмотря на непогоду, побежала в Тиряклы с тем, чтобы отыскать его. Пусть он сажал ее на цепь, сурово учил подчиняться приказам, зато не страдала она от голода и холода. Если в то еще время, когда она была щенком, увязывалась за ним, собравшимся съездить в соседний аул, Хозяин брал ее в свою повозку, защищал от бродячих собак и вообще в обиду не давал...

Наверху, на горе, ударил навстречу снежный заряд. Но для Кукбуре он не страшен. На дороге нет ни души. Люди, признав свое бессилие перед неистовством природы, попрятались в своих укрытиях, притихли. Да, человек слаб в сравнении с силой стихий. А Кукбуре торжествует, ей весело мчаться сквозь буран, чувствуя свою нерасторжимую связь с природой, слитность с ней.

А вон и аул. Погруженный в снега, в буранной мгле он кажется более приземистым, чем на самом деле, съежившимся в испуге. Со стороны молочной фермы ветер доносил резкие запахи, в том числе запах сукровицы, хорошо знакомый Кукбуре. Это был запах, связанный с появлением приплода, началом новых жизней. Такой же запах распространялся вокруг и тогда, когда щенилась она сама. Сейчас он пробудил в ней инстинкт продолжения рода, и Кукбуре непроизвольно, забыв об осторожности, завыла, призывая самца...

* * *

После посещения знахарки Малика места себе не находила, все у нее валилось из рук. Не поверила бы старухе, но та в общих чертах всю ее прошлую жизнь обрисовала верно, будто лучом высветила темные полосы в ней.

– Есть опасность, что дочка твоя никогда не заговорит, – сказала старуха.

– Ах, инэй!..

– Я это поняла еще при прежних наших встречах, но не сказала тебе сразу, надо было подумать, как быть – нужного лекарства ни у меня, ни поблизости нет.

– Лекарства? Значит,.. – Малика, выпрямившись, с надеждой смотрела на старуху, ожидая, что еще она скажет.

Старуха не спешила. Промочила горло глотком чая, посидела, устремив взгляд куда-то вдаль.

– Твоя прошлая жизнь была нелегка, – заговорила она наконец. – Ты хранишь в душе глубокую обиду на близкого тебе человека, винишь его во всех своих бедах. Из-за него покинула родной дом, с этого начался твой ошибочный путь...

Из глаз Малики брызнули слезы, она уткнулась, зарыдав, в лежавшую рядом подушку.

– Что же мне, инэй, делать? – спросила она, несколько успокоившись.

– Больше я тебе ничего не скажу. Пусть ко мне придет твой муж.

– И ты все, что знаешь обо мне, расскажешь ему?

– С чего это я расскажу? Мне надо повидаться с ним потому, что помочь нам кое в чем может только он.

– Ты имеешь ввиду лечение Флориды?

– Да, и это...

...Сегодня Аюп не придет домой – рано утром уехал в Уфу. На улице разбушевался буран. Убаюканная его гулом, Флорида уснула. А Малику этот звук пугает. Даже в Сибири не видела она таких снежных бурь. Ветер шумно прорывается на чердак, свистит в щелях ставен, по-звериному воет в печной трубе. Если бы рядом не посапывала спящая дочка, Малика, пожалуй, со страху попросилась бы ночевать к соседям. Поглядывая на Флориду, она задумалась. Мелькнувшая в голове мысль о Сибири потянула за собой цепочку воспоминаний о прожитых там годах.

Маму свою она не помнит. Знала со слов тетки, что звали ее Гайшой. Умерла при родах. Отец, приказчик Абдрахман, сильно из-за этого загоревал и, даже не взглянув на младенца, то есть на Малику, повинную в смерти его горячо любимой жены, сказал бездетной свояченице Камиле: «Забери ее себе, если хочешь, мне она не нужна».

Тетя Камила Малику в детстве особо не обижала, но и не баловала. В нэповские времена эта предприимчивая ханум содержала в большом сибирском селении Кызылкаш лавку и заезжий двор. Если первой ее заботой было вести дело прибыльно, то второй – не спускать глаз с молодого и склонного к распутству мужа. Малика пошла в сельскую школу поздно, когда ей исполнилось десять лет, но едва научилась читать, писать и считать, овладела знаниями, достаточными, как говорится, для зарабатывания на хлеб, на соль, тетка отлучила ее от учебы, определила в помощницы по хозяйству, фактически в прислуги.

Уборка, стирка, мытье посуды, уход за скотом легли на плечи хрупкой еще девочки. Малика уставала так, что ночью долго не могла уснуть, а как только обозначался рассвет, в ворота стучал кнутовищем водовоз:

– Эй, красавица, вставай, прими воду!..

Трудно сказать, сколько продолжалась бы такая жизнь, если бы Малика к пятнадцати годам не выделилась среди сверстниц высоким ростом, крутыми плечами, заметно налившимися бугорками грудей. На нее стали заинтересованно поглядывать представители противоположного пола, и самым беззастенчивым из них оказался дядя Шафик, муж тетки.

Сначала Малика воспринимала внимание езнэ как естественное стремление защитить ее от нескромных взглядов и смутно еще понимаемых ею посягательств. Но однажды, когда она, слегка простудившись, лежала в постели, Шафик подошел к ней и, похлопывая ее по спине, пропел:

Грудки твои туги,
Щечки румяны,
Ах, взглянув на тебя,
Я хожу как пьяный...

Он был нетрезв на самом деле. Малика откинула его руку, отодвинулась к стене.

– Отойди, а то тетю позову!

– Она ушла, не скоро вернется. В доме только ты да я... – Шафик приник к ней, забормотал, обдавая водочным перегаром и запахом чеснока: – Нам обоим будет хорошо... Ты ведь еще не знаешь вкуса любви... Я сделаю тебя счастливой...

Малика растерялась. Всю жизнь на Шафика она смотрела как на человека, заменившего ей отца, и его поведение сейчас не укладывалось в ее сознании. Оно еще оставалось детским, хотя внешне Малика выглядела почти взрослой девушкой. Она поняла только, что ей грозит нечто ужасное с не менее ужасными последствиями, и взмолилась:

— Дядя, что плохого я тебе сделала? Раз так, отправьте меня к отцу!

— Как же, ждет не дождется тебя отец! Ха-ха! Хоть бы раз поинтересовался тобой, навестил! Только я тебя люблю...

Мольба простодушной девчонки еще больше распалила Шафика, оскотинившегося в баловстве с женщинами. Он впился губами в губы Малики.

— Уйди, дядя... меня тошнит...

Ее стошнило на пол и она откинулась на подушку. У нее уже не было сил сопротивляться, Шафик добился своего. Малика ничего, кроме боли и жгучего стыда, не испытала.

Наутро тетка, когда Малика принесла ей в спальню чай, заметила под ее глазами подозрительную синеву, спросила, стараясь сохранить спокойный тон:

— Веки у тебя припухли. Плакала?

Малике захотелось откровенно рассказать ей о том, что произошло накануне вечером, поплакать, припав к ее груди. Но тут тетка, изменив своей обычной сдержанности, зло прошипела:

— Говорят, воспитав теленка, будешь хлеб с маслом есть, воспитав сиротку — локти себе кусать. Смотри, девчонка, не опозорь меня! У тети Камилы терпение долгое, суд короткий. Поняла?

Ушла Малика из теткиной спальни, закусив губу.

Если бы Шафик больше не приставал, Малика, толком не осознавшая, какая с ней стряслась напасть, жила бы и жила при тетке. Но распутный езнэ, познав вкус молодого тела, не собирался ставить на этом точку. И однажды вечером, когда Малика пошла в сарай доить корову, вошел следом, обнял ее сзади.

— Соскучился я по тебе, ягодка моя!

— Отпусти, дядя, закричу!

— И чего добьешься? Прогонит тетка со двора — куда пойдешь? Ну, куда?

Почувствовав на лице его горячее дыхание, жар впившихся в ее губы губ, Малика вдруг обмякла, выронила подойник – зазвенев, он откатился в сторону.

– Ах, дядя... Хватит!

– Не хватит. Это только начало... – Шафик неожиданно поднял ее, отнес на ворох сена, торопливо расстегнул свой полушубок и ворот ее платья, осыпал поцелуями ее открывшееся тело. – Сейчас... Ты еще не знаешь... не познала счастья. На этот раз тебе не будет больно. Ягодка моя, лебедушка!..

Вдруг по телу Малики пробежала дрожь, ей захотелось поскорей познать обещанное счастье.

– Ах, дядя! Не мучай меня! Умру! Ах!..

Два тела соединились, две души как бы слились в единую. Если бы даже рядом вдруг возникла Камила, они уже не смогли бы остановиться. Малика содрогнулась, впервые испытав удовольствие от близости, и, немного придя в себя, услышала возле уха шепот:

– Я тебя, душенька, не насиловал, ты сама отдалась...

Малика слабо улыбнулась, истолковав слова Шафика в том смысле, что теперь она взрослая, сама себе хозяйка, но не хозяйкой она стала, а рабой наслаждения, которым одарил и будет одаривать ее езнэ.

Говорят, любому удовольствию сопутствует неприятность. Неприятности, более того – страдания начались позже, когда Малика поняла, что беременна. Тетя, конечно, не могла не заметить перемену в ее фигуре, но почему-то молчала. Молчала долго, несмотря на то, что неотвратимо приближался срок родов.

Разговор с ней с глазу на глаз стал одним из самых тяжелых моментов жизни Малики. Шафика не было дома, уехал по каким-то делам в город. Тетя Камила, должно быть, намеренно выбрала для разговора этот момент.

День прошел спокойно. Сели за вечерний чай. Малика разливала чай, не поднимая глаз на тетю. Если не принимать во внимание шумок, исходивший от самовара, в доме царила глубокая тишина. Неожиданно с комода ни с того ни с сего упала на пол кукла, с которой Малика играла в детстве. Она торопливо нагнулась, взяла ее в руки. И тетя первый раз с тех пор, как сели за стол, разомкнула губы.

— Кукла... Я выменяла ее для тебя у приехавших из города торговцев за олений рог...

Малика, промолчав, лишь еще ниже опустила голову.

— Когда я взяла тебя к себе, ты была трехдневным младенцем. Думала, станешь мне опорой на склоне лет...

Малика застыла с куклой в руке. Тетя выносит ей приговор. Она давно со страхом ждала этого часа, этой минуты. Что ж, тетя вправе осудить ее, да, вправе...

— Почему молчишь?

Малика вздрогнула, но не ответила на вопрос.

— Твой отец ни разу не поинтересовался, жива ты или нет, — продолжала тетя. — Вот теперь пусть увидит дочку. Короче, завтра рано утром подъедет к воротам возок. Дорога предстоит тебе дальняя, оденься потеплей, возьми тулуп, еду... Возница знает, где тебя оставить. Что бы тебя там ни ожидало, на мой порог больше не ступишь. Щадя твою молодость, не проклинаю тебя, но и благословить не могу.

По щекам Малики хлынули слезы, закапали в чашку с недопитым чаем, на розовое лицо куклы. Тетя опрокинула свою чашку на блюдце, молитвенно взмахнула руками и, волоча ноги заметней, чем обычно, ушла в свою спальню, закрылась там.

Утром, даже после того, как раздался стук в ворота, Малика все еще надеялась, что тетя выйдет, скажет, притронувшись к ее пылающему лбу: «Ладно, останься. Не одна ты виновата. Еще одного ребенка как-нибудь выкормим». Но тетя не вышла. Малике не оставалось ничего другого, кроме как сесть, завернувшись в тулуп, в кошевку. Из еды в дорогу она взяла узелок с краюхой хлеба.

В деревню, где должна была определиться дальнейшая судьба Малики, приехали под вечер. Перед домом, возле которого остановился возок, росло дерево, показавшееся Малике необычайно высоким и раскидистым. Заметив ее удивление, возница сказал:

— Кедр. Орехи с таких собирают... — Затем, повернув лошадь в обратную сторону, добавил: — Постучи в ворота, тут твой отец живет. — И уехал.

На несмелый стук Малики вышла из дома дородная женщина. Повозившись с запором, открыла калитку, уставилась на нее:

— Чего тебе?

– Мне нужен человек по имени Абдрахман.

– Абдрахман? Зачем он тебе понадобился?

Во дворе, загремев цепью, зашлась в лае собака. То ли испугавшись лая, то ли оробев перед хозяйкой, вцепившейся жирной рукой в ручку калитки так, будто от этого зависела судьба мира, Малика проговорила еле слышно:

– Он... мой отец.

– Отец? Кабы у него была дочь вроде тебя, я бы знала. Слава Аллаху, живу в этом доме шестнадцать лет!

Пока Малика раскрыла рот, чтобы объяснить, что и как, калитка захлопнулась. Вскоре во дворе у самых ворот забесновалась спущенная с цепи собака. Малика, ничего не видя, поспешила прочь от этого двора и как-то неосознанно затесалась в колонну людей, устало шагавших по заснеженной улице.

Из калиток стали высовываться жители деревни, кое-кто вышел на улицу, рядом со взрослыми засновали любопытные ребятишки. Послышался зычный голос:

– Посторонним к колонне не подходить! Заключенным не останавливаться! Шаг влево, шаг вправо от колонны считается побегом, будем стрелять без предупреждения!

Колонну сопровождал вооруженный конвой. Как конвоиры ухитрились не заметить, что к заключенным присоединилась не имевшая никакого отношения к ним девушка? Это можно объяснить лишь тем, что их внимание переключилось на жителей деревни. А Малике в тот момент было все равно, куда идти и с кем идти, вот она на изгибе улицы и оказалась рядом с мужчиной по имени, как выяснилось позже, Павел. Лишь он один посмотрел на нее, удивленно вскинув брови, но ничего не сказал, и Малика побрела вместе с этими изможденными людьми навстречу неведомой судьбе.

За деревней, в некотором отдалении от нее, колонну остановили у длинного строения барачного типа. Оно служило, видимо, промежуточным пунктом остановки на пути заключенных с железнодорожной станции в раскиданные по тайге номерные учреждения, проще сказать – лагеря. При пункте содержался небольшой спецперсонал, была кухня. Внутри строения были сооружены нары, застеленные соломой. Прежде чем завести пригнанных зе-

ков туда, провели перекличку. Выкрикивались фамилия и имя заключенного, в ответ слышалось короткое «я!».

– Иванова Анастасия!

– Это тебя, – сказал Павел, подтолкнув Малику в бок, и она, несомая течением жизни невесть куда, тоже откликнулась:

– Я!

И стала она Анастасией Петровной Ивановой. Куда делась подлинная Анастасия Иванова, Малика и поныне не знает. Может быть, сбежала как раз в тот день, и Павел подтолкнул Малику в бок, чтобы не вскрылся факт побега. Иначе поднялся бы переполох, охрана ожесточилась, положение и без того измученных заключенных стало бы еще хуже.

Вообще-то Павел не хотел, наверно, причинить Малике зло, напротив, был к ней участлив. Когда заключенных запустили в освещенный керосиновыми фонарями барак и раздали бачки с жидкой похлебкой, все жадно набросились на горячую еду, только Малика не притронулась к ложке.

– Ты что, Настя, не ешь? Тебе плохо? – спросил Павел.

Малику скрючила жуткая боль в пояснице.

– Ой, мамочка, умру сейчас!..

Немного погодя она издала дикий вопль, покатилась по соломе, схватившись за живот.

– Да у тебя схватки начались! – догадался Павел. – Снимай штаны! Давай, давай, не стесняйся! У меня было двое детей, не впервой такое вижу...

На вопль прибежал один из охранников. Поняв, в чем дело, цыкнул слюной сквозь зубы, сказал равнодушно:

– Ладно, пускай рожает.

Разрешил, стало быть, родить и ушел. К человеческим страданиям он уже привык, не раз в пути у него на глазах падал и умирал от истощения человек – что ж ему, переживать из-за каждого?..

Малика мучилась не очень долго, ребенок под утро выскользнул из материнского чрева. Младенца завернули в ее узорчатый – алые вишни по синему полю – платок и сверху еще обмотали чьим-то теплым шарфом.

– Мальчик у тебя! – сказал Павел, накрыв Малику своей телогрейкой. «Почему он не родился до того, как тетя прогнала меня? Она сожалела, что нет у них сына.

Вот родился мальчик, пусть бы там остался, мне он не нужен, я не знаю, что ждет меня завтра...» Так или примерно так подумала Малика и заснула.

А спустя часа два колонну погнали дальше. Ребенка нес Павел, с его подсказки двое других мужчин, поддерживая под руки, вели Малику. Километра два-три прошла она в полуобморочном состоянии и простонала:

– Все, больше не могу! Застрелят так застрелят, оставьте меня здесь!

– У тебя теперь есть ребенок. Потерпи! – приказал Павел.

Дошли до какого-то поселка. На улице кучками стояли местные жители. Конвоиры грозными окриками предупреждали их, что передавать что-либо заключенным запрещается, – в случае нарушения запрета будут стрелять. И все же одна сердобольная девочка лет десяти-двенадцати бросила поравнявшейся с ней Малике краюшку хлеба. Малика не сумела поймать ее, краюшка упала под ноги и по наледи скользнула к обочине дороги. Павел метнулся за ней, оторвался от колонны, и в ту же секунду громыхнул выстрел. Пока Малика сообразила, что произошло, Павел упал с ребенком на одной руке и краюхой в другой, снег рядом с ним обагрила кровь.

– А-а-а! – закричала Малика и рванулась было туда, но кто-то крепко схватил ее за предплечье.

– Дура!

Двое опекунов потащили ее дальше. Колонну не остановили, она продолжала свой путь, как будто ничего не случилось.

– Шагай, девка, – сказал один из поддерживавших ее мужчин, – если ребенок жив, может, кто-нибудь из местных его подберет и спасет, а тут он не сегодня-завтра все равно бы помер.

Утрата ребенка не обернулась для Малики безутешным горем. Не возникло у нее тогда материнское чувство, может быть, оттого, что была еще слишком молода, да и ни разу не покормила младенца грудью, не ощутила тепло маленького тельца.

Жизнь в лагере сложилась для нее поначалу сносно, хотя светлой эту жизнь не назвать. Подлечив в лазарете, назначили Малику кухонной работницей в лагерной столовой. Грязная работа с раннего утра до позднего вечера была нелегка, но все же не тяжелей, чем на лесоповале.

Молодой организм делал свое дело: Малика постепенно окрепла, налилась, как спелая вишенка, соком, превратилась в стройную, красивую девушку и получила прозвище Краля. Затем прозвище это сменили другие – Курва, Дешевка, Полковничья подстилка. На ее броскую красоту обратил внимание Хозяин – начальник лагеря. Нет, сам он не пользовался ее телом, но над каждым начальником есть еще начальники, им надо угождать. Стал Хозяин подкладывать красавицу под наезжавших в лагерь время от времени инспекторов в полковничьем, как правило, чине. Бесправная Малика, низведенная фактически до положения рабыни, противиться не могла. Шило в мешке не утаить, о том, что Анастасию Иванову взял под личную опеку сам Хозяин, знали и подчиненные ему офицеры, и лагерные паханы. Это имело и свою положительную сторону: Малика не голодала, носила опрятную одежду, была ограждена от насилований отпетыми уголовниками.

Она встречала в лагере уже третью весну, когда начальника сменили. К этому времени Малику перевели на обслуживание отдельной комнаты, где питался начсостав лагеря. Принеся обед новому начальнику, Малика остолбенела: он был поразительно похож на застреленного Павла. «Этого не может быть! Таких чудес не бывает!» – мелькнуло в голове Малики. Начальник заметил ее смятение.

– Что с вами? – спросил он. – Вы изменились в лице.

– Вы... похожи на одного очень хорошего человека... Его звали Павлом... – призналась Малика.

– Из каких краев был этот человек?

– Не знаю. Мы случайно встретились на этапе. Я родила в пути, он перерезал пуповину моего ребенка...

– Ребенка? Сколько вам лет?

– Девятнадцать. Почти...

– Постойте-ка! Я просматривал дела заключенных, ознакомился и с вашим. Там год рождения у вас...

– Я не Анастасия Иванова, – выпалила Малика.

– А кто?

– Малика Абдрахмановна Харисова.

– Странно! Попробую разобраться в этом чуть позже.

Он оказался порядочным человеком, этот новый начальник. Вызвал Малику в свой кабинет, внимательно выслушал рассказ о ее злоключениях. Был послан запрос

в Кызылкаш. Оттуда пришел ответ: «В настоящее время в селе Кызылкаш Харисова Малика Абдрахмановна не проживает. Три года назад по неизвестной причине она уехала из села и более не возвращалась. Сведения получены от ее приемных родителей». К ответу была приложена фотокарточка четырнадцатилетней Малики.

Дело направили в суд. Суд установил, что Харисова попала в заключение случайно и подлежит немедленному освобождению.

Малика не чуяла под собой ног. Ее нигде не ждут, но она свободна! Начальник лагеря, вновь вызвав ее в свой кабинет, спросил:

– Может, останешься у нас вольнонаемной? Дадим тебе комнату...

– Нет, уеду.

– Куда направишься?

– В Москву.

– У тебя там есть кто-нибудь?

– Да, младшая сестра матери. Попробую отыскать ее.

– Москва большая...

– Что ж, в большом городе и работу найти легче.

– Завтра по реке пройдет пароход. Я распоряжусь, чтобы тебя доставили на пристань...

Малика той ночью не сомкнула глаз. Тревожилась, что опоздает на пароход. Но в пять часов утра вольнонаемный кучер поднял ее и в пролетке начальника отвез на пристань, расположенную в нескольких километрах от лагеря.

Как ни экономила Малика выданные ей на первое время деньги, все же, когда ступила на перрон московского вокзала, ни копейки у нее не было. Тетя Камила говорила, что ее младшая сестра Зайнаб живет в Москве на каком-то Арбате. Арбат Малика нашла, но найти там женщину по имени Зайнаб оказалось не проще, чем отыскать иголку в стогу сена. Стало ясно, что это – дело безнадежное.

Пришлось вернуться на вокзал, провести ночь в тамошней толкотне. На следующий день, голодная, крутилась близ буфета и женщин, торговавших пирожками. На нее обратила внимание уборщица буфета, сказала, покачав головой:

– Такая красивая, а глаза голодные. Куда это годится? Есть у тебя к кому пойти?

– Нет.

– А документы есть?

– Нет.

Была у Малики справка с лагерной печатью, но признаться в этом она не решилась. Спросила робко:

– У вас тут мне какая-нибудь работа не найдется? Я порядок работы на кухне знаю.

– Для устройства на работу везде нужны паспорт и прописка.

– Что же мне делать?

– Идем, напою чаем. Вечером сведу тебя с одной женщиной, которая такими, как ты, интересуется...

В тот вечер Малика открыла новую страницу своей непутевой жизни. Уборщица привела ее к модно одетой женщине с чрезмерно накрашенным и напудренным лицом – некой Магде. Магда, убедив Малику в том, что иной возможности, кроме как зарабатывать телом, у нее нет, принарядила ее и устроила встречу с богатой, судя по всему, дамой по имени (а может быть, по кличке) Клеопатра. После этого в течение месяца Малика, можно сказать, отдыхала. Ее познакомили с другими красивыми девушками, водили по магазинам и ресторанам, учили светским манерам, приемам обольщения мужчин и способам предохранения от беременности, словом, прошла она курс подготовки профессиональной проститутки высокого класса. Присвоили ей кличку Белый пудель, должно быть, этому поспособствовали ее выбеленные под блондинку волосы. Вскоре Малика стала приносить хозяйке солидный доход. Появились деньги и у нее самой. Хозяйка, имевшая обширные связи, добыла ей паспорт. Лагерную справку с фиолетовой печатью Малика порвала и выбросила.

Она становилась все более искусной в своем деле, но при этом в глубине души вынашивала мечту о собственном доме, семье. Малика увлеклась вышиванием, к этому обязывала и профессия – надо было иногда изображать из себя светскую даму за благородным занятием. Однажды в магазине привлек ее внимание образец для вышивания: на картинке по тротуару шла семейная пара, ангельского обличия ребенок протягивал матери букет цветов. Над ними в синем небе плыли белые кучерявые облака, идиллию дополняли клумбы перед окруженными зеленью домами, построенными из красного кирпича.

Купив картинку, Малика усердно принялась переносить ее на тканую основу. Когда она возвращалась в свою комнату, надышавшись табачного дыма, устав от общения с доведенными вином и водкой до скотского состояния мужчинами, работа с иглой придавала ее жизни новый смысл, согревала ее душу. Дома она вышивала с особым старанием, будто не просто вышивала, а сама укладывала в их стены кирпичик за кирпичиком. А вот глаза у мужчины на картинке были серые и ей не понравились. Немного подумав, она вдела в иглу синюю нитку. Пусть глаза у него, решила, будут небесного цвета — цвета бесконечной жизни и надежды...

Сейчас, напоминая о ее прошлом, эта вышивка висела на стене в застекленной раме. Взяла ее Малика с собой, уезжая из Москвы с Аюпом.

Окна посветлели, наступало утро. Из-за того, что провела ночь без сна, перебирая в памяти минувшие годы, глаза у Малики покраснели, в голове шумело.

Старуха-знахарка потребовала прислать к ней Аюпа. Что она намеревается сказать ее мужу? Рассказать ему о себе все духу у Малики не хватило. А старуха видит каждого насквозь, как бы лишнего не наговорила. Малика дорожит своей теперешней жизнью. Аюп стал в последнее время грубоват, но она успела полюбить его. Может быть, из-за проклятого прошлого не додает ему тепла — и телесного, и душевного, однако старается жить с ним в ладу. С рождением Флориды вспыхнула в ней страстная материнская любовь. У Флориды есть отец, который тоже очень любит дочку, это усиливает ощущение счастья, возносит душу Малики в заоблачные выси. Страшно подумать, что всего этого она может лишиться, и жизнь ее в Таулах окажется лишь коротким, сладким сном...

* * *

Буран не утихал, напротив, усиливался. Еще за пару дней до того, как природа разбушевалась, у Ихсанбая заныли раны, а теперь стало ему вовсе невтерпеж. Пробовал греться у печи, потирая рукой следы ожогов на теле, — не помогало. Рауза, несмотря на холодное отношение мужа к ней, жалела его.

– Я раны Шангарея муравьиным маслом смазывала. Смажь и ты, – посоветовала она. – А медвежий жир у тебя где-нибудь не остался? Я бы растопила...

– Какой медвежий жир? Что ты, тряпичная голова, мелешь? Откуда он мог у меня взяться?

– Бэй, Шангарей говорил, что ты прошлой весной медведя убил. Видел через щелочку, когда в летней кухне лежал, как ты мясо разделывал... Потом приехал какой-то урус, все увез...

– Нашла кому верить! Он тебе не то еще наврет и дорого не возьмет!

– Так ведь... Он, бедняжка, вовсе не умеет врать.

– Вот и живи с ним, раз он такой хороший. А то морочишь мне голову всякой чушью! – взвился Ихсанбай и в ярости даже схватил лежавшее перед печью полено, собираясь швырнуть его в Раузу. – Исчезни с глаз моих!

Швырнуть полено не швырнул, но задел им стекло стоявшей на нарах семилинейной лампы, разбил вдребезги. Тут открылась дверь и порог переступил Мирхайдаров.

– Можно к вам? Ну и погодка сегодня, – заговорил он, сдирая налипший на брови и усы снег.

Появление человека, способного прекратить возникший в доме скандал, обрадовало Раузу так, будто сам святой Хызыр Ильяс пришел ей на помощь.

– Ах-ах, раздевайся, проходи, Сынтимер, ай, Азат-агай! – засуетилась она.

Обращаясь к председателю колхоза, Рауза путает его имена, прежнее и нынешнее, к тому же, называя его агаем, как бы прибавляет ему года. Жене Азата Аглиевича это не нравится. Когда выпадал случай, Сарбиназ напоминала Раузе, что называть младшего по возрасту агаем неуместно, а имя Сынтимер ее муж носил согласно старым обычаям, и об этом пора забыть. «Но ведь это ысторию, ысторию, апай, не изменишь», – возражала Рауза. Слово «апай» из уст старшей по возрасту женщины тоже обижало симпатичную моложавую Сарбиназ, но Рауза не очень-то обращала на это внимание.

Вот и сейчас она назвала Мирхайдарова агаем, выражая этим уважительное отношение к нему, более того – родственную близость с ним.

– Кажется, я не вовремя пришел, – смутился Мирхайдаров, увидев на нарах и на полу осколки стекла.

– Нет-нет! – возразила Рауза, обратив к нему засияв-

шее, как полная луна, лицо. – Сейчас я приберу тут. Кошка, глупая, вскочила на горячую плиту, метнулась оттуда на нары и налетела на лампу...

Она быстренько метлой собрала осколки в совок, высыпала в мусорное ведро.

Ихсанбай тоже заговорил, неудобно же молчать, когда в твой дом пришел человек.

– Ноет у меня все тело, Азат Аглиевич, – пожаловался он. – Сколько времени прошло после войны, а она все еще мучает. Лучше бы убили меня там...

– Ну, коль остались живы, так пока поживем. Умереть успеется. Я не жалеть тебя пришел, Ишмухамет, а на работу позвать.

– На работу?!

Мирхайдаров достал из кармана клок газеты, намереваясь свернуть цигарку. Ихсанбай протянул ему свой кисет с самосадом.

– Не слишком крепкий у тебя табак? Я уже не прежний табакур. Ну ладно, попробую твой...

Закурил, присев на табурет у печи.

– На работу, говоришь. А куда?

– На ферму, учетчиком. А по существу – советчиком к Саяфу. То ли молод он, то ли глуповат, не тянет толком. Надо все время подсказывать: сделай то, сделай это. Из-за его нерасторопности на ферме сеном не запаслись.

– Не знаю... в моем состоянии... Хватит ли сил?

– Опыта тебе не занимать. В коллективе и самочувствие улучшится. Забота, брат, сильное лекарство. На фронте люди редко хворали, недосуг было хворать.

Тем временем Рауза достала из казана горячую картошку, выставила на стол топленое масло, корот, красный творог, а посередке – будто с неба упавшую бутылку белоголовой.

– Айдате, угощайтесь. В дурную погоду хорошая еда в самый раз.

Ее слова резанули Ихсанбая по сердцу: раньше часто слышал эту поговорку от матери. Жил он при ней, по-русски сказать, как у Бога за пазухой, только не ценил это...

Мирхайдаров, озабоченный сложившимся на ферме положением (скот там кормить стало нечем), засиживаться за угощением не стал.

– Я ненадолго по делу к вам заглянул, а ты, Рауза, из своего запасника чего только не выставила, – сказал он, одеваясь.

– Ах-ах, – отозвалась Рауза, – как же иначе? С несмазанной сковородки, Азат-агай, блин не снимешь. Мы с тобой оба люди государственные, друг в друге нужда возникает, так что...

Она подала ему шапку, стряхнув с нее натаявшую воду. Мирхайдаров протянул руку Ихсанбаю:

– Значит, договорились. Надеюсь, Ишмухамет, уже завтра утром увидимся на ферме.

– Ладно, попробую. Дело для меня не новое. Только вот буран... Отощают коровы, так не знаю, скоро ли опять приличным скотом станут.

Взяв посошок, Ихсанбай вышел в сени проводить Мирхайдарова. Ступив на крыльцо, Азат Аглиевич вдруг резко отпрянул назад.

– Не бойся, это всего лишь кутенок! – Ихсанбай, решив, что Мирхайдарова напугал недавно приобретенный им щенок, хрипло засмеялся.

– Он, наверно, сам тебя испугался...

Но не кутенок – здоровенная собака кинулась к Ихсанбаю, когда он вышел на крыльцо, едва не сбила с ног, запрыгала рядом с ним, радостно повизгивая, лизнула руку, лицо...

– Кукбуре? Ну, хватит, хватит, уймись! – просипел Ихсанбай, то есть, в восприятии Мирхайдарова, Ишмухамет.

Мирхайдаров служил на фронте в разведке, требовавшей уменья мгновенно оценивать ту или иную ситуацию. В данном случае ситуация возникла странная, что-то в ней не стыковалось. Пытаясь сообразить что, забыв надеть шапку, Азат Аглиевич торопливо пошагал к жалобно скрипевшим под ударами ветра воротам.

* * *

Не то что подвезти сено, просто добраться до фермы для ее работников стало непростой задачей. Те, у кого дверь сеней открывалась внутрь, утром раскидывали сугробы у соседских дверей, открывавшихся наружу.

Мадина остановилась у ворот коровника: под них тоже намело огромный сугроб, войти внутрь она не могла.

В гуле бурана ей чудились мелодии, напоминавшие то о несчастном Буранбае, то об охотнике, отправившемся на Ашкадар за норками, чтобы сшить шубку для молодой жены, и погибшем там, то о Зульхизе, тоскующей в чужой для нее степи, то о Гильмиязе, бегущей, избив ноги до крови, в родную сторонку. Душа и у самой Мадины была переполнена тоской и болью, только не могла она излить их, разбушевавшись, как разбушевались небо и земля. Теперь она знает, что такое безысходность. Сломит ее эта безысходность, превратит в полоумную бедняжку или, выдержав все, обретет она силу духа, которую уже ничем не сломить?

Однажды вечером в далекой Москве, в комнате общежития, где жили они с Абдельахатом, завязался у них философский спор с Давидом. Это было перед тем, как над Абдельахатом сгустились тучи.

— История полна примеров, когда борьба за справедливость, за правду заканчивалась виселицей или, как в случае с Иисусом, распятием на кресте, — сказал Давид, пощипывая бородку тонкими чуткими пальцами.

— Значит, борьба, по-твоему, бессмысленна? — спросила Мадина.

— Если бы река тратила все силы на то, чтобы пробить прямой путь через горы и скалы, она, Мадина, никогда не достигла бы моря. Реки находят обходные пути, поэтому и извилисты.

— А ты, Абдельахат, как думаешь?

— Я думаю, суждение Давида о реке не совсем точно, а применительно к человеку — вовсе ошибочно. Река слаба лишь в истоке, а становясь шире и глубже, все-таки стремится пробить себе прямой путь, подмывает горы, подтачивает скалы. И человек стремится к тому же. То, что предназначено тебе испытать, и радости, и горести, никто другой за тебя не испытает. Устанешь в пути — отдохни, упадешь — поднимись. В отличие от реки ты обладаешь способностью любить. Как бы трудно тебе ни было, не отрекайся от любви, лишь она наделяет человека неодолимой силой, придает его жизни высокий смысл...

— Вы рассуждаете так интересно, и мне хорошо с вами, — сказала Мадина. — Почему не все люди такие, как вы?

— И нам хорошо рядом с тобой, — Давид ласково прикоснулся к ее руке. — Ты на вид хрупкая, а сил в тебе!.. Очень ты сильная!

А сейчас Мадина чувствовала себя слабой и жалкой. Постояв в затишке в надежде, что подойдет еще кто-нибудь, озябла и направилась к «Красному уголку» – может, там кого найдет? Должно же быть у людей чувство ответственности! Не бездушные предметы – живые существа их заботе поручены!..

Но в «Красном уголке» никого не было. Или уж доярки сидят растерянно в караулке? Мадина приложила ладони к почти остывшей печи. Взгляд ее упал на висевшую на стене доску показателей, на которой отражались ежедневные надои. Ох, как они понизились! Вчера ее Буренушка дала всего три литра молока, а давала до двадцати литров. Только против фамилии Галимы красовались цифры, не уступавшие прежним. Это каким же чудом она достигла таких показателей, когда коровы голодают?

Тут, постукивая посошком, согнувшись, что называется, в три погибели, в «Красный уголок» вошел «Ишмухамет».

– О, Мадина, здравствуй, красавица! Как дела?

– Да как сказать... Неважно идут тут дела, Ишмухамет-агай. – Мадина не забыла, что этот человек был одним из тех, кто отнял у них во время войны корову, но он же и спас ее, когда возвращалась из Москвы, поэтому она ответила, стараясь не выдать свою неприязнь к нему.

– То-то председатель решил послать меня к вам на подмогу, назначил учетчиком, – сообщил «Ишмухамет». – А что это ты разглядывала на стене?

– Показатели доярок. Удивляюсь: у всех надои снизились, а у Галимы даже повысились.

– Будешь такой же умничкой, так и у тебя повысятся. Все зависит от тебя. Галиму депутатом райсовета избрали, намереваются на Героя труда представить. Секрет ее успеха, небось, тебе известен. Лови и ты птицу счастья!

Поняла Мадина, на что он намекнул, – Рауза давно треплется насчет отношений Галимы с Саяфом, – и теперь уж в ее голосе прозвучали резкие ноты:

– Агай! Жить без совести – удел животных. Я не собираюсь добиваться звания Героя, жертвуя человеческим достоинством. Настоящие герои жертвуют собой ради счастья других.

– Ох-ох, какие слова мы знаем! Раз ты такая боевая, иди, найди способ накормить скот, пожертвуй собой!

Мадина выбежала из «Красного уголка», в сердцах хлопнув дверью. Надо, надо найти какой-то выход! Прежде случалось, что в весеннюю бескормицу привозили из лесу ветки ильма, скотина обгладывала их, но сейчас это невозможно. Вдруг пришла ей в голову мысль: а что если обойти дворы аула, попросить хозяев принести на ферму хотя бы по мешку сена? Ну, одной ей с этим не справиться. Когда соберутся доярки, поговорит с ними, чтобы все отправились по дворам. А поймет ли ее Галима? Должна понять. Хоть и высокие у нее показатели, ее коровы тоже ведь голодают. Коль накормят сегодня скот, завтра, может быть, погода наладится и скотникам удастся добраться до ближних стогов.

Доить сейчас голодных коров не было смысла. Чтобы не тратить время зря в ожидании остальных доярок, Мадина решила сходить домой. Сделав кое-что по своему хозяйству, покормив Даута, вернулась на ферму, направилась в караульную избу. У входа в нее был пристроен темный чулан для хранения лопат и сбруи. Мадину остановил приглушенный голос Галимы, послышавшийся из этого чулана.

– Агай, оставь говорю, нельзя ...

– Саяфу же можно! – Это сиплый голос новоявленного учетчика.

– Он... он любит меня. Агай, я закричу!

– Закричишь, так хрен Героя получишь! Ославлю тебя на весь район, все узнают, за какие подвиги тебя возносят!

Галима умолкла. Не трудно было догадаться по пыхтенью «Ишмухамета», что там далее происходило. Мадина попятилась, сгорая от стыда за бывшую подругу. «Забудь! Ты ничего не слышала!» – велел ей внутренний голос.

От намерения добыть сено она не отказалась. Пошла обратно в аул, отвоевывая каждый шаг в борьбе с бураном. Вскоре, набравшись решимости, постучалась в первый на ее пути дом...

* * *

Сарбиназ ждала мужа. К ужину в печи пекся курник, оттуда исходил вкусный запах теста, сдобренного гусиным жиром. Сарбиназ выдвинула пирог на припечек, нали-

ла в него через отверстие в верхней корке немного кипятка, чтобы он не пересох, если Азат задержится на работе.

Дом у них небольшой, но уютный. В гостиной все — от оконных занавесок до подушек — украшено вышивками, что создает впечатление, будто эта комната девушки на выданье, которая живет в ожидании сватов. Сарбиназ вспомнилось, как она познакомилась с Азатом (тогда его звали Сынтимером). Назначенная учительницей, шла она в Тиряклы пешком с чемоданом в руке. Азат нагнал ее на подходе к аулу, возвращался домой, как выяснилось, со службы в армии. Хватило несколько минут, чтобы двое молодых людей разговорились. Азат вошел в аул с двумя чемоданами — ее и своим. Остановившись, отер платком вспотевшее лицо, спросил:

— Наши дальнейшие задачи, Сарбиназ?

— Найти дом директора школы, оставить там мой чемодан.

— Это что же, я столько времени тащил чемодан, чтобы отдать директору?

То ли шутка понравилась Сарбиназ, то ли сам парень — она улыбнулась, отчего на ее разалевшихся щеках образовались симпатичные ямочки.

— Мне же надо поискать себе приют. Наверно, для такой пичуги, как я, найдется в большом ауле уголок?

— Вот что, — решительно сказал Азат, — пошли к моим! Поживешь у нас. Если через три дня не уйдешь, станешь моей женой.

— Так скоро? — Глаза Сарбиназ округлились.

— Учитывая то, что каждый день ожидания ответа покажется мне долгим, как год, не так уж и скоро.

— Тебя, небось, в ауле невесть сколько девушек ждут.

— Это не твоя, а их проблема.

Вот с тех пор они и живут вместе. Смешно вспомнить: свекровь, решив, что сын вернулся с молодой женой, по обычаю кинула под ноги Сарбиназ подушку, приготовила за занавеской супружескую постель. Азат сначала лишь посмеивался, потом вынужден был огорчить мать, развеяв ее заблуждение. На вторую подушку за занавеской он положил голову спустя три дня, после того, как расписались в сельсовете. Немало событий с того времени пережито, у Азата пышные, как облако, волосы поседели и поредели, худощавая всю жизнь фигура еще более усохла. И Сарбиназ уже утратила сводившую с ума

парней красоту. Только связавшее их с первого взгляда друг на друга чувство не изменилось. Как в течение тех трех дней ждала, так и теперь Сарбиназ ждет, когда муж положит голову на соседнюю подушку и спросит:

– Ну, женушка, как прошел у тебя день?

Она помолчит, потом обнимет его, поцелует в глаза и скажет:

– У меня-то хорошо прошел, рассказывай, как у тебя...

И чаще всего рассказывает Азат. У него день побогаче событиями – и отрадными, и огорчительными.

Но нынешний вечер сложился несколько иначе. Возбужденный Азат, как только пришел и разделся, сразу обнял ее.

– Сарбиназ, женушка, вывернулись мы из беды! Скот спасен! Весь аул поднялся. Представляешь, даже старуха Ирсая и пьянчуга Галяу принесли на ферму по мешку сена! Сила бурана пошла на убыль, завтра из МТСа пришлют гусеничный трактор, так что избежим больших потерь.

– Это кому же пришло в голову таскать на ферму сено из аула?

– Кому спрашиваешь? – Склонившийся было к рукомойнику Азат выпрямился. – Мадине. Пошла по дворам поднимать народ...

– Мадине? Подумать только, в семье, у которой последнее отняли, вырос такой человек!

– Может, кого другого и не послушались бы. Люди видят, кто есть кто. – Вымыв руки, Азат сел за стол. – Натуру Мадины выпавшие на ее долю горести, наверно, не смогут изменить. Абдельахат такой же...

– А у кого-то поворачивается язык называть его врагом народа!

– Будем надеяться, что оправдают его. Политика в верхах меняется. По амнистии из лагерей выпустили миллион заключенных. В газетах уже не печатают портреты Сталина...

– Может, и отношение к крестьянству изменится?

– Поживем – увидим. В истории нет примеров, оправдывающих рабский труд.

– Ты ешь, ешь, пока пирог не остыл. Корка не пересохла?

– Нет. Пирог – во! – Азат показал большой палец. – Только я что-то сильно устал сегодня, хочется лечь спать пораньше.

Сарбиназ захлопотала, готовя постель. Сняла с подушек верхние вышитые наволочки, взбила их и перину. Похлопала и по подушечке, в которую летом собрала пахучую сон-траву. Затем налила в тазик теплую воду, чтобы Азат вымыл ноги, потом сама осушила их холстиной, приговаривая:

– Как им не устать, день-деньской ты на ногах, бабаюшка мой.

– У тебя, Сарбиназ, работы больше, чем у меня. Домашние хлопоты курам не выклевать.

Поворковав так, легли они в постель, и Азат сказал:

– Знаешь, я стал свидетелем странного происшествия. Еще вчера. Ты помнишь собаку старухи Фаузии?

– Кукбуре?

– Оказывается, и кличку ее помнишь.

– Как не помнить! Я к Фаузие не раз сходила, когда у меня глаза разболелись. Она вылечила. А собака на волчицу была похожа. Пропала после пожара, может, тоже сгорела.

– Я, Сарбиназ, ее вчера видел.

– Иди ты! В самом деле ее?

– В самом деле.

– На пожарище, что ли, пришла бедняжка?

– Я к Ишмухамету зашел. Решил попросить его пойти учетчиком на ферму. Опытный, подумал, человек, Саяфу советами поможет...

– Ну и?

– Рауза на стол собрала, бутылку выставила. Я просидел недолго. Когда уходил от них, гляжу – перед крыльцом большая, чуть не с теленка, собака стоит. Оскалилась на меня. Я с испугу отпрянул назад, вперед вышел Ишмухамет, и тут собака, радостно взвизгнув, кинулась к нему, давай лизать руки, лицо... Он ее по кличке назвал, хватит, мол, Кукбуре, уймись.

– Интересное дело...

– Я бы не удивился, если б увидел ее у пожарища или в соседнем дворе, скажем, у Мадины. Бывает, собака побродит где-то и возвращается туда, где жила...

– Лизала, говоришь, руки и лицо Ишмухамета? Что же это значит?

Азат не ответил. Мысли у него закишели как муравьи в муравейнике, мелькнула догадка, требовавшая подтверж-

дений. По присловью, не увидев реку, сапоги не снимают. Иными словами, спешить с умозаключением не следовало. Служба во фронтовой разведке приучила Мирхайдарова руководствоваться не предположениями, а неоспоримыми фактами.

* * *

Камалетдинову о том, что знахарка хочет повидаться с ним, Малика сообщила вечером, когда легли спать.

— Зачем? Разве недостаточно твоих встреч с ней? — В голосе Аюпа послышалось недовольство. — Кстати, что она говорит о Флориде?

— Ничего мне не сказала.

— Боюсь, впустую ходишь к ней. — Аюп будто уже забыл, что старуха избавила их дочку от бессонницы. — Ну, давай спать. Устал я, — сказал он и отвернулся к стене.

Наверно, в самом деле устал, лишь недавно вернулся из поездки в Уфу, проделал немалый путь, да еще в такую погоду. Впрочем, устал-не устал, он всегда засыпал, отвернувшись к стене, и Малика привыкла к этому. Но сегодня ей хотелось поговорить с мужем, она лежала приподнявшись, подперев голову рукой.

— Аюп, ты встретишься с ней?

Малика проговорила это смиренно, как бы извиняясь за то, что беспокоит, и Аюп повернулся к ней.

— Старуха настаивает, что ли, на этом?

— В том-то и дело...

Неяркий свет электрического ночника, включенного ради того, чтобы ребенок, если вдруг проснется, не испугался темноты, высвечивал узор ночной сорочки на груди Малики, завитки черных волос на ее шее. Кажется, лицо у нее осунулось, у глаз добавились морщинки. И все-таки была она красива — хоть посади ее перед собой и рисуй портрет. Аюп не видел ее в девичестве, возможно, тогда она могла посоперничать в красоте с самой богиней любви Венерой. В юности Аюп неплохо рисовал, пробовал силы в живописи. И сейчас, когда он видит небо в минуты заката солнца, либо чудесный уголок природы или прекрасную женскую фигуру, подмывает его взяться за кисть и краски. Стань Аюп художником — безусловно был бы рад использовать в качестве натурщи-

цы Малику. А женился бы... Если бы не опередил его Абдельахат, женился бы на Мадине. Только все это теперь пустые мечты...

Аюп тяжело вздохнул.

– «Не подходи, когда вздыхаю, когда душа моя горит...», – пропела Малика слова шуточной песни. – Так, что ли?

– Дразнишься вместо того, чтобы объяснить, зачем я понадобился старухе!

– Я же сказала, что не знаю. Объяснит, когда встретишься с ней. Речь, наверно, пойдет о Флориде.

– Значит, надо встретиться?

– Несомненно!

Улавливая шестым чувством отчужденность мужа, Малика решила не досаждать ему больше разговором, улеглась поудобней, закрыла глаза...

* * *

Фаузия, когда Камалетдинов разделся и снял у порога валенки, придвинула к его ногам теплые тапочки.

– Надень-ка, пол холодный, а разговор у нас может получиться долгий.

– У меня, инэй, со временем туговато...

– Сталинские времена прошли, а поводья, выходит, не ослабили? – Фаузия устроилась на нарах, подобрав ноги под себя.

– Сталина нет, но, как говорится, свято место пусто не бывает. Теперь вот Булганин к власти пришел. Знаешь об этом?

– Я газет не читаю. Что там, наверху, делается, кто у власти – меня не волнует. Для меня существенны только рождение и смерть, меж этими двумя берегами течет жизнь...

– Все-таки, инэй, вождей надо знать.

– Вожди тоже люди, их жизнь течет в тех же берегах. Но они успевают причинить остальным столько зла, что иначе, как преступниками, их не назовешь. Возьми хоть Сталина, хоть Гитлера...

– Ну, инэй, ты уж чересчур... Нельзя между Сталиным и Гитлером ставить знак равенства.

– Почему нельзя? По воле Гитлера построили газовые

камеры, в которые загоняли по пять тысяч человек, сотни тысяч человек убили бескровно и сожгли, должно быть, для того, чтобы сам вождь не был забрызган кровью. А Сталин усеял страну лагерями, вот выпустили из них миллион узников, мы не знаем, сколько еще их там...

– Все ты знаешь, хотя и говоришь, что не читаешь газет. Давай, инэй, прекратим разговор об этом, и пусть он останется между нами.

– Что ж...

В прояснившемся после бурана небе выглянуло солнце, его нежаркие, но яркие лучи упали на испещренное глубокими морщинами и следами ожога лицо старухи, и в Камалетдинове опять заговорил художник. Какой выразительный образ получился бы, если бы перенести это лицо на полотно, подумал он. А старуха, будто уловив его мысль, спросила:

– Зачем ты, Аюп-кустым, пошел в политику? Ты был рожден для чего-то другого.

– Обстоятельства так сложились. Я ведь вырос в детдоме. Любил рисовать. Учитель рисования пророчил мне учебу в Ленинграде, в Академии художеств.

– Вот это и был истинно твой путь.

– В том, что моя жизнь сложилась иначе, виноват, инэй, не только я. В детдоме, когда учился в пятом классе, я сделал надрез на руке и поклялся на крови, что отомщу злодеям, которые зарезали моего отца и мать.

– Поклялся?

– Да. После войны, отказавшись от карьеры в армии, а возможность сделать карьеру там у меня была, я вернулся в эти края, на землю, политую кровью моих родителей.

– И что же? Нашел тех злодеев?

– Нашел одного, но отомстить не успел. Когда напал на его след, для него уже копали могилу.

– Да, от судьбы не уйти. Вот когда, Аюп-кустым, вновь пересеклись наши пути.

– Наши? Мы же с тобой раньше...

– Я – жена, была женой человека, которому ты не успел отомстить. Его настоящее имя – Дингезхан, мое – Барсынбика...

* * *

Откладывать поездку в Тиряклы Камалетдинов более не мог: обещал Мирхайдарову приехать на общее колхозное собрание. Будь что будет, решил он. Как не убежать от самого себя, так не избежать и встречи с Мадиной. А встречи этой он боялся ко всему прочему и потому, что спросит она, за что посадили ее отца. Если и не спросит, в смородинках ее глаз будет таиться вопрос: «Что ты сделал, чтобы спасти его?» Или: «Так, значит, ты мне помог? Из-за твоей помощи я, бросив грудного ребенка, гну спину среди навозных куч».

Все понимает Аюп. Но ведь не все от него зависит, он сам в положении взнузданного жеребца: сколь бы ни грыз железные удила, не перекусить их. Даже с опротивевшей Маликой он расстаться не может. В уставе партии семья рассматривается как нерушимая ячейка общества, виновную в ее распаде сторону ждет суровое наказание. Только вот о делах сердечных в уставе ничего не сказано, не учтено, что сердцу не прикажешь, узду на него не накинешь.

Малика давно уж подозревает, что у нее появилась соперница, и соперница эта — Мадина. Когда Аюп зашел домой за тулупом, Малика, глянув на него искоса, спросила:

— Никак собираешься отправиться в путь в санях?

— В той стороне буран был очень сильный, дорогу замело, машине не пробиться.

— Тогда уж подвесь под дугу колокольчик.

— Колокольчик? Зачем?

— В наших краях женихаться так ездили.

— Малика!

— Ты от знахарки пришел как подмененный... — Возбужденное состояние Аюпа Малика связала тогда с предполагаемой соперницей и теперь вот не сдержалась, подколола его. — Похоже, старуха сильно тебя обрадовала...

— Малика, ты сама не понимаешь, что несешь.

— Конечно, раз не говоришь, что она сказала.

— Мне надо подумать. Разговор был нешуточный. Старуха меня прямо-таки огорошила...

Когда закрылась дверь за мужем, Малика обессиленно присела на стул. Неужели старуха... Нет-нет, хоть и гадалка, откуда ей знать подробности жизни Малики?

Зря встревожилась. И мужа зря разозлила. Могла бы уж придержать язык. На каком основании она приревновала Аюпа к Мадине? Видимых причин вроде нет. Только вот душа не на месте...

* * *

Лошади, коренник и пристяжная, упитанные, застоявшиеся в конюшне, шли бодрой рысью, не было нужды взмахивать кнутом.

Долгая дорога вполне устраивала Аюпа Газизовича. До новой встречи со старухой-знахаркой он многое должен обдумать, упорядочить мысли, успокоить растревоженное сердце.

Когда он, сам не свой, вышел из дома старухи, захотелось поговорить с кем-нибудь из близких ему людей. Перебирая в памяти своих знакомых в Таулах, вспомнил об однополчанке – Лидии Николаевне. Пошел к ней на работу, как бы подвернулся случай и зашел навестить ее. Ничего особенного в их разговоре вроде бы не было. К слову пришлось, спросил, как дела у племянницы Лукмана Талиповича. Лидия Николаевна чуточку подумала, обратив синие глаза к потолку, и дала неожиданный ответ:

– Знаете, я боюсь дня, когда ее сознание прояснится.

– Боитесь? Разве это плохо, если она выздоровеет?

– Дело вот в чем: Сабиля поймет, что ее воображаемый ребенок – просто тряпичная кукла.

– И все же надо ведь вернуть человека в реальный мир.

– Это так, но тут особый случай. У нее появилось молоко.

– Молоко?

– Да, Аюп Газизович, грудное молоко. Ее организм настроен на кормление ребенка...

Выйдя проводить крайне удивленного Камалетдинова, Лидия Николаевна на прощанье сказала:

– Аюп Газизович, мы ведь фронтовики. Зашли бы как-нибудь ко мне домой. Я вижу, вам хочется поделиться тем, что на душе у вас накопилось.

– Хочется, Лидия Николаевна. Неплохо бы было посидеть, поговорить. Знаешь, – Камалетдинов и сам не заметил, как перешел на «ты», – ты мне близка, как родная сестра.

– Спасибо, Аюп Газизович. Могу сказать, что и у меня схожее чувство.

Так они расстались. И полегчало на душе Аюпа. Хотя то, что услышал о племяннице Лукмана Талиповича, опять взбудоражило его мысли. Перед этим в разговоре со знахаркой он узнал, что Сабиля – жена Ихсанбая Муратова и что уехала она в Таулы на последнем месяце беременности. Стало быть, выстраивается такая цепочка фактов: Сабиля – жена Ихсанбая, возглавлявшего в годы войны сельсовет; Ихсанбай – сын Сибагата, то есть Дингезхана, и Фаузии-Барсынбики... Старуха была заинтересована в том, чтобы раскопали место, где стоял их сгоревший дом. Почему? Хотела отвести подозрения в убийствах и поджоге от Хашима? А на кой черт сдался ей Хашим? Он – отец Мадины. Значит, каким-то образом с этой непростой историей связана и она? Не о ней ли шла речь, когда старуха сказала при самой первой встрече, что к нему, Аюпу, придет молодая женщина, и попросила помочь ей? Вопросы, вопросы... Может быть, поговорив с Мадиной, он получит ответы на некоторые из них?

Прощаясь, старуха предупредила: «Это лишь начало нашего разговора. Продолжим его потом. Придешь, когда в голове у тебя прояснится. – И добавила, усмехнувшись: – Если не надумаешь арестовать меня... Не бойся, я далеко уйти не смогу. Разве что на расстояние длиной с топорище, как говорится в сказках. А средство для того, чтобы девочка твоя заговорила, я знаю. Только сказать, что это за средство, пока не могу».

Вот она жизнь: не верящий ни в Бога, ни в черта Аюп зависит от знахарки, вынужден ловить каждое слово из ее уст!

* * *

Буран, побуйствовав на огромных пространствах, переместив наваленные в течение зимы снеговые горы, перекрыв наезженные пути, заставив народ что называется поплясать под свою дудку, наконец-то обессилел и прекратился так же внезапно, как начался. Погода наладилась. Солнце, будто извиняясь за недельное почти отсутствие, щедро осыпало лучами соскучившийся по ним мир. На тиряклинской ферме коров выгнали из коровника в прогулочный загон, и они, вволю теперь накормленные,

подставив похудевшие бока под солнечные лучи, неторопливо жевали свою жвачку.

Утомленные авральной работой скотники, собравшись в круг, дымили самокрутками. Посредине круга в санях на ворохе соломы восседал Шангарей. Это было первое его явление народу после происшествия с быком Гифритом и долгой «госпитализации» то, по его собственному желанию, в летней кухне, то в бане. Лежать дома, где поселился «убыр», он решительно отказывался.

Услышав от Раузы о предстоящем общем колхозном собрании, Шангарей заявил, что и он туда пойдет, а если Рауза не отпустит, то сбежит. Рауза велела ему надеть новую белую рубашку. Ворот рубашки оказался тесноватым, душил, как удавка, тем не менее Шангарей потребовал еще и галстук.

– Зачем он тебе? Галстуки только большие начальники носят, – сказала Рауза.

Шангарей рассердился, даже ногой топнул.

– Шкажано тебе – найди! Я не хуже начальников.

Кто другой, может, и не исполнил бы каприз дурачка, но сердобольная Рауза принесла из лавки ярко-красный галстук. Цвет Шангарею не понравился.

– Такие шопляки в школе ношят!

– Да нет же, – возразила Рауза. – У них треугольные галстуки, а этот – настоящий мужской.

– Ражве мужчины крашные галштуки надевают?

– А зачем бы иначе государство их выпускало? Только не каждому такой достается.

– Ладно, тогда надену, – согласился Шангарей.

Белая рубашка, красный галстук, купленный Раузой зеленый пиджак, черные брюки, поверх пиджака – позаимствованная у Хусаина поношенная стеганка, на ногах белые подшитые валенки, вполне еще сносные, – в таком облачении предстал Шангарей перед работниками фермы. И вот скотники, посмеиваясь, разглядывают его.

– Шангарей, кто это тебя так нарядил?

– Мамочка Раужа.

– Выходит, любит тебя мамочка.

– Жнамо, любит. Я – крашивый, ишшо умный.

– А тебя хорошо кормят?

– Еды – во! – Шангарей провел истончившейся за время болезни рукой по шее. – Я медвежатину ел.

– Откуда у вас взялась медвежатина?

– Муж мамочки Раужи, убыр, в шарае медведя убил.

– Брось, не может быть!

– Может. Клянусь! Убыр мяшо на чердаке шпрятал. Я в щелочку шмотрел, видел. Много мяша. Только мне мало дошталось. Уруш вше увеж.

– Ну и выдумщик ты, Шангарей!

– Не выдумщик. Медведь штрашный, рогатый.

– Ха-ха-ха! Разве у медведя могут вырасти рога?

– Ишшо как!

– Ха-ха-ха! А когда это было?

– Давно. Теперь мамочка Раужа меня жатирухой кормит.

Развеселившиеся мужчины не заметили, как к ним подошел Мирхайдаров.

– Здравствуйте! Что за собрание в неурочное время? – Тут Мирхайдаров увидел Шангарея. – А ты, кустым, опять пришел быка дразнить?

– Зачем это я буду его дражнить?

– Бык красное не любит, а ты красный галстук нацепил.

Скотники сдержанно засмеялись.

– А вы, бородатые младенцы, с чего так развеселились?

– Да вот Шангарей говорит, что Ишмамат в своем сарае медведя убил. Правда, давно. Медведь, говорит, рогатый был.

– Мало ли что в голову ему придет! Давайте-ка займитесь делом. На общее собрание приедет Камалетдинов, может заглянуть и сюда.

Скотники направились к коровнику, Шангарей поковылял к караулке. Мирхайдаров снял шапку, повертел в руках, снова надел. До него донесся голос одного из скотников:

– И то правда: кому еще, кроме Шангарея, пришло бы в голову явиться на ферму в белой рубашке и с красным галстуком?!

– Из-за него и попал в беду Хашим, – отозвался другой.

* * *

Собрание началось с доклада, в котором председатель колхоза подвел итоги работы за год. Камалетдинов мысленно сравнивал прозвучавшие в докладе цифры с показателями других хозяйств. Колхоз «Алга» на общем фоне

выглядел средним, ни к отстающим хозяйствам его нельзя было отнести, ни к передовым.

В животноводстве дела шли в целом неплохо. Камалетдинов взглянул на сидевшую рядом с ним в президиуме доярку. Галима Мингажева. Ее портрет висит на Доске почета у райкома партии. Полнотелая, курносая женщина. Курносость не лишала ее миловидности.

И у Мадины показатели, оказалось, неплохие. «Поднялась на второе место по надоям, несмотря на то, что в группе у нее только первотелки», – прозвучало в докладе. Камалетдинов отыскал ее взглядом в дальнем углу зала. Аккуратное, по фигуре, пальто, на голове – берет, придающий ей сходство с активистками начального периода советской жизни. Рядом с ней сидел большеголовый детина с красным галстуком на шее – Камалетдинов прежде слышал о нем, а сегодня увидел при посещении фермы. Дурачок, а хватило ума подсесть к самой красивой в ауле женщине. Аюпу Газизовичу вспомнились Эсмеральда и Квазимодо из романа Гюго. По причуде природы, что ли, с красотой часто соседствует уродство. Мадину, похоже, ничуть не смущало соседство с убогим человеком. Иногда она спокойно кивала в ответ на его вопрос или говорила что-то. Обычно к таким обиженным судьбой людям окружающие относятся по меньшей мере пренебрежительно, но Мадина выше этого...

С трудом отведя взгляд от нее, Камалетдинов вновь сосредоточился на докладе.

– В сложных условиях непогоды, когда колхозное стадо оказалось под угрозой истощения и даже гибели, Мадина Ирназарова пламенным словом подняла весь аул, призвала на помощь ферме. От всего сердца выражаю ей признательность за это...

Зал поддержал докладчика аплодисментами, все повернули головы в сторону Мадины. Шангарей принял рукоплесканья на свой счет, показал в радостной улыбке, можно сказать, все тридцать два зуба и даже встал и раскланялся, как делали это выступавшие на концертах в их обшарпанном клубе самодеятельные артисты, чем развеселил участников собрания.

После доклада слово было предоставлено Камалетдинову.

– Раз приехал, я, конечно, выступлю, – сказал он. – Но давайте сначала послушаем лучшую доярку колхоза, ре-

кордсменку в масштабах района Галиму Мингажеву. Пусть она поделится своим богатым опытом.

По залу прокатился шумок, скорее, даже смешок. Не понявший в чем дело Камалетдинов обратился к Галиме:

— Давай, сестрица, будь посмелей. Работаешь по-боевому, по-боевому расскажи о своей работе.

Галима вышла за трибуну.

— Встаешь пораньше, работаешь побольше. Корм вовремя раздашь, вовремя напоишь... Ну и вовремя корову с быком сведешь...

В зале поднялась одна из пожилых доярок.

— По-твоему, Галима, мы больше тебя спим, меньше работаем? А корова, когда в охоте, без тебя и без меня с быком не сойдется что ли?

Мирхайдаров постучал карандашом по столу.

— Соблюдайте порядок! Просите слова, если хотите что-то сказать!

Пожилую доярку это не остановило.

— Вы сами нарушаете порядок! Галима доит тридцать две коровы, а числятся за ней двадцать пять!

Из зала послышался еще один голос:

— Кабы дали нам коров-батрачек, так и мы бы в передовых ходили! Саяф и споенное телятам молоко на Галиму записывает!

Не удалось выступление Галимы. Вернулась, побагровев, на свое место за столом. Мирхайдаров быстренько предоставил слово Камалетдинову. Как только раздался басовитый голос руководителя района, все успокоились, приготовились выслушать, что скажет редко появляющийся у них большой начальник. Он посвятил свое выступление задачам, стоящим перед тружениками сельского хозяйства района. Промолчать о только что происшедшем инциденте Камалетдинов, разумеется, не мог. Пообещал, что специалисты разберутся в этом деле.

Остаться после собрания на концерт участников художественной самодеятельности он не намеревался, но остался, желание поговорить с Мадиной взяло верх над прочими соображениями.

Начался концерт. На просцениум вышел юноша с комсомольским значком на груди, продекламировал стихи, восславляющие партию. Затем со сцены, еще закрытой занавесом, еле слышно, будто издалека, из-за гор и лесов, донеслась мелодия «Кунгыр-буги». По мере того, как

раздвигался занавес, мелодия и призывное «хау, хау» звучали все громче, и, наконец, в полную силу зазвучала старинная народная песня, исполняемая женским хором.

Где искать их? Вот беда!
Убрели невесть куда.
Кунгыр-буга, хау, хау!
Кунгыр-буга, хау, хау!

Да, слова обыденные, простенькие, но с ними связана легенда, питающая гордость народа. В поисках отбившейся от стада вместе с теленком коровы — Кунгыр-буги, иначе сказать, Буренушки, героиня легенды Тандыса обнаруживает удобный путь по хребтам Урала, ставший тайной военной дорогой башкир, благодаря которой они одерживали славные победы при защите родной земли от иноземных захватчиков.

— Слушай, Азат Аглиевич, это же почти профессиональный хор! — сказал Камалетдинов, когда песня смолкла.

Мирхайдаров благодарно улыбнулся.

— Мадина... Мадина его организовала.

— Не смог прославить ваш колхоз Саврасый, так этот хор, я думаю, прославит.

— Ну и новые Саврасые еще народятся. Только бы новые пули, чтобы нацелить на них, где-нибудь не отлили...

Хор исполнил еще несколько народных песен. Тиряклинцы и сами, впервые став свидетелями его выступления на таком уровне мастерства, разволновались, долго хлопали в ладоши.

— Следующий номер нашей программы... — начал было вышедший на сцену ведущий, но не успел объявить танец — кто-то из зала крикнул:

— Пусть еще Мадина споет!

Зал опять расшумелся.

— Как Валяу-кустым пляшет, мы уже много раз видели! Мадину просим!

— Мадину, Мадину!

Тут раздался зычный мужской голос:

— Ямагат*! Всем в ауле известно, что прошлым летом Мадину поранила норовистая первотелка. Если вам хочется, чтобы она пела, зачем сунули ее в коровник? В пти-

---

*Ямагат — общество, миряне.

чьем, к примеру, мире соловья не принуждают каркать вместо вороны!

Камалетдинов склонился к Мирхайдарову:

— Кто это?

— Хусаин, конюх наш. Это он воспитал Саврасого.

Мадина, не ожидавшая такого поворота в концерте, вышла на сцену.

Теперь она была в темно-вишневом платье, подчеркивавшем стройность ее фигуры, пышные волосы заплетены в две косы.

— Дорогие односельчане! — заговорила она, приблизившись к краю сцены. — Я и вправду долго не могла петь, сегодня тоже не собиралась, но в знак уважения к вам и благодарности за вашу отзывчивость, которую я в минувшие буранные дни почувствовала в полной мере, одну песню спою.

К ней подошли два кураиста, и в зал полилась песня, чуточку озорная и в то же время с грустинкой:

Когда б аршин тесьмы нашла я белой,
Украсила бы свой камзол тесьмой.
Мечтою о тебе живу несмелой,
Ответишь ли мне тем же, милый мой?
Ах, прилети же на коне крылатом
Хотя бы ненадолго, налегке
*И увези, вскочив на Акбузата**,
След поцелуя на своей щеке!

Камалетдинова бросало то в жар, то в холод. Самым большим несчастьем в своей жизни он считал потерю родителей, а сейчас понял: несчастлив еще и оттого, что душа тщетно жаждала и жаждет всепоглощающей взаимной любви. Вот рядом звенит, поет, лучится родник, который мог бы утолить эту жажду, но принадлежит он другому. Не о нем, Аюпе, думает Мадина, не его ждет...

Мысли Камалетдинова прервал шепот Мирхайдарова:

— Нам пора... У Сарбиназ пирог стынет.

— А? Да-да...

Увлеченный концертом народ, кажется, не обратил внимания на то, что секретарь райкома и председатель колхоза тихонечко вышли из зала.

---

*Акбузат — сказочный крылатый конь.

Глава вторая

Мадина шла на ферму по облитой светом мартовского солнца дороге. С подтаявших гребней придорожных сугробов свисали ледяные кружева, крупнозернистый снег казался россыпью бесчисленных бусинок. Утром еще холодно, к полудню зажурчат, заспешат, как бегущие куда глаза глядят ребятишки, веселые ручейки.

Сегодня и в душе Мадины светило солнце: наконец-то получила весточку от Абдельахата. Принесла ее пожилая женщина, пришедшая из Тубинска.

– Это ты Мадина? – спросила она, войдя в избу, и сама же подтвердила: – Ясное дело, ты. Такой красивой и обрисовал тебя Абдельахат моему бабаю.

– Абдельахат?! – Мадина чуть не упала в обморок, обессиленно плюхнулась на краешек нар. – Он жив, инэй?

– Жив, жив... Да что это ты так переполошилась? Дай-ка и я присяду, притомилась в дороге... Мой-то вернулся, да, пролежав неделю, простился с белым светом. Все мечтал: вот оклемаюсь и схожу повидаться к Мадине. С тем и отошел...

– Какая жалость!

– Что ж поделаешь, потерял там здоровье.

– Что он рассказывал?

– Он больше сам расспрашивал, а рассказывать, считай, не рассказывал. Спросят его, как, мол, там, а он только рукой махнет, лучше, дескать, не спрашивайте, сил нет вспоминать... Многие его навестили, вот он их и расспрашивал, как тут жили. Он ведь образованный был, из-за того только и погубили его, что сын муллы... У тебя, я гляжу, дитя. Родила, значит? Мальчик? Даутом назвала? Бабай мой говорил, что вы с мужем так условились. Абдельахат вот подарочек тебе прислал... – Женщина достала из кармана платочек, в него была завернута кедровая шишка. – Орешки велел в землю посадить, чтоб деревья возле избы выросли.

Мадина взяла шишку как великую драгоценность. От шишки чуть пахло смолкой. Но не это главное – она побывала в руке самого дорогого ей человека, в нее впитались его тепло, его тоска, его любовь.

– Спасибо, инэй! – Мадина обняла женщину, лицо которой горькая жизнь избороздила глубокими морщинами, и заплакала.

– Поплачь, дочка, поплачь...

– Абдельахата не собираются отпустить?

– Спросила я у бабая об этом. Сказал: «Если будет очень ждать, как ты ждала меня, обязательно дождется».

– Правда? Так и сказал?

– Так, дочка, так. А иначе зачем бы я вон откуда пешком к тебе пришла?

– Дети у тебя есть, инэй?

– Были. Умерли – кто от оспы, кто от тифа. Может, еще бы родила, кабы с мужем не разлучили.

– Одна ты теперь, значит. А что если не вернешься туда, останешься у меня? Будем жить вместе!

– Уж и не знаю... Бабай мне тоже перед смертью сказал: «Отыщи, Газима, Мадину, может, прибьешься к ней, а то одной в старости тяжело будет...».

Тут проснулся Даут, детский лепет наполнил избу радостью. Запел самовар, пришла Магинур с вязаньем, принялась тютюшкать ребенка, приговаривая:

Наш Даут молодец,
И пригож, и умница.
Вот приедет отец
И им не налюбуется!

Три повеселевшие женщины устроились у расстеленной на нарах скатерти. Газима выставила гостинец.

– Отведайте моего баурхака*!

– То-то нос у меня чесался, к гостинцу, значит.

– Кто своего гостинца поест, у того жизнь будет долгой.

– Мадина, дочка, перед уходом на ферму натаскай в баню воды, истоплю для гостьи. Вот так, Газима, мы и живем, подпирая друг дружку.

– Очень хорошо! Дочка вот и меня сюда зовет...

Две пожилые женщины остались чаевничать, Мадина, наполнив котел в бане водой, отправилась на ферму. За пазухой у нее, согревая сердце, лежала кедровая шишка.

---

*Баурхак – сваренные в масле сладкие кусочки теста.

* * *

Говорят, человек может забыть друзей, но вычеркнуть из памяти врагов не может.

Галима за годы своей недолгой пока что жизни успела вдоволь отведать и кислого, и пресного. Вдобавок к тому, что похоронив отца с матерью, лишилась она и спокойной канцелярской работы в правлении колхоза, родив без мужа дочь и тем самым ославив свое имя.

Случилось это нежданно-негаданно, хотя Галима и замечала, что председатель сельсовета посматривает на нее масляными глазами, и даже как-то сказала об этом подружке своей Мадине. Однажды вечером (дело было в начале зимы) Ихсанбай предупредил ее:

— Завтра в пять утра буду ждать тебя у моста, надо провести на ферме контрольную дойку. По плану...

Не догадываясь, что угодит в силок, девушка рано утром впрыгнула в развернутый в кошевке тулуп. Хорошо! Можно даже, пока доедут до фермы, еще немножко поспать. Ихсанбай закутал ее в тулуп с головой.

— Бай-бай, детка!

В тепле, убаюканная покачиванием кошевки, Галима и вправду уснула. А проснулась оттого, что Ихсанбай, остановив лошадь, поднял ее, закутанную в тулуп, и отнес под стог.

— Ихсанбай-агай, мы же... уй!

В небе еще перемигивались звезды, их заслонила голова шумно задышавшего Ихсанбая.

Наверно, и сама Галима этого хотела: ни днем, ни ночью не давали ей покоя, ныли налившиеся груди, тело томилось в ожидании предусмотренной природой встряски и облегчения. Она отдалась покорно.

Оказалось, Ихсанбай прихватил с собой вареное мясо и водку. Они провозились под стогом до полудня. У Галимы вспухли прикушенные губы, под глазами проступили синяки. Когда собрались вернуться в аул, она спросила:

— Ты меня не бросишь?

— Послушай, девонька... — Глаза Ихсанбая посуровели. — Ты в ауле со мной при людях не заговаривай. И вообще считай, что все случившееся сегодня тебе приснилось.

На ферму они, конечно, не заехали. Ихсанбай высадил Галиму из кошевки на въезде в аул.

Последующие события заставили ее забыть об Ихсанбае. В память о том утре родилась Самира. В пору, когда в пережившей войну стране мужчин стало намного меньше, чем женщин, и не каждой из девушек, ничем себя не опорочивших, выпадал жених, выйти по-человечески замуж Галима уже не надеялась. Дочку, единственное свое утешение, иногда она бурно ласкала, но случалось, что и жестоко била, видя в ней начало всех своих бед. Лицом девочка была в мать — один к одному, поэтому народ в ауле, как ни гадал, отца ее угадать не смог.

После рождения ребенка Галиму на прежнюю работу не позвали, пришлось пойти дояркой на ферму. На следующий же день завфермой зажал ее в темном углу.

— Я тебя в передовики, в Герои выведу! — сулил он, тиская ее, да так, что верхняя пуговица платья оборвалась, а остальные расстегнулись. — Ты мне еще девчонкой понравилась!

Не лежала душа Галимы к плосконосому Саяфу Шамсутдинову, но он, дьявол, все-таки добился своего.

— Ладно, — сказала она, чувствуя, что колени у нее ослабли, — только к другим женщинам, пока есть я, не липни.

— На кой хрен мне другие при таком богатстве?! — отозвался Саяф, поцеловав ее обнажившуюся грудь. — С сегодняшнего дня оно мое, да, Галима?

В сравнении с его женой, напоминавшей засохшее на корню дерево, Галима выглядела райской гурией, и Саяф, похоже, влюбился в нее, да и она постепенно свыклась с ним, стала скучать по его ласкам. Когда ему удавалось прийти к ней на всю ночь, они не могли наговориться, насытиться друг дружкой.

Однажды, придя под хмельком, он сказал:

— Возьму да и женюсь на тебе, разведусь со своей каргой.

— Так ты же партийный, — напомнила Галима. — Разве тебе позволят?

— Плевать на партию! — расхрабрился Саяф. — Мне что, целоваться, спать с ней?

Однако ночь сменилась утром, утром его ждала работа, вечером — политучеба, в общем, закружила храброго петушка привычная жизнь.

Галима, уже набравшаяся опыта, почувствовав, что забеременела, побежала на нижний конец аула к бабке Таибе. «Спаси, инэй! Отблагодарю ягненком из осеннего приплода моей овцы!» – «Смотри, девонька, грех на себя берешь!» – предупредила бабка. Избавила она Галиму от греховного плода, а потом еще и еще раз. И каждый раз, лежа на голом полу в ожидании действий старухи, клялась Галима сама себе: «Останусь жива, так больше никогда не буду обижать Самиру!» И просила Всевышнего помиловать ее, оставить в живых.

Но вот опять, на этот раз поздновато, упала она к ногам своей спасительницы, умоляя помочь, и упросила-таки, а плод, несмотря на старания бабки, не выходил из чрева. «Большой уже», – сказала старуха. Ах, если и от этого избавится Галима, то... Нет, от мучений все равно не избавится. Теперь ведь к Саяфу добавился вражина-учетчик. И этот зажал ее в темном углу, и не смогла она отбиться от него. Но самое странное заключается вот в чем (ошибиться в тот момент она не могла) по учащенному дыханию, по повадкам и прикосновениям, запомнившимся ей давним зимним утром под стогом, узнала в уроде... Ихсанбая!

У Галимы вдруг закрутило в животе, и она, на ходу сунув ноги в бабкины галоши, поспешила на двор, в нужник. Там полилась из нее кровь и на пол выпал похожий на цыпленка в недосиженном яйце ребеночек с зажмуренными глазами и сжатыми в кулачки пальцами. Дрожа всем телом, Галима носком галоши спихнула его в отверстие нужника.

* * *

После общего колхозного собрания Ихсанбай принялся наводить на ферме порядок. Прежде всего поставил, что называется, ребром вопрос о перераспределении коров с тем, чтобы у доярок были равные по численности группы, и Галима лишилась «батрачек», молоко которых приписывалось к надоям от остальных коров ее группы. Саяф лишился возможности приписывать ей и спаиваемое телятам молоко. Несколько раз он поскандалил с учетчиком, но тот твердо стоял на своем, ибо закон был на его стороне.

Едва оправившаяся после тяжелого аборта, Галима тоже попробовала поговорить с мнимым Ишмаматом.

– Ты что это собачишься со мной, товарищ учетчик? – начала она полушутливо, оставшись с ним с глазу на глаз. – Стараешься выдвинуть вперед Мадину? Она что, в постели лучше меня?

– Людей не стыдишься, так Аллаха побойся, Галима!

– Ах, будто сам ты его боишься! Похоже было на это, когда лишил меня под стогом невинности.

– Ты, наверно, сошла с ума. Под каким стогом? Что ты несешь?!

– Не трогай, говорят, говно – вонять будет. Но смотри, лопнет мое терпение, и завоняешь, дыру, чтоб спрятаться, не найдешь!

И ушла Галима из «Красного уголка», громко хлопнув дверью. Забыв о боли в животе, принялась кидать в вагонетку скопившийся в стойлах навоз. Кипели в ней обида, злость, жажда мщенья. «Оборотень! Ишь, явился, прикинувшись невинной жертвой! Из-за тебя, кобель поганый, я, когда ягодкой алой была, ославилась, родила в грехе! Думал, небось, что не узнают люди тебя, раз обличьем стал страшней банного беса!»

Вгорячах перегрузила Галима вагонетку. Навалилась на нее всем телом, напряглась так, что на лбу выступил холодный пот, но вагонетка не сдвинулась с места. Рассердившись, толкнула изо всех сил и почувствовала, что внутри нее что-то оборвалось. По ногам теплыми струйками потекла кровь. «Уф! Стыд-то какой, если кто-нибудь увидит!» Она присела на корточки, укрывшись за коровами, в надежде, что кровотечение вскоре прекратится. Случалось такое и прежде, мало ли кровавых следов оставила она в этом коровнике! Но кровь текла и текла. Галиму затошнило, в глазах потемнело, и она потеряв сознание, привалилась к боку спокойно жевавшей свою жвачку коровы.

* * *

Окрыленная весточкой, доставленной Газимой, Мадина, закончив дойку, принялась смывать теплой водой налипшую на коров грязь. Когда очередь дошла до Буренушки, та попыталась лизнуть ее лицо. Уворачиваясь от нее, Мадина увидела подошедшего к ней учетчика.

– Сегодня, Мадина, ты надоила больше всех, – просипел он. – Коли дело пойдет так и дальше, щелкнешь Галиму по носу, отберешь ее славу.

– Я, агай, к славе не рвусь.

– Бэй, разве тебе не хочется походить в героинях?

– У каждого человека свои потребности, мне и так хорошо.

– А может стать и лучше.

– Видишь ли, агай, героинь начальство хвалит, а народ не любит. Ну, как в школе сверстники не любят отличников. Ничего хорошего в этом нет.

– Интересная у тебя... логика.

– Уж какая есть...

Ихсанбай похромал к выходу из коровника. Пробовал он подступиться к Мадине и так и этак, но перекинуть мостик к ее сердцу не удавалось. «Ничего, – пробормотал он, – не бывает, говорят, речки без брода, батыра без слабинки».

А Мадина обмывала, оглаживала любимицу.

– Во-от... красавицей теперь ты стала... У меня сегодня праздник, весточку издалека получила. Ай, Буренушка, если бы ты умела разговаривать, поделилась бы я с тобой своей радостью...

Когда понадобилась вагонетка, чтобы убрать навоз, Мадина побежала к Галиме и обнаружила ее лежащей без сознания.

Животноводы, завершив утренние дела, уже разошлись по домам, последним ковылял в сторону аула учетчик. Но лошади, закрепленные за фермой, и упряжь были на месте. Мадина сама запрягла лошадь, перетащила Галиму в сани и повезла ее к ней домой.

В доме было холодно, на нарах, съежившись, сидела кудрявая девочка. Но первым делом надо было помочь ее матери.

– Галима, подружка, что с тобой? Очнись!

Галима открыла глаза.

– Сама... разве не видишь?

– На вилы, что ли, напоролась?

– Какие вилы?

– Ты же вся в крови!

– Затопи печь, нагрей воды!

— Ах, Галима!

— Умру, наверно... Меня никто не видел? Смеяться будут... разговоры пойдут...

— Над чем смеяться-то?

— В самом деле не понимаешь? Ты же сама ребенка родила...

— Так ты... родила? А где ребенок?

— Просто кровотечение у меня... сильное... — Галима смежила веки.

Маленькая Самира, видя, что с матерью что-то неладно, захныкала.

— Неужели дочка останется сиротой, а, Мадина? — проговорила Галима, не открывая глаз. — Ты помнишь, как мы плясали, когда еще девчонками были? Сапожек у нас не было, так, чтобы сильнее стучать по полу, макали валенки в воду, замораживали и плясали... Голова кружится... а мы пляшем...

Мадина испугалась: бредит, что ли? Что делать? Как ей помочь?

Каждой деревенской женщине известна целительная сила хотя бы двух-трех трав. Душицы, зверобоя... Мадине прошлым летом, когда у нее из горла шла кровь, посоветовали пить отвар крапивы. Это ей помогло, и сейчас у нее в избе висели на стене несколько засушенных пучков этого жгучего растения.

— Галима, полежи чуток спокойно, я сейчас вернусь, — сказала она и, воспользовавшись стоявшей у ворот запряженной лошадью, быстро съездила домой. Затем развела огонь в очаге, вскипятила воду, приготовила отвар крапивы, напоила им Галиму. Вдобавок почти силком влила ей в рот несколько ложек растворенного сахара, чтобы побыстрей восстановить ее силы.

Спустя некоторое время лицо Галимы порозовело.

— Коров моих...

— Я позабочусь о них. Ты отлежись.

— Эх, подружка! Достаток, говорят, мирит, нужда ссорит. Что мы с тобой не могли поделить?

— А разве мы когда-нибудь ссорились?

— Вообще-то нет, не ссорились.

— Раз так, лежи спокойно. Дочку твою я накормила, сама скоро поправишься.

— Если обо мне спросят, скажи — сердце прихватило.

— Ладно.

— Теперь на первое место выйдешь ты, Мадина.

— Аллах мой! Нашла из-за чего волноваться! Благодари небеса за то, что жива осталась.

— Тебе легко так говорить. Ты выйдешь на сцену, споешь — и все смотрят на тебя восхищенно. А у меня, кроме звания «передовая доярка», ничего нет.

— Дочка у тебя есть, Галима.

— Ах, Мадина, тебе трудно понять меня. Этот ребенок все время напоминает мне о моем позоре.

— Ребенок ни в чем не виноват.

— Нет, не поймешь ты меня! — Закусив губу, Галима отвернулась к стене.

* * *

Газима оказалась для Мадины настоящим кладом. Сходила в Тубинск, продала там что у нее было и, вернувшись, сразу занялась необычным, весьма выгодным ремеслом. Купив в Тиряклах шерсть, принялась вязать обувку вроде детских сандаликов, в подошвы для прочности вплетала козий волос, на запятки нашивала вырезанную из голенищ бросовых сапог кожу — отменная получалась обувка, легкая и теплая. Вскоре у нее уже отбою от заказчиц не было. А как она пряла! Тянула ровную тонкую нить, будто паук паутину, затем вязала кофты, которые тоже шли нарасхват. Изба Мадины превратилась в мастерскую. Тут же крутилась Магинур, ей Газима поручала самую простую работу. Была она не только мастерицей на все руки, но и рачительной хозяйкой. Магинур, кроме коровы, держала и коз. Газима сделала ей замечание:

— Козлят надо подпускать к матерям лишь до поры, когда у них рожки обозначатся. Зачем зря молоко тратить?

Из всего умела она извлекать выгоду. Пустила козье молоко на изготовление кумыса, потчевала Мадину:

— Пей, дочка, пей, у тебя работа тяжелая. Раз повредила легкие, беречься должна. Кумыс для легких полезен.

Мадина почувствовала прилив сил. Нашлись желающие попить козий кумыс и в ауле. Приносили в обмен на целебный напиток муку, мясо, зерно. И изделия свои Газима обменивала на продукты.

— В ауле только последний лодырь впроголодь жи-

вет, – говорила она. – Я свою швейную машинку «Зингер» не продала, вот привезу ее, и еще лучше заживем. Даута нашего к возвращению отца откормим, чтобы стал упитанным, как барсучонок.

Мадина, раз сняли с нее домашние хлопоты, свободное от работы на ферме время посвящала занятиям с организованным ею хором. Теперь она мечтала научить хор четырехголосному пению в сопровождении оркестра народных инструментов. Обошла в ауле всех, кто владел тем или иным музыкальным инструментом. Ложилась спать и вставала с мыслью об исполнении этой мечты.

А сегодня она занесла из сеней в избу горшки из-под засохших цветов, принялась пересыпать в них набранную загодя землю.

– Никак цветы собираешься посадить? – спросила Газима, оторвавшись от своей работы.

– Нет. Я завернула кедровые орешки во влажную тряпицу, положила в теплое место, и вот из них проклюнулись семь росточков. Посажу их в горшки.

– Гляди-ка ты! Давай помогу, у меня рука легкая. Бисмиллах-ир-рахман-иррахим! Подрастут в избе – на улицу пересадим.

– А в нашем краю они вырастут?

– Почему бы не вырасти? Просто раньше никому не приходило в голову привезти сюда семена. В тайге, бабай мой говорил, они очень большие, высокие. Тамошние жители из орешков масло выжимают, кто такого масла попьет, тот сто лет живет.

Закопали орешки в землю, поставили горшки на подоконники, и в избе воцарилась на некоторое время тишина. Женщины задумались, каждая разматывала свой клубок мыслей.

«Совсем ведь еще молодая, – думала Газима о Мадине. – Если не вернется Абдельахат, пройдет ее жизнь в тоске. Сейчас-то при такой красоте могла бы встретить приличного мужчину, готового стать Дауту отцом, да ведь ждет своего Абдельахата и будет ждать... А я-то сама разве не ждала, хоть и сватались ко мне не раз?..»

«Эх, услышали бы меня на небесах и свершилось чудо, открылась бы вдруг дверь и вошел Абдельахат! – думала Мадина. – Если даже измученный, больной, уж я ли не найду слова, чтобы исцелить его душевные раны, и

средства от телесных болей. Лишь бы вернулся и сказал: «Я люблю тебя, Мадина!»

Закапывая орешки в землю, она мысленно наказала им: «Зовите моего любимого, и пусть ветры донесут до него вместе с вашим зовом мою мечту, мою надежду!» И взмолилась: «Господи, об одном только тебя прошу – не лишай меня любви!»

Первой отрешилась от своих раздумий Газима.

– Какой сегодня день недели? – спросила она.

– Пятница.

– Благой день выбрала ты для благого дела.

– Я, инэй, намеревалась еще съездить сегодня в Таулы, навестить отца. На ферме меня подменят.

– Атак, раз надо, съезди! За Даута не беспокойся, есть кому за ним присмотреть.

Через часок, взяв сменную одежду для отца и узелок с гостинцами, Мадина вышла на большую дорогу, ведущую в райцентр.

* * *

Еще не схлынули заботы, связанные с зимовкой скота, как наступила пора подготовки к весеннему севу. Камалетдинов выезжал и в МТС, и в колхозы, чтобы проследить, как идет ремонт тракторов и посевной техники. Остро стоял вопрос об обеспечении колхозов семенами. Будь в сутках тридцать часов – и то их Аюпу Газизовичу не хватало бы. Насколько тяжело было поднимать на ноги обессилевшие за годы войны хозяйства, знает лишь тот, кто на своих плечах нес груз ответственности за это.

Обветшали школы, клубы, библиотеки. Обветшали аулы, вот-вот развалятся, держатся на подпорках избы невернувшихся с войны хозяев. Больно смотреть в глаза вдов, надеявшихся, что с окончанием войны все наладится.

Таулы открыты ветрам со всех четырех сторон света. В свое время построенный неподалеку медеплавильный завод сжег, сожрал окрестные леса, оголив склоны гор. Задумал Камалетдинов озеленить крутосклоны, прошлой осенью начали сажать молодые деревца на террасах, надо бы, когда сойдет снег, продолжить эту работу, но она требует дополнительных средств, а где их взять?

Человек, увлекшись, забывается в работе, но не одной лишь работой живет. Не дает Камалетдинову покоя

последний разговор со знахаркой. В тихие ночные часы не раз вспомнился и разговор с Мирхайдаровым у него дома после колхозного собрания в Тиряклах.

– С кем в ауле враждовал Хашим? – спросил Аюп Газизович.

– Ты это в связи с той анонимкой спрашиваешь?

– Она ведь послужила поводом для его ареста. Кто мог написать донос?

– Не знаю. В каждую душу ведь не заглянешь. Если верить молве, Гульбану родила близнецов от Ихсанбая Муратова. Допустим, Хашим ненавидел Ихсанбая и мог даже поджечь его дом. Но убить детей... Не-ет, Хашим не был способен на это. Все видели, что он любил мальчонок, и они висли на нем. Следствие не учитывает еще один факт: той же ночью, когда случился пожар, исчезла и сестра Хашима Зарифа. Куда она делась? Куда делись Ихсанбай и его мать, старуха Фаузия? Их костей на пожарище не обнаружили. Прямо-таки клубок загадок получается...

– Кем приходится этой старухе Мадина?

– Никем не приходится. Они просто по-соседству жили.

– Мать Мадины, значит, погибла, нарвавшись на волков?

– Так считают в ауле. После того, как Ихсанбай с Ишмаматом при поддержке уполномоченного из райцентра отобрали у Гульбану корову, пошла она с жалобой в Таулы и пропала.

– Где сейчас Ишмамат?

– На ферму учетчиком я его поставил. Дурачок Шангарей – его сын.

– Как же размотать этот загадочный клубок, а, Азат Аглиевич?

– Если б я знал... Кстати, я не упомянул в числе пропавших еще одного человека.

– Кого?

– Жену Ихсанбая Сабилю.

– Племянницу нашего главврача Лукмана Талиповича? Она сейчас в психушке, Азат Аглиевич.

– Вот как? Может, и туда ниточка от этой истории тянется?

– Возможно. Мне стало известно кое-что, о чем вы здесь не знаете. Старуха, которую считали сгоревшей, жива.

— Фаузия?

— Ее настоящее имя — Барсынбика. А имя бывшего вашего кузнеца на самом деле не Сибагат, а Дингезхан Бураншин. Они во времена гражданской войны сменили имена и фамилию.

— Бураншин... Жил в наших краях тархан* с такой фамилией. Должно быть, Дингезхан из его потомства.

— Не знаю, чей он потомок, но подонок был первейший! Это он зарезал моих родителей...

— Да-а-а... Волки нередко рядятся в овечьи шкуры. У меня тут возникло одно предположение. Какое — пока не скажу. Нужны доказательства. Когда добуду их, следователи ахнут.

— Дай-то, как говорят в таких случаях, Бог! А я чувствую, что старуха Барсынбика как-то связана с Мадиной, но что их связывает — выяснить еще не смог.

— Насчет этого я тоже пока ничего не могу сказать.

Такой вот разговор состоялся между ними. Рано утром Камалетдинов уехал, так и не сумев поговорить с Мадиной. Теперь ему предстояло снова встретиться со старухой-знахаркой. Что еще откроется при разговоре с ней?

* * *

Минувшей ночью Хашиму приснилась Мадина. Дочь, стоя перед зеркалом, расчесывала волосы. «Отец, может, мне заплести их в одну косу?» — спросила она. «Нет, заплети в две, это тебе больше идет», — посоветовал Хашим и правильно сделал, во всяком случае, так ему представляется. Женская коса, по мнению толкователей снов, — символ дороги, поэтому Хашим истолковал свой сон в том смысле, что Мадина, если бы заплела волосы в одну косу, собралась бы навестить его. Пусть уж лучше не ездит, не оставляет ребенка без материнского присмотра. Он, конечно, очень соскучился по дочке и внуку. Даут, наверно, уже может сидеть, а то и ходить. Застрял тут Хашим, слишком долго тянется следствие. Впал было

---

*Тарханы — феодальное сословие, наделенное наследственным правом на владение крупными земельными угодьями.

в полное отчаяние, но сейчас немного успокоился — сменился у него следователь.

— Моя фамилия — Адельгужина, звать Шакирой Хисамовной, — представилась ему женщина лет за сорок. — Дальше следствие по вашему делу поведу я. С протоколами допросов я, разумеется, ознакомилась, хочу прояснить некоторые моменты...

— Пожалуйста.

Женщина пригладила тронутые сединой волосы.

— Интересно... Мы с вами, оказывается, служили в одной дивизии.

— Да что вы?! — Хашим обрадовался, словно встретил давнего друга.

— Но пусть это пока останется между нами.

— Хорошо.

— Перейдем к делу. Родители Сабили Муратовой живы?

— Нет. Умерли во время войны.

— Что можете сказать о характере Сабили, ее взаимоотношениях с окружающими?

— Она редко появлялась на людях, ни с кем не общалась.

— Разве можно жить так в ауле?

— Выходит, можно. Муж обеспечивал ее всем, что нужно, хозяйство вела свекровь. Она, Фаузия, и верховодила в семье. Сильный был характер у старухи, могла, как говорится, льва оседлать.

— Вы знаете что-нибудь о родственниках Сабили?

— В Таулах живет ее двоюродный дядя. Главврач районной больницы. Были разговоры, что он избавил Ихсанбая от службы на войне.

— Что вы не поделили с Ихсанбаем?

— Мы... в юности влюбились в одну девушку.

— В Гульбану Насибуллину, ставшую вашей женой?

— Да. Но тогда она была еще Худайгуловой.

— А близнецы... они...

— Они мои дети. И дочь, и они!

— Насибуллин, вы не во всем были искренни, этим запутали следствие.

— Значит, вы знаете правду, а я нет? Зачем же допрашиваете меня?

— Я хочу помочь вам.

— Поможете, если найдете Сабилю и Ихсанбая с Фа-

узией. Впрочем, я не уверен, что они прояснят обстоятельства гибели моих мальчиков.

– Фуражка одного из них и сандалик были найдены в избе Фаузии...

– Это так, но будь виновна она, то не оставила бы эти вещи на виду, могла ведь уничтожить улики, а не уничтожила.

– Как Фаузия Муратова относилась к вашей семье?

– К Гульбану – очень хорошо. Судя по рассказам моей дочки Мадины, во время войны помогла им выжить. Уже при мне, когда искали пропавших мальчиков, Мадина угодила в болотную яму и едва не погибла. Спасла ее, подняв крик, Фаузия...

– На сегодня, Насибуллин, довольно, отдыхайте. Встретимся, когда я добуду дополнительные сведения.

– Спасибо, Шакира Хисамовна, вы согрели мою душу!

В камеру Хашим вернулся несколько приободренным, прилег на койку (в КПЗ это дозволялось) и стал перебирать в памяти подробности допроса, смахивавшего на товарищескую беседу. Да-да, старуха Фаузия любила и Гульбану, и Мадину, с ним, Хашимом, тоже установила добрые отношения, признав его хорошим человеком. Не забывается разговор с ней у болота как раз перед происшествием с Мадиной. Если старуха жива, то наверняка, узнав, что он попал в беду, постаралась бы ради Мадины помочь ему. Но что-то, возможно, мешает ей протянуть руку помощи...

Хашим лежал, погрузившись в размышления, когда открылась дверь камеры и дежурный милиционер скомандовал:

– Насибуллин, на выход! К тебе приехала дочь, вам разрешено свидание.

* * *

После свидания с отцом Мадина решила заодно повидаться со следователем. Отец сообщил ей, что следствие ведет теперь Адельгужина Шакира Хисамовна.

Женщина эта, примерно одних с ее отцом лет, встретила Мадину доброжелательным взглядом.

– Проходите, садитесь. Рассказывайте, что вас привело ко мне.

– Я, Шакира-апай, дочь Хашима Насибуллина. Мое имя Мадина.

– А-а, Мадина! Вот ты какая!

– Какая?

Адельгужина улыбнулась.

– Чересчур красивая, что ли, не вписываешься в нашу обыденную обстановку.

– И ваше лицо не совсем подходит для вашей суровой профессии, – ответила Мадина, расхрабрившись.

– А для какой профессии, по-твоему, оно подошло бы лучше?

– Учительницы... или врача...

– Отлично! Можешь, оказывается, по лицу человека определять его натуру. Я на войне была медсестрой, а до войны успела немного поработать учительницей...

То, что Шакира Хисамовна уже в самом начале разговора перешла с «вы» на «ты», позволило Мадине облегченно вздохнуть и держаться раскованно.

– А теперь вам больше нравится эта работа? – спросила она.

Адельгужина помолчала, обратив взгляд куда-то вдаль, за окно.

– Уместный вопрос... Видишь ли, во-первых, война научила меня ответственно относиться к любой работе, от этого зависели человеческие жизни. Во-вторых, там, на войне, в порожденном самими людьми аду, я поняла, что бывают душевные раны, не менее мучительные, чем телесные. Исцелить от этих невидимых ран скальпель и шприц не могут – их надо по возможности предотвращать. Поэтому я решила стать юристом...

– Шакира-апай, не в обиду мужчинам будь сказано, женщины, по-моему, во всяком деле терпеливей, внимательней, чем они, не пренебрегут незначительными, на первый взгляд, фактами...

– Ну-ну, не надо мне льстить! Я и так стараюсь помочь твоему отцу. Я планировала встретиться с тобой, хорошо, что сама приехала. Теперь мы познакомились, и тебе придется ответить на несколько моих вопросов.

– Я готова.

– Вопрос не из простых. Меня интересуют отношения Ихсанбая Муратова с твоей покойной матерью. В твоей воле отвечать на этот вопрос или не отвечать. Но повто-

ряю: я стараюсь помочь твоему отцу, считаю, что он не виновен...

– Спасибо, Шакира Хисамовна. В том, что папа не виновен в гибели моих братишек, до сих пор были уверены только я и Фаузия-инэй. Теперь ее нет... Что касается моей мамы и Ихсанбай-агая... Меня собирались отправить в ФЗО, мама упросила его отменить это решение. Я стояла в списке первой...

Адельгужина достала из папки листок бумаги, положила перед Мадиной:

– Вот этот список. Составлен Ихсанбаем Муратовым.

– Ах!

– Что случилось?

– Буква «н»...

– А что с ней?

– У нас на ферме учетчик ежедневно вывешивает табель с показателями по надоям. В моей фамилии заглавную букву пишет с точно такими же завитками...

– А кто работает учетчиком?

– Ишмухамет-агай Бактымбаев.

Адельгужина достала из папки еще один листок, вырванный из ученической тетради, спросила, указав на заглавную букву «н», обведенную красным карандашом.

– Вот так же пишет?

– Да.

– Выходит, и список отобранных для отправки в ФЗО подростков, и донос на Хашима Насибуллина, и заявление Ишмухамета Бактымбаева в военкомат, и табели на вашей ферме написаны одной рукой?

– Но...

– Не спеши. Добавим к этому, что факт смерти Ихсанбая Муратова не доказан, и вновь обратимся к его отношениям с твоей матерью.

На этот раз Мадина густо покраснела. Вспомнились ей невидящий взгляд матери, обращенный в сторону дома Муратовых, ее подушка, по утрам мокрая от слез, родимые пятна на лицах близняшек, такие же, как у Ихсанбая, страх, накатывавший на мать, когда приходило письмо с фронта от отца... Вывод из всего этого напрашивался однозначный. Но разве вправе дочь думать плохо о маме?

– Я больше... ничего... – Мадина подняла на следовате-

ля полные слез глаза. – Мама была... очень хорошим человеком.

– Успокойся. Мы же должны установить истину в интересах твоего отца. Он и твоя мама жили дружно?

– Н-нет.

– Как ты думаешь, почему?

– Может быть, мама любила одного, вышла замуж за другого.

– Человек, которого она любила, – Ихсанбай Муратов?

– Не знаю. Может быть...

– Она была такая же красивая, как ты?

– Да что там! У мамы глаза были как море... нет, как небо. Молодая, полная сил...

– И такая... смерть. – Адельгужина закурила сигарету. – Извини...

– Фаузия-инэй однажды сказала: «Я сумела защитить ее от людского суда, а от Божьего, оказалось не в моих силах».

– Почему она так сказала?

– Не знаю... – Мадина прикусила язык, подумав, что сболтнула лишнее.

– Как относились друг к другу Фаузия и ее невестка Сабиля, жена Ихсанбая?

– Они жили замкнуто, не выносили, как говорится, сор из избы, все же думаю, что не очень ладили между собой.

– А почему так думаешь?

– Фаузия-инэй подкармливала нас тайком от невестки.

– Мадина, вы для Фаузии вроде бы чужие люди, не были связаны с ней родством. Почему она, несмотря на то, что невестка препятствовала ей, помогала вам?

– Не знаю. Соседка рассказывала мне, что Фаузия-инэй взяла на себя все хлопоты по похоронам, когда умерла моя бабушка Шахарбану и мама оказалась в отчаянном положении.

– Представь себе, Мадина, я бабушку твою помню. Шахарбану Худайгулова – моя двоюродная тетя. Она родилась и выросла в Сабаклах, я оттуда же.

– Поистине мир тесен!

– Да уж, только гора с горой не сходится...

* * *

Посветлевшую, заметно оживившуюся Мадину Адельгужина проводила долгим взглядом, постояла у окна. Чем-то эта молодая женщина напоминала ее, Шакиру, в молодости, когда она, повязав на голову красную косынку, летала птицей, воодушевленная общей мечтой: «Мы наш, мы новый мир построим!» Разница лишь в том, что не было тогда в ее глазах печали, подобной затаившейся в глазах Мадины.

Шакира ринулась защищать от врагов новый мир, о котором она и ее сверстники и сверстницы мечтали, и кровь свою, как многие, ради него пролила. Почему же следовавшее за ними поколение не стало счастливей, чем они? Знает Шакира в общих чертах историю злоключений Мадины, не знала только, что она такая красавица. Жизнь всегда кипела и пенилась вокруг красивых женщин, как вокруг хороших коней на ярмарке, самые опасные страсти взвихриваются возле них. Хотя мать Мадины растерзали волки, есть основание предполагать, что первопричиной этой трагедии была ее красота. Она, Шакира, неспроста интересовалась взаимоотношениями Гульбану и Ихсанбая. Одно дело, если Гульбану любила его смолоду, другое – если Ихсанбай домогался ее, для достижения своей цели лишил семью коровы, грозился отправить Мадину в ФЗО.

Разговор с Мадиной прояснил некоторые темные места в этом запутанном деле, вызвав, правда, новые вопросы. Если сейчас на тиряклинской ферме работает человек, чьей рукой написаны сельсоветский список и донос на Хашима Насибуллина, то почему он вылез из щели, в которой до сих пор таился? Что побудило его вернуться в Тиряклы под чужим именем, подвергая опасности свою драгоценную жизнь? Ею он несомненно дорожит, сумел даже отвертеться от призыва на войну...

Мадина так же, как и ее отец, заволновалась, когда приблизились к тайне рождения близнецов. Это понятно: память о матери для нее свята, старается оберечь светлый образ от худого слова. Она не только красива, но и умна, в то же время чувствительна, легкоранима. Наверно, Гульбану была такой же. Вот ради кого пожертвовала своей молодостью тетя Шахарбану!

История двоюродной сестры отца, ушедшей из аула с ребенком на руках неведомо куда, волновала Шакиру с отроческих лет. В какой-то мере и раздумья о судьбе Шахарбану подтолкнули ее к нынешней профессии.

Вернувшись за свой стол, Адельгужина вновь задумчиво перелистала дело Хашима Насибуллина. В уме у нее мыслей и версий теснилось гораздо больше, чем было зафиксировано на бумаге. Уже не раз мысленно протягивала она ниточку от пропавшей Фаузии Муратовой к дому старухи Муглифы, в котором, по слухам, поселилась другая, невесть откуда взявшаяся знахарка. Она появилась в райцентре примерно в те же дни, когда произошел пожар в Тиряклах.

Среднюю школу Шакира окончила в Таулах, еще тогда, до войны, была наслышана о знахарке Муглифе и сама убедилась в том, что она умелая целительница. Однажды на лыжных соревнованиях Шакира упала, скатываясь с горки, и вывихнула плечевой сустав. Подружка привела ее к Муглифе, до ее дома было ближе, чем до больницы. Старуха вправила сустав, потратив на это всего лишь несколько минут. Осенью 45-го года Шакира уже сама обратилась к ней из-за долго незаживавшей фронтовой раны на ноге. Муглифа выглядела сильно одряхлевшей, тем не менее способностей своих не утратила. В силу ее нашептываний Шакира не очень-то верила, однако отвары трав, которые она дала, подействовали благотворно, рана затянулась и до последнего времени особо не беспокоила. Только вот сейчас вдруг опять открылась, стала мокнуть. Это, собственно, и навело Шакиру на мысль о другой знахарке, поселившейся в доме Муглифы. Если верить слухам, будто бы сам Камалетдинов лечит у нее дочку. Почему бы и ей, Шакире, не сходить к ней? И рану, может быть, подлечит, и версию свою проверит.

Приняв решение, Шакира убрала папку в сейф, оделась и вышла на улицу. В воздухе роились снежинки, похоже, назревал весенний буран — акман-токман. Ничего, он не так уж страшен. Слегка прихрамывая, Шакира пошагала в сторону Кривой улицы, именуемой из-за ее окраинной обособленности также Кривым аулом.

* * *

Дом снаружи вроде нисколько не изменился, разве лишь из-за снега, налипшего на крыше и меж бревен сруба, казался более приземистым, чем на самом деле. Когда Шакира взошла на крыльцо, в сенях залаяла собака, затем послышался старушечий голос:

— Цыц! Иди сюда, на!..

Звякнул откинутый крючок, дверь открылась.

— Заходи, она не кусается... Буран, видно, разыграется, собаку из сеней не выгнать...

В доме было тепло, пахло смородиновыми листьями, травами. Шакире сразу стало жарко. Сняла шубку, повесила на гвоздь, присела, не ожидая приглашения, на нары.

— Инэй, ты меня знаешь?

— Вроде видела... У меня много народу побывало, как всех упомнишь?

— Меня Шакирой звать. Прежняя хозяйка этого дома еще до войны мне вывихнутый сустав вправила, потом помогла заживить рану. Я на фронте была, там осколком мины ранило в ногу.

— Нет лекарств только от душевных мук, для всего остального можно найти. С какой нуждой сейчас пришла?

— Да все та же рана... Сколько лет не беспокоила и вдруг открылась, стала мокнуть.

— Давай посмотрю...

Шакира спустила чулок, размотала бинт. Знахарка, сотворив краткую молитву, подула на рану, поводила над ней раскрытой ладонью и кинула грязный бинт в очаг.

— Инэй!..

— Надобности в нем нет. Рана подсохла. Только помажь вот зеленкой, и больше она не будет мокнуть.

Шакира сделала то, что было велено, и, вымыв руки, вернулась на свое место. Старуха собралась вскипятить самовар.

— Муглифа-инэй, жившая здесь прежде... Где она? — спросила Шакира.

— Истек отпущенный ей на земле срок.

— А ты давно пришла сюда из Тиряклов?

Старуха, видимо, не ожидавшая такого вопроса, отставила самовар, села напротив Шакиры.

— Раз знаешь, что я пришла из Тиряклов, зачем о времени спрашиваешь?

– Я не совсем была уверена в своей догадке, хотела убедиться, что не ошиблась. – Шакира решила, что называется, ковать железо, пока горячо, пока старуха не пришла в себя. – Сегодня у меня побывала Мадина...

– Мадина?

– Она, бедняга, об арестованном отце хлопочет.

– Мадина... – На лицо старухи нахлынуло беспокойство. – Как она, сильно сдала?

– Она не из слабых. Но трудно ей. Жаль, в такое время нет у нее никого, кто протянул бы руку помощи.

Старуха ничего не сказала в ответ. Помолчав некоторое время, Шакира спросила:

– Где твой сын, Ихсанбай?

– Не знаю.

– А невестка, Сабиля?

– Она... Зачем она-то тебе понадобилась?

– Для того, чтобы распутать этот клубок. Чтобы понять, почему ты молчишь, затаившись здесь. Ждешь, когда Мадину окончательно погубят?

– Погубят? Типун тебе на язык!

– Если я не права, объясни, что заставило тебя жить затаившись. Раскрой свою тайну!

– Всему свой срок.

– Какой срок? Когда он наступит? Когда стараниями Ихсанбая число жертв будет доведено до пяти-шести?

– Тяжелые слова говоришь, дочка.

– А то, что натворил твой сын, легче?

– Сказано в старых книгах: каждому воздастся по его делам. В каком положении я оказалась, в двух словах не объяснить. Кое-что о себе я рассказала Камалетдинову, ждала для продолжения разговора его – пришла ты. Догадываюсь, где ты работаешь, и рада встрече с тобой. Что касается Ихсанбая... Если у тебя есть время, выслушай притчу. Один шакал, рыская ночью в ауле, угодил в бочку с белой краской. Сородичи, увидев его, поразились: совершенно белый, не похож на остальных. И приняв его за священное существо, спустившееся с небес, стали поклоняться ему. Он и сам поверил в свою избранность, позволял себе то, что другим не позволено. Но однажды в полнолуние стая завыла, глядя на ночное светило, и «священное существо» невольно выдало свою шакалью натуру, завыв как все...

— Как я поняла твое иносказание, шакал остается шакалом в любом обличье, и ты ждала своего полнолуния, когда Ихсанбай выкажет себя и все разъяснится без твоего участия?

— Я выносила его под сердцем, не мне его судить, но чему быть, того не миновать.

— Если бы Мадина была твоей внучкой, ты ждала бы столько времени этого «полнолуния»?

— С чего пришла тебе в голову такая мысль о Мадине?

— Я — племянница Шахарбану Худайгуловой.

— Ты... племянница Шахарбану?!

* * *

На пути в Таулы Мадине крупно повезло: возвращался туда грузовик райпотребсоюза, развозивший товары по сельским лавкам, и она доехала до райцентра в кабине, быстро и комфортно. Поэтому и в обратный путь вышла в надежде на какой-нибудь попутный транспорт. В самом деле, догнал ее трактор с санным прицепом. Шел он в Тубинск, расположенный в стороне от дороги на Тиряклы, но оттуда до дому было намного ближе, чем от Таулов, и Мадина облегченно вздохнула, забравшись в кабину трактора.

Когда-то она с матерью ездила в Тюбу — так поселок называется по-башкирски — на базар, помнила женщину, у которой останавливались. Переночевав у нее, поднялась чуть свет, отправилась дальше пешком. Слегка буранило. На дороге не было машинных следов, шла по едва заметному санному следу, вспоминая вчерашние встречи с отцом и следователем. Отец немного похудел, на смуглом лице, которого давно не касались ни солнечные лучи, ни ветер, проступила желтизна, но глаза поблескивали, как прежде, не угасла в них надежда. Каждый раз, когда видит отца, Мадина словно открывает его для себя заново. Как жизнь изменила человека, некогда не интересовавшегося ничем другим, кроме как возможностью выпить-погулять! Мама, будь она жива, после войны, наверно, снова влюбилась бы в него...

Мадина почувствовала, что ветер все более усиливается. Хозяйка, у которой переночевала, сказала ей: «Северный ветер опасен, может разыграться не на шутку.

Хоть акман-токман – весенний буран, в открытом поле тоже страшен. Может, не надо тебе спешить, дочка?» Не послушалась Мадина. Скорей, скорей домой, там ее сыночек ждет!.. А сейчас, оглянувшись, увидела, что идет, будто лиса, заметающая свои следы хвостом. Холодный ветер пробивал ее шубку. Она ускорила шаги и вскоре вспотела. Вокруг ничего не было видно, все скрылось за белой завесой бурана.

По примерному расчету Мадина должна была уже дойти до начала Глубокого лога. Но, шагая наугад по глубокому снегу, она ощутила под ногами что-то пружинистое и догадалась: основание невыбранного до конца скирда. Значит, оказалась в поле, сбилась с дороги. Теперь, если не остановится, может уйти еще дальше от нее. Сердце у нее оборвалось: заблудилась! «Сыночек! Даут!..» Решила устроить себе укрытие, пока не лишилась сил. Принялась раскапывать занесенную снегом солому.

* * *

Кукбуре следила за тем, как луна постепенно полнеет, округляется. Несмотря на эти перемены, она оставалась холодной и невозмутимой, как будто не замечала игривого перемигивания окружающих ее бесчисленных звезд. Не было ей дела и до Кукбуре, в которой по мере приближения полнолуния нарастало мучительное томление. Когда Кукбуре вернулась к прежнему хозяину, тот, не считаясь с яростной, познавшей свободу натурой волчицы, посадил ее, как обыкновенную шавку, на цепь, а луне хоть бы что. Кукбуре нет-нет да взвывала, обратив морду к залитому до краев желтизной диску в небе. Ни звука в ответ. Доведенная до отчаяния этим равнодушием и безысходностью, Кукбуре готова была лопнуть со злости, но тут весьма кстати испортилась погода. Небу и земле, видно, наскучило жить по отдельности, и они слились воедино, породив буран. В вое ветра Кукбуре послышался призыв сильного и прекрасного, как Бывалый, зверя, – призыв к свободе и продолжению рода. О, если бы можно было перегрызть цепь! Кукбуре была уже не в состоянии выдержать неволю, рванулась что есть мочи раз, другой, третий... Либо она выдернет гвозди, которыми цепь прикреплена к тяжелому бревну, либо, исчерпав все силы, умрет от тоски...

* * *

Мирхайдаров проснулся, но встал не сразу, лежал в постели, прислушиваясь к доносящимся с кухни звукам. Там Сарбиназ готовила завтрак. Вскочил внезапно, когда жена начала расставлять на столе посуду. Сарбиназ глянула на него усмешливо.

— Я молчу, думаю, сколько еще проваляешься...

— Как же, поваляешься! Вспомнил, что Мадина вчера ушла в Таулы, а на дворе вон что творится.

— Полагаешь, задержалась там из-за бурана?

— Кабы задержалась! Будто не знаешь, что не усидит на месте.

— Не дитя ведь малое...

— А сама ты какая была в ее годы?

— Ладно, умойся и садись завтракать.

— Некогда! Пойду позвоню в Таулы, пока буран не нарушил связь. Если вчера ушла оттуда домой, пожалуй, придется отправить людей на поиск.

— В такую-то непогодь!

— Есть трактор, лошади. Дорога ведь одна.

Последние слова Мирхайдаров проговорил, на ходу просовывая руки в рукава полушубка. Через несколько секунд, громко хлопнув дверью сеней, нырнул в снежный вихрь.

* * *

Услышав в телефонной трубке голос Мирхайдарова, Камалетдинов не удержался, кольнул председателя:

— Что, Азат Аглиевич, опять без сена сидите?

— Да нет! Сена достаточно. Как только трактора вернулись с лесозаготовок, все свезли к ферме. На этот раз другое беспокоит: как бы доярка наша в беду не попала.

— Доярка? В беду?

— Да. Вчера Мадина ушла в Таулы повидаться с отцом. Я только что заглянул к ней домой — не вернулась. Может быть, буран в пути ее застал.

— Так, так... — У Камалетдинова сердце подскочило к горлу. — Я... ее не видел. Ко мне не заходила. Дело Хашима ведет сейчас новый следователь Адельгужина. Возможно, Мадина с ней повидалась. Вы там время не теряйте,

начните поиск. По сторонам дороги повнимательней смотрите. А я здесь... — На этом связь оборвалась.

* * *

Камалетдинов почувствовал себя беспомощным, словно самого буран накрыл в чистом поле. За окнами — белая муть, ничего не разглядеть. В такую погоду искать путника на дороге — это почти то же, что искать иголку в стогу сена. Но иного выхода нет. Буран может затянуться надолго, ждать, пока он утихнет, нельзя, надо начать поиск немедленно. В райпотребсоюзе есть вездеход. Можно отправиться на нем, взяв с собой несколько лыжников из общества охотников...

Прежде всего Камалетдинов связался со следовательшей, которой передали дело Хашима. С другого конца телефонной линии послышался женский голос:

— Да, это я, Адельгужина.

— Дочь Насибуллина, Мадина, не заходила к вам?

— Заходила.

— Когда?

— Вчера.

— Не сказала, куда пойдет от вас?

— Она, Аюп Газизович, кажется, сразу направилась на дорогу в Тиряклы. Я еще подумала: «Шуба у нее не очень теплая, хоть бы попутный транспорт ей попался».

Значит, Мадина отправилась домой. В Тиряклы машины ходят редко, да и то лишь в начале дня. Но Мадина могла поехать в Тюбу и переночевать там. Да-да, между Таулами и Тубинском непрерывно снует транспорт рудника...

Через час Камалетдинов, сопровождаемый парнями из общества охотников, был уже в пути. Проезжая через Кривую улицу, он вспомнил о старухе-знахарке и решил заглянуть к ней на минутку: может быть, даст полезный совет. Ради Мадины Камалетдинов готов был сегодня обратиться хоть к самому дьяволу. Не получив ответа на стук, он все же потянул дверь на себя, переступил порог и остановился в нерешительности. Старуха с распущенными волосами сидела на нарах в молитвенной позе, на вошедшего не обратила внимания. Камалетдинов невольно прислушался к ее молитве:

— Тенгри мой! Не дай угаснуть светлому лучику нашего рода, не отрывай безгрешную от земной пищи и воды! Духи семи колен предков, духи праведной Бандабики и мудрой Кукхыу, помогите моей Мадине! Умолите Всемогущего сохранить ее жизнь, дабы своей чистотой и жертвенностью освещала она ваши могилы! О, Аллах, все в твоей власти, ниспошли ей помощь! Я чувствую, как бьется ее сердце, руки мои наливаются жаром, этот жар передается мне от нее...

Камалетдинов кашлянул. Неудобно прерывать молитву, но и просто повернуться и уйти он не мог. Старуха, не поднимая головы, проговорила:

— Не теряй время! Она жива, но ей грозит смертельная опасность. Ищите ее между Тюбой и Тиряклами, выше ручья Тенгрибирде. Там у дороги увидите ольховник... Обращайте внимание на сорок, они стрекочут там, где их что-нибудь беспокоит. Вызывай в своем воображении меня и иди в ту сторону, куда протянута моя рука.

Слегка огорошенный ее словами, Камалетдинов поспешил на улицу.

* * *

Кукбуре, волоча цепь, кинулась в снежную круговерть. Уйдя из аула, в долине ручья Тенгрибирде наткнулась на волчьи следы. Прошла пара — молодая волчица и матерый самец. Кукбуре знает их давно. Когда Матерый лишился прежней подруги, Кукбуре попыталась занять ее место, сцепилась с этой молодой волчицей, но, поняв, что силы неравны, отступила и с тех пор одинока.

Пара шла по другому следу, человеческому. След уже замело снегом, но он был недавний. Не успевший выветриться запах взволновал Кукбуре, напомнил о далеком времени, когда ее называли глупышкой. Она тогда свободно бегала по двору Хозяина и однажды из любопытства выбралась на улицу. А там набежала на нее какая-то дворняга и загрызла бы, если б не спасла девочка, от которой исходил этот запах. Девочка подняла ее, задрожавшую со страха, на руки, прижала к груди, погладила, стала успокаивать ласковыми словами. Кукбуре в знак благодарности за спасение лизнула ее в шею. Девочка, засмеявшись, сунула ее в подворотню:

— Иди, глупышка, домой и больше на улицу не вылезай!

Кукбуре уже понимала, что окружающие ее живые существа делятся на своих и чужих. Девочка безусловно относилась к своим, к тем, кого Кукбуре призвана была защищать от чужих. И вот теперь по петляющим следам она прибежала к остаткам скирда, где взволновавший ее запах резко усилился. Кукбуре собралась было разворошить солому, откопать источник запаха, но тут увидела неподалеку затаившуюся волчью пару. Она, должно быть, не решилась сразу напасть на прикрытого соломой человека, выжидала, готовясь к кровавому пиршеству.

Молодая волчица, заносчивая и самоуверенная, приблизилась к Кукбуре и села перед ней, всем своим видом говоря: чего ты сюда явилась, это наша добыча! Кукбуре презрительно повела носом: фу, лахудра голодная, и что в тебе нашел Матерый? Затем, подойдя к самцу, попробовала приласкаться к нему. А тот даже не понюхал ее, пренебрег тем, что у нее течка, оскалил зубы. Какое высокомерие! Кукбуре не учла, что от нее пахнет навозом, дворовой живностью и, самое главное, человеком, прикасавшимся к ней. Только что пережитое унижение, одиночество, вызванное отчуждением от стаи, невозможность удовлетворить естественную потребность в продолжении рода – все это, слившись воедино, пробудило в ней звериную ярость. При этом она помнила, что обязана защитить давнюю свою спасительницу, кинулась к разворошенной соломе, но там уже стояла молодая волчица. Кукбуре напряглась, приготовилась к неравной схватке не на жизнь, а на смерть...

* * *

Хусаин, когда его выдвинули в редколлегию колхозной стенгазеты, хотел было воспротивиться, но подумав, что это потом побудит его почаще заглядывать в клуб и он сможет с удовольствием наблюдать за Мадиной, взмахивающей дирижерской палочкой перед хором, дал согласие. Хусаин неплохо рисовал, особенно лошадей. Стены его караулки были обвешаны рисунками, на которых главным образом красовался Саврасый.

Покончив с делами в конюшне, Хусаин вымыл руки с мылом, тщательно осушил их полотенцем и расстелил на специально сколоченном для этого столе лист ватма-

на. Бумагу ему принес редактор стенгазеты, недавно приехавший в колхоз зоотехник Расуль Юлдашев.

Расуль велел нарисовать три карикатуры. В оставленной им тетради было подробно написано, что и как должен изобразить художник.

Хусаин заточил цветные карандаши и усердно, высунув кончик языка, принялся рисовать...

* * *

Несмотря на слабость и головокружение, Галима пошла на работу. Хотя на ферме могут ее подменить, не позволяет она себе отдохнуть. Есть на это причина: если ее коровами займется другая доярка, станет ясно, сколько она надаивала на самом деле. Галима – депутат райсовета, ее портрет висит на районной Доске почета, может быть, присвоили бы ей геройское звание. Падать, так уж с высокой горы, говорят иные люди. Вообще-то чем выше гора, тем падать больней и расшибиться можно. Однако Галима падать не собиралась, карабкалась вверх, цепляясь, что называется, и руками и зубами, не брезгуя никакими средствами. На то, что на ее пути к славе неожиданно возник Ихсанбай, она закрыла глаза: пусть делает что хочет, только ее, Галиму, не трогает. Но Ихсанбай лишил ее дутых показателей, тем самым дал возможность выдвинуться вперед Мадине. Возненавидела Галима этого урода, только доказать, что это вовсе не Ишмамат, не может. Ну, не объявит же она, что была с ним и знает, кто он, потому что женщина человека, лишившего ее девичества, ни с кем другим не спутает. Будь у нее другие доказательства, не посмотрела бы на то, что он отец ее дочери, сейчас же, сию минуту разоблачила бы. Но пока приходится, стиснув зубы, терпеть. Пока она не в силах отбросить калеку-учетчика со своего пути.

Тем не менее эту тиряклинскую соловушку Мадину вперед она не пропустит. Для этого достаточно лишить ее трех-четырех самых удоистых коров. И не такие задачки Галима решала. Кто, говорят, смел, тот и съел. Потому Галима и пришла на ферму пораньше. Пока Мадина не вернулась из Таулов, она должна сделать свое дело!

* * *

Ихсанбай, может быть, оттого, что надоедает ему лежать, страдая бессонницей, встает рано. Это не создает затруднений Раузе, со времен работы в сельсовете она тоже ранняя птица. Попив молча чай, Ихсанбай уходит на ферму. После этого Рауза зазывает в дом Шангарея, второй раз пьет чай с ним, затем, улестив, уговорив пасынка, посылает его с чем-нибудь съестным к Хусаину и сама отправляется в лавку, получившую теперь статус магазина.

Сердечная мука Ихсанбая — Мадина. Все время на уме — она, перед глазами — она. Иногда ее образ сливается с образом Гульбану. Если бы Мадина не была так похожа на мать... Но нет, одно лицо, одна фигура, одна сущность. Попробовал Ихсанбай пригасить мучающий его внутренний огонь, побыв с Галимой. Не помогло. Что она, что Рауза... Для не едавшего мяса и шурпа — еда, коль нравится Галима Саяфу — пусть себе пользуется.

Вот ушла Мадина в Таулы, и мир Ихсанбая потускнел, потерял привлекательность. А до этого он шел на работу как на праздник. Ах, душа! Почему она не считается с тем, что тело уродливо, не довольствуется тем, что ей отпущено? Мать, бывало, говорила: человек чувствует себя человеком, когда его цель выше, чем он сам. Но дотянется ли Ихсанбай до своей цели? Его стремление обладать сначала Гульбану, затем Мадиной все время оборачивалось для него бедой, превратило в конце концов в калеку без рода, без племени. И все же он не образумился, кидается в схватки с судьбой, не сулящие никакого успеха...

Выйдя во двор, Ихсанбай насторожился. Если не считать воя ветра, во дворе, казалось, царила странная тишина. По привычке, выработавшейся в пору обитания в пещере, он вслушался в эту тишину.

— Кукбуре!

Ни звука в ответ. Спустившись с крыльца, подошел к конуре. Нет ее! Ушла! Вместе с цепью смылась!

Вернулся в дом.

— Где собака?

— Откуда мне знать? — удивилась Рауза. — Кому охота на привязи сидеть? Сбежала, наверно.

— Куда? Куда сбежала?

– Атак-атак! Собаки не докладывают, куда они убегают.

– Дура! – В сердцах громыхнув дверью, Ихсанбай вновь вышел во двор. Толкнулся в растерянности в дверь бани, где ночевал Шангарей, – не отворилась. Подпер идиот чем-то изнутри. Все же хватает ума, чтобы обезопасить себя на ночь. Вот и он, Ихсанбай, когда во дворе была Кукбуре, чувствовал себя в большей безопасности. Сбежала... Что за чертово утро выдалось!

Ругая все на свете, дохромал Ихсанбай до фермы. Зашел сначала в коровник. Возле коров Мадины возилась другая доярка. Те, видно, не давались ей, в воздухе висел сплошной мат. Ихсанбай и сам употребляет такие слова, но они ему неприятны, когда исходят из женских уст. Оказалось, матерится Галима. Говорили, что свалил ее сердечный приступ, все же вышла на работу.

– Поправилась, красавица?

– Если не поправилась, ты, что ли, поправишь?

– Грубишь...

– Церемоний не заслужил!

– Сердишься за тогдашнее... в чулане?

– Исчезни с моих глаз, хромой иблис!

В голосе Галимы прозвучала такая злость, что по спине Ихсанбая пробежали мурашки. На свою голову бесится Галима! Однако надо быть с ней осторожным, не стоит перегибать палку. Стиснув зубы, Ихсанбай покинул коровник, направился в «Красный уголок».

Там никого не было, не считая мыши, преспокойно умывавшейся на столе. Нашла место!

– Кыш!

Мышь исчезла. Ихсанбай плюхнулся на свой стул и увидел стенгазету, вывешенную, должно быть, вчера поздно вечером. Ну-ка, ну-ка... Что за карикатуры? На верхней был изображен отталкивающего вида человек, нацеливший ружье на зверя с обличьем медведя, но с коровьими рогами на голове. Ниже – стишок:

У медведей тиряклинских
Очень острые рога,
Но Ишмамат не испугался –
Сразил рогатою врага.

Ихсанбай перевел растерянный взгляд на следующую карикатуру. На ней курица с накинутой на шею петлей привязывает крыльями конец веревки к потолку. На

полу, взирая на это, сидит на куче яиц толстая ханум, точь-в-точь Рауза. В облачко, выведенное из клюва курицы, вписаны как бы ее слова:

За все яичками плати –
От платьев до конфет.
Повешусь, тетенька, прости,
Нестись уж мочи нет!

Где-то в верхах ради выполнения планов по закупке сельхозпродукции у населения придумали порядок, по которому в сельских торговых точках часть товаров из числа самых ходовых реализуют только в обмен на куриные яйца. А как быть тем, кто кур не держит? Тут стенгазетчики правы. Но каков Хусаин! Родную мать не пожалел, выставил на посмешище!

Третья карикатура – камешек в огород самого колхоза: трактор, машина и лошадь смеются, уперев «руки» в бока, а коровы, впряженные в плуг, пашут землю. И здесь – стишок, признаться, довольно складный, если учесть, что сочинил его местный житель:

Даем мы мясо, молоко
И мы же землю пашем.
Колхозным насмех лошадям,
Обидно, прямо скажем!

В самом деле тиряклинцы весной, чтобы вспахать огороды, все еще, как в годы войны, запрягают коров. Ну и наплевать, пусть запрягают, Ихсанбая это не касается. Его, разумеется, вывела из себя карикатура на него самого. Наплел скотникам идиот Шангарей, будто видел, как Ишмамат разделывал медведя с головой, похожей на коровью, и пошли по аулу смешки. Ладно, смешки можно пережить, но карикатура намекает, в чьи руки угодила пропавшая корова Мадины. Вот сволочи, унюхали! Нет у них доказательств, бред недоумка не доказательство, а все же...

Может, стенгазету на ферме никто еще не видел. И не увидит! Ихсанбай в ярости сорвал ее со стены, сунул, скомкав, в печь, поджег спичкой. Когда она сгорела, вышел во двор, распираемый желанием взгреть Шангарея за его болтовню.

– Ну, мать твою, укорочу я тебе язык! – погрозил он и пошагал обратно в аул.

* * *

Мадина крутится-вертится, подпрыгивает, отклоняется туда-сюда, а окружившие ее мальчишки и девчонки бросают скатанный из коровьей слинявшей шерсти мяч, стараясь попасть в нее. Мадина пока что ловко увертывается от мяча, остается в кругу. Игра в самом разгаре, все горячатся, досадуют, спорят меж собой.

– Дай-ка, я попробую!

– Не попадешь!

– Сейчас увидите, мокроносые, как...

Кидают и не попадают. Мадина быстра, как косуля, сноровиста, как белка. Но увернувшись очередной раз, она вздрогнула. Атак, вовсе не дети вокруг нее собрались, а взрослые: лысый профессор, охранник Бутырской тюрьмы, Ихсанбай, Ишмамат, Галима, Саяф, еще кто-то. Шумно дышат, высунув языки, как собаки. Над головой Мадины пролетел мяч. Ах! Оказывается, это не мяч, а ее сердце. Собравшиеся вокруг люди, издавая дикие крики, перекидывают его через голову Мадины друг другу. Оно живое, видно, как бьется. Мадина пытается поймать его, но не может дотянуться. Ей жарко, она уже вся мокрая от пота, хочется пить.

– Пить!..

Кто-то влил ей в рот чуточку воды. Хорошо! Крикливые, злые люди заклубились, как клочья тумана, и исчезли, а Мадина вновь оказалась в кругу детей, играющих с мячом. Ноги у них в цыпках, а лица ясные, оживленные. Среди них нетерпеливо подпрыгивают Биктимер, Янтимер и... Даут. Даут?!

– Сыночек! – Хотела рвануться к нему, но не позволила резкая боль в груди.

Мадина открыла глаза, увидела сквозь пелену слез неясные тени, собравшиеся около нее.

– Мадина! Ты узнаешь меня? Я – Камалетдинов.

– Где я?

– В Таулах, в больнице.

– Мой... ребенок... – Теперь из ее глаз слезы хлынули обильно. К ней склонилась другая тень.

– Успокойся, успокойся... Тебе нельзя волноваться... – Тень, видимо, врач, обернувшись к кому-то, распорядилась: – Укол! Пусть поспит. У нее распухли груди. Попробуйте сцедить молоко. Если не пойдет, принесите ребенка из родильного отделения...

* * *

Когда Мадина очнулась, Камалетдинов отправился домой и рухнул в постель. Видя, в каком состоянии муж, – лицо осунулось, глаза ввалились, – Малика, хотя и чесался у нее язык, ничего по поводу его долгого отсутствия не сказала. Пока чуть ли не весь поднятый Аюпом на ноги район искал Мадину, Малика даже сочувствовала ей: такая молодая, а сколько уж бед на нее свалилось! Просила по-своему Всевышнего сохранить ей жизнь ради ее ребенка. А после того, как Мадина нашлась и Аюп при его-то должности две ночи продежурил в больнице, очень хотелось спросить: «Что, Камалетдинов, в сестру милосердия переквалифицировался?», но сдержалась.

Чтобы дать Аюпу спокойно заснуть, Малика вышла с дочкой на улицу, постояла, не зная куда направиться и, остановив выбор на доме Талипа Лукмановича, пошагала туда. Пусть дети пообщаются меж собой, а сама она облегчит душу в беседе со словоохотливой Раисой Максимовной...

* * *

Голова горячая, как камни в бане, в ушах стоит шум, тело ноет от усталости, а сна ни в одном глазу. Лежа в постели, Камалетдинов перебирал в памяти события последних двух дней. Знахарка подсказала место верно: Мадину они нашли недалеко от ольховника в основании скирда. Сначала на бугре, с верхушки которого снег был сдут ветром, увидели труп собаки. Она лежала раскинув лапы, будто обняв бугор.

– Собака!

– Нет, волчица!

– Какая тебе волчица, она же с цепью!

– Еще охотником себя называешь! Посмотри на ее морду, на уши!

В ольховнике застрекотали сороки. Охотники, взрывая ногами снег, двинулись туда и обнаружили еще один труп. Тоже волчица...

– Ну и дела!

– Они перегрызли друг дружке горло...

– Надо же, и волки меж собой воюют!

От бугра, где лежал первый труп, до места, где лежала вторая волчица, тянулся след, сквозь снег проступали пятна крови. Камалетдинов, вспомнив наказ знахарки, закрыл глаза, представил ее. Старуха сидела, положив руки на колени. Как же так? Она ведь велела идти в ту сторону, куда протянута ее рука. Камалетдинова осенило: Мадина здесь! Зарылась, чтобы спастись от гибели, в остаток скирда. Скирд был поставлен на краю поля, недалеко от дороги...

— Идите сюда! — позвал он охотников. — Переложите труп волчицы в сторону. Разройте солому. Осторожно! Не тычьте палками!

Увидев окровавленную Мадину, лежавшую без сознания, Камалетдинов и сам едва не лишился чувств. К счастью, выяснилось, что кровь натекла на нее сверху. Охотники на радостях устроили салют, постреляли в воздух. Вскоре, услышав выстрелы, подъехали оказавшиеся неподалеку тиряклинцы. Камалетдинов поднял Мадину, прижал к груди ношу, ставшую самой дорогой в его жизни, понес к вездеходу. Кто-то из тиряклинцев, глянув на труп с цепью, прикрепленной к ошейнику, воскликнул:

— Так это же сука Ишмамата, Кукбуре!

Трупы увезли на санях в аул...

...Не берет сон Камалетдинова, перед глазами — образ лежащей на больничной койке Мадины. В больнице он впервые увидел ее лицо очень близко. Брови, напоминающие вскинутые крылья ласточки, длинные смеженные ресницы, маленькие колечки волос, прилипшие к влажному лбу, две блестящие, как змеиная кожа, косы, лежащие, обогнув изящную шею, на груди... Небольшие аккуратные ушки, соразмерный с лицом нос, прелестные губы будто вырезаны резцом искусного ювелира... До чего же она прекрасна, божественно прекрасна!

Аюпу хотелось прикоснуться к ней, ощутить ее тепло, но он ни разу не посмел протянуть руку к ней даже когда дежурившая в палате сиделка отлучалась, — Мадина и без сознания оставалась для него неприкасаемой богиней. У него даже мелькнула мысль: «Как же это у Абдельахата хватило духу жениться на ней?»

Иногда Аюп задремывал, сидя около нее, и память уносила его в далекое теперь время, когда он, осиротев, попал в детдом. Он часто убегал оттуда и однажды уго-

дил в детскую воспитательную колонию. В колонии ему устроили жестокое испытание: сунули меж пальцев ноги клок газеты и подожгли. «Выдержишь, пока сгорит, не закричишь?» Аюп до крови искусал губы, но не закричал. Теперь он был обречен на муку, схожую с той, с одной лишь разницей: жгучая боль перекинулась в сердце.

Из колонии Аюп тоже сбежал, прожил некоторое время в компании беспризорной шпаны. Голодали, обовшивели. Давили, положив рубашки на рельсы, скопившихся в швах паразитов камнями. Потом, чтобы вовсе их вывести, забирались на груженые углем железнодорожные платформы, раздевались и ехали стоя, подставив рубашки и штаны ветру. Поезд мчится неизвестно куда, мчатся черные от угольной пыли чертенята, рискуя ради избавления от кровососов жизнью... А нынешнее положение Камалетдинова лучше, легче? Пританцовывать в звании руководителя района подобно цирковой лошади – это счастье? Что-то не радует его новая жизнь, построенная на костях миллионов безвинно погибших людей. Или он должен радоваться, видя полуголодное существование крестьян среди гор возделываемого ими хлеба, видя вот эту соловушку копающейся в навозе? Аюп и сейчас чувствует себя в положении мальчика, ехавшего когда-то на открытой платформе, ежесекундно рискуя полететь в тартарары.

Сколько бы он тогда ни убегал, в конце концов вновь возвращался в детдом. И сначала его помещали в изолятор, чтобы очистить от всякой заразы, набранной в бегах. Он становился пленником, за которым внимательно следили. Сейчас он сыт, обут-одет, занимает высокий пост. Но все равно живет как в изоляторе. За ним, за каждым его шагом следят тысячи глаз. Он не волен в любви, не вправе сказать любимой, что любит ее. Он пленник, поставленный надзирать над другими пленниками системы...

* * *

У обремененной семейными заботами Раузы теперь нет времени часами точить лясы, перемывать чьи-то косточки, остановившись посреди улицы. Но каждый, кто заходит в магазин, перекидывается с ней хотя бы парой слов, сообщает новости, и Рауза по-прежнему в курсе аульной жизни вплоть до того, что у кого на столе и кто какие нижние штаны носит. Вот пришла в магазин Гали-

ма. У нее из-под подола платья выглядывает кружевной край сорочки.

– Никак, Галима, ты в Магнитку съездила?

– Да нет. С чего ты взяла?

– Сорочка твоя... Я такие не продавала.

– Ты не продавала, так других магазинов в округе нет, что ли?

– Есть, но товар все с одной базы получаем.

Галима повернула разговор на другое.

– Мне платьице для моей девчонки нужно.

– Ах-ах, что же сразу не сказала? Вот с синими цветочками, подойдет ей.

– Почем?

– Шестьдесят яичек.

На лице Галимы выступили красные пятна. Куры у нее сроду не водились, все силы отнимает колхозная ферма.

– Были бы яички, так сама бы ела! У меня что, права покупать за деньги нет?

– Чай, сахар – пажалыста!

– Мне платьице нужно!

– Выкладывай яички и бери!

– С этими яичками ты уж, тетенька, в газету попала!

– В какую газету? С чего я в газету должна попасть? С чужими мужиками тайком не тешилась, без мужа ребенка не родила!

– Астагафирулла, Рауза-апай, ну и язык у тебя! На то пошло, так я забредшую в мой двор чужую корову не съела!

– Какую корову?

– Бильдяшку Мадины, которую вы с Ишмаматом украли!

– Ах, сука! Что ты мелешь? На покалеченного фронтовика напраслину возводишь!

– Ха, фронтовик! Липовый он фронтовик! Кабы вы порядочными людьми были, не угодили бы оба в «Колючку». У порядочных людей сын карикатуру на свою мать не рисует. Срам!

– Поосторожней открывай рот, девка! Думаешь, люди не знают, что ты плод своего греха в нужник сбросила? И как передовой дояркой стала знаем! Тебе только под быка лечь осталось!

– И лягу, если захочу! Не твое дело!

Галима ушла, даже не притворив за собой дверь. Рауза, тоже сама не своя, заперла магазин и поспешила домой. Надо было выяснить, что это за газета, о чем толкует народ.

Калитка была открыта, Рауза подумала, что Ишмамат дома. Нет, убрел куда-то. Покрутилась по двору. Вдруг в уголке меж собачьей конурой и поленницей дров бросился ей в глаза череп. Острия рогов отпилены. У коровы Мадины такие были... О, Аллах, неужто в самом деле поднял на нее руку Ишмамат? Голову, видать, где-то закопал, бродячие собаки могли откопать ее, а Кукбуре, пропади она пропадом, пока не посадили на цепь, притащила череп сюда...

Мысли Раузы прервал пронзительный крик, скорее даже визг. Такой визг Рауза слышала в детстве, в русской деревне, где однажды побывала с матерью у ее знакомых. Там забивали свинью. Рауза так испугалась, что дома бабушке пришлось исполнить обряд избавления от страха. Сейчас визг доносился из бани. Шангарей, глупый, там ошпарился, что ли?

— Шангарей! — Открыла дверь бани и, увидев, что там происходит, отшатнулась. — Нет! Нет! Нет! Люди, на помощь! — Хотела побежать на улицу, но ноги не слушались, в глазах потемнело, и Рауза, как тогда, когда услышала о смерти Сибагата, упала в обморок.

* * *

У Касима ожеребилась кобыла, которую выбраковали и собирались сдать на мясокомбинат. Касим приобрел ее правдами и неправдами, отдав взамен своего быка. И вот он, жеребенок. Хусаин пришел посмотреть на него. Красивый жеребеночек. Уши торчком, шея длинная, грудь широкая, ножки точеные, масть — точь-в-точь как у Саврасого.

— Агай, — сказал Хусаин Касиму, — я буду приходить каждый день, а то еще вы не сумеете правильно воспитать его.

— Не так уж велика хитрость вырастить жеребенка.

— Он не простой жеребенок, агай, он из потомства тулпаров.

— Думаешь?

— Я-то уж в лошадях разбираюсь.

— Ладно, пожелаем ему стать отличным скакуном.

— И-и-и, хороший мой!.. — Поглаживая жеребенка, Хусаин прослезился. Уже второй раз за этот день. Первый раз прослезился, услышав, что Мадину нашли. — Вот вернется Мадина из больницы и тоже придет поласкать его.

— Пусть придет. Мадина лошадей любит.

— И они ее.

— Кто же Мадину не любит?!

— Саврасый очень ее любил...

Хусаин шагал по улице, улыбаясь, распахнув от радости полушубок. Хотелось поделиться этой радостью с кем-нибудь. А почему бы ему не заглянуть к матери? Нет ведь у него человека ближе.

Войдя во двор Ишмамата, Хусаин услышал крик: «Люди, на помощь!» Голос матери. Донесся со стороны бани. Решив, что на мать напала собака, Хусаин на бегу подхватил подвернувшуюся под руку палку. Мать лежала в предбаннике. А в бане «Ишмамат»... насиловал Шангарея. Хусаин огрел его палкой по голому заду.

— Подонок! Собачье отродье! Убью!

Тут Рауза очнулась.

— Сынок, не убивай! Сам пропадешь из-за негодяя! Послушайся меня, сынок!

«Ишмамат» попытался выскочить из бани, но, запутавшись в спущенных штанах, упал.

— Убыр! Я же говорил — он не мой отец! — Шангарей зарыдал. — Раужа-эпшэй*, не оштавляй меня тут! Вожьми к шебе, Рауза-эпшэй!

Рыданье Шангарея добавило ярости Хусаину.

— Убью мерзавца! Не держи меня, мать! Он не человек — выродок!

Тем временем с необыкновенным для хромца проворством Ихсанбай улизнул из бани и заперся в доме. Взяв с собой плачущего Шангарея, разъяренный Хусаин и пришедшая в себя Рауза пошагали к ее прежнему дому.

---

* Э п ш э й (*эпсей*) — обращение к пожилой женщине, которую почитают как мать.

* * *

По аулу разнеслась весть: Мадина жива, Мирхайдаров с несколькими колхозниками навестили ее в больнице. Мадина сказала, что сразу, как вернется, начнет репетиции с хором. И про коров своих спрашивала.

Весть эта дошла и до Галимы. Ладно, пусть занимается своим хором, а она, Галима, человек дела. Сколько уж сил потратила на ферму и своего там добьется. Вчера из-за внезапного появления Ихсанбая она растерялась, а на этот раз... Только бы не помешал опять кто-нибудь!

Все еще не успокоившаяся после ссоры с Раузой, пришла Галима на ферму затемно. Сердце забилось учащенно, когда подошла к коровам Мадины с ведрами, в которые нацедила аммиачную воду.

Прошлым летом доставили в колхоз по разнарядке цистерну этого удобрения, но для внесения его в почву нужны соответствующие приспособления, а их не было. Чтобы добро не пропало совсем уж зря, Саяф привез на ферму несколько фляг едкой жидкости. Прочитал в газете, что аммиак, если осторожно, в небольших дозах добавлять его в корм животных, повышает их продуктивность. Попробовали сдабривать разбавленным водой химикатом солому, и все шло пока благополучно. Галима же приготовила сильный ядовитый раствор, размешала в нем принесенную из дома кашу.

Услышав позвякиванье ведер, несколько коров поднялись. Галима поставила «угощение» перед Пеструшкой и Пятнистой. Их чавканье привлекло внимание Буренушки, она потянулась к соседке, дескать, не поделишься ли со мной, и невзначай задела Галиму. И без того взвинченная доярка схватила вилы, саданула остриями ей под рог. Буренушка взревела, отчаянно замотала головой...

Быстренько ополоснув опустевшие ведра, Галима повесила их сушиться и, пока не подошли другие доярки, ушла из коровника.

* * *

У Ихсанбая была в запасе бутылка водки. Пил малопомалу всю ночь, погрузившись в тяжкие думы. Да, оставаться здесь он больше не может. Сам виноват, надо

было жить тихонько, затаившись, как мышь, но не получилось. Но свет не сошелся клином на Тиряклах, везде живут люди. В конце концов должно улыбнуться ему счастье. Найти бы мать, а через нее – Сабилю. Сабиля ему не нужна, но она, может быть, родила сына. Вот сын... Куда могла уйти мать? Скорей всего, в Таулы. Была у нее там знакомая, старуха-знахарка. Там же и дядя Сабили живет. Значит, надо искать их в Таулах. А как же он сможет жить без Мадины? Уйти с ним она вряд ли согласится. Пригрозить, заставить? Ихсанбай посмотрел на лежавший на столе нож. Если упрется, если не достанется ему, пусть никому не достанется! Уйдет без нее... с сыном... в казахские степи. Или еще дальше. Везде одно солнце, одна луна... А сначала – в Таулы...

Ихсанбай сложил в заплечный мешок кое-что из съестного и самые нужные вещи, взял ружье. Прощай, Тиряклы! Вон Кукбуре сбежала на волю с цепью, а ему лучше улизнуть, пока не надели наручники.

На пустынной улице никто его не увидел, только сам он заметил, что кто-то спешил в сторону фермы. Впрочем, какое ему теперь до этого дело?! Пойти в Таулы по большаку Ихсанбай не рискнул, решил добраться окольными путями и направился в сторону горы Куктау, скрывавшей его в течение двух лет. Кому, говорят, Всевышний даровал жизнь, тому подсказывает и способы существования...

* * *

Раиса Максимовна встретила Малику приветливо.

– Проходите, дорогая, проходите! Как хорошо, что решили навестить нас!

Провела Малику в гостиную.

– Аюп Газизович прилег отдохнуть, ну я, чтобы ребенок не мешал ему...

– Конечно, конечно! Нелегкая у него работа.

– И не говорите! – У раздевавшей ребенка Малики будто плотина в переполненной душе прорвалась. – Он ведь, Раиса Максимовна, такой заботливый, внимательный к людям! О тиряклинской доярке слышали?

– О да! Талип рассказывал. Шутит, наверно, говорит, волки постеснялись съесть ее из-за того, что она очень красивая... Ну, так что же Аюп Газизович?

— Мало того, что спас, не отходил от нее, пока не очнулась.

— Она, Талип говорит, одаренная певица. В Москве какое-то время училась.

— Да, училась... Она — жена друга Аюпа Газизовича. Он ей помог поступить учиться...

— Бэй! — Раиса — Рашида-ханум заговорила на местном башкирском диалекте. — Разве она замужем?

— Ребенка уже растит.

— Я этих подробностей не знала... Что ни говори, широкая душа у Аюпа Газизовича... — Раиса захлопотала, чтобы угостить гостью чаем, и сменила тему разговора, перейдя на «ты»: — Флорида твоя... Как выросла! Просто невеста!

— А где ваш Абубакир?

— В детской... Такой деловой! Все что-то строит. Давай с Флоридой его познакомим. Ему общения с детьми не хватает.

Симпатичный синеглазый мальчонка, когда Раиса предложила ему познакомиться с девочкой, серьезно протянул ей руку, но маленькая гостья его не поняла.

— Мам, а почему она не здоровается?

— Застеснялась. Она ведь невеста, а невесты все застенчивые...

— А разговаривать она умеет?

— Конечно. Вот и ты ее еще немного подучишь.

У Малики язык не повернулся сказать, что ее дочка не разговаривает. А Флорида заинтересовалась игрушками, занялась ими, сев перед мальчиком.

Вернувшись в гостиную, женщины сели почаевничать. Обе принялись жаловаться на занятость домашними делами. Правда, больше жаловалась Малика, а Рашида, вполне довольная своей обеспеченной жизнью с хорошим мужем и любимым ребенком, похвалила Талипа:

— Он у меня тоже очень положительный! Приютил вот одного калеку. Пристрой, где у нас прачечная была, сейчас пустует, пусть, говорит, там поживет, хоть тем, что по хозяйству будет помогать, на еду себе зарабатывает.

Тут (легок на помине!), вошел в дом, скособочась, человек с обезображенным так, что страшно было взглянуть, лицом, сбросил у печи охапку дров и просипел, обращаясь к хозяйке:

– Я скотину напоил, навоз убрал. Вечером отлучусь, не теряйте меня...

Когда он ушел, побледневшая с испугу Малика – не до чая ей стало – сказала:

– Какой жуткий у него голос! И лицо... Где Лукман Талипович его нашел?

– Сам к нему пришел. Война его покалечила...

– Видела я калек, но таких страшилищ...

– Он безвредный. Даже Абубакир его не боится.

– Вы к Абубакиру его подпускаете?

– А почему бы не подпускать? Абубакир станет, как отец, врачом. Пусть видит и хорошее, и плохое. Этот калека его сразу полюбил, защитит от опасностей...

– Каких опасностей? Разве ему что-нибудь грозит?

– Ну, мало ли что в жизни может случиться.

– Это так... Но я бы свою Флориду чужому человеку не доверила.

– Ах, дорогая моя, ты молода, многое не понимаешь... У тебя, возможно, будет еще ребенок, а у нас с Лукманом... Абубакир – единственная наша отрада. Нам нужен надежный человек, а этот калека будет благодарен и верен нам, ему больше некуда деться...

– Мне пора домой, – поднялась вдруг Малика.

«Бедняжка, ревнует мужа», – подумала Раиса Максимовна, провожая ее.

* * *

Мадина проснулась в хорошем настроении. Подойдя к окну, распустила косы, принялась расчесывать волосы. Погода наладилась, весна разгулялась, на улице так светло, небо такое синее... Вдалеке видна гора Куктау, в той стороне – Тиряклы, Тенгрибирде, Акъелга... Возле самой Акъелги – ее усадьба, там сейчас пьют утренний чай. Газима, наверно, поит Даута козьим молоком...

У Мадины пропало молоко. Психиатр Лидия Николаевна сказала, что сильный испуг, видимо, подействовал на молочные железы... Ну ладно, Даут уже большой, главное, что она жива. Мадина, оказывается, до сих пор не знала истинную цену жизни, теперь каждый день для нее – большой подарок.

Послышались шаги, в палату вошли пожилой лечащий врач и Камалетдинов.

— Ой, не успела волосы прибрать! — смутилась Мадина.

Врач присел на край ее койки, Камалетдинов устроился на стуле.

— Кажется, наша тиряклинская соловушка готова запеть, — сказал врач, улыбнувшись.

— Не только запеть, но и полететь!

— Не спеши расправлять крылья, рановато!

— Мне надо домой... Отпустите, пожалуйста!

Врач глянул поверх очков на Камалетдинова:

— Как решим, Аюп Газизович?

— Решать вам... Вообще-то сегодня в Тиряклы пойдет машина с инструкторами райкома...

— Ну, если, девонька, дашь слово не волноваться чересчур, не простужаться...

— Клянусь! Большое вам спасибо!

Вскоре Мадина села в райкомовскую «Победу» и в обществе двух инструкторов помчалась в Тиряклы.

* * *

Проводив Мадину, Камалетдинов подумал, что ей сейчас очень нужна забота близкого человека, жаль, нет рядом отца. В суете последних дней Аюп Газизович забыл о деле Хашима. Спохватившись теперь, позвонил Адельгужиной. Ее озабоченный голос насторожил его.

— Насибуллин...

— Что? Что-нибудь с ним случилось?

— С ним-то ничего не случилось. Установлен факт как раз в его пользу. Под именем Ишмухамета Бактымбаева скрывался Ихсанбай Муратов.

— Вот как!

— Но Муратов сбежал из Тиряклов.

— Что говорит Мирхайдаров?

— Мирхайдаров о том, что он — Муратов, догадался раньше, чем мы.

— И молчал!

— Партизан... Решил разобраться во всем самолично. Собирал доказательства. А тем временем тамошние горячие головы поместили в стенгазете карикатуру на мнимого Бактымбаева с намеком, что он похитил корову Мадины, и спугнули Муратова.

— Удивили вы меня...

— Я побывала в Тиряклах. Люди там, Аюп Газизович, в общем неплохие живут. Мадину любят, тепло вспоминали ее мать и к Хашиму относятся доброжелательно.

— Хорошо, что вы туда съездили. Ихсанбай Муратов, если это действительно он...

— А иначе зачем бы он скрылся? Это в самом деле опасный человек.

— Что можно вменить ему в вину, раз сам жив и, насколько мне известно, живы его мать и жена?

— А мальчики?

— Мальчики, возможно, утонули по неосторожности.

— А Зарифа? И почему Сабиля от него сбежала? Грехов на нем много. Повторяю, он опасен.

— Кому сейчас может угрожать опасность с его стороны?

— Например, Мадине. Она жила по соседству, многое о нем знает, пропали именно ее братишки и, наконец, Ихсанбай уже второй раз лишил ее семью коровы. Почему? Что-то за этим стоит, что — я пока не смогла понять...

Аюп Газизович позвонил Адельгужиной, чтобы успокоиться, а вместо этого... Он зажал руками голову.

* * *

— Дед Мазай, мне надо сходить в магазин, не посидишь с ребенком? — спросила хозяйка, приоткрыв дверь клети.

— Конечно-конечно! — отозвался Ихсанбай.

Дедом Мазаем Раиса Максимовна стала называть его вслед за Абубакиром. При первой встрече с ним мальчик, глядя на него безоблачно ясными синими глазами, спросил по-русски:

— Тебя как звать?

Мысли Ихсанбая заметались в поиске ответа. Выручили его запомнившиеся еще в школьные годы стихи о старике, спасавшем зайцев.

— Дед Мазай, — сказал он. Имя мальчику понравилось и прилипло к Ихсанбаю. Теперь вот и старшие называют его дедом Мазаем.

С Абубакиром Ихсанбай сблизился не сразу. В свободное от хлопот по хозяйству время он стал выстрагивать из мягкой древесины игрушки для мальчика. Вырезал фигурку лошади, смастерил маленькую тележку. Передал подарки через Рашиду. Это, видимо, вызвало

у мальчика интерес к неожиданно появившемуся у них человеку, он сам потянулся к Ихсанбаю. Даже закапризничал:

– Почему дед Мазай не приходит ко мне? Я хочу поиграть с ним!

И вот Абубакир с Ихсанбаем остались вдвоем. По телу Ихсанбая, когда он взял мальчика на руки, пробежала теплая волна, такое чувство до сих пор никто у него не пробуждал. Это было отцовское чувство. Ихсанбай прижался носом к груди Абубакира. Как вкусно, как волнующе пахнет ребенок!

– Ах, сынок!

Слово это вырвалось неожиданно. Ихсанбай мысленно повторил его: «Сынок! Сыночек!..»

Абубакир тонкими пальчиками притронулся к его лицу.

– Дед Мазай, когда я вырасту, стану доктором.

– Почему... доктором?

– Стану доктором и вылечу твое лицо. Пусть станет гладким и белым.

– Хочешь, чтобы мое лицо стало таким, как у нее? – Ихсанбай указал на белую кошку, которая, сидя напротив них, умывалась. Мальчик понял, что дед Мазай пошутил, звонко засмеялся. Ихсанбай тоже издал сиплые звуки, означавшие смех.

Абубакир, уютно устроившись у него на коленях, спросил:

– Дед Мазай, а бабка у тебя есть?

– Бабка? Н-нет... Бабки у меня нет.

– Почему? У деда должна быть бабка. А сынок? Есть у тебя сынок?

– Есть.

– А где он?

– Он-то? Сидит на ветке, кушает конфетки.

И опять Абубакир понял, что дед Мазай шутит, залился смехом. Им было хорошо, весело друг с другом.

– Дед Мазай, ты всегда-всегда будешь жить с нами?

– Нет, всегда-всегда не смогу. Наверно, уеду, детка.

– Куда?

– Далеко... Хочешь поехать со мной далеко-далеко?

– Да.

– Только ты об этом никому не говори, ладно?

– Ладно. А ты, дед Мазай, меня любишь?

– Люблю.

– Очень?

– Да, малыш. Никого еще я так не любил.
– И я тебя люблю. Сильно-пресильно!

* * *

Когда въехали в объятые весенними шумами и теплом Тиряклы, Мадина встрепенулась. Здесь, в мире, по которому соскучилась, где ее любят и ждут, она, наверно, быстрее окрепнет. Вот ее изба. На скворечнике над воротами скворцы ссорятся с воробьями, занявшими их жилье, пока они были в других краях. На картофельном огороде снег уже почти весь сошел, пора подумать, как его вспахать. А вон изба тетушки Фаузии – смотрит маленькими окошками на слепящее солнце. В окне избы самой Мадины засияло еще одно солнышко, изнутри припал к нему Даут, хлопает ладошкой по стеклу, увидел мать. Рядом появились еще две головы. Залучилось лицо Магинур, Газима улыбается сдержанней, но видно, что тоже обрадовалась.

Мадина ускорила шаги, сердце гулко застучало у самого горла.

– Даут! Сыночек! Ой каким большим ты стал!

– Старались откормить, как барсучонка. – Газима схватилась за самовар. – Он уже отвык от груди, не напоминай ему больше...

– Так ведь он еще маленький!

– Козье молоко ничем не хуже. Вот я кашу на нем сварила... – Отставив самовар, Газима ухватом вытащила из печи чугунок.

Вскоре семья, состоящая из трех женщин и маленького представителя мужского пола, устроилась у расстеленной на нарах скатерти. Старшие женщины пока что не касались болезни Мадины. А она радостно поглядывала на горшки с проклюнувшимися росточками сибирских кедров. В каждом из них – привет от Абдельахата, его любовь, его надежда...

– На работу... повременишь выходить? – Газима, разливая чай, испытующе посмотрела на Мадину.

– Атак, пусть немного наберется сил! – Магинур, если б это было в ее власти, не отпускала бы названую дочь ни на шаг от своего двора.

– Вообще-то, Магинур, среди народа душа расправляет крылья быстрей, – заметила более опытная Газима.

Мадина видит, что благодаря Газиме семья не испытывала нужды. Жизнь была сурова к ней, но, обижая, должно быть, привила и полезные качества – проворство и находчивость.

– Двух твоих коров на ферме пустили на мясо, – опечаленно сообщила Мадине Магинур и вытерла уголком платка выступившие на глаза слезы.

– Почему? Это ведь первотелки!

– Животы у них отчего-то вздулись, что ли...

– Не расстраивайся! – Газима потянулась за чашкой Мадины. – Главное – здоровье... Там, говорят, и Буренушку твою слегка ранили. Кто-то решил напакостить тебе, не иначе. Ты опередила на ферме всех, кому-то это не по нутру. Но не расстраивайся. Пакостник уже наказан тем, что он пакостник...

– Тебе тяжелей было бы услышать это от посторонних людей, – добавила Магинур. – Да, забыла сказать: нашелся череп твоей пропавшей коровы.

– Где?!

– Во дворе Ишмамата. И-и-и, чего только не случилось тут в последние дни! Ишмамат куда-то сбежал. Бедняжка Шангарей живет у Раузы, она вернулась в свой дом...

Как было Мадине усидеть дома после того, как она услышала все это? Собралась, несмотря на возражения своих опекунш, и отправилась на ферму.

В «Красном уголке» встретил ее широкой улыбкой Саяф.

– О-о, кого я вижу! Наконец-то вернулась!

– Вернуться-то вернулась... А моих самых удоистых коров... – Мадина отвернулась, чтобы не показывать слезы.

– Я уж и сам сильно расстроился. Сколько твердил, чтобы с аммиаком обращались осторожно!

– Дело не только в аммиаке, Саяф-агай. А с Буренушкой что?

– Да, Буренушка болеет. Тут как раз новое задание по мясу поступило. Придется некоторых коров выбраковать. Не телок же сдавать!

– Буренушку трогать нельзя! Она породистая.

– У нее же один сосок отсох.

— А все равно молока дает не меньше любой другой коровы. К тому же она стельная. Даст и хорошее потомство.

— Я не говорю, что сегодня же ее зарежем. Посмотрим... Мне государство спустило задание, должен выполнить.

Мадина повернулась и ушла. В выгульном загоне к ней тут же потянулись, мыча, коровы ее группы.

— И-и, скотинушки! Я по вам тоже соскучилась! — растроганно приговаривала она, поглаживая своих подопечных. Больно сжалось сердце, когда посунулась к ней Буренушка. Похудела бедняжка, в левом глазу появилось бельмо...

Раз уж пришла на работу, осталась Мадина на ферме до вечерней дойки. После ее завершения подошла к Галиме.

— Как поживаешь, подружка?

— Да ничего так-то... — отозвалась Галима, суетливо берясь то за вилы, то за лопату. — Трудимся. Нам, чернорабочим, не привыкать. Обидно только, что этот чертов учетчик подсек меня...

— Я тебя понимаю. Вот что: Саяф сказал мне, что собирается выбраковать часть коров, на мясо, говорит, задание пришло. Пусть отберет двух-трех старых, от которых мало проку, из твоей группы, взамен возьмешь моих, самых молочных.

— Отдашь своих лучших... мне?

— Лучших-то, сама знаешь, уже нет. Но и остальные у меня не плохие. Они ведь молодые, прибавят еще надои.

— А как же ты?

— Новых первотелок раздою.

— Легко сказать! Давно ли чуть легких не лишилась...

— Отец мой говорит: снаряд два раза в одно и то же место не попадает. К тому же я опыта набралась. Мне это интересно.

— Что Саяф скажет...

— Думаю, не будет против. — Мадина, улыбнувшись, взяла Галиму под руку. — Пошли, подружка, домой.

— У меня особых угощений нет, но, может, зайдешь ко мне? Посидим, чайку попьем...

Мадина подняла взгляд на красное — даже уши пылали — лицо Галимы, и стало ей жаль подружку. Знает она,

знает, кто сгубил ее коров, и все-таки жаль. Не умеет Мадина отвечать злом на зло.

– Как-нибудь в другой раз попьем, – сказала она. – Даут меня ждет, соскучился, еле его от себя оторвала.

Когда Мадина уже повернула к своему двору, из переулка появилась Рауза с узелком в руке.

– И-и, Мадина! Услышала, что ты вернулась, и вот иду к тебе. В больнице навестить не смогла, так дай-ка, сама себе говорю, тут навещу, теплого хлеба отнесу. Теплый хлеб очень полезен. И новостей столько набралось! Аж нутро распирают. Кому же я их должна пересказать? Не твоим же бестолковым старухам!

Мадина распахнула калитку, пропустила без умолку тараторившую Раузу вперед.

* * *

Фаузия поднималась по склону очистившегося от снега горного отрога. Где-то здесь прошлым летом нашла она нужное ей растение, пометила место, привязав к кусту чилиги красную тряпицу, хотела выкопать корень поздней осенью, да не успела. Но и теперь еще не поздно. Поздно будет через неделю-другую, когда вся природа пробудится, зазеленеет. Корень, учила бабушка Кукхыу, следует выкопать, пока он не пустил новые ростки, иначе обидится, и обида эта перейдет к выпившему настой человеку.

Так и не найдя помеченное место, Фаузия устало опустилась на пригретый весенним солнцем камень. Не ходьба – переживания притомили ее. Переволновалась, призывая нацеленные на Мадину темные силы к себе и гася их. Теперь Мадина в Тиряклах, вернулась к сыну. Однако напряжение в душе Фаузии не спадает. Предстоит встреча с Ихсанбаем. Тяжелая встреча. Чувствует она, что ищет ее Ихсанбай, ищет в запоздалом раскаянии, жаждет понимания, ведь какая бы ни была, все-таки живая душа. И у нее сердце не каменное. Ах, судьба, насылаешь ей испытание за испытанием! Но поддаваться усталости она не вправе. Светит ей звездочка, надежда ее – Мадина. Должна Фаузия встать перед внучкой и сказать: «Я – Барсынбика, твоя родная бабушка». На стар-

шую мать* и задачи, и жизненный груз возложены большие. Однако и Ихсанбай – ее дитя. В том, что он стал таким, виновата и она. К ней приходят люди за советом и помощью, а к кому обратиться ей? Лишь пробуждающаяся природа может ответить на многие ее вопросы, успокоить ее охваченную смятением душу...

Фаузия поднялась, услышав поскуливанье собаки.

– Карабаш!

Опять послышались поскуливанье, повизгиванье, но самой собаки не было видно. Что она там, сусличью нору, что ли, нашла? Старуха пошла вверх на доносившиеся до нее звуки и увидела Карабаша у каменной кладки, пристроенной к гребню горы. Собака, задрав морду, жалобно скулила.

– Что с тобой, Карабаш?

Собака издала еще один короткий звук и легла, положив голову на передние лапы.

Фаузия сдвинула плиту, прикрывавшую каменную кладку, и увидела внутри... скелет. О, Аллах, здесь похоронен человек! Но это была не могила, а кэшэнэ – небольшая усыпальница, скромный мавзолей. Так встарь хоронили своих близких в некоторых башкирских родах.

Судя по положению скелета, тело было положено на спину, со сложенными на груди руками. Оно принадлежало женщине, о чем свидетельствовали длинные седые волосы и серебряные колечки на костяшках пальцев. На шее у нее висел обшитый кожей амулет. Кожа еще не сгнила, значит, хозяйка амулета умерла сравнительно недавно. Фаузие представилось, что женщина сама в предчувствии смерти пришла сюда и построила себе последний приют, как делали, если верить преданиям, некоторые святые и сильные духом люди.

Она, встав у кэшэнэ на колени, сотворила заупокойную молитву. Затем села, прислонившись к каменной кладке, задумалась и, немного погодя, задремала. И опять ей вспомнился Ихсанбай. Казалось, вот-вот он подойдет к ней. Что ему сказать? Неожиданно то ли возле самого ее уха, то ли в глубине сознания прозвучал голос:

– Грива коня бела, да пыль на ней черна.

«Верно, – подумала Барсынбика, – Ихсанбай – отпрыск благородного рода, да очернил себя тем, что натворил».

---

* По-башкирски бабушка – олэсэй (оло эсэй), буквально: старшая мать.

А женский голос продолжал:

– От пыли можно очиститься, а дурная слава останется. Ни смыть ее, ни сбежать от нее невозможно.

«Так это же, должно быть, дух лежащей в кэшэнэ со мной разговаривает, – мелькнуло в голове Фаузии. – Ах, Ихсанбай, не понял ты мои добрые намерения, не внял моим словам!»

В голосе послышался вздох:

– Не каждый истинную цену золота знает...

«Ты прав, дух, но что мне делать? Я ведь мать!»

– Именем своим дорожи!

«Именем! Нет его у меня. Живя под чужим именем, уж сама забыла, кто я!»

Голос построжал:

– Потерянную славу найдешь на выгоне, сущность свою – в собственном имени!

Всплывали в памяти Фаузии запомнившиеся когда-то старинные присловья и наставления. Смысл их глубок, но зачастую затуманен временем, и разговор этот, если бы кто-то мог услышать его, показался бы странным, не очень связным. Однако она не теряла в нем связующую нить и очнулась несколько успокоенной. Уже в сумерках вернулась она домой и свалилась без сил. Карабаш, хотя и позвала его с собой, остался лежать на горе, возле костей прежней своей хозяйки – Муглифы.

* * *

Неожиданный поворот в ходе следствия добавил забот Адельгужиной. Ихсанбай Муратов скрылся. Где его искать? Если он намерен установить связь с матерью, то должен появиться в Таулах. Однако сыщики, понаблюдав за домом знахарки, его там пока что не заметили. Насчет этого Шакира Хисамовна поговорила и с Камалетдиновым. По горло занятый подготовкой к весеннему севу Аюп Газизович тоже был обеспокоен бегством Ихсанбая. Когда Адельгужина уже собралась выйти из его кабинета, он сказал:

– Хашима надо отпустить домой. Раз дело обернулось таким образом, вряд ли состоится суд над ним. Во всяком случае, если и состоится, вы можете исхлопотать освобождение до суда. Понадобится для этого бумага –

напишем. Вы считаете, что Мадине угрожает опасность, так пусть отец побудет при ней, побережет.

– Я согласна с вами.

– Шакира Хисамовна... – Камалетдинов поднялся из-за стола, подошел к Адельгужиной, уже взявшейся за ручку двери. – Вот еще о чем я подумал: не следует ли поискать Муратова у главврача, Лукмана Талиповича? Жена Ихсанбая жила у него.

– У Лукмана Талиповича? Насколько я знаю, Ихсанбай не любил его племянницу, она даже сбежала от него.

– Если человек не любит жену, это еще не значит, что он откажется от ребенка.

– Какого ребенка?

– Сабиля, когда уехала из Тиряклов, была беременна. Сейчас она в психиатрическом отделении больницы, а в доме Лукмана Талиповича всего один ребенок.

– И это ее ребенок?

– Перед тем, как попала в больницу, она побывала здесь, у меня, при мне требовала у Лукмана Талиповича вернуть ей ребенка. К сожалению, я тогда не успел разобраться, что к чему.

– И вы думаете, что Ихсанбай, спустя столько времени мог прийти в поисках ребенка, которого никогда не видел?

– Я сам отец, у меня растет дочка, мне знакомо отцовское чувство.

– Я поняла вас, Аюп Газизович.

...И вот Адельгужина сидит в доме главврача. Жена его оказалась гостеприимной.

– Очень кстати вы пришли, не хаете* нас – я как раз блинов напекла, – сказала она, приглашая нежданную гостью к чаю.

– Да я на минутку зашла.

В это время около них остановился мальчик с деревянной лошадкой, впряженной в игрушечную тележку.

– О! Какой славный у тебя конь! – будто бы восхитилась Шакира Хисамовна, как делают это взрослые при встрече с ребенком. – И куда же ты собрался ехать?

– Далеко.

---

*Считается, что человек, пришедший в дом во время трапезы, хвалит хозяев, а запоздавший – хает.

– Далеко?

Раиса Максимовна усмехнулась:

– Фантазер!

– И вовсе не фантазер. Только дед Мазай велел никому не говорить.

– Что за дед Мазай? О ком речь, Раиса Максимовна?

– А! Калека один. Отец Абубакира человек добросердечный, приютил его у нас.

– Он не калека! – возразил мальчик. – Он хороший!

– Господи, кто сказал, что он плохой? Я сказала «калека».

– Он не калека! – рассердился Абубакир и, надув губы, ушел из гостиной.

– Вот дитя! И что он нашел в этом несчастном? Привязался к нему... – В глазах Раисы Максимовны промелькнула тревога. – Подождите-ка, что он сказал? Уедут далеко?

– Не волнуйтесь, Раиса Максимовна! Что только ребенок не придумает!

– Вы не знаете... – В растерянности хозяйка налила молоко вместо чашки в заварной чайник. – Господи!

– Ну-ну, что вы так всполошились? – Адельгужина пыталась успокоить эту пышнотелую женщину, при этом ни одно движение хозяйки не ускользнуло от ее внимания. Спросила, чтобы сменить тему разговора: – Племянница вашего мужа, Сабиля, ушла куда-нибудь? Что-то не показывается.

– А вы с ней?..

– Да, мы знакомы еще по Тиряклам. Хотела повидаться.

– Ой! Она ведь заболела. – Раиса Максимовна перешла на доверительный шепот. – Из-за того, что мужа потеряла, что ли, переменилась она, помешалась. У Башкирцевой лежит.

– Да что вы! Ладно, забегу туда.

– Не советую. Она никого не узнает, только расстроитесь. Ей что вы, что я... – Хозяйка опять заволновалась, взяла полотенце, вытерла выступивший на лбу, на шее пот.

– Ну, я пойду, Раиса Максимовна, спасибо за чай! – Адельгужина поднялась из-за стола. – Очень понравился мне ваш мальчик. Такой красивый, смышленый, и душа у него добрая. Так искренне заступился за своего деда Мазая, что мне захотелось взглянуть на этого человека. Чем, интересно, он покорил сердце ребенка?

– Его сейчас нет, предупредил, что отлучится по каким-то своим делам...

* * *

Простившись с Раисой Максимовной, Адельгужина, несмотря на поздний час, решила сходить на Кривую улицу к знахарке.

В прошлый раз на нее, когда взошла на крыльцо старухи, залаяла собака, на сей раз собаки не было. Шакира Хисамовна приостановилась, услышав голоса, доносившиеся из летней кухни. Через проем открытой двери во двор падал слабый свет, должно быть, там горел очаг. Разговаривали двое.

– Если бы увидела тебя в другом месте, не узнала бы! – Это знакомый Адельгужиной голос старухи.

Другой голос, сиплый, прерывающийся, принадлежал мужчине.

– Пожар, я гляжу, и тебя не пощадил.

– Не я его устроила.

– А кто? Кто в меня выстрелил?

– Кому надо было, тот и выстрелил.

– Лукман?

– Не допрашивай меня, Ихсанбай! Все равно не скажу больше того, что могу сказать.

– И так ясно – Лукман. Он, сволочь, и Сабилю в психушку сунул, и ребенка моего себе забрал. Что молчишь? Считаешь, Абубакир не мой ребенок?

– Никак и ты, наконец, научился выговаривать слова «мой ребенок»?

– Смеешься надо мной? Когда же я должен был научиться? Он у меня первый.

– А близнецы? Близнецы Гульбану?

– С чего ты взяла, что они мои?

– Все еще хитришь, Ихсанбай. Детям передаются черты отца, своего ребенка можно узнать среди тысячи других.

– А ты все еще бредишь. Приписываешь мне...

– Ладно, я старая уже, положим, ошибаюсь. Что привело тебя ко мне?

– Я пришел к своей матери.

– Наши отношения давно уж не как у матери и сына.

— Это ты так считаешь. Ты ненавидишь меня.

— Может быть... Но кто, едва не сгорев, вытащил тебя из пылающего дома? Кто?

— Мать, мне нужна твоя помощь сейчас.

— В чем? Какая помощь?

— Я хочу увезти с собой Абубакира. Я... жить без него не смогу.

— Жить, значит, хочешь. А зачем ты убил Ишмухамета? Разве он не хотел жить?

— Мне надо было вернуться в Тиряклы.

— Ах, в Тиряклы! Чтобы опять посягнуть на Мадину? Я тебе тогда, перед пожаром, что сказала? Сказала, кем она тебе приходится или нет?

В голосе старухи прозвучала такая ярость, что по спине Адельгужиной пробежали мурашки. Голос Ихсанбая:

— Я не поверил... И теперь не верю!

— На-ка вот, посмотри!

— Браслет... С бирюзовым глазком... Такой был у Гульбану. Как он к тебе попал?

— Нашла на полке в этом доме.

— А сюда как?

— Было два одинаковых браслета. На этом с внутренней стороны старинной вязью написано имя моей прабабушки, на втором — бабушки Кукхыу. Бабушкин достался мне, от меня — Гульбану. Я завернула браслет в вещи Гульбану перед тем, как потеряла дочку. Ее вырастила Шахарбану. Я отыскала их в Тиряклах, но не могла открыться: мы с твоим отцом жили под чужими именами. Так распорядилась судьба...

— Я с детства чувствовал, что в нашей семье что-то неладно.

— Думаю, жившая прежде в этом доме Муглифа, светлая душа, была связана с нами родством через прабабушку Бандабику, ушедшую вслед за плененными родичами к калмыкам. Поэтому один браслет оказался здесь. Другой сейчас у Мадины. Если бы Гульбану не была твоей сестрой, может быть, мы не пережили бы такие беды. Будь иначе, разве я стала бы препятствовать твоей женитьбе на ней? Всем хороша была моя Гульбану, моя Кукхылу.

— Абубакир похож на нее.

— В этом нет ничего удивительного. А Мадина точь-в-точь такая, какой в молодости была я.

— Ну почему, почему, мать, так сложилась наша жизнь?

— Потому что неправильно живем. Люди, отвечая злом на зло, порождают еще большее зло, забывают заветы предков, натравливают сына на отца, отца на сына... В этом корень и твоей жестокости. Ты убил даже своих сыновей!

— Нет, не я убил близняшек!

— Я нашла на нашем дворе фуражку и сандалик...

— Их... загрызла Кукбуре. Наверно, они хотели забрать ее щенков...

— Ах, Ихсанбай! Если даже переложить вину за смерть мальчиков на Кукбуре, на тебе остается кровь Ишмухамета, Зарифы, проклятье Гульбану, которую ты погубил, отняв кормилицу семьи, слезы Мадины, лишившейся матери. Как ты будешь жить с таким грузом на совести? Как будешь смотреть в глаза Абубакира, в глаза Самиры?

— Самиры? Это еще кто?

— Горький плод твоей распущенности. Дочь Галимы. И твоя.

— Моя?

— Твоя, твоя... Ладно еще Абубакир — дитя желанное, вымоленное у Всевышнего, а Самира, бедняжка, оказалась лишней, никому не нужна.

— Что ж мне делать, мать? Пойти в милицию с повинной?

— Сам решай.

— Может, уйти в горы, взяв с собой Абубакира?

— Нет! Еще и его погубишь. Если бы тебя устраивало положение беглого, до сих пор жил бы в пещере. Все равно тебя потянет к людям, и ты попадешься с еще большим грузом на совести. Лучше уж повинись сейчас. Сделаешь в жизни хоть одно доброе дело — вернешь Мадине безвинно страдающего отца...

Адельгужина попятилась, осторожно, не стукнув калиткой, вышла на улицу.

* * *

После ухода Адельгужиной Раиса Максимовна места себе не находила. У нее сразу же, как только увидела неожиданную гостью, зародилось предчувствие опаснос-

ти. Еще не осознав, чем этот визит грозит, она прикинулась радушной хозяйкой.

Следователя Адельгужину интересует Сабиля – вот в чем заключается опасность. Начнет копать, так может докопаться, чей на самом деле сын Абубакир. И сам мальчик встревожил. Она с Лукманом готовы душу за него отдать, а он...

Скорей бы пришел Лукман! Сколько уж раз она, Раиса Максимовна, уговаривала его уехать отсюда. Знает она о кое-каких делах мужа, за которые по головке не погладят. На Алтае живет ее родня, если, пока не поздно, уедут туда, затеряются как иголки в стогу сена. И там Лукман нашел бы дом не хуже этого. Так нет, прилип к башкирской земле. Рыба ищет где глубже, человек – где лучше. Где живешь счастливо, в безопасности, там и есть твоя родина. Если бы Раиса не была так привязана к Лукману, уехала бы одна, но не может представить свою жизнь без него. До сих пор любит его, тает в его объятиях.

Наконец, хлопнула входная дверь. Она кинулась навстречу мужу.

– Лукман!

– Что с тобой? – обеспокоился он, глянув на ее посеревшее лицо. – Ты не заболела?

– Лукман, мы должны уехать! Как можно скорей! Мне страшно. Пришла к нам сегодня эта хромая сыщица из милиции, Шакира, интересуется Сабилей. А Абубакир... Он сказал, что уедет далеко, только, говорит, дед Мазай велел никому об этом не говорить. – Раиса Максимовна, по-детски всхлипнув, ткнулась лицом в грудь мужа.

– Дед Мазай... Он в самом деле опасен, очень опасен. Меня только что огорошили новостью: Ихсанбай тогда не сгорел, выжил. На нем несколько убийств, его ищет милиция. Он может потянуть за собой и меня. Ты права, надо уехать. Завтра же уедем. Придется бросить все, будем живы – наживем еще. Собери лишь самое нужное: документы, деньги, золото, вещи, без которых не обойтись в дороге. Где сейчас этот... Мазай, чем занимается?

– Предупредил, что отлучится, мол, не теряйте...

– Вот и хорошо! Пойду задам лошадям овса, надо подкормить...

Лукман Талипович держал у себя во дворе пару больничных лошадей для собственных нужд, объясняя это тем, что его могут в любое время срочно вызвать к больному в какой-нибудь аул. Для ухода за лошадьми, приглядa за остальным хозяйством и приютил калеку. Поинтересовался, конечно, есть ли у него документы, тот показал сельсоветскую справку*, выданную на имя Ишмухамета Бактымбаева. Оказалось, пригрел на груди змею.

У двери Лукман обернулся к жене:

— Если этот урод зайдет к тебе, разговаривай с ним как обычно, но к ребенку не подпускай, скажи — приболел.

* * *

Башкирцева стояла у открытого окна, наслаждаясь утренней свежестью. На деревьях раскрылись почки, весело перекликались птицы, издали доносился шум вздувшейся реки. Природа пробудилась после долгой зимней спячки. Каждое время года по-своему примечательно: осени присуща светлая грусть, зиме — солидность, лету — спокойствие. А вот весна... Она бурлива, энергична, задорна, и радует, пробуждая дремлющие силы, и пугает безудержным буйством.

Лидия Николаевна сейчас на распутье: ее зовут в Ленинград, в институт, который окончила. Послала туда научную работу — высоко оценили. Но она успела полюбить первозданную красоту этого края, свыклась со здешней жизнью, все здесь близко ее сердцу. Как расстаться со всем этим? И песни здешние ей очень нравятся. Лидия Николаевна тихонечко напела мелодию «Зульхизы». Слов она не знает, но мелодия затрагивает самые тонкие струны ее души...

Мысли Лидии Николаевны прервал санитар:

— В двадцатой больная буйствует. Того и гляди дверь вышибет.

— Иду...

У двадцатой палаты стоял еще один санитар, держа наготове шприц. Лидия Николаевна велела открыть дверь.

---

*В те годы паспорта выдавали только горожанам и жителям районных центров, колхозники их не имели.

– Сабиля, что случилось?

– Ребенка, моего ребенка украли!

– Постой, Сабиля, объясни спокойно, я ничего не понимаю.

Сабиля, тяжело дыша, бросала безумный взгляд то на койку, на которой лежала развернутая кофта, то на Лидию Николаевну.

– Я хотела искупать, а он пропал! Его нет! Абубакира моего нет! Что я свекрови скажу? Найдите, найдите моего ребенка!

Сабиля заметалась по палате, ее халат распахнулся, из набухших грудей сочилось молоко. Лидия Николаевна кивнула санитарам, один из них схватил больную, завел ее руки за спину, другой сделал укол. Обессиленную Сабилю уложили на койку.

– Я найду... Далеко не уйдут... От меня не уйду-у-т! – пообещала она, успокаиваясь.

Лидия Николаевна присела на стул у койки больной, подождала, пока та заснет.

– Шутки закончены, Лидия Николаевна, – сказала она самой себе. – Как же с тобой, Сабиля, теперь быть?

* * *

Ихсанбай, переночевав у матери, пошел утром в милицию.

Адельгужину его появление не удивило. Была почти уверена, что придет, что Фаузия его пришлет. Поразительна сила духа этой старухи.

И вот дверь кабинета приоткрылась, послышался похожий на сипенье прохудившейся гармошки голос:

– Можно к вам?

– Входите.

– Вы Адельгужина?

– Да, Адельгужина.

– Значит, вы ведете дело Хашима Насибуллина?

– Я. Присаживайтесь.

Ихсанбай, кряхтя, опустился на стул, уставился единственным глазом на Шакиру Хисамовну.

– Я пришел сказать, что Хашим не виновен в смерти мальчиков. Их загрызла моя собака.

– А вы...

– Я – Ихсанбай Муратов.

– Стало быть, вы... живы...

– Как видите.

Адельгужина выложила на стол четыре бумаги: заявление в военкомат от имени Ишмухамета, анонимный донос на Хашима, сельсоветский список подростков, отобранных для направления в ФЗО, и заполненный на ферме табель с показателями доярок.

– Это все вашей рукой написано?

– Моей.

– В таком случае напишите еще заявление, что все эти следственные документы написаны вами, и подтвердите, что Хашим Насибуллин не виновен в гибели мальчиков-близнецов.

Время текло медленно. Адельгужина не вызвала охрану, не прерывала старательно писавшего Ихсанбая. Думала о своей профессии, нередко ставящей ее в очень трудное положение. Вот она уже не впервые оказалась в точке пересечения жизненных путей множества людей со сломанными судьбами, и ей надо решить, как поступить с одним из них. Перед ней сидит раскаявшийся человек, пришедший с надеждой на помилование. Добить его, отправив в тюрьму? Но он уже наказан жизнью так, как не накажет ни один суд. Абубакир, наверно, похож на отца, но невозможно представить, что этот обезображенный человек когда-то был таким же, как сын, ангелочком. А ведь был... Сегодня она закроет дело Хашима, он не виновен. И этого отпустит. Пусть начальство решает, как быть с ним дальше, никуда теперь он не денется.

– Я написал, что мне теперь делать?

Адельгужина бегло прочитала заявление.

– Что вам делать, я не знаю. Мне было поручено только дело Хашима Насибуллина. Я доказала его невиновность. До свиданья!

– До свиданья... – Удивленный Ихсанбай поковылял к двери кабинета.

* * *

Башкирцева вдруг почувствовала себя в странной тишине, как после контузии на фронте. Только в голове

шумело. Посмотрела в окно, а там густо, крупными хлопьями падал снег. Удивительно! Давно ли она любовалась раскрывшимися почками на деревьях, слушала птичью перекличку?! Не зря, видно, говорят, что у весеннего дня всего пол-ума. А старик, больничный водовоз, как-то сказал, посмеиваясь: «Рановато раскатали губы, радуясь весне, зима еще пять раз заявится в гости, только после этого погода наладится». Вот и заявилась.

При резкой перемене погоды у Лидии Николаевны стесняется дыхание, в душе становится тревожно. Чтобы успокоиться, она вышла в коридор и ускорила шаги, увидев, что дверь двадцатой палаты открыта. Заглянула туда — никого нет. Только «ребенок» Сабили лежит на полу.

Тут подошла санитарка с ведром.

— Где Муратова?

— Только что здесь была. Я хотела вымыть пол, вижу: спит. Пошла воду сменить. Ах-ах, сбежала!

По тревоге весь медперсонал забегал по отделению в поиске пропавшей больной. Лидия Николаевна позвонила Лукману Талиповичу домой. Трубку там не подняли. И в больнице, выяснилось, главврач не появлялся. Что делать, где искать беглянку? Вспомнились ее слова: «Далеко не уйдут!» Возможно, отправилась в погоню за мнимыми похитителями. Лидия Николаевна вызвала к подъезду санитарную машину и выехала на улицу. Проехали в одну сторону до конца улицы — беглянку не обнаружили. Повернули назад. Перед мостом через реку шофер притормозил: впереди на мост въезжала пароконная повозка. Неожиданно из-под моста выскочила женщина в больничном халате и, обогнав повозку, встала на ее пути. Испуганные ее внезапным появлением лошади шарахнулись в сторону, повозка опрокинулась у самого края моста. Сидевшие в ней люди полетели в бурлящий поток, затем и повозка рухнула туда, утянула за собой лошадей. Донесся отчаянный крик:

— Сыночек!

Пока Лидия Николаевна успела что-либо сообразить, и Сабиля (это была она) прыгнула в реку.

— На помощь! — крикнула Лидия Николаевна, выскочив из машины.

Внизу бешеное течение уносило вопящих людей и барахтающихся лошадей. Ребенка прибило к верхушке склоненной к воде черемухи, он схватился за ветку, старался выбраться повыше. Одно неосторожное движение

и он сорвется, бешеный поток поглотит его. Времени раздумывать не было, Лидия Николаевна в яростной решимости спасти ребенка заскользила на ягодицах вниз по крутому береговому склону...

* * *

– Понимаю твое нетерпение, но, может, переждешь немного, вон на улице что творится, – сказала Адельгужина, прощаясь с Хашимом.

– Экая беда после того, что я пережил! – засмеялся Хашим. – Спасибо, Шакира Хисамовна! Если бы мог, полетел бы домой. Теперь уж я от семьи – ни на шаг...

– Дочку, видать, очень любишь.

– Ну а как же! И внук у меня... Приезжайте к нам в гости. Вот ведь, оказалось, что мы с вами родственники. О теще моей, Шахарбану, в ауле вспоминают тепло, светлую память о себе оставила. Теперь вы для нашей семьи будете второй Шахарбану.

– Спасибо, возвеличил ты меня.

– Будем ждать вас, Шакира Хисамовна!

– Счастливого пути, Хашим!

Он торопливо пошагал по улице, надеясь остановить на выезде из села какую-нибудь попутку. У моста через реку стояла санитарная машина. Растерянно топтавшийся около нее шофер схватил Хашима за рукав.

– Агай, помоги, докторша наша тонет! Я не умею плавать!

Хашим глянул вниз. Там женщина, приподняв одной рукой ребенка, схватившись другой за ветку, пыталась выбраться на берег. Если отпустит ветку или она сломается...

– Есть у тебя веревка? Или трос?

– Есть.

Хашим, сбросив телогрейку, обвязал себя по поясу одним концом поданной шофером веревки, другой конец кинул ему.

– Держи крепко!

* * *

Ихсанбай, съежившись, брел по улице. Его охватила тоска. Он одинок в этом мире, никому не нужен, даже милиции. Да еще сыплется мокрый снег, подул холодный ветер, пронизывает до костей.

Зашел в магазин, купил бутылку водки и немного соленой кильки на закуску. Когда сидел под навесом пустого, видимо, из-за непогоды базарчика, посасывая из горлышка бутылки, подошел к нему какой-то русский.

– Не угостишь?

Ихсанбай отдал ему недопитую бутылку и остаток закуски.

– Хар-роший ты мужик! Дай тебе Бог... – Русский запнулся, не зная, что пожелать калеке.

Ихсанбай встал и поковылял дальше. Ему страстно захотелось увидеть сына, и ноги как бы сами понесли его к дому, где живет похожий на ангелочка мальчик. Пусть там встретят его руганью, пусть хоть изобьют, испинают – он зайдет и взглянет на Абубакира. А потом... Потом, будь что будет, он должен побывать у Галимы, увидеть и свою дочку. На что только не пошла мать, Фаузия, ради продолжения рода! Даже Кукбуре стремилась к тому же, на его, Ихсанбая, глазах, из-под его, можно сказать, носа увела своих щенят со двора. Не-ет, что бы ни говорили, Ихсанбай еще человек. Не лишен человеческих чувств! Сердце у него бьется, голова работает...

Но что это? Дверь Лукманова дома распахнута, внутри никого нет, будто всех ветром выдуло – и его самого, и его толстую жену, и ребенка.

– Абубакир! Сынок!

Нет ответа. Только настенные часы в тишине тикают. Или не часы, а задергавшаяся щека Ихсанбая? Он кинулся в сарай. И лошадей нет. И ни следа во дворе – все прикрыл свежевыпавший снег. Кровь ударила в голову Ихсанбая: «Удрали!»

* * *

Снег, поначалу легкий, падал теперь вперемешку с дождем. Встречный ветер едва не сбивал с ног. Ихсанбай чувствовал, что его стеганка тяжелеет, за шиворот стекали холодные струйки. Кирзовые сапоги тоже намокли,

отяжелели. Каждый шаг давался с трудом. Выпитая утром водка уже не прибавляла сил, выветрилась. В голове шумело, в горле пересохло. Хотел было закурить, сунул руку в карман — и там вода: табак и спички намокли.

Ихсанбаю стало страшно. В мае, даже в начале июня при неожиданных похолоданиях, случалось, гибли люди. В сорок третьем году пропали ушедшие из Тиряклов за диким луком женщина с десятилетним сыном. Ихсанбай сам наткнулся на них. Они, мертвые, сидели у кучи хвороста, будто греясь у костра. Окоченели. Неужто и ему, Ихсанбаю, уготована такая участь? Нет, рано еще ему умирать! Он должен еще отыскать Абубакира, а сейчас идет повидать Самиру. Мать назвала ее горьким плодом его распущенности, его греха. Но ребенок ни в чем не виноват. И настолько ли велики его грехи, чтоб он замерз в середине весны? Зарифа сама себя сгубила. Близнецов загрызла Кукбуре.

Кукбуре... Вот тоже неприкаянная душа. Сбежала от людей, с волками не ужилась. То ли стая ее отвергла, то ли сама отвергла стаю...

Ихсанбай потерял представление, сколько уже прошел, понял вдруг, что сошел с дороги, что-то ищет. Ах да, ищет стог. Но стогов не видно. А ему непременно надо разжечь костер, согреться. Направился к дереву с раскидистой кроной. Может, под ним найдет затишок. И опавших веточек под ним много.

Еле передвигая онемевшие ноги, Ихсанбай принялся собирать в кучку ветки, мусор. Неожиданно услышал голос:

— Ты что тут делаешь?

— Костер разжигаю.

— Костер так не разжигают.

— Это ты, Ишмамат?

— Я говорю, костер так не разжигают. И спички у тебя мокрые.

— Но он же горит! Разве не видишь? Уф, мне жарко, Ишмамат!

Ихсанбай начал сбрасывать с себя одежду. Все равно жарко. Костер распылался так, что терпеть около него стало невозможно. Встал бы, отошел в сторонку — ноги не слушаются. А костер уже не один, их много. А тут еще ветер усилился, засвистел в ветвях дерева, и сверху к ногам Ихсанбая упал человеческий череп. Следом посыпались другие кости. Это Ишмамат шутит, он ведь тогда,

после выстрела, застрял в кроне дерева. Ихсанбай кинул череп в костер. Пусть сгорит. Но он и сам объят пламенем. Ничего, потерпит, зато и все его грехи сгорят, огонь очищает, он предстанет перед детьми чистым. Ага, вон как раз Адельгужина идет, надо сказать ей.

— Простите меня, Шакира Хисамовна. Я очистился от грехов. Абубакиру нужен чистый отец.

— Мне вы не нужны. До свиданья! — сказала Адельгужина и исчезла во тьме, вместо нее, будто из пламени, возникла мать.

— Эсэй, вытащи меня отсюда, ведь тогда ты вытащила меня из огня!

— Я ищу мою Кукхылу, — сказала мать и прошла мимо.

А Кукхылу-то, то есть Гульбану, вот она! Мальчонок грудью кормит. Как ей это идет!

— Гульбану, — сказал Ихсанбай, — я завтра принесу в школу три конфетки, угостишь и мальчиков.

— Дети, родившиеся во время войны, не умеют есть конфеты, — ответила Гульбану.

— Дай мне хоть одного из них на руках подержать!

Голоса своего Ихсанбай и сам не услышал. Снег опять повалил крупными хлопьями, ложился на протянутые руки Ихсанбая, накапливался, не тая, на них. Он уже ничего не слышал и не видел, погрузился в непроглядную тьму.

* * *

Белолобый, сопровождаемый стаей, обходил свои владения. Это только для людей, особенно оказавшихся в пути, такая погода беда, а для волков — праздник. Пороша, свежевыпавший снег создают благоприятные условия для охоты: все обитатели леса оставляют отчетливые следы.

Белолобый унаследовал от своего отца Бывалого силу, выносливость, гордость. Хотя и родился в конуре, попав в лес, он вырос среди волков, усвоил их законы и повадки, стал вожаком стаи. Сегодня вместе с матерыми волками и волчицами он вывел на охоту молодняк. Охота удалась: завалили старого лося. Стая сыта, теперь просто забавляется, охотясь на всякую мелочь.

Впереди под одиноким деревом Белолобый заметил темную фигуру. Человек! Только от человека исходит такой запах — отвратительный и опасный. На загривке Бе-

лолобого шерсть встала дыбом. Он остановился, присел, и вся стая последовала его примеру. Человек был жив, однако жизнь в нем еле теплилась. Его тело изредка подрагивало. Он не опасен, но этот чуждый дикой природе запах! Полный ненависти, Белолобый приблизился к заклятому врагу. Да, он не опасен, вызывает лишь отвращение и презрение. Белолобый задрал заднюю лапу, выпустил желтую струйку. Ветер отнес брызги на лицо человека. Он не отреагировал на это, не шевельнулся.

Вслед за вожаком проделали то же самое остальные самцы. Волки торжествовали: ты слишком вознесся, человек, оторвался от матери-природы, большего уже не заслуживаешь!

* * *

Сколь быстро погода испортилась, столь быстро и наладилась. Небо прояснилось, солнце, будто извиняясь за отлучку, засияло что есть мочи. Снег сбежал говорливыми ручейками. Всюду проклюнулись зеленые росточки, на пригретых склонах зацвел горицвет. Скворцы с утра до вечера распевали свои песни. Природа опять воспряла, наступила великая пора воспроизводства всего живого.

Фаузия навела блеск не только в доме, но и во дворе и за воротами. Собрала весь скопившийся за зиму мусор, сожгла. Может быть, она и не будет жить здесь, тянет ее в Тиряклы, но день сегодня особенный: врачиха Башкирцева обещала привести к ней Абубакира, долгожданного, оплаченного столькими страданиями внучонка. Сегодня Абубакира выпишут из больницы. Каждый день Фаузия навещала его. И Башкирцева, несмотря на свою болезнь, не отходила от него, сама кормила мальчика, выбирая самое вкусное из того, что приносила бабушка.

Между ней и Башкирцевой состоялся долгий разговор, хотя одна толком не понимала по-русски, другая по-башкирски. Их слова переводила друг для дружки девушка в белом халате.

— Мне ваш внук стал очень близок, — сказала врач.

— Спасибо! — ответила Фаузия. — Сабиля его родила, а ты спасла от смерти, дала вторую жизнь.

— Значит, я могу считать себя его второй матерью?

— Можно сказать и так.

– Но если бы не этот человек, Хашим, мы, наверно, не выбрались бы... Ох, не забыть мне, какие были у мальчика глаза в тот момент! Он так хотел жить!

– Поэтому и выздоравливает. Хочет жить.

– Мне, повторяю, он очень дорог, инэй. («Инэй» добавила переводчица). Я вскоре вернусь в Ленинград. Меня там ждет хорошая работа. Мне хочется взять ребенка с собой. Я бы его вырастила, выучила, помогла стать большим человеком.

– А ты, дочка, как попала в наши края?

– Это длинная история. Моя фамилия – Башкирцева, и лицом я похожа на башкирку. Приехала сюда искать своих близких. Это я только теперь поняла.

– Нашла?

– Нет.

Фаузия помолчала, отведя взгляд от нее.

– За доброе намерение, дочка, спасибо. Но ведь ты, наверно, не хочешь, чтобы и Абубакир, повзрослев, отправился искать своих близких?

– Я этого никому не пожелаю! Я просто боюсь, что здесь ему будет нелегко. Ни отца, ни матери у него теперь нет, а вы уже в годах...

– Я, конечно, внуку только счастья желаю. Но то, что предназначено ему судьбой, никто изменить не может.

– Я вас не понимаю...

– Нельзя отрывать человека от его корней. По нашим обычаям в прежние времена мальчиков воспитывали до семи лет дедушка с бабушкой.

– Значит, вы мне ребенка не отдадите?

– Пока нет. Приезжай к нам летом, общайся. Когда подрастет, видно будет.

– И за это спасибо!

Фаузия усмехнулась.

– И когда же ты успела его так полюбить?

– Трудно это объяснить. Может, мне передалась любовь Сабили. Я ее жалела. Каждая женщина мечтает о ребенке. Может, моя мечта совпала с образом Абубакира...

Такой вот между ними состоялся разговор. И самой Фаузие стала близка Башкирцева. Но увезти ребенка она не позволит. Говорят, то, что не смог дать своим детям, человек отдает внукам. Она сделает все, чтобы помочь Мадине, поставить на ноги Абубакира, а также Самиру.

Взволнованная мыслями об этом, Фаузия вышла за ворота. И обрадовалась: вон они идут! Башкирцева вела за руку Абубакира, неся в другой руке довольно большой узелок.

— Здравствуйте! — крикнула она еще издалека. Абубакир, оторвавшись от нее, устремился к старушке.

— Олэсэй! Ура! Меня выпустили из больницы!

* * *

В коридоре райкома отзвучали последние шаги. Камалетдинов, вздохнув облегченно, распахнул окно кабинета. Повеяло ароматом цветущей в палисаднике черемухи. Прошлой осенью она казалась засохшей. Аюп Газизович тогда с сожалением подумал, что придется ее срубить, а сейчас красавицу не узнать, стоит в белой цветочной кипени.

День сегодня выдался пестрый, и радости были, и огорчения. Район завершил весенний сев. Вместо покойного Лукмана Талиповича приехал новый главврач. Вроде бы толковый, с твердым характером человек. Зашла проститься Башкирцева.

— Я сочла неудобным уехать, не простившись с вами, — сказала Лидия Николаевна.

— А мне и в голову не приходило, что можете уехать не простившись. — Голос Камалетдинова дрогнул — уезжает человек из круга близких ему людей... — Не поминайте лихом, Лидия Николаевна, так и не удалось нам выкроить время, посидеть, поговорить не спеша.

— Что ж поделаешь. Вы человек занятый, и обстоятельства в последнее время такие возникли...

Они замолчали, возможно, тень Лукмана Талиповича встала между ними. Нарушил молчание Аюп Газизович.

— Может, дать вам человека на проводы, если вещей много?

— Да какие у меня вещи... Самое ценное — фотокарточка, которую берегу с тех пор, как себя помню, и книги...

— Интересно... И я храню всю жизнь одну фотокарточку. Я на ней совсем еще маленький. Иногда советуюсь с маленьким Аюпом.

— А я каждый раз, когда отправляюсь в путь, прошу благословения у тех, кто на карточке. — Лидия Николаевна поднялась. — Меня самой на ней нет.

— Когда доедете, сообщите, пожалуйста, как устроились.

— Непременно! Я еще буду появляться здесь, навещать Абубакира. Его бабушка пообещала, что, может быть, отдаст его мне на воспитание, когда он подрастет.

— Посевные дела схлынули, вот выберу время и тоже навещу их.

— Спасибо вам за все! — Лидия Николаевна мягко, по-свойски пожала руку Камалетдинова и ушла.

На краю стола он опять обнаружил ее карандашик в серебряной оболочке. У нее, видимо, выработалась привычка вертеть его, разговаривая, в руке, класть иногда на стол. Как она где-нибудь в другом месте не забыла? И вот сейчас, когда Аюп Газизович тоже, немного загрустив, вертел находку в руке, послышался голос:

— Можно войти?

— Ты, инэй?! — удивился Камалетдинов.

— Я, Барсынбика. Говорят, если гора не идет к Мухамету, Мухамет идет к горе.

— Присаживайся. — Камалетдинов, выйдя из-за стола, усадил старуху в кресло, сам сел напротив. — Я собирался навестить вас, да вот ты опередила. С какой нуждой ко мне?

— Я решила вернуться с Абубакиром в Тиряклы, к внучке моей, Мадине. Хочу вернуться под своим настоящим именем.

— Что ж... Республиканский архив подтвердил, что Дингезхан и Барсынбика Бураншины — реальные личности. Нужные бумаги получены. Остается оформить документы. И для тебя, и для Абубакира.

— Внука, пока жива, буду воспитывать сама. Не совсем еще дряхлая я старуха.

Барсынбика сидела спиной к скудному уже свету, падающему из окна, тень скрадывала морщины на ее обожженном лице — оно казалось моложавым, и в глазах еще было достаточно огня.

— Это ты правильно решила, — согласился Камалетдинов. — Значит, у Мадины тоже появится официальная бабушка. Вот обрадуется!

— И для меня это не меньшая радость. Натосковалась я по ней.

— Я тоже... — сорвалось с языка Камалетдинова. Смутившись, он встал, закурил, подойдя к окну, папиросу. Установилась неловкая тишина.

— Уж не собрался ли сватов к ней послать? — заговорила Барсынбика, чуть помедлив.

— Послал бы...

— ...да не можешь.

— Почему?

— Во-первых, как говорили встарь, конь ее мужа не вернулся с поля боя без седока.

— Это я понимаю.

— А что не понимаешь?

— Раз сказала «во-первых», должно быть и «во-вторых»...

Камалетдинов, загасив окурок, опять сел напротив старухи. Барсынбика прямо глянула в его глаза. «Ждешь, наверно, что скажу о разнице в годах. Но это ты и сам знаешь», — подумала она.

— Во-вторых, она внучка Дингезхана, твоего врага.

— Ну, это дело прошлое. Сколько уж воды с тех пор утекло!

— Вода утекает, камни остаются. Остался камень, который ты всю жизнь носил на сердце.

— Мадина ни в чем не повинна.

— Да, на Мадине нет вины. Но... Так же, как Ихсанбай мысленно убил близняшек Гульбану еще до их рождения, ты всю жизнь ненавидел не только Дингезхана, но и его потомков, хотел их уничтожить. Выкинь Мадину из головы!

— Будь ты, инэй, хоть святой, мне ты не указчица! — вспылил Камалетдинов. Он вскочил и, не зная, что дальше предпринять, включил свет. Барсынбика, выпрямившись в кресле, смотрела на него не то с укором, не то с состраданием. Аюп Газизович тут же остыл. — Извини, я, кажется, погорячился. Не должен был я начинать этот разговор. Как-то неожиданно вышло.

— Да, сынок, прежде ты должен был подумать о своей дочке. Она нуждается в твоей любви и помощи больше, чем кто-либо другой...

* * *

Малика привыкла к тому, что муж прежде чем лечь спать, довольно долго читает газеты. Уложив дочку, она глянула в спальню и удивилась: Аюп лежал, уткнувшись лицом в подушку, тяжело дышал.

– Аюп! – В голосе Малики прозвучала тревога. – Что с тобой?

– Я сплю! – Он повернулся лицом к стене. – Выключи свет.

– Что-нибудь на работе случилось?

– Устал я, Малика, не береди мне душу. Ляг вон рядом с дочкой.

Малика прикусила губу. Она должна держать себя в руках. Жизнь в замужестве кое-чему ее научила, прежде всего сдержанности в словах и поступках. Раньше в ответ на грубость мужа она повернулась бы и ушла, но так мир в семье не поддержишь, надо прилаживаться к его настроению. Подошла, поправила одеяло на нем, подоткнула под спину.

– Сегодня я окна вымыла, открывала, теперь в щели дует, – объяснила она причину своей заботы. – Устаешь, конечно, нелегкая у тебя работа. Спи...

Далее она должна была выключить свет и уйти, но если уйдет, и сегодня останется без ответа мучающий ее вопрос: зачем старуха с Кривой улицы хотела встретиться с Аюпом? Проходит день за днем, а проблема, касающаяся Флориды, не решается. Знахарка ведь тоже не вечна, старая уже...

– Сегодня хоронили какую-то старуху...

Слова жены, сказанные ни с того ни с сего средь ночи, окончательно вывели Аюпа из себя. Он перевернулся на спину.

– Каждый день кого-нибудь хоронят, значит, срок пришел!

– Я подумала, не старуху ли с Кривой улицы. Флорида...

– Ничего с этой старухой не сделается. Завтра получит паспорт, а потом в Тиряклы отправится.

– В Тиряклы? А зачем?

– Ляжет там у порога Мадины и будет охранять ее, как собака!

– Мадины?! – События, происшедшие в последнее

время, вроде бы научили Малику ничему не удивляться, но женщина есть женщина, она продолжала допытываться: – Почему... Мадины?

– Оказалось, Мадина – ее внучка, вот почему!

Малика, затеяв этот разговор, все же изменила настроение Аюпа, ему как будто стало легче. Во всяком случае, боль, терзавшая сердце, ослабла. Теперь он мог разговаривать с женой поспокойней. В его безответной любви Малика не виновата. Причина его терзаний не в ней, а в нем самом. Малика тоже красива, но будь она хоть в сто раз красивей, все равно его тянуло бы к Мадине. Сейчас он чувствует себя так, словно оказался в жаркой пустыне, где нет ни глотка воды, чтобы утолить жажду. Вдобавок и работа не доставляет ему удовольствия. В верхах – свара, идет необъявленная война между Маленковым и Хрущевым. Хрущев стал первым секретарем Центрального Комитета партии. В борьбе за власть обе стороны ищут опору в народе. Это, впрочем, идет пока ему на пользу. Крестьянам начали выдавать паспорта. Выпускают на свободу политзаключенных. Должен бы Аюп радоваться: режим в стране смягчается. Но поневоле холодеет сердце от мысли, что в один прекрасный день вернется Абдельахат. Мадина принадлежит ему и только ему.

Разговор с Барсынбикой усилил отчаянье Аюпа. Правда, в конце разговора речь шла уже о Флориде и Малике.

– Твою дочь надо полечить в местах, где родилась ее мать, – сказала старуха.

– Почему? – спросил Аюп. – Флорида и моя дочь, а я родился и вырос здесь.

Барсынбика не обратила внимания на резкую нотку в голосе Камалетдинова.

– Мне дано видеть то, что не каждый видит, – спокойно продолжала она. – Я вижу высокое дерево возле дома, в котором родилась Малика. Девочку надо попоить молочком этого дерева.

– Молочком... дерева?

– Это не простое дерево. Пусть Малика в течение семи дней по семь раз в день поливает его корни принесенной с речки на коромысле водой. Этой водой и своим потом она смоет след черных дел, свершенных там.

Пусть раздает милостыню сиротам и обездоленным, облегчит последние дни воспитавшей ее женщины. Тогда она получит благословение вырастившей ее земли, вылечит дочку, и ей можно будет уехать куда пожелает.

Аюпу все это показалось полной чушью. Он решил не пересказывать услышанное от старухи Малике. Но сообщив ей о намерении Барсынбики уехать в Тиряклы, подумал, что знахарка в самом деле обладает необыкновенными способностями (все-таки избавила Флориду от бессонницы, верно подсказала, где искать пропавшую Мадину), и переменил свое решение. Преодолел раздражение, спросил, смягчив тон:

– Малика, ты помнишь, какое дерево растет у дома, где ты родилась?

– Зачем тебе это нужно? – удивилась Малика.

– Старуха сказала, что Флориду можно вылечить молочком... этого дерева.

– Правда? Я слышала о кедровом молочке. Значит, оно поможет?

– Да, но для этого надо пожить там.

– Ой, Аюп, а тебя отпустят с твоей работы? Бросил бы ты ее совсем! Там такая природа! Стал бы художником, ты так хорошо рисуешь!

– Ладно, иди ложись. Утро, говорят, вечера мудренее. Завтра сама сходишь к старухе. Я ей не очень-то поверил.

– Аюп!

– Ну, иди... У меня голова гудит, как чугунная. Спокойной ночи.

– И тебе.

Малика ушла. Оставленный ею запах духов понемногу рассеивался. Тело Аюпа стосковалось по близости с женщиной, но и в таком состоянии он не остановил Малику, не смог преодолеть отчужденность от нее. Как же они будут жить дальше? Положим, Малика уедет с дочкой, но как она, не имея специальности, в краю, давно ставшем для нее чужим, воспитает Флориду?

Аюп закрыл глаза, и, как часто это бывает, на явь незаметно наплыл сон. В него из глубин памяти ворвался мчавшийся куда-то железнодорожный состав. На платформе, нагруженной каменным углем, подставив ветру, как флаг, свои штаны, стоял черномазый из-за угольной пыли мальчик. Мальчик сильно рисковал, ему угрожала смертельная опасность, но надо было избавиться от паразитов,

а то уже все тело расчесано до крови... Вроде бы это был сам Аюп, в то же время и не он. Мальчик сказал:

– Я тебя понимаю, агай, мы ведь оба сироты...

– Атак, Абдельахат, это ты что ли?

– Я.

– Куда ты едешь?

– К Мадине. И к сыну.

Аюп не знал, обрадоваться он должен или заплакать...

– Аюп, Аюп! Проснись! – Малика дергала его одеяло.

– Что? Что случилось?

– Ты стонал... и к нам кто-то стучится.

– Стучится?

– Да. Открыть дверь?

– Включи свет. Я сам.

Аюп сунул ноги в тапочки, направился к входной двери.

– Кто там?

– Это я, Аюп Газизович, Абдельахат.

– Абдельахат?!

Отяжелевшей рукой Аюп откинул дверной крючок...

* * *

Мадина возвращалась с речки, несла полные ведра на коромысле и, погруженная в свои бесконечные думы, едва не угодила под лошадь. Ладно еще сидевшая в телеге старуха успела натянуть вожжи. Мадина отступила назад.

– Проезжайте, инэй, проезжайте!

Однако старуха сидела, не сводя глаз с Мадины.

– Благодарение небесам, встретила с полными ведрами, – сказала она.

– Я, инэй, не зловредная... – Тут Мадина увидела, что рядом со старухой сидит маленький мальчик, а на задке телеги, за узлами с какими-то вещами, лежит, пережевывая жвачку, круторогая коза. – Куда путь держите? Может, остановитесь, чаю у меня попьете?

Старуха, не торопясь, сняла с головы черный верхний платок, повязанный для защиты от пыли, встряхнула.

– Я уже на месте, Мадина, доехала, детка...

– Фаузия-инэй! Это ты?!

У Мадины мгновенно пересохло в горле.

– Я. Но мое настоящее имя не Фаузия, а Барсынбика. Я – твоя бабушка, мать твоей матери, моей Кукхылу.

Коромысло соскользнуло с плеча Мадины, ведра ударились донышками о землю, но не опрокинулись. Две пары черных, обрамленных густыми ресницами глаз смотрели вопросительно, испытующе. В одних, изумленных, читалось: «Как же я прежде не догадалась? Таких, похожих на мои, глаз больше ни у кого нет!» В других: «Не на мать, а на меня, на бабушку, больше похожа ты, моя кровиночка!»

Старуха зашевелилась первой, сошла с телеги.

– Я гляжу, и ковш у тебя есть. Дай испить твоей воды.

– Как бы горло не простудила. – Мадина протянула Барсынбике полный ковш. – Я из прибрежного родника набрала, холодная.

– Пусть. Сколько я мечтала напиться из здешнего родника!

– И я, олэсэй! И мне дай!

Мадина вздрогнула, услышав голос мальчика. Из его глаз исходило синее сияние. Господи, как он похож на Биктимера с Янтимером!

Попив с наслаждением, Фаузия облизнула губы и поднесла ковш ко рту тянувшегося к нему мальчика.

– Испей, сыночек! Бисмиллах-иррахман-иррахим! Дай Аллах тебе пить воду и вкушать пищу на этой земле!

Мадина торопливо подняла коромысло, подцепила ведра.

– Я открою ворота. Заведи лошадь во двор, олэсэй.

– Нет, дочка. Изба моя цела. Не обижайся на меня. Вернусь в свое гнездо, а там, даст Аллах, и дом построим. Дед ваш Дингезхан хозяйство тут поставил, и братик твой Абубакир, надеюсь, будет тут хозяйствовать.

Мадина направилась к простоявшей столько времени без хозяев избе. Сзади заскрипели на дорожных камешках колеса, лошадь, почуяв отдых, последовала, пофыркивая, за молодой женщиной с полными ведрами на коромысле.

* * *

Хотя такого рода новости быстро разносятся мочальным телефоном по аулу, народ не спешил повидаться с неожиданно вернувшейся Фаузией-Барсынбикой. Может быть, ее необычная судьба была тому причиной. Однако вслед за Мадиной вошли в ее избу Хашим и вдруг по-

молодевшая после его возвращения Газима. Не заставила долго ждать себя и Магинур, пришла с Даутом на руках. Барсынбика (отныне она будет носить свое имя) всем своим существом потянулась к правнуку.

— Вот ты какой, жеребеночек мой! Дай тебе Аллах долгую счастливую жизнь при отце с матерью!

У бездетной Магинур, почувствовавшей, что между ее любимцем и Барсынбикой протягиваются невидимые нити близости, сердце упало. Она ревновала Даута к Газиме, а теперь еще эта старуха! Но тут к ее пальцам прикоснулась детская ручонка.

— Инэй, можно мне посидеть на твоих коленях?

У растерявшейся Магинур брызнули слезы радости. Она подняла Абубакира, прижала к груди.

— Посиди, дитятко! Ох, какой же ты хорошенький!

В избе закипела жизнь. Деятельней всех оказалась Газима. Позвав на помощь Хашима, вынесла во двор настеленный на нары палас, вытрясла пыль, затем, вернув его на место, расстелила скатерть, начала выкладывать привезенные Барсынбикой гостинцы. Во дворе задымил наставной трубой самовар. Между делом Барсынбика подозвала к себе Мадину, вытащила из кармана небольшой кожаный кисет, а из него — золотой браслет с бирюзовым глазком.

— Это тебе, внученька...

Мадина обомлела.

— Ничего не понимаю. Я же его отдала в Москве охраннику тюрьмы ради встречи с Абдельахатом!

Барсынбика осторожно надела браслет на запястье побелевшей внучки.

— Их было два. Два одинаковых. Я совсем недавно обнаружила на полях Корана запись Муглифы, нашей родственницы, об истории этого браслета. Расскажу потом.

— Спасибо! — Мадина, приподняв руку, полюбовалась браслетом. От него при солнечном свете брызнули тысячи лучей. Бирюзовый глазок, казалось, засиял еще ярче. — Это просто чудо, олэсэй!

— Ты сама чудо, детка. Теперь сходи домой, приоденься, приготовься...

— Приодеться, приготовиться? Зачем?

— Так надо... — Барсынбика, потянув Мадину за руку, посадила ее рядом с собой. — Не только большое горе, но

и большая радость требует выдержки. Я нарочно выехала из Таулов пораньше, чтобы предупредить тебя...

Мадина соскользнула с нар, встала перед Барсынбикой на колени.

– Олэсэй, не томи! Неужели?..

– Да, детка, Абдельахат вернулся. Он в Таулах. Камалетдинов распорядился, чтобы его конюх дал мне лошадь, и пообещал привезти Абдельахата сюда на машине, как только освободится от своих срочных дел. Наверно, скоро подъедут.

* * *

Мадина, чувствуя, что все более и более теряет силы, взбежала на возвышенность, откуда видна дорога из Таулов. Там пока было пустынно. Но спустя некоторое время появилась серая «Победа». Чем ближе подъезжал автомобиль, тем сильнее билось сердце Мадины. Ему было уже тесно в грудной клетке, казалось, вот-вот оно вырвется и взовьется жаворонком в синее небо. Абдельахат! Мелодией, порожденной задумчивым кураем, звучало для Мадины это имя. Но почему машина движется так медленно? Нет, она даже остановилась, не доехав до возвышенности, на которой стояла Мадина. Из машины вышли двое мужчин. Обнялись, и один из них вернулся в машину, другой, вскинув заплечный мешок, пошагал к аулу.

– Абдельахат! – закричала Мадина, но не услышала своего голоса. Побежала бы навстречу, да ноги не слушались. – Абдельахат!

Готовая притянуть его своим дыханием, Мадина способна была лишь смотреть на приближавшуюся к ней одинокую фигуру.

Часть четвертая

ЗВЕЗДЫ НОЧЬЮ ГОРЯТ

Глава первая

Изнывая под палящим солнцем, Мадина вновь устремилась вперед. Горячий песок ускользал из-под ног, оттягивал ее назад, а она упрямо уже не шла, а ползла туда, где, глядя в жаркое небо, стоял с автоматом в руках ее призванный на службу в пограничные войска сын. «Да-ут!» Он вздрогнул, направил дуло автомата на голос – ее он не видел. Мадина пыталась показаться ему, но сыпучий песок не позволял встать. «Это я, твоя мама!» – закричала она и проснулась в слезах.

Прикорнула на лежанке в летней кухне и, оказывается, уснула. Через стекла окна нещадно палило полуденное солнце. Мадина села, облизала пересохшие губы. Какой тяжелый сон! После того, как получила письмо от Даута с южной границы страны, нет покоя в ее душе. Тревога за него, нарастая, как скатывающийся с горы снежный ком, лежит тяжким грузом на сердце. Мадина зачерпнула холодной воды из бака, выпила, и сердцебиение вроде упорядочилось. Через открытую дверь уже отчетливо услышала голоса игравших в тенечке возле дома дочек-двойняшек.

– Что уж ты, соседка, в кои веки у тебя попросила...

– Проси что угодно, только не Савраску!

– Оттого, что в соседний аул к свахе съезжу, копыта у него, небось, не отвалятся.

– А вот и отвалятся!

– Не дашь, значит?

– Не дам!

– Жадина! Попробуй теперь попросить у меня гребешок с глазками!

– Больно он мне нужен!

– Вот узнает мама, что свой ты потеряла!

– Я не потеряла, он сломался!

– Покажи сломанный!

– Думаешь, я сломанный на голове ношу? Я не такая жадина, как ты!

– Не обзывайся, а то маме скажу!

– Еще и ябеда!

Мадина, слушая разговор девочек, игравших в соседок, сначала улыбнулась, теперь обеспокоилась: запахло ссорой! Какие они у нее все-таки разные! Чаще всего ссорятся из-за деревянной лошадки, которую Абдельахат привез из Уфы, когда они были совсем еще маленькие. Мадина тогда рассказала им о Саврасом и дала игрушке эту кличку. Бойкая, с мальчишескими повадками Кюнхылу вцепилась в лошадку, объявила ее своей, и с тех пор спокойная, застенчивая Кукхылу даже ненадолго не может выпросить Савраску. Чтобы дети не рассорились всерьез, Мадина окликнула их:

– Девочки, идите-ка сюда!

В дверном проеме первой показалась синеглазая, кудрявая Кукхылу. Она знает, что мать защитит ее. Ее все любят. Прабабушка и дед называют Кукхылу слепком с бабушки Гульбану, отец – воспоминанием о его юности. И сама Мадина видит в ней черты своей покинувшей этот мир в тоске и печали матери, которой жить бы да жить еще.

– Мама... – Кукхылу устремилась было к матери, но почувствовав, что сестра дышит в затылок, остановилась и, сев на порог, поправила юбочку. Теперь уже в дверном проеме стояла и Кюнхылу, медноволосая в отца, черноглазая – глаза ее от злости, казалось, стали еще черней.

– Мама, Кукхылу меня обзывает!

Говорят, когда рождается двойня, мать сильно любит лишь одного ребенка, о другом заботится Всевышний. Может быть, так оно и есть. Кюнхылу не окружена в семье такой любовью, как Кукхылу, но растет, ничуть не уступая сестре, скорее даже превосходя ее в развитии. Дома они могут поссориться до слез, а на улице Кюнхы-

лу сестру в обиду не дает, может даже съездить мальчишке-обидчику по сопатке.

Увидев, что сестра не уткнулась в подол матери, Кюнхылу тоже остановилась у порога. Мадине хотелось подозвать первую, прижать к груди, приласкать, но она сдержала себя. Коли отдавать явное предпочтение одной, душа у другой в конце концов может ожесточиться, очерстветь. Она протянула руки к Кюнхылу.

– Иди-ка, детка, ко мне.

Девочка кинулась в объятие матери.

– Мамочка!

– У тебя... гребенка потерялась?

– Сломалась.

– Надо было сразу сказать мне.

– Мама, а почему этот глупый дядька Шангарей говорит Кюнхылу: «Ты моя невестушка»?

– Он ведь диуана, – подала голос Кюнхылу. – Барсынолэсэй говорит, что диуану нельзя обижать, грех.

– Уж не поссорилась ли ты с Шангареем, а, Кюнакес?

– Нет, только немножко рассердилась... Мам, а Гнедой со звездочкой Хусаин-бабая и вправду потомок Саврасого?

– Ай, неугомонная, ты и в конюшне побывать успела?

Разговор с детьми на этом оборвался. Взбрехнула собака, скрипнула калитка, послышался голос:

– Есть кто дома?

Мадина вышла во двор, раскрылив руки над прижавшимися к ней девочками.

– Есть...

У ворот стоял пожилой мужчина городского обличия с растрепанными на ветру седыми волосами. Вглядевшись в его лицо, Мадина ахнула:

– Давид... Давид Соломонович!

– Мадина!.. Вот и свиделись...

С любовью засияли черные глаза под седыми бровями. Давид, подойдя ближе, опустился на корточки перед ее девочками...

* * *

Барсынбика, потерев и помассировав занемевшие во время намаза ноги, тихонечко поднялась с молитвенного коврика. Встряхнула коврик, повесила на перекладину. Взглянула на висевшие на стене в застекленных рамках

фотокарточки. На них запечатлены люди, с которыми были связаны ее радости и горести. Вот Дингезхан на снимке, сделанном в Туркестане. Тогда он еще не потерял воинственный дух и надменность, унаследованные от предков-тарханов. У него было много золота. Хай, как возносит человека богатство! А вот снимок, сделанный здесь в пору его работы в кузнице. Он уже сник и словно ростом стал ниже. Надменный лев превратился в жалкого бродягу. Помнится, однажды, когда он, выпив, лил слезы по утраченному богатству, Барсынбика рассказала ему одну притчу.

Ходжа Насретдин будто бы попал на тот свет, а там было все, чего душа пожелает. Ешь что хочешь, пей что хочешь, прекрасные райские гурии готовы исполнить любое твое желание. Сначала Ходже было весело, но со временем наскучило ему изобилие всяких благ. Захотелось взглянуть на земную жизнь. Выполнили и это его желание: приоткрыли полог небесный. Посмотрел он вниз, увидел, как суетятся его сородичи, добывая в поте лица пищу и одежду, и снова погрузился в море удовольствий. Однако вскоре такое существование опять Ходжу пресытило. И пришла в его умную голову мысль: «Постой-ка, кроме рая ведь есть еще и ад. Каково, интересно, там?» Спросил у окружающих, а те ему говорят: «Э, Ходжа, неужто после того, как столько напроказничал в земной жизни, ты думаешь, что попал в рай?» — «А где я, разве не в раю?» — удивился он. «В аду, Ходжа, в аду», — последовал ответ. Да, если душа человека перестает трудиться, стремиться к совершенствованию, жизнь превращается в ад. Не понял этого Дингезхан. Не смог перенести утрату, а утратил он не то, что хранят в мошне, а то, что облагораживает душу. Есть на стене и снимок Ихсанбая: держит под уздцы Саврасого, пришедшего первым на районном сабантуе. Лошадей-то обуздывать он умел, а себя... Человек, не обуздывающий свои неумеренные желания, становится их рабом. Вот и Ихсанбай стал таким, из-за этого погиб, оставил Абубакира сиротой.

Барсынбика перевела взгляд на снимки молодых парней в военной форме. Вот Абубакир стоит, улыбаясь, на берегу моря. Он, моряк, служит в Ленинграде. Спасибо зятю Абдельахату, вырастил мальчика вместе с Даутом, как будто сыновей-близнецов, одинаково заботился о ее внуке и правнуке. Абубакир называл папой Абдель-

ахата и узнал о том, что рос не у родного отца, когда пришло время получить паспорт. А на этом снимке – Даут. Красивый юноша с продолговатым, как у отца, задумчивым лицом, большими черными глазами. Бывало, как заиграет на гармони, весь мир, казалось, пускался в пляс. Абубакир, к слову, мог бы стать певцом. Голос за сердце берет. Если бы и не превзошел Мадину, по меньшей мере, не уступал бы ей. Но почему-то потянуло его в море, на флот, и добился-таки своего. Но ничего, были бы только живы-здоровы, вернутся ее беркуты, прижмет еще их Барсынбика к своей груди...

Узловатым указательным пальцем прикоснулась она к снимку, присланному Даутом, и вздрогнула: холодок тревоги пробежал по спине, проник в сердце. И в доме словно бы вдруг стало холодно. О, Аллах, не случилось ли что-нибудь с ее правнуком? Торопливо сунув ноги в галоши, Барсынбика взяла кумган и вышла на облитое солнечным светом крыльцо. А там во дворе перед Мадиной и прижавшимися к ней с двух сторон девчушками стоял какой-то бородатый человек...

* * *

Абдельахат сильно нервничал, взвинтился в ожидании своей очереди предстать перед членами бюро райкома. Наконец, вызвали его – последним из собравшихся в приемной Камалетдинова.

Камалетдинов сидел, как обычно, во главе поставленных буквой «Т» столов, подперев подбородок рукой. Его отрешенный взгляд был устремлен в неведомую даль. Он, казалось, не заметил, что вошел очередной, вызванный на «пропесочивание» человек. Но нет, оказывается, заметил.

– Садись, Абдельахат...

– Извините, Аюп Газизович, – возразил, поправив очки, сидевший за длинным столом, боком к Камалетдинову, второй секретарь райкома Кыдрасов, – при разговоре с членами бюро приглашенному положено стоять.

Камалетдинов промолчал. Разговор повел Кыдрасов. Сельским хозяйством непосредственно ведал он, хотя по образованию был электротехником. Абдельахат постоянно конфликтовал с ним.

– Та-а-ак... – протянул Кыдрасов. – Значит, перед нами товарищ Ирназаров Абдельахат Гимранович, главный аг-

роном колхоза «Алга». Ну, рассказывай, батыр полей, как в колхозе идет посевная кампания.

Абдельахат разозлился:

— А вас она очень волнует?

На лице Кыдрасова выступили красные пятна, у Камалетдинова дрогнули ресницы. Третий секретарь райкома, Галима Мингажева, что-то написала в своем блокноте. Кто-то из членов бюро кашлянул, остальные не шелохнулись.

— Если бы не волновала... — Голос Кыдрасова взвился, дал петушка. Он налил из графина воды в стакан, сделал глоток. — Если бы не волновала, мы бы не вызвали тебя сюда!

— Тот, кого действительно волнует ход полевых работ, судьба урожая, не станет отрывать агронома от дела, когда ему впору разорваться... — пошел напропалую Абдельахат.

— Вы видите, товарищи? — Кыдрасов как бы в бессилии развел руками. — У человека нет элементарного понятия о партийной дисциплине! Мало того, он и выполнение государственных заданий саботирует. Ответьте, Ирназаров, почему вы уменьшили посевные площади под пшеницу? — Видимо, для того, чтобы придать разговору более официальный тон, Кыдрасов перешел на «вы».

— Урожайность ржи в нашей зоне стабильно выше, чем у пшеницы, поэтому осенью отвели под озимую рожь большую, чем прежде, площадь.

— Это самовольство! Нарушать государственные планы никому не позволено! А почему даже на урезанных площадях сев у вас идет ни шатко ни валко? Всего двадцать процентов на сегодняшний день засеяно?

— У нас почва поспевает позже. Кроме того, не дождавшись всходов пырея и не уничтожив их, сеять бесполезно.

— Пырей! — Кыдрасов, словно почувствовав удушье, ослабил галстук. — Одному тебе пырей мешает, другие сеют!

— За других я не отвечаю. Несу ответственность только за поля своего колхоза.

— Скорее никакой ответственности не чувствуешь! Предлагаю, товарищи, за недисциплинированность и безответственное отношение к порученной работе объявить члену партии Ирназарову строгий выговор с занесением в личное дело...

Это был в общем-то обычный в работе райкома прием: кто-то из членов бюро обрушивается на вызванного на ковер с резкой критикой, вгоняет его, что называется, в пот, предлагает строго наказать. Предложение могут принять, могут и отклонить, дать припугнутому человеку время для исправления положения на порученном ему участке деятельности. Решающее слово должен сказать первый секретарь. Но как бы ни обернулось дело, уже сам вызов на заседание бюро – своего рода кнут. Абдельахат понимал, что подстегнуть кое-кого не лишне, однако на сей раз кнут достался ему самому, причем, по его мнению, несправедливо. Явная недоброжелательность и хамоватость Кыдрасова окончательно вывели его из себя. А Камалетдинов молчал. Согласен с Кыдрасовым? Затмение, вызванное вспышкой обиды, что ли, нашло на Абдельахата, – не дожидаясь решения, не думая о последствиях, он повернулся и ушел из кабинета, где заседало бюро.

Выйдя из райкома, направился было к стоянке автомашин, но остановился, вспомнив, что приехавший с ним главбух колхоза уехал в райфинотдел сдавать отчет. Они договорились встретиться потом в заезжем дворе.

У райкома под раскидистым осокорем стояла скамейка, Абдельахат присел на нее, закурил, стараясь успокоиться. Разумеется, он знал, что в райком его вызвали не для того, чтобы похвалить, а все же... Обиднее всего для него было какое-то безразличие Камалетдинова к тому, что происходило на его глазах. Раскиселился Аюп Газизович в последнее время, слишком много воли дает этому очкарику Кыдрасову. Похож стал на выброшенную на берег снулую рыбу. А какой был командир! За безоглядную храбрость, за готовность душу отдать ради друзей и боевых товарищей полюбил его Абдельахат, почитал, как отца. И не сказать, что Аюп Газизович не отвечал ему взаимностью, – отвечал. После возвращения Абдельахата из лагеря похлопотал о восстановлении его членства в партии, помог и ему, и Мадине поступить в сельскохозяйственный институт. Главным агрономом колхоза Абдельахат был назначен тоже не без его участия. И Мадину хотел он утвердить в должности главного зоотехника, но она сама отказалась и от авторитетной должности, и от вступления в партию, поэтому до сих пор ходит в заведующих фермой. Да, доброе отношение Аюпа Га-

зизовича к ним незабываемо, но в последнее время Абдельахат не может его понять. Пусть хоть десять выговоров ему влепят, не это его волнует. Огорчает перемена в близком человеке, его все более заметное отдаление. Может быть, одиночество терзает Аюпа, оттого и раскис, замкнулся в себе. Уехала его Малика и как в воду вместе с дочкой канула. Задержаться, что ли, еще в Таулах, поговорить с ним? Так и так день уже потерян. Может, ему как раз сейчас не хватает дружеского разговора?

Вышли из райкома гурьбой члены бюро, заседание закончилось. Попрощались, разошлись. Спустя несколько минут появился и Камалетдинов. Заметил скорчившегося на скамейке Абдельахата, остановился, сказал, не глядя в его сторону:

— Ты что на рожон полез? Мало тебя жизнь учила?

Абдельахат поднялся, чувствуя, что опять его захлестывают обида и злость. Не таких слов ждал он от друга.

— Выходит, мало. До сих пор не понимал, что человек что-то значит только в стае. Сделаешь самостоятельный шаг, отобьешься от стаи и ты уже никто. Спасибо, товарищ Камалетдинов, сегодня ты дал мне это почувствовать. Во всяком случае, я это хорошо понял. До свиданья!

— Погоди-ка!..

Голос Камалетдинова прозвучал повелительно, в то же время по-свойски, но Абдельахат не обернулся, пошагал, подгоняемый злостью, по улице, не зная куда и зачем. В возбужденном мозгу теснились беспорядочные мысли.

Кто бы мог подумать, что их дороги разойдутся вот так? Только добра желал Абдельахат Камалетдинову даже тогда, когда замечал его полный любви взгляд, обращенный на Мадину, держал себя в руках, не позволяя ревности пустить глубокие корни. В конце концов, ни один мужчина, если у него в груди не льдина вместо сердца, не пройдет мимо красивой женщины, не бросив на нее восхищенный взгляд, не оглянувшись затем назад. Поняв это, Абдельахат простил всем мужчинам, в том числе и Камалетдинову, повышенное, скажем так, внимание к своей жене. Он вернулся из лагеря с подорванным здоровьем и измученной душой, если бы к этому добавилась еще и сводящая с ума ревность, наверно, совсем бы слег.

Устоял Абдельахат. Направил все силы на учебу, на работу. Рядом подрастал Даут, напоминая о годах, когда и сам Абдельахат был полон жизни и светлых надежд.

А теперь подрастают дочки-двойняшки – подтверждение его взаимной с Мадиной чистой любви. Жизнь продолжается. Может быть то, что произошло сегодня, ничего не изменит. Он объяснится с Камалетдиновым. Нужно для этого немного выждать. Какие только раны время не лечит!..

– Абдельахат-агай, что это ты стоишь у ворот? Айда заходи!

Абдельахат удивленно поднял голову.

– Бэй, Галима Мухаррямовна, вы, что ли, здесь живете?

– Идем... Идемте!

Не смог Абдельахат отвергнуть приглашение приветливо улыбавшейся Галимы, переступил порог дома, в который ни сном, как говорится, ни духом заходить не собирался.

* * *

Галима теперь не может пожаловаться на свою жизнь – круто она изменилась с появлением в ней Кыдрасова. Все решила поездка с ним в Уфу на республиканский слет передовых доярок. Конечно, и Саяфу Галима благодарна: он создал для нее особые условия, не гнушался приписок, закрепил за ней самых удоистых коров фермы, благодаря чему безвестная доярка стала героиней, депутатом, сидела за столами, какие другим и не снились.

Но Кыдрасов... Кто уговорил ее отправиться, бросив работу в ауле, на учебу в Свердловск, в партшколу? Он, Кыдрасов. Кто после завершения учебы предложил назначить ее заведующей общим отделом райкома партии? Он, Кыдрасов. Кто выдвинул ее на должность третьего секретаря райкома? Опять же он... Разумеется, и самой Галиме пришлось поднапрячься. Легко ли учиться в чужом городе, имея при себе ребенка! Стипендия в партшколе не чета студенческой, но все равно для того, чтобы сносно содержать себя и дочку, денег нужно было больше. Галима нанялась на ночную работу в кочегарке. Работавшая там же русская женщина Надежда Павловна многому ее научила. Эта женщина, когда-то занимавшая видный пост в торговле и отсидевшая за растрату довольно долгий срок, внесла существенные поправки во взгляды Галимы на жизнь и ее поведение. Даже выщипывать брови, в меру пудриться и красить губы Галима научилась

у нее. У нее же брала уроки русского языка. Частенько они беседовали о счастье.

– Как учил садовод Мичурин, мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача, – говорила, смеясь, Надежда Павловна. – Именно взять, голубушка. В любви то же самое. Кто умеет превращать чужое в свое, тот и в выигрыше. Мне не повезло, но эх как пожила я, пока была молода!

– Есть у нас частушка, правда, шуточная: пусть у него, сказать по-русски, семеро по лавкам, милуйся с ним, раз сердцу мил...

– Вот-вот! – Когда-то красивое, а теперь обрюзглое, отечное из-за частых выпивок лицо Надежды Павловны посветлело. – В точку ты попала! Ты сообразительна, красавица моя. Тебе нужен хороший мужчина! Если хочешь чувствовать себя королевой, без короля не обойтись. Непременно рядом должен быть король!

– Не всем женщинам достается такое счастье. – Тут Галиме вспомнилась Мадина. Вот ведь, не приложив никаких усилий, вышла замуж за хорошего человека. Ну, победовала, зато теперь живут душа в душу, воркуют как голубки.

– А я тебе о чем толкую? – В широко раскрытых глазах Надежды Павловны обозначилось удивление. – У тебя что, нет подруг с приличными мужьями?

– Есть...

– Ну так отбери у любой и живи! Мужчина что скотина: где хорошо кормят, мягко стелят, там и остается.

Галима ничего в ответ на это не сказала. Хоть и работали вместе и вроде бы подружились, не раскрылась она полностью перед Надеждой Павловной. Ни об отце своего ребенка Ихсанбае, ни о Саяфе в разговорах с ней не упоминала. Наверно, собеседница принимала ее за неопытную деревенскую простушку. А Галима немножко в мужчинах разбиралась. Они норовят попользоваться тобой, ну и ты иногда пользу из этого извлекаешь. Когда не видна им труба своего дома, они джигиты хоть куда, но едва учует жена, что мужа потянуло налево, запрет крепко дверь, не пустит его разок-другой домой, – и тише воды, ниже травы становится «джигит», от дома своего не отойдет ни на шаг, никакими калачами к себе его уже не заманишь. Знала это Галима. Однако внимательно слушала поучения Надежды Павловны. Ибо сказано

было кем-то из древних мудрецов: выслушай и умного, и глупого, когда-нибудь услышанное от обоих может тебе пригодиться.

Мужчины в общем-то все на одну колодку сшиты. Кыдрасов, на первый взгляд, готов выполнить любую прихоть Галимы, но попробуй сказать ему: брось свою семью, женись на мне! Сразу охладеет, а там, того и гляди, с должностью ты распрощаешься.

Кыдрасова на Абдельахата она натравила: «Занесся, пользуясь покровительством Камалетдинова, проучи его как следует!» Кыдрасов поколебался, мол, неизвестно, как на это Аюп Газизович отреагирует, но все же послушался ее. Сегодня, видя, как строптивый тиряклинский агроном то краснел, то бледнел перед членами бюро, Галима испытывала злорадное чувство. И это было лишь начало ее мести. За что? За то, что не ей, а Мадине досталось женское счастье, за то, что еще тогда, когда Абдельахат приехал в аул отбирать талантливых ребят и девчат для направления на учебу, на нее, Галиму, несмотря на ее старание понравиться, не обратил внимания и потом ее не замечал. Ничего, зато теперь она заметный человек, весь район под ее дудку пляшет...

Вот сидит Абдельахат на ее кухне, смущенно пьет чай. Галима – само радушие, крутится-вертится перед случайно забредшим к ней гостем, придвигает к нему то одно, то другое угощение, выставила на стол и небольшой графинчик.

– Мужчины в доме нет, так и выпить некому. – Галима улыбнулась, отчего на ее порозовевших щеках заиграли ямочки. – Давно уж стоит на всякий случай. Вот он, случай, и представился...

– Нет-нет, не нужно! – запротестовал Абдельахат. – Я ведь зашел, чтобы не обидеть Вас отказом...

– А иначе не зашли бы?

– Как сказать... Не принято заходить к одиноким женщинам без особой нужды, не по делу.

– Ай, Абдельахат-агай, уж кого-кого, а Вас-то в дурных намерениях не заподозрят! – прикинулась обиженной Галима. – Такие, как Вы, мужчины на дороге не валяются, оттого многие женщины и одиноки. Не все такие счастливые, как Мадина.

Упоминание о Мадине еще больше смутило Абдельахата.

– К сожалению, не всегда была она счастлива. Сколько пришлось ей ждать, носить звание жены врага народа!

– Знаю, Абдельахат-агай, все о ней знаю, вместе работали. Кстати, сегодняшнее поведение Камалетдинова объясняется его желанием отомстить ей. Он ведь избавился от своей жены, отправил ее куда-то ради Мадины...

– Вы ошибаетесь, Галима Мухаррямовна! – Абдельахат отодвинул свою чашку. – Аюп Газизович не такой человек... И Мадина тоже...

– Эх, агай! И я так думала, пока не попала в здешний круг. Извините, я сказала все это Вам как односельчанину, близкому человеку...

– Ничего... – Абдельахат встал, потянулся к своей шляпе. – Спасибо за чай!

Когда закрылась дверь за ним, Галима, расхохотавшись, упала на диван.

– Вот так, подружка моя Мадина! Пока получила ты щелчок по задранному носу, но то ли еще будет!

* * *

В квартире Камалетдинова утром начали ремонт. Он вспомнил об этом, войдя в прихожую. Надеялся, что дома успокоится, а тут на тебе! Ремонтники к его приходу уже ушли, учинив в комнатах полный разгром. Вся мебель была передвинута, на полу валялись обрывки содранных со стен обоев, посреди гостиной возвышался ворох старых газет и журналов. И зачем он затеял ремонт? С тех пор, как уехала Малика, все откладывал его, думал, вернется и займется этим она. Не вернулась. Он тосковал по дочке, лелеял надежду на их возвращение. Ведь надежда, по присловью, умирает последней.

Чтобы не оставаться наедине со своими грустными думами, Аюп полностью отдавал себя работе. Хрущевские реформы, пусть и взбалмошные, дали стране возможность продвигаться вперед то бегом, то кувырком. За кампанией следовала кампания, подняли целину, повоевали с козами, засеяли даже цветочные клумбы кукурузой, повсеместно разводили уток и кроликов, но наряду с этим строили большую химию, запускали ракеты в космос – триумфально облетел землю Юрий Гагарин... Все это возродило в народе надежду на скорое наступление светло-

го будущего. Волна всеобщего энтузиазма подхватила и Аюпа Камалетдинова. Так надо, считал он, и в душе гордился своим участием в осуществлении грандиозных планов партии. Правда, его быт оставлял желать лучшего, не хватало семейного тепла – за порядком в квартире следила, обстирывала его и готовила еду приходящая пожилая женщина. У него не было близких, с кем он мог бы пообщаться вне работы, сходить, скажем, в гости, и он все более замыкался в себе. Но в работе вновь был на коне, его слова ждали, перед ним вытягивались в струнку. Единственным человеком, позволявшим себе поспорить с ним, был Абдельахат. Спор обычно начинался с какой-нибудь мелочи и мало-помалу достигал высот общегосударственной политики. Теперь уж поводы, из-за чего они спорили, подзабылись. Одно лишь помнит Аюп Газизович: болевой точкой Абдельахата всегда было и оставалось отношение к земле. Он, например, считал распашку целины для расширения посевных площадей ошибкой. Помнится, сказал однажды:

– Эта политика к добру не приведет!

– Почему?

– Преобразования в таких масштабах могут обернуться экологической катастрофой. Ты когда-нибудь обжигался, ошпаривался кипятком? Знаешь, что человек, если обожжет хотя бы четвертую часть кожи, может погибнуть?

– Мы, кажется, говорим о земле...

– Почва – кожа земли. На Луне ничего не растет, там мертвый грунт. А у земли кожа – живая...

– Философией, дружок, народ не накормишь. – Аюп говорил спокойно, а в душе переживал за друга: из-за языка своего нахлебался лагерной баланды, а все тот же, не изменился. Ладно еще кто-нибудь другой его не слышит.

– Издревле крестьянин и себя, и страну кормил, – продолжал Абдельахат. – Превращение его в люмпена тоже грозит катастрофой. Уже сейчас народ из деревень бежит в города. Что ему в деревне делать, если не может хлеба с маслом досыта наесться?

К сожалению, жизнь подтверждала правоту Абдельахата. После целинной эпопеи Хрущев провозгласил: отныне советский народ будет вволю есть белый хлеб! И в самом деле, некоторое время в столовых хлеб даже выставлялся бесплатно – ешь, сколько хочешь. Но в 1963-м

году грянула беда: в Казахстане, ставшем главным поставщиком зерна, черные бури на огромных пространствах поднятой целины снесли почву вместе с засеянными в нее семенами.

– Природа сама защищает себя, – сказал по этому поводу Абдельахат. – Ты тоже заставил распахать в районе целинные земли. Скотоводство всегда было основой благополучия башкир. Скоро у нас негде будет пасти скот. На земле, кормившей бесчисленные табуны, лошади становятся экзотикой...

Спорили они о роли науки, об академиках Вавилове и Лысенко, вновь возвышенном Хрущевым. Насчет Лысенко мнение у Абдельахата было вполне определенное:

– Ущерб, нанесенный им науке, не скоро еще мы восполним!

В последние годы, пользуясь его, Аюпа, покровительством, что ли, Абдельахат совсем с привязи сорвался. Превратил поля своего колхоза в площадки для экспериментов: то защищал теорию безотвальной вспашки, то кулисы на отведенной под пар земле испытывал, пытается сеять и убирать урожай, когда и как ему самому заблагорассудится, теперь вот посевы пшеницы самовольно сократил, без конца конфликтует с Кыдрасовым, не признает никакого руководства. Кыдрасов тоже хорош! Одна из последних вечерних бесед с ним совершенно лишила Аюпа Газизовича душевного равновесия.

– Аюп Газизович, извини, в каких ты отношениях с женой Ирназарова? – спросил тогда Кыдрасов.

– То есть? Если я одинок, думаешь...

– Нет-нет, ты неправильно меня понял! Я слышал, Ирназаров из ревности к тебе частенько поднимает руку на жену. Мне жаль ее.

– Гнусная сплетня! Я Абдельахата хорошо знаю!

– Дыма без огня не бывает, Аюп Газизович!

Этот разговор стал последней каплей в чаше терпения Аюпа Газизовича. Он не возразил против рассмотрения работы главного агронома колхоза «Алга» на заседании бюро. Мадина тут была не при чем. Абдельахат ведет себя слишком вольно, пусть почувствует, что Камалетдинов может быть и суровым...

Аюп Газизович вскипятил и попил на кухне чаю. Собравшись прилечь в разгромленной гостиной на диван, увидел нераспечатанную запыленную бандероль. Это еще

что? Сургучная печать не сломана. Судя по почтовому штемпелю, бандероль пришла... восемь лет назад. Должно быть, выскользнула из пачки газет за спинку дивана и лежала там, пока диван не сдвинули с места. Адрес написан рукой Малики. Да, ее почерк...

* * *

Рауза, заперев дом Ишмамата, направилась в сторону дома Ирназаровых. Старость не радость, ноги несли ее грузное тело нехотя. Впрочем, она не спешила. Зачем ей спешить? Она теперь пенсионерка. Ей как бы ни за что ни про что ежемесячно приносят деньги. Небольшие, но на чай-сахар хватает. К этим деньгам добавляется пенсия Шангарея по инвалидности. У Хусаина она ничего не просит и не берет. Хусаин живет в прежнем доме Раузы, в прежнем ее хозяйстве, растит купленного где-то жеребенка будто бы из потомства Саврасого – теперешние власти разрешают содержать лошадь в личной собственности. Пожить в доме Ишмамата Раузу попросил Хашим. «За Шангареем больше некому присмотреть, уж позаботься о нем, тебе это зачтется», – сказал он. Рауза согласилась. Для нее что Хусаин, что Шангарей – оба тронутые. Хусаин чокнулся на любви к лошадям, Шангарея хоть повернуть куда хочешь можно. Если и заупрямится, разозлит, то Рауза отходчива, злится недолго. Жалеет она бедняжку с разумом ребенка. Кому он нужен? Стареет Рауза, что будет делать это божье создание, когда ее не станет? Так-то, коль найдешь к нему верный подход, не совсем уж бесполезный он человек, любые ее поручения выполняет.

Сама Рауза вот уж сколько лет после увольнения из «капирата» ходит в помощницах Абдельахата. Никто ее не заставлял, сама напросилась. Когда умерла Магинур, Абдельахат устроил в ее опустевшем доме семенную лабораторию. Старался приспособить к местным условиям разные сорта высокоурожайной, неполегающей пшеницы и ржи, даже арбузы и дыни пробовал выращивать. Походила Рауза три месяца в пенсионерках и, не зная куда девать еще нерастраченные силы, пришла к нему.

– Кустым-турэ Абдельахат, – сказала она, стараясь вложить в свою речь всю грамотность, накопленную на «го-

сударственной службе», – думала я думала и пришла к выводу, что в ауле дела важней, чем у тебя, нет. Потому что нет ценности выше хлеба. Это тебе не приборка в канцелярии или торговля в лавке. Вижу, маешься ты в одиночку. Поручи всю черную работу мне, а сам читай книги и считай цифры.

– Спасибо, Рауза-апай! – ответил, улыбнувшись, Абдельахат. – А я-то думаю, в кого уродился Хусаин. Оказывается, его фанатизм идет от тебя. Что ж, работы у меня много...

Не стала Рауза допытываться, что означает слово фанатизм. Фанатизм так фанатизм. Она и Шангарея склонила к этому самому фанатизму. Приставила его караульщиком к усадьбе покойной Магинур, превращенной Абдельахатом в опытный участок. А то спасения нет от окаянных коз. Не зря Хрущев объявил им войну. К слову сказать, Шангарей устроил себе «кабинет» в бане Магинур, повесив там портрет Хрущева. Крепко взялись они за работу, сил не жалеют. Зато осенью у Шангарея полон рот всякой вкуснятины: тут тебе и арбузы, и дыни, и яблоки, и груши, даже виноград. Правда, больше, чем сам ест, он угощает дочек Абдельахата, в особенности Кукхылу.

Не жалуется Рауза на судьбу. Кому бы еще доверили столь ответственное дело, каким она занята сейчас?

Прежде чем войти на опытный участок, Рауза глянула на Хашимову избу. Остался он жить в избе Гульбану, не последовал за Мадиной и Абдельахатом в новый дом, построенный во дворе Барсынбики. И родительский дом отдал сыну Касима. Укоренился здесь. И не женился. В последнее время редко показывается на улице, сидит в избе, даже не раздвинув занавески. Впрочем, если бы и раздвигал, не стала бы Рауза заглядывать в его окна. Давно пропал у нее интерес к мужчинам. Ихсанбай, гори он вечно в аду, вызвал в ней полное отвращение к мужскому полу, погасил естественные для женщины желания. Слава Аллаху, душа у нее теперь спокойна.

Увидев, что дверь дома Магинур открыта, Рауза удивилась. Ключи есть только у нее и у Абдельахата, а он в это время обычно бывает где-то на полях. Войдя в дом, опять удивилась: Абдельахат лежал, растянувшись на голой скамье.

– Ах-ах, что с тобой случилось, Абдельахат?

– Ничего не случилось... Ты все горшки во двор вынесла?

– Вынесла, как не вынести, раз велено!.. К Мадине, говорят, какой-то гость, урус, который с вами учился, приехал, уж не от него ли, кустым-турэ, ты решил тут скрыться?

– Гость? – Абдельахат сел. – Что за гость?

Рауза, сообразив, что он ничего не знает, умостилась на стуле у двери.

– Ах-ах! Говорю же – урус. Урус он и есть урус. От людей, у которых он спрашивал, где вы живете, я слышала. Лицо, говорят, все заросшее, одни глаза видать. За спиной какая-то длинная сумка, в ней, похоже, что-то есть. На вид немолодой... Ах-ах, иди домой! Где же это видано, чтобы человек средь бела дня улегся спать в конторе?

Рауза умолкла, почувствовав, что Абдельахат в неважном настроении. Не привыкла она видеть его таким подавленным. Последила за ним через окно, пока он не скрылся в своем дворе.

* * *

Саяф Шамсутдинов каждый раз, когда видел Мадину, испытывал противоречивые чувства. В принципе общение с красивой женщиной каждому мужчине доставляет удовольствие. Но в ту пору, когда Мадина начала работать на ферме, сильного чувства в нем она не пробуждала. Рядом была доступная, налитая, как спелое яблочко, Галима, а худенькая, легонькая – дунет ветер и унесет – Мадина представлялась плодом недозрелым, кислым. Благодаря тому, что долго возглавлял женский, в основном, коллектив, Саяф изучил характеры и повадки женщин. Если женщина, взглянув мельком, затем задержит взгляд на тебе, считай, ты привлек ее внимание. Остальное зависит от тебя. Если же, несмотря на все твои старания, женщина тебя не замечает, значит, тебе ничего не светит. Мадина оказалась из разряда женщин, которые не задерживали взгляд на Саяфе, не подавали ему никаких надежд. Этим-то после отъезда Галимы из аула и взбудоражила его сердце.

Галима доставляла минуты наслаждения, возносившие его в небеса, а Мадина своей недоступностью причиняет боль. Больше того, неравнодушное отношение к ней обернулось для него равнодушием к другим женщинам. Кто же, видя румяный персик на ветке, потянется к зеленым яблочкам на картофельной ботве?

Вон она, Мадина, идет к правлению, глянула на окно его кабинета, – должно быть, возникла у нее нужда в нем как председателе колхоза. Ах, какая у нее фигура! Как она идет! Не идет, лебедушкой плывет. За что, за какие заслуги Всевышний, если он есть, отдал Мадину Абдельахату? Бабушка читала Саяфу в детстве книгу, героиня которой Зулейха рисовалась ему такой вот красавицей. Если бы судьба не забросила в Тиряклы женщину по имени Шахарбану, не увидел бы Саяф Мадину и прожил жизнь спокойно, без душевных бурь. Внезапные вспышки ярости, его неуравновешенность связаны с этим. Понимает Саяф, что часто бывает несправедлив к Абдельахату, но ничего поделать с собой не может. Ревность не дает покоя. Сгинул бы уж Абдельахат в лагере и все было бы проще. Так нет, вернулся, да еще институт окончил и гнет тут свою линию. Если б не поддерживал его Камалетдинов, давно свернул бы Саяф ему шею руками Галимы...

Услышав шаги на лестнице, ведущей на второй этаж, Саяф поднялся и, будто бы торопясь выйти из кабинета, столкнулся с Мадиной на пороге.

– Ой, чуть не сбил тебя с ног! – Приобнял ее за плечи, как бы извиняясь за свою неловкость.

– Ничего, – сдержанно ответила Мадина. – Хорошо, что застала Вас на месте.

– Я сам собирался вызвать тебя, – сказал Саяф, вернувшись в кабинет. – Почему-то не была на утренней планерке...

– Да, не смогла. Гость приехал к нам издалека.

– Вроде не сезон сейчас в гости ездить.

– Говорят, смерть и гость могут придти в любое время.

– Это так... Ну, как идут дела на ферме? Готовитесь к переезду в летний лагерь?

– Готовиться-то готовимся, но у нас с зоотехником мнения насчет места для лагеря разошлись. Я считаю, что сначала надо перегнать стадо подальше, в межгорье, где

травы богаче, а к осени, когда медведи начнут баловаться, передвинуться ближе к аулу...

– Не знаю, не знаю... – Саяф склонялся к такому же решению, но зоотехник упрекнул его в том, что ходит на поводу у Мадины, и он заколебался.

– Чего ж тут не знать? Вы сами заведовали фермой, не Вам объяснять, что молоко у коровы на языке. Но я сейчас пришла по другому вопросу. Не разрешите ли мне день-другой отдохнуть? Гостя надо принять, как положено...

Просьба была необычна, не по делу, Мадина смутилась, отчего ее смуглое лицо вспыхнуло, стало еще привлекательней. Саяфу хотелось как-то выразить, насколько она ему нравится, но он понимал: скажи ей что-то лишнее и она тут же замкнется, лишит его даже такого вот неофициального общения.

– Ну, раз надо... – проговорил он. – Возьму ферму под свой контроль. Гость-то хороший человек?

– Очень хороший. Наш общий с Абдельахатом давний друг.

– У красивых женщин, Мадина-ханум, друзей не бывает. Только поклонники...

– Спасибо за комплимент.

– На складе есть свежее мясо. Для работающих в поле приготовили. Давай выпишу тебе для гостя.

– Спасибо и за это. – Мадина опять покраснела. – Но надобности такой нет. Бабушка Барсынбика, кажется, уже позаботилась насчет мяса.

* * *

– Вот и хорошо, что не выписала колхозное мясо, – сказала Барсынбика, дождавшись возвращения Мадины из правления. – Я несуягную овечку дома оставила, попроси кого-нибудь из соседей зарезать...

Редки люди, перед кем светлеет лицом Барсынбика, для кого сама она готовит угощения. А сегодня засучила рукава, приготовилась замесить бишбармак. И для пирога, и для баурхака тесто сама приготовит. Мадина, конечно, тоже мастерица по этой части, но сильно взволновал ее неожиданный гость, как-то растерялась она. А если у женщины душа неспокойна, тесто это чувствует, вбирает в себя ее переживания. Замечено ведь, что еда, в зави-

симости от того, кто ее готовит, способна и породить болезнь, и исцелить больного. Если жена ненавидит мужа, он может отравиться обыкновенной, приготовленной ею пищей и даже умереть. Еда, сваренная в столовой, наполняет желудок, а душу не насыщает – не хватает в ней сердечного тепла.

Барсынбике приехавший издалека гость с первого взгляда пришелся по душе. Горшок с маслом, говорят, не трудно определить по внешнему виду. Так и тут. По лицу гостя видно, что он хороший человек. Иначе разве отыскал бы столько лет спустя товарищей по учебе? Мадина рассказывала, что в самое тяжкое для нее время, перед отъездом из Москвы, он продал свою скрипку, чтобы снабдить ее деньгами на дорогу. Абдельахат тоже очень гостю рад, живо баню истопил, крепко его попарил – лежит сейчас в горнице, отдыхает. Господи, есть все-таки на свете люди, хранящие в душах доброту!

* * *

После бишбармака попили чай со сладким пирогом, и Мадина, вымыв и прибрав посуду, легла на свою кровать за занавеской. Девочки уже заснули. Бабушка, сотворив вечерний намаз, посидела у окна, пока совсем не стемнело, и тоже растянулась на своей постели. Не ложились только Абдельахат с Давидом. Они устроились в летней кухне. Абдельахат спиртное на дух не переносит. А сегодня купил ради гостя. Вот ведь судьба! Оказывается, и Давид прошел через сталинские лагеря. Строил в Сибири железную дорогу. На каждом, говорит, километре дороги оставили по трупу. И у него здоровье расшаталось. Освободили его намного позже, чем Абдельахата. Семьи, детей у него нет. «Вот, – говорит, – и разъезжаю по стране, навещаю старых друзей». Не нарадуется, что у Абдельахата жизнь наладилась. Любуется их девочками. Сразу заметил сходство Кукхылу с матерью.

А Абдельахат за столом вел себя как-то странно. Смотрел на Мадину то влюбленно, то как бы враждебно. Что с ним случилось? Почему вернулся из поездки в райцентр сам не свой? Подумать, что нервничает из-за выговора, так не из тех он, кого такая малость приводит в отчаяние, испытания пострашней пережил.

Мадине наутро надо встать рано, к табуну, а сон ее не брал. Петух пропел первый раз, затем второй... Скрипнула дверь. Абдельахат тихо вошел в комнату. Сел на стул возле кровати, начал раздеваться, тяжело дыша. Мадина отодвинулась, освободила место для него.

— Не спишь? — По голосу Абдельахата Мадина поняла, что он напился. — Не спи! У меня душа горит... Думаешь, пьян? Нет! Я все... понимаю. Сердце... Ты знаешь, где находится сердце?

— Абдельахат, не шуми. Ты в самом деле пьян.

— А тебе... нужен трезвый муж? Такой, как Камалетдинов? А, мадам?

— Ты что, хочешь, чтоб я встала и ушла? — Мадина, разозлившись, приподнялась.

— Лежи, лежи! Я сам уйду. Я ведь... мужчина. Мужчины женщин... какие бы ни были... должны уважать...

Мадина не находила, что сказать. Таким мужа еще никогда не видела. А он и впрямь натянул обратно одежду и ушел.

Невеселое для Мадины выдалось утро. Абдельахат, поспав несколько часов в летней кухне рядом с Давидом и, видимо, немного протрезвев, оседлал свой «ИЖ», укатил на поля. Не поднял глаз на Мадину, ни слова не проронил. Мадина старалась не выдать свое настроение гостю. Благо, занялась им бабушка, принялась потчевать, как только он проснулся. И чем это он так покорил нелюдимую Барсынбику? Знай она русский язык, наверно, их разговору не было бы конца. Мадина еле успевала переводить их слова друг дружке.

Давид интересовался и здешними обычаями, и песнями, и растительным миром. Попив чаю, вышли в сад. Давид взял с собой скрипку. Встал под цветущей черемухой, глянул, сузив глаза, на Мадину и бабушку с девочками, коснулся смычком струн. Зазвучала пронзительная мелодия. Широкая гамма чувств сливалась в ней воедино. Надежда. Любовь. Восторг. Ожидание. Тоска. Отчаянье... Мелодия оборвалась на трагически высокой ноте, как будто сердце, вмещавшее все это, вдруг разорвалось.

Мадина закрыла лицо ладонями.

— Давид, ты должен жить!

— Извини, Мадина... — Голос Давида задрожал. Он торопливо достал из кармана сверточек, развернул и про-

тянул ей золотой браслет. – Вот... Я у охранника... Отыскал его спустя много лет и попросил вернуть тебе.

– Давид! Ты же, наверно, все свое состояние потратил, чтобы выкупить его!

Разобравшись, что произошло, Барсынбика благодарно притронулась узловатыми пальцами к плечу Давида.

– Спасибо тебе, святая душа! Мадина, впервые со времен моей прабабушки Бандабики пара заветных браслетов будет украшать одно запястье – твое. К тебе переходит сила духа наших предков, тебе было предназначено вернуть счастье нашему роду. Переведи мои слова гостю: он – Божий посланник. И спой ему. Он жаждал услышать твою песню, ради этого пересек много рек...

Мадина выпрямилась. Постояла немного, задумавшись, и запела ту песню, которую пела Давиду в Москве, прощаясь с ним, – «Ашкадар». Тогда она вложила в старинную мелодию боль, порожденную арестом Абдельахата, и печаль, вызванную расставанием с другом. Теперь ее душевный опыт пополнился многими другими переживаниями. Долгим ожиданием любимого, томившегося в гулаговском аду. Радостями и горестями материнства. Одна тоска сменилась другой – по сыну, по Дауту. Может быть, и неожиданная размолвка с мужем из-за глупой его ревности сказалась на ее песне. И на то, о чем рассказала скрипка Давида, она должна была ответить. Поэтому «Ашкадар» прозвучал несколько иначе, чем много лет назад в Москве, но не менее проникновенно.

– Это не вмещается в моем сердце, Мадина! – сказал Давид. По его лицу, по бороде катились крупные слезы, то ли счастливых, то ли горьких.

* * *

Радость, вызванная приездом гостя, преобразила Барсынбику. Она словно сбросила со своего девятого десятка тридцать-сорок лет. Принудила одряхлевшее тело двигаться легко, забыв о боли в суставах. Повязала на голову белый платок, надела давно забытое цветастое платье с оборками, чем произвела сильное впечатление на правнучек-двойняшек. Кюнхылу, всегда готовая улизнуть куда-нибудь, трется около нее. А Кукхылу липнет к Давиду, совсем свыклась с его присутствием. И Хашим, по-

стоянно занятый чем-то в своей избе, зачастил в их двор, оживился, старается чем-нибудь помочь старухе: дров наколет, воду занесет в летнюю кухню. Барсынбика шутит:

— Что это ты посошком обзавелся? Сейчас на трех ногах, а в моих годах на четырех станешь ходить?

— Хи-хи, — смеется Кюнхылу, — дедушка будет, как младенец, на четвереньках ползать?

— Эх, была бы жива ваша бабушка Гульбану — я бы еще любого жеребца мог объездить!

Барсынбика накрывает сухой ладошкой его подрагивающую руку, которой он опирается на посошок:

— Живи, вознося благодарение небесам! Ты не одинок. Посмотри на Кюнакес с Кукеней, это цветы вашего с Гульбану посева. А лутче, — ввернула Барсынбика русское слово, — приведи нам запряженную лошадь. Сегодня женщины аула выйдут на Каргатуй*, свозим туда гостя, покажем наш праздник и обычаи.

На поляну у леса, где уже разгорался праздник, они приехали около полудня. Распрягли в сторонке лошадь, поставили треножник для казана, разожгли костер. Радовали глаз земля, покрытая юной зеленью, деревья, раскрывшие клейкие листочки. Рядом журчала, пела по-своему полноводная еще речка, над головой подкинутым в небо колокольцем звенел жаворонок. Все это доставляло удовольствие, возбуждало участников праздника, вливало в их сердца жизненную энергию. Хашим разулся, прошел, откинув посошок, по зеленой травке босиком. Давид, несколько стесняясь, последовал его примеру, окунул белые, будто никогда не видевшие солнца ступни в холоднющую воду ручья. Девочки сразу побежали к гурьбе девушек, подхватили их песню:

Возвращаются к нам птицы,
Отступили холода.
Поиграть, повеселиться
Мы пришли сейчас сюда
Попросить у поля хлеба,
Попросить дождей у неба

---

* Каргатуй — весенний праздник, приуроченный к возвращению перелетных птиц из теплых краев. Слово «карга» означает ворона, «кара карга» — грач. Эти близкие понятия подчас путают, и в одних аулах праздник именуют Днем Вороньей, в других — Днем Грачиной каши.

Мы пришли сейчас сюда.
Птиц, как прежде предки наши,
Угостить грачиной кашей
Мы пришли сейчас сюда!

Давид, оглядев собравшихся, удивленно спросил:

– А почему здесь нет мужчин? – И сам себе ответил: – А, понимаю, ислам. Вера не разрешает...

– Ислам тут не при чем, – возразила Мадина. – Это древний языческий праздник, доживший до наших дней, как, например, масленица у русских.

– Почему же в таком случае нет мужчин?

– Видимо, потому, что праздник зародился во времена, когда в наших родах главенствовали женщины. Мы – потомки женщин-воительниц. Судя по преданиям, которые пересказывала мне бабушка Барсынбика, они держали в страхе приморские царства, сражались с воинами Аттилы...

– Ты хочешь сказать, что вы – потомки амазонок?

– Да, можно назвать наших пра-пра... Не знаю, сколько раз надо повторить это «пра». Обрати внимание на старинные наряды пожилых женщин. Это воинская одежда. Монеты на головных уборах и нагрудниках, накладки на плечах не просто украшения, они играли ту же роль, что и кольчуги. Со спины воительницы были защищены от сабельных ударов накосниками...

– Удивительно! Я среди амазонок! – по-детски обрадовался Давид. – Здорово придумано: наряд и красив, и удобен для защиты в бою! А мужчинами они что, пренебрегали?

– Они были и физически, и духом сильны, мужественны и самостоятельны. Это теперь на женщину смотрят как на прислугу, обязанную подчиняться мужчине. А тогда считалось, что мужской пол нужен лишь для продолжения рода. Времена изменились, верх взяли мужчины, но башкирки и поныне не утратили свободолюбия, даже после принятия ислама, заметь, никогда не носили паранджу.

– У-у, Мадина, ты уж, подражая своим прапрабабушкам, не обижай моего друга Абдельахата, – пошутил Давид.

– Я его люблю, – серьезно ответила Мадина.

Между тем к бабушке Барсынбике подошли ребятишки, распевавшие песенку:

Дождик, землю полей,
Сил своих не жалей.
Я козу под нож пущу,
Всех тут мясом угощу,
Каждому достанется
И тебе останется.

Мальчишки и девчонки поотчаянней, взобравшись на деревья, изображали ворон:

Кар-р-р, кар-р-р!
Из котлов валит пар-р-р.
Налетай все, кто есть,
Вкусной каши поесть!

Барсынбика принялась угощать маленьких певцов, складно приговаривая:

— Всем — медку по глотку, после меда, ясно, надо отведать масла, а вот и корот — так и просится в рот...

После того, как наелись каши и остатки разложили на видных местах для птиц, не скоро еще разошлись. Пели, плясали, затевали веселые игры, привязывали, высказывая свои желания, к веткам старой лиственницы разноцветные ленты и тряпицы.

Барсынбика и ее спутники, устроившись в тенечке под вязом, опорожнили уже несколько чайников вскипяченного на костре чая, вернее, кипятка, в котором старуха заваривала разные травы. Мадина пододвигала к гостю приготовленные бабушкой угощения — пирожки с ягодной начинкой, несколько видов сливочного масла, объясняя ему: это — с молотой черемухой, это — с вишней, это — с плодами шиповника...

— Ешь, Давид, ешь, а то потом будешь сожалеть...

— Я уж и так лет на двадцать помолодел.

— Пусть останется жить у нас, места хватит, — предложила Барсынбика.

— Нет, спасибо, не могу. Надо дела мои привести в порядок. Много мелодий сочинил, может быть, удастся издать их книгой.

— Понимаю, — сказала Барсынбика. — Но у нас здоровье бы укрепил. Здоровье-то у тебя не очень крепкое.

— Верно, неважное у меня здоровье, поэтому и должен поторопиться.

Мадина задумчиво смотрела на огонь костра. Обязанности переводчика взял на себя Хашим, старался передавать все тонкости и родного, и русского языка, и получалось это у него не хуже, чем у Мадины. Русским он владел неплохо, не зря ведь в молодости его прозвали Урус Хашимом, а потом еще войну прошел.

Пепельно-серое лицо Давида на природе, на свежем воздухе, кажется, немножко порозовело. Барсынбика распорядилась:

– Мадина, капни в чай гостя настой из голубого чайника... Довольно. Выпей, Даут, потом полежи, закрыв глаза. Эта травка сил тебе прибавит, дыхание облегчит. Я ее давно искала, оказывается, здесь растет.

Барсынбика и сама прилегла, уместив иссохшее тело на небольшой стеганой подстилке и подушке с думкой. Давид, глянув на нее, сказал:

– Удивляюсь я: ты, бабушка, никаких учебных заведений не окончила, а как мудро мыслишь, понимаешь жизнь!

– Для понимания жизни не надо оканчивать какие-то заведения, сынок. Чтобы открылась ее сущность, надо разобраться в своей сущности. Поняв себя, понимаешь и всех людей, весь род человеческий.

– И ты все поняла?

– Я? Где там! – Барсынбика села. – Но у меня есть внучка. Вот она поймет больше, чем я. К ней вернулись оба браслета, амулеты нашего рода. Это добрый знак.

День клонился к вечеру. Народ мало-помалу начал расходиться. Заржала нащипавшаяся травы лошадь, должно быть, захотела пить. Прибежали наигравшиеся двойняшки, набросились на чай.

– Я, наверно, утомил бабушку. Но переведи уж еще несколько вопросов. – Давид просительно посмотрел на Хашима. – Я побывал во многих селениях, но только в одном увидел действующий Божий храм. А народ, по-моему, все-таки духовно здоров. Как это понять?

Хашим перевел.

Повеяло холодком, Барсынбика накинула на плечи кашемировую шаль, протянула руки к костру.

– Да, у нас в ауле нет мечети. Но как я понимаю, Божий храм – это сам человек.

– Вы, башкиры, живете кучно, храните свои обычаи, свои предания, песни. Политика, направленная на слия-

ние наций в одну, как будто не коснулась вас. Во всяком случае, несмотря на сравнительную малочисленность, вам удалось сберечь свою национальную самобытность. Вам можно позавидовать.

— Я думаю так: наша вера и совесть — в наших преданиях, в наших песнях. Сейчас во многих школах не обучают родному языку, и дети его забывают. Не от нас это зависит. В Тиряклах дух народа поддерживает хор, созданный Мадиной. А такие, как она, певицы и певцы, продляют жизнь нации по меньшей мере на сто лет. Огонь зажигается от огня...

Семейство Барсынбики отправилось домой, когда весь остальной народ, собравшийся на праздник, уже разошелся. Запрягавшего лошадь Хашима удивило овладевшее ею вдруг беспокойство: она застригла ушами, нервно затопталась в оглоблях. Едва выехали на дорогу, рванулась, не ожидая понуканий, в сторону аула...

* * *

Хотя Хашим не знал, чем объясняется поведение лошади, была у нее причина для беспокойства. За речкой, под скалой, в небольшой пещере, прикрытой зарослями чилиги, обитали потомки Кукбуре. Самой Кукбуре и рожденного ею Белолобого давно уж нет, но их отпрыски народили новое поколение волков, те размножились в свою очередь. Очень похожая на Кукбуре волчица, назовем ее молодой Кукбуре, устроила логово под скалой и родила в нем пятерых волчат. Когда неподалеку появились и расшумелись люди, выводок затаился в логове. Волчица лежала поперек выхода из пещеры, перекрыв путь из нее. Однако один из волчат, завозившихся возле ее сосков, самый крепкий и любопытный, воспользовался тем, что мать задремала, залез на ее брюхо, перекатился за спину, вылез наружу и, не оглядываясь, побежал к речке. Неодолимое желание посмотреть, что за существа собрались на поляне, взяло верх над страхом, побудило волчонка перебраться на противоположный берег.

Быстрое течение подхватило его. Волчонок инстинктивно забарахтался в воде, заработал лапами и в конце концов выбрался на сушу ниже того места, где собрались

незнакомые ему существа. Мокрый, продрогший, испуганный, он закрыл глаза и заскулил.

– Гляди, щеночек! Из речки вылез!

Тонкие, пахнущие цветами пальцы обхватили дрожащего волчонка, подняли, накрыли чем-то. Он почувствовал тепло и биенье трепыхавшегося, как принесенный матерью зайчонок, сердца. Но тут послышалось угрожающее рычанье. Пальцы разжались. Волчонок, падая на землю, – благо, было невысоко, – успел увидеть, что существ, прикасавшихся к нему, было двое. Существа эти, источавшие запах цветов и еще какие-то вкусные запахи, мгновенно кинулись прочь. Затем рядом появилась его мать. Она ухватила волчонка зубами, в несколько прыжков перемахнула по валунам через речку и вернула его в логово, где все запахи были знакомы.

* * *

Камалетдинов смотрел на лежавшую перед ним бумагу, не веря своим глазам: району спустили дополнительное задание по сдаче мяса. Срок – пятнадцать суток. Только что завершилась зимовка скота. Лишь в немногих хозяйствах прошла она более-менее благополучно, а в тех, где кормов было в обрез, скот сильно отощал. Поэтому райком торопил руководителей колхозов, чтобы скорей перевели его на пастбищное содержание. Сдавать истощенный скот на мясо – лишь губить его. Осенью – пожалуйста. Бычки нагуляют вес, дойное стадо пополнится стельными телками, можно сдать, выбраковав, старых коров. А сейчас придется сдать и телок, и коров, которых браковать еще рано. Что делать? Плановое задание – закон, попробуй не выполнить!

Посидев в опустевшем здании райкома в тяжком раздумье, Аюп Газизович раскрыл папку, в которую вчера вложил письма Малики из пролежавшей за диваном восемь лет бандероли. Писала письма, не отсылала, а потом собрала и отправила все вместе. Аюп Газизович взял их с собой, чтобы перечитать, когда выпадут свободные минуты. Сейчас вот самое время. Может быть, найдет в них слова, способные облегчить его душу?

Из рамы на стене на Аюпа Газизовича смотрел бровастый генсек. Под портретом – лозунг: «Партия – ум,

честь и совесть нашей эпохи!» Ранее на этом месте висел портрет лысого вождя, и слова на лозунге были другие: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» А еще раньше – портрет «отца всех народов», лозунг под ним гласил: «Если враг не сдается, его уничтожают!» Как всегда, на левой от стола стене висит портрет Ленина. Он неизменен. Каждый из этих портретов и лозунгов Аюп Газизович воспринимал как должное, и только подспудно точила его мысль: такая большая у нас страна, а не может прокормить себя сама, завозит сельскохозяйственную продукцию из-за границы в обмен на нефть, золото, лес... Тяжелым бременем на сельском хозяйстве лежат цены на технику, большинство колхозов убыточно. Выращенное на своей земле зерно выгребается из колхозных амбаров подчистую, а все равно его не хватает. А теперь вот и фермы будут разорены...

Горестно вздохнув, Камалетдинов начал перечитывать письма на слегка пожелтевших уже листках.

Первое письмо.

«Аюп, дорогой мой! Знаю, что давно ждешь письма, потому что и я на твоем месте ждала бы. Знаю, тебя интересует здоровье дочки. Нет, не интересует, а тревожит, не дает, наверно, покоя.

Когда уезжала, думала, что буду писать тебе каждый день. Но еще до того, как доехала до Кызылкаша, на берегу здешней реки Туш началась череда неожиданных событий. Как будто то, что я должна была пережить, поджидало меня на этом берегу...

Аюп, я не писала тебе не потому, что не хотела, а потому, что трудно было решиться. Сейчас пишу. Пишу, но не знаю, буду отсылать письма или нет. Главное, что меня страшит, - ты не знаешь меня, мое прошлое. Смогу ли открыться в письмах так, чтобы ты понял меня? А может, и нет надобности в этом. Но, с другой стороны, со мной твоя дочь, твоя кровинка, единственное дорогое тебе существо.

Вот она, нагулявшись в лесу, набегавшись, спит. Когда спит, еще больше похожа на тебя, у нее один глаз тоже не до конца закрывается. На этом прервусь.

Целую, люблю. Малика».

Второе письмо.

«Аюп, дорогой! Тебя, наверно, прежде всего беспокоит то, что Флорида не разговаривает. Иначе не отпустил бы нас к черту на кулички, поверив старухе-знахарке. Да, девочка наша заговорила. Помогло ей, кроме подсказанного знахаркой ритуала, и многое другое. Но сразу скажу: старуха на самом деле обладает даром ясновиденья. У дома, где я родилась, и вправду стоит странное дерево. На него не садятся птицы, под ним не растет ни одна травинка. Смерть моей матери, несчастья, преследовавшие семью, здешние старики связывают с этим деревом. Страшные дела, оказывается, творились под ним. Во время Гражданской войны превратили его в виселицу. Проклятья умиравших в петле дерево впитало в себя, стало черным, как адская головня. Я носила с Флоридой воду из речки, поливала его корни, просила простить нас, людей. Но Флорида заговорила поздней, когда мы поселились в лесу у Павла с Игорем.

Об этом напишу позднее, пока прощай.

Целую, люблю. Малика».

Третье письмо.

«Аюп, дорогой мой! Написать о дереве я написала, но понял ли ты меня? Люди твоего круга смотрят на такие вещи как на суеверия, мистику, потому что забыли язык природы или вообще не знали его. Я, Аюп, не образована как ты, не умею мыслить, как ты, стыдилась своего невежества. Но я видела, как здорово ты рисуешь, и думала: эх, если б Аюп приехал сюда, в Сибирь, то раскрылся бы в объятиях природы в нем талант художника. Теперь сомневаюсь в этом. Смотрю на репродукции картин Шишкина, Айвазовского, Крамского и изумляюсь их способности чувствовать природу. Они словно разговаривают с ней на ее языке. Не каждый человек такой способностью наделен. А вот твоя дочка, кажется, наделена, понимает язык и старого кедра, и молоденькой сосны. Спрошу у нее, почему нарисовала дерево так, а не иначе, — она объяснит, как живет, чего хочет это дерево. Да, Аюп, и деревья, как люди, оказывается, очень разные. У каждого творения свое предназначение. К слову сказать, если бы меня после рождения не отдали тетке, вряд ли я сейчас жила бы. Всевышний, видно, счел нужным сохранить мою жизнь, чтобы распустились бутоны заложенных в меня новых жизней. Впрочем, ты ведь не

знаешь, что до Флориды я родила еще одного ребенка. Но на сегодня хватит.

Целую. Малика».

Четвертое письмо.

«Дорогой мой Аюп! Не поступила ли я опрометчиво, написав в предыдущем письме, что у меня до Флориды был еще один ребенок? Не вызову ли сумятицу в твоей рассчитанной по минутам жизни, в твоих дисциплинированных, как солдаты в строю, мыслях? Хотя я ведь уже писала, что не знаю, отошлю ли эти письма тебе. Одно я знаю: ты не только правильный, но и порядочный человек. Поэтому хочу, чтобы между нами не осталось места недопониманию.

Я не допытывалась, почему ты женился на мне, увез с собой из Москвы. Это твое дело, твое решение. Почему согласилась я — уже другой вопрос. Я думала, выйдя замуж за тебя, изменю свою жизнь. Так оно и вышло. Но так просто избавиться от прошлого, оказывается, невозможно. Привезя из Москвы и заперев Малику в своей квартире, ты нашел для нее место в своем сердце, а для ее прошлого не нашел. Ни разу не спросил, не поинтересовался им. Любил ли ты меня? Не колеблясь, могу сказать: любил! Это для тебя неожиданность? Тебе смешно? Пока! Твоя Малика».

Пятое письмо.

«Дорогой Аюп! Заранее прошу прощения, если это письмо окажется длинным. Я многое должна прояснить — не только для тебя, но и для себя. Помнишь, я сказала тебе, что выставила из нашей квартиры возвращавшуюся из Москвы беременную Мадину? Думаю я об этом, думаю и прихожу к мысли, что это был, наверно, самый большой в моей жизни грех. Правда, первый тяжкий грех я совершила, когда мне было шестнадцать лет: вступила в интимные отношения с мужем моей тетки, вырастившей меня. Сначала я винила в этом только цеплявшегося за каждую юбку езнэ. Но я и сама была уже физически зрелой девушкой. Ума еще нет, а тело созрело. Может быть, это и подтолкнуло его: он изнасиловал меня, когда я лежала, приболев, а потом уж я не противилась. Ну, это еще можно понять. Тетка выгнала меня из дома, бросила девушку на последнем месяце беременности на произвол судьбы — вот это уже в голове у меня не укладывается. Павел говорит, что слово «грех» по-гречески имеет значение «промахнуться». Кто в молодости

не промахивался! Не зная, куда податься, расстроенная до затмения разума, я случайно угодила в колонну заключенных, попала в их список, родила на этапе. Пуповину у ребенка перерезал Павел, он и понес младенца. Когда проходили через какую-то деревню, мне кинули краюшку хлеба, она отлетела на обочину дороги, Павел рванулся за ней и упал на снег, сраженный пулей охранника. Колонну не остановили, погнали дальше, он остался лежать там с моим ребенком. Потом жизнь закружила меня, как щепку. Лагерь со всеми его ужасами... Выйдя на свободу, поехала в Москву, надеялась устроиться там, а она сунула меня в другой лагерь — лагерь проституток...

Может быть, я давно уж рассказала бы тебе обо всем этом, если бы тебя интересовало мое прошлое. Сейчас я думаю, что ты кое о чем догадывался и боялся разоблачения своей жены, второй твоей половины. Да-да, боялся. И я этого боялась. Твой страх был сильней, ты мог оказаться меж двух огней: с одной стороны система, которая подчинила каждую твою клеточку, инкубатор рабов — сталинизм, с другой — я с моим неправедным прошлым. Флорида зародилась в тисках этого страха и ненависти. Ненависти отца, жаждавшего отомстить убийцам своих родителей, и ненависти матери, которая проклинала свою тетку и езнэ, кинувших ее в ад живьем. А коли так, могла ли она видеть спокойные сны и научиться разговаривать, как нормальные, зачатые в любви дети? Ты, Аюп, не был счастлив со мной в постели, если и был, то редко, потому что представлялся мне одним из насильников, скотов, пользующихся женским телом для того, чтобы удовлетворить свою похоть. Мое отвращение к тому, что называют занятием любовью, передалось и тебе, и ты лишил меня близости в постели.

Отношение окружающих к тебе, говорит Павел, — это отражение состояния твоей души. И наоборот — состояние твоей души определяется отношением к тебе окружающих тебя людей. В твоем, Аюп, охлаждении ко мне виновата я, тут двух мнений быть не может. Душу Флориды исцелили Павел и мой сын Игорь. Исцелили любовь, природа, ощущение свободы. Сейчас Флорида сладко спит, прижавшись к Павлу. Рядом с ней кошка, во дворе ее друзья — собака и олененок. Игорь с нетерпением ждет, когда сестренка проснется: они собираются отправиться в путешествие по тайге.

Ты, наверно, понял, Аюп: я нашла здесь сына, которого считала погибшим, и его спасителя. Та пуля ранила их обоих, у обоих осталось по одной руке, но они выжили. Павел сохранил мой платок с вишенками по синему полю — я завернула в него младенца. И Игорь его очень берег. Они жили, как отец с сыном, с парой рук на двоих. Теперь добавились мои и Флоридины руки. Павел сделал мне предложение выйти за него замуж. Дал время на раздумье. Сегодня ждет ответа! А я колеблюсь. Смогу ли я добавить света в его жизни? Для того, чтобы решиться на такой шаг, одной лишь жалости к человеку и даже искренней благодарности мало. Я должна любить. Но полюблю ли его? Павел мне близок, это чувство зародилось еще тогда, когда я шла в колонне заключенных, поддерживаемая его рукой. И я его нисколько не боюсь. Тебя боялась, а Павла — нет. Игорь его называет папой, считает родным отцом, вслед за ним папой стала называть его и Флорида. «Папа» — первое произнесенное ею слово. Зачем я пишу тебе об этом? Чтобы получить разрешение или благословение? Но когда я уезжала, ты сказал: «Ты свободна, Малика». Не на одном лишь свидетельстве о браке держится семья. Тебе, наверно, оформить развод не позволит твоя работа, ставшая твоим естеством. Для меня бумага с печатью — не самое главное. Пожалуй, я приму предложение Павла. И не потому, что хочу стать замужней. Просто иногда хочется положить голову на чьи-нибудь колени и полежать, беспечно глядя в небо. Прощай! Малика».

Шестое письмо.

«Дорогой Аюп! Прошло много времени с тех пор, как я написала последнее письмо. Ни одно из них я не отослала. Не знаю, как ты ко мне относишься. Говорят, от любви до ненависти один шаг. Однако я не думаю, что ты настолько жестокосерден, чтобы люто возненавидеть меня. Судьба все же стала благосклонней ко мне. Что такое судьба? Не цепь ли случайностей? Я повстречалась с тобой случайно. К счастью это произошло или напротив — покажет будущее. Флорида пока что подрастает здоровой красивой девочкой. Надеюсь, не заблудится в жизни, как я. Она хорошо ориентируется, по крайней мере, в тайге. В какую бы сторону ни пошла, безошибочно приходит домой.

В конце марта у меня родился еще один сын. Он почему-то похож на тебя. Сказала об этом Павлу, а он: «Значит,

ты очень хотела родить Аюпу сына, похожего на него». Может быть, так оно и есть? Видел бы ты, как Павел радуется, прижимая ребенка к себе! В семье у нас все обстоит благополучно. Игорь женился, скоро стану бабушкой. Аюп, я записала Флориду на фамилию Павла, чтобы вся семья носила одну фамилию. Так будет лучше. В материальном отношении мы живем неплохо. Ни в чьей помощи не нуждаемся, ни у кого ничего не просим.

Может быть, и ты уже создал новую семью. Я желаю тебе счастья. Наверно, больше писать тебе не буду. Павел никому зла не желает, но таких, как ты, ярых коммунистов считает слепцами, которых ведут слепые поводыри. Возможно, тебе лучше оставаться слепым, а то, прозрев, увидишь, что не только король, но и сам ты — голый.

С приветом издалека прежде близкая тебе Малика».

Дочитав последнее письмо, Камалетдинов стиснул руками голову. Вот и финал. Может быть, для того, чтобы отдалить его, присланная Маликой бандероль восемь лет пролежала под диваном. Теперь стало ясно, почему на все запросы о местонахождении жены и дочери Аюп Газизович получал один и тот же ответ: не удалось установить. Они, оказывается, сменили фамилию. Веру, предстоящий путь и жену человек выбирает сам, говорила когда-то одна из воспитательниц их детдома. Сейчас Аюп понял: веры у него нет, предстоящий путь неясен, жена ушла к другому. Семья требует самопожертвования ради жены, ради детей, а он ставил интересы партии выше личных. Утешался тем, что и у вождей семейная жизнь не заладилась: у Ленина не было детей, жена Сталина застрелилась, жены Калинина и Молотова, занимавших высшие государственные посты, были репрессированы как враги народа. Поскольку вырос в детдоме, Аюп придерживался внушенного ему мнения, что его отчий дом — вся Родина. А теперь оказалось, что у него нет никого, перед кем он мог бы раскрыть душу и облегчить ее в такие вот минуты отчаянья. Абдельахат. Вот кого не хватает ему. Но и с ним отношения испортились. Камалетдинов карандашом в серебряной оболочке, оставленным у него Лидией Николаевной Башкирцевой, несколько раз машинально начиркал на лежащем перед ним листке имя Абдельахат. Перед его глазами представали то он, то Лидия Николаевна, мелькнуло лицо Мадины, смотревшей то ли испытующе, то ли удивленно. На столе лежал еще

один листок бумаги — с доносом на Абдельахата и Мадину: «Ирназаров вместо того, чтобы заниматься полеводством, не вылезает с крохотного опытного участка. Вдобавок в горячую пору сева устроил у себя с подозрительным приезжим пьянку, ночь напролет орали песни и матерились так, что было слышно на улице. Его жена тоже ненадежна, под предлогом занятий с хором морочит людям голову пережитками прошлого. А ее бабушка дает правнучкам запрещенные законом религиозные уроки, учит писать отмененными палочками и закорючками». Под отмененными палочками и закорючками, видимо, подразумевался арабский алфавит, которым и после перехода на кириллицу пользовались по привычке пожилые грамотные люди.

Камалетдинов порвал тетрадный листок в клеточку с грязным доносом, кинул в мусорную корзину. Если бы он мог вот так же порвать и выкинуть листок с заданием на сдачу мяса! Это не задание, а топор, занесенный над большой отраслью сельского хозяйства, которому Камалетдинов отдавал все силы, жертвуя личной жизнью. Он и так уж не раз по приказу сверху рубил сук, на котором сидит. Абдельахат прав в своих умозаключениях. Счастливец! Если он и умрет, останутся семена выведенных им сортов, останутся дети. А что останется от Камалетдинова? Он — сухое дерево без корневых отпрысков. Около него нет зелени так же, как под тем деревом, о котором написала Малика.

Достав из нагрудного кармана, Камалетдинов положил перед собой старую фотокарточку, на которой он, совсем еще маленький, был запечатлен с отцом и матерью. Отец... Газизу Камалетдинову тоже выпал нелегкий путь. Воевал на фронтах Первой Империалистической, затем с верой во всеобщее счастье, обещанное вождем мирового пролетариата, в рядах Красной Армии, штурмовал восставший против советской власти Кронштадт, громил басмачей в Средней Азии. Сколько жизней было оборвано, сколько крови пролито им — и чужой, и своей! А что изменилось? С пустыми руками пришел в этот мир, с пустыми ушел...

Аюп Газизович вновь придвинул к себе листок с дополнительным заданием по мясу. Последствия его выполнения не трудно представить. Сдашь коров с ферм — возьмут за горло: почему снизил производство молока?

План – закон, выполняй! Дело упрется в селян, имеющих по единственной корове на семью в личных хозяйствах. Он, Камалетдинов, будет вынужден, как разбойник с большой дороги, взять в свою очередь за горло крестьянина. Есть ли выход из этого проклятого заколдованного круга? Есть. Всего один – смерть. Смерть равнозначна обретению свободы. Многие его ровесники, фронтовики, сражавшиеся рядом с ним, давно ее обрели. Аюп и так уж намного пережил их...

Он открыл сейф, достал пистолет, положил на стол. Порвал письма Малики и поджег их на сейфе. Когда они сгорели, вынул из сейфа свои награды. Эти вот – воинские: ордена Красной Звезды, Отечественной войны Первой степени, медали «За отвагу», «За взятие Берлина». А эти получил в мирное время: ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, медаль «За освоение целины»... Первые Камалетдинов повесил на грудь, награды за труд положил на сейф, на пепел от сожженых писем.

...На груженой углем железнодорожной платформе, подставив ветру, как флаг, свою рубашку, стоял голый, черный от пыли мальчик. Он не знал, куда мчится поезд, но и сойти с платформы не мог. Поезд втянулся в темную пасть тоннеля...

Глухо прозвучавший в кабинете первого секретаря районного комитета партии выстрел не услышала даже женщина, мывшая пол на первом этаже.

* * *

Замечено, что в старости человеку не спится. После проводов гостя притомленная хлопотами Барсынбика стала залеживаться в постели, хотя просыпалась по-прежнему чуть свет. Лежала, припоминая, что ей приснилось. Сегодня ей приснился странный сон. Будто бы на небе, как ласточки в пору, когда ставят птенцов на крыло, летают ангелы. И Барсынбика среди них в своей обычной одежде. Ей хочется спросить: «Что вы делаете, чем так заняты?» Но ангелы, быстро взмахивая крыльями, пролетают мимо. Она поняла, что думает слишком медленно, ее мысли не поспевают за ангелами. Оказывается, она тоже должна махать крыльями и разговаривать налету. Так она и сделала. Пристроившись к одному из прозрачных созданий, задала свой вопрос.

– Расселяем души, – был ответ.

– Чьи души? Куда расселяете?

– Человеческие. Душа вечна. Простившуюся с прежним телом вселяем в того, кому предстоит родиться. Но не все души имеют право на человеческий облик.

– Как, есть и такие?

– Есть. Видишь вон ту уродливую?

– Бэй, это же... мой сын, Ихсанбай!

– Вот ему вновь обрести облик человека не позволяют совершенные им в прежней жизни поступки и дела.

– Кем же он заново родится, если не человеком?

– Дал согласие родиться в волчьем обличии.

– Ихсанбай! – Прекратив полет, Барсынбика протянула руки к сыну. – Ихсанбай! – Но он, обретя очертания волчицы, оскалил зубы. Барсынбика попятилась в страхе...

Долго еще после пробуждения ее сердце дрожало, колотилось неровно. Чтобы успокоиться, ей надо было сотворить утренний намаз.

Молча помолилась, тихонечко, дабы не побеспокоить спящих в доме, вышла во двор. Двойняшки безмятежно спали в летней кухне. Летом домой их не загонишь. Должно быть, тяга к свободе, приволью передалась от предков и им.

Налив воды в самовар и кинув в ее трубу подожженные лучины, Барсынбика удовлетворенно оглядела скот в загородке у сарая. Слава Аллаху, они, записав на трех хозяев, включая Хашима, держат трех коров, а при них – и приплод. Будь это в прежние годы, Барсынбика не стала бы будить Мадину, сама бы подоила, но теперь ослабли ее руки. Пока жила при них Газима, она помогала, да, потеряв надежду на Хашима, нашла себе старика, ушла к нему. Теперь и работа на ферме, и домашние заботы лежат на плечах Мадины. Абдельахат даже при желании помочь не может, и домой-то редко заглядывает, день-деньской на полях или на своем опытном участке.

Когда Барсынбика, разбудив Мадину, вернулась к самовару, и девочки уже проснулись, расчирикались как воробушки. Прислушалась к их голосам.

– Я же у тебя брошку не насовсем прошу. – Это Кюнхылу. – Только на карточку сняться. Мама ведь сказала,

что приехал фотограф, снимемся утром.

– А если она спросит, где моя брошка?

– Скажешь, что дома забыла.

– Раз ты такая умная, сама соври.

– Мне она не поверит, сразу догадается, что потеряла, а тебе поверит.

– Хочешь сняться с брошкой, так не надо было терять!

– Ну, раз вредничаешь, скажу маме, что тебя чуть не съела волчица.

– Там и ты была! Мы вместе были!

– Я ее детеныша не трогала, а ты на руки взяла.

– Это была не волчица, а собака.

– Ну да, будет тебе собака в лесу щениться!

– Ладно уж, не говори маме.

– А брошку дашь?

– Дам... – нехотя согласилась Кукхылу.

Барсынбика насторожилась. Это о какой такой волчице говорили девочки? Мало того, что страшный сон встревожил ее, так еще... Придется выпытать у них, о чем шла речь. Впрочем, Кюнхылу, раз завладела брошкой, будет молчать, из нее, как говорится, хоть режь – кровь не выступит. Легче найти подход к Кукхылу... От этих мыслей у Барсынбики закружилась голова, стеснилось дыхание. Присела на бревно у летней кухни. Обратила взгляд на сад за оградой. Там под дикой яблоней лежат косточки двух ее рожденных в грехе безгрешных внуков. Надо сказать Абдельахату, пусть строго поговорит с девочками, чтобы далеко от дома не уходили. А то, не дай Аллах, и с ними беда может случиться. Раньше Хашим, дед, не спускал с них глаз, а теперь невесть что с ним случилось: собирает у речки какие-то камешки и запирается с ними в своей избе. Вообще-то дитя человеческое, придя в этот мир, должно ждать не радостей, а горестей, ибо горести приближают к Богу. Но Барсынбика ни Мадине, ни правнучкам не желает горестной жизни. Она за всех настрадалась, хватит. Теперь всякого рода неприятности воспринимает спокойно, как бы глядя на себя со стороны. Осталось научить этому Мадину. А может, и не надо учить ее, сама всего вдоволь нахлебалась...

* * *

Абдельахат ходил в последнее время как в воду опущенный, а все же Мадина упросила его надеть праздничный костюм, вплела в косички дочек яркие ленты, уговорила бабушку с отцом тоже принарядиться и повела всех к дому, где остановился приезжий фотограф. Фотографы в аул приезжали не часто, поэтому не удавалось собраться и сняться всей семьей, а сегодня вот выпал случай. Вложит Мадина в письма Дауту и Абубакиру фотокарточки, обрадует их. Абубакир близок ей, как родной сын, он называл ее, как и Даут, мамой. Бывало, заберется на ворота, высмотрит, что она возвращается с фермы, и первым кинется навстречу. Правда, узнав при получении паспорта, что он неродной сын, стал добавлять к слову мама ее имя. И письма начинает так: *«Здравствуйте, мама Мадина, папа Абдельахат и все родные мои!»*

Сейчас Мадина больше тревожится о Дауте – месяц с лишним нет от него письма. В отличие от Абубакира Даут рос замкнутым в себе, был немногословен. В школе ему легко давались математика, физика, химия. Увлекся авиамоделизмом. Однажды его модель с бензиновым моторчиком взорвалась, упав на колхозный бак с горючим, возник пожар. После этого происшествия Даута поставили на учет в милиции, грозили отправить в воспитательную колонию – Камалетдинов за него заступился. Но на родительских собраниях, на учительских конференциях долго еще промывали косточки Абдельахата и Мадины, обвиняя их в неправильном воспитании сына. Из-за всего этого Даут и поник, замкнулся в себе, и не вспыхивали уже в его глазах озорные искорки... А теперь вот почему-то не пишет.

Мадина поглядывала на Абдельахата, шагавшего, беседуя с дочками. Стареет ее суженый. Все еще пышные, волнистые волосы побелели. На лице сгущается сеть мелких морщин. Несколько отстав, идет с бабушкой отец, Хашим, постукивает посошком. Пальцы, сжимающие посошок, кажется, утончились, усохли. Лицо особо не поддалось времени, а все же чувствуется в нем какая-то перемена, как будто осветилось оно внутренним светом, присущим творческим людям. Это в отце нечто новое. Бабушка Барсынбика тоже вооружилась посошком.

Прежде прямое, уверенное в своей силе тело согнулось в пояснице, сила сосредоточилась в полных мудрого спокойствия глазах.

Оглянувшись на отца с бабушкой, Мадина вновь глянула на дочек. Школьная форма – коричневые платьица с белыми фартучками – была им к лицу. Кюнхылу прицепила к фартучку брошку с темно-вишневым глазком. А Кукхылу почему-то нет, хотя обе девочки очень обрадовались, когда получили, как всегда, одинаковый подарок. Сказать, что забыла дома, так Кукхылу очень аккуратная во всем девочка. Кюнхылу, уловив внимательный взгляд матери на ее грудь, покраснела. «Ну, ясно, – подумала Мадина, – эта свою потеряла и позаимствовала брошку уступчивой сестрички, либо как-то улестив, либо чем-то припугнув».

Сфотографировались они наконец-то всем семейством, затем фотограф попарно заснял двойняшек и Мадину с Абдельахатом. Когда направились домой, обогнав их, остановился «газик» председателя колхоза. Саяф выскочил из машины, поманил к себе Абдельахата с Мадиной.

– Это... Позвонили из райкома. Аюп Газизович... того... Вы, наверно, поедете...

– Постой, говори ясней! – Абдельахат побелел. – Что с ним? Он жив?

– Был бы жив, так зачем я собрался бы повезти вас? И Мирхайдарова прихватим. Велели особо эту весть в народе не распространять. Нехорошую он выбрал смерть...

– Не тебе его судить! Поехали! – Абдельахат первой пропустил в машину Мадину, затем забрался сам.

Барсынбика, Хашим и девочки растерянно застыли посреди улицы.

* * *

Вернувшись с похорон Камалетдинова, Абдельахат уединился в своей конторе.

– Говорила я ему, что политика не его дело, лучше бы художником стал... – сказала, вздохнув, подавленной Мадине Барсынбика. Мадина в ответ ничего не сказала.

Помывшись в истопленной отцом бане, она растянулась на своей кровати за занавеской. Утомленное поездкой, затем жаркой баней тело и потрясенная душа просили

покоя. «Лежать бы так и лежать... и больше не вставать», — мелькнуло в голове Мадины. «А девочки? — воспротивилась другая мысль. — Кто их поставит на ноги? Девяностолетняя старуха?» Эта мысль шла от ума. Ум все время ищет доводы, стараясь примирить человека с окружающей действительностью, находит зацепки, чтобы не сорвался он с чертова колеса, именуемого жизнью. Тем не менее Камалетдинов сорвался. А ведь казался сильным, как сказочный великан, весь район в рот ему смотрел. Но вот умер и уместился в небольшой яме...

На кладбище людей было немного: самоубийство почтения не вызывает. Человек ушел из жизни не так, как положено, а как сам решил. Впрочем, Мадина подробностей не знала. Кто же ей расскажет? Возле могилы взяла ее за локоть одетая в черное Галима. И хотя Мадина не повернула к ней голову, прошептала: «Ах, подружка, тяжело тебе, понимаю. Какого защитника лишилась!» На «соболезнование», выраженное с откровенным злорадством, Мадина не ответила, лишь прикусила губу. Не стоило тратить слова на эту выскочку, тем более — у свежей могилы. Но если Галима не перестанет бесстыдничать, придется показать ей зубы.

По тому, как держал себя, по речи, произнесенной у могилы, стало ясно, кто станет первым лицом в районе. Кыдрасов. Он старался выглядеть солидным, умным человеком. Скупо отметил заслуги Камалетдинова в развитии сельского хозяйства района. О человеческих качествах покойного ничего не сказал, хотя мог бы упомянуть, например, о том, что в течение последних восьми лет Аюп Газизович отсылал половину своей зарплаты в детдом, в котором вырос. Не упомянул. Мадина знала об этом понаслышке, а Кыдрасов-то не мог не знать о ежемесячных перечислениях из бухгалтерии райкома.

Когда Мадина собралась сесть в машину, в которой приехала из Тиряклов, взяла ее под руку пожилая женщина, работающая уборщицей в райкоме, отвела в сторонку.

— Сестрица, — сказала она, утерев покрасневшие от слез глаза уголком платка, — я тебя знаю. Я ведь и за его квартирой присматривала. Хороший он был человек, больше таких, наверно, уж не увижу. Он долго рисовал вот этот портрет, поэтому я тебя узнала. Держал его в раме, а потом почему-то свернул. Возьми его, раз тебя нарисо-

вал, тебе он сужден. И еще... – женщина достала из кармана старую фотокарточку и карандашик в серебряной оболочке. – Это я в его кабинете взяла...

На фотокарточке были запечатлены маленький мальчик с отцом и матерью. В мальчике проглядывали черты Аюпа, а отец был похож на него, уже взрослого. Мать симпатичная, Мадина вроде где-то ее видела. Но как могла увидеть? Они ведь давно умерли.

...Мадина встала, зажгла свет, развернула на столе холст, разгладила, повесила на вбитый в стену гвоздик. Она не знала, что Камалетдинов обладал даром рисования, удивилась, услышав сегодня упоминание об этом от бабушки. На картине – это была именно картина, а не портрет в прямом смысле слова – Аюп изобразил ее сидящей у рояля. Одна рука лежит на клавишах, другая опущена вдоль туловища, на запястьях – по браслету с капельками бирюзовых глазков. Удивительно! Ведь второй браслет Давид привез ей совсем недавно! Но еще удивительней были глаза: угольно-черные, они таили в себе гипнотическую силу. Будто не Мадина смотрела с холста, а... бабушка Барсынбика. Мадина даже вздрогнула. Да, глаза бабушкины, а остальное, вплоть до мельчайших подробностей, включая маленькие родинки на лице и шее, списано с нее, Мадины, словно она долго позировала перед Аюпом совсем еще молодой в мамином старинном наряде. А фон картины составляли то затемненные, то кричаще-багровые мазки, смахивающие на зверские рожи, – художник, казалось, спрашивал: как такая ангелоподобная девушка может жить в этом зловещем мире? Яркий свет падал на клавиши рояля и ее тонкие, изящные пальцы, художник сам себе отвечал: она найдет нужные ноты, изольет переполняющую ее жизнеутверждающую мелодию. Плотно облегавший ее стройный стан бархатный камзол снизу не был дописан. Картина осталась незавершенной...

Услышав в передней комнате шаги, Мадина потянулась к холсту, хотела снять его с гвоздя, но отразившаяся в зеркале Барсынбика сказала:

– Пусть висит, детка. А ты полежи, отдохни. Когда ты была в бане, я развернула, посмотрела, что это.

Мадина легла, заложив руки за голову, Барсынбика присела на край ее кровати.

– И... что ты, олэсэй, думаешь?

– Что я думаю? В Аюпе начал брать верх художник. Хоть и с запозданием, раскрыл свой талант.

– Почему с запозданием?

– Талант раскрывается, когда душа потрясена сильным чувством – либо любовью, либо горем.

– А одиночество может потрясти?

– Думаю, может. Не зря говорят, что оно посильно лишь одному Всевышнему.

– Я не просила Аюпа написать мой портрет, не сидела перед ним.

– На картине – ты, и не ты.

– А кто же? – Мадина, заинтересовавшись, приподнялась на локте.

– Он начал рисовать меня. Пытался представить, какой я была в молодости. Но неожиданно для него самого проступили твои черты.

– Хм! А почему он не завершил картину?

– Помешало возникшее к тебе чувство. Камзол, видишь, старинный, такой и у меня был. Он собирался посадить девушку на коня, а посадил к роялю.

– Откуда ты знаешь, что он меня... – Мадина покраснела. – Что возникло чувство ко мне?

– По картине сужу. Глаза-то на ней мои, а когда лицо получилось твое, он испугался, что Абдельахат его не поймет. Художник должен быть свободным от страха, как сам Аллах. Работу Аюпа прервал страх...

– Поэтому, значит, он вынул холст из рамы?

– Не просто вынул – вырвал. Края, гляди, излохматились. Вырвать вырвал, а уничтожить рука не поднялась.

– А если Абдельахат в самом деле не поймет? Посмотрит и...

– Может, сразу и не поймет. Только дураки считают, что все вокруг должны их понимать. А ты ведь умная. Кабы люди с полуслова понимали друг друга, давно уж на земле был бы рай. Успокойся. Спи. – Барсынбика легонькой рукой погладила Мадину, как ребенка, по щеке, и она, успокоившись, вскоре уснула.

Глава вторая

Поднявшаяся чуть свет Мадина прискакала из летнего лагеря к Тиряклам, когда выгоняли скот в аульное стадо.

Заехать домой, попить чаю решила попозже, еще за околицей повернула коня в сторону фермы.

Сейчас конец июля, а на березах уже замелькали тамсям желтые листочки. Давным-давно, увидев их, мать говорила: «Оказывается, уже прибыли вестники Деда Мороза». – «А почему они только к березам прибывают? – удивилась однажды Мадина. – К людям их он не посылает?» – «К людям вестников присылает старость, – печально улыбнулась мать. – В виде белых нитей среди черных волос». С тех пор маленькая еще Мадина стала побаиваться, как бы в ее волосах не появились белые нити и она не состарилась. О смерти тогда она не задумывалась – ведь дети полагают, что они бессмертны. Лишь после гибели мамы поняла, что смерть никого не щадит, что с уходом из жизни близкого тебе человека утрачивается и часть твоего «я».

Кем был для Мадины Камалетдинов? Она до сих пор не нашла ясного ответа на этот вопрос. Сказать близким другом, так ни разу не поговорили они по душам. Сказать старшим братом, так не были связаны родственными узами. И все-таки в самые трудные моменты жизни Мадина ощущала его поддержку. И тем, что сейчас при ней отец и бабушка, что защищена ими, обязана ему, Камалетдинову. Наверно, ее чувство по отношению к нему – это благодарность. Искренняя, чистая, ничем не замутненная. При встречах и разговорах с ним она по его глазам, по взгляду догадывалась о его чувстве, сравнимом с чувством путника, жаждущего в пустыне глотка воды. Но он всегда оставался другом Абдельахата, не переступал черту, прочерченную этой дружбой. За это Мадина благодарна ему вдвойне...

Конь вынес ее на возвышенность, откуда стали видны строения фермы. Вон они – новые коровники, возведенные благодаря и ее упорству, оплаченные ее беспокойными днями и бессонными ночами. И сейчас там работает ремонтно-строительная бригада колхоза. Много внимания уделяет Мадина подготовке фермы к зиме: не должно остаться ни вершка непобеленной стены, ни метра неотремонтированных полов. Хоть и доведет иной раз своим настырным характером до белого каления и руководителей колхоза, и своих подчиненных, а должного результата добьется. Доярки и скотники за спиной называют ее эби-батшой – бабушкой-царицей. Так башкиры

встарь прозвали императрицу Екатерину Вторую. Ну и ладно, не столь уж обидное прозвище дали, а если бы и обидное, на каждый роток ведь не накинешь платок.

Крепко держит Мадина поводья в плане руководства фермой. Конечно, ничего без борьбы не дается. Раньше пастухи и скотники на обед и ночевать ездили домой на закрепленных за ними лошадях. А доярки, хоть расстояние от летнего лагеря до аула неблизкое, ходили пешком. Едва забрезжит утро — они уже на ногах. Мадина добилась, чтобы за фермой закрепили больше рабочих лошадей и небольшую конюшню для них построили. За счет этого и фураж стали экономить — лошади зимой в тепле, и жизнь доярок облегчилась. Теперь из летнего лагеря домой пешком не ходят.

Мадина хорошо знала прежние приемы выдвижения той или иной доярки в «маяки» и положила этому конец. Коров-«батрачек» давно уж нет и в помине, и споенное телятам молоко никому не приписывается. Между доярками коровы распределены по справедливости, заранее известно, когда они отелятся, когда будут в запуске, сколько молока могут дать за сезон, и тут уж все зависит от старания доярки. Конечно, при работе с людьми без споров не обойтись, но до скандалов дело не доходит. «Мадину разве обманешь? Она не то что твои мысли — шевеление змеи под землей учует», — скажет кто-нибудь, на этом попытки переспорить ее и закончатся.

Живя сейчас в летнем лагере, Мадина ежедневно контролировать работу ремонтников и строителей на ферме не может. Привязав коня, она направилась в первую очередь на новый объект — пристрой к коровнику — и едва не присела от удивления: в помещении, пахнущем сосновой смолкой, значительная часть пола была забетонирована. Планировали в старом телятнике поставить на откорм подросших бычков, а здесь содержать новорожденных телят. В колхозе «Алга», по сравнению с другими хозяйствами, телят гибло не так уж много, а все же гибли. Мадина считала, что можно, создав надлежащие условия, вовсе избежать потерь, ведь в личных хозяйствах ни у кого телята не гибнут, И на тебе: вместо дощатого настила — холодный бетон. Чьих это рук дело? Кто распорядился?

Больше никуда, даже к своей состарившейся, насилу перед перегоном стада в летний лагерь отелившейся в

последний раз и по этой причине оставленной на ферме Буренушке Мадина не заглянула, – вскочила на коня и помчалась к правлению колхоза.

В правлении, у председателя, шла утренняя оперативка. Разгоряченная Мадина намеревалась с ходу излить свой праведный гнев, но, увидев сосредоточенно-серьезные лица собравшихся в кабинете, приостыла. Вон и ее Абдельахат сидит безмолвно, остановив взгляд на невидимой точке. Значит, разговор полеводства еще не коснулся. Обычно с оперативок он спокойным не выходит.

– Та-ак, Ирназарова... – Саяф Сайфуллович глянул на лежавший перед ним список. – На сегодняшнюю оперативку мы Вас не приглашали, сочли достаточным присутствие зоотехника. Или уж пожар там у вас случился?

– Пожар случился здесь! Кто распорядился настелить в новом телятнике бетон вместо досок?

– Я. – Председатель откинулся к спинке стула. – А что, я должен был насчет этого попросить разрешения у Вас?

– Если считаете унизительным для себя советоваться со мной, сами должны думать головой!

– О-о! Такое я слышу впервые за двадцать лет, отданных животноводству! – Побагровевший председатель, будто ища защиты, оглядел собравшихся в кабинете. – Та-ак!.. За тобой, сестренка, теперь нет Камалетдинова! Теперь вы, Ирназаровы, не сможете делать все, как вам заблагорассудится!

Чем сильней распалялся председатель, тем спокойней становилась Мадина. К ней вернулась обычная сдержанность. Боялась только за Абдельахата: как бы он, видя, что жену оскорбляют, не взорвался, не наломал дров. Поэтому сказала, не повышая голоса:

– Я пришла сюда не в качестве сестренки, а в качестве заведующей фермой. На бетонном полу телята перемрут от воспаления легких.

– Опять двадцать пять! Только она все знает, а председатель и главный зоотехник ничего не знают! Ты, Мадина, должно быть, не видела современные животноводческие комплексы? Они сплошь из бетона. Думаешь, там, – Саяф воздел указательный палец, – сидят люди с головами, набитыми мякиной? Бетонный пол – это экономия средств! Гигиена! Дисциплина! Поистине у женщин волос длинный, а ум короткий!

– А не благодаря ли этой женщине колхоз не сдал весной телок на мясо? Ты, Саяф Сайфуллович, не подс-

читал, какую прибыль получили, устроив летний лагерь по ее настоянию в богатом травами урочище? — Это вскочил с места Абдельахат. Мадина не повернула голову к нему, но чувствовала: муж раскалился.

— Тебе, товарищ Ирназаров, слова не предоставляли! Но раз поднялся, ответь: почему не приступаешь к косовице ржи?

— Еще не созрела.

— В соседних хозяйствах косят. У нас, в Тиряклах, что, особый климат?

— Ну, это уже не по моей части. Я свое мнение высказала и буду на этом стоять! Извините, что явилась без приглашения, прервала оперативку, — сказала Мадина и, оставив готовых схватиться за грудки мужчин, вышла из кабинета.

На улице светило солнце. У природы свои законы и правила, каждый злак, каждая травинка живет в согласии с ней. Правда, и у нее бывают какие-то сбои — то весна придет слишком рано, и черемуху в цвету побьет заморозками, то лето затянется, обманутый теплом шиповник зацветет второй раз, но это — исключения из правил. А так все идет извечным порядком. Крестьянин давно это понял, чутко следил за состоянием природы и подлаживал под нее свою жизнь, свой труд. Но поставили над ним любителей покомандовать, принялись ломать привычный ему жизненный уклад через колено. Мы, люди, и сами оторвались от природы, и животных отчуждаем от нее. Скот, если под ним сухо, не пропадет и под открытым небом, как не пропали его дикие сородичи. Лоси, например, и сейчас так живут...

Предавшись этим мыслям, тихонечко, в ожидании мужа, ведя коня в поводу, Мадина направилась в сторону своего дома. Впрочем, Абдельахат, наверно, домой не придет, сразу уедет в поле. После того, как он вернулся из Таулов с выговором и устроил сцену ревности, они толком не разговаривали. Невесть что с ним случилось. Не чувствуя за собой никакой вины, Мадина первого шага, чтобы наладить отношения, не делала. А надо что-то предпринять. Не за себя она боится, за Абдельахата. Здоровье у него и так не очень крепкое, как бы из-за нервных перегрузок и переживаний вовсе не свалился.

На прошлой неделе приехала она с дочками побаниться и застала его перед картиной Камалетдинова. Бабуш-

ка, натянув холст на сделанную по ее заказу резную раму, повесила картину в простенок между окнами. Когда Мадина входила в комнату, Абдельахат пробормотал себе под нос: «Прямо Юдифь, только сабли и головы любовника у ног не хватает». Увидев ее, не обнял, как раньше, до размолвки. У Мадины зачесался язык сказать: «Ты же часто бывал у Аюпа, оставался ночевать у него, что ж не посоветовал голову пририсовать?» Сдержалась. Прошла к стоящим на подоконнике горшкам с цветами, проверила землю под ними. Бабушка состарилась, иногда забывает полить цветы. Мадине хотелось обернуться, обнять мужа, приласкать. Но опять сдержалась, чтобы Абдельахат не подумал, будто она подлизывается, чувствуя свою вину. А она в появлении этой картины не виновна...

Да, и сегодня Абдельахат домой вслед за ней не придет. Мадина, наскоро попив чаю с бабушкой и отцом, поскачет в летний лагерь. Сейчас пора самых высоких надоев, коров доят трижды в день, Если ослабишь контроль, то пастухи стадо на дойку вовремя не пригонят, то доярки фляги с молоком в холодный ручей студить не поставят. И за девочками глаз да глаз нужен. Особенно Кюнхылу шустра. Не доглядишь, так невесть куда умотает. Кукхылу, хоть и боится, что мать отругает, от сестры не отстает.

Что касается пристроя, где настилают бетонный пол... Можно обернуть это на пользу делу. Саяф весной, не подумав как следует, распорядился разобрать здание старой котельной. Там и корм запаривали. Доярки маялись, таская его издалека на коромыслах. Судя по ходу работ, строители с возведением новой котельной до зимы не управятся. Значит, волей-неволей придется перенести оборудование в этот пристрой с бетонным полом, устроить в нем кормоцех, подготовив для приема телят прежний телятник.

Придя к такому решению, Мадина вскочила в седло, заторопила коня. Настроение у нее приподнялось.

* * *

Самые большие враги человека – его собственные ошибки. Он ненавидит их, воспоминания о них, а также людей,

напоминающих об этих ошибках хотя бы одним лишь своим существованием. Пожизненным свидетельством о допущенной в молодости ошибке стало для Галимы Мингажевой рождение ее дочери Самиры, теперь уже взрослой девушки. Не очень-то веселые воспоминания вызывает она. Второй живой свидетель былых ее промахов – старуха Барсынбика.

В свое время обратилась к ней растерянная Галима за помощью, считая ее колдуньей. А она оказалась матерью провалившегося в тартарары Ихсанбая. Более того, еще и родной бабушкой Мадины, которую Галима всю жизнь называла подружкой, в душе завидуя ей, – как раз за советом, как навредить «подружке», и пришла она к колдунье. Мадину старуха тогда защитила и добавила самой Галиме терзаний, сказав насчет Самиры: «Девочка должна носить фамилию отца».

Что, интересно, теперь, когда высоко поднялась Галима, думает и говорит о ней эта старая карга? К ней много народу ходило и ходит. Колдуньей она не слывет – лечит травами, помогает недужным, короче говоря, немалый у нее авторитет в народе. Ее прошлое никого не интересует.

Не дают Галиме покоя невеселые думы, особенно ночью. Мечется она на своей просторной кровати, места себе не находит. К тому, что дочь где-то пропадает ночами, она уже привыкла. Больше волнует ее своя судьба, собственная жизнь. Сколько унижений, позора пережила она! Одна из очевидиц этого – Мадина. Она истекавшую кровью Галиму, может быть, от смерти спасла. И от стыда оградила. Будь на ее месте другая – по всему аулу весть о случившемся разнесла бы, а эта ни слова лишнего не обронила. Еще сильней возненавидела ее тогда Галима. Из-за того, что они такие разные. Мадина, похоже, догадалась, кто строит ей на ферме козни, кто отравил ее коров, но виду не подала. Чем больше злилась Галима, чем сильней жаждала мести, тем теплей, ласковей разговаривала с ней Мадина, словно старалась обезоружить ее. Однако Галима прошла школу партийной выучки, усвоила установку: «Если враг не сдается, его уничтожают!» Эта установка не касается лишь ее дочери: как бы и от кого бы ни родила – это ее выношенный под сердцем ребенок. Слава Богу, Ихсанбай отправился

к праотцам. А вот Барсынбика, Мадина, Абдельахат... Да, и Абдельахат. Говорят, муж и жена – одна сатана. Но трогать эту семью не позволял Камалетдинов. В карьерном росте Галиме помог и он, в то же время обезопасить свои тылы для дальнейшего продвижения вверх при нем она не могла. Теперь Аюпа Газизовича нет. Все зависит только от нее самой, от ее ума и изобретательности. Тиряклинцы когда-то дали ее семейству прозвище Злыдни. Пришло время подтвердить, что не зря дали. У замужней женщины главная опора в жизни – муж. Надо для начала сделать так, чтобы Мадина лишилась этой опоры, осталась одна. Галима еще тогда, когда Камалетдинов был жив, зазвав случайно остановившегося у ее ворот Абдельахата, попробовала заронить в его душу сомнение в супружеской верности Мадины. Теперь предстоит довершить это дело, развести их. Затем взяться за Барсынбику.

Конечно, задуманное Галима исполнит не своими, как говорится, руками; имея в руках власть, не трудно найти помощников. Будучи еще школьницей, она научилась играть в шахматы, рассчитывать ходы. Благодаря этому умению, из рядовых доярок поднялась на нынешнюю высоту. А с нее видны вершины повыше. По присловью, падать, так с высокой вершины. Но не для того, чтобы упасть, карабкалась вверх Галима, а чтобы оказаться поближе к солнцу, там, где теплей, лучше. Если свидетели ее прошлого не будут тянуть вниз, она поднимется еще выше. Завоеванная высота – это вчерашний день, а Галима Мухаррямовна всегда стремилась к дням грядущим.

Несмотря на поздний час, она набрала номер домашнего телефона Кыдрасова.

– Не спишь?

– Просматриваю газеты.

– Ты один?

– Спрашиваешь! К себе хочешь пригласить?

– Нет... – Галима замялась. – Слушай, Загир...

– Ну-ну, не стесняйся!

– Ты не решил еще, кого предложить на свое место?

– Вот, оказывается, что беспокоит мою лебедушку!

– Нет, правда... Как не беспокоиться? Нам ведь вместе работать.

– Еще неизвестно, утвердит ли меня пленум первым...

– Ну, нашел что сказать! Насчет тебя вопрос, считай, решен.

— Положим. Кого бы ты хотела видеть вторым секретарем?

— Саяфа.

— Председателя колхоза «Алга»? Шамсутдинова?

— Да, Саяфа Сайфулловича.

— Смотри, девушка, я ведь могу и заревновать.

— Я серьезно. Человек с высшим образованием. Сельское хозяйство знает, как свои пять пальцев. Награжден орденом Ленина. Начинал пастухом, заведовал фермой, поднялся до поста председателя колхоза. Как поставлено дело в колхозе, сам знаешь.

— Ему Мирхайдаров крепкую экономику оставил.

— Старик был порядочный человек, но либерал. У Саяфа Сайфулловича твердая рука, подтянул дисциплину.

— А что, интересное предложение. Надо подумать. У Шамсутдинова вроде нет привычки ерепениться? Не норовистый конь?

— Не-е-ет! Не из тех коней, что ломают ограды.

— А его семейное положение?

— А тебе, — Галима усмехнулась, — доводилось видеть, чтобы у поборников твердой дисциплины семейное положение не было урегулировано? Он женат, жена Нагима, кажется, на несколько лет старше... Больше я ничего не знаю.

— Ладно. Только, — Кыдрасов заговорил в шутливом тоне, — если ты не имеешь на него виды...

— Ой, Загир, смеешься над одинокой беззащитной женщиной!

— Не сердись, лебедушка!

— А если рассержусь?

— Сейчас же приду к тебе.

— Ну... приди.

— Иду!

Положив трубку, Галима вскочила, надела купленный при поездке в Москву, в знаменитой «Березке», пеньюар германского производства, чуть-чуть надушила волосы французскими духами, достала из холодильника яблоки, апельсины, поставила в хрустальной вазе на стол, перелила коньяк из бутылки в графинчик, выключила верхний свет, включив ночную лампу, излучающую приглушенный свет, словом, создала интимную обстановку. Когда Кыдрасов негромко постучал в дверь, предстало перед ним, сияя, само радушие, сулившее приятное времяпрепровождение.

* * *

Мужчинам, наверно, не дано до конца понять женщин. Душа женщины Саяфу представлялась подобной таинственно-темному, хотя и усыпанному звездными роями, небу. На матери своих детей, Нагиме, он женился из желания приоткрыть завесу тайны, узнать, что за ней скрывается. Семнадцатилетнему, только-только попрощавшемуся с отрочеством Саяфу двадцатичетырехлетняя Нагима казалась загадочной, как вселенная. Она была скупа на слова, но любила петь, в особенности частушки. Саяф мог отличить ее пронзительно-высокий голос среди десятков голосов других девушек, и ноги как бы сами несли его туда, откуда он доносился.

Это была обычная безнадежная влюбленность. Никаких надежд по отношению к Нагиме Саяф не питал, тем более, что в детстве переболел оспой, оставившей на его лице россыпь рябинок. Правда, они не обезобразили его, даже придавали его лицу, к которому еще не прикасалась бритва, своеобразную привлекательность, но сам он об этом не догадывался и страдал тем, что называется комплексом неполноценности. К тому же Нагима всерьез его не принимала. Изредка в Тиряклы приходил на вечерние игры парень из Сабаклов, вот на него она поглядывала с интересом. Саяф, чувствуя, к кому ее тянет, намеревался собрать приятелей и отлупить сабаклинца, чтоб неповадно было ему ходить к чужим девушкам, однако судьба разрешила эту проблему по-своему.

Однажды после игр Нагима сама подошла к нему, возможно, заметив, что он был невесел.

– Идем, погуляем у речки.

– Это ты мне?

– Тебе, Саяф, тебе.

– Идем...

До речки дошли молча. На берегу Нагима остановилась.

– Давай посидим.

– Давай...

Саяф снял пиджак, постелил у берегового обрыва. Сели. Внизу под лунным светом вспыхивали на волнах бесчисленные блестки. Речка днем отражает небесную синь, а сейчас в темных берегах казалась белой. Наверно, поэтому ее назвали Акъелгой – Белой речкой. Назвали,

скорее всего, влюбленные, ведь только они ходят тут по ночам, глядя то в звездную высь, то на осыпанную лунным серебром воду, предаваясь мечтам.

— Саяф, — сказала Нагима после того, как посидели, будто в забытье глядя на речку, — ты... женился бы на мне?

Саяф почувствовал, что ему стало жарко.

— А почему бы не жениться? Если ты выйдешь за меня, то конечно.

— Я серьезно говорю.

— И я не шучу. А этот... коротышка из Сабаклов... куда он делся? Ты вроде за него собиралась выйти. Передумала?

— Он женился. — Нагима закрыла лицо руками и заплакала.

— Не плачь, Нагима! Хоть завтра распишемся!

— Я буду тебе хорошей женой. Не пожалеешь.

Саяф подрастерялся: дальше-то что делать? В душе он был рад. Пусть вот девчонки, смеявшиеся над ним, называя рябым бесом, посмотрят, как он поведет Нагиму под руку в сельсовет расписываться! А Нагима, повернувшись к нему, попросила:

— Поцелуй меня, Саяф!

Ни разу еще не целовавшийся с девушками Саяф посунулся к ее лицу, угодил губами в кончик ее носа. Готовый провалиться со стыда сквозь землю, он все же не отступил, со второй попытки ощутил солоноватый вкус ее губ. Потом, когда поженились, этот вкус пропал, губы жены оставались холодными, плотно сжатыми, а сама она — неразгаданной загадкой.

В годы заочной учебы в институте Саяф возвращался с экзаменационных сессий соскучившись по жене, и иногда она вроде бы отвечала на его бурные ласки тем же, но чаще была холодна в постели, лежала, как каменная статуя. Рождались дети, и каждому ребенку она словно бы отдавала какую-то долю своей пригожести, дурнела лицом и худела, в конце концов превратилась в ходячий скелет. Саяф, только еще достигший зрелости, полный сил и желаний мужчина, остыл к ней. И вот в пору, когда ходил он, как шальной, не зная, куда себя деть, на ферме появилась поигрывавшая тугим телом Галима. В ее искристых глазах почудилось опять Саяфу небо в алмазах, в душе запели умолкшие соловьи. Успевший обзавестись детьми и вступить в партию Саяф не мог бросить

семью, однако завязавшиеся с Галимой отношения особо не скрывал. Хоть и жили врозь, встречался с любовницей в любой момент, когда этого хотелось, поддерживал ее материально, помог обрести славу передовой доярки. Когда Галима уехала учиться, запил было, но быстро взял себя в руки. В его потемневшем небе зажглась новая звезда – Мадина. Однако эта звезда горела на высоте, до которой Саяф дотянуться не мог. Он, как взнузданный жеребец, грыз удила, впадая временами в бешенство, а звезда знай себе светила спокойно и гордо, защищенная верностью Абдельахату...

После звонка Галимы Мингажевой Саяф Сайфуллович пошел домой из правления, гадая, зачем она позвала его в райцентр. Их отношения сравнимы теперь с окаменевшей лавой: излились когда-то, кипя, и застыли...

* * *

Барсынбика, выйдя на задворки, постояла, оглядывая свою усадьбу. Просторный участок земли отвели в свое время Дингезхану, теперь вот три полосы на огороде заняты картошкой, рядом – овощные грядки, и для плодово-ягодных насаждений места хватило, есть площадка для ульев, да еще за оградой простирается лужайка, на которой можно накосить стожок сена для осенних нужд. На северном краю сада подрастают кедры, проклюнувшиеся из орешков, присланных когда-то Абдельахатом из Сибири. Они защитят плодовые деревья от холодных ветров. Заботится о кедрах Абдельахат с двойняшками, каждому деревцу девочки дали даже имя. А в целом забота о саде легла на плечи Хашима. С его помощью Барсынбика обрабатывает урожай смородины, вишни, малины, запасает на зиму и варенья, и пастилу, и сушеные ягоды. Ах, если бы Гульбану была жива! Ушла из жизни, не увидев эту красоту, это изобилие!

Хашим с одной стороны радует – каким хорошим человеком бывший бродяга стал! С другой – удивляет: так и не женился, не создал новую семью. Вслед за умершей в могилу не ляжешь, живому положено жить полнокровно. Приглянулся Хашим симпатичной, трудолюбивой Газиме, но не дождалась она предложения от него и в сердцах вышла замуж за другого вдовца. Шакира из Таулов,

похоже, тоже заинтересовалась Хашимом, приезжала несколько раз будто бы повидаться с ней, Барсынбикой. Нет, и из этого ничего не вышло. Всего себя отдал отец Мадины внучкам, в особенности любил Кукхылу, мухе, как говорится, сесть на нее не давал. Вроде бы не осталось в этом мире ничего, что может удивить Барсынбику, а поди ж ты, удивляет ее Хашим. Вот и скажи после этого, что знаешь людей!

Барсынбика по тропе, рассекающей усадьбу надвое, направилась к дворовым строениям. В саду тихо, спокойно, только пчелы деловито перелетают с цветка на цветок. Каких только цветов нет у них! Возле бани раскрылись гладиолусы, чуть дальше радуют глаз высокие лилии. Перед домом – белые, розовые, желтые, красные розы, вдоль фундамента пламенеют гвоздики. Мадина ни пяди земли, не засеянной цветами, не оставляет. Весь двор усыпан ими. Чтобы скот их не потоптал, поставили для его прохода отдельные ворота.

Подустав от долгого хождения, Барсынбика присела на скамеечку у фундамента дома. «Слава Аллаху, возношу за отпущенное нам тысячу тысяч благодарений, – проговорила она мысленно и молитвенно провела ладонями по щекам. – Живу в возрожденном на пепелище хозяйстве среди цветов, как в раю».

Иногда по утрам утомляют Барсынбику посетители, нуждающиеся в ее помощи. Не может же она повернуть назад человека, пришедшего с просьбой. А хочется и посидеть вот так – без забот, в покое. Сегодня никого еще не было. Мадина угнала коров в летний лагерь, присылает часть молока попутно с шофером колхозного молоковоза, остальное пропускает через сепаратор там, пахтает масло про запас. Так что хлопот по этой части у Барсынбики нет. Единственная забота – во время накормить Абдельахата с Хашимом, да и то чаще всего берет ее на себя Хашим.

Посидев на скамеечке, решила было Барсынбика зайти в дом, прилечь до намаза, но только успела подняться – открылась калитка.

– Можно к вам, инэй?

– Заходи. Не бойся, собаки у нас нет. – Не узнав вошедшую во двор женщину, Барсынбика приблизилась к ней. – Вроде и видела я тебя раньше, а...

– Я – Нагима...

— Ай, память моя! Ты ведь председателева жена!

— Да, инэй, жена Саяфа.

— Присядь. Или давай в дом зайдем, чай вскипячу. Зять Абдельахат электрический чайник купил, быстро вскипит. Удобная вещь.

— Не в гости я... — Женщина волновалась, сказала, видно, не зная, как начать разговор: — Цветов-то у вас сколько!.. Ой, не о том говорю. В отчаяньи я, инэй. Бес, на старости лет, можно сказать, попутал, забеременела...

— Что ж тут такого? Обычное дело. Сколько у тебя детей?

— Пятеро.

— Дай им Аллах вырасти благочестивыми, добрыми людьми. Где пятеро, там и шестой уместится.

— Так-то оно так...

— А что не так?

— Не могу я родить. Прервать надо беременность.

— На этот случай есть больница. Не сталинские теперь времена. Только грех придется вам на душу принять.

— И в больницу я не могу пойти. Если Саяф узнает...

— Бэй, пусть узнает, не ветром же, наверно, ребенка надуло.

— Не буду скрывать от тебя, инэй. В последние годы плохо мы с ним жили. Сначала он с этой сукой Галимой связался. Все же мы вместе спали. А теперь... два года уже... врозь. Со зла я согрешила.

— Давно?

— Пять месяцев скоро будет. Тогда я в хор к Мадине ходила, был повод отлучаться из дому.

— Теперь поздно слезы лить. Здравый ум, ясная голова нужна тебе.

— Если Саяф узнает, в тот же день от меня уйдет. А дети еще не все подросли. Сделай, инэй, доброе дело, век не забуду!

— Во-первых, я такими делами никогда не занималась. — Голос Барсынбики построжал. — Во-вторых, убить пятимесячного ребенка... Не возьму на себя великий грех, готовясь предстать перед Всевышним. И ни одной женщине не советую обращаться к бабкам с такой просьбой. Если тебе дорого благополучие твоих детей, и ты должна отказаться от задуманного.

— Легко сказать! Ты Саяфа не знаешь! Аллах мой, ведь я единственный раз в жизни ошиблась!

— У тебя есть голова на плечах, думай. В крайнем случае попробуй обратиться к знакомому доктору. Я тебе в этом деле не помощница. Извини.

В это время тихонечко приоткрылась калитка, просунул во двор голову круглолицый мальчонка лет семи-восьми.

— Мам, ты долго еще тут будешь?

— Ах ты, увязался, оказывается. Ладно, инэй, пойду. Прости, что побеспокоила.

— Не обижайся на меня. Какой-нибудь выход найдется.

— Спасибо!

Когда за женщиной закрылась калитка, Барсынбика спохватилась: «Что ж это я, надо было ребенку что-нибудь вкусненькое вынести!»

То ли от того, что с утра была на ногах, то ли из-за напряженного разговора она почувствовала сильную усталость. Даже подняться на крыльцо, казалось, сил не хватит, зашла в летнюю кухню, прилегла там...

* * *

Нагима, вернувшись от Барсынбики, застала Саяфа дома.

— Истопи баню, — сухо приказал он. — Брюки мои поладь. И эту... голубую рубашку приготовь.

— В гости, что ли, пригласили? — Обычно Нагима не надоедала мужу расспросами, но тут не выдержала, спросила. Странно: не было у Саяфа привычки баниться в середине недели.

— Одно у тебя на уме: к кому бы в гости сходить, — буркнул он. На этом разговор и закончился.

Воду в баню натаскали старшие дети. Пока она топилась, Нагима успела нарезать лапшу, сварить суп. Действовала она с каким-то ожесточением. Саяф нервничал: то приляжет, то встанет. И непрерывно курил. Побанившись, велел сыновьям вымыть машину и снаружи, и внутри. Затем, принарядившись, сам сел за руль, выехал на большак и укатил в Таулы.

«Сучка его позвала», — сообразила Нагима. И прежде, собираясь к ней, он прихорашивался.

Всего лишь раз Нагима за всю свою жизнь изменила мужу в отместку за его неверность. Да и то не с кем

попало, а с сабаклинцем, которого любила в молодости. Однако после этой встречи не испытывала душевного подъема, напротив, измаялась, чувствуя себя виноватой. Казалось, все в ауле знают о ее грехопадении и указывают на нее пальцем. А Саяф не стыдился, уходил ночевать к любовнице внаглую. И Галима, бывало, встретившись с Нагимой на улице, лишь глянет на нее презрительно и пройдет мимо, не поздоровавшись, будто не она блудит с чужим мужем, а Нагима. Несправедливость, неладные отношения в семье корежили душу Нагимы. И уйти от Саяфа она не могла, ради детей терпела. Проходили безрадостно день за днем, схожие, как капли воды. Ладно еще записалась в хор, песни утешали. Мадина называла ее «нашей сопрано». Но и ходить на спевку Саяф недавно запретил, не объяснив причину запрета.

Да, прошла жизнь Нагимы без радостей любви. И замуж ведь она вышла не по любви, потеряв любимого. Уже тогда была угасшим очагом, не смогла принести счастье и Саяфу. Если подумать, так большинство женщин в аулах выходит замуж, чтобы народить детей, стать матерями. И для мужей иные как бы матерями становятся. Так и живут. Детей Нагима любила, однако в душе жаждала еще чего-то, ждала кого-то. В ожидании, в надежде на несбыточное и нарвалась на эту беду. «Подчинись судьбе! Принимай жизнь такой, какая она есть, с благодарностью!» — наставлял ее внутренний голос. А второй голос твердил: «Чем ты хуже других? Жизнь у тебя одна, неужто уйдешь из нее, не испив напитка любви?» И только сейчас поняла Нагима, что за каждую минуту радости и за каждый ошибочный шаг надо платить...

Она приняла решение: умрет так умрет, зато не услышит от Саяфа слово «шлюха». Уложив детей спать пораньше, пошла в теплую еще баню. Разделась, села на пол. Знала она по разговорам женщин, что Галима, забеременев от Саяфа, ходила спасаться к бабке Таибе. В ауле ведь, как говорится, на одном конце посудой зазвенят — на другом конце слышно. Таиба давно уж в могиле, потому и пошла Нагима к Барсынбике. Барсынбика отказалась помочь. Что ж поделаешь, придется самой... Как делались подпольные аборты, Нагима, тоже по разговорам, представляла. Галима вон, хоть погрязла по горло в грехах, живет себе припеваючи. Так что и с ней, Нагимой, может быть, ничего страшного не случится?..

* * *

Не ожидал Саяф, что Галима встретит его так радушно. Что ни говори, разделил их холод минувших лет, да и не равны ступени, на которых они теперь стоят. Было время, когда Галима ходила под рукой Саяфа, и он вел себя так, как ему заблагорассудится. Случалось, и сцены ревности ей устраивал, а она принимала их безропотно. Саяф думал, что эта безропотность объясняется ее любовью к нему, а дело, оказалось, обстояло не совсем так. Как только в райкоме предложили поехать на учебу, вспорхнула и улетела его зазноба. Прощай, Тиряклы! И надобность в Саяфе отпала. Обиделся он тогда. И сейчас, как ни крутилась перед ним принаряженная Галима, пододвигая к нему то рюмку с коньяком, то закуску, чувствовал он, что не радостью встречи это вызвано, а чем-то другим.

— Спору нет, поднял ты колхоз, дорогой мой! — ворковала она. — Кто по надоям молока впереди? Колхоз «Алга». А по урожайности? Тоже «Алга». Оттого, видать, и загордился ты, душенька, даже не заглянешь ко мне, не поинтересуешься, как я живу. Неужели от нашей любви ничего не осталось, а? — Груди Галимы были приоткрыты, щеки порозовели, бархатистый голос звучал проникновенно, и чем дальше, тем откровенней льнула она к гостю.

— Удивляешь ты меня, Галима. — сказал он. — Что, наскучило жить без дружка?

— Официально я — женщина, побывавшая замужем. — Вконец нарушив границы приличия, Галима села на колени Саяфа. — Думаешь, без свидетельства о браке меня допустили бы к нынешней должности?

— Хочешь сказать, что в Свердловске вышла замуж?

— Нет. Лишь добыла нужную бумажку. Ах, Саяф, то ли ты нисколько по мне не соскучился, то ли сам здесь, а мысли твои далеко... — Галима пересела обратно на стул.

— Зачем ты меня вызвала?

Не ожидавшая, что разговор так быстро приобретет серьезную направленность, Галима чуточку растерялась. Сказала, минутку подумав:

— В свое время ты возвысил меня: депутатом, героиней стала. Теперь моя очередь. Хочу ответить добром на добро.

– Та-а-ак... Можешь перейти к сути дела без длинного вступления?

– Конечно, могу. Я предложила твою кандидатуру на должность второго секретаря райкома.

– Ты предложила?

– Я.

– И полагаешь, что к твоему мнению прислушаются?

– Уверена.

– Откуда такая уверенность? А, понял! От Кыдрасова идет.

– Отставь пока ревность в сторону.

– Ревновать тебя... – Саяф усмехнулся. – Ладно, промолчу.

– Саяф, расслабься! Что-то не получается у нас веселье. – Галима вновь наполнила рюмки коньяком. – Потчевать, что ли, не умею? Наполеон, пишут, перед Жозефиной на колени вставал, а ты сидишь так, будто скалку проглотил.

– Ты ведь не Жозефина...

– Будь я Жозефина, ты тоже встал бы на колени? Так, что ли, должна тебя понять?

– Может, встал бы. А может, и нет.

– У тебя и прежде была привычка высокомерничать...

– Так уж мир устроен: болезни проходят, привычки остаются.

Пока Саяф сидел, покручивая рюмку меж пальцами, Галима выпила второй раз. Лицо у нее покраснело, на носу бисеринками выступил пот. «Должно быть, попивает, – пришел к выводу Саяф. – Быстро покраснела, быстро пьянеет. Захмелев, раскроет свой план, долго ждать не придется».

– Саяфушка, спеть тебе?

– Не надо. Лучше Мадины не споешь.

– Хи, Мадина! Она только старинные песни поет, а я – современную, а?

– Сказал же – не надо. Мне песни дома осточертели, жена как проснется, так начинает скулить и не умолкает, пока не ляжет вечером спать. Я уж и от хора ее отлучил – не помогло.

– Тебя не радует перспектива выдвижения, да, душенька?

– Радует. Какой мужчина откажется от карьеры? Только... ты ведь не все сказала. Что за это я должен сделать?

– Вопрос ты поставил ребром. Это мне нравится. Ты, дорогой мой Наполеон, очистишь мой путь от врагов.

– Кто они?

– Барсынбика, Абдельахат, Мадина. Бог, как говорится, троицу любит.

– Ай-ба-ай! – Саяф, поднявшись из-за стола, сел в кресло. – Здоровый аппетит у моей Жозефины!

– Здоровый?! Ха-ха-ха! – Захмелевшая Галима тоже поднялась и, расхохотавшись, упала на диван. – Если б здоровый... разве сидел бы ты, развалясь в кресле? Ха-ха-ха! Иди ко мне, мой Наполеон!

Саяф выключил свет, начал, подойдя к дивану, раздеваться.

– А Мадина чем тебе помешала? Разве она поперек твоего пути вставала?

– Это нужно для моего благополучия. А мое благополучие – это и твое благополучие. Ой, какой ты... горячий!.. Жозефина без тебя... Нет, ты без Жозефины – никто... Понял? Король без королевы – никто...

* * *

В летнем лагере Мадина живет с дочками в шалаше, сооруженном при помощи Абдельахата в форме юрты. Шалаш поставили на бугре, на ветру, чтобы не досаждали комары и мухи. Он спасает от дождя, поскольку накрыт толстым слоем свеженакошенного сена, а в жаркое время в нем прохладно.

Подъезжая к лагерю, Мадина глянула с горы прежде всего на свое жилище. Девочек рядом с ним не было видно, должно быть, ушли собирать ягоды. Пастухи пригнали коров на дойку, поблескивали подойники в руках доярок. Развешанное ими на просушку белье, дымок от костра придавали лагерю обжитый вид. Все это было близко сердцу Мадины.

В сторонке кто-то, кажется, пастух Сайгафар, пел протяжную песню:

...И день за днем теряешь, не считая,
Не замечая, что проходит жизнь...

Мадина отпустила поводья потянувшегося к траве коня, вслушалась в голос певца. Может быть, оттого не ду-

маешь о смерти, что не замечаешь, сколько времени уже прожито? Лишь в неволе люди считают не только дни, но и часы, оставшиеся до выхода на свободу. После возвращения Абдельахата Мадина как бы не чувствовала течения времени. Течет оно и течет, как вон тот ручей, и это вполне естественно. Ощущение этой естественности нарушалось сейчас лишь тем, что нет письма от Даута. Но придет долгожданное письмо, придет! Если бы с Даутом что-то случилось, бабушка не выдержала бы, сказала. Она же ясновидящая.

...После вечерней дойки, проводив молоковоз, Мадина поднялась к своему шалашу. Девочки подвесили чайник над костром, спорят, как всегда, меж собой в шалаше:

— Разве заварник набивают битком? — Это голос Кюнхылу. — Меры не знаешь.

— Я положила, как бабушка учила: листья ягод, смородины, ежевики. Мама, наверно, устала, выпьет — и сил у нее прибавится.

— А если мама просто чаю захочет?

— Чаю перед сном? Она долго не сможет заснуть, а ей чуть свет вставать, не лежит, как мы, до обеда.

У Мадины приподнялось настроение. Девочки есть девочки, заботятся о маме. Как хорошо, что небеса ниспослали ей сразу двух дочек!

Попив чаю, верней, ароматного настоя, Мадина положила на жаркие угли костерка гнилушки, чтоб дымили, отгоняя комаров, и легла спать. Глаза у нее слипались, устала за день, десятки километров проехала верхом, подыскивая новое удобное место для переселения летнего лагеря. Только вот дочки никак не успокоятся, обняли ее с двух сторон, успели соскучиться, хотят поговорить с мамой, понежиться около нее.

— Мам, ты нас обеих любишь? — Вопрос Кюнхылу вынудил Мадину открыть глаза.

— Конечно. Мамы всех своих детей любят одинаково.

— А я думала, что сильней любишь Кукхылу.

— Мама всегда спит, повернувшись к тебе, а я молчу. — В голосе Кукхылу чувствовалась не обида, а снисхождение к сестре.

— Спите, мои маленькие! Мы с папой любим вас обеих.

— Мам, а ты кого больше любишь — папу или нас?

Мадина растерялась. Пока она подыскивала ответ, пришла на помощь Кукхылу:

— Мамам такие вопросы не задают. Если бы папу любила больше, не приехала бы сегодня сюда.

— Мамы и пап должны крепко-крепко любить! — решительно заявила Кюнхылу. Ах, малышка, видно, учуяла детским сердцем, что между мамой и папой вдруг возникло недопонимание.

— Я и папу вашего очень-очень люблю. Спите. — Мадина поцеловала обеих дочек. — И бабушка, и дед ваш Хашим соскучились о вас. Дня через два переедем ближе к ним, осень ведь уже наступает...

— Мам, а дядя Давид... — Кукхылу осторожно притронулась к оголенному предплечью матери. — Из чего он сделал свою скрипку?

— Из клена. Дядя Давид как-то сказал мне, что клен впитывает в себя человеческие голоса и древесина у него очень звонкая.

— Поэтому его скрипка поет... как ты?

— Как я? — Мадина, усмехнувшись, погладила Кыкхылу по голове. — Скрипка, детка, не пела бы, как я, если бы скрипач не понимал женские сердца...

Уже засыпавшая Кюнхылу встрепенулась.

— Мам, Кукхылу хочет, когда вырастет, выйти замуж за дядю Давида.

Кукхылу, разъяренная раскрытием самой большой ее тайны, даже привскочив, села в постели.

— А сама-то! Ты ведь сказала, что выйдешь, когда вырастешь, за дядю Хусаина, потому что он любит лошадей!

— Ладно-ладно, выйдете... — Едва сдержав смех, Мадина уложила Кукхылу на место, натянула на девочек одеяло. — А пока пора спать!

Нарыв тайны прорвался и девочки, почувствовав облегчение, наконец, угомонились и заснули. Мадину некоторое время, несмотря на усталость, сон не брал, лежала, вспоминая события минувшего дня и думая о предстоящем перемещении летнего лагеря. Дело это хлопотное, но переселиться придется: и пастбища здесь оскудели, и медведи начали беспокоить. Вчера ночью медведь напал на корову, пастухи отогнали зверя выстрелами и успели зарезать пораненую скотинку, пока была жива. Подвесив разделанное мясо, ушли на ручей мыть потроха, а когда вернулись, глядь, — одной коровьей ляжки нет, унес-таки медведь, улучив момент, свою долю...

Сейчас в лагере тихо, лишь звякнет иногда корова бо-

талом и ухает где-то филин, да ручей, струясь меж камнями, поет свою вечную песню слышней, отчетливей, чем днем. И мысли ночью становятся отчетливей, ярче, все мелочное, суетное куда-то отсеивается, остается самое важное. А самое важное для Мадины – отношения с Абдельахатом. Точит и точит ее сердце разлад в их семейной жизни.

* * *

Абдельахат не отрывая глаз от нивы, по которой при каждом порыве ветра пробегали то тронутые желтизной, то белесые волны. Вот результат его трудов, урожайная соната, созданная солнцем, почвой и его вдохновением. Сколько беспокойных дней и бессонных ночей провел он, пока семена прошли испытания на маленьком опытном участке и переместились в поле! Порой впадал в уныние, но и в такие моменты волновались перед его мысленным взором массивы стойких хлебов, не полегающих ни при сильных ветрах, ни при ливнях, способные дать до шестидесяти центнеров урожая с гектара. Крепкостебельная пшеница, названная Абдельахатом «Тиряклинской-1», заняла пока шесть гектаров, а на двадцати гектарах заколосилась рожь сорта «Алга-1». Если выждать еще недельку, «Алга-1» покажет урожайность, равной которой не будет не только в районе, но и в республике. Абдельахат полон радости: с такой огромной работой справился один, не обращаясь за помощью к другим селекционерам. Спасибо Раузе и тестю Хашиму – они всегда были рядом, помогали, как могли. Даже Шангарей чувствовал, что Абдельахат занят великим делом и усердно охранял его опытный участок. И вот что еще удивляет Абдельахата: открытия в своих исканиях он делал совершенно неожиданно. Порой сникал: все, дело безнадежное, уперся в тупик, как вдруг возникала новая идея, воодушевляла его, наделяла уверенностью и азартом. Впрочем, в любом творчестве «неожиданные» открытия и находки – это ведь результат не прекращающейся ни днем ни ночью подспудной работы мозга.

Сейчас в душе Абдельахата было ясно, как в безоблачном небе над головой. Он достиг цели, оправдал свое существование в этом мире, вернувшись через лагерный

ад на родную землю. Желание сочинять музыку он сменил на селекционную работу, может быть, станет в ней своего рода Бетховеном или Моцартом.

Долго простоял Абдельахат, любуясь хлебным разливом, вобравшим в бесчисленные тугие колосья жар и его души. Эх, нет рядом Аюпа Газизовича! От понимания невосполнимости утраты внезапно защемило сердце. Не видит близкий друг и советчик эту красоту и никогда не увидит, не разделит радость Абдельахата, не засветится в его поблескивавших под густыми бровями синих глазах доброжелательная улыбка.

Абдельахат сел на мотоцикл и покатил в аул. Перед спуском под гору опять бросились в глаза две березы, питающиеся от одного корня. Нравятся они и ему, и Мадине. Словно отошла эта пара в сторону от зеленеющего внизу березняка, поднялась вверх и, заглядевшись друг на дружку, забыла дорогу обратно. Какие они молодые, красивые! Абдельахат остановил мотоцикл возле берез. «Сколько раз я проезжал мимо вас и все недосуг было остановиться! Простите, березы! – мысленно обратился он к ним. – И Мадина, наверно, не сходит с коня, когда проезжает здесь, может быть, смеясь, может быть, плача, – только вы тому свидетели...»

Расстелив пиджак, Абдельахат растянулся под березами. Тихо шелестела на легком ветру их листва, воскрешая в его памяти события давно минувших дней.

Из лагеря в аул он вернулся в состоянии, о котором говорят: в чем только у человека душа держится? Голод и пронизывающий до мозга костей холод сделали свое дело. «Увидеть бы Мадину с сыном, тогда и умереть можно без сожаления», – думал он. Эта мысль помогала ему выжить, спасала, когда беспощадная действительность брала за горло и смерть подступала вплотную. Возникала в мнительном уголке сознания еще одна мысль: «Мадина молода, красива. Что, если нашла другого?» – «Все равно, – отвечал сам себе Абдельахат, – ради того, чтобы взглянуть на любимую, хоть пешком дойду до нее из Сибири, а если не хватит сил дойти, на брюхе доползу!» Поняли, видно, его на небесах – со слезами на глазах выслушал он приказ об освобождении. До этого так плакал лишь в день окончания войны.

После возвращения в аул, обняв Мадину и сына, со стыда за сомнения в верности жены не знал, куда спрятать глаза.

Жизнь продолжалась. Кумыс Газимы, целебные отвары Барсынбики и в особенности нежная забота Мадины за два-три месяца поставили его на ноги. Налились силой мышцы, лицо обрело здоровый цвет, окреп голос, возросла уверенность в самом себе. И однажды, когда земля освободилась от снежного покрова и украсилась горицветами, в пору великого обновления природы пришли они с Мадиной к этим березам. Прислонились к ним, взявшись за руки, и животворная сила бродивших в белых стволах соков передалась им. Горячие губы Мадины разбудили продремавшее в Абдельахате много лет желание.

Взликовала его душа, вновь испытав после долгой разлуки радость близости с любимой. «Тенгри мой, ниспошли нам двух дочек, похожих на Мадину и прекрасных, как эти две березы!» — мысленно пожелал он.

В тот незабываемый день долго лежали они среди россыпи горицветов, слушали доносившуюся из небесной сини песню невидимого жаворонка. Волосы, ресницы и губы Мадины, казалось, пропитались ароматом цветов, а в глазах отражалось сияние бездонного неба. Когда пошли домой, Абдельахат поднял ее и понес, прижав к груди.

— Тяжело тебе, отпусти! — говорила жена, а сама еще крепче обвивала руками его шею.

— Не отпущу! Я готов всю жизнь шагать так, — отвечал Абдельахат.

Много воды с тех пор утекло. И он, и она заочно окончили институт. Пламя любви не угасало в их сердцах. Ее сила превратила вернувшегося умирать Абдельахата в батыра, готового передвинуть горы. Если он брался строить новый дом — топор играл в его руках, если сажал плодовые деревья — в скором времени они уже плодоносили. И раскинувшиеся морем хлеба тоже порождены могуществом любви.

Нельзя сказать, что Абдельахат вовсе не ревновал молодую красивую жену: пусть и безадресно, беспричинно, это случалось. В такие моменты перехватывало дыхание от этого дурного чувства, но он старался скорей прогнать его прочь. Боялся унизить Мадину ревностью. Всегда помнил, что женщина, столько лет прождавшая мужа, не зная определенно, сможет он вернуться или нет, достойна не только горячей любви, но и большого уважения... «А твое поведение в последнее время?.. — Аб-

дельахат, смутившись, резко приподнялся, сел. – Поверив навету Галимы, бабьей по существу сплетне, обидел Мадину! Какое ты имеешь право думать о ней плохо? А картина... Ну, все ведь тут объясняется просто: человек, наделенный чутьем художника, видя красавицу, какая, может быть, рождается раз в сто лет, не мог не взяться за кисть и краски, не написать ее портрет. Идиот я, идиот!.. Если бы Аюп был уверен в моей искренности и понимании, картина не осталась бы незавершенной. Он опасался моей ревности, иначе закончил бы работу над ней. Я помешал его творческому вдохновению...»

Как жить, не допуская ошибок, чтобы не терзать себя потом запоздалым раскаяньем? Он, Абдельахат, виноват перед покойным другом, виноват перед Мадиной. В безмерной тоске Мадина ждала его из лагеря, дождавшись, превратила полуживого доходягу в полного сил мужчину и опять ждала, когда он засиживался ночами в своей лаборатории, проводя опыты. Какими словами он должен попросить прощения у жены, которая помимо всего прочего несла на своих плечах без жалоб, без единого упрека заботу о детях и все домашние хлопоты? Почему он ни разу за минувшие годы не догадался пригласить Мадину к этим березам, на эту памятную поляну, подарившую жизнь их прелестным дочкам, – просто для того, чтобы в пору, когда из земли пробиваются к солнцу ростки горицвета, послушать вдвоем звенящего в небе серебряным бубенцом жаворонка?

Говорят, человек узнает цену счастья, когда теряет его. Но нет, не потеряно еще оно! Поспеши, Абдельахат, к любимой! Еще не поздно! Твои сомнения не стоили и капельки переживаний тоскующей Мадины!

«Железный конь», натужно гудя, помчал Абдельахата в сторону летнего лагеря животноводов, к ждущим его в нетерпении жене и дочкам.

* * *

Рауза сегодня поднялась рано. Замесила, добавив муки, затеянное вечером на дрожжах тесто. Замочила сушеные ягоды, пропустила через мясорубку. Короче говоря, начала готовить угощения для Хусаина по случаю дня его рождения. Хусаина перевели на легкую работу – в по-

жарку. Сейчас в его ведении две лошади и телега с бочкой. Помимо этого предмет его забот – купленный в частном порядке жеребенок. При них днюет и ночует. «Пожар может случиться и днем, и ночью, со временем суток не считается», – говорит он. Но чует материнское сердце: что бы ни говорил, после несчастья с Саврасым боится сын оставлять лошадей без присмотра, ни на шаг от них не отходит. Ну ладно, не совсем ведь одинока Рауза, живет при ней Шангарей. Хоть и глупый, все же преданный ей человек. И сама, несмотря на пожилой возраст, состоит на службе, считай, государственного значения. Абдельахат очень ценит ее, называет не иначе, как Раузой Гадельгареевной. Кто еще, скажите, обращаясь к ней, вспомнит ее отчество? Никто. «Вот человек, – удивленно думает Рауза об Абдельахате, – сиротой рос, войну и тюрьму прошел, а такой культурный!» Сколько уж проработали вместе, а ни разу не услышала Рауза бранного слова из его уст. Прямо-таки святой! К сожалению, не дал Бог Раузе такого культурного мужа. Конечно, внешность у нее не столь привлекательная, как у Мадины, а все-таки тоже ведь не из цыганской повозки выпала. Полновата, но это не значит, что некрасивая...

Когда тесто подоспело, Рауза налепила множество пирожков со сладкой начинкой и разнообразных пышек, сунула их в жарко натопленную печь. В доме запахло пекущимся тестом, ягодами, шипевшим в сковородках маслом. Решив, что пора разбудить Шангарея, Рауза вошла в дальнюю комнату и едва не присела от удивления, застав дурачка не только бодрствующим, но и, можно сказать, при полном параде.

– Ах-ах, поглядите-ка на него! – запричитала Рауза. – Ты, Шангарей, в своем уме?!

– А што? Ждорово я выгляжу? – И без того небольшие глаза Шангарея совсем сузились в довольной улыбке.

– Ну, наделал ты дел! Я расстаралась, только нынешней весной купила тебе новый костюм, чтобы выглядел среди людей прилично...

– Раужа-эпшей хорошая!

– ...а во что ты его превратил?!

Вся грудь и живот Шангарея были увешаны «наградами»: сверху проволочными крючочками прицеплены к костюму три «геройские» звезды, вырезанные из консервной банки, ниже, до пупка – жестяные же кругляшки,

которые, надо думать, изображали ордена и медали.

— Господи! — простонала Рауза, глядя на большеголового низкорослого Шангарея, ставшего похожим на клоуна, и, не найдя других слов, повторила: — Господи!..

— Я — Прежнеф! — гордо сказал Шангарей. — Ты вшем, кто шпрошит, говори так, ладно, Раужа-эпшей?

— Вот идиот!

— Ы!

— Что — «ы»? Разве умный человек увешает себя всякими железками?

— Хы! Прежнеф тоже идиот? Вот шкажу Абдельахату, тогда ужнаешь!

— Так у Брежнева же настоящие награды! А у тебя... тьфу!

— Ему другие люди шделали, а я — шам! Не украл!

— Ай, неразумный! Брежневу за войну, за работу дали.

— А я ражве не работаю? Тогда я на работу больше не пойду. Айда, шама прогоняй кож...

— Я же не говорю, что ты не работаешь. Ты тоже работаешь... — Слова «сама прогоняй коз» вынудили Раузу сбавить тон. — Только ведь... никто сам себе медали не дает. Медалями государство награждает.

— А ешли не награждает?

— Не награждает, так и не носишь. Вот я же не ношу.

— У тебя нет, а то нацепила бы!

— Ай, Аллах мой! Как же я тебя в таком виде поведу к Хусаину на день рождения? Вся улица со смеху покатится!

— Я и для Хушаина три жвежды-медали шделал. В подарок. Он тоже вше время работает, а ему никто медалей не дает. Жато я дам.

— Ох уж этот Хусаин... — Доброе слово о сыне, услышанное хотя бы от Шангарея, растрогало Раузу. — Людей, которые служат государству так преданно, как он, раздва и обчелся. Он ведь, бедняжка, даже не женился, деток не поласкал в самую пору, когда ласкать бы их да ласкать. И кто о нем, когда умру, будет заботиться?

— Я. Ешть же я!

— Ах, миленький! Тебе самому нянька нужна. А все же спасибо! Доброе у тебя сердце! Хоть и, как говорится, труба кривая, дым прямо поднимается. Ладно уж, раз нацепил медали, так нацепил. От этого ни глупости, ни ума не добавится...

Вскоре Рауза, надевшая вынутые из сундука цветастое платье и зеленый камзол, на пару с увешанным жестяными «наградами» Шангареем, торжественно направилась по улице аула к пожарке. И она, и он несли в свободных руках по узелку с гостинцами для именинника.

* * *

Лидия Николаевна Башкирцева проснулась в слезах и какое-то время пролежала, боясь открыть глаза: может быть, это не сон, может быть, она действительно маленькая девочка, которая все еще бежит вдоль по речному берегу, а ее старший брат, уносимый течением, кричит ей: «Хатира-а-а!»

Хатира... Лидия Николаевна прислушалась к звукам, доносившимся до нее в темноте. Тикают часы, в кухне из не завернутого до конца крана течет, журча, струйка воды. В прихожей иногда тоненько поскуливает немецкая овчарка Марта, возможно, ей снится время, когда была щеночком и, отталкивая своих братцев и сестричек, пробивалась к соску матери. Лидия Николаевна осознала, что лежит в своей ленинградской квартире. И все же сердце у нее щемило от того, что увидела во сне. У мальчика, которого несло течение, были синие глаза. Лидия, протягивая к нему ручонки, кричала: «Аюп-агай!» Интересно... Лидия Николаевна попробовала повторить слово «агай» вслух, оно прозвучало на русский манер, а во сне, это она точно помнит, выкрикнула его чисто по-башкирски, с горловым «г». Аюп... Аюп Камалетдинов – вот кого уносило течением во сне. А почему он, обращаясь к ней, назвал ее Хатирой? Хатира... Внезапно Лидия Николаевна привскочила в постели. Молнией блеснуло в мозгу всплывшее из глубин подсознания воспоминание: ее, еще совсем маленькую, звали Хатирой. Да-да, ее имя – Хатира! Дюжий усатый мужчина пел ей песню, повторяя в ней это имя, а молодая симпатичная башкирка, видимо, мама, поднимала ее высоко-высоко, и она, Хатира, визжа от восторга, тянулась ручонками к ней.

Лидия Николаевна застонала, из глаз хлынули горячие слезы, потекли по щекам, по губам – прорвалась наружу лежавшая всю жизнь тяжелым бременем тоска на серд-

це. Какая жалость! Хотя всем своим существом воспринимала она Аюпа Камалетдинова как близкого человека, так и не смогли посидеть, поговорить не спеша. А почему она думает о нем в прошедшем времени? От Ленинграда до Уфы лету всего несколько часов, возьми и слетай! Ничто не мешает им встретиться, пока живы. Впрочем, думать о смерти и ей, и Аюпу еще рано!

Поняв, что больше не заснет, Лидия Николаевна встала, умыла лицо холодной водой. Выпила, достав из холодильника, какой-то сок – вкуса не почувствовала. Забралась в кресло, подтянув к себе согнутые в коленях ноги, и просидела так, пока за окнами не рассвело и не рассеялся туман. Текли чередой воспоминания, образуя на ее побелевшем под скупым северным солнцем лице то мелкие, то глубокие морщины – так порывистый ветер вызывает на поверхности моря то рябь, то волны. Ее до сих пор густые и длинные, обрамляющие синие глаза ресницы чуть заметно подрагивали.

Когда куранты пробили восемь утра, Лидия Николаевна Башкирцева, строго одетая, как и положено профессору медицинского института, уже сидела на любимой скамейке у моста через Неву. Здесь, на легком ветру, на приволье, казалось, развеются обрушившиеся на нее переживания.

Трудно сказать, сколько времени она просидела в раздумьях. Заставила ее встрепенуться давно знакомая, часто вспоминавшаяся мелодия. Сначала она подумала, что напела ее, забывшись, сама. «Не олень ли бежит со степной стороны...», – так начинается песня. Слова песни пересказала Лидии Николаевне по-русски одна из медсестер Таулинской больницы, поэтому она хорошо представляла судьбу девушки Зульхизы, выданной замуж в чужие края, тосковавшей там и в конце концов сбежавшей на родину. Но в эту минуту песня вырвалась не из груди Лидии Николаевны – негромко пел ее, глядя на Неву, облокотившийся на перила моста молодой человек в морской форме. «Господи, какое стечение обстоятельств! Сегодняшний – и неожиданно эта песня!..» Башкирцева закрыла глаза, и мелодия, изливавшаяся из груди моряка, унесла ее на башкирскую землю, к горным отрогам, напоминающим спины заснувших сказочных животных, к скалам, на которых по утрам клекочут беркуты, к речным долинам, где весной от аромата цветущей черемухи

может закружиться голова... «О, дорогая моему сердцу земля! Чья злая воля разлучила меня с тобой, лишила возможности восхищаться твоей красотой, наслаждаться вкусом твоего хлеба и воды, слышать милые с детства голоса и напевы? Почему судьба не позволила мне укорениться на твоей благодатной, впитавшей в себя древние сказания и песни почве, растить на ней молодую поросль? Стенающая в песне Зульхиза все-таки была счастливей меня. Она не чужая для этой земли и живущего на ней народа, она его родная дочь. Ее стенания понятны каждому башкиру...» Такие примерно мысли промелькнули в голове Лидии Николаевны, пока звучала взволновавшая ее мелодия.

Но вот песня смолкла. Башкирцева, испугавшись, что моряк сейчас уйдет, поспешно встала и приблизилась к нему.

– Простите, вы... из Башкирии?

Моряк обернулся к ней:

– Да, из Башкирии. – Вопрос, видимо, немного удивил его, но во взгляде не было отчужденности. Хорошо сложенный, смуглый синеглазый парень смотрел на Лидию Николаевну выжидающе, а ей казалось, что он вот-вот воскликнет: «Тетя Лида!» – и обрадованно протянет к ней руки. У нее в горле мгновенно пересохло, колени ослабли. Чтобы не упасть, ухватилась за стальные перила моста.

– Что с вами? – встревожился парень.

– Ничего... Немножко закружилась голова... Вам знакомы названия Таулы, Тиряклы?

– Очень даже! Я из Тиряклов.

– Абубакир, детка!.. – Лидия Николаевна ткнулась лбом в грудь остолбеневшего парня и заплакала. – Не узнал тетю Лиду? Ну, помнишь мост... несчастье... больницу?..

– Как не помнить?! Помню! Я на флот служить пошел и напросился в Ленинград в надежде найти, увидеть вас... Вы же моя вторая мама, Лидия Николаевна!

– Ой, сколько людей... судеб... – Башкирцева подняла голову, взглянула в осветившееся радостной улыбкой лицо Абубакира. – Бабушка твоя жива? Хашим, Мадина, как они? А Камалетдинов? Аюп Газизович, он...

– Он умер. В письме мне сообщили. – Абубакир еще не успел договорить как Лидия Николаевна, теряя сознание, безвольно уронила руки...

* * *

Саяф спешил доехать до Тиряклов пока не рассвело, а то вдруг увидят его люди возвращающимся из Таулов в такой час, и начнутся суды-пересуды. Это ему ни к чему, в особенности сейчас, когда его ждет новая должность. В молодости он вел себя неосторожно, если даже проделывал что-то, на собственный взгляд, скрытно, его тайна оказывалась шитой белыми нитками. Пора поумнеть!

Сегодняшняя ночь, проведенная с Галимой, мужского азарта ему не добавила, однако много чего в смысле карьеры и будущей жизни пообещала. Ради этого много кое-чем можно и поступиться. Еще в ту пору, когда он был мальчишкой, забредшая к ним в дом цыганка сказала его матери: «Мальчик у вас непростой. Башковитый. Большим начальником будет!» Должность председателя колхоза особо высокой Саяф не считает, душа жаждала и жаждет чего-то большего.

Приняв колхоз от Мирхайдарова, он решил отличиться, намного увеличивая государственные задания, если даже весь аул ополчится против него. Абдельахат чуть ли не на каждом собрании твердил: «Болота – аккумуляторы влаги, питают реки и речки, а речки – кровеносные сосуды земли». Тем не менее Саяф добился своего: осушили все болота в окрестностях Тиряклов, засеяли зерновыми культурами. Видя, что это не дает ожидаемого эффекта, Саяф сделал ставку на минеральные удобрения. Опять уперся Абдельахат: «Нитраты в неумеренных дозах – враги почвы, урожай, полученный таким путем, наносит вред здоровью человека!» Много сил отняло у Саяфа противостояние с главным агрономом, но опять он взял верх. Хозяин в колхозе – он. Его слово – закон. Свои речи на собраниях он подкреплял ссылками на постановления партии и правительства, и тут Абдельахат оказывался бессильным.

Отец Саяфа, красный партизан Сайфулла, вел агитацию в пользу сына. Нацепив единственную свою награду – медаль «За освоение целинных земель», старик ходил из класса в класс на встречи со школьниками. Рассказывал, как при его участии железной метлой вымели из аула кулаков, как сослали в Сибирь муллу и сбросили с мечети минарет. Поддерживаемый отцом, опираясь на свои знания и чутье, Саяф поднимался вверх «по пути, начертан-

ному партией». А что, разве не хочется и ему, одетым с иголочки, в шляпе с твердыми, не потерявшими форму полями, разъезжать, развалившись в казенной «Волге»? И чтобы в его кабинет, поблескивая икрами в разрезах юбки, постукивая по паркету туфлями на шпильках, заходила с бумагами стройная секретарша?

Здесь, в колхозе, что секретарша, что бухгалтер, что доярка – все пропахли навозом, бегут на работу напрямик из коровьего хлева и с работы опять туда же. Лишь одна Мадина среди них как-то ухитряется сохранять изящество, оставаться привлекательной, но попробуй подступиться к ней! Может, и удалось бы подступиться, кабы не охранял ее, обвив, как удав, Абдельахат. Говорят, человек сам кузнец своего счастья, но до сих пор смелости, что ли, не хватало Саяфу. Но ничего, все изменится, когда сбудется предсказанное Галимой...

Разбрызгивая мелкие лужицы, оставшиеся на дороге после ночного дождика, не включая фар, Саяф въехал в Тиряклы, остановил машину, едва не натолкнувшись на стоявший перед домом столб электролинии. Разминая затекшие ноги, зашел во двор. Когда уже ступил на крыльцо дома, вдруг услышал стон. Решив проверить, не случилось ли что со скотом, направился было к сараю, но тут же споткнулся о чье-то лежавшее на земле тело. Саяфа прошиб холодный пот, остатки выпитого в Таулах коньяка мгновенно выветрились. Он дрожащей рукой нашарил в кармане спички.

– Кто тут?

Свет вспыхнувшей спички отразился в широко раскрытых глазах его жены.

– Нагима?! Что с тобой?

Приподняв ее голову, он ощутил ладонями, что волосы у нее влажные.

– Нагима! Ты что, угорела в бане? Ай, какая незадача!..

Саяф бегом бросился на крыльцо, открыл дверь, включил лампочку, освещающую двор. Затем поднял жену, занес в сени, положил на старый диван. Одна рука у него почему-то стала липкой. Поднеся ее к свету, увидел, что вся она в крови...

* * *

Проводив Саяфа, Галима, удовлетворенная тем, что положила начало осуществлению хитроумного замысла, снова упала на свою постель. Здорово получается! Не приложив особых усилий, все она сделает руками Кыдрасова, Саяфа и других. Отомстит за украденное Ихсанбаем счастье его окружению. Галима чувствовала в себе небывалый прилив сил и энергии. Теперь ей не хватает только законного брака. Положение обязывает ее выйти замуж. Но не нужен ей первый попавшийся мужчина. Если уж заключать брачный союз, то с таким деятелем, как Кыдрасов, на худой конец – как Саяф. Чтобы, как говорится, была и голова на плечах, и огонь в очах. Вон иная никчемная бабенка случайно выскочит замуж за приличного мужчину и важничает: смотрите, мол, кто я и кто вы! Галима теперь, подобно Барсынхылу в сказке, сама может выбрать подходящую кандидатуру и пофорсить перед ней. Но прежде всего надо избавиться от свидетелей ее прошлой жизни...

Услышав, что на кухне из крана потекла вода, Галима приподняла голову:

– Самира?

– Чего тебе?

– Поди-ка сюда!

– Ты одна?

– А вот это не твое дело!

– Может, не мое, а может... – Самира со стаканом воды в руке прислонилась к дверному косяку спальни. – Этот... бугай колхозный, зачем он тебе опять понадобился?

– Самира! – Возмущенная тоном дочери, Галима поднялась, села в постели. – Яйца курицу не учат! Поняла?

– Поняла. – Самира, должно быть, решив, что этого короткого ответа достаточно, повернулась и ушла.

– Давненько ремня ты не пробовала! Где пропадала до трех часов ночи?!

– Это ты мне? – Казавшаяся в тусклом, падавшем с улицы свете огромной кудрявая голова Самиры вновь появилась в дверном проеме.

– Кому же еще! В доме никого, кроме тебя, нет.

– А-а... Я, мамочка, не виновата, что твои клиенты уходят не раньше трех часов ночи.

Взбешенная Галима, нашарив возле тахты тапочку, метнула ее в злоязычную дочь, но та успела отскочить и закрыть за собой дверь.

– Скотина! Из-за тебя... – Высказать остальное Галима не смогла, перехватило от гнева дыхание. Глубоко вздохнув, она вылила в бокал оставшийся на тумбочке от Саяфа коньяк...

* * *

Во время переселения в другой летний лагерь Мадина помогала пастухам, потому что путь предстоял долгий, пролегал через лес, а скот ближе к осени начинает дичать, и может разбрестись. Доярки уехали сразу после утренней дойки на грузовике. Они уже осваивают новое место, ставят треноги на кострови щах или складывают из камней временные печурки, наводят порядок в перетащенном на тракторной тяге жилом вагончике, а самые проворные, обустроив свой быт, наверно, побежали на ближайшие горные склоны собирать никем не тронутую дикую вишню.

Коровы, шагавшие поначалу нехотя, с ленцой, уразумев, что их гонят в сторону родных стойл, стали прибавлять ход, а непонятливые телки и прочий молодняк следовали их примеру. Собаки пастухов задирали чуткие носы, принюхивались к воздуху, должно быть, уловив принесенный ветром запах дыма и человеческого жилья.

Мадина, ослабив ремень давившего на плечо ружья, остановилась немного отдохнуть. Под приникшими к склону горы скалами и валунами торопливо струился ручей. Надо напоить коня. День стоит жаркий, неплохо будет, если сама ополоснется – сразу прибавится сил. Хорошо, что девочек отправила утром на машине. Кюнхылу два дня надоедала, просила позволить поехать ей верхом. Ну, чисто мальчишка, липнет к лошадям, будто родилась в седле. Но разреши ей – тут же накуксилась бы Кукхылу. По силам, не по силам – ни в чем отставать от сестры не хочет...

При подходе к ручью конь застриг ушами, заартачился, а Мадина услышала рычанье и, еще не успев осознать, что к чему, инстинктивно взяла ружье наизготовку. Похолодела, увидев на другом берегу волчицу, готовую защитить убегавших по тропке в чилижнике волчат. «Ах!» – то ли вскрикнула, то ли только подумала Мадина.

Нацелила ружье на приоткрытую пасть волчицы, приложила палец к спусковому крючку, – нажмет – и все, конец хищнице. Но вдруг вспомнила, как лежала, зарывшись в солому, и потеряла сознание, когда прямо над ней схватились не на жизнь, а насмерть две волчицы. Одна из них, одомашненная, спасла ее. В какую-то долю секунды промелькнуло это воспоминание в сознании Мадины и удержало ее от выстрела. Будь что будет! Она опустила дуло ружья вниз.

Еще какое-то время волчица смотрела на Мадину налившимися кровью глазами, затем побежала вслед за скрывшимися в чилижнике волчатами. Мадина вздохнула облегченно. Успокоила встревоженного коня, повела обратно к дороге. Оглянувшись, увидела, что волчица тоже оглянулась. Недоверие двух рожденных и растящих потомство на одной земле существ друг к другу побудило их оглянуться еще несколько раз.

* * *

Нагима пришла в сознание на третий после того, что случилось с ней, день. Шевельнула потрескавшимися от внутреннего жара губами:

– Где я?

– В больнице. – К ней склонилась девушка, в белом халате. – Вам что-нибудь нужно?

– Пить...

– Вам много пить нельзя. Врач не разрешает. – Медсестра смочила ее губы мокрой ваткой.

– Что со мной?

– И разговаривать много вам нельзя. – Сказав так, медсестра открыла дверь палаты. – Больная пришла в сознание, можете войти.

Нагима удивилась: вошли еще одна женщина в белом халате и двое в милицейской форме. Никогда еще не имела Нагима дела с милиционерами. За ними следовал Саяф. Лицо у него испуганное. Даже вроде бы постарел.

– Саяф... Как дети?

Саяф, присев на соседнюю пустую койку, буркнул:

– Подумала бы о детях до этого... Наделала дел!

– Ах, Саяф! У меня ведь все же... есть душа. Хоть бы прикинулся, что любишь...

– Вам нельзя волноваться! – женщина в белом халате нащупала пульс Нагимы и взглянула на милиционеров: – Можете задавать вопросы, но, пожалуйста, недолго...

Милиционер постарше кашлянул.

– Вы Нагима Шамсутдинова?

– Да.

Нагима смотрела вверх. Там из установленного на подставке флакона что-то капало через прозрачный пузырек в трубочку, которая тянулась к ее руке. Переливают кровь? Нагима вдруг вспомнила, как той ночью в бане полилась из нее кровь.

– Кровь! – вскрикнула она. – Спасите меня! Деточки мои!..

Медсестра обеими руками вцепилась в нее.

– Лежите спокойно, иголка выдернется! Для того и переливаем кровь, чтобы спасти...

– Душно... дышать нечем... окно...

Милиционер подступил к Нагиме совсем близко. Это он заслоняет воздух, не дает дышать.

– Кто сделал вам криминальный аборт?

– Душно...

– К бабке ходили?

– Ходила... – Нагиме казалось, что на ее грудь положили что-то тяжелое, холодное, и она не может сбросить с себя эту тяжесть, сил нет даже раскрыть рот, сказать что-либо.

– Уйдите, уйдите отсюда! – Это голос медсестры. – Доктор!..

Затем словно бы кто-то позвал ее к себе: «Нагима!» и снял тяжесть с ее груди...

* * *

Барсынбика после утреннего намаза вышла во двор. Хотела открыть дверь летней кухни, взглянуть на спящих там девочек, но воздержалась, опасаясь разбудить их. Все лето скучала по правнучкам, наглядеться теперь на них не может.

Услышав, что по двору кто-то ходит, из сарая подал голос жеребенок. Привел его Хусаин, сказал: «Пусть будет от меня подарок Кюнхылу в память о Саврасом. Она лошадей любит». Вот истинно добрая душа! И каких

только людей не повидала Барсынбика на своем веку!

Совершив омовение, она взяла посошок и, выйдя через заднюю калитку, направилась к склону горы, на котором расположено кладбище. Давно уж туда не ходила, не освящала молитвой последний приют своих близких.

Произнеся соответствующую молитву, Барсынбика открыла ворота кладбища, прошла внутрь. Вороны, обитающие на разросшихся над могилами березах, еще не проснулись, лишь две-три птицы захлопали крыльями и каркнули, известили остальных о появлении человека. Любят эти птицы места, где царит смерть. «Смерть не так уж страшна, — говорила Барсынбике бабушка. — Дерево тоже умирает, но остаются в земле семена, из них вырастают такие же деревья, которые рассеют тысячи новых семян. Если бы не было смерти, не обновлялась бы и не продолжалась вечно жизнь».

Барсынбика сначала остановилась у могилы Шахарбану. Могильный холмик уже сравнялся с землей. Выросший у изголовья куст сирени стоял, замерев в утреннем затишье, будто боясь шелохнуть увлажненные росой темно-зеленые листья. «Спи спокойно, сестрица! Бесконечно благодарна я тебе. Не было пятницы, когда я не прочла бы суру Корана, посвятив это твоей святой душе! Тебе, Шахарбану, выпало быть настоящей матерью моей Кукхылу...»

Затем Барсынбика подошла к высокому пока холмику могилы Дингезхана. «Много, много времени прошло с тех пор, как ты ушел из этого мира, но все еще являешься в мои сны. Ах, Дингезхан! Какая любовь соединила нас! Казалось, не налюбуемся мы, глядя друг на друга, и будет так до седых волос, до желтых зубов. Время не пощадило нас — превратило пламя любви в огонь ненависти, опаливший наши крылья, покалечивший наши души. Ты попытался найти спасение, начать жить заново, уйдя к другой женщине, но на почве, омертвленной проклятьем, жизнь новых ростков не дает, ты забыл об этом...»

Туман, скрывавший макушку горы, развеялся. Прочтя аят — заупокойную молитву — Барсынбика поднялась на самую вершину. Какой простор открывался взгляду отсюда! Барсынбика присела на каменный выступ, с удовольствием вдыхая напоенный запахами трав утренний воздух. Тиряклы лежали перед ней как на ладони. Тиряклы... За годы, прожитые здесь, аул стал для нее родным. Здесь

нашла она свою дочь и укоренилась. И сколько добрых людей встретила здесь! Сколько младенцев первой взяла на руки и запеленала, творя молитву о ниспослании им счастья! Скольким людям залечила телесные и, по возможности, душевные раны! Привыкла она к этому аулу, сердцем прикипела к нему.

Вон их дом и двор, превращенный стараниями Мадины и зятя в настоящий сад. Земля отвечает любовью тем, кто ее любит. Слава Аллаху, и Даут пошел в этом отношении в отца с матерью. Барсынбика чувствует: начали развеиваться черные тучи, нависшие над правнуком. Мадине она ничего не говорила, а сама очень тревожилась, день и ночь молилась, желая Дауту быстрого выздоровления. Теперь уверена, что он пошел на поправку, скоро вернется в строй. И Абубакир жив-здоров, за него она спокойна. О, Всемогущий, сохрани душу детки чистой и доброй! Сын за отца не отвечает, пусть жизненный путь Абубакира будет ясным, цели – высокими, сердце – отзывчивым!

Как ушла Барсынбика через заднюю калитку, так и вернулась через нее же. По тропе, ведущей мимо яблонь с уже зарумянившимися плодами, направилась к летней кухне: к пробуждению девочек вскипятит чай. И у самой горло пересохло. Однако намерение свое не смогла исполнить: во двор как раз входили Саяф с милиционером и мальчонкой лет семи-восьми.

– Ты Барсынбика Бураншина? – справился милиционер.

– Да.

– Есть к тебе несколько вопросов. – Сев на скамеечку, милиционер раскрыл полевую сумку, достал бумагу и карандаш. – Вот этого мальчика раньше видела?

– Вроде бы... Не твой ли это сынок, Саяф?

– Мой, – подтвердил Саяф, глядя на Барсынбику исподлобья. – Потому и пришел с ним.

– А-а... Значит, и мой. Я ведь помогла ему родиться...

Милиционер нахмурился:

– Давайте-ка не будем отвлекаться! Мать этого мальчика, Нагима Шамсутдинова, приходила к тебе?

– Ко мне многие приходят... – Барсынбика замялась, взглянула на Саяфа, боясь выдать тайну его жены. – Наверно, и Нагима заглядывала. Она же вместе с моей внучкой Мадиной в клуб ходила петь...

– Дело вот в чем... – Милиционер встал. – Нагима Шам-

сутдинова скончалась от потери крови после сделанного с твоей помощью подпольного аборта!

– Астагафирулла! – Барсынбика села на освободившуюся от представителя власти скамейку, поднесла к лицу ладони – начала молиться.

– Подойди-ка поближе, – приказал Саяф сыну и поставил его перед старухой. – Несколько дней назад ты приходил сюда с матерью?

– Да, – ответил мальчик, потупившись.

– Что ты видел?

– Ничего не видел.

– А что слышал?

– Мама сказала бабушке спасибо.

– За что? Бабка дала что-нибудь?

– Ничего не дала.

– И все же погубила человека! То, что содеяла руками, понесешь на горбу в ад, ведьма! – прошипел Саяф. Барсынбика, будто не слыша его, продолжала молиться.

– Придется тебе, бабка, поехать со мной, – сказал милиционер. Барсынбика торопливо завершила молитву, провела ладонями по щекам.

– Куда?

– В райцентр. В остальном следствие и суд разберутся.

– Да-да... – Барсынбика суетливо поднялась, позвала, обернувшись к окнам дома: – Абдельахат, выйди-ка сюда!

Появился Абдельахат. Увидев председателя с милиционером, удивленно вскинул брови:

– Вы... ко мне?

– Зятек! – Барсынбика приложила руку к его груди. – Тут вышло недоразумение. Меня забирает милиция. Пока не приедет Мадина, из дому не уходи. Девочкам скажешь, что я уехала в гости. Ненадолго. Аллах милостив, так и будет. Не испытав все, что предназначено испытать, человек в могилу не ложится. Пожалуйста, побудь сегодня дома, послушайся меня...

Вскоре милицейский «уазик» увез Барсынбику, оставив растерянного Абдельахата одиноко стоять у ворот...

* * *

Похоронив жену, Саяф привез из соседнего аула свою незамужнюю, неприглядную на вид старшую сест-

ру. Присматривать за детьми, варить еду из готовых продуктов много ума не надо, справится. Со временем он приведет в дом новую хозяйку, постарается жениться на женщине, к которой лежит душа. Его душа, понятно, лежала к Мадине. Однако она замужем, ее Саяф, не убрав с пути Абдельахата, в своем доме не увидит.

Старуху Барсынбику забрала милиция, это хорошо. Дальнейшая ее судьба – в руках Галимы. Узнав об аресте старухи, Галима нарадоваться не могла, не вспомнила даже ни разу, что Саяфа постигло горе, не выразила соболезнования. Думает, наверно, что он, раз овдовел, сразу же начнет ездить ночевать к ней. Как же, размечталась! Дважды в одну и ту же воду в реке войти невозможно. Чужда теперь Галима Саяфу и телом, и духом. Тем более, что рядом ходит Мадина, желанная, хотя покуда, к сожалению, недоступная. Галима и Мадина просто несравнимы.

«Дорого счастье, завоеванное в борьбе, – говорила, бывало, учительница Сарбиназ-апай, когда Саяф учился в школе, – а от упавшего с неба счастья толку нет». Жизнь – это борьба. Каждый борется за счастье по-своему. Совсем отказаться от Галимы Саяф не может. Нужный человек. Вот когда он станет вторым секретарем райкома, будет видно, как быть дальше. Пока надо действовать сообща. Галиме не нужны лишние свидетели, это на руку Саяфу.

Только что она позвонила ему:

– Поторопись, подтверди верность нашей любви!

Саяф встал, прошелся, матерясь, по кабинету. Дура, хочет убрать всех одним махом. Человек не дерево, чтобы взять и срубить. Стоп! Словно зарница во тьме блеснула в мозгу Саяфа заманчивая мысль. Абдельахат возвращается домой с полей поздним вечером всегда одной и той же дорогой. Возле дороги стоит сдвоенная береза. Подъезжая к ней, перед спуском под гору он выключает двигатель мотоцикла. Если оборвать проводок от аккумулятора к фаре... И свалить на дорогу один ствол березы... Сейчас, когда Барсынбику забрали в милицию, Абдельахат будет спешить к дочерям, мчаться сломя голову, налетит на сваленное дерево и... поминай, как его звали! А то ведь ишь как занесся! Вывел, дескать, неполегающие сорта пшеницы и ржи, получит по шестьдесят центнеров зерна с гектара, на всю республику прославится.

Держи карман шире! Колхозом руководит Саяф Шамсутдинов. Он пока жив, никому не позволит перешагнуть через свою голову. Вон Нагима взяла и окочурилась, судьба не посчиталась с тем, что у нее пятеро детей. Верно сказано древними: не избежавший рождения не избежит и смерти. Абдельахат уже надоел до чертиков не только Саяфу, но и руководству района. И в случае избрания Саяфа вторым секретарем не даст ему спокойно работать, а Мадина будет по-прежнему недоступна. Так что надо действовать!

* * *

Мадина, собиравшаяся поехать на ночь домой, вспомнила, что конь у нее захромал, а машина с вечерним надоем уже уехала. Придется переночевать в летнем лагере. Досадно! Абдельахат будет ждать, обещал к ее приезду истопить баню. А может быть, подождет-подождет и, несмотря на позднее время, примчится за ней на мотоцикле? Забавный он, ее Абдельахат: обращается с ней в бане, как с ребенком. Сам моет ей волосы, это доставляет ему удовольствие. Попарит, ополоснет прохладной водой, отправит отдыхать в предбанник. Наступает его очередь мыться... Не нарадуется Мадина: наладились отношения с мужем, ей опять все время хочется петь, и работа от зари до зари не тяготит.

Набегалась она за день, устала. Зашла в вагончик, растянулась на своей постели. Но сон ее не брал. Сердце все же не на месте. Попробовала прочесть молитву на сон грядущий, которой научила бабушка, — не помогло. Вышла под звезды, постояла у догорающего костра, прислушиваясь, не донесется ли издали рокот мотоцикла. Нет, не слышно. В лагере царит обычная для этого времени суток тишина. Только ручей, спеша к большой реке, журчит, поет свою вечную песню.

Лишь где-то в четвертом часу утра забылась Мадина в коротком сне. Поднялась вместе с доярками, проследила, все ли идет как положено. Присела выпить чаю, но не успела и чашку допить — выбежала из вагончика, услышав гул мотора. Удивилась, увидев «уазик» председателя. Раненько принесло хозяина! Может, после смерти жены с горя места себе не находит Саяф, вот и ездит? Однако из машины вышел его шофер.

– Здравствуйте, Мадина-апай... Вам надо сейчас же выехать в райцентр.

Мадина уставилась на сильно обеспокоенное лицо парня.

– Мне? Зачем?

– Абдельахат-агая ночью... увезли туда в тяжелом состоянии.

Не задавая больше вопросов, ошеломленная Мадина села в машину.

В Таулах на крыльце больницы встретил ее сам главврач, завел в свой кабинет.

– Мадина, сестрица, наберитесь мужества...

– Что случилось? Что с Абдельахатом?

– Что случилось – разберется милиция. Он попал в аварию, получил серьезную черепно-мозговую травму, потерял много крови.

– Где?

– Кажется, возвращался с работы. Фара мотоцикла почему-то не светила, налетел в темноте на упавшее на дорогу дерево...

– Он жив? Ему можно помочь? – Перед глазами Мадины завращались черные круги. Чувствуя, что может упасть, она ухватилась за спинку стула. – Пожалуйста... Он в сознании?

– Да, но состояние очень тяжелое. Вот вам халат. Прошу вас, постарайтесь около больного держаться спокойно. Идемте...

Увидев мужа, голова которого была вся – кроме глаз, носа и рта – обмотана бинтами, Мадина сдавленно вскрикнула.

– Мадина, душа моя, приехала? – еле слышно произнес Абдельахат. Он не открыл глаз, просто седьмым чувством уловил, что вошла она. И, наверно, лишь она услышала его слова. – Я очень... хотел... дождаться тебя...

Главврач и медсестра остановились поодаль, Мадина, стараясь сдержать слезы, наклонилась к мужу, коснулась губами его посеревших губ.

– Абдельахат, милый!.. – Ах, если б могла она исцелить его своим горячим дыханием, своими горючими слезами! Она все-таки заплакала.

– Не плачь... Я... счастливый человек... Меня любила самая красивая в мире, самая умная женщина...

– Абдельахат! Не уходи, Абдельахат! Я... – Плачущая Мадина не договорила, прервал ее шепот мужа:

– Спой мне у окна... как Давиду после моего ареста... «Ашкадар»...

Чего только не сделала бы Мадина в эту минуту, чтобы Абдельахат жил! Она насилу оторвалась от него, отошла к окну, и из ее груди полилась мелодия, рожденная любовью, тоской, безысходностью. Как должен любить человек человека, чтобы так запеть!

Главврач сунул руку в карман, достал носовой платок, поднес к глазам...

Холодеющие губы Абдельахата тронула улыбка.

– Спасибо, спасибо... – прошептал он. Третье «спасибо» осталось в его сердце, хранившем в течение всей жизни, до последнего удара, верность единственной женщине – Мадине.

Глава третья

В зал, где должно было пройти заседание суда, вошли Саяф с сыном. Затем – медсестра и участковый врач, вызванные, видимо, в качестве свидетелей. Мадина глянула на них лишь мельком. Главное для нее сегодня – увидеть бабушку, убедиться, что она жива-здорова. До суда они не виделись. У Мадины, навсегда прощавшейся с любимым, занятой похоронами, не было возможности приехать в райцентр, добиться свидания. Тогда она счет времени потеряла, день с ночью путала. Сердце разрывалось еще и оттого, что девочки, не веря случившемуся, каждый раз, когда открывалась калитка, смотрели с надеждой – не папа ли пришел? Хорошо, что дед рядом с ними. Он и все хлопоты по хозяйству на себя взял, и внучек старается отвлечь от горьких мыслей, то на речку их сводит искупаться, то вместе урожай в саду собирают.

«Доченька, живым надо жить, – сказал он Мадине. – Мне вот тоже казалось, что без Гульбану и трех дней не проживу...» Так он старался утешить дочь. Внезапная смерть зятя, конечно, сильно расстроила и его, но старик бодрился, чтобы сохранить волю к жизни в семье.

Верно замечено, что беда одна не ходит. Мадине и в дурном сне не могло присниться нынешнее положение бабушки. Не привлекавшуюся к ответственности даже в сталинские времена старуху-знахарку сегодня, когда льды

той суровой поры вроде бы растаяли, будут судить. Есть, видимо, тут какая-то скрытая причина. Кому-то надо убрать Барсынбику со своего пути. Говорят, страшней рассерженного это действующий тихой сапой. Да-да! Начало этим бедам, включая и гибель ее мужа, положено чьим-то коварством. Бывало, если заходил разговор о причинах возникновения каких-либо запутанных, трудно объяснимых обстоятельств, Абдельахат говорил, смеясь одними глазами: «Ищите женщину!» Никому Мадина не переходила дорогу, ни через чью голову не переступала. Кому же понадобилось испортить ее наладившуюся в последние годы жизнь, порушить ее оплаченное страданиями счастье? Ах, человеческая душа — не книга, которую можно раскрыть и прочитать. Вокруг тебя столько приветливых лиц, столько слышишь ты ласковых слов — о ком можешь подумать плохо?!

— Здравствуй, дочка!

— Разговаривать в суде не разрешается!

Погруженная в свои мысли Мадина вскинула взгляд. Барсынбика направлялась в сопровождении милиционера к скамье подсудимых. Лицо бабушки было торжественно-спокойно, будто предстоящее судебное разбирательство ее не касалось, будто она выше всей этой мирской суеты.

— Встать! Суд идет!

Мадина, подчинившись приказу, прозвучавшему в этом зале, может быть, в тысячный раз, встала...

* * *

«Мое благополучие — это и твое благополучие!» Саяф, приняв слова Галимы за чистую монету, кажется, ошибся.

Словно впервые увидев потемневшие от табачного дыма обои, он оглядел свой кабинет. Задержал взгляд на растущем в кадке у окна деревце лимона. «Бэй, оно, оказывается, расцвело! Цветет, а плодов не дает». Абдельахат просил деревце для проведения каких-то опытов, но Саяф не отдал: «Сидит — и пусть сидит, а плоды его на кой мне нужны?»

Саяф встал, подошел к окну. На березе за окном кое-где виднелись желтые листочки. Тихонечко, незаметно

подкрадывается осень. Ждешь лета, ждешь, потом оглянуться не успеешь, как оно уже прошло. И вся человеческая жизнь проходит в ожидании лета. Ради этого короткого промежутка времени терпишь слякотную осень, холодную зиму, хлопотную весну. И Саяф жил в ожидании самой благоприятной поры жизни – своего рода лета. Ради него решился исполнить чрезвычайно опасный замысел Галимы Мингажевой. Ладно, смерть Абдельахата в милиции признали несчастным случаем, сваленную на дорогу березу списали на озорство неведомых мальчишек. Ошеломленная гибелью мужа и арестом бабушки, Мадина докопаться до правды не в состоянии. Галима дала слово отправить старуху Барсынбику в места, откуда она в Тиряклы уже не вернется. Только вот дело с назначением Саяфа вторым секретарем райкома затягивается. Впереди – жатва. В такое ответственное время кресло секретаря, ведающего сельским хозяйством, не должно бы пустовать.

Звонок телефона подействовал на Шамсутдинова, как ожог. Она! Галима Мухаррямовна. Саяф должен как-то взять себя в руки, разговаривать спокойно.

– Слушаю!

– Тут, Саяф, такое дело... На должность второго выдвинута другая кандидатура...

– Как?!

– Ты уж сильно не расстраивайся. Странная смерть твоей жены вызвала неприятные разговоры. Ну, сам понимаешь...

– Слушай, ты!.. – С языка Саяфа едва не сорвалось лишнее. – Когда встретимся?

– Постой... – Голос Галимы понизился почти до шепота. – Не бесись. Работай, как работал. Пусть пройдет суд над этой ведьмой, народ успокоится...

– Черт! – Саяф выдернул из-под бумаг промокашку, вытер выступивший на лбу холодный пот. – Выходит, я зря старался?

– Нет. Поговорим об этом потом, когда немного освобожусь. Пока не позову...

– Понятно...

Саяф долго сидел, зажав в руке телефонную трубку, в которой звучали короткие гудки. Затем в ярости швырнул ее на стол.

– Сука!

Выкрикнув это, немного успокоился. Сам тоже хорош! Разве можно доверять женщинам вроде Галимы?

Саяф взглянул на настенные часы. Десять утра. Надо сходить в школу – вызвали по поводу поведения сына. Дети будто только и ждали, когда мать умрет, – как с цепи сорвались. Думая о покойной жене, Саяф вновь подошел к окну. Вдалеке был виден дом под железной крышей.

Тянет его к хозяйке этого дома – Мадине. Пока был жив ее муж, не представлялось возможным даже заговорить с ней на эту тему. Теперь она одинока. Старик Хашим – опора слабая, прошло его время. Сыновья – в армии. Девочки-двойняшки еще малы. Пришла пора произвести разведку, выяснить, как Мадина настроена жить дальше. Надо только найти правильный подход. А потом уж он сумеет приручить ее. Старинная мудрость гласит: лошадь усмиряй арканом, сам стремись стать тарханом. Хоть и не тархан пока что Саяф, но и не последний в этом мире человек. В Мадине еще кровь играет, как в яловой кобылице, долго жить в одиночестве не сможет. А кто из крепких здоровьем и холостых мужчин годится ей в мужья? Только Саяф. Саяф Шамсутдинов. Сейчас он свободен. Не возьмут его на аппаратную работу – особо сожалеть не будет, лишь бы Мадина не дала от ворот поворот. Если подойти к ней вдруг, не подумав как следует, разговор не получится. Надо сначала подослать к ней кого-нибудь, чтобы выведал, о чем она думает, какие у нее планы на будущее. Кто на это способен? Рауза! Вот кого можно использовать в этом деле. Как говорится, у глупого не спрашивай, он сам тебе все расскажет. Надо сблизиться с Раузой, и она вызнает и выболтает все, что тебя интересует. Нелишне будет уже сегодня навестить ее. Сразу после посещения школы!

* * *

Шангарею прежде не доводилось участвовать в похоронах. Правду сказать, он побаивался селения мертвых. Если бы там лежал его отец, Ишмухамет, наверно, ходил бы туда, а так... Мадина решила похоронить Абдельахата не на кладбище, а близ места его гибели.

Из-под горы, на которой кто-то свалил на дорогу один ствол сдвоенной березы, бьет родник. Неподалеку от этого родника и выкопали могилу. Шангарей тоже копал. Для погребения «того, на ком земля держалась». Это Рауза так говорила: «Абдельахат не обычный мужчина, он из тех, на ком земля держится». Теперь она молчит. Придет на бывшую усадьбу Магинур, посмотрит на оставшиеся без хозяина колосья, на раскатившиеся по опытному участку арбузы, дыни, на кисти наливающегося соком винограда и вдруг согнется или упадет на землю и затрясется в плаче. А Шангарей не плачет. Не умеет плакать. Только щемит у него в груди в том месте, где ноет, когда вспомнятся отец или Гульбану.

И еще... Померк после смерти Абдельахата белый свет. Солнце раньше светило что есть мочи, теперь стало сумеречно: Наверно, Мадина вместе с мужем похоронила и солнце. Так кажется Шангарею. И зябнуть он начал. Попробовал истопить баню Магинур, превращенную им в свой «кабинет», – не помогло. Пришлось надеть шубу и валенки, хотя деревья еще стоят зеленые. Рауза, увидев его в таком наряде, хлопнула себя по ляжкам:

– Ты что это опять надумал, Шангарей?!

– Холодно. Видать, шолнце жарыли в могилу Абдельахата.

– Несешь пустое!

– Правда. Шхожу туда.

– Смыться, я гляжу, собрался. А коз кто будет прогонять?

– Я их на огород Шаяфа жагнал.

– Иди ты! Чем Саяф-то тебе досадил?

Шангарей не ответил. Ни одному его слову не верит Рауза и объяснению, почему загнал коз на огород Саяфа, не поверит. Рассказал бы об этом Хашиму, да обида на него до сих пор не прошла: обещал отдать Гульбану ему, Шангарею, но так и не отдал. Мадину расстраивать не хочется – опять будет плакать. Вот Барсынбика его поймет. Да-да! Как только вернется, расскажет ей Шангарей про свой сон. Во сне спросил он у Абдельахата: «Кто тебя убил?» Абдельахат указал пальцем на дом под зеленой крышей, в котором живет Саяф: «Он». Больше рассказать об этом некому. Кюнхылу с Кукхылу еще маленькие. Правда, если вернется из армии Даут, ему мож-

но открыть этот секрет. Эх, привез бы он ружье! Тогда бы Шангарей в коз – бах, бах! И в Саяфа – бах! Представив, как Саяф кувыркнется на землю, Шангарей сам же изобразил это.

– Что ты делаешь? Одежду ведь извозишь! – закричала Рауза. – Идем пить чай, проголодался, наверно.

– Пей шама, Раужа-эпшей! У меня дел – во! – Шангарей провел ребром руки по горлу.

– Ай, Аллах мой! Если живут на свете два глупца, так один из них Шангарей, другой – Хусаин! Солнце человек потерял! А над головой у тебя что, отцова плешь?

Оставив Раузу горестно причитать, Шангарей вышел на улицу и пошагал в сторону горы, которую в ауле отныне будут, наверно, называть Абдельахатовой горой.

* * *

– Признаете себя виновной в смерти Нагимы Шамсутдиновой? – Вопрос судьи был адресован Барсынбике.

– Нет. – Спокойный ответ бабушки, стоявшей опираясь на посошок, немного успокоил Мадину. – Я такими грешными делами никогда не занималась.

– А какими делами занимались? – Женщина-судья вперила в подсудимую язвительный взгляд. – Разве человек, не занимающийся противозаконной деятельностью, стал бы скрываться под чужим именем и фамилией, а, Бураншина? Молчите? Из-за вас осиротели пятеро детей!

– Закон в ваших руках. Не мучайте ни себя, ни других. Приговор вы заранее вынесли, зачем канителиться? Объявляйте!

– А вот это не ваше дело, Бураншина! – Судья в досаде бросила карандаш, который вертела в руках, на стол. На ее лице выступили красные пятна. – Смотрите-ка, за нас решать начала!

– Ай, дочка, я ведь это жалея тебя сказала. Дома у тебя муж лежит больной, я и подумала, что лучше бы около него посидела, чем терять время со мной. Приговор ты все равно не изменишь, иначе тебя не оставят судьей на новый срок.

Все сидевшие в зале напряглись. Судья вновь взяла в руку карандаш – рука у нее дрожала. Упитанный проку-

рор, глянув поверх очков на Барсынбику, затем на Мадину, сказал:

— В моей практике еще не было случая, чтобы человек торопил с вынесением приговора самому себе. Возимся тут с людьми, которым место в психбольнице.

— Верно говоришь, сынок, — обернулась к нему Барсынбика. — Наши с тобой пути сойдутся в названном тобой месте.

— Ха-ха-ха! Если не завершим заседание поскорей, эта старуха вынесет приговоры всем нам!

Мадина удивленно подумала: бабушка все предвидит, способна любому заткнуть тут рот, почему же не защищает себя, не пытается избежать несправедливого приговора? Держится спокойно, будто здесь собираются отправить ее в гости. Не выдержала Мадина, подалась вперед, к Барсынбике.

— Олэсэй! Ты же не виновна! Расскажи, зачем Нагима приходила к тебе!

— Вам, Ирназарова, не предоставлялось слово!

Замечание судьи смутило Мадину лишь на миг.

— Олэсэй?!

— Не надо, Мадина, не заступайся за меня. То, что предназначено пережить мне, не должно остаться вам!

* * *

Окончания судебного заседания по делу Барсынбики Галима ждала с нетерпением, приготовив у себя в гостиной стол с угощениями. Не думала она, что заседание затянется надолго. Судья Зайтуна Гиззатова бывала у нее дома и раньше, но тогда они накоротке пили чай на кухне. Эту женщину с больным мужем и тремя детьми на свою сторону Галима склонила без особого труда. В кабинете Гиззатовой висит плакат: «Судья руководствуется законом и только законом!» На деле же и суд, и прокуратура, и милиция подчиняются Ее величеству партии. За время своей работы в аппарате райкома Галима хорошо это поняла. Проворачивала кое-какие не вполне законные дела и с помощью Зайтуны-ханум. Помимо всего прочего они — дальние родственницы. Так, седьмая вода на киселе, но при необходимости Галима может воспользовать-

ся в своих интересах и таким родством. Хочешь жить — умей вертеться!

Пока что у Галимы почти все идет в соответствии с ее желаниями и замыслами. Абдельахат отправился к праотцам. Старуха Барсынбика проведет остаток жизни в сумасшедшем доме. Хоть соловьем она там заливайся — никто не придаст ее «песням» никакого значения. Остается Мадина. Добить доверчивую, простодушную «подружку» Галиме и в копейку не встанет. Были бы живы-здоровы и верно служили бы ей люди типа Саяфа. Только вот с кандидатурой на должность второго секретаря, похоже, получилась осечка. Наверху намереваются прислать своего человека. А коли так, и Кыдрасов, возможно, долго тут не задержится. Это Галиме не нравится. Она сделала карьеру, держась за полу Кыдрасова. Если он уедет...

Галима почувствовала озноб, потянулась к висевшей на спинке стула пуховой шали и... обнаружила под ней галстук. Синий с желтыми полосками галстук, подаренный ею Кыдрасову. Специально для него купила, когда отдыхала в Крыму. Как он сюда попал? Кыдрасов последний раз был у нее почти месяц назад. Самое странное, позавчера она видела этот галстук у него на шее. В райкоме.

Застывшую с галстуком в руке Галиму заставил вздрогнуть зазвеневший в прихожей звонок...

* * *

Шангарей быстро дошел до обнесенной голубой решеткой могилы. На установленном в изголовье Абдельахата камне выбита надпись. Но Шангарей не умеет читать. Впрочем, ему это и не нужно. Он и так все знает. Люди считают его глупым, а сами не знают и половины того, что известно ему. Да, Шангарей знает и видит больше, чем другие. Вот он видит, что от могилы Абдельахата исходит сияние. Как от кургана, в котором лежит аулия. Аулия значит святой. Когда Шангарей был еще маленьким, мать привела его на этот курган и сказала: «Если ляжешь тут и поспишь, то выздоровеешь, детка...» Поспал он там, нет ли — Шангарей не помнит. Но запомнилось, что от заросшей ковылем могилы святого исхо-

дили свет и тепло. Ему стало даже жарко, так жарко, что кости, думал, растают.

Вот и сейчас, как только он сел, прислонившись спиной к голубой решетке, на него повеяло теплом. Тепло разлилось по всему его телу. Как хорошо! Будто он, завернутый в облачко, отправился в путешествие по синему небу. Внизу — Тиряклы, гуси, куры, телята, ягнята, жеребята, коровы, лошади, люди, а он — высоко-высоко над ними. Ни злые гусаки, ни собаки, ни потомок колхозного племенного быка Гифрита по прозвищу Дракон до него не дотянутся. Недавно, когда он отгонял от опытного участка коз, злющий козел Саяфа сбил его с ног, боднув сзади. Теперь и козел ему не страшен. Эх, не смог он взять с собой в полет девочек Мадины. Особенно нравится ему Кукхылу. Она точь-в-точь как Гульбану...

Удивительно: Шангарей летит по небу, в то же время сидит на земле, будто прилипнув к ней отяжелевшим телом, оторваться от нее не может. Когда-то он любил смотреть, как маленькие мальчишки — Хашим, Ихсанбай и другие играли в игру «Попробуй сдвинь!» Иногда и его, Шангарея, брали в игру. Игра была такая: чья-нибудь бабушка садилась на травку и, изображая колдунью Мэскей, говорила: «Я головой уперлась в небо, корнями вросла в землю, а ну-ка, детки, потяните меня, попробуйте сдвинуть с места!» Мальчишки тужатся, пыхтят, но разве сдвинешь с места человека, которого держат и небо, и земля?

Таким вот человеком чувствовал себя сейчас Шангарей. Тело его врастало в землю, а душа взлетала все выше. С высоты он видел не только Тиряклы — даже мелкие, как спичечные коробочки, дома Таулов и себя, величиной с куклу, сидящим у сияющей могилы Абдельахата видел...

* * *

— Кто из нас старший, кто младший — нам неведомо, — сказал Галяутдин брату-близнецу Валяутдину. — Если я умру, ладно, ты похоронишь. А если раньше ты уйдешь? Случись, что буду в это время в запое, так и запамятовать могу, то есть в голову не придет похоронить тебя.

— Неужто не придет? — уставился на брата Валяутдин,

встопорщив жиденькие усы. – А вапще-то может статься. В Сабаклах мать одного алкаша пять дней пролежала мертвая. Завоняла. А сын, когда люди пришли посмотреть, отчего от них смрад идет, говорит, не знал, что умерла.

– Вот я и говорю – всяко может случиться. Ты здоровье потерял, горюя из-за меня, так давай я, пока жив, хоть одно доброе дело сделаю для тебя: выкопаем заранее на двоих одну могилу, может, тебе достанется.

– Могилу, дурак, только для умершего копают. – Валяутдин перевернулся на другой бок. – Нашел себе заботу!

– Нет, ты послушай! Когда мы были молодыми, наш аульный мулла о могиле для себя заранее позаботился. Он что, тоже был дурак?

– Кто его знает...

– Мулла разбирался что к чему. Мы с тобой за свою жизнь немало грехов накопили. Ты пить не пил, зато свинину ел. Хоть перед смертью должны загладить грехи благочестивыми поступками.

– Думаешь?

– Бэй, как в нашем возрасте о Судном дне не думать?

Пришли братья к единому мнению и вскоре на краю кладбища принялись копать под развесистой березой могилу. Земля оказалась на удивление мягкой: лопату можно было вогнать в нее одними руками, не нажимая ногой.

– Кто-то из нас безгрешный, то ли ты, то ли я, – сделал из этого вывод Галяутдин. – Можно сказать, святой...

– Наверно, ты, – усмехнулся Валяутдин. – Ты ведь всю жизнь от молитвенного коврика не отрывался. Творил намаз, не поднимая головы.

– Не смейся, братец! – Галяу, прислонив лопату к березе, принялся сворачивать цигарку. – Вот слышал я байку... Умер один мужик вроде меня. Знамо, в рай не попал. В ад, значит, угодил. А там огонь клокочет. Видит мужик: из огня голова их аульного муллы торчит. «Эй, хазрет, – сказал мужик, – раз и ты тут горишь, кто уж со мной считаться будет?» А мулла ему: «Я-то что, посмотри-ка, на чьих плечах я стою!» Посмотрел мужик повнимательней, и что он видит? Стоит мулла на плечах целиком погруженного в огонь ахуна, ведавшего мусульманскими приходами всей округи, то есть начальника муллы. Выходит, братец, дело не только в том, что ты молишься или выпиваешь...

– В таком случае тебе открыта прямая дорога в рай.

– Насчет этого поговорим, когда маленько поправлю голову. Трещит, зараза.

– У меня денег нет.

– А я что, денег у тебя прошу?

Кладбище расположено на склоне горы. Может, никто из жителей аула не заметил Галяутдина и Валяутдина, заслоненных свесившимися ветвями березы, а им все вокруг было видно как на ладони. И могила Абдельахата отсюда была видна. Что-то, лежавшее там, у голубой ограды, привлекло внимание братьев.

– То ли теленок, то ли человек, – сказал Валяу.

Более зоркий Галяу определил:

– Человек.

– С чего бы там лежал человек?

– Может, Мадина-килен пришла туда и потеряла сознание?

– Мадина в Таулах. На суд над Барсынбикой уехала.

Любопытный с детства Валяутдин предложил:

– Айда, сходим туда, посмотрим...

– Могила ведь еще не готова. Дальше – глина, подкопаем немного и нишу сделаем.

– Лежать, так лучше в мягкой земле. Не хочу в глине, она холодная.

– Все-таки глубже надо!

– Ладно-ладно, главное – умереть, а там уж докопают...

Увидев, что у могилы Абдельахата спит Шангарей, братья не удивились. Только вот сколько ни будили, дурачок и не шевельнулся. Так-то он не озябнет, тепло одет – в шапке-ушанке, в шубе, в валенках. Но...

– Не то умер?

– Ну да уж! – Галяутдин расстегнул шубу Шангарея, приложил ухо к его груди.

– Бьется сердце?

– Не слышно.

Валяутдин тоже лег, послушал.

– Д-да... Н-не бьется...

* * *

Весть о смерти Шангарея подействовала на Раузу как гром с ясного неба.

— Аллах мой! — запричитала она, ударившись в слезы. — Что мне делать? К кому обратиться за помощью? У Хусаина теперь свободных лошадей нет. Может, к Хашиму сходить, он на конюшне запряжет?

— Рауза-апай, слишком уж сердце не надрывай! — Галяутдин топтался возле нее, заходя то слева, то справа. — Мы сейчас... Ты это... перекусить спроворь, ну и, — тут Галяу склонился к ее уху, — опохмелиться. Остальное — наше дело.

— Ладно тогда. — Рауза высморкалась, вывернув подол платья, затем осушила уголком платка слезы. — Такую малость обеспечу. И опять запричитала: — Кто бы мог подумать, что жизнь Шангарея будет так коротка? Достаточно ли я заботилась о тебе, бедняжечка мой? Хорошо, если не ушел с обидой на меня...

* * *

Когда уложили тело Шангарея на подводу, Галяутдин, взявший на себя роль старшего, сказал Валяутдину:

— Ну вот, и лошадь, и телега быстро нашлась, и могила готова.

— Как то есть готова?

— Так ведь, кустым, могила, которую мы давеча выкопали, выходит, Шангарею была суждена. Бог нас надоумил.

— Ладно ли будет так-то? Не для него копали.

— Для кого бы ни копали — кладбище одно на всех. Левей ли на пять шагов, правей ли — какая разница? Шангарей никому зла не причинял, не пил, не сквернословил, с женщинами не баловался, к тому же круглый сирота. Пускай ляжет в мягкую могилу.

— Ты так думаешь?

— Знамо! Еще когда копали, видя, что земля попалась мягкая, как пух, я засомневался, что столь хорошее место предназначено для нас.

— Что ж... Только ведь, агай, надо еще обмыть тело и завернуть в саван.

— Э, кустым! — Галяутдин, хорошо знавший, что слово «агай» применительно к нему брат употребляет лишь в исключительно серьезных случаях, будто подрос на целую голову. — Кто же теперь покойного в саван заворачивает? Кто ему саван приготовил? Зачем вгонять Раузу в

расход? Она и так, бедная, столько на него потратилась! Урусы умерших в одежде хоронят. Наверно, знают, что делают. Они не глупей нас. Потому вся жизнь теперь поихнему идет. И заупокойную молитву в ауле никто не прочтет. Барсынбика прочла бы, да власть ее замела. Что до обмывания, так это вопрос не столь уж важный. Рауза Шангарея каждую неделю с криком-шумом в баню мыться загоняла, я сам слышал. Так что покойного лучше как можно скорей отправить в вечную обитель. — Притомленный вдобавок к головной боли долгим высказыванием, Галяутдин примостился на краю телеги. — Садись, кустым, с другой стороны. Поехали! Нельзя томить труп, предадим, пока не начал портиться, земле. Наш с тобой срок, значит, еще не наступил. Н-но, скотинушка! Поторапливайся! Как бы суп у Раузы не загустел и сама она не заждалась. Ждать ведь очень трудно...

Видя, что брат вознамерился направить лошадь прямо на кладбище, Валяутдин перехватил вожжи.

— Погоди-ка! Надо сперва хоть в медпункт заехать. Пускай фельдшер его посмотрит. А то кто знает...

— Э, пока ты произнесешь слово «бисмилла», рядом еще один человек может умереть! Совсем не думаешь обо мне. Голова же у меня болит!

— Не умрешь. Она у тебя всегда болит, — отрезал Валяу, решив взять старшинство на себя.

В медпункте, расположенном на окраине аула, на месте оказалась только молоденькая медсестра. Она опасливо подошла к лежащему на телеге мертвецу, тронула его запястье, проверила пульс.

— Мертв. Сердце не бьется. Фельдшер в районе, справку напишет, когда вернется.

— Нам, сестричка, справка не нужна. А ему, — Галяутдин указал подбородком на покойного, — тем более. Это тут, когда поедешь на базар продавать мясо, спрашивают справку, а там нужды в ней нет.

— Что ж вы теперь будете делать? — Девушка смотрела на братьев растерянно.

— Похороним его с благословения Всевышнего. Без благословения никак нельзя. — Несколько повеселевший оттого, что дело в медпункте завершилось так быстро, Галяутдин вспрыгнул на свое место в телеге. — Айда, братец, с Богом!

* * *

Хотя время уже перевалило за полдень, Мадина во дворе дома, в котором приняли ее на постой, оседлала своего коня и отправилась в Тиряклы.

Бабушка, прощаясь с ней после суда, сказала: «Не горюй из-за меня, не дай угаснуть огню в своей душе, не отгораживайся от девочек пологом печали! Чтобы достичь заветных целей в этом мире, надо быть сильной». Ни слезинки не обронила Барсынбика перед Мадиной, еще раз, садясь в машину, бросила любящий взгляд и уехала. Верней, увезли ее...

Мадина погнала коня по проселочной дороге в сторону Куктау, решив попутно заскочить в летний лагерь животноводов, – неделю с лишним не наведывалась туда. Скоро уже наступит срок вернуть стадо на ферму. Как летит время! Давно ли она, бабушка, отец, Давид и девочки на поляне, покрытой нежной травкой и усеянной первыми цветами, участвовали в празднике Каргатуй!..

На подъезде к летнему лагерю ей встретились два пастуха, искавшие отбившуюся от стада корову. Мадина натянула поводья, поздоровалась.

– Как дела, все ли в лагере благополучно?

Пастухи, конечно, знавшие о свалившихся на нее бедах, поспешили успокоить ее.

– Все идет по-прежнему, – сказал старший из них по возрасту, Сайгафар. – Надои не упали. Доярки по очереди ходят домой отдохнуть...

– А вы?

– Нам пока не удается. Галяу опять... – Сайгафар выразительно щелкнул себя по кадыку. – А Валяу его караулит, чтобы спьяну пожар не устроил или еще что... Но ничего, мы справляемся. Вот только Пеструшку отыщем – видели, в какую сторону ушла – и все будет в порядке. Так что ты не беспокойся, поезжай домой, отдохни, видим, устала.

Мадина согласилась, подумав, что надо еще заехать к могиле Абдельахата.

На горе у одинокой теперь березы остановилась. Листья дерева дрожали, будто озябнув, и, казалось, пожелтели, хотя леса вокруг стояли еще зеленые. Преодолев какой-то безотчетный страх, Мадина взглянула вниз,

туда, где лежит ее Абдельахат. В душе у нее немного потеплело, когда увидела, что ограда могилы покрашена голубой краской. Значит, кто-то приходил, позаботился, не оставляли ее любимого в полном одиночестве...

Спустившись вниз, зашла в ограду, взяла с могильного холмика горсть земли, приложила к груди. Научила Мадину этому у могилы ее матери, Гульбану, бабушка Барсынбика.

– Прижми к сердцу, прижми, – сказала тогда бабушка. – Могильная земля остужает, оттягивает на себя тоску, а то как бы не осела она желтухой в твоей печени.

Ученые доктора могут посмеяться над словами бабушки, но ведь помогают ее советы, легче становится на сердце...

Коня Мадина расседлала на ферме, отпустила, стреножив и повесив на шею ботало, пастись. Домой пришла, еле держась на ногах. Не подала голоса ни отцу, занятому чем-то в саду, ни дочкам, разговаривавшим в дальней комнате, – легла на свою кровать немного отдышаться. Сил, казалось, не было не то что разговаривать – даже жить. Измучила, измотала, опустошила ее за последние дни немилосердная судьба. Если бы рядом была бабушка, возможно, легче перенесла бы Мадина боль утраты Абдельахата. Не будет хватать ей теплого, ободряющего взгляда бабушки, ее укрепляющих дух слов...

Из соседней комнаты послышалась песня:

Шаль вязала, шаль вязала,
Шаль вязала не спеша...

– Кюнакес, ты, когда поешь, не раскрывай рот слишком широко. Мы ведь про легонькую шаль поем. Ее вяжут из тонких пуховых ниток, дунь на нее и полетит...

– Можно, что ли, петь, не раскрывая рот? – обиделась Кюнхылу.

Мадина едва не рассмеялась: так забавны были «режиссерские» наставления Кукхылу и обида Кюнхылу.

– Если б ты пела о войне или же о буране, другое дело... – продолжала Кукхылу.

– Будешь придираться, так я совсем не буду петь!

– Ну ладно, Кюнакес, – смягчилась Кукхылу, – не обижайся. Давай уж споем. Ты первым голосом, я – вторым.

...Мне бы с милым повидаться –
Не томилась бы душа...

Допев песню, девочки на некоторое время примолкли. Чистые детские голоса, берущая за сердце мелодия взволновали Мадину, на глаза навернулись, казалось бы, уже выплаканные досуха слезы.

– Кукеней, а ты с кем хотела бы повидаться?

– С папой...

– Я тоже... – Обычно не очень-то поддававшаяся печали Кюнхылу тяжело вздохнула. – И еще с бабушкой, братьями...

– Кюнакес, сказать тебе что-то?

– Скажи.

– Если не будешь смеяться.

– Думаешь, больно мне хочется смеяться? – Обидевшаяся Кюнхылу задышала учащенно.

– Тогда скажу. Мне кажется, я стала взрослой.

– Как папа и мама?

– Нет. Еще старше. Знаешь, почему? Маме без папы будет трудно. Поэтому.

– И теперь ты не будешь играть со мной?

– Может, и не буду.

– Мне страшно, Кукхылу!

Услышав, что Кюнхылу заплакала, Мадина вскочила с постели, позвала:

– Девочки! Доченьки!

– Мама! Мама приехала!

Мадина попеременно обнимала кинувшихся к ней дочек, целовала излучавшие неподдельную радость лица, оглаживала, ласкала их.

– Соскучилась я по вам, мои маленькие! – Когда все трое успокоились, Мадина снова легла, уложила девочек рядом с двух сторон. – Ну, как вы жили?

– Кукхылу... – начала Кюнхылу и запнулась. – Нет, не скажу...

– Что случилось, Кукеней? – Мадина повернулась к дочери, лежавшей притихнув, устремив взгляд в потолок.

– Раз начала, договори, Кюнакес...

– И договорю! – Кюнхылу, распалившись, села. – Мама, Кукхылу вырезала цветы из твоего кашемирового платка и прилепила к своему белому платью!

– Это правда, Кукхылу?

Кукхылу ответила не сразу. Сказала через некоторое время, не отрывая глаз от потолка:

– Прости, мамочка. Нужно было концертное платье, раз перед людьми выступать...

– Перед людьми?

– Было очень грустно, поэтому мы решили устроить концерт. Тут, у нас во дворе.

– Для кого же вы его устроили. Кто смотрел?

– Дедушка, Рауза-инэй, Шангарей, еще соседские мальчики и девочки.

– Всем понравилось, – добавила Кюнхылу. – Кукеней пела, я танцевала, читала стихи. Будто артисты.

– Мама... – Кукхылу мягко прикоснулась к маминой руке. – Ты из-за платка не горюй, мама. Я тебе привезу из Италии платок покрасивей.

– Из Италии?

– Да. Певицы ведь ездят в разные страны. Я нашла на карте Италию. Буду петь там. И в Париже...

– Ох ты, мечтательница моя! – Мадина прижала дочку к груди, почувствовала, как бьется ее сердечко. – Пусть твое желание придется на миг, когда ангелы произнесут «аминь!»

– Ты, Кукеней, уедешь так уедешь, а я тут останусь. Буду выращивать самых лучших скакунов. В жизни не одни только песни нужны. – Убежденность, прозвучавшая в словах Кюнхылу, удивила Мадину. Всего три дня не видела дочек, а они за это время успели проститься с детством, думают о будущем, даже приняли серьезные решения.

Кюнхылу, высказав свою мечту, успокоилась и засопела, засыпая. Она ведь очень подвижная, неугомонная, устает, наверно. А Кукхылу прильнула к матери.

– Мам, а вот мелодии, песни... Откуда они берутся?

– Откуда? – Мадина чуточку подумала. – Из человеческой души. В душе каждого человека звучит музыка, то веселая, то грустная. Способностью делать эту музыку слышимой одни обладают в большей, другие в меньшей мере. Самые талантливые становятся хорошими музыкантами или певцами...

– Ты у нас, мама, талантливая. Ты всегда пой, ладно?

– Ладно.

– И я буду всегда петь.

Мадина снова крепко прижала дочку к себе. «Господи! Каких хороших детей ты мне дал! Разве может жизнь потерять смысл, когда есть они?!»

* * *

Азат Мирхайдаров частенько стал пропадать в обветшавшей избе, именовавшейся старой клетью. «Мечтал подновить, уйдя на заслуженный отдых, двор, посадить сад, завести пчел, а вместо этого запирается среди всякого хлама», – ворчала Сарбиназ, однако ее недовольство воздействия на мужа не оказывало.

Когда Азат был еще юношей, в этой избе жил его дед Хизбулла. Старый уже престарый, дед перебираться в новый дом не захотел, радио не слушал, газетами не интересовался, а сидя на нарах в этой срубленной из лиственницы избе, читал старинные книги. Ел мало, в мирские дела не вмешивался, пять раз в день творил намаз. И его смерть, на взгляд Азата, была, как бы это сказать, необычной, что ли.

Рано утром дед запряг свою буланую кобылу, съездил в Тубинск на базар. Вернувшись оттуда, сообщил: «Я пригласил ровесника. До его приезда должен помыться в бане». Как всегда, мыл деда в бане Азат. На сей раз старик заставил тереть свое тело мочалкой столь долго и тщательно, что Азат диву дался: «Так ведь кожу насквозь протереть можно!» Потом дед попросил побрить ему голову, привести в порядок усы и бороду, постричь ногти. После бани велел сложить все его книги в сундук, стоявший в углу избы, и наказал: «Ни в коем случае не открывай!» – «Больно нужны мне твои книги!» – сказал в ответ на это комсомолец Азат.

К вечеру приехал к деду такой же древний старик. Принеся им в деревянной чаше суп на ужин, Азат увидел деда растянувшимся на нарах. Он тяжело дышал, глаза его странно блестели.

– Позови отца, я отхожу, – сказал дед.

– А? – Ничего не понимая, Азат посмотрел на старика из Тубинска. – Что он сказал?

– Дед твой покидает нас. Позови отца и сам приди, я прочту отходную молитву.

Все это было похоже на спектакль и показалось Аза-

ту потешным. А наутро ему сказали, что дед умер. Ушел старец в иной мир, заранее обиходив себя, не обременив семью долгими хлопотами.

Несмотря на наказ не открывать сундук, Азат все же открывал, отдавал приезжавшим из разных мест собирателям старинной литературы толстые рукописные книги в кожаных переплетах, но часть из них осталась. Отец их не трогал, так и пролежало дедово наследие в сундуке, пока Мирхайдаров не вышел на пенсию. Теперь у него появилось время, чтобы заняться старыми книгами. Стал их почитывать, поскольку знал арабский алфавит. Книги были переведены с арабского на язык тюрки, которым в свое время пользовались образованные слои всех тюркских народов, Мирхайдаров этот язык тоже понимал. Начал с «Толкований к Корану», затем обнаружил несколько трактатов арабских историков и канонический текст самого Корана. Увлекся ими настолько, что решил переписать кое-что, отказавшись от арабской вязи в пользу кириллицы. За этим занятием засиживался порой до утра. Поднявшаяся доить корову Сарбиназ пеняла:

— Ну что это такое, при живом муже сплю одна в холодной постели!

— Пропал у меня сон, — отвечал Азат. — Неизвестно, долго ли еще проживу, а тут столько знаний лежит втуне!

— На старости лет завелась у меня соперница!

И сейчас он поднял голову, услышав, что звякнуло ведро. Опять жена будет дуться! Сунул ноги в галоши, вышел во двор.

— Доброе утро, женушка! Как спала?

Сарбиназ хлопнула ладонью корову по крупу, направляя ее к воротам.

— Не заговаривай мне зубы, лучше отгони скотину в стадо. Проследи, чтобы корова ушла с ним, а то вернется, как вчера, к теленку...

Погоняя корову с годовалой телкой, Мирхайдаров пошагал вверх по улице. За ним увязалась их собака Жданка. Все еще оставаясь под впечатлением от прочитанной ночью книги, Мирхайдаров как бы другими глазами посмотрел на клуб, мимо которого проходил. «Места для божьих храмов были определены еще при сотворении мира», — сказано в книге. Когда-то под клуб переоборудовали здание мечети. Минарет мечети свалил Сайфулла, отец нынешнего председателя колхоза. И Азат там же

крутился. Сайфулла подпилил стойки минарета, обвязал его арканом, другой конец аркана потянули лошади... Отломившийся при ударе о землю полумесяц отлетел к ногам Азата. Он почему-то быстренько сунул полумесяц за пазуху и отнес деду. «Дикари! – сказал дед. – Не проклинаю вас, щадя вашу молодость. Слепы еще вы. Жаль, когда прозреете, меня уже не будет. Доски, карнизы минарета подними на чердак мечети». – «Зачем?» – удивился Азат. «Делай, что тебе сказано. Придет время, сам восстановишь минарет». Надо бы как-нибудь посмотреть, наверно, лежат еще те доски на чердаке клуба. Только не верится Мирхайдарову, что они вновь превратятся в минарет. Нынешнее поколение не ставит веру и в грош. Поколение Азата, Сайфуллы захватило немного старые времена, своими глазами видело сильных вероучителей. Когда тиряклинского муллу, сменившего в мечети Азатова деда, отправляли в ссылку, Азата в ауле не было. Рассказывали, что особо поусердствовал тогда Сайфулла. Книги хазрета сожгли, семью разорили, самого вынудили дойти до Таулов пешком. А книг у него было много. Хазрет содержал при мечети медресе. Начальное образование Азат получил в этом медресе. Помимо основ веры преподавали в нем и светские дисциплины. Математику, географию, историю. Хазрет приобщал учеников также к занятиям, необходимым в повседневной жизни, рассказывал и показывал, как готовят краски, ухаживают за пчелами, кладут печи. Сам он в молодости учился в Бухаре и действительно очень много знал.

Оторвав взгляд от клуба, Азат некоторое время соображал, почему он оказался здесь. А-а, корову в стадо гонит! Ладно еще скотинка, пока он стоял задумавшись, не свернула в проулок. Тоже остановилась, облизывает телку.

– Ну пошли, пошли, скотинушки!

Жданка, решив угодить хозяину, запрыгала, облаивая корову с телкой.

Выйдя за околицу, Мирхайдаров заметил, что часть стада через пролом в ограде проникла на кладбище и ведет себя как-то странно: коровы, столпившиеся в одном месте, тревожно взревывали. Всадник-пастух направил коня туда, за пастухом последовали люди, пригнавшие свой скот, и Мирхайдаров присоединился к ним. Когда пастух, щелкая кнутом, угнал обеспокоенных чем-то ко-

ров, люди увидели притоптанный местами холмик недавно вскопанной земли.

– Это что такое? Не могила ли? – удивился кто-то.

Тут Мирхайдарову бросилась в глаза метровой примерно длины доска. На ней не очень умело было написано черной краской: «Бактымбаев Шангарей Ишмухаметович».

– Ямагат, разве Шангарей умер?

– Да совсем недавно был жив!

Все стали вспоминать, когда видели Шангарея последний раз.

– Вчера я его видела и удивилась: летом по-зимнему был одет...

– Вроде не болел...

– Вон Рауза идет. Она-то уж знает...

– Рауза-апай, Шангарей...

– Вот иду взглянуть на могилу бедняжки. Вчера с расстройства не смогла. Галяутдин с Валяутдином сказали, что похоронили его на краю кладбища.

– Ах-ах! Выходит, умер?!

– Галяу, чтоб ему пусто было, выпил всю мою кислушку, приготовленную к сенокосу, и теперь поди лежит с больной головой, а Валяу на работу ушел либо... Гляньте-ка, а не он ли сюда направляется?

– Он, он...

– Ладно еще они подвернулись. Кто-то ведь нужен, когда человек рождается или умрет, а тут все на сенокосе, не к кому пойти, помощи попросить. Ну, братья и взяли хлопоты на себя. Только не привезли покойного домой, не обмыли, взяли и зарыли... Ай, Шангарей, ай, Божий человек! Кто бы мог подумать, что так нежданно станешь хозяином могилы!.. – Тут глаза Раузы расширились: увидела вместо аккуратного могильного холмика затоптанную скотом смесь земли и глины. – Ба, что это?!

И запыхавшегося Валяутдина эта картина привела в изумление:

– Что за чудеса?!

– Это у вас надо спросить! – Мирхайдаров держал в руке доску с надписью, не зная, что с ней делать. – Разве человека так хоронят?

– Мы нормально похоронили. Как положено, нишу вырыли, посадили его туда и досками сбоку прикрыли. Могилу скот разорил. То-то, гляжу, еще вечером тут кучковался.

– Не доводилось мне ни видеть, ни слышать, чтобы коровы могилу разорили. – Рауза, присев на корточки, зашмыгала носом. – Бедняжечка мой, к сироте и после смерти почтения нет, даже коровы не чью-нибудь, а твою могилу...

– Ямагат! – Вперед выступил подошедший последним Хашим. – Шангарея похоронили живым!

– Он был мертв! – Побагровевший Валяутдин встал напротив Хашима, сжав одну руку в кулак, в другой держа бумажку. – Не то уж ты идиотами нас считаешь? Вот справка от фельдшера, что Шангарей умер.

– Справка у тебя есть, вижу. Но бывают случаи, когда человек кажется мертвым, а на самом деле спит. Это называется летаргическим сном.

– Чепуха!

– Я сам несколько дней пролежал в братской могиле. Могилу вскрыли, потому что ее начали раскапывать собаки. Животные чуют живую душу даже тогда, когда она под землей.

– Так и эту вскроем, что ли?

– Бросьте! Пустое дело!

– А если он жив?

– Если и был жив, теперь уж умер.

– Азат-агай, что делать?

– Я на войне тоже с такими случаями сталкивался не раз. Надо вскрыть. А то останется в душе тяжесть...

Мнение бывшего председателя колхоза склонило всех к решению вскрыть могилу. Принесли лопаты, женщинам велели отойти в сторонку, начали копать.

Могила оказалась неглубокой, но боковая ниша была выкопана как положено и плотно укрыта досками. Увидев Шангарея, которого сам предал земле, Валяутдин заорал и лишился дара речи. Бедняга Шангарей, видимо, бился, насколько позволяла тесная ниша, перевернулся набок. На пальцах рук застыла кровь, ногти частью были обломаны, частью совсем оторваны, когда, надо полагать, царапал в смертельном ужасе землю и доски. В глазах застыли безмерное удивление и боль. Теперь он был в самом деле мертв. Руки уже остыли, сердце не билось, дыхание не чувствовалось.

– Да-а... – Мирхайдаров перевел взгляд с тела на Валяутдина, и тот вдруг разъярился.

— Что смотришь? Теперь Валяу виноват? А сам ты как поступил бы? Позвал муллу, чтобы должные обряды исполнил? А где они, муллы? Вы их кончали! У кого мы научились закапывать умерших не обиходив? У вас!

Хашим потянул Валяутдина за рукав.

— Погоди, не горячись. Не вали на Азат-агая все, в чем повинны нынешние времена. Можно ведь было собрать людей, обмыть покойного, проститься с ним по-человечески...

— Вот он лежит, обмывайте, прощайтесь! — Выкрикнув это, Валяу пошагал, сердито размахивая руками, вниз, к аулу.

Тем временем пригнали подводу. Тело Шангарея перевезли в родительский дом. Мирхайдаров закатал рукава.

— Давайте, кто еще будет обмывать?

Видя, что больше никого из пожилых людей нет, к покойному подошли Хашим с Сайфуллой-партизаном.

— Командуй, Хашим, ты ведь зять знахарки Барсынбики, — сказал Мирхайдаров.

— Я всего лишь зять знахарки, а ты — внук муллы, — усмехнулся Хашим.

— Ладно, кто старое помянет... — Сайфулла тоже закатал рукава. — Приступим. Сделаем все, как положено. Да.

Пока обмыли покойного, завернули в саван и отвезли обратно на кладбище, другие доставили туда столбы и жерди, починили сломанную ограду. Каждый чувствовал себя как бы виноватым в возникновении неловкого положения и старался загладить свою вину.

Похоронили Шангарея честь по чести, и народ разошелся, лишь Мирхайдаров задержался, присел у могилы. У него было такое чувство, будто что-то не доделали, не завершили, будто лежащий в могиле человек с душой ребенка ждет от него еще чего-то. Вспомнились слова, услышанные давным-давно в медресе от хазрета: «Заупокойную молитву творят так же, как другие молитвы. Нужно только, чтобы тело покойного было обмыто...»

— Смерть не минует никого из нас...

Мирхайдаров, вздрогнув, поднял голову.

— Бэй, Сайфулла-кордаш, ты, оказывается, еще здесь!

— Хочешь прочесть заупокойную? Прочти. Если я умру раньше тебя, ты уж, друг Азат, прочти и надо мной, если ты уйдешь раньше, то я прочту...

– А ты разве знаешь?..

– Так мы же с тобой в медресе вместе ходили.

Мирхайдаров сначала словно стеснялся произносить слова молитвы нараспев, а затем набрался смелости, дело пошло ходко, как по накатанной дороге...

Глава четвертая

После ужина Кыдрасов вернулся в райком, чтобы в вечерней тишине спокойно прочитать доклад, с которым ему предстояло выступить в районном Доме культуры на торжественном заседании по случаю годовщины Великой Октябрьской революции. Он должен был заранее ознакомиться с докладом, потому что разные его части писали разные люди. За третий раздел, подготовленный Галимой, Кыдрасов мог не беспокоиться. Хотя грамотности у нее самой маловато, заведующий идеологическим отделом – человек башковитый, чует, откуда и куда дует ветер. А Галима, как опытный дирижер, никакую фальшь не пропустит.

Беспокоили Кыдрасова вступительная часть и раздел доклада, подготовленные вторым секретарем. Его прислали из столицы. Работал прежде в министерстве сельского хозяйства, но как специалист вроде жидковат. Отец у него – профессор, мать – партработник, короче говоря, парень не из тех, кто грыз гранит науки и своими силами поднимался вверх. Впрочем, раз воспитывался в семье образованных людей, вполне вероятно, что начитан и политически грамотен. Такие ведь в студенческие годы имели возможность развиваться всесторонне, не разгружая ночами вагоны, чтобы подзаработать на хлеб насущный.

Вступительная часть доклада начиналась гладко. Речь шла о программе, принятой в середине 60-х годов XXII съездом партии. Ясно как день, что для руководства страной нужны были новые идеи, нужна теоретическая основа. Теперь, в конце десятилетия, Брежнев во всех своих выступлениях отмечает, что главным достижением советского народа на пройденном им историческом пути явилось построение развитого социалистического общества. Второй секретарь, Ахмадеев, уловил это и изложил четко. «Да, – пишет он, – нынешней идеологией не отвер-

гается вывод Сталина о том, что в стране к 1936 году был построен фундамент социализма, однако построение обещанного коммунистического общества отодвигается на более отдаленное будущее».

В понимании Кыдрасова развитый социализм должен бы обеспечивать растущую потребность в товарах массового спроса. Однако огромный разрыв между потребностью и реальным производством товаров почему-то ни у кого там, наверху, не вызывает тревоги. А народ теперь не заставишь работать, как прежде, за обманные трудодни. И ГУЛАГа, чтобы держать его в страхе, уже нет. Вернее, государственное учреждение, ведающее тюрьмами и лагерями, существует, но нагнать ужас теперь не в состоянии. Дисциплина в стране расшаталась. Пышным цветом цветет спекуляция, народ спивается, ни для кого это не секрет, но и покончить с такого рода позорными явлениями никто не может. Как покончить, если почти весь бюджет, например, района держится на продаже водки? Пьяному, известно, море по колено...

Обо всем этом в праздничном докладе, конечно, не скажешь. Ахмадеев умело обошел острые углы. О политических репрессиях, получивших недавно название «сталинщина», тоже не упомянул. И не надо. Что ни говори, идеология Брежнева и его окружения выросла на почве этой самой сталинщины. Говорят, ребенок, которому хочется поплакать, играет с бородой отца. А тут игра с огнем может получиться. Ахмадеев поступил умно, уделив довольно места похвалам в адрес Ленинского Центрального Комитета, прежде всего – Брежнева. Доклад пестрит выражениями типа: «благодаря мудрому руководству», «победоносными шагами», «встав на ударную трудовую вахту», «как сказочный богатырь, растущий не по дням, а по часам...»

Удовлетворенный вступительной частью доклада, Кыдрасов открыл сейф, сделал глоток из стаявшей в нем бутылки коньяка. Пожалуй, в Уфе не ошиблись, прислав в Таулы Ахмадеева. Гладко пишет, будто всю жизнь, не поднимая голову, писал доклады. Неизвестно, как написал бы председатель колхоза «Алга» Шамсутдинов, если бы должность второго секретаря занял он. Доклады писать – не козлов кастрировать.

Кыдрасов перелистнул несколько страниц доклада, и

в глаза ему бросились строки, в которых речь шла как раз о хозяйстве, руководимом Шамсутдиновым. «В колхозе "Алга", – говорилось в докладе, – добились самой высокой в районе урожайности зерновых культур, однако не все в порядке в животноводстве. В частности, не налажено дело с искусственным осеменением маточного поголовья. К концу октября на овцеводческой ферме оставались неосемененными несколько сот валухов – целая отара...»

Кыдрасов несколько удивился. Саяф Шамсутдинов, зоотехник по образованию, в таких делах не допускал промашек. Не бросает ли ему Ахмадеев несправедливое обвинение? Кыдрасов набрал номер телефона председателя колхоза «Алга».

– Как живется-можется, батыр полей? Не загордился, собрав самый высокий в районе урожай?

– Да нет... А вообще-то можно бы и загордиться.

– Ладно, ладно. В нашем деле, как говорится, один год дергач жирует, а на следующий жирует перепел, так что...

– Понимаю.

– Люблю понятливых хозяев! Всем бы председателям такими быть...

– А за что ругать собираешься?

– Почему ругать?

– Так ведь с похвал начинают, чтобы позолотить пилюлю.

– Ха-ха-ха! – Кыдрасов посмеялся от души, откинувшись к спинке кресла. – У тебя прямо собачье чутье, движение змеи под землей можешь учуять!

– Не первый же год председателем работаю.

– Не-е-ет, ругать не буду. Ругать руководителя хозяйства, идущего по всем показателям впереди, да еще перед праздником! Нет-нет! Только не понял, о каких неосемененных овцах у вас идет речь, в доклад вот вставили...

– Надо же! На днях новый секретарь, как его, Ахмадеев, по телефону меня допрашивал, наверно, он вставил.

– Ну-ну!

– Я ему сказал, что все поголовье осеменено, только валухи остались неосемененными.

– Так объяснил бы ему, что срок еще не наступил.

– Срок? Фу, елки зеленые! Для них же никогда срок не наступит.

— Почему?

— Господь бог так установил. Это же бараны, самцы то есть. Я просто пошутил!

— Черт!.. — Кыдрасов со зла едва не швырнул трубку на пол. Посидев минуту в прострации, позвонил Ахмадееву домой: — Ты что это собрался баранов осеменять? Где, спрашиваешь? В докладе! Надень очки, посмотри! Если бы я не прочитал заранее, ославил бы нас анекдотом на всю республику. Ладно, я электрик, мне это было бы простительно, но ты ведь специалист, окончивший сельхозинститут, за сельское хозяйство здесь отвечаешь!

Обессиленный, красный, как перец, Кыдрасов отшвырнул от себя недочитанный доклад...

* * *

После телефонного разговора с Кыдрасовым Саяф нервно походил туда-сюда по своему кабинету. Дожили! Районом руководят люди, не отличающие овцу от барана! А он, Шамсутдинов, остался с носом. Глупец, поверил проклятой Галиме! Из кожи вон лез, стараясь отличиться, чтобы потом, когда станет секретарем райкома, не говорили, что сам был рохлей, а берется учить. Ради славы почти все зерно отправил государству, ни для раздачи колхозникам, ни на семена не оставил. Другие руководители хозяйств урожайность показывали ниже фактической, приберегали зерно, дабы не оказаться будущей весной, что называется, в дырявой лодке. А он думал: пускай тот, кто его сменит, выкручивается, как хочет! Вышло, что придется выкручиваться самому. Помнится, покойная жена Нагима, наставляя детей, полушутливо советовала: если копаете яму другому, не копайте слишком глубоко, можете сами в нее угодить... Саяф пренебрег этой мудростью.

Вспомнив Нагиму, он расстроился еще сильней. Не ценил жену, только теперь понял, что имел крепкий тыл, потому и работа ладилась. Понял, да поздно. Дети от рук отбились, и в работе все может пойти наперекосяк. Иллюзорная слава продержится недолго, весна покажет, какой он на самом деле хозяин. Ладно еще осталось немного пшеницы и ржи с опытных полей Абдельахата. Эх,

если бы удалось эти семена размножить! Сабаклинский председатель в обмен на зерно новых сортов предлагал «Волгу». Работает голова у старикана, но и у Саяфа не мякина вместо мозгов, чтобы дать соседу возможность обойти колхоз «Алга» по урожайности.

Саяф выпрямился за столом, услышав легкие, в то же время уверенные шаги на лестнице. Кто-то поднимался на второй этаж. Не Мадина ли? Только у нее такая поступь. Но в последнее время Мадина словно избегала встреч с ним, а если и встречались, то она своим взглядом будто окатывала его холодной водой.

Дверь приоткрылась.

– Можно к вам?

Да, это она. Глаза строгие, выражение лица сугубо деловое.

– Заходи-заходи, Мадина! – В официальной обстановке, например, на утренних оперативках Саяф обращается к ней на «вы», а когда посторонних нет, переходит на свойское «ты».

– Извините, зашла в нерабочее время. – Мадина кончиком пальца смахнула повисшие на ресницах капельки – на улице шел дождь со снегом. – Днем было некогда.

– Для тебя моя дверь открыта в любое время, не только в рабочее... – Прозвучало это двусмысленно, Саяф даже сам смутился, а Мадина отвела взгляд на залепленное мокрым снегом окно. Решив исправить оплошность, Саяф лишь усугубил возникшую неловкость: – Наверно, двум овдовевшим людям есть о чем поговорить.

– Я собиралась зайти, поговорить еще в сентябре, но все как-то не удавалось... – Мадина села на стул напротив председателя.

– У меня создалось впечатление, что ты избегала разговоров со мной. Я весь во внимании. – Саяф подался вперед, насколько позволял стол.

– Спасибо! – Мадина посмотрела ему в глаза. – Меня беспокоит вопрос о семенах пшеницы и ржи, выведенных Абдельахатом. В каком они состоянии?

– Ах, вот что привело тебя ко мне! – Саяф разочарованно откинулся назад. – Семена... Что с ними сделается? Лежат в клети.

– Спасибо! – еще раз поблагодарила Мадина. – А то люди разное говорят...

– Чего только люди не наговорят! Всем верить, так...

– У меня нет привычки верить сплетням, Саяф Сайфуллович. Но тут речь идет о деле, которому мой муж посвятил жизнь. Кто, кроме меня, защитит его?

– Умерших хоть защищай, хоть не защищай...

– И я раньше так думала.

– А теперь?

– Теперь думаю, что живые сами за себя могут постоять, ушедшие нуждаются в защите. Вы по существу тоже так думаете, иначе не стали бы за покойную жену мстить безвинной старухе.

– Мадина! – Саяф вскочил со своего председательского кресла. – Не я возбудил дело против нее, на суде присутствовал лишь в качестве свидетеля. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь!

– До свидания!

– Мадина...

Но Мадина уже вышла и закрыла за собой дверь. Тут резко зазвонил телефон.

– Да, я. Слушаю, Галима.

– Что это ты дышишь так, будто пробежал марафонскую дистанцию?

– Скажи спасибо, что еще жив.

– Бедняжка мой! И не появляешься здесь...

– Давай по делу. Не просто так ведь звонишь.

– Вот просматриваю программу праздничного концерта. От вас, оказывается, два номера должно быть представлено. Ты свою «бабушку-царицу» сюда не таскай, хватит ей красоваться на сцене, выставь молодых.

– Ревнуешь?

– Ревную? К Мадине?

– Да, к Мадине.

– Уф, назови уж лучше какую-нибудь вертихвостку!

– Ладно, парторг решит, он этим вопросом занимается.

– Будто я не знаю, что парторг тебе в рот смотрит!

Саяф положил трубку. Обозлился: Галима разговаривает с ним как ни в чем не бывало, будто не по ее милости он сидит по горло в дерьме. Впрочем... Перед мысленным взором Саяфа предстал всегда противоречивший ему, подвергавший сомнению все его планы, подрывавший его авторитет в глазах колхозников Абдельахат. В том, что совершил Саяф, повинна не только Галима. Абдельахат давно уже мешал ему самому. Галима лишь ускорила ход событий. Вдобавок умерла Нагима, это то-

же подтолкнуло Саяфа – почувствовал себя свободным, заторопился, надеясь поскорей заполучить Мадину. А она вон как, пришла защищать покойника и еще Барсынбику к этому пристегнула. Нет, надо в ближайшее время как-то сломать гордость Мадины, иначе она ему не достанется. Женщина, пока подавлена горем, расслабляется, упустишь момент – превратится в дикую кобылицу, и попробуй тогда накинь на нее узду! Похоже, настроить Мадину на нужный лад лишь своими силами ему не удастся. Нужно подключить к этому сватов. Авторитетных для нее людей. Хашим! Вот кто может убедить ее. Если у него не получится, можно обратиться к Мирхайдарову. Старик всегда смотрел на Мадину как на родную дочь, хвалил и восхищался ею.

Не ошибиться бы Саяфу на этот раз. Женитьба – дело нешуточное. Когда женился первый раз, был еще юн, не соображал толком, что к чему, не придал значения тому, что Нагима пошла за него, мстя возлюбленному, и ничего хорошего из этого не вышло. «Хитрости одной женщины достаточно, чтобы нагрузить десять верблюдов», – утверждает народная мудрость. Впрочем, народ – понятие абстрактное, мудры конкретные люди. К примеру, мудрой была бабушка Саяфа, он часто советовался с ней, старался почерпнуть кое-что полезное для себя из ее жизненного опыта. Однажды, когда бабушка лежала, приболев, в постели, Саяф спросил:

– Олэсэй, может ли человек прожить жизнь без ошибок?

– Вряд ли, – ответила бабушка. – Малыши ошибаются по многу раз за день. Ошибаясь, учатся жить, набираются ума. Бойся повторения одной и той же ошибки.

Если бы Саяф женился сейчас на Галиме, это стало бы повторением его юношеской ошибки. А Мадину он любит. Да-да! И добьется своего во что бы то ни стало.

С такими мыслями Саяф вышел из правления и направился в сторону избы Хашима.

* * *

Рауза не знала, как ответить на предложение Мадины переселиться к ней, жить вместе. Во-первых, Рауза не совсем уж одинока – у нее есть сын. Хотя Хусаин днюет и ночует в своей пожарке, Рауза готовит ему еду, стирает его белье, раз в неделю топит для него баню. Во-вторых, то ли по воле Всевышнего, то ли по наущению шайтана, она в свое время отбила деда Мадины у ее бабушки. Правда, тогда никто, кроме Барсынбики, не знал, что Сибагат – дед Мадины. И все-таки как-то неловко. Пусть и языкаста Рауза, совесть-то у нее есть. Как подумает обо всем этом, не может представить себя живущей в доме Мадины. С другой стороны, хочет того или не хочет, вынуждена Рауза признать, что состарилась. Когда-то могла одной рукой без особой натуги поднять полную флягу, теперь ведро воды от колодца до дома без передышек донести не может. После смерти Шангарея дом Ишмамата стал ей чужд, не тянет ее туда, свой дом одряхлел, как она сама, клонится набок, поэтому живет Рауза в хозяйстве Магинур, которое использовал для проведения опытов Абдельахат. Собрала урожай с посаженных и посеянных им растений, уложила в ящики и коробки, как при его жизни, Хашим прикинул их вес, записал в журнале, а что делать с ними дальше – ума не приложат. Потому что невежды. Вот когда Рауза пожалела о том, что в юности не получила достаточного образования. Пока был жив Абдельахат, все вроде знала и понимала, а без него все из головы вылетело. Зачем Всевышний лишил жизни столь нужного стране человека? Призови он к себе взамен душу Раузы – если бы кто и заплакал, так один Хусаин. А так ведь... Сколько недоделанных дел осталось, овдовела молодая еще жена, осиротели сыновья, дочки-двойняшки. Говорят, земле тоже хорошие люди нужны. Но и Рауза не очень уж плохой человек. В молодости, правда, была неравнодушна к мужчинам, азартна, так ведь азартность не в лавке куплена, сам Всевышний ею наделил, поэтому она, азартность, наверно, в вину не ставится.

Так думала Рауза, оглядывая оставшуюся без хозяина лабораторию. Семена, весы с мелкими гирьками, схемы, книги... Все это лежит теперь зря, без всякой пользы. Кто придет и будет колдовать тут, как добрый волшеб-

ник? Хотя Абдельахат скорей напоминал хирурга: в руках – пинцет, скальпель. Держал их в спирте, чтобы никакая зараза к ним не пристала. И Рауза входила сюда обязательно в белом халате. Ничего такого теперь уже не будет. И Шангарея не стало. Пожил бы еще, кабы этот ненасытный Галяутдин не погубил бы его. Он, чтоб ему пусто было, раньше срока уложил беднягу в могилу. Верно говорят, что пьяница в первую очередь совесть свою пропивает. Как он после такой ошибки будет смотреть людям в глаза?

Рауза подкинула дров в угасавшую печь. Услышав в сенях шаги, поправила платок, подтянула голенища сапог, приспущенные для того, чтобы унять перед огнем боль в коленях.

– Хашим, ты?

– Нет, не Хашим. Можно?

Увидев, что вошел Саяф, Рауза немного растерялась, задвигалась, намереваясь встать с табурета.

– Сиди-сиди! Мне сказали, что Хашим тут.

– Ыста! С чего это Хашим должен быть тут? У него есть своя изба и дочь рядом живет. Он не одинокий, как я и ты.

– Не сказать, что я совсем одинок, у меня детей полон дом.

– Дети – они кому в радость, кому... Чем больше их, тем больше беспокойства.

– Это так. – Саяф присел на стул у двери. – Ты сюда переселилась, что ли, Рауза-апай?

– Атак! Слышу, как говорится, новость из старых уст. Уж сколько времени тут живу безотлучно!

– Так ведь... теперь... когда Абдельахата нет...

– Абдельахата нет, дело его осталось! Не то что уйти, бросив дело, даже на час отлучиться боюсь. На Аллаха надеяться, раз сама бартийная, не могу, все мне кажется – приходит Абдельахат каждый день, проверяет...

– Ха-ха-ха! – рассмеялся Саяф. – Будешь тут одна обитать, так привидение к тебе возьмет да подселится. Сибагат еще не привиделся? Ха-ха-ха!

– Мышке – смерть, кошке – смех, – сказала Рауза и вытерла уголком платка нос. – Я вот умру, так кто за всем этим приглядит? Хоть бы Даут скорей вернулся и пошел дорогой отца!

– Должно быть, чокнутость Абдельахата передалась и тебе, Рауза-апай. Кому вся эта самодеятельность нужна? Селекционной работой всерьез занимаются целые институты.

– Может, оно и так, ты человек ученый, знаешь, как положено. Однако же открытия делают люди вроде чокнутого, как ты его назвал, Абдельахата. Фанатизмы!

– «Фанатизмы»... – Саяф поморщился, будто проглотив горькую пилюлю, и повернул разговор на другое: – Как соседка твоя, о Мадине говорю, замуж еще не собралась? Сваты не появлялись?

– Может, и появлялись или появятся, однако же, думаю, Мадина всем откажет.

– Почему?

– Умный человек рай на ад не поменяет.

– Не понял...

– А чего не понял? Вот ты сам женился бы на комнибудь хуже твоей Нагимы? Так и Мадина. Есть ли на свете мужчина, который может заменить ей Абдельахата? По-моему, нет!

Выйдя во двор, Саяф бросил взгляд на аккуратные ряды слегка побеленых снегом грядок, на оголившиеся плодовые деревья. М-да... Оказывается, он поспешил с выводом, что избавился от Абдельахата. Все тут – и этот дом, и толстая Рауза, не говоря уж о Мадине – служит его духу. Раз так, есть ли смысл обращаться к Хашиму? Он, Саяф, должен сам прямиком пойти к Мадине. Как-никак хозяин в колхозе он. Ну, похрабрится, побунтует Мадина, а дальше что? Деваться ей некуда, строптивого коня приручает узда, так и тут. А дух Абдельахата надо выветрить, не оставив в ауле ничего, что напоминает о нем!

* * *

Мадина после ареста бабушки и гибели мужа перестала ходить в клуб, по вечерам девочек не хотела оставлять одних. Женщины, любительницы пения, стали собираться у нее дома. Так и им удобней – приходят с рукодельями, и Мадине с дочками веселей, они тоже берут в руки вязанье или вышивают. К пению добавляются работа и шутки-прибаутки. Иногда женщины не прочь и сплясать, выбивая пальцами звонкую дробь на донышке

ведра либо на подносе. Мадина в зависимости от настроения садится за фортепиано. Инструмент приобрели в свое время не столько для нее самой, сколько для дочек. Двойняшки показывают гостьям, чему научила их мама.

В связи с тем, что Мадине предстояло выступить на праздничном концерте в райцентре, она собрала небольшой ансамбль и начала готовить его к трехголосному исполнению «Кунгыр буги». В состав ансамбля из прежнего хора вошли лишь несколько активисток, остальные песню как следует еще не освоили. Самое трудное заключалось в том, чтобы озвучить в ней чувства Тандысы, идущей в поисках Кунгыр буги через леса и горы, увенчанные причудливыми скалами.

В народе бытует несколько версий легенды, связанной с этой песней. По одной из них пропавшую корову ищет не пастух, а ее хозяйка Тандыса. Мадина отдает предпочтение именно этой версии.

– В ваших голосах должны отразиться не только озабоченность Тандысы, но и восхищение окружающей ее красотой, шум лесов и клекот орлов на скалах. Не выкрикивайте «хау, хау» так, будто подзываете свою буренку, возвратившуюся вечером со стадом. Корова Тандысы с теленком не видны, они ушли далеко вперед, ваши «хау, хау» должны звучать величественно, словно перекликаются между собой скалы Урала. Неожиданно в торжественное звучание второго и третьего голосов вплетается первый голос – обыденный голос обыкновенной женщины, – объясняла Мадина.

Семь, что называется, потов сошло с нее, пока добилась удовлетворительного результата и женщины ушли. Девочки уже позевывали. Кюнхылу, привыкшая ложиться спать, как только на дворе смеркнется, тут же ткнулась головой в подушку. Кукхылу, напротив, любит вечером пободрствовать, а утром поднимается тяжело.

– Ложись, детка, завтра не праздничный день...

Теперь они спят втроем на бабушкиной лежанке, более просторной, чем кровать, – так им спится спокойней. Кукхылу прильнула к маминому боку.

– Мам, а дорога Кунгыр буги есть и сейчас?

– Конечно. Но она уже не имеет прежнего значения. Сначала это была тайная дорога воинов, а когда надобность в тайне отпала, ею пользовались купцы. Приходи-

ли караваны из далеких стран, привозили шелк из Китая, поэтому одно время дорогу, найденную Тандысой, называли Шелковым путем. А из наших краев купцы увозили дорогие меха, мед...

— Мам, сказать тебе что-то? Мне кажется, что я, как Тандыса, отправлюсь далеко-далеко.

— Может быть, и отправишься.

— А вдруг не смогу вернуться?

— Вернешься. Если будешь любить родную землю, как Тандыса, найдешь дорогу домой.

— Значит, поэтому Тандыса не заблудилась?

— Она и блуждала, но не падала духом, не испугалась, упорно шла вперед. Упорный человек, говорят, даже в камень гвоздь вобьет.

— Ага...

Наконец, Кукхылу угомонилась, заснула. У Мадины тоже глаза уже слипались, когда кто-то постучал в ворота. Чтобы шум не разбудил девочек, Мадина поспешила во двор.

— Кто там?

— Апай, я — медсестра. Открой, пожалуйста.

— Входи. — Мадина открыла калитку и удивилась, увидев молоденькую медсестру, второпях накинувшую на себя поверх платья только шаль. — Что случилось?

— Апай, из соседнего аула привезли женщину, никак разродиться не может. Ребенок идет неправильно. Фельдшер меня к вам послал...

— Наверно, он думает, что моя бабушка Барсынбика дома.

— Мы знаем, что ее нет. Но, может, вы поможете...

Мадина быстренько оделась, заперла дверь дома снаружи и пошагала вверх по улице, гадая, сумеет помочь женщине или нет. Она слышала о таких случаях от бабушки и однажды сама отвезла ее в соседний аул и помогла там принять роды. Бабушка, сославшись на боль в руке, лишь подсказывала Мадине, что надо делать. Возможно, и не болела рука у Барсынбики, просто она начала так приобщать внучку к своему ремеслу. Сейчас рядом бабушки нет, не растеряется ли Мадина? Она потрогала оба браслета на своих запястьях и почувствовала себя уверенней.

Возле женщины, уже потерявшей надежду благопо-

лучно разродиться, Мадина вдруг успокоилась. Не вступая в разговор с людьми, которые привезли роженицу, тщательно вымыла руки и протерла их спиртом. От предложенных фельдшером резиновых перчаток отказалась. Подумала: неужели медики не знают, что самая чувствительная часть рук – кончики пальцев, что в перчатках они чувствительность теряют?

– Извините, – сказал фельдшер, – у меня практики нет, мы не разрешаем привозить рожениц сюда, а они...

Мадина ему не ответила. Мысленно попросила благословения у бабушки Барсынбики и семи колен занимавшихся этим делом матерей и бабушек. Припомнила свои действия в тот раз, когда, как и сейчас, надо было повернуть ребенка вперед головкой...

Примерно через час комнату огласил плач младенца. Не только младенец – даже медсестра заплакала и фельдшер прослезился. Изможденная роженица слабой рукой прикоснулась к Мадине, шевельнула искусанными губами:

– Спасибо...

Лишь выйдя на улицу, Мадина ощутила, насколько устала. Едва держалась на ногах. Мокрая, хоть выжми, сорочка вот-вот, казалось, заледенеет под легкой шубкой. Теперь стало понятно, почему бабушка, отправляясь принимать роды, брала с собой сменную одежду. Не простудиться бы. И без этого утром трудно будет подняться. А встать надо рано... В душе шевельнулась тревога, но в каком-то другом ее уголке оставалось место и для чувства удовлетворения тем, что Мадина сделала. Она уж и не помнила, когда до этого переживала такие счастливые минуты...

* * *

– Опять эту старуху притащили!

Увлеченно слушавший песню Кыдрасов невольно повернулся к сидевшей рядом Галиме.

– О ком это ты?

– О солистке из «Алги».

– Хы! Всем бы старухам такими быть!

Кыдрасов вновь погрузился в песню, порожденную первозданной красотой природы, дремучими лесами, величественными, устремленными к небесам горами...

Здорово поют! А солистка... Отчего Галима эту женщину, которой всего лишь около сорока лет, назвала старухой, за что невзлюбила ее? Наверно, завидует ей. Есть чему позавидовать: и лицом удалась, и голос чарующий. Почему до сих пор не посылали ее на смотры в Уфу? Она могла бы с успехом выступать на правительственных концертах, принести славу району. Ее муж, Ирназаров, был, конечно, упрямым строптивцем, но не давать ходу женщине, обладающей редкостным даром, из-за скверного характера мужа... Это неправильно. И ему, Кыдрасову, не помешало бы прокатиться в Уфу на «Волге» рядышком с такой красавицей. У Саяфа глаза острые, не закинул ли он после смерти жены удочку на эту красавицу? С него, рябого беса, станется! Если верно люди говорят, у Саяфа и с Галимой были более чем теплые отношения...

Со сцены тиряклинский ансамбль проводили бурными аплодисментами. Кыдрасов, решив пощекотать нервы Галимы, склонился к ее уху:

— Вот бы такую жену иметь!

— Соседская курица гусыней, а жена девственницей кажется, — был ответ. Галима не из тех, кто за словом в карман лезет. Она ведь тоже тиряклинская. А Тиряклы неспроста на весь район знамениты.

Не дожидаясь окончания концерта, во время перерыва, Кыдрасов собрался уйти домой.

— Бэй-бэй! — Галима бабочкой запорхала перед ним. — В эту пору даже дети еще не ложатся спать. Самира на случай, если заглянешь к нам, обещала приготовить стол...

— Опять будет бишбармак? — усмехнулся Кыдрасов. — Вы уж на сей раз без меня покушайте. Я утром чуть свет должен выехать в Уфу.

Машину перед торжественным заседанием Кыдрасов отпустил, поэтому пришлось отправиться домой пешком. На улице было пустынно и неуютно, дул резкий, холодный ветер. Кыдрасов поднял воротник пальто, подтянул шарф к подбородку. Хотелось перед поездкой в Уфу походить, собраться с мыслями, но осенний ветер пронизывал до костей, поторапливал... Да, Кыдрасов решил уехать отсюда. Понял, что руководить сельскохозяйственным районом — не его дело. Экономика, созданная стараниями Камалетдинова, может скоро развалиться, тогда упадет и авторитет Кыдрасова. Пока не поздно, надо перебраться в город. У отца с матерью много друзей, они не оставят его без покровительства. Намерены поставить директо-

ром одного из солидных заводов. Хотя Кыдрасову это пришлось по душе, сказал ради приличия, что подумает. Здесь об этом никто не знает. Если бы знали, прежде всех Галима начала бы упрашивать, чтобы взял ее с собой. Вдобавок...

Неожиданно от осокоря у райкома отделилась темная фигура, направилась к нему.

– Загир-агай!

– Никак... Самира?! Что ты здесь делаешь?

– Агай! Дома нам поговорить не удастся. Я... я беременна...

– Вот тебе на! – Кыдрасов закурил сигарету. – Ты не ошибаешься?

– Нет.

– Мать...

– Она не знает, только... тогда ты забыл у нас свой галстук.

– Черт!.. Пока никто ничего не должен знать! Слышишь?

– Ладно.

– Иди сейчас домой. Через недельку... Я сам найду тебя. Поняла?

Девушка, натянув на голову капюшон куртки, ушла. Кыдрасов кинул недокуренную сигарету на припорошенную снежком землю, постоял, глядя без каких-либо мыслей на медленно угасавший огонек.

* * *

С праздничного торжества Галима пошла домой в подавленном настроении. Вновь и вновь вспоминала разговор с Кыдрасовым. «Если мужчина при жене или любовнице хвалит другую женщину, жди беды», – говорила когда-то Надежда Федоровна. Может быть, она ошибалась? Может быть, Загиру не хватало внимания с ее, Галимы, стороны, и он хотел подогреть ее чувства, вызвав у нее ревность? Тут вполне возможно и такое объяснение его поведения, потому что в последнее время Галима много ездила по району, проверяла готовность школ и учреждений культуры к зиме, не удавалось встретиться с Кыдрасовым в интимной обстановке.

Но это объяснение не успокоило Галиму. Перед глаза-

ми стояла Мадина, вышедшая на сцену в плотно облегавшем фигуру вишневом платье и побудившая собравшихся в зале устроить ей овацию. Было сказано Саяфу, чтоб не было Мадины на торжестве, а он все-таки привез ее, должно быть, нарочно, в отместку за то, что не смогла Галима отстоять его кандидатуру на должность второго секретаря. На лице Кыдрасова, как только увидел тиряклинскую красавицу, появилось выражение охотника, увидевшего дичь. А когда стоя аплодировали Мадине, Кыдрасов, честное слово, готов был взлететь на сцену и обнять ее. Вдобавок на приглашение Галимы пойти к ней домой ответил отказом. И, торопливо одевшись, ушел, будто после выступления тиряклинского ансамбля в концерте ничего достойного внимания не осталось.

Не-е-ет, Галима не из тех, кто быстро отпускает угодившего в ее коготки! К тому же Загир всегда, когда она уезжала, например, в Уфу, с нетерпением ждал ее возвращения. Вот и в тот день, когда она обнаружила его галстук, он, видимо, зашел к ней домой и ждал ее, — не с неба же галстук упал! За эти годы Загир привязался не только к ней, Галиме, но и к Самире. Наверно, оттого, что нет своих детей, баловал ее, куда бы ни съездил, привозил ей гостинцы, подарки. И Самира, не знавшая отцовской ласки, не привыкшая к вниманию мужчины, в свою очередь привязалась к нему, нисколько не стеснялась, могла запросто сесть к нему на колени.

Могла бы Галима сказать, что было так до сих пор, но с минувшего лета Кыдрасов открывал ее дверь все реже и реже. А сегодня... Галима, задумавшись, и не заметила, как дошла до своего дома. Потопталась у калитки. Ей казалось, что вот-вот подойдет человек, о котором думала. Но никто не появлялся. Лишь раскачивался на столбе фонарь уличного освещения и металось по земле пятно света. Да заунывно свистел осенний ветер, будто недовольный неприглядностью им самим же оголенного мира.

И дома Галиму встретила какая-то унылая тишина. Уходя, она сказала дочери: «Приведу вечером гостя, свари бишбармак, приготовь салаты». Самира согласилась без пререканий. Но не похоже, что выполнила обещание, нет запаха вкусной еды. Галима прошла на кухню. Там все было на своих местах. Дочь, кажется, даже чай для себя не вскипятила, чайник — холодный.

Галима включила свет в зале. Дочь лежала на диване, изогнувшись, будто у нее болит живот.

– Самира! Ты что? Почему лежишь, даже не включив свет? Что молчишь? Язык проглотила?

Взгляд Галимы упал на лежавшую на столе бумажку. Медицинское заключение о состоянии Самиры... «Одиннадцатая неделя беременности...» Вопль матери заставил Самиру вскочить.

– Ты чего? Словно тебя режут!

– Эт-то... что? – Галима сунула бумажку под нос дочери. – Об... объясни...

– Отвяжись! Читать, что ли, не умеешь?

Галима схватила стул, вскинула.

– Сучка! От кого забеременела, а? Говори! От кого?

Дочь попыталась заслониться от удара рукой, но одна ножка стула все же угодила в голову. Из носа потекла кровь. Неожиданно Самира выпрямилась и что есть сил рванула стул из рук матери.

– Не подходи ко мне! Убью!

– Самира!!! – Ополоумевшая Галима присела на корточки. – Бей! Убей! Ты уже и так меня зарезала! У-у-у... Стыд-то какой... Моя карьера... Ненавижу!.. Хоть скажи, кто отец?.. От кого забеременела?.. Я его своими руками...

– Не скажу.

– Как то есть не скажешь?

– А ты мне сказала, кто мой отец? Сколько я спрашивала, плакала, умоляла!.. Придумала мне отчество – Идеаловна! И имени-то такого нет. Если он твой идеал, почему скрывала?

– У-у... Родила тебя на свою голову!.. – Галима заплакала и несколько остыла. – Ладно, Самира... Что случилось, то случилось. Завтра же прервешь беременность!

Лицо Самиры скривилось в злой усмешке.

– Ты же видела: меня поставили на учет в поликлинике. Придется рожать...

– Нет! Это невозможно! Хоть тридцать, хоть сорок недель было бы – это невозможно! Ты еще молода, все забудется... А если родишь, всю жизнь будешь каяться. На всю жизнь поставишь на себя печать – «гулящая»...

Усмешку на лице Самиры сменило равнодушное выражение.

– А мне не привыкать. Я ведь и сама... нагулянная. Незаконнорожденная!

– Самира...

– Оставь меня в покое!

Перепачканная кровью Самира ушла умываться.

* * *

Вытащив из печи пирог, Мадина велела Кюнхылу:

– Иди позови дедушку, скажи, пирог стынет.

Легкая на подъем Кюнхылу вскочила и выпорхнула в сени. Мадина через застекленный верх внутренней двери посмотрела в горницу. Там Кукхылу, вышивая конец полотенца, негромко напевала баит о Саке и Суке.

Это – предназначенная детям печальная история двух мальчиков-братьев, не ладивших меж собой. Они все время ссорились и дрались. Однажды мать в сердцах сказала: «Чтоб вам никогда не видеться и тосковать друг о друге!» Проклятые таким вот образом мальчики превратились в птиц и с тех пор окликают друг друга: «Сак!» – «Сук!», но никак не могут встретиться.

Кукхылу, почувствовав взгляд матери, умолкла.

– Мам, а почему ты сюда не входишь?

Мадина вошла в горницу, обняла дочку.

– От кого ты этот баит слышала?

– От бабушки Барсынбики. Она так напевала.

– А мне моя мама эту историю немного по-другому, как сказку, рассказывала.

– Мам, а Сак и Сук были близнецы?

– Может быть. Зачем ты об этом спрашиваешь?

– Просто так...

– Я чувствую, что не просто так. Ты хотела что-то сказать.

– Да. Я боюсь за Кюнхылу.

– Боишься? Почему?

– Она пытается объездить нашего жеребчика. Уже несколько раз упала с него.

– Упала?

– Да. Вдруг с ней что-нибудь случится, и мы никогда-никогда не сможем встретиться, как Сак и Сук! – У Кукхылу на глаза навернулись слезы. – Я давно хотела тебе сказать, а она говорит: «Ябеда, мама, наверно, тебе за это красные штаны купит».

– А дедушка об этом знает?

Кукхылу кивнула утвердительно. В это время скрипнула калитка. Мадина, решив, что идут отец с Кюнхылу, посмотрела в окно.

– Ах-ах!

– Что, мама?

– Председатель к нам идет. Что-нибудь случилось, что ли? – Мадина вышла в прихожую.

– Здравствуйте! Здравствуй, Мадина! – Саяф протянул сверток. – Небольшой подарок тебе. Хоть праздник уже прошел, с праздником, Мадина!

– Бэй... Я не ждала гостей...

Саяф, немного растерянно, мял в руках шапку, не зная, повесить ее на гвоздь или нет.

– Как говорится, смерть и нежданный гость приходят без приглашения. Я, Мадина, пришел сватать тебя.

– Сватать?! За кого?

– За себя, Мадина.

– Да вы что! И года не прошло, как умер мой муж, и вообще я замуж выходить не собираюсь!

– Ты ведь еще молода, все равно выйдешь. Я ничего не пожалею, чтобы ты была счастлива.

– На осине, Саяф-агай, яблоки не растут. И дети у меня...

– Драгоценные камни руку не отягощают, Мадина. И у меня есть дети. Создадим семью, вдохнем, так сказать, в старые сердца новую энергию.

– Не-е-ет! – Мадина обессиленно присела на краешек скамьи. – Если бы бабушка Барсынбика это услышала...

– Разве эта старая карга – хозяйка твоей судьбы? Пойми меня, Мадина!

– Старую ворону в клетке не держат, товарищ председатель.

– Извини, я неправильно выразился.

– Уходи! И мужем, и любимым для меня был и останется один только Абдельахат. Хотя он умер, дух его жив! Каждое поле, каждый колос, каждое пшеничное зернышко окликает меня голосом моего Абдельахата!

– Мадина! Не лишай меня надежды! Ты мне давно очень нравишься!

Саяф шагнул к ней, попытался обнять. Мадина изо всех сил толкнула его в грудь. Саяф, ударившись спиной

о дверь, вылетел в сени. Следом полетел его сверток с подарком.

– Убирайся и не смей больше переступать мой порог! Не оскверняй здесь чистый воздух! – выкрикнула Мадина и захлопнула дверь.

– Мамочка! – Кукхылу, прильнув к матери, немного остудила ее гнев. Мадина ополоснула лицо холодной водой, несколько раз намылила руки, словно опоганила их, прикоснувшись к Саяфу.

* * *

Кыдрасов принял завод. Прошел по цехам, ознакомился с производством. В общем-то на этом заводе, производящем электроприборы, все было давно ему знакомо: здесь еще студентом проходил практику, сюда, окончив институт, пришел на работу. Начал трудовой путь мастером, закрепился в кругу комсомольских активистов. Со временем его назначили начальником цеха, избрали членом заводского парткома. Однако дальнейший карьерный рост на заводе стал затруднителен. Тогда на помощь пришли высокопоставленные друзья его отца. Партия еще со времен коллективизации укрепляла кадры на селе, посылая туда горожан. При очередной такой кампании Кыдрасова повысили, направив в Таулы на должность второго секретаря райкома. Он рассматривал это как промежуточную остановку на своем пути. Теперь исполнилось давнее его желание – ему доверили большой завод. Руководство еле влачившимся по рытвинам и ухабам сельским хозяйством осталось, как страшный сон, позади. Спасибо партии – благодаря ей, он, обыкновенный человек, стал крупным руководителем.

Когда делаешь карьеру, избежать темных пятен в биографии очень трудно. Спутницу жизни Кыдрасов выбрал, к сожалению, по расчету. Ее отец – известный ученый, профессор, мать занимала высокий пост. Сама Камилла, увлеченная лыжным спортом, была довольно стройна и миловидна, но на студенческие вечера не ходила. Однажды Кыдрасов пригласил ее на вечер, она намеревалась отказаться, тогда он шутливо пригрозил:

— Ты имеешь дело с комсоргом факультета, попробуй не послушаться!

Весь вечер Загир танцевал только с ней, шутил, смешил. Камилла смеялась как-то странно, как бы одной только стороной лица, и еще он заметил, что глаза у нее разноцветные: один глаз зеленый, другой — серый.

После женитьбы выяснилось, что на одной ее щеке поврежден какой-то нерв. Но это бы ладно. Оказалось, Камилла простудилась на соревнованиях и не может рожать детей. В какие только санатории не возил ее Кыдрасов — пользы это не принесло. Ему, выросшему в многодетной семье, дом, в котором не звучали детские голоса и смех, вскоре опостылел. На седьмом или восьмом году супружества начал искать развлечения на стороне. Развестись с женой не позволяли карьерные соображения, но и жить с ней было невмоготу. Предлагал взять на воспитание ребенка из детдома — она не согласилась, сказала: «Ты не солнце, все равно всех сирот не обогреешь». Приехав в Таулы, тосковавший по женской ласке Кыдрасов встретил Галиму. Эта живая, простая в общении, энергичная женщина сразу привлекла его внимание. Почему бы, имея власть, не помочь такой женщине? Помогал ей и советами, и в партшколу учиться отправил, после возвращения, чтобы держать ее при себе, устроил на работу в райкоме. Из-за того, что взялась за учебу поздновато, что ли, Галима так и осталась полуграмотной, зато знала людей, знала район, как свои пять пальцев, благодаря этому стала правой рукой Кыдрасова на работе. В какой-то мере она восполняла и то, чего ему не доставало дома. А вот ее дочка...

Сначала Кыдрасов воспринимал Самиру лишь как красивого ребенка, затрагивавшего его неудовлетворенные отцовские чувства. Между ними установились полуозорные, теплые отношения. На его глазах синеглазая, с черными кудряшками и розовым, как цветок, лицом девочка превратилась в подростка, затем в симпатичную девушку. Теперь Кыдрасов смотрел на нее с несколько иным интересом. Самира была очень похожа на одноклассницу Загира — первую его любовь.

Долго, очень долго Кыдрасов боролся сам с собой, чтобы не допустить в отношениях с Самирой ничего лишнего. Однажды, вернувшись поздно вечером из Уфы,

он напрямик зашел к Галиме домой, однако она была в отъезде. Решил дождаться ее возвращения. Сидели с Самирой, не зажигая света, вели как всегда полушутливый свойский разговор. Неожиданно Галима позвонила из дальнего аула, сообщила дочери, что вернется лишь на следующий день. Этот вечер и переменил отношения Кыдрасова с дочерью его любовницы. Самира сама приластилась к нему, села на колени, сказала, обжигая горячим дыханием его шею:

— Я тебя люблю с самого детства, с первой нашей встречи. Теперь я уже взрослая...

Самира, оказалось, забеременела, и Кыдрасов не знал, как с ней быть. Перетащить ее под каким-нибудь благовидным предлогом в Уфу? Он не против того, чтобы она родила. Любая травинка, любая букашка и то оставляет потомство. Но все тайное когда-нибудь становится явным. Об этой побочной связи могут узнать тесть с тещей, которым Кыдрасов обязан своим повышением, и тогда — прощай директорство, высокая зарплата, служебные машины, спецсанатории и прочие привилегии! Конечно, заманчиво отцовство, но на другой чаше весов — очень серьезные ценности. Незаменимые ценности...

* * *

Вернувшись в Таулы для передачи дел в райкоме, Кыдрасов сразу же встретился с Самирой.

— Ну, к какому решению ты пришла? — сухо спросил он. — Я знаю тебя как умную девушку. Надеюсь, не собираешься, не подумав о будущем, поставить в неловкое положение и мать, и меня, и себя?

— Нет.

— Вот и хорошо. Я дам машину, сделаешь аборт в Уфе. Я там договорился.

— Договорился?

— А что, успела сделать здесь?

— Я не собираюсь делать аборт. Меня поставили на учет в поликлинике.

— Как?! Мать... знает?

— Знает.

— И что она...

— А что она скажет? — В глазах Самиры вспыхнули

озорные искорки. – Она ведь не спросила у меня, стоит ли рожать меня без отца.

– Постой-ка, девонька...

– Раз есть любовь, должен быть и плод любви. Бесплодная любовь – не любовь!

– Ты еще молода, Самира. Тебе надо получить высшее образование, выйти замуж, словом, устроить свою жизнь. Ребенок этому помешает.

– А ты вот, агаюшка мой, и образование получил, и женился, и высокой должности добился, а счастья у тебя нет. Счастья нет, потому что нет детей.

– Ты меня убиваешь, Самира!

– Думаю, не умрешь. Я тебя, агай, поняла. Прощай!

– Самира, постой!..

Она не обернулась. Пошагала, гордо вскинув голову, из переулка, где они встретились, на главную улицу.

– Что за народ! – ругнулся Кыдрасов. Он почувствовал себя старым, обессиленным.

* * *

Весть об уходе Кыдрасова на другую работу поразила Галиму, как гром с ясного неба. «Все, мне – конец!» – подумала она. Вдвойне было обидно, что услышала новость не от него самого. Это глубоко уязвило ее самолюбие, поэтому не пошла в кабинет первого, не открыла его дверь, что называется, пинком, ждала вызова. А когда встретились, в кабинете на некоторое время воцарилась напряженная тишина. Молчание нарушил Кыдрасов:

– Тебе тоже придется уехать, Галима. Был у меня разговор в орготделе обкома, там намереваются предложить тебе пост директора Дома отдыха. Советую не отказываться.

– В Дом отдыха директором?!

Кыдрасов протер платочком очки – верный признак того, что он нервничает.

– А что? Неплохое место. Не забывай, откуда пришла сюда.

– Я пришла сюда из партшколы!.. Самое интересное, обо всем я узнаю последней! Я...

Кыдрасов налил воды из графина в стакан, поставил перед ней.

– Не горячись. Выпей.

– Я... поеду с тобой! Кто я без тебя? Кто?

– Я человек женатый. – Кыдрасов усмехнулся. – Завести гарем должность не позволяет. Что поделаешь, не султаном родился.

– Не-е-ет... Так внезапно... все сразу... Дома – Самира, здесь – ты... Не бросай меня, любимый, пожалей!

– Не раскисай, Галима. Верь в свои силы.

– А за что меня... снимают?

– Нового первого параметры твои не устраивают.

– Его тоже из Уфы пришлют?

– Да, из Уфы.

– Голова у меня кружится. Нет, не голова – все вокруг, весь мир...

– Иди-ка ты домой, Галима Мухаррямовна. Плакала, глаза опухли. Не показывайся, пожалуйста, людям в таком виде.

– Вечером... придешь?

– Не смогу. У Камиллы Харисовны сегодня день рождения.

– Не попрощаемся, что ли?

– Извини... – Кыдрасов встал, дал понять, что разговор закончен. – До свиданья!

По пути домой Галима завернула в продуктовый магазин. Раньше, когда возникала надобность, спиртное для нее покупал райкомовский шофер, на сей раз купила сама. Скорей дойти домой и забыться! Почему, почему начал рушиться ее казавшийся вполне благополучным мир? Хоть бы Саяф заглянул. Не показывается, не звонит...

Дома Галима сразу налила полный стакан водки, выпила. Чувствуя, что быстро пьянеет, дрожащей рукой набрала номер телефона Саяфа.

– Алло! С-саяф! Твоя Жозефина с-стосковалась по тебе. С-сейчас же... выезжай. Жду!

С другого конца провода донесся тоже пьяный голос:

– П-пошла ты! Позови в свой дом терпимости кого-нибудь другого, проститутка!

– Т-ты... что?!

Ответа не последовало, Саяф, видимо, положил трубку. Уже знает о ее предстоящем уходе из райкома, что ли? О, как быстро переменился человек! Не-е-ет, Галима это просто так не оставит! Еще заставит попрыгать Саяф-

фа. Рановато он забыл об Абдельахате. Придется освежить его память. В шкатулке Галимы лежат три окурка от папирос «Казбек», выкуренных у той спиленной березы. В Тиряклах «Казбек» курит только Саяф...

– Эх! – Галима вновь наполнила стакан водкой. Крикнула: – Самира!

Дочь не откликнулась. Если она и дома, может не откликнуться. Поперечная душа! Злыдня! Вся в бабку свою Барсынбику. У-у, волчья порода! Ненавижу вас!..

Неожиданно открылась входная дверь, на Галиму повеяло холодом со двора.

– Самира!

– Ну чего кричишь?

– Где была?

– Тебе не все равно?

– Н-нет! Я – твоя мать! Я должна знать! – Галима, уставившись на дочь пьяными глазами, схватила еще не опорожненную до конца бутылку. – Говори, от кого ребенок?

– Сначала ты скажи, чья я дочь.

– Вот тебе! – Галима сложила пальцы другой руки в кукиш.

– Хы! – На лице Самиры промелькнула язвительная улыбка. – Значит, не только нажила меня в блуде, еще и срамно сказать, с кем! А я не буду скрывать, потому что... ношу под сердцем плод любви. Моей любви и моего идеала. Отец ребенка – Кыдрасов!

Галима, теряя сознание, медленно сползла со стула на пол.

* * *

На собачьи объедки лев не позарится. Разве не знал Саяф эту пословицу? Знал. И все же пошел свататься к вдове с тремя детьми, посчитав ее приличной женщиной. А она растоптала его мужское и человеческое достоинство. Вышибла из дома, не оценив его и в грош. Дух Абдельахата, видите ли, жив!

Выпивший со зла Саяф непослушным пальцем набрал номер телефона сабаклинского председателя.

– Алло! Шамсутдинов говорит. Я насчет обмена. Есть у тебя на ходу машины под зерно? Или мне свои снарядить? Да, рожь можешь забрать. Всю вымести. «Волгу»?

Подгони. Пусть на моем дворе стоит. Нет-нет, не передумаю! Встретимся у амбаров. Там, оказывается, дух Абдельахата, хе-хе, живет. В каждом зернышке. Увидишь, где...

...Отправив оставленную на семена рожь в Сабаклы, Саяф забрался у себя во дворе в пригнанную оттуда «Волгу». С удовольствием оглаживал мягкие сиденья. Отлично! Отныне Саяф Шамсутдинов будет ездить, развалясь, в белой «Волге»! И женится на девушке. Плевать на Мадину! Она еще поплачет... В этом ауле не останется ничего, что напоминало бы об Абдельахате!

Уже опустилась ночь, когда Саяф вылез из машины и, слегка пошатываясь, – к выпитой ранее водке добавился магарыч по случаю удачной сделки, – вышел со двора, пошагал вниз по улице в сторону дома, в котором Абдельахат оборудовал семенную лабораторию...

* * *

Рауза засиделась у младшей сестры до глубокой ночи, пока обе не взмокли, осушив пузатый самовар. Прокричали первые петухи, когда она собралась уйти к себе домой.

– Переночуй у меня, – предложила сестра, – замаешься идти в такой темноте.

Поколебавшись, Рауза приняла твердое решение:

– Нет, пойду, а то нехорошо будет, и так уж надолго оставила без пригляда труды Абдельахата. Может дух его обидеться, скажет, даже Рауза-апай забросила дело...

– Темно, хоть глаза выколи, поэтому хотела оставить тебя у себя, – сказала сестра, выйдя проводить ее до ворот. – Ну ладно, пока, апай!

– Пока. И сама ко мне заглядывай!

Рауза жалела сестру. Кабы проклятый Гитлер не начал войну, нашла бы она себе ровню, прожила жизнь и состарилась с ним, стала матерью и бабушкой. Но не досталось ей все это. Как женщинам быть счастливыми, когда то одна, то другая война истребляет мужчин? И на чужую долю зариться нехорошо, вот сама Рауза однажды позарилась и до сих пор готова сгореть со стыда.

На полпути она присела, немного передохнула и поковыляла дальше, думая об Абдельахате. Очень искренние были у них отношения, поэтому теперь все, к чему

прикасалась его рука, для Раузы свято. Сроду не думала она, что в маленьком пшеничном зернышке скрыто столько тайн и волшебных сил. Абдельахат раскрыл ее глаза. Если бы не пришла к нему работать, так и умерла бы слепой.

Эх, не было рядом с ним молодых! Какую бы науку они прошли! Бывало, посмотрит Абдельахат через микроскоп и так начнет рассказывать, будто загадки всей вселенной ему открылись. Казалось Раузе, что после его смерти все услышанное от него перезабыла — ан нет, помнит, оказывается. И не будет сидеть сложа руки. К весеннему севу все приготовит, проверит в горшках всхожесть семян и засеет грядки точно тем же, чем засевал их Абдельахат. А потом Даут приедет. По присловью, глядя на отца, и сын выстругивает стрелы. Продолжит он отцовское дело. Очень умный паренек, не то что Шангарей с Хусаином. Кабы его самолетик не упал на бак с горючим, отчего возник пожар, до небес бы его вознесли. У железок ведь глаз нет, из-за этого человек пострадал...

Почти уже дошла Рауза до дома, в котором теперь жила, как вдруг из него в ночную тьму вырвалось пламя. У Раузы с испугу ноги стали непослушными, хотела закричать — голос пропал. Чуть не на четвереньках забралась она на крыльцо, рванулась в горящий дом. Погасить огонь было уже невозможно. Хватая то ящик, то коробки с семенами, начала выносить их во двор. Упала, обессилев, в сенях, когда в доме посыпались потолочные доски...

* * *

Мадина проснулась на заре, взволнованная песней. Эх, оказывается, это был сон! Ей приснился Абдельахат. Он пел в саду возле яблонь, подыгрывая себе на гармони. Брали за душу и мелодия, и слова песни, сочиненной им когда-то в лагере, в Сибири:

Не плачь, решив, что я туда отправлен,
Откуда нет обратного пути.
Я постучу однажды в створку ставен,
Лишь не могу сказать — когда, прости.
Коль в очаге твоем угаснет пламя,
Под звезды выйди, в небеса взгляни.

Как прежде, звезды светятся над нами,
Твой взгляд с моим соединят они.
Коль сил уж нет, терпенье иссякает,
Пройдись в лугах по утренней росе,
И мир — увидишь — празднично сверкая,
Предстанет вновь во всей своей красе.
Жизнь приучает нас не падать духом,
Ее закон — крепись, борись, живи!
Земля да будет для ушедших пухом,
Да не лишит оставшихся любви!

Слезы Мадины омочили лицо спавшей, приткнувшись к ней носом, Кукхылу. Мадина прижала дочку к себе, и стало легче. Какой сон! Может быть, это — чудо, может быть, Абдельахат довел до нее через сон свой завет. Должно быть, душа его терзается, не может улететь в небеса, бросив Мадину и детей, она, Мадина, удерживает ее своими слезами. А ведь бабушка Барсынбика говорила, что нельзя слишком долго оплакивать покойного, надо просто не забывать его.

Мадина встала, развела огонь в очаге, вскипятила самовар. Ей пора идти на ферму. Придет отец, позавтракает с девочками, проводит их в школу. Ладно еще есть он...

На ферму Мадина пошла через сад и заднюю калитку. На голых ветках яблонь кое-где висели засохшие, сморщенные плоды, а приснился ей цветущий сад. Если во сне услышишь звуки гармони, говорила бабушка, то это к доброй вести. Может, письмо придет от кого-нибудь из сыновей? Да, Абдельахат, мне еще рано отправляться вслед за тобой, подумала Мадина. Надо еще крепко поставить на ноги детей. Лети, родной, в райские сады, ты заслужил это своими добрыми делами на земле. Не беспокойся за нас. Твоя Мадина, когда ей было 15–16 лет, оставшись с двумя братишками без матери, выдержала все и сейчас выдержит. В ней ведь течет кровь рода Барсынбики, кровь тарханов — опоры страны...

Как всегда, войдя в «Красный уголок», Мадина взглянула на доску объявлений: на ней вывешиваются копии распоряжений по колхозу. А это еще что? Ничего не понимая, Мадина уставилась на бумагу, на которой черным по белому было написано, что она, Мадина Ирназарова, освобождена от обязанностей заведующей фермой. Не оборачиваясь, спросила у сидевшего сзади учетчика:

– Когда это вывесили?

– Вечером, наверно.

– Понятно. А машина... зачем она здесь?

– Скот на мясокомбинат отправляют.

– Скот?..

Мадина вышла на двор. Та-а-ак... Саяф начал мстить ей. А чего еще можно было ожидать от мужчины, в которого ничего, кроме низменного инстинкта, не заложено?!

Ветер доносил откуда-то запах гари, к которому примешивался запах курмаса – поджаренной пшеницы. Мадина повертела головой, попыталась определить, откуда идут эти запахи, и, недоуменно пожав плечами, направилась к грузовой машине, стоявшей около коровника. Видно, и тут Саяф какую-то пакость затеял. Скот, предназначенный для отправки на мясокомбинат, содержится в другом месте. Правда, приходится сдавать состарившихся или каким-либо образом покалечившихся коров, но выбраковки не было. А скотники уже подняли в кузов грузовика одну корову. Она отчаянно мычала.

– Буренушка! – вскрикнула Мадина.

Услышав ее голос, корова взревела, пришла в еще большее отчаянье и, сломав грудью доску ограждения, вывалилась из кузова. Но оказалась не на земле, угодила брюхом на кол изгороди прогулочной площадки.

Мадина в ужасе закрыла лицо руками.

«Прощай, Буренушка! Прижавшись к твоему теплому боку, я искала утешения, когда одолевали горести. Встречая меня, ты взмыкивала, будто увидев своего теленка, лизала мои руки, мое лицо, согревала мою душу. Ты любила людей – сколько молока им дала, сколько потомства оставила! Наверно, высокие чувства присущи не только людям – и ты была наделена ими. Может, ты из потомства Кунгыр буги, породившей легенды? По дремучему лесу, именуемому жизнью, по опасной тропе, на которой путников подстерегают хищники, мы прошли вместе немалый путь. Прощай, Буренушка, прощай, моя молодость!»

Примерно так простилась со своей любимицей ошеломленная Мадина. Чтобы не видеть, как смертельно раненую Буренушку зарежут, она поспешила прочь от коровника. На ферме теперь ей делать было нечего, пошла домой.

Подходя к своему двору по улице, увидела суетящихся во дворе Магинур людей. Бэй, дом исчез! Сгорел! А записи Абдельахата, а... Мадина рванулась к пепелищу. Там ее перехватил отец.

— Постарайся успокоиться, Мадина. Теперь уж ничего не поделаешь. Все сгорело. И Рауза погибла. То ли задохнулась в дыму, то ли сердце разорвалось. Когда ее вытащили из сеней, уже не дышала...

Мадина тихонечко подошла к телу Раузы. Она была в телогрейке, в сапогах. Пришла откуда-то, когда дом уже горел? Зачем же кинулась в огонь?

— Пыталась спасти семена, — сказал Хашим. — Вон несколько ящиков, коробки успела вынести...

...Поскольку у Раузы не было родни на стороне, ждать некого, похоронили ее в этот же день. Хусаин выбрал место на кладбище рядом с могилой Шангарея. Только-только предали тело земле, как повалил крупными хлопьями снег.

— От снега хлебом пахнет, — заметил кто-то.

— Это оттого, что ушел от нас щедрой души человек, — сказал Хашим. — Ты заслужила себе место в раю, Рауза.

Хотя у мусульман нет обычая снимать шапки у могилы, мужчины обнажили головы. Постояли, глядя, как снег постепенно прикрывает свежевыкопанную могилу. Ветра вроде не было, но ветви старой березы вдруг закачались, будто она выразила так согласие с тем, что у ее корней будет спать вечным сном еще одно дитя природы.

* * *

Домой с кладбища Мадина вернулась с отцом.

— Выпалывает смерть близких нам людей... — вздохнула она, когда через заднюю калитку прошли во двор.

— Зеленая еще в сентябре листва деревьев черной осенью вдруг осыпается. Так и мы. Настало время уйти нашему поколению. Я чувствую себя желтым листочком, трепещущим на верхушке березы.

— В тебя, отец, похоже, были заложены способности поэта или художника.

— Были заложены, нет ли, это уж... — Хашим не договорил.

Увидев взрослых через окно, на крыльцо босиком выскочили двойняшки, закричали в один голос:

– Мам, пришли письма! Сразу два!

Мадина вбежала в дом, присела, не раздеваясь, схватила письма.

– От деток моих!

Одно письмо из Ленинграда, от Абубакира. Второе – от Даута. Господи, жив! На конверте его почерк. Дрожащей рукой Мадина вскрыла сначала этот конверт.

«Дорогие мама, сестренки, дедушка, бабушка Барсынбика! Пишет вам с Дальнего Востока ваш сын, брат и внук Даут. Знаю, долго ждали вы письма от меня. За это время нашу семью постигло большое горе. Мне об этом написал Абубакир. А я был ранен и контужен при инциденте на китайской границе. Теперь здоров. Может быть, приеду домой даже раньше, чем дойдет письмо.

Милая мама! Я не раз поднимался в небо, совершил много прыжков с парашютом. Глядя на землю с высоты, я понял, насколько она мне дорога, насколько нуждается в тепле человеческих рук. Я тоже человек земной, во мне течет кровь папы, живет тяга к земле, к хлеборобству, заложенная в нас крестьянским жизненным укладом. Не буду больше мучить ни тебя, ни себя своим увлечением самолетами. Продолжу на тиряклинской земле дело папы. Буду растить хлеб, а сестренки пусть своими серебряными голосами, как жаворонки, славят землю и небо, поднимают нам настроение. С надеждой на скорую встречу любящий вас Даут».

Сын в самом первом письме сообщил, что будет служить на южной границе страны, и Мадине место его службы почему-то представлялось где-то в Средней Азии, в жарких песках, она переживала из-за этого, хотя Даут попал на самом деле на Дальний Восток. Но ладно, это несущественно, главное – наконец-то получила весточку от него. Радостные слезы капнули из ее глаз на тетрадный листок с письмом. Кюнхылу прижалась к ней:

– Мама, не плачь, брат ведь жив. Не плачь, мама!

– Человек может заплакать и от очень-очень большой радости, – заступилась за маму Кукхылу. У нее и у самой в глазах стояли слезы. Она погладила конверт и поцеловала его.

– И это прочитай! – Отец придвинул к Мадине письмо Абубакира, которого тоже очень любил. Может быть, оттого, что спас его мальчонкой от трагической смерти.

Увидев в глазах отца нетерпение, Мадина торопливо развернула второе письмо.

«Здравствуйте, мама Мадина, дедушка, бабушка, сестренки! Я жив-здоров. Закончил службу. Самая большая моя новость – нашел Лидию Николаевну. Я никогда не забывал эту святую женщину. Ведь тем, что когда-то остался жив, я обязан ей и дедушке Хашиму. Сейчас живу у нее. Хочу поступить на вокальное отделение консерватории. Лидия-инэй наняла для меня репетитора. Собираемся вдвоем навестить вас, как только сдам экзамены. Впечатлений у меня столько, что не пересказать, если даже буду рассказывать подряд три дня и три ночи. Всех вас обнимаю, целую, люблю! Абубакир».

Теперь затряслись седая голова и плечи Хашима. Мадина впервые видела отца плачущим. Не зря, видно, говорят, что теплое слово даже лед может растопить. Участливая Кукҳылу взобралась на колени деда, погладила его, успокаивая, по лицу, по волосам. Кюнхылу, взревновав, обняла его сзади:

– Я тоже дедушку люблю!

– Мадина, дочка, ты уж прости меня! Почему я ни разу не обнял тебя, когда ты была такой как внучки, хотя бы по голове не погладил? Глупец я...

– Не расстраивайся, папа. Зато сколько уж лет ты защищаешь меня и моих детей! Ты тоже святая душа!

– Ну, ладно... Идемте-ка, дети, теперь ко мне.

– Отец... – Мадина помедлила, подыскивая нужные слова. – Я давно собиралась тебе сказать... Понимаю, тебе дорога мамина изба. Но... тяжело уже тебе на два хозяйства разрываться, и нам ты постоянно нужен. Переселись уж к нам совсем, а?

– Я сам тоже об этом давно думал. Но работа меня держала там. Теперь я ее почти завершил.

– Какая... работа?

– Там увидишь. – Хашим поискал свой посошок. – Идемте...

Мадина обомлела, увидев мозаичное панно во всю стену избы, в которой выросла. Горы, скалы, леса... По гребню, за которым видны дальше вершины, идет корова с теленком. Поодаль, сзади – женская фигура. В синих, как небо, глазах женщины – восхищение окружающей природой и уверенность, видимо, в том, что она найдет

свою скотинку и дорогу домой. Ее босые ноги избиты до крови, платье изодрано, но в тонкой, гибкой фигуре, во взгляде угадывается удивительная сила духа. Несомненно, это – Тандыса. В ее лице Мадина уловила и черты лица своей мамы. В панно чувствовалось незаурядное художественное мастерство. А создал его отец, скрепляя глиной простые природные материалы – разноцветную речную гальку, мох, древесную кору, шишки, засушенные головки цветов, осколки стекла...

– Папа, да ты же художник! Великий художник! – воскликнула Мадина.

– Хы... – Отец смущенно хихикнул. – Вроде получилось, как хотел.

– А Абдельахат это видел?

– Я от него, дочка, ничего не скрывал.

– Только от меня скрывал...

– Мне это твои песни подсказали. Закваска тут твоя.

– Вот, значит, из-за чего ты не переселялся к нам... Жаль, что не перенести это панно в музей. Самое бы ему место там! Тысячам людей оно добавило бы жизненной энергии...

Мадина отступила назад, села у входа на скамейку рядом с дочками и притихла, задумалась. Эй-й, стоит ли переживать, изводиться из-за потери работы на ферме, из-за мелочного пакостничества Саяфа! Перед величием человеческого духа это всего лишь мусор! Взгляни в глаза Тандысы – вот где почерпнешь жизненную силу и уверенность в себе!

Часть пятая

ВРЕМЯ КРУТЫХ ПЕРЕМЕН

Глава первая

Ночью выпал первый снег, лежал на улице пышным покровом. Оставляя на нем следы, Мадина пошагала к правлению колхоза. Было еще рано, лишь в некоторых домах затопили печи, из труб, клубясь, поднимался дым. Когда был жив Абдельахат, в такой же ранний час они ходили в правление на утренние совещания вдвоем, а теперь вот Мадина прокладывает тропку одна. Уже который раз идет просить у Саяфа работу. Отец вздыхает, советует не ходить. А она, привыкшая к колхозной работе с отроческих лет, не может представить свою жизнь без нее. Как же это можно все время сидеть дома, чувствуя себя никому не нужной?!

В кабинете Саяфа, кроме него самого, никого не было. Вечером он, похоже, выпил сверх меры: веки припухли, под глазами темные мешки. И весь вид у него запущенный. Нечесаные волосы торчат в разные стороны, как щетина старой зубной щетки, на ворот заношенного свитера выпущен выцветший, залоснившийся воротник рубашки. Мужчины, видимо, выглядят прилично лишь до тех пор, пока за их обликом следят женщины. «Не так уж давно умерла Нагима, а Саяф успел опуститься, превратиться в пугало огородное», — мельком подумала Мадина, и ей даже стало немножко жаль председателя.

— Ну? — угрюмо бросил он, не поздоровавшись, когда она вошла в кабинет. Жалость уступила в душе Мадины

место злости, но внешне она осталась спокойной – с грубостью, издевательствами и похлеще сталкивалась, когда добивалась свидания с Абдельахатом в Бутырской тюрьме.

– В прошлый раз вы сказали, что намечается работа для меня.

– Я сказал?! Тебе, должно быть, снятся сны наяву. Нет работы! Нет! И не будет! Не то что для всяких пришлых, для своих местных найти не могу.

– Не понимаю. Я ведь родилась и выросла в этом ауле. Моя мама... бабушка... – Мадина ненадолго умолкла – комок встал в горле. Расстегнула пуговицу шубки. – Вам не стыдно, Саяф Сайфуллович, перед душами Шахарбану, Гульбану, отдавших всю жизнь колхозу? У меня самой стаж работы в колхозе больше двадцати лет. А отец...

– Хватит! – прервал ее Саяф. Рябинки на его лице побагровели. – Воспитывать меня вздумала? Раз хочется воспитывать, надо было стать моей женой!

– Вы...

– Да, я! Саяф Шамсутдинов! Я – хозяин колхоза. Захочу – повешу, захочу – помилую! А тебе, Мадина Хашимовна, пока хозяин здесь я, помилования не будет.

– Я ведь не одна. Дети у меня... Надо их учить, на ноги поставить.

– Если не в состоянии учить, можешь послать своих девчонок на ферму. Их приму. Сама ты пришла туда в тринадцать лет, пусть теперь они поработают. – Саяф, потягиваясь, откинулся к спинке кресла. – Есть еще вопросы?

– Нет. – Мадина встала. – И не будет. Вы, товарищ Шамсутдинов, выдайте мне бумагу, что работы для Мадины Ирназаровой в колхозе нет.

– Думаешь, не выдам? – Саяф написал несколько строк на чистом листке. – На, возьми! Собираешься жаловаться? Жалуйся! Только кто жену врага народа, отсидевшего срок, будет слушать?

Мадина свернула листок, сунула в карман.

– До свиданья, Саяф Сайфуллович. Если суждена вам долгая жизнь, увидите, кем станут мои дети...

– Ты!..

Что прокричал Саяф дальше, Мадина, уже закрывшая дверь кабинета и спускавшаяся по лестнице, не расслышала.

Весь день после этого она места себе не находила. Перебирала в памяти дни своей жизни, горести и радости. Были очень тяжелые моменты, но радостей, успехов, оказывается, было больше. Хоть и покалеченным, но живым вернулся с войны отец. Встретила умного, щедрого, великодушного, работящего Абдельахата. Поступила учиться не куда-нибудь, а в Москву, получала знания у блестящих знатоков музыки, обрела друзей, готовых поделиться последним. Родился сын, вернулся из ГУЛАГовского ада муж, пришли в этот мир две дочки одна другой краше, вернулась в Тиряклы Барсынбика, оказавшаяся ее родной бабушкой. Построили дом всем на загляденье, вырастили сад. Сын благополучно завершил воинскую службу. Абубакир поступил учиться в Ленинграде, певцом станет, и сама она скольких людей порадовала своими песнями...

Да, много хорошего было, и, чтобы набраться сил для дальнейшей жизни, надо почаще вспоминать об этом. Давид Соломонович, когда еще учились в Москве, сказал как-то: «Семиты девять лет непрерывно работают, на десятый год делают перерыв для раздумий. Размышляют, какие дела должны стать особо важными в будущем». Видимо, и в жизни Мадины наступил такой момент. Помнится, Давид же высказал мысль: «Если жить только повседневной текучкой, останется неисполненным самое важное дело, жизнь пройдет зря». В этом отношении примером для Мадины может служить ее Абдельахат: хоть день-деньской был занят текущими колхозными делами, не забывал о главном, старался выкроить время для селекционной работы. И отец Хашим, вроде жил тихомирно, а завершил самое важное для него дело – создал панно «Кунгыр бута». В образе героини легенды выразил свой идеал, взгляд на мир, увековечил свою любовь. Бабушка Барсынбика тоже не погрязла в бытовых хлопотах, умела быть выше повседневной суеты. Упорно постигала секреты исцеления больных. Однажды, вырвав из когтей смерти заболевшую тяжелой формой ангины женщину, бабушка поделилась радостью с Мадиной: «Ты можешь подумать, что случилось чудо. Но это не чудо, я в поте лица трудилась десятки лет, чтобы достичь этого успеха». – «А я смогла бы так?» – спросила Мадина. «Если поставишь перед собой такую цель, сможешь. Только не поддавайся сомнениям. Засомневаешься в своих способ-

ностях — считай, ничего у тебя не выйдет», — ответила бабушка.

Когда бабушка была рядом, серьезные жизненные проблемы решались проще. Зачастую за Мадину думала и предлагала готовые решения бабушка. Теперь обо всем Мадине приходится думать самой. И дня для этого не хватает, не дают думы покоя и ночью.

Вот и этого дня ей не хватило. Только было поздно вечером задремала, как тут же проснулась: ветер ударил в ставни, и почудилось Мадине, что кто-то, как запоздалый путник, постучал в окно. Уж не приехал ли Даут? Она встала, зажгла, чтобы не потревожить дочек, сальную свечу. Прислушалась к ветру. На улице, кажется, набирал силу буран, больше никаких звуков не было слышно. Может, не от стука ставен, а от сердцебиенья она проснулась?

Причин тревожиться за Даута вроде нет. Совсем недавно получила от него письмо. На подготовительные курсы, пишет, поступил и на работу устроился. Только вот не помешает ли ему работа как следует подготовиться к поступлению в институт? Впрочем, в школе Даут учился хорошо. Золотую медаль ему не дали, но те, кто получил, списывали контрольные работы по математике у него, сами учителя об этом говорили. Зря, наверно, Мадина волнуется, но таково уж материнское сердце.

Вспомнилось ей, как съездили с Абдельахатом к Черному морю. «Вот оно какое, Мадина!» — сказал Абдельахат, когда открылось их глазам бескрайнее, без устали накатывавшее на берег волны водное пространство. «Оно, оказывается, как сердце, — сказала Мадина, — как материнское сердце. Никогда не знает покоя».

Однако увидела Мадина море и в пору, когда оно, спокойное, чуть-чуть колыхаясь, посверкивало бесчисленными блестками, перемигивалось с солнцем, казалось безмятежно-счастливым. Была и в жизни Мадины с Абдельахатом такая пора. Была да прошла. Надо теперь, поблагодарив Всевышнего за те счастливые дни, недели, месяцы, годы, идти навстречу новым рассветам. «Умей жить и тогда, когда пожалеть тебя некому, — учила бабушка. — Если не будешь плакать и ныть, сожалея об утраченном, успеешь сделать много добрых дел. Пусть будет тебе уроком печальный пример деда: он прожил жизнь, горюя об отнятом революцией богатстве. Не от-

личал Дингезхан малое от великого, не понял, что величие человека зависит не от мошны, а от души».

При свете прилепленной к блюдцу свечи Мадина раскрыла общую тетрадь с записями народных песен и преданий. Взяла карандаш, записала всплывшую в памяти строку: «Что ж, вызов принят! Цель моя – перебороть судьбу». Кто только не боролся в этом мире за достижение высоких целей! Наверно, за образами Прометея и Урал-батыра стояли реальные люди. А Будда, Христос, Заратустра, Мухамет? Ладно, они – пророки, небожители. Немало и обыкновенных людей, достойных подражания. Взять, например, деятелей искусства, наделенных способностью выражать человеческие чувства – от затаенных их движений до мгновений высочайшего накала. Разве они не ставили перед собой благородные цели и не оставались верными себе до последнего вздоха?

Для девочек, что сладко посапывают на бабушкиной лежанке, погрузившись в свои детские сновидения, важно, какая у них мама, к каким целям она стремится. Важно это и для Даута, выигравшего схватку со смертью, а сейчас обучающегося на подготовительных курсах с тем, чтобы затем поступить в институт и продолжить дело отца. И для Абубакира, оставшегося без родителей, случайно спасенного от гибели в бурном потоке и готовящегося теперь стать певцом. И для отца, Хашима, опаленного пламенем войны, превращенного болью утрат и тоской, как говорится, из проныры в батыра, из разрушителя в созидателя, в творческую личнось, небезразлично, какая у него дочь. Бабушка Барсынбика, молодость которой пришлась на годы, когда жизнь клокотала, как лава в жерле вулкана, когда сын не признавал отца, брат с оружием шел на брата, выбравшись, выкарабкавшись из этого жерла, преодолела свои ошибки, силой ума поднялась на голову выше своего времени и тоже хочет видеть во внучке целеустремленную, сильную женщину. Нужна такая Мадина и односельчанам, ее современникам и современницам, сумевшим в нелегкой борьбе за сносную жизнь сохранить огонь в своих очагах и сберечь любовь к песне...

Мадина со свечой в руке вошла в дальнюю комнату. При неярком освещении иначе, чем днем, заиграли краски висевшей там картины Камалетдинова. Глаза изображенной на картине молодой женщины вспыхнули. Взгляд,

устремленный на Мадину, был ласков, в то же время чувствовалась в нем непреклонная воля. Так вот какой хотел видеть ее Аюп! Оказывается, для того, чтобы понять его, надо было прийти к картине ночью со свечой!

После заседания бюро райкома, на котором рассматривался вопрос о восстановлении членства Абдельахата в партии, остались они в кабинете Камалетдинова втроем — он сам, Абдельахат и Мадина. Тогда Аюп Газизович сказал: «Не важно, откуда пришел человек, важно, куда он пойдет, не важно, кем был, важно, кем стремится стать». С какими умными людьми сводила Мадину жизнь! Жаль, с запозданием начинает понимать это человек...

* * *

Этой буранной ночью в Таулах, в кирпичном доме, выглядевшем внешне вполне благополучным, не спалось еще одной женщине. Кишели в голове Галимы мысли, не подчиняясь никакому порядку, как опарыши в зачервивевшей квашне с забытыми остатками пищи.

Какую ошибку допустила она в жизни, чтобы ночами метаться в одиночестве на широкой тахте, рассчитанной на двоих? Разве не трудилась она всю жизнь, не старалась? Ведь еще в ту пору, когда училась в семилетней школе, летом на попутках ездила в Магнитку продавать ягоды, черемуху, вишню, калину, чтобы купить одежду для младших братьев и сестренок. По два ведра товара на коромысле таскала, стараясь выручить побольше денег, не ела ягоды сама, хотя пересыхало в горле и томила жажда. Не страдала, правда, Галима от такой нищеты, в какой жила Мадина, но и ее семье жилось нелегко. Покойный отец был человек боязливый, смирный, своей тени, как говорила мать, боялся. За дровами съездить — опасался лесника, на охоту сходить — председателя колхоза. Только и знал, что повторять: «Оставь, люди могут услышать!» Вреда людям не причинял, однако и пользы от него, кажется, никому не было. Когда мать сказала отцу, что Галима забеременела, он как всегда замахал рукой: «Оставь, люди могут услышать!» Вместо того, чтобы пойти к злодею, обрюхатившему дочку, и взять его за грудки, спрятался, как улитка, в раковину страха. Даже не спросил, от кого Галима забеременела. Лишь мать, смут-

но подозревая от кого, временами грозила кулаком в сторону, где жил Ихсанбай, призывала на голову нечестивца кары небесные. И потом, до самой смерти, бранила Галиму: «Никудышная! Что толку от того, что ты передовая доярка, раз не можешь по-человечески выйти замуж! Вон другие, не имея даже сменного платья, ухитряются подцепить начальников из района!»

Галима, конечно, понимала, на какую счастливицу, не имевшую даже сменного платья, и на какого начальника из района намекала мать. Может быть, взошедшее на заложенной матерью закваске стремление выйти замуж за начальника и побудило Галиму вступить в связь с Саяфом, затем – с Кыдрасовым. И вот финал: не дождалась от блуда никакого чуда, осталась одна-одинешенька. И карьера, ради которой она перешагнула не только через трупы коров на ферме, но и через человеческие, рухнула. Правда, и сейчас работа у нее неплохая. Когда узнала, что Кыдрасов уедет, а ее намереваются назначить директором Дома отдыха, положила она глаз на место председателя рабкоопа. С ее подачи провели там внезапную ревизию. Старикан, председатель рабкоопа, с которым она провернула прежде немало общих делишек, прибежал, запыхавшись, к ней:

– Беда, Галима Мухаррямовна! Что делать?

– А ты своди ревизора в ресторан, угости щедро! – Галима выразительно щелкнула по подбородку. – Не тебя, старого коня, учить, как дальше действовать.

Председатель последовал совету. Однако гостя не упоишь, если и сам не выпьешь. Пришлось основательно набраться и самому. А как только вернулся он в свой кабинет, нагрянули представители профсоюза с милиционером. Составили акт. Председателю за пьянку в рабочее время влепили по партийной линии строгий выговор с занесением в личное дело и сняли его с занимаемой должности. На освободившееся, еще тепленькое место села Галима. Теперь весь район, включая и начальство, по части дефицитных товаров зависит от нее. Ковер там или шифер без ее разрешения не продадут. О таких крупных вещах, как автомашина, и говорить не стоит. Врач ли, работник ли милиции или суда, даже аппаратчики райкома вынуждены кланяться ей. Рука, известно, руку моет. Галима, можно сказать, соорудила себе трон из дефицита. А счастья все равно нет...

В соседней комнате, за дощатой перегородкой, что-то пробормотала во сне Самира. Уставшая от бесконечных мыслей Галима прислушалась: дочь дышала тяжело. Приближается срок родов. Галима категорически запретила Самире выходить на улицу. Пусть не ходит на людях, выставив пузо. Кто-то узнает, что она нагуляла ребенка, а кто-то и нет. Ах, какая все-таки досада!.. В сердцах Галима встала, налила в стакан коньяку. Выпила. Крепости не почувствовала, прошел коньяк, как вода... Ихсанбай, хоть и отправился в ад, собирается приумножить свое потомство, стать дедом. Погоди, не спеши! О том, кто отец Самиры, не знает никто, кроме Мадины. Да, Мадина знает. И она, единственная свидетельница позора Галимы, и ублюдок, внук Ихсанбая, должны исчезнуть! Самира утверждает, что носит под сердцем ребенка Кыдрасова. После того, что было между ним и Галимой, и увлечение превратилось в мучение, это утверждение просто невыносимо! Нет, Самира не должна выйти за порог этого дома с ребенком Кыдрасова на руках!

Из-за тонкой перегородки послышалось: «Мой малыш, солнышко мое!» О, с какой радостью, с какой нежностью проговорила это во сне ее дочь! Дочь и... соперница. Воровка, укравшая счастье матери! Разбойница с большой дороги! Хищница!..

«Нет ничего сильней любви...» — продолжала бредить Самира. В ее голосе, хоть и сказано было это во сне, звучало торжество. Галима скрипнула зубами: «Ошибаешься, детка! Сильней всего на свете жажда мести! Говорят, ребенок, которому хочется поплакать, играет с бородой отца. Тебе, доченька, видно, очень хочется поплакать...»

* * *

Барсынбика, лежавшая в палате, прислушалась к ночным звукам, доносившимся снаружи. Гуднул тепловоз, донесся стук колес на стыках рельсов. Хотя вой ветра еще не утих, слышала Барсынбика, как шелестят на ветках кленов сухие, не успевшие опасть листья и крылатые семена.

Взлаяла собака. В самой больнице больной, обитающий через три палаты от Барсынбики, кричал и барабанил кулаками в дверь. Барсынбика не только хорошо

слышит, но и хорошо видит все, что происходит вокруг. Она чувствует себя такой, какой была в восемнадцатилетнем возрасте. Тело у нее стало легким-легким и дух помолодел – это результат голодания. Сорок дней она не принимала никакой пищи, только воду пила. Врачи давно уж считают ее живым трупом, махнули на нее рукой, решив, что вот-вот окончательно отойдет. Это оберегло Барсынбику от многих бед. А то ведь и людей с ясным разумом тут с помощью уколов быстро сводят с ума. Сам Всевышний оградил ее от такой участи. Усохшую, превратившуюся в обтянутый кожей скелет, безмолвную старуху оставили в покое.

А Барсынбика между тем помолодела. Если молчание помогло ей сохранить силы, то голодание очистило организм от копившихся в нем в течение всей жизни шлаков, молитвы возносили ее душу в небеса, где она получила ответы на многие беспокоившие ее вопросы. Мысленно она не раз побывала и в Тиряклах, долго смотрела на лучистое лицо спящей внучки Мадины, слушала ее дыхание. Глядя на правнучек Кюнхылу и Кукхылу, вспоминала свое детство. Навестила и Даута с Абубакиром, убедилась, что все у них в порядке. Духовно Барсынбика стала теперь сильней, чем прежде, видит то, что другим не доступно, могла бы многое рассказать и о вышних силах, и о каждом человеке, с кем сводила жизнь. Но теперешним людям ее знания не нужны. Времена Ленина и Сталина затмили их зрение, не будет пользы от того, что дашь слепцу зажженную свечу.

Кроме того... как ей выйти отсюда? Государство держит взаперти людей, которых считает лишними. Конечно, Барсынбика могла бы отомкнуть любой замок и уйти, но есть ли надобность в этом? Она должна пережить все то, что суждено обыкновенным людям, испытать вместе с ними выпавшие на их долю радости и горести. Бог создал человека по своему образу и подобию, выше Бога не поднимешься.

Неожиданно в коридоре раздались шаги. Барсынбика поднялась, села – это к ней идут. Скрежетнул ключ в замке, дверь открылась, вошел мужчина в белом халате. Сам хозяин, главный врач. Сзади топтался еще один мужчина, должно быть дежурный врач. Включив свет, главврач в некотором удивлении воззрился на Барсынбику.

– Ты еще... жива?

Барсынбика не ответила. Неспокойно у хозяина на душе. Разве же, если бы не был обеспокоен, пришел бы среди ночи к больной?

– Почему молчишь? Сорок дней не принимала пищи, а смотришь так, будто насквозь меня видишь. Кто ты, Бураншина? Человек или, если верить идеалистам, дух?

Барсынбика молчала. А могла бы сказать: «Тебе трудно понять, что дух обладает силой, способной превращать животное в человека, а человека в животное. Пока придет понимание, долго еще надо тебе вместе с нами наблюдать в этом каменном зиндане* за тем, как обыкновенные люди постигают божественные истины и становятся святыми. Ты боишься отправить меня в небытие, потому что в тебя вселилась страшная болезнь. Ты догадался об этом, но не видишь пути к спасению. Подобно тому, как утопающий хватается за соломинку, ты в отчаянии пришел среди ночи ко мне за советом. Я могла бы помочь, если бы ты был человек, а не зверь...»

– Ладно, – сказал главврач, не дождавшись ответа, и, обернувшись к стоявшему сзади усатому мужчине, распорядился: – Смените ее одежду, постельное белье, проветрите палату. Будет есть или не будет, пусть ставят перед ней еду.

Он постоял, прикусив бескровную губу, глядя в какую-то невидимую точку, затем бросил на Барсынбику еще один взгляд и, понурив голову, быстро вышел из палаты. Дежурный врач, выйдя следом, запер дверь.

* * *

Абубакир проснулся в радостном настроении.

– Доброе утро, Лидия Николаевна!

– Доброе утро! – Лидия Николаевна присела на стул у его кровати. – Ну, какие сны приснились моему батыру?

– Хорошие! – Абубакир вскочил, подхватил свою опекуншу на руки, закружил по комнате. – Очень хорошие, моя птица Хумай!

– Хватит, хватит! Не хулигань!.. А что это за птица Хумай?

---

*З и н д а н – темница, тюрьма.

– Хумай? – Абубакир осторожно опустил Лидию Николаевну обратно на стул. – Это мифическое существо, которое могло быть и девушкой, и птицей. Урал-батыр женился на ней. После его смерти она больше не превращалась в человека. Тот, на кого падала тень от ее крыла, становился счастливцем, перед ним открывались все пути, ему был обеспечен, говоря по-нынешнему, зеленый свет!

– Вот с кем ты меня сравниваешь! – Лидия Николаевна прослезилась. – Вчера ты запоздниился, и я уж подумала, не решил ли перебраться в общежитие. Какие только мысли в голову не приходили!

– Ну что вы! – Абубакир, сев на коврик, положил голову на ее колени. – Я до сих пор хожу, как хмельной, от радости, что нашел вас! Вы ведь близки мне, как мама Мадина, бабушка Барсынбика... А запоздниился я потому... – Абубакир почувствовал, что даже уши у него покраснели. – Потому что...

– Ну-ну, рассказывай, все равно ведь расскажешь.

Абубакир поднял голову с ее колен, прислонился спиной к своей кровати, обратил счастливые глаза к потолку.

– Я познакомился с одной девушкой...

– С девушкой... Не заняли ли девушки в последнее время в твоей жизни большее место, чем музыка?

– Я, Лидия Николаевна, не безгрешен, часто увлекаюсь, но... такую девушку еще не встречал! У нее глаза как море. А фигура, а походка! Или только мне она показалась необыкновенной? Есть выражение: «небесное создание». Это о ней.

– Вправду такая красивая?

– Ну как вам объяснить? – Абубакир встал, прошелся по комнате, подыскивая слова, чтобы обрисовать свою новую знакомую. – Если бы я был поэтом, написал бы стихи... А как она рисует!

– Она что, художница?

– Ну! – Абубакир вернулся, сел на свое место. – Я подумал: когда поеду на каникулы, понадобятся подарки сестренкам, дай-ка присмотрю заранее. Пошел к Эрмитажу. Там у киоска, где продаются матрешки, и увидел ее. Еще денег не заплатил, верчу одну матрешку в руке. Очень красивая. Роспись такая легкая, свежая, глаза у матрешки – как у нашей Кукхылу, притягивают, завораживают. Вдруг слышу нежный голос: «Нравится?» Поднял голо-

ву – она. Глянула на меня и все, чувствую: тону, пошел ко дну бездонного моря. А она говорит: «Я могу еще красивей раскрасить, для кого покупаете?» – «Для сестренок», – отвечаю. «У вас много сестренок?» – «Две. Совершенно одинаковые. Нет, одна похожа на вас, а матрешка на нее». Засмеялась девушка. Ну, потом я проводил ее до станции метро. Договорились встретиться через неделю на том же месте.

– Звать-то ее как?

– Звать? – Абубакир растерянно поморгал глазами и хлопнул в досаде ладонью себя по колену: – Эх, не догадался спросить!

* * *

К концу рабочего дня Кыдрасов начинал нервничать, ходил по кабинету туда-сюда, как зверь, посаженный в тесную клетку. Не хочется идти домой: там его ждет пустота, бестолковое времяпрепровождение в угнетающей душу тишине. Жена, которая ходит по квартире осторожно, будто боится что-нибудь задеть, уронить, разбить, вечно спящая рыжая кошка, расставленные по полкам фарфоровые фигурки с безжизненными, навевающими тоску глазами – все это осточертело Кыдрасову. На работе ему уютней. Тут все налажено. План выполняется, верней, чуть-чуть перевыполняется. Если произведут сверхплановой продукции слишком много, припрячут на складе на случай форс-мажорных обстоятельств, и премии в положенный срок обязательно будут, коллектив доволен.

Тихонечко движется очередь на квартиры, на покупку автомашин, холодильников и прочих крупных дефицитных вещей. Правда, когда слишком досаждают просьбами насчет квартир, вскипает злость. Почему бы не выделить людям земельные участки и разрешить строить самим? Но, с другой стороны, Кыдрасов признает политику обеспечения народа жильем за счет государства правильной: люди в ожидании квартир как бы в заложниках ходят, будь иначе – кто бы стал старательно работать за маленькую зарплату? Этим же объясняется и твердая дисциплина на производстве: пьяницу, прогульщика в списке очередников на квартиру передвинут в самый конец, а то и вовсе вычеркнут. Даже выделение садовых участков крепко связано с трудовой дисциплиной. Человек, преж-

де чем получит четыре сотки в коллективном саду, должен семь потов пролить, показать себя в деле. Поэтому Кыдрасов держит все, вплоть до мелочей, под контролем, без его разрешения ни черта не получишь.

Да, на работе все в порядке, да вот заработанное особой радости Кыдрасову не приносит. Тесть с тещей уже, можно сказать, стоят одной ногой в могиле, от них останутся набитая богатой утварью квартира, дача, машина, деньги на сберкнижках, и у самого Загира за пазухой не пусто: из района переселился обратно в город с немалым прибытком. Есть на что пожить всласть, но с кем? С секретаршей, что ли, закрутить роман? Так-то на вид она вроде ничего и предрассудками, кажется, не отягощена, сама старается понравиться ему. Заметил вскользь, что не любит рыжих, так она на следующий день пришла на работу с перекрашенными в черный цвет волосами. Он пошутил, что теперь стала секретарша похожа на цыганку, – она живо перекрасилась в блондинку. Словом, эта двадцатишестилетняя девушка, вымуштрованная двумя прежними директорами завода, готова оказать ему любую услугу. Вечером, когда народ, работающий в дирекции, разошелся по домам, Кыдрасов нажал кнопку вызова секретарши.

– Слушаю вас!

– Зайди.

Секретарша тут же предстала перед ним. Кыдрасов кивнул на дверь своей комнаты отдыха:

– Если не занята делами, айда туда...

Зашли в комнату. При сумеречном, сочившемся с улицы свете лицо девушки казалось более миловидным, чем на самом деле, черная юбка и черный свитер подчеркивали грациозность фигуры.

– Может, чаю принести? – спросила она.

– Потом. Раздевайся.

Девушка начала неторопливо раздеваться.

Кыдрасов включил люстру. Яркий свет оказался не в пользу секретарши. Ее кожа давно утратила гладкость и свежесть, присущие юному телу, дряблые груди висели, как у вскармливающей щенков суки. Эх, далеко ей до Самиры! У той тело тугое и гладкое, как у пиявки, не успеешь еще к нему притронуться, а уже дрожишь от нетерпения. Это ведь только для не едавшего мяса и шурпа – еда.

У Кыдрасова, еще не снявшего даже пиджак, пропало желание. Поморщившись, велел секретарше одеться...

Домой он пришел злой, а тут еще и Камилла встретила с кислым лицом.

– Запоздился ты, – упрекнула жена, – ужин остыл.

– Поела бы одна...

– Одной скучно. В районе ты все время был занят работой, и тут то же самое.

– Скучно, говоришь... – Кыдрасов в ярости достал из стенки хрустальный кубок на серебряной подставке, когда-то полученный женой на соревнованиях, и принялся заворачивать его в тряпку, как ребенка.

– Ты что делаешь?

– Так ведь тебе скучно! – Кыдрасов положил «ребенка» на стол перед женой. – Ты потеряла здоровье в погоне за спортивными наградами, нянчись теперь с ними! Веселей будет!

– Бессердечный! – Камилла швырнула кубок на пол и заплакала.

А несколько позже, когда он лежал в постели, просматривая газеты, жена зашла в его спальню с заплаканными глазами, несмело присела на край кушетки. Отвороты пеньюара на груди Камиллы разошлись, обнажив тусклую кожу, на худой шее пульсировали синеватые кровеносные сосуды, землистые губы дрожали. Кыдрасову стало жаль ее. Если бы у жены был злой, сволочной характер, если бы не принимала свою несчастливую жизнь покорно, ему было бы легче. Сегодняшний его поступок, наверно, доконал ее.

– Загир...

– Слушаю.

– Я... – Камилла нерешительно теребила край его одеяла.

– Я сказал «слушаю»!

– Я встала в очередь в Доме ребенка.

– И что же дальше?

– Когда поступит хороший, здоровый младенец, обещали отдать нам.

– А раньше ты сделать это не могла?

– Я надеялась, что будет свой. Ждала...

– Порядочные люди здоровых детей не бросают!

Сказав это, Кыдрасов прикусил язык. Сам-то, сам! Разве он не бросил на произвол судьбы молоденькую де-

вушку, ожидавшую ребенка от него? Впрочем, он ведь предложил ей сделать аборт, с гинекологом в Уфе договорился...

– Они обещали проверить наследственность ребенка...

Кыдрасов взял себя в руки, сказал, прикинувшись равнодушным:

– Делай что хочешь, ребенок нужен тебе.

А самого будто весенний дождик лэйсэн окатил, на сердце потеплело: ему давно хотелось завести ребенка, очень сильно было желание поласкать малыша.

* * *

Мадина ждала дочек из школы, удивляясь, что двойняшки почему-то там задержались. Утром, когда прогорели дрова в печи, она поставила тушиться в чугуне мясо с овощами. Распространившийся по дому вкусный запах свидетельствовал, что еда готова, и вскипевший самовар уже стоял на столе. Пока что никакие звуки, кроме боя часов, не нарушали тишину в доме, но от нее ничего не останется, как только первой в дверь ворвется Кюнхылу и объявит:

– Мама, твои дочки водрузили сегодня на крутые вершины науки не один, а пять победных флагов!

Они разные, ее дочки, но обе учатся хорошо. Что касается склонностей, Кукхылу увлекается пением, Кюнхылу предпочитает танцы – будто договорились разделить меж собой по справедливости мамины способности.

Стукнула калитка, но, против обыкновения, не послышались вслед за этим смех и возбужденные голоса девочек. Мадина припала к окну, чтобы посмотреть, кто там пришел, и увидела отца, несущего на руках Кукхылу. За ним, понурив голову, шла Кюнхылу, несла свой и сестрин портфели. Мадина, не одеваясь, выбежала во двор.

– Отец, что случилось?

– Не волнуйся, у Кукхылу немного... из носа кровь течет.

– Господи! Да у нее еще и на щеке рана! Сильно ударилась? Как бы сотрясения мозга не было!

Лишь после того, как дома, раздев Кукхылу и положив ее на край лежанки, остановила кровотечение, Мадина обратила внимание на все еще стоявшую у входа

Кюнхылу, заметила шишку у нее на лбу и синяк под глазом. Ну, ясно, опять ввязалась в драку!

– Рассказывай, что случилось. С кем подралась?

– Они сами...

– Кто – сами?

– Мальчишки Саяфа.

– Я сколько раз просила тебя...

– А чего они все время говорят: «Ваша бабушка Барсынбика – кулацкое отродье, а папа – враг народа»?! И обзывают нас с Кукхылу нехорошими словами!

– Ладно уж, Мадина, не брани их! – Хашим взял из рук Кюнхылу портфели. – Разувайся, детка.

– Отец, не вмешивайся! Я у тебя спрашиваю, Кюнхылу: кто начал драку?

– Я! Не вытерпела!

– Дальше?

– Дальше... – Кюнхылу, шмыгнув носом, воздела очи к потолку. – Они вцепились в меня скопом, тогда и Кукхылу встряла...

– Начала, значит, ты, а досталось сестре. Так?

– Я ей сколько твердила: не встревай, когда я дерусь!

– Ах, дети, дети! – Мадина перенесла Кукхылу в горницу на диван. Лицо у девочки было бледное, на лбу выступила испарина. – У тебя, видно, сотрясение мозга, лежи спокойно, ладно?

...К вечеру, обиходив скот, заперев его в загородке и вернувшись в дом, Мадина услышала разговор девочек в сумеречной горнице.

– Ну зачем ты сунулась, зачем? Думаешь, я поддалась бы им?

– Они же свалили тебя на землю и начали пинать. Как было стерпеть?

– Вот теперь будешь ходить со шрамом на лице, а еще артисткой хочешь стать. Разве бывают артистки со шрамом?

– Заживет, наверно. В ранке щиплет, но мама сказала заживет.

– Если будешь соваться каждый раз, когда я дерусь, у тебя на лице живого места не останется.

– А ты не дерись.

– Меня будут оскорблять, а я терпи?

– Бабушка говорила: собака лает, ветер уносит.

– Оставлять обиду без ответа – это не по-мужски.

— Ты же не мальчишка.

— А где написано, что девочки не должны защищать себя?

Слушавшей разговор Мадине стало не по себе. Зло уже коснулось юных, еще не успевших окрылиться душ ее девочек, в сердце Кюнхылу вселилось желание мстить. Как тут не вспомнишь опять бабушку. Может быть, другими словами она высказывала мысль: угнездившаяся когда-то в человеческом сознании идея классовой вражды даст еще всходы в душах наших внуков и правнуков. Вдобавок девочки стали свидетельницами столкновения Мадины с Саяфом. Вот тогда и зародилась у них ненависть к нему. Поскольку бороться с ним им не под силу, озлобились на его детей. Отношение мальчишек к двойняшкам — это отражение негативных чувств самих девочек. Как очистить их души от этой скверны, не дать росткам зла укорениться? Кукхылу добросердечна, способна подавить в себе злые чувства, но и она откровенно ненавидит Саяфовых мальчишек...

Мадина попыталась отрешиться от неприятных мыслей, переключить внимание на что-нибудь другое. Приподняв занавеску, глянула на улицу. Вон на противоположной ее стороне зажег свет отец. Он по-прежнему ночует в своей избе. Не может расстаться с порожденным мечтой образом Тандысы-Гульбану. Пока освещает избу хотя бы свет из очага, не сводит глаз со своего панно. Удивителен мир, удивительна душа человека. Раньше Мадина не могла понять, что резко изменило ее отца. Думала: война и пережитые им страдания. Теперь поняла: изменила любовь. Ключ к запрятанным в глубинах души прекрасным качествам нашел в любви. И Абдельахат любил Мадину такой же любовью. Благодаря этой любви он стал сильнее смерти, выжил в невыносимых условиях и затем сделал свои открытия.

Любящее сердце, говорят, бесхитростно. Отец душой чист и открыт как ребенок...

— Мама!

Мадина вздрогнула.

— Ты встала, Кукеней?

— Да. Можно мне полежать около тебя?

— Ложись, ягненочек мой! Голова не болит?

— Нет, только немного кружится.

— Это пройдет, скоро поправишься.

— Мам, а у Урал-батыра вправду была волшебная палочка?

— В сказаниях все возможно.

— Эх, вот бы и мне такую палочку!

— Для чего?

— Папу бы... оживила. Бабушку и братьев домой вернула, и еще дедушку омолодила бы.

С другого боку Мадины пристроилась Кюнхылу.

— Урал-батыр с помощью волшебной палочки делал только добрые дела, — продолжила разговор Мадина. — А в руках Шульгана она превратилась в орудие зла.

— А я... — Кюнхылу в возбуждении даже поднялась, села. — Если бы у меня была волшебная палочка...

— Ну-ну, что бы ты сделала?

— Я бы всех, кого люблю, сделала бы бессмертными!

— Выходит, ты не поняла предание об Урал-батыре. В нем сказано: «Не пейте живую воду». И еще: «Вечны только добрые дела, они ни в огне не горят, ни в воде не тонут».

— А наша учительница сказала, что «Урал-батыр» — это сказка, такого человека не было.

Теперь уж Кукхылу села:

— А я сказала: был! Бабушка Барсынбика говорила, что его дух и сейчас живет.

— Помолчи, пусть мама скажет. А то...

— Что «а то»?

— Опять твой мозг сотрясется.

— Кюнхылу! — рассердилась Мадина. — Не стыдно тебе насмехаться над сестрой?

— Я не насмехаюсь, я правду говорю. На нее уж и мухе не сесть. Чуть толкнешь — упадет и голову расшибет или мозг сотрясет!

— Кукхылу... — Мадина погладила дочку по голове. — Ляг, детка, и постарайся сегодня двигаться поменьше. А ты, Кюнхылу, укороти язык. Иначе станешь такой, как Шульган. Он пропускал наставления отца с матерью мимо ушей и вон каким злодеем вырос!

— А все-таки был Урал-батыр на самом деле или не был? — По голосу Кюнхылу чувствовалось, что она не успокоится, пока не получит ответа.

— Ладно, — сказала Мадина, — поговорим об этом. Завтра выходной, в школу вам не идти. Потом, может, чаю попьем. Я вам жаворонков из теста испекла.

– Жаворонков? А вместо глаз у них изюм?

– Жаворонки никуда не денутся, дай послушать маму, – потребовала Кукхылу. – Я уже два раза прочитала предание, то оно кажется сказкой, то правдой.

– Хорошо, слушайте... В Коране сказано, что Всевышний создал землю, на которой мы живем, за семь дней. Это произошло очень давно. Первые живые существа нисколько не походили на нас, они были сотканы из лучей, прозрачны, только через миллионы лет начали уплотняться, но все равно продолжали летать по небесам, не встречая никаких препятствий...

– Во сне я тоже все время летаю, – вставила Кюнхылу.

– И я!

– Значит, вы представляете, что такое полет. Со временем эти существа еще более уплотнились и стали похожи на людей. Но были они очень рослые и сильные. Теперь их называют богами. К их числу относились Зевс, Прометей и другие греческие боги, жившие на горе Олимп. От них произошли люди-великаны, атланты. Они были мельче богов, но тоже очень крупные и сильные. Они обладали огромными знаниями, возводили большие прекрасные здания, строили города. Питались только растительной пищей, нужные растения и плоды выращивали на морском дне, потому что могли жить и на земле, и под водой...

– Подводное царство, выходит, было на самом деле? Кюнакес, слышишь?

– Я же тебе сказала, когда читали сказание «Акбузат»! Дядя Хусаин говорит, что наш жеребчик – потомок коней, вышедших из подводного царства.

– Если будете прерывать, я не стану рассказывать... – Мадина прикинулась рассерженной, девочек это испугало.

– Все, молчу, как рыба! – Кюнхылу прикрыла рот ладошкой.

– На чем я остановилась?

– Они могли жить и на земле, и под водой, – подсказала Кукхылу, глядя на мать умоляюще.

– У них были кони, умевшие разговаривать, и волшебные трубы, – продолжила свою сказку Мадина. – Они получали нужные им знания с помощью этих труб прямо из Вселенной, уже в готовом виде...

– А разве есть во Вселенной готовые знания?

– Кюнакес, ты ведь обещала не мешать маме!

— Эти знания остались там от живших раньше божественных созданий. Но мир не остается неизменным. Однажды Земля столкнулась с громадным небесным телом, ее окружили тучи дыма и пепла, суша, где жили атланты, ушла под воду, превратилась в дно океана, все погибло...

— И людей... совсем не осталось?

— Ну, Кюнхылу, сама подумай, разве были бы мы, если бы никого не осталось?

— Немножко людей осталось, но раз им пришлось жить совсем в других условиях, они измельчали, часть из них превратилась в дикарей. Азрака, о котором идет речь в «Урал-батыре», как раз был из породы этих диких людей. Некоторые атланты, предчувствуя грозившую Земле катастрофу, спрятались в пещерах высоких гор, некоторые остались в построенных ими пирамидах под водой.

— Живые или мертвые?

— Вы в школе изучали, в каких состояниях бывает вода?

— В трех состояниях: пар, жидкость и лед.

— О том, что она может быть еще в одном, четвертом, состоянии, сейчас никто не знает. Клетка в живом теле на восемьдесят процентов состоит из воды. Атланты владели секретом перевода ее в четвертое состояние, при котором тело сохранялось, не портясь, сколько угодно лет. А вечная душа могла покинуть его и потом вернуться или поселиться в другом теле. Ожившие атланты стали появляться среди пришедших в мир после них обыкновенных людей, передавать им свои знания, учить добросердечным отношениям. Могли они появиться и в образе, например, птицы или коня...

— И волшебную палочку они принесли?

— Да. Родители Урал-батыра и Шульгана были посланы ими, чтобы научить людей жить по справедливости, отличать добро от зла. Уралу удалось вступить в связь с божественным Самрау и его дочерьми, с их помощью он рассевал семена добра, взял вверх в борьбе со злом и прославился навеки. А опозоривший себя злодеяниями Шульган затаился. Зло всегда таится, действует исподтишка, выжидая удобного момента, чтобы нанести разрушительный удар по благополучной жизни.

— Урал-батыр жил долго?

— Долго, Кюнхылу, очень долго. Помогал людям находить удобные для жизни места на суше, объясняя, что

вечной, бессмертной должна быть природа, а не отдельный человек, и подтвердил это собственным примером. Когда нависла угроза гибели над природой, он не проглотил набранную в рот живую воду, благодаря которой мог стать бессмертным, а опрыскал ею все вокруг. Сам умер, а в природе все зазеленело, расцвело, как бывает весной.

– А дух Урал-батыра и сейчас летает над нами?

– Не просто летает, через эпос Урал-батыр устами мудрых сказителей доводит до людей свои заветы. Какие бы трудные времена не переживал народ в течение прошедших лет, в каждом новом поколении были люди, знавшие эпос наизусть и передававшие его своим потомкам.

– Если все это пересказать в классе, нам, наверно, никто не поверит, – вздохнула Кукхылу.

– А вы не пересказывайте, для этого нужно особое умение. Приходит время, и глубокие мысли, заложенные в эпос «Урал-батыр», как бы сами по себе проясняются для очень многих людей, эпос помогает отличать добро от зла, подает пример благородства, душевной щедрости, дружелюбия...

– Эх, если бы все люди стали такими, как Урал-батыр! – размечталась Кюнхылу. – Тогда в мире не осталось бы никакого зла.

– Дай-то Бог! – сказала Мадина.

– Тогда и Кюнакес перестала бы драться с мальчишками, – добавила Кукхылу.

Кюнхылу на этот раз промолчала.

– Прочитайте эпос «Урал-батыр» еще раз, – посоветовала Мадина девочкам. – Человек отличается от животных тем, что может сделать сознательный выбор. Народ неспроста ставит героев преданий и сказок на перепутье: направо пойдешь – будет то-то, прямо – то-то, налево – то-то. Почему Шульган выбрал дурной путь, с чего это началось? Попробуйте найти в эпосе ответ. А сейчас – бай-бай!

– А жаворонки? Они же в печи пересохнут! – Кюнхылу вскочила, включила свет.

– Жаворонки! – подхватила и Кукхылу, свесив ноги с лежанки.

– Голова у тебя не кружится, дочка? – озаботилась Мадина.

– Ни капельки!

– Что ж...

После чаепития девочки быстро уснули. Мадина встала перед висевшей на стене увеличенной фотокарточкой Абдельахата. «Что делать, Абдельахат? Устоят ли нежные еще души наших дочек перед силами зла, не надломятся ли? Саяф и впредь будет науськивать на них своих мальчишек. Телесные раны заживут, а как быть, если поранят их души?..»

* * *

Еле дождался Абубакир субботы. Ждал в таком нетерпении, что каждый час этой недели, казалось ему, длился дольше месяца, а каждый день – дольше года. То в жар его бросало, то в холод. Иногда забывал то, что знал, не понимал, чего хотят от него преподаватели. И вот – суббота...

– Поел бы хоть немного, – сказала ему Лидия Николаевна.

– А разве я не позавтракал? – удивился Абубакир.

– Три дня уже толком не ешь. Как бы не заболел, экзамены не провалил.

Абубакиру стало жаль старушку. Подошел, обнял ее одной рукой за плечи.

– Не заболею! Смотри, какой я здоровый! – Он согнул другую руку, напряг бицепсы. – Вот пощупай-ка...

Лидия Николаевна засмеялась, но не исчезла в глазах тревога за него.

– Я очень за тебя беспокоюсь, детка. Не стоило бы в твои годы, при твоих достоинствах изводить себя из-за случайной знакомой. Вон их сколько, красивых девушек, вокруг...

– Ах, инэкей! Сердцу не прикажешь. У нас, башкир, есть поговорка: даже батыр бессилен перед красавицей... – Абубакир, подойдя к окну, глянул на улицу. Город был окутан туманом, приглушавшим уличные шумы. – Я уж и сам иногда сожалею, что подошел в тот день к киоску с матрешками, и обернулся на голос девушки. Не заговори я с ней – жил бы себе спокойно...

...К месту, где договорились встретиться, Абубакир готов был полететь, жаль, не было у него крылатого коня Акбузата! Чтобы добраться туда поскорей, поймал такси.

Но машина в тумане двигалась медленно, из-за гололеда ее заносило в сторону, несколько раз она ударилась задним колесом о бордюр, вынудив таксиста выругаться, причем, по-башкирски. Абубакир встрепенулся, услышав соленые словечки на родном языке.

– Вы... откуда родом? – поинтересовался он.

– Из Уфы.

– А как оказались здесь?

– После армейской службы остался.

– Не потянуло в родные края?

– Э, тогда... Глупый был. Влюбился тут в одну девушку. Женился. И застрял...

В этот момент Абубакир увидел совсем рядом рельсы и тут же надвигающийся из тумана красный бок трамвая. Резнул слух пронзительный звонок, мелькнуло побелевшее лицо женщины – вагоновожатой. Таксист резко затормозил машину, может быть, на заледенелой дороге не следовало этого делать: «Волгу» опять занесло вбок, спустя какую-то долю секунды раздался удар.

– Все, кранты! – сказал таксист и разразился бранью, теперь уже по-русски. Отведя душу, он зачем-то снял фуражку, вылез из машины и пошел объясняться с вагоновожатой. Следом вылез и Абубакир.

В столкновении был виновен таксист, он это признал и стал извиняться перед вагоновожатой. Хорошо, что она быстро среагировала и остановила трамвай, иначе такси могло исполнить сальто-мортале. А так обошлось вмятинами в боках и машины, и вагона. Но все равно нужно было вызвать сотрудников ГАИ, чтобы разобрались, кто прав, кто виноват. Абубакира как свидетеля происшествия не отпустили. Пока появились гаишники, разобрались, составили акт и он на другом транспорте добрался до места встречи, прошло много времени. Девушка, конечно, ушла, не дождавшись его. Киоск был закрыт, на выступе перед закрытым окошечком стояла матрешка с небесно-синими глазками. Огорченно вздохнув, Абубакир сунул матрешку за пазуху и положил на ее место купленные для девушки цветы.

* * *

Мадина, вызванная в школу по поводу вчерашней драки детей, перед тем, как войти в кабинет директора, успела взять себя в руки, успокоиться. Она знала, что ни ей, ни ее девочкам снисхождения не будет. Так уж устроена жизнь: тот в ней прав, у кого больше прав. В ауле все смотрят в рот председателю колхоза, и если он на кого-то обозлился, попробуй не поддержать его – житья тебе потом не будет. Еще тогда, когда Абдельахат был жив, ходил в должности главного агронома колхоза, этот же директор основательно потрепал нервы ему и Мадине из-за промашки Даута. На любом собрании, совещании не упускал случая заявить: «Некоторые товарищи, несмотря на занимаемые ими высокие должности, не воспитывают своих детей надлежащим образом, о чем свидетельствует взрыв колхозного бака с горючим!» Привело это в конце концов к тому, что жизнерадостный Даут превратился в угрюмого, неразговорчивого подростка.

– Здравствуйте! – Мадина не удивилась, увидев рядом с директором школы Саяфа, добавила усмешливо: – Не то уж и наш председатель в педагоги подался?

– Здравствуем, – отозвался директор нерешительно, как будто хозяином здесь был не он. – Присаживайтесь.

Саяф сидел справа от него, как в своем кабинете, вальяжно откинувшись к спинке стула, широко расставив ноги. Сказал, набычившись:

– Тут уж и не знаешь, в кого податься. Тебе известно, что твои девчонки чуть не до смерти избили моих мальцов? Раз сироты, кусай их, сколь хошь, хоть собака, хоть вошь! Так, что ли?

Мадина мгновенно разъярилась:

– А... Твои дети, оказывается, сироты, а мои нет, что ли? Их отца убили! Ты как хозяин, весь аул на кончике пальца крутишь, лишил меня работы, отнял у моих детей средства существования, тем не менее твои дети – сироты, а мои, оказывается, нет!

– Мстишь мне? Поэтому натравливаешь своих телок на невинных мальчишек?

– Раскрывай рот, Саяф, поосторожней! Может быть, жалея твоих детей, я не настояла на тщательном расследовании странных обстоятельств гибели Абдельахата...

Саяф, побагровев, вскочил.

– Мало того, что твоя бабка свела в могилу мою жену, теперь меня хочешь сожрать?

– И еще, Саяф, заруби себе на носу: мы похоронили Раузу как жертву несчастного случая, подумав о будущем твоих детей. Народ в ауле догадывается, кто устроил пожар.

– Товарищ директор! Вы слышите? Это же поклеп средь бела дня! Очернение руководителя колхоза! К счастью, мы не были осуждены как враги народа!

– Ничего, придет время, и возмездие найдет вас!

Директор, наконец, решил вклиниться между двумя разъяренными людьми. Кажется, он теперь сожалел о том, что устроил эту встречу.

– Успокойтесь, успокойтесь! – воззвал он. – Дети не растут без ссор. Давайте уладим это дело тихо-мирно.

– Я не могу разговаривать тихо-мирно, когда речь идет о судьбе моих детей! – отрезала Мадина. – Хватит с меня одной жертвы – Даута. Давайте личные дела моих дочек! Тиряклы не единственное селение в мире, и школ, кроме вашей, достаточно!

– Решили со зла на Саяфа Сайфулловича лишить школу двух отличниц? – воспротивился директор.

– Мне нужны не отличницы, а духовно здоровые дети!

– Отдай ей личные дела! – рявкнул Саяф и потянулся к лежавшей на столе связке ключей. – Давай я сам их достану. Который ключ от сейфа?

– Не горячись, пожалуйста, Саяф Сайфуллович.

– Как тут не горячиться?!

Директор взял ключи, дрожащей рукой открыл сейф и, порывшись в нем, вынул две тоненькие папки.

– Вот...

Саяф вырвал папки из его руки, протянул Мадине:

– На! И катитесь к чертовой матери, чтоб в ауле не осталось и духа от... Абдельахатовых щенков!

Мадина, бережно прижав папки к груди, вдруг улыбнулась директору школы.

– Спасибо! Спасибо вам большое! – И вышла из кабинета, оставив директора с Саяфом в недоумении.

Она занесла документы девочек домой и сразу же направилась в избу отца.

Хашим, увидев дочь, торопливо обтер испачканные глиной руки тряпицей.

— Разве ты не закончил еще работу над панно? — удивилась Мадина,

— Эта работа, дочка, никогда не закончится. Хочется улучшать и улучшать...

В избе было тепло, пахло печеной картошкой.

— Картошку, что ли, печешь?

— Да, закатил в жаркую печку с десяток. Девочки по пути из школы забегают сначала ко мне...

— Бэй, выходит, ты отправляешь их домой сытыми, а я волнуюсь, думаю, у них аппетита нет!

— Так ведь дети, побаловать их хочется. Я иногда вместе с картошкой свеклу и морковь пеку. У печеных овощей вкус совсем другой.

— Ты так говоришь, что и мне захотелось попробовать.

— Сейчас, сейчас... — Хашим, вымыв руки, достал из печи большую горячую картофелину, положил на стол перед дочерью. Достал одну и для себя, принялся сдирать с нее кожицу.

— На войне мы ее в костре пекли. Говорят, печеная обгоревшая картошка для сердца полезна...

— Отец... — Мадина помялась, не зная, как начать разговор о своем решении увезти дочек из Тиряклов. Старик в них души не чает, разлука с внучками будет для него тяжелым ударом.

— Я чувствую, ты хочешь сообщить мне что-то. Говори...

— В последнее время я очень много думала.

— Естественно. Раньше все время была занята работой. Как только человек немного освободится от работы, распрямит поясницу, начинают одолевать думы. К чему же ты пришла?

— Я, отец, решила увезти девочек отсюда.

— М-да-а... — На лицо Хашима набежала тень. Он давно не курил, а, услышав новость, достал с припечка папиросы, прикурил от уголька из очага. — Вообще-то птицы держат птенцов в гнезде недолго, выталкивают, как только у них окрепнут крылышки. Но у девочек крылья еще не окрепли, не рановато ли?

— Я ведь не воробушков ращу. Мои девочки, похоже, станут птицами высокого полета. Но если долго держать их в гнезде, выше крыши не взлетят. Только человек, увидевший, как велик мир, наверно, не боится высоты...

— Ты права. Маялась, не зная, как довести это до меня?

– Так ведь... – Мадина покраснела. – Ты очень привязан к ним, они – к тебе.

– Они не игрушки, чтоб держать их при себе ради радости.

– Спасибо, отец.

– Документы-то их тебе отдали?

– Отдали. – Мадина усмехнулась. – Пришлось схлестнуться с Саяфом. Высказала, что о нем думаю. Сама от себя не ждала таких слов...

– И хорошо, что высказала. Может, малость присмиреет. А то ведь накинулся на нас, как дикий зверь. Думает, что о его черных делах никто не догадывается, что ли?

– Доказательств нет... – Мадина отвернулась к окошку, чтобы отец не увидел выступившие на ее глаза слезы. – Кривда, говорят, и через сорок лет откроется, но мне не хочется тратить жизнь на разборки с этим мерзавцем.

– Правильно, правильно. Не стоит бередить себе душу, сыпать соль на раны. И решение приняла верное. Когда собираешься тронуться в дорогу? У меня на книжке накопилась пенсия, сниму. Если в Уфу отправитесь, может, и Дауту чего понадобится, а то, глядишь, к Абубакиру поедете... Об отъезде тут особо не распространяйся, не обязательно всем знать, где девочки будут учиться. Кукхылу предупреди, чтоб помалкивала, а Кюнхылу и так не очень разговорчива, никому не скажет...

От отца Мадина ушла, окончательно утвердившись в своем решении. Хорошо, когда рядом есть человек, который может понять и поддержать тебя!

* * *

Кюнхылу расстроенно тыкалась из угла в угол, ломая голову над словами матери. Мать, собравшаяся куда-то сходить, сказала перед уходом: «Детки, переберите все свои вещи, одежду, что надо постирать – постирайте, отутюжьте. Мы на днях уедем из Тиряклов. – И добавила: – Выходим на широкую дорогу...» Что это значит? Сказала бы, что отправятся в дальний путь, было бы понятней. Да и то... Выходит, через считанные дни они расстанутся с миром, в котором жили, сколько себя помнят, где все им знакомо и близко. А может, и друг с дружкой расстанутся, как расстались уже с братьями? Кюнхылу

посмотрела на сестру, уткнувшуюся в книжку. Сказала негромко:

– Кукеней...

– Да? – Сестра подняла голову.

– Ты слышала, что сказала мама?

– Конечно.

– Мне кажется, мы расстанемся. Чует мое сердце – расстанемся, Кукеней! – Кюнхылу кинулась к сестре, обняла ее и заплакала. – Кто же будет защищать тебя, Кукеней?

– Ладно, поплачь. Я уже выплакалась. Давно чувствовала, что уедем отсюда.

– Как же ты могла это почувствовать?

– Скажу – не поверишь. Знала, что расстанемся. С тех пор, как бабушка спела баит о Саке и Суке. Мы с тобой разные. Моя жизнь будет неинтересна тебе, твоя – мне.

– Я тебя часто обижала, злила, – вздохнула Кюнхылу. – Даже нарочно. Чтоб ты не была смирненькой размазней.

– Когда надо, я и злой могу быть. Но ведь было сказано встарь: злого повесят, смирного подчинят и как-то там дальше. Не забывай: злого повесят!

– Я помню, но когда говорят неправду или кого-нибудь обижают, у меня руки чешутся... И я не умею, как ты, сидеть и мечтать о чем-то одном. Мне много чего нравится: и лошади, и танцы, и песни тоже...

– Гениев, оказывается, было больше среди тех, кто уже в детстве выбрал одну дорогу в жизни. Я прочитала это в журнале «Пионер».

– Хорошо, я подумаю об этом. На улицу не выйдешь?

Кукхылу перелистала непрочитанные страницы книги.

– У-у, много еще. Надо уж дочитать.

– А я схожу. Пусть мама не теряет меня, ладно? Если спросит, скажешь: только что вышла, вот-вот должна вернуться.

– Ладно. Только далеко не уходи.

Далеко уходить Кюнхылу не собиралась. Зашла в загородку у сарая, где стоял ее дунэн. Протянула ему на ладошке кусочек сахара. Жеребчик осторожно взял гостинец мягкими губами.

– Саврасушка, я скоро уеду. Слышишь?

Дунэн стоял, опустив голову. На сей раз девочка не

выказывала намерения вскочить на него, промчаться круг-другой по лугу, что называется, с ветерком. Она лишь поглаживала его гриву, скулы, нос. Заглянула во влажные, будто окаймленные черным бархатом глаза.

— Саврасушка, пожелай мне счастья. И Кукхылу, и мне... И сам будь счастлив! Пусть тебя ждут на скачках только победы! Я буду приезжать на сабантуи, и тогда никто, кроме меня, на тебя не сядет...

Затем Кюнхылу поласкала их кормилицу Буренушку и похожую на нее годовалую телку, поочередно ласково похлопала по спинкам, огладила всех ягнят и козлят. Если бы увидел это дед, сказал бы опять: «Ох, и любишь животных! В тебе живет дух Тандысы». Но никто не видел здесь Кюнхылу, и она, прощаясь с любимцами, вдосталь выплакалась.

Выйдя из загородки, девочка забралась по приставной лестнице на крышу дома. Это место, откуда она обозревает окружающий мир. Как красивы заметенные метелями и буранами, покрытые волнистыми снегами поля! Не счесть, сколько раз скользила Кюнхылу по ним на лыжах, сколько раз скатывалась на санках с окрестных склонов. Бегала она и по окованной хрустальным льдом Акъелге вверх по ее течению, поднималась на хребты, где, может быть, не ступала еще нога человека. Если хотелось есть, ей протягивала свои красные кисти калина, предлагал засохшие плоды шиповник, иногда в закрытых от ветра уголках можно было найти и не осыпавшуюся осенью черемуху. Как расстанется со всем этим Кюнхылу?

Обернувшись к горным грядам на востоке, Кюнхылу глянула на горбы Улубиика и Каратау. Эти горы не так скалисты и лесисты, как Куктау, но замечательны тем, что летом кажется, будто радуга упирается одним концом в одну из их вершин. Если девчонка пройдет как раз через конец радуги, то превратится в мальчишку, а мальчишка, напротив, в девчонку. Многие запреты, наложенные на девчонок, мальчишек не касаются, они живут посвободней, поэтому Кюнхылу решила воспользоваться возможностью стать мальчишкой и однажды после дождя, дождавшись появления радуги, устремилась к вершине Улубиика. Обессиленная, задыхаясь, поднялась на нее, но оказалось, что радуга, перекинувшись через гору, уперлась концом далеко-далеко, докуда и взгляд еле доставал. Обманулась Кюнхылу, осталась, как говорится, с но-

сом. Спустившись с горы, ополоснула забрызганные грязью лицо и руки на речке, побрела домой. А бабушка Барсынбика ждала ее у ворот. Не спросила, где пропадала, только посмотрела внимательно на ее печальное лицо, прижала ее голову к груди и сказала:

— Господь не зря создал тебя девочкой. Вырастешь, народишь мальчиков, станут они красивыми, как конь со звездочкой на лбу, сильными мужчинами и дойдут до места, в которое упирается радуга...

Затем повела Кюнхылу в баню, помыла, ополоснула, добавив в воду настой душистых трав. Дед отнес ее домой на руках. Там опять занялась ею бабушка Барсынбика, смазала избитые о камни, исцарапанные чилигой ноги целебной мазью, уложила спать.

Утром Кюнхылу разбудила мама и, погладив по волосам, тоже принялась утешать:

— Не переживай, не все мечты сбываются. Однако у вовсе не умеющего мечтать человека ни одно желание не исполнится...

Да, так сказала тогда мама. А давеча и Кукхылу, по сути дела, говорила о мечте. Только после случая с радугой, после того, как рухнула первая большая мечта Кюнхылу, другая почему-то не рождается и не рождается. Есть, конечно, кое-какие мелкие желания, но они не в счет...

Посидев на крыше, повздыхав, простившись с окружающими горами, извилистой рекой, с дорогими ее сердцу тополями и вербами, стоявшими сейчас без листвы, Кюнхылу забралась через чердачное окно на чердак. Здесь ее маленький мир. Здесь хранятся лук со стрелами, деревянные сабли, щит... Здесь, лежа на невыделанных козьих шкурах, прочитала она первые книги. Одна из них, про Тимура и его команду, навела ее на мысль натянуть между яблонями и своим укрытием провода. Когда поднимался ветер, яблони раскачивались, провода дергались и в укрытии начинали звенеть подвешенные на их концах колокольчики. Это был сигнал тревоги. Кюнхылу вскакивала, брала в руку саблю и, прикрыв грудь щитом, принимала позу воина, готового сразиться с врагами. Хотя поблизости не было морей, враги представлялись ей в образе пиратов...

Кроме чердака есть еще одно укромное место, где Кюнхылу устроила тайник. В ограде двора сердцевина

толстого лиственничного столба сверху подгнила и образовалась полость, как у ступы. В этой полости Кюнхылу хранила свои «сокровища». Например, обломок гребешка с глазками, брошку, однажды потерянную из-за того, что у нее отломилась булавка, и потом найденную. Есть еще там ручка разбитой фарфоровой чашки, пуговицы, подобранные на улице, и старинная монета, найденная на сабантуе. Эти вещи обладают волшебным свойством: поднимают настроение, когда Кюнхылу по какой-нибудь причине становится невесело. Она достает их, перебирает, вспоминая самые светлые дни своего детства и радости, связанные с этими вещами. Кюнхылу, наверно, влюбится в хорошего егета, он станет ее мужем, отцом мальчиков, о которых говорила бабушка Барсынбика. И вот тогда Кюнхылу откроет тайну сокровищницы своему суженому...

Под конец раздумий Кюнхылу посмотрела через чердачное окно на большак, соединяющий Тиряклы с остальным миром. И зачем только мама надумала увезти их отсюда? Все, что предназначено, нашло бы Кюнхылу и здесь. И здесь родились бы мальчики, которые, став красивыми, как конь со звездочкой на лбу, мужчинами, доберутся до конца радуги. Эх-хе-хе...

* * *

– Где Кюнхылу?

Кукхылу не знала, как отвечать матери. Сказать, что умотала, как всегда, невесть куда – сестра потом обидится. Соврать маме, как Кюнхылу просила, тоже неудобно.

– Где-нибудь во дворе, наверно. Где еще может быть?

– Я велела вам собрать свои вещи, а она, что, и ухом не повела? Потом второпях покидает в чемодан что попало...

– Я уложила ее вещи. Не так уж их много, не замуж отправляемся.

Мадина немного растерялась, услышав ответ дочки. Большая уж, за словом в карман не лезет.

– Хоть и не замуж... Не сможешь же всю жизнь ходить за сестрой, прибирать за ней!

– Когда не на кого станет надеяться, сама все будет делать.

— Ну и дети у меня. Нет возможности рот раскрыть — тут же затыкают! Где ваши чемоданы? Открой, покажи...

Кукхылу открыла сначала свой чемодан, затем сестрин. Вся одежда была отутюжена и аккуратно уложена.

— Нет ничего, что надо зашить, заштопать?

— Нет, мам.

— Могла бы уж, о Кюнхылу говорю, перед отправлением в путь посидеть дома!

Мадина поймала себя на том, что несправедливо придирается к дочкам. Сама не в духе, вот и придирается. А не в духе оттого, что предстоит расстаться с ними. Но ничего не поделаешь, придется отдать их учиться в интернат. Удобней всего будет сделать это в дни зимних каникул. Нужно ведь время и для того, чтобы ознакомить их с Уфой, вызвать теплые чувства к городу, в котором будут жить. Заодно уж надо слетать к Абубакиру. Соскучилась по нему Мадина, часто сниться стал. На случай, если придется пожить в гостиницах, возьмет побольше денег. Отец снимет свои сбережения со сберкнижки. У него там не только пенсионные деньги накопились. Минувшим летом пчелы хорошо потрудились, много меду отец накачал, сдал десяток фляг государству. Денег хватит на то, чтобы ему самому что-нибудь из одежды купить и девочек со студентами приодеть. Абубакир в каждом письме передает приветы от Лидии Николаевны Башкирцевой, она зовет в гости. Почему бы не воспользоваться возможностью познакомиться с Ленинградом? Пусть представления девочек о мире не будут такими, как у слепца из анекдота, который, пощупав хвост слона, решил, что слон похож на мышь.

— Мам, а кто же будет присматривать за нашим домом, за хозяйством? — спросила Кукхылу с такой печалью в голосе, что у Мадины вновь больно сжалось сердце.

— За домом? Так ведь есть ваш дедушка. Он еще в силах истопить печь, сварить себе еду, присмотреть за скотом.

— Не заболел бы только...

— Не заболеет. Он еще собирается съездить после нас в Ленинград к Абубакиру.

Мадина коротко поделилась с дочкой планами на ближайшее будущее.

— А Даут-агай поедет с нами в Ленинград?

Мадина давно чувствует, что Даута и Кюнхылу связывает не просто родственная, а более глубокая, духовная близость, так что, спросив, поедет ли в Ленинград и Даут, Кукхылу пеклась об интересах сестры, а сама она больше тянется к Абубакиру, он ей ближе.

– Что повезешь от себя в гостинец Абубакиру? – Поинтересовалась Мадина.

– Сушеные ягоды. Он любит пить с ними чай. Я еще летом собирала для него.

– А Кюнхылу? Она что-нибудь приготовила для Даута?

– Приготовила.

– Что?

– Дикий мед. Целую банку.

– Разве можно найти столько у диких пчел?

– Не каждый найдет. Но ведь это Кюнхылу.

Тут из сеней послышалось постукивание посошком. Пришел дед. А следом, поигрывая ямочками на покрасневших от холода щеках, влетела Кюнхылу. Выглядела она вроде бы веселой. Бросив на нее внимательный взгляд, Мадина в душе порадовалась: на оживленном лице дочери проглядывали черты будущей красавицы. Да, тоненькие, угловатые девочки потихоньку превращаются в очаровательных девушек. Скоро, очень скоро юность повторит в них ее, Мадины, девичью красоту...

* * *

В республиканской музыкальной школе-интернате имени Газиза Альмухаметова* Мадину, пришедшую туда с дочками, встретили приветливо.

– В пятом классе есть свободное место, уехала одна из наших учениц, – сказал директор. – Если выдержит экзамен, примем вместо нее вашу симпатичную дочку.

– Они обе симпатичные, – вступила в разговор заведующая учебной частью. – Не хотелось бы разлучать двойняшек. Посмотрим, что покажет прослушивание.

Первой решили прослушать Кукхылу. Вскоре из-за неплотно прикрытой двери в коридор донесся ее высо-

---

*Газиз Альмухаметов – певец, композитор, первый из певцов, удостоенный звания народного артиста Башкирской АССР.

кий, красивого грудного тембра голос. Кукхылу запела старинную народную песню:

Осторожней, конь мой быстроногий,
Выбирай дорогу средь камней.
Жизнь трудна, трудны пути-дороги,
Без друзей они еще трудней...

Затем зазвучал исполняемый на фортепиано «Полонез» Огинского.

– Полонез?! Почему? – Мадина удивленно посмотрела на Кюнхылу. – Она ведь готовила другое произведение.

– Ей было очень грустно расставаться с Тиряклами. Поэтому решила сыграть Огинского.

– Сказала бы мне... Я бы ее подготовила!

– А так даже лучше... – Должно быть, полная грусти мелодия усилила переживания и самой Кюнхылу, в ее глазах блеснули слезы.

Кукхылу не ошиблась, выбрав эту мелодию. Начав играть робко, она быстро обрела уверенность, сила музыки нарастала. Знаменитое произведение, затрагивая тончайшие струны души, зазвучало в то же время столь мощно, что ему, казалось, стало тесно в здании школы, оно рвалось наружу, в широкие просторы, во вселенские высоты. Не ожидала Мадина, что маленькое сердце ее дочки вмещает такие большие чувства, такую тоску. Впрочем, Кукхылу ведь не только дочка, но и ее ученица. Все свои знания, полученные в Москве, Мадина старалась передать, не расплескав, дочерям.

– Я не смогу так играть! Не оставляй меня, мама, здесь! – сказала Кюнхылу.

Музыка, понемногу стихая, наконец смолкла. Мадину позвали в класс.

Все, кто там присутствовал на прослушивании, молчали. Кукхылу стояла, опустив голову, положив руку на фортепиано. Увидев мать, она покраснела. Может быть, ей стало неловко оттого, что сыграла не то произведение, которое велела исполнить мама.

Молчание нарушил директор школы.

– Если даже вы передумаете отдавать девочку в нашу школу, мы ее заберем, – сказал он, улыбнувшись. – Оказывается, вы же и ее учительница. Спасибо вам! Давайте послушаем и вторую вашу дочку.

– Простите... – Мадина не сразу нашла, что сказать. – Она... С ней надо повременить...

– Кукхылу, выйди пока в коридор, – велел директор и, когда девочка вышла, уставился на Мадину. – Вы же сказали, что они обе поют и играют на фортепиано.

– Да, и поют, и играют... Дело не в этом. Девочек надо на какое-то время разлучить. Они подменяют друг дружку. Если что-то не получается у Кюнхылу, делает это за нее Кукхылу. И наоборот. Кроме того... Кукхылу способней в музыке, и голос у нее, как говорится, от Бога. Слышать здесь похвалы только в ее адрес сестре будет тяжело.

– Пожалуй... – Директор поднялся, поставил рядом с Мадиной стул. – Вы присядьте, пожалуйста. Если не секрет, как вам удалось так хорошо подготовить Кукхылу? Где вы получили музыкальное образование? Правду сказать, у нас не хватает педагогов со специальным образованием.

– Я училась в Московской консерватории. Но окончить ее, к сожалению, не было суждено. Что касается Кукхылу, дело не в таланте учительницы, а в восприимчивости ученицы.

– Вы и сами поете? Впрочем, если бы мать не пела, откуда бы взялся такой слух у ребенка?

– Иногда я пела на клубной сцене и на праздниках, а по специальности я зоотехник.

– Понятно... У нас за обучение взимается небольшая плата. Судя по представленной нам справке, вы воспитываете детей одна. Поэтому Кукхылу будет учиться бесплатно.

– Спасибо.

– Можете сейчас ознакомиться с условиями, в которых наши воспитанники учатся и живут. Когда закончатся каникулы, сразу приведете дочку. Только, пожалуйста, не передумайте!

– Не передумаю.

Довольная тем, что устроить Кукхылу учиться удалось так быстро и удачно, Мадина вышла к своим девочкам с сияющим лицом.

* * *

Лидия Николаевна встревожилась, видя, что Абубакир ходит невеселый. Сесть, поговорить с ним по душам все

как-то не удавалось. И сама она постоянно занята: заведует кафедрой в медицинском институте, читает лекции, плюс симпозиумы, конференции. И Абубакир уходит рано утром, а вернувшись вечером, обкладывается книгами. Собирается после экзаменационной сессии съездить на родину. К той матрешке у него на тумбочке добавились гребешки, зеркальца, ленты – подарки сестренкам. Лидия Николаевна, конечно, не против того, чтобы он съездил повидаться с родными, но пугает мысль: а вдруг уедет и не вернется? Появление Абубакира стало своего рода чудом, лучом света в ее одинокой жизни. Боится она, что этот луч исчезнет. Пусть и не часто они разговаривают, ощущение присутствия рядом близкого тебе человека вызывает нескончаемую радость. Сейчас, почувствовав, что глаза устали от чтения, Лидия Николаевна постучала в дверь его комнаты:

– Чаю выпить не хочешь?

– Можно!

Когда сели за стол на кухне, Абубакир, ласково глянув на свою опекуншу, спросил:

– Лидия Николаевна, учеба обязательно должна быть трудной?

– А ты знаешь, что сказал Маркс о науке?

– Да. Только тот достигнет сияющих вершин, кто упорно карабкается по ее каменистым тропам.

– Ну и?.. Тебе хочется раз – и взлететь?

– Нет, наоборот! Мне что-то учеба чересчур легко дается. Меня это смущает. Другие стараются до седьмого пота, а я...

– Хочешь сказать, что ты не прилагаешь много усилий?

– Ну, получается так...

Лидия Николаевна на минутку задумалась.

– Не всем учеба дается легко. Но если человек занят любимым делом, не обязательно ему должно быть трудно. Верней, трудностей он не замечает. Тебе учеба дается легко – значит, ты верно определил свое предназначение, чувствуешь себя в своей тарелке. Значит, добьешься успехов в этой области. Да, дружок, именно так.

– Иногда, Лидия-инэй, я сам не верю своему счастью. Я, Абубакир Муратов, тиряклинский мальчишка, учусь в консерватории!

Лидия Николаевна сидела, радуясь в душе за молодо-

го друга, близкого ей, как сын: растет парень, недавний рядовой матрос превращается в образованного человека.

— Я тебя понимаю, — сказала она в ответ на его слова. — Может быть, самое трудное для человека — поверить в себя, в свою состоятельность, в свое, если хочешь, величие. Если сам он в это не поверит, то и в глазах других будет ничтожеством.

— Я все время удивляюсь: вот вы профессор, а такая простая, ничуть не чванитесь.

— Чванство идет от бездуховности, от бескультурья. Истинно интеллигентные люди всегда просты. Ты, наверное, заметил: коренные ленинградцы, в особенности старшее поколение, все такие: общительные, дружелюбные.

Видя, что Абубакир охотно поддерживает разговор, Лидия Николаевна решила выяснить причину его подавленности. Может быть, все еще не может забыть ту ангелоподобную девушку, с которой не смог встретиться вновь?

— Скажи, пожалуйста, Абубакир, у тебя в эти дни не случилась какая-нибудь неприятность? Мне кажется, ты чем-то расстроен.

— Да нет, напротив... Я получил письмо — мама Мадина собирается нагрянуть сюда во время каникул с моими сестренками и братом Даутом.

— И ты молчал?!

— Не хотел вас беспокоить. Я подыскивал квартиру, где они смогут пожить.

— Квартиру?! — Лидия Николаевна как будто мгновенно постарела на много лет, морщины на лбу углубились, губы задрожали. Абубакир не мог понять, чем ее обидел.

— Вы на меня рассердились?

— Абубакир! Я радовалась, что через тебя обрела близких людей, а ты... отчуждаешь их от меня?

— Лидия-инэй! Я же... — Абубакир вскочил, обнял ее за плечи, начал успокаивать, впервые перейдя на «ты». — Я боялся доставить тебе лишние хлопоты.

— Доставить хлопоты! Я ведь, сынок, всю жизнь одинока. Чтобы спастись от одиночества, после войны поехала в Башкирию в надежде отыскать хоть кого-нибудь из родни. Оказалось, ходила рядом и потеряла, не успев найти.

— Ты о ком?

— О Камалетдинове, Аюпе Газизовиче. Уже после его смерти узнала, что он мой старший брат.

— Так ты, выходит, башкирка?

– А что, не похожа?
– Лидия Николаевна! – Абубакир вдруг побелел.
– Что, что случилось?
– Ты похожа на нее!
– На кого?
– На девушку, которая оставила мне матрешку!..

* * *

В Ленинград Мадина решила лететь на самолете. Для Даута, прошедшего армейскую школу, прыгавшего с парашютом, полет – дело привычное, а для девочек это станет незабываемым событием, подумала она.

Когда объявили посадку и подвезли их к самолету, Кукхылу, вцепившись в Даута, закрыла глаза:

– Я боюсь!

– А я нет! – Кюнхылу первой храбро пошагала вверх по трапу.

И в салоне после взлета она держалась бойко. Устроившись у иллюминатора, то и дело восхищенно восклицала:

– Мам, смотри! Как интересно! – Потом, потянувшись к уху матери, спросила негромко: – Мы, мам, сейчас выше радуги или она выше нас?

– Мы выше, – улыбнулась Мадина.

– Значит, я все-таки перешагнула через радугу, да, мам? Я поднялась выше радуги!

Мадина, приобняв за плечи, притянула дочку к себе, коснулась губами ее душистых волос.

– Подняться в небо, доченька, легче, чем сохранить завоеванные в жизни высоты. Для этого нужно много, очень много сил.

– Как у папы, дедушки и бабушки Барсынбики?

– Да. Они сильные люди.

– А ты?

– Я стараюсь быть сильной.

– И я... буду стараться.

* * *

Долгожданная встреча с Абубакиром, знакомство с Лидией Николаевной, впечатления от архитектуры города,

от памятников, которые успели увидеть, от метро – все это обрушилось на девочек враз, они сильно устали и, как только коснулись головами подушек, тут же уснули. Абубакир с Даутом, чтобы наговориться досыта, вышли погулять на улицу. Мадина раскрыла на кухонном столе тетрадь-дневник, начатый после смерти Абдельахата. В нем она делала (правда, нерегулярно), записи о своих повседневных радостях, об успехах детей. Иногда, смотря по настроению, иллюстрировала самые яркие события рисунками.

Взяв в руку карандаш в серебряной оболочке – память о Камалетдинове, Мадина задумалась: с чего начать запись? С того, что Кукхылу успешно сдала экзамен и принята в музыкальную школу-интернат? Или с того, как обрадовался Даут купленному ему в Уфе новому костюму? Оба события существенны и радостны и для нее самой.

Важно для нее и все, что касается Абубакира. Как он изменился! Возмужал, ничего от былого мальчишки не осталось. Во всем его облике чувствуется серьезность, аккуратность и интеллигентность. А в глазах нет-нет да мелькнет что-то загадочное, грустинка какая-то. Влюбился, что ли, ее сынок в здешнюю красавицу? Да, сынок, такой же близкий, как Даут. Тем более, что Абубакир очень похож на ее маму Гульбану. И на Кукхылу тоже – как две капли воды они схожи.

Задумавшись, Мадина не заметила, как на кухню тихонечко вошла хозяйка квартиры, встала рядом.

– Пишете... О чем, если не секрет? – Лидия Николаевна, мягко улыбнувшись, взглянула в глаза Мадины. – Вы, оказывается, настоящая башкирская красавица, Мадина. Воочию даже красивее, чем на фотокарточке. Меня удивляет, что Абубакир похож на вас и в особенности на вашу дочку, на Кукхылу.

– В этом нет ничего удивительного. Тут долгая история. Отец Абубакира и моя мама были родные брат и сестра, более того – двойняшки. Их разлучили еще в младенчестве, мама умерла, не зная об этом...

– Господи! – Лидия Николаевна села за стол напротив Мадины, сжала голову руками. – А женщина в психиатрическом отдалении больницы... Сабиля... она в самом деле мать Абубакира?

– В самом деле.

– Бедняжка! Я ее очень жалела... – Неожиданно Лидия

Николаевна обратила внимание на карандаш в руке Мадины. – Этот карандаш... Как он к вам... попал?

Мадина смутилась, почувствовала, что краснеет.

– Это подарок... вернее, память об одном человеке. Вы его, наверно, знали. Я говорю о Камалетдинове Аюпе Газизовиче.

– Карандаш принадлежал ему? – Глаза Лидии Николаевны как-то странно заблестели. Это удивило и насторожило Мадину.

– Он был близким другом моего мужа. После его смерти уборщица райкома... на кладбище... дала мне этот карандаш и еще старую фотокарточку. – О картине Камалетдинова Мадина не упомянула, сочла это лишним.

– Простите, это – мой карандаш. Я забыла его в кабинете Аюпа Газизовича. Сколько лет уже прошло... Господи! – По щекам Лидии Николаевны покатились горошинами слезы.

– Это вы меня простите, Лидия Николаевна! – Мадина вскочила. – Я не знала...

– Сиди, сиди. Я сейчас... – Башкирцева вышла из кухни и вскоре вернулась с фотокарточкой в руке.

Теперь уж удивлению Мадины не было предела.

– Снимок, который Аюп Газизович носил в партбилете! Я положила его в свой альбом. Как он оказался у вас?

– Не волнуйтесь, милая! – Успевшая взять себя в руки Башкирцева осторожно погладила снимок. – На снимке, хранящемся в вашем альбоме, должен быть еще маленький мальчик. На моем – только двое взрослых. Это единственная карточка, сохранившаяся у меня на память о родителях. Моих и Аюпа.

– И Аюпа?

– Да, хорошая моя. Он – мой старший брат. Никакая я не Башкирцева и не Лидия Николаевна. Меня нарекли так в детдоме. На самом деле я – Хатира Газизовна Камалетдинова. Но привыкла уже к русскому имени и фамилии.

– Аллах мой! Как же это вышло?

– Такие были времена. – Лидия Николаевна в волнении прошлась по кухне туда-сюда. И только теперь Мадина заметила, что лицом она похожа на Аюпа Газизовича.

– Вы... вы на него похожи!

— Знаю.

— И не узнали друг друга?

— Вся беда в этом. Когда жила в Таулах, меня тянуло к нему, а я не понимала почему. Понимание пришло лишь после его смерти. Но ничего уже не изменить, прошлое не вернуть. Мне остается только благодарить судьбу за годы, прожитые рядом с ним, под его покровительством.

— Почему на нашу долю выпало столько испытаний? Были ли, Лидия Николаевна, в истории еще такие времена, когда сыновей натравливали на отцов, родные по крови люди становились врагами, детей разлучали с родителями и друг с другом?!

— Ах, Мадина! История ведь, говорят, ничему не учит. — Лидия Николаевна поставила на электроплитку чайник. — Разве мне досталась бы в наследство такая судьба, если бы мои родители не были отравлены идеей классовой борьбы? Ладно еще мне встретились хорошие люди, вырастили, выучили, а сколько сирот, выйдя из приютов, детдомов, так и не нашли верной дороги в жизни, сгинули в тюрьмах и лагерях!..

— У моей мамы была схожая с вашей судьба. Она жила буквально по соседству со своими родителями и ушла из жизни, не зная об этом. Мне известно только это, бабушка Барсынбика, кажется, еще не все о своем прошлом мне рассказала.

Лидия Николаевна разлила чай, поставила чашку перед Мадиной и сказала, перейдя вдруг на «ты»:

— Мне приходит в голову мысль, что мой брат очень любил тебя, Мадина.

— Почему? — Густо покраснев, Мадина уставилась в свою чашку. — У него была красивая жена...

— Да, я ее видела. И дочку их, Флориду, помню. Малика была хорошенькая на вид, но... как бы это сказать... не смогла, думаю, подняться до уровня Аюпа. Они были люди разной духовной и нравственной высоты. Поэтому расстались. Каждый из нас стремится к близости с равными себе, духовно родственными людьми. Из женщин в ближайшем окружении Аюпа таким человеком была ты. Но ты — жена его друга. Не будь этого обстоятельства, он не смог бы скрывать свое чувство. Я поняла это, как только увидела тебя.

«Господи, как она разбирается в людях! И Аюпа Гази-

зовича сумела изучить, понять», — подумала Мадина. Однако ни о картине Камалетдинова, ни о размолвке с Абдельахатом из-за него говорить не стала. Оба они Мадине, каждый по-своему, — дороги. Оба были незаурядными, яркими личностями, для обоих хватило места в сердце Мадины.

Посидев некоторое время в молчании, Лидия Николаевна осторожно взяла руку Мадины в свои ладони.

— Мадина, у меня возникла идея. Одна из твоих дочек очень подвижная, гибкая. Надо бы показать ее специалистам по хореографии.

— Ой, для Кюнхылу танец — любимое занятие! Но для балетной школы она уже переросток. Если бы раньше...

— Нет, нет, еще не поздно! Я наблюдала за ней. В ее глазах столько огня, силы. Если захочет, мне кажется, она будет просто летать.

— Она уж и сейчас то на дерево взлетит, то на забор, то на чердак...

— У меня есть хороший знакомый. Пусть посмотрит. Борису она понравится. Если, конечно, ты согласна...

* * *

После отъезда Мадины с дочками Хашим лишился сна. Уставал не оттого, что вел два хозяйства, — томило одиночество. Днем еще куда ни шло — за скотом поухаживает, с соседями пообщается, глядишь, и вечер наступил. А вот ночью места себе не находит. Обеспокоили еще и разговоры о том, что в округе обнаглели волки. Поначалу на эти разговоры Хашим особого внимания не обращал, но прошел слух, что единственную корову Галяутдина и Валяутдина волки загрызли прямо во дворе, в загородке у сарая. Чем ходить, не зная, верить этому или не верить, лучше было сходить проверить. Хашим не поленился, сходил. Слух подтвердился. Суки пастухов, встречавшиеся с волками в окрестностях летнего животноводческого лагеря, наплодили в ауле полукровок. Сказать, что это они напали на корову, так на огороде матерые гости из лесу оставили отчетливые волчьи следы. Не привыкший к такой наглости зверей аул загудел, как растревоженный улей. Народ полон решимости устроить облаву на серых разбойников.

Раз они поразбойничали в одном дворе, могут и в другом. Более всего тревожился Хашим за дунэна, любимца Кюнхылу. Конечно, жаль будет и Буренушки, и телки, да и любой скотинки. Поэтому Хашим стал два-три раза за ночь выходить во двор, проверять, все ли в порядке. Пока звери на его живность не посягали.

Не давала спать Хашиму и тоска по внучкам. Уже соскучился по ним, что называется, до смерти. Очень не хватало их его осиротевшей душе. Девочки, прыгавшие рядом, как воробушки, доставляли ему великое удовольствие, были его утешением и заботой. Они своими радостями помогали ему продолжать начатую работу, идти, не сворачивая, с избранного им пути. Когда Мадина сказала, что увезет дочек учиться в город, сердце Хашима едва не оборвалось. Только старался он не подавать виду, не расстраивать Мадину своими переживаниями. Да, не препятствовал ей Хашим. Колодец, говорят, надо копать до того, как начнет мучить жажда. Мадина ничего не делает, не подумав как следует. Заботится о будущем девочек с их малолетства.

Хашим взял в руки фотокарточку, на которой запечатлена их семья. Сфотографировались, когда зять был жив и Барсынбика жила здесь. Только внуков — Абубакира и Даута — нет на снимке. Скучает Хашим и по ним, и по зятю Абдельахату. Такими же, как сейчас, долгими зимними ночами нередко сиживали они вдвоем за чаем или просто беседовали. Вопросы, на которые не мог ответить сам, Хашим задавал зятю. Однажды спросил:

— Почему за Лениным последовало столько народу? В чем тут секрет?

— Люди следуют за тем, кого выделяют способности, порождающие надежду. Ленин, видимо, обладал качествами, привлекшими народ на его сторону, — ответил Абдельахат.

Сам Хашим последовал за Абдельахатом. Пленили его спокойный характер зятя, увлеченность работой, умение доводить дело до конца, оставаясь верным намеченной цели. То, что Абдельахат взялся за селекцию с верой в себя, в осуществимость мечты, пробудило в Хашиме дремавшие в нем способности художника. Да, он загорелся от Абдельахатова огня. И нет теперь дня, когда Хашим не чувствовал бы на себе его взгляд, не слышал его спокойный голос, иногда он вздрагивает, как будто воочию

увидев его самого. Гульбану и Абдельахат живут неотлучно в памяти, в мыслях, в снах Хашима. Должно быть, оставшийся отрезок жизненного пути он прошагает в обществе не только живых, но и ушедших из этого мира людей.

Хашим вышел на крыльцо, вслушался в гул разбушевавшегося ночью бурана. Бешеные вихри взметывали в небо снег с тиряклинских улиц. В шуме, порождаемом яростным ветром, чудились то звериный вой, то стон и треск падающих деревьев. Это напоминало пляску смерти на поле боя. Хашиму отчетливо вспомнилось, как падали, словно подкошенные, молодые крепкие ребята, его товарищи по оружию. Неожиданно память впилась когтями в его сердце. Приложив руку к груди, Хашим опустился было на крыльцо, но тут же усилием воли заставил себя подняться: нет, он не сдастся, он должен сохранить семейное гнездо до возвращения Мадины, встретить дочь живым!..

* * *

Лидия Николаевна, сводив Кюнхылу к своему другу, известному балетмейстеру, вернулась окрыленной. Обняла Мадину:

— Поздравляю! Способности девочки, ее физические данные, музыкальный слух — все получило высокую оценку. Ее примут в школу, которая подготовит к поступлению в хореографическое училище. Это прекрасное училище, и интернат там отличный, в нем живут и учатся талантливые дети со всех концов страны. Просто удивительно: без всякой предварительной подготовки девочка поразила специалиста высочайшего класса...

Мадина обрадовалась, но не спешила выказать свои чувства. Успех дочки особо ее не удивил: сам образ жизни Кюнхылу был предварительной подготовкой к этим смотринам. Если надо, она и змеей изовьется, и в клубок свернется. Может перепрыгнуть с дерева на дерево, повиснуть, зацепившись ногами за ветку, может на руках ходить. Попробовала на скаку поднырнуть под брюхо коня и подняться в седло с другого боку — получилось. Выпусти ее на арену цирка — без особых затруднений переймет движения тренированных гимнасток. Только очень уж неожиданно наметился резкий поворот в судь-

бе девочки, и Мадина не знала, как выразить переполнившую ее радость: то ли смеяться, то ли плакать.

— А где сейчас она сама? — спросила Мадина.

— Они придут попозже! Пошли с Даутом погулять, посмотреть на Неву. Ну вот, дорогая моя, все складывается хорошо. Может, и тебе остаться жить здесь?

— Нет, Лидия Николаевна, спасибо. Теперь мне, чтобы выучить четверых детей, надо работать и работать. Не могу я переложить заботу об Абубакире и Кюнхылу на одни ваши плечи.

— Ну, это... Для меня это было бы только радостью. — Лидия Николаевна села за стол напротив Мадины. — А как ты будешь жить дальше? Говоришь, в колхозе работу не дают...

— Если бы и дали, в колхозе не разбогатеешь. Там только те, кто приворовывает, сносно живут.

— Какие же у тебя намерения?

Мадина помолчала, обдумывая ответ. Были у нее с бабушкой разговоры о будущем. «В окружении Брежнева — одни старики, — сказала как-то Барсынбика. — Они уйдут один за другим, сменившие их люди помоложе изменят мир, жизнь станет посвободней, колхозы могут распустить. Тогда каждый в ауле сможет содержать побольше скота. Но может случиться так, что ты останешься одна, дети разъедутся, управляться со скотом станет тяжело. Береги пчел. Пчеловодством наш народ занимался издревле, это — самое прибыльное дело, оно поможет обеспечить благосостояние семьи». Тогда Мадина на слова бабушки не обратила особого внимания или забыла их в повседневных хлопотах, а теперь вспомнила.

— У нас с отцом есть пасека, — сказала она, подняв взгляд на Лидию Николаевну. — Прошлым летом отец накачал много меду. Часть сдал государству, но государство закупает сельскохозяйственную продукцию по очень низким ценам. У нас осталось почти четыре тонны меда. На обратном пути в Уфе попробую договориться в потребсоюзе, чтобы сами приехали и купили подороже. И займемся пчеловодством основательней.

— Разумно! — одобрила Лидия Николаевна. — Когда Абубакир будет приезжать к вам, сможете посылать с ним и сюда. Башкирский мед здесь очень ценится.

— Постараюсь воспользоваться всеми возможными путями.

— Вот и хорошо! Если бы работала в колхозе, у тебя были бы связаны руки. Чтобы заработать приличные деньги, нужна свобода. Это я еще от бабушки своей приемной слышала. Тебе понадобится транспорт.

— Куплю машину в ближайшее время. Абдельахат хотел купить, да в очередь надо было записаться, долго ждать и махнул рукой. Теперь это стало проще.

— Значит, когда мы — Абубакир, Кюнхылу и я — во время летних каникул приедем к тебе в гости, ты встретишь нас на станции со своей машиной, — улыбнулась Башкирцева. — Браво! Ой, звонят...

Лидия Николаевна, забыв о грузе прожитых лет, прямотаки полетела открывать дверь. В прихожую впорхнули порозовевшие на холоде и ставшие от этого еще симпатичней девочки, за ними вошли Абубакир с елкой и Даут с пакетами.

— Ах, завтра ведь Новый год! — Мадина, просияв, поспешила навстречу взявшим праздничные хлопоты на себя детям.

Глава вторая

Акман-токман считается светлым бураном, предвестником весны. А этот разбушевался надолго и не уступал в ярости зимней непогоде. Однако для волков буран — самое удобное время, чтобы выйти на охоту.

На каменистом выступе Куктау, напоминавшем луку седла, стояла, принюхиваясь к ветру, волчица из потомства Кукбуре. Рядом, следуя повадкам матери, делали то же самое два ее детеныша, уже почти взрослые, но еще не начавшие самостоятельную жизнь самец и самка. Дня три назад они поймали косулю. С тех пор ничего им в зубы не попадало. Ветер доносил запахи, усиливавшие чувство голода, вызывающие спазмы в желудках, но волчица-мать не спешила. Она была насторожена. Этой зимой на их территорию вторглась стая чужаков. Они были чрезвычайно наглы, вороваты, стали нападать на домашних животных. Сама волчица-мать на территории своего обитания ущерба людям никогда не причиняла, даже загрызла собственного волчонка, нарушившего это правило: он летом напал на теленка коровы, отбившейся от стада и отелившейся в лесу. Два других ее волчонка

погибли из-за чужаков. Разозленные на обнаглевших хищников люди устроили облаву, и те два волчонка так же, как их отец, угодили под выстрелы.

Чужаки досаждали не только людям. Пользуясь беззащитностью матери-волчицы, оставшейся без пары и без своей стаи, перехватывали лесную живность, можно сказать, под самым ее носом. Долго ждала она, когда старая больная лосиха, обитавшая в осиннике у истока ручья, передвигаясь по глубокому, рыхлому снегу, окончательно обессилит. В соответствии с извечными законами природы лосиха вот-вот должна была стать добычей матери-волчицы и ее питомцев, но чужаки законной добычи их лишили. Это был чистый разбой, наглецы нарушили Великий порядок в мире зверей.

Инстинкт подсказывал волчице: она – мать, она обязана спасти оставшихся в живых волчат от гибели, чтобы они продолжили род. Иного выхода, кроме как увести их в более спокойные места, у нее не оставалось. Хотя уйти из мест, где родилась сама и вынашивала потомство, не так-то легко. Волчица должна была решиться на это и вот она принюхивалась к ветру, чтобы, разобравшись в запахах, выбрать безопасное направление...

* * *

– Где я? – Самира открыла глаза, оглядела помещение, в котором лежала. – Мой... ребенок!..

Люди в белых халатах, стоявшие возле нее, пришли в движение.

– Успокойся! Главное, ты жива! Вот обрадуется твоя мать!

Самира напрягла память, стараясь вспомнить, что с ней произошло. Да-да, она была беременна, с нетерпением ждала, когда ее малыш родится... Сейчас к одной ее руке была присоединена капельница. Самира осторожно приподняла под простыней свободную руку. Там, где раньше был вздутый живот, пальцы угодили в пустоту, затем чуть ниже коснулись повязки. Живот опал и прикосновения не почувствовал.

– Где мой ребенок?!

– Тебе пока нельзя разговаривать! – Властный голос

женщины в белом халате напомнил Самире голос ее матери. И сразу вспомнилось все. Вначале ее состояние оценивали как очень хорошее. Родишь мальчика-богатыря, говорили ей. И мать вроде бы примирилась с беременностью Самиры, даже купила приданое для будущего внука: одеяльце, пеленки, распашонки... Потом при одном из посещений поликлиники врач сказал Самире: «Ребенок очень большой, а у тебя тазовые кости недоразвиты. Если хочешь, чтобы ребенок остался жив, придется сделать кесарево сечение». В больницу привезла ее мать. Самира легла на операционный стол сама, а что было дальше – не помнит. Значит, ребенка извлекли, разрезав ее живот...

– Где мой ребенок?

– Успокойся!

– Принесите ребенка!

– Нельзя. Ты еще не пришла в себя, и он не совсем здоров...

Тут будто из какой-то глубины, из подпола, донесся до Самиры голос матери:

– Почему не говорите ей правду? Ребенок умер той же ночью, сегодня его похоронили... – Мать подошла к Самире, вложила в ее руку что-то завернутое в носовой платок. – Это земля с его могилы, прижми к груди, скорей забудешь...

– Ай! Нет! Нет!.. – Самира почувствовала, что опять проваливается во тьму.

* * *

– Алло! Это Камилла Харисовна Кыдрасова?

– Да.

– Вас беспокоят из Дома ребенка. В связи с вашей просьбой. Поступил малыш...

По телу Камиллы словно пробежала волна.

– Я... должна приехать к вам?

– Конечно. Ждем к трем часам.

На том конце телефонной линии, откуда донесся вежливый женский голос, положили трубку, – зазвучали короткие гудки.

– Господи! – Камилла, вдруг обессилев, присела на диван. Кого она там увидит? Понравится ли малыш, смо-

жет ли она его полюбить? А муж? Позвонить ему, чтобы прислал машину? Но время не ждет. Ладно, вызовет такси. А во что завернуть ребенка? Впрочем, не отдадут же его голым. Надо будет его купать, кормить. Камилла невольно притронулась рукой к своим грудям, так и оставшимся пустыми. Хотя это не имеет значения. Не она родила, не ей кормить грудью...

Охваченная новыми, странными, непривычными чувствами, Камилла готовилась к поездке как-то бестолково, слишком суетливо. Предстоящая встреча с долгожданным, но пока неведомым ребенком ее скорее пугала, чем радовала. Но сказанное слово что выпущенная стрела, обратно не вернешь. В спорте, даже зная, что не выиграет гонку, Камилла решительно устремлялась вперед. Собрав всю силу воли, она набрала номер телефона таксопарка. Перед выходом из дома позвонила все же и мужу на работу.

– Встретимся там, – коротко ответил он.

* * *

– Богатырь! – сказала о малыше главврач Дома ребенка. – Родился весом пять килограммов двести граммов. – Затем, бросая взгляд то на ребенка, то на Кыдрасова, заметила: – Кстати, у него очень схожие с вашими черты лица. Широкий лоб, брови вразлет, прямой нос... Тьфу-тьфу, даже рожденный от вас ребенок не был бы, возможно, так похож на вас.

– Наверно, Камилла-ханум очень хотела иметь ребенка, похожего на меня, – отшутился Кыдрасов, кивнув на стоявшую в сторонке жену.

– Подобные случаи бывают, хотя и редко. Итак, вы согласны усыновить его? Откровенно говоря, у меня не поднялась бы рука отдать такого чудесного мальчика кому попало. Когда увидела вас, на душе полегчало.

Медсестра, принесшая малыша, спросила, обратившись к Камилле:

– Вы пеленать умеете?

– Это не так уж сложно, – ответил вместо жены Кыдрасов. – Камиллу Харисовну беспокоит вопрос, кто родители ребенка. Мы его усыновим, а если мать начнет требовать его обратно? Кроме того, товарищ главврач, как

бы это не отрицалось, существует наследственность. К примеру, посеяв гнилую картошку, невозможно получить хороший урожай.

– Я с вами согласна. Мне тоже не доводилось видеть, чтобы от дураков рождались умные дети. Верна пословица: что посеешь, то и пожнешь. Что касается этого малыша... Мы не имеем права сообщать сведения, связанные с его родителями, но могу заверить вас, что в этом отношении можете быть спокойны.

Когда покончили с формальностями, главврач положила завернутого медсестрой в одеяло ребенка на руки Кыдрасова:

– Поздравляю вас с сыном! Пусть он станет вам товарищем на жизненном пути, опорой в старости, пусть, повзрослев, прославит вашу фамилию, порадует вас внуками и внучками!

– Аминь! – Кыдрасов, улыбнувшись, произнес это слово легко, хотя никогда прежде не произносил. – Да будет так!

Выйдя на улицу, он протянул малыша Камилле – сам должен был вести машину, но растерянность жены вызвала у него опасение: как бы не уронила... Сказал рассерженно:

– Сядь в машину, затем примешь... Ну, что стоишь, как пень с глазами? Ребенок озябнет! Да не на переднее, на заднее сиденье сядь!

По пути домой Кыдрасов забежал в аптеку и детскую кухню, купил на первое время все, что может понадобиться малышу. Дома быстренько переоделся и принялся готовить молочную смесь.

– На работу не поедешь, что ли? – спросила Камилла.

– А это разве не работа?

– С этим и я могла бы справиться.

– Ты вон в ванной наведи порядок, убери там все лишнее. Я его покормлю и искупаю. Ты еще не умеешь ухаживать за ребенком, а я в многодетной семье вырос, видел, как мать с младенцем обращалась и сам за младшими ухаживал...

Ребенок подал голос, намереваясь заплакать. Камилла решила было унести его в спальню, но муж опередил ее.

– Я сам... Его нельзя сразу разворачивать, если вспотел, может простудиться.

Немного погодя сказал, уже успокоившись:

— Камилла, знаешь, что мы сделаем?

— Что?

— Справим документ, что родила его ты.

— А это возможно?

— Деньги сделают все, что нужно. Я для сына денег не пожалею. — И слово «сын» он произнес легко.

Когда малыша накормили и он уснул, Кыдрасов, влюбленно глядя на него, сказал:

— Раз уж мы взяли ребенка, не можем просто играть роль родителей, должны стать для него настоящими отцом и матерью. Да, должны!

* * *

Галима увезла дочь из больницы на машине. Что случилось, то случилось, с этим уж ничего не поделаешь. Многие видели Самиру беременной, и то, что она родила без мужа, от всех не утаить. Ладно, люди посудачат и перестанут. Главное, не будет ходить рядом с Самирой ребенок, постоянно напоминая о ее сраме, не станет препятствием на пути к ее будущему счастью.

В этом мире каждый может допустить ошибку, важно вовремя предотвратить ее последствия, не терзаться потом из-за нее в течение всей жизни. Самира еще молода, не пережила того, что пришлось пережить Галиме, и пока не способна понять эту истину. Поэтому Галима сделала все, что сочла нужным, за нее, не пожалела денег, договорилась, чтобы младенца, как только родился, отправили в Уфу, в Дом ребенка. О том, что он не умер, знают лишь несколько человек из больничного персонала. На кладбище появилась металлическая оградка размером метр на метр, за бутылку водки кладбищенский сторож натаскал в нее в бумажном мешке землю от вырытой для очередного покойника могилы.

На присыпанный снежком холмик Самира положила красные гвоздики, привезенные ей в больницу матерью.

* * *

Барсынбику опять посетил главврач. И опять ночью.

— Как дела? — спросил он и умолк, не зная, что еще сказать.

– Хорошо, что ты из тюрков. Это я к тому, что не умею говорить по-русски, – отозвалась Барсынбика и, приподнявшись, опустила ноги с кровати.

– Я распоряжусь, чтобы тебе принесли коврик. Пол холодный, – сказал главврач. Он сел на стул, тут же встал и снова сел.

«Нервничает, – поняла Барсынбика. – Сильно обеспокоен. В таком состоянии человек ради своего спасения готов совершить что угодно. Он поможет мне выйти из этих стен, если я помогу ему. Но я не должна спешить. Не буду сама предлагать помощь. Мой час наступит позже. Он еще не раз придет ко мне».

– Мое имя Роберт Эдуардович. Можешь называть меня просто Робертом.

– Хорошо, сынок... Роберт.

– «Сынок...» – Уголки губ главврача дрогнули в усмешке, но он не стал развивать эту тему. – Скажи пожалуйста, Бураншина, как ты угодила сюда?

– Разве в твои руки не попали бумаги насчет этого?

– Попали. Я их читал. Но что-то тут, на мой взгляд, обстоит не так...

– Я жила во времена, когда Иблис затмил разум людей, ослепил зрячих. Я была тогда молода, сильна и сумела выплыть из гибельного водоворота. Но из воды сухими не выходят. Если Господь ниспослал мне наказание, значит, я виновата. Провинилась в этом мире, в нем же должна искупить свою вину.

– Странный ты человек. Прослыла чуть ли не волшебницей, а лежишь здесь. Вряд ли способна творить чудеса. Но, с другой стороны, сорок суток ничего не ела и жива-здорова. Анализ крови – как у молодой.

– А ты, сынок Роберт, веришь в волшебство?

– Нет.

– И я не верю. Но я в отличие от вас, молодых, верю в божественную силу, сотворившую Землю и Небо, огонь и воду, породившую все живое вокруг нас. Частью этой силы наделен каждый человек. Вот во что я верю.

– Что ты могла бы сказать, глядя на меня?

– А что ты хочешь услышать?

Главврач не ответил. И Барсынбика не спешила продолжить разговор. Знала, что поспешность к успеху в задуманном деле не приведет. Чтобы лечение привело к желаемому результату, больной должен поверить в это и полностью раскрыться перед целителем.

Видя, что старуха замкнулась, Роберт Эдуардович встал.

– Ты... какую пищу предпочитаешь?

– Овощи и фрукты. Если можно...

– Можно.

Не сказав больше ничего, главврач вышел из палаты и запер дверь – в замке скрежетнул ключ.

Барсынбика вздохнула облегченно. Слава Богу, сейчас ей не делают уколы, от которых путается сознание, и не принуждают есть то, чего она не хочет. Ее даже вывели один раз на свежий воздух на прогулку. Кстати, во дворе встретился ей прокурор, тот самый, которому она предсказала встречу здесь. Он был в больничной одежде. Узнав Барсынбику, вытаращил глаза. Ей стало жаль беднягу: при следующей встрече он ее уже не узнает, люди с ясной памятью здесь не нужны.

Вытянувшись на кровати, Барсынбика закрыла глаза. Да, она не вправе ошибиться, строя свои отношения с главврачом. Чувствует: это последняя большая схватка в ее жизни. Жизнь – постоянная борьба, будут схватки и помельче, а эта – самая большая. Во всяком случае, так должна воспринимать ее Барсынбика. Вообще, если бы люди смотрели на каждое свое дело как на самое последнее в жизни, то добились бы потрясающих успехов, ибо старались бы исполнить это дело как можно качественней, лучше. Поэтому и Барсынбика не будет спешить. Отсюда у нее лишь два пути: либо на свободу, либо на кладбище. Но раз она пришла в этот мир, то должна по возможности продлить земную жизнь со всеми ее радостями и горестями. Сейчас более всего ей нужна стойкость. Помощи ждать неоткуда, может надеяться лишь на свои силы, на свою совесть и на благосклонность Всевышнего.

* * *

– Уф! Валяу! Валяу! – Уже вторую ночь Галяутдин то и дело просыпается в ужасе.

– Ну чего тебе? Что стряслось? – Сонный Валяутдин поднялся, включил свет. – Что ни ночь, орешь!

– Так ведь гоняется за мной!

– Кто?

– Шарик. Шангарей. Кто же еще?!

– Нашел кого пугаться! – Валяутдин выскреб половником со дна казана макароны и зачавкал.

– Попробуй не испугаться! Хватает за горло, кричит: «Выпусти меня из могилы».

– А почему меня не хватает?

– Так... шайтан его знает. Ты не пьешь, может, потому.

– Хоть и не пью, рядом с тобой совсем уж разума лишился.

– Эй, брат, не наговаривай на себя!

– А что, не правда, что ли? Кабы не лишился, разве похоронил бы живого человека, послушавшись тебя, дурака?

– Но ведь... не только мы с тобой, и медсестра не догадалась, что он живой.

– Уж и не знаю, как дальше жить. – Валяутдин, насытившись, рыгнул, сел на край нар, неторопливо принялся свертывать цигарки. Одну протянул брату, другую зажал в зубах, открыл трубу и опустился на корточки у печки. – Хоть людям на глаза не показывайся. Один Хусаин, кажется, нас жалеет, не обижает.

– Жалеть-то жалеет, да и он на тот свет собрался. Встретились вчера, рассказывает: приснился, говорит, мне Саврасый, над аулом, как аэроплан, оставляя след, летит. Глянул, кто там в седле: оказалось, Абдельахат. Абдельахат вдруг нагнулся, подхватил меня, помог взобраться на Саврасого и вассалям... улетели мы...

Сообщение это произвело впечатление на Валяутдина.

– Эх, прошла жизнь! – вздохнул он. – Бестолково прошла: все следил за братом, стараясь не дать ему напиться, глядь – волосы уже побелели, зубы выпали, щеки ввалились, глаза потускнели, сердце ослабло.

– Говорил я тебе: иди своим путем... – отозвался Галяутдин.

А Валяутдин жалел брата и до сих пор жалеет. Какой ведь был егет! Невысокий ростом, зато кряжистый, силу в руках имел. А как пел! Думал Валяутдин: я сильней водки, вырву брата из когтей шайтана! Не смог вырвать. Шайтан, оказалось, сильней. А сейчас... Хоть и не говорит Валяутдин об этом, дух Шангарея и ему не дает покоя. Не только во сне, но и наяву то из одного угла высунет голову, то из другого. Смеется, показав язык, либо плачет. В ауле и старый, и малый, мнится, указывают на Валяутдина пальцем: «Вон идет убийца!» Устал он от всего этого, жить устал. Говорят, если Бог решает нака-

зать раба своего, то лишает его разума. Вот и наказал Валяутдина, затмил его разум за то, что не старался найти свой путь, прожил жизнь впустую, следуя всюду за братом-пьяницей. Даже курицу он ни разу в жизни не зарезал, никого, кроме комаров, не убивал, и нате вам — живого человека похоронил! Нет ему прощения! За Галяутдина он не в ответе, понял теперь, что за свои поступки каждый должен отвечать сам. Хотя многие всю жизнь, кивая на других, перемывают чужие косточки: этот совершил такой-то неприглядный поступок, тот — такой-то. Никто не объявляет: ямагат, я согрешил, оступился, сделал то-то и то-то...

Валяутдин посмотрел на брата, который, вновь забравшись на нары, свернулся калачиком на своей подстилке и уснул. «Все, брат, отныне ты будешь заботиться о себе сам! На мне великий грех, я не хочу больше показываться с ним людям... Прощай! Так же, как Абдельахат явился на Саврасом за Хусаином, явится кто-нибудь и за мной...» Проговорив это мысленно, Валяутдин выключил свет, снял в сенях с крюка аркан и по безлюдной улице пошагал в верхний конец аула, намереваясь отправиться к Лесистому хребту, в березняк...

* * *

Мирхайдаров приступил к исполнению своего замысла спустить с чердака клуба (бывшей мечети) стойки и доски сброшенного некогда минарета и посмотреть, годятся ли они для восстановления разрушенной конструкции.

Колхоз давно собирается построить новый клуб, а Азат — вернуть на место то, что было сброшено при его участии. Столько, сколько прожил, он уже не проживет. Как же предстанет перед духами дедов-прадедов, если не получит заранее их прощения?

При свете яркой электролампочки, висящей над входом в клуб, Мирхайдаров принялся перебирать детали конструкции. Поскольку еще в детстве не раз поднимался на минарет, он стал припоминать особенности его устройства. Лиственничные доски были до сих пор крепки, как будто и не пролежали на чердаке около полувека. Доски сохранились, но сам Мирхайдаров — не доска, а человек, в какие только переделки за это время не попал,

какими дорогами не прошел, в каких огнях не опалился! Считая веления партии велениями своей совести, немало неправедных поступков совершил. К примеру, в том, что в далеких сибирских лесах гибли, мечтая о куске хлеба, замерзали без крова ничего не понимавшие ребятишки, есть и доля его вины: когда отправляли из аула в ссылку кулаков с их семьями, с малыми детьми, преследовали мулл, разрушали мечети, и он этому содействовал. Теперь понял, что зря, но тогдашние ошибки уже не исправить, как бы ни хотелось, – близок, как говорится, локоть, да не укусишь. Да, и он пролил свою кровь в боях за Родину, по мере сил восстанавливал захиревшее во время войны хозяйство. Это в какой-то мере обеляет его, и все же к встрече со смертью лицом к лицу он пока не готов. Разматывая бессонными ночами клубок памяти, он многое понял. Но долго раздумывать времени у него не осталось. Материальные ценности теперь его не интересуют, он избавился от ненужных ему вещей, раздал тем, кому они нужны, потому что ничего с собой на тот свет не унесешь. Ему надо лишь успеть свершить самое важное в оставшейся жизни дело...

– Здравствуй, агай!

– Атак... это ты, Валяутдин-кустым? Что это ты ночью, когда и убыр не высунется, ходишь... с арканом в руке?

Валяутдин, переступая с ноги на ногу, сказал нерешительно:

– Так ведь... и ты хо... ходишь...

– Я делом занят. Ну-ка, подставляй плечо.

– Зачем?

– То, что наметил на сегодня, я закончил. Надо до рассвета эти доски поднять обратно на чердак. А то могут растащить.

– Да мне некогда, агай!

– Давай-давай, не прикидывайся занятым человеком. У меня одного сил маловато.

– А что это за доски?

– От минарета мечети.

Валяутдин присвистнул.

– А зачем ты их сюда спустил?

– Надо было, кустым, посмотреть, годятся ли они для восстановления. В свое время я был среди тех, кто сбросил минарет на землю. Кто бы мог подумать, что вместе с ним рухнет и человеческая совесть?

— Восстановить, значит, хочешь минарет?

— В точку попал! Ты, кустым, плотник, может, поможешь, а?

— Совесть, агай, и у меня рухнула. Кто мой минарет восстановит?

— Куда ты сейчас шел-то?

— В березняк... вешаться...

— Ничего лучше не мог придумать?

— Мочи уж нет, стыдно людям на глаза показываться.

— Хы... — Мирхайдаров, подложив под себя рукавицы, сел на крыльцо клуба. — Давай-ка подымим, кустым!

— Бэй, разве ты...

— Вообще-то не курю, но послушал тебя и захотелось. Вспомнилась мне одна притча. Прилетел, рассказывают, архангел Гавриил к человеку и говорит: «Эй, человек, Господь прислал тебе три качества. Называются они Ум, Совесть и Стыд. Бери что хочешь». Выбрал человек Ум. Решил было архангел отправить Совесть и Стыд обратно, а те не соглашаются. «Мне, — говорит Совесть, — Господь велел не оставлять Ум без присмотра, я должна жить вместе с ним». — «А мне, — говорит Стыд, — велено не расставаться с Совестью». Таким образом, остались они все вместе.

— Ну и?

— Ну, раз тебе настолько стыдно, что и смерть не страшна, есть у тебя также ум и совесть.

— Эх, агай, легко говорить...

— Понимаю... Кабы муки совести не были сильней смертной муки, и я бы спал сейчас спокойно в своей постели. Человек наделен еще одним, может быть, самым угодным Всевышнему качеством — терпением. Давай, кустым, потерпим. Пожилым людям есть о чем поговорить, ты, Валяутдин, захаживай ко мне. А весной восстановим минарет. Не исключено, что его опять разрушат, но это будет сделано не нашими руками. Каждый отвечает за свои деяния сам, вот что я понял...

* * *

Скрип-скрип, скрип-скрип... Уф, надоело Галиме до чертиков это поскрипывание. Когда оно прекратится, когда? «Перестанешь ты качать или нет? Хватит!» — Галима

вцепилась в горло Самиры, качавшей подвешенную на пружине зыбку. Но молодая, сильная Самира не поддалась, сама начала душить мать. Галима задыхается, не может вырваться из ее руки. Единственный выход – опрокинуть колыбель, пусть ребенок полетит в тартарары, тогда отпустит... Так она и сделала, перевернула, оборвав бечевки, колыбель, из нее посыпались пеленки-распашонки. А где же ребенок?..

Разбуженная собственным криком, Галима не сразу пришла в себя. Наконец, поняла, что это был сон. Всего лишь сон. И хорошо, что сон. В темной комнате пробили часы. На улице бушевал буран, под его напором поскрипывали ставни. Ветер издавал в печной трубе звуки, похожие не то на детский плач, не то на кошачьи визги. Самира, наверно, крепко спит. Днем они опять съездили на кладбище, к «могиле» ее сына. Самира ни слова там не сказала, лишь постояла, прислонившись грудью к холодному металлу оградки.

Вечером Галима побывала в гостях у приятельницы. Как добралась оттуда домой, не помнит. Обе крепко выпили. Зайтуна-ханум – с горя: недавно похоронила мужа. А Галима кляла свою судьбу, обрекшую ее на одиночество. Помянула недобрым словом и Ихсанбая, и Саяфа, и Кыдрасова. Не надо было... Зачем, зачем рассказала обо всем Зайтуне? А может, не рассказала, а только подумала?..

Галиму сильно мутило. Поднялась с постели, кое-как нашарила выключатель туалета. Когда вырвало, стало легче. Самира знает, что мать нуждается в помощи, но и не шевельнулась. Верно сказано: не делай добро – не получишь зло. Галима ради ее будущего благополучия пошла на подсудное дело, а дочь и стакана воды не поднесет. Для нее что есть мать, что нет ее...

– Самира!.. Ах, молчишь?! Мать хоть умри, а ты... Ждешь не дождешься моей смерти! Если умру, ты в этом доме... сможешь распутничать без помех, да?

Галиме вспомнился позавчерашний разговор с ее шофером. «Айда заходи, погреешься, – предложила она. – Посидим, поговорим. Я ведь еще не дряхлая старуха...» Шофер, дюжий смуглый парень, отказался: «Нет, спасибо, дочь ваша, наверно, дома, может невесть что подумать. Как-нибудь в другой раз...» Да, Самира мешает ей жить полнокровной жизнью, и всегда мешала. Из-за нее Галима не смогла по-человечески выйти замуж!

– Самира! Убью я тебя! Убью! – Дав волю слезам, Галима шагнула в комнату дочери. – Я твоего ребенка похоронила, а ты вместо того, чтобы поблагодарить мать, повернулась спиной...

Включила свет. В комнате было прибрано. Постель не расстелена.

– Самира... Нет ее. – Галима плюхнулась на стул возле журнального столика. – А это...

На столике лежала записка. Взяла ее, прочитала: «Мама, не ищи меня. Прощай! Самира».

Галима сразу протрезвела. Сунулась в шифоньер, где висела одежда Самиры. Одежды нет. И чемодана нет. Значит, уехала. Если бы решила наложить на себя руки, вещи были бы на месте. Уехала куда-то...

Галима осталась совсем одна. Одна-одинешенька. Только что она желала этого, а теперь почувствовала тоску, такую, наверно, испытывает сука, потерявшая щенков и от безысходности воющая, задрав морду к луне. Захотелось разбить себе голову, ударилась ею об стену. Не помогло. Жажду мести не удовлетворила. Мести кому? Самой себе? Нет, ей плохо – пусть и кому-то другому станет плохо. Рука потянулась к телефону, набрала номер Саяфа. С другого конца провода послышался молодой женский голос:

– Муж спит. Извините, не стану будить.

Некоторое время Галима просидела в прострации. Затем сознание как будто прояснилось. Кыдрасов! Вот кому надо позвонить! Это ведь он, он виноват в том, что Галима осталась без дочери! Полистала блокнот, нашла номер его домашнего телефона. Давно уж добыла номер, но не звонила, не могла преодолеть свою гордость.

– Алло!

– Кто это? – отозвался с другого конца провода сонный голос.

– Лебедушка твоя, Галима. Не узнал?

– Вы, кажется, ошиблись номером.

По голосу Галима поняла: Кыдрасов, конечно, ее узнал, не только узнал – испугался. Пока он не положил трубку, успела проговорить:

– Поздравляю с мертворожденным сыном! Ваша любовь плодов не дала...

* * *

Мадина с Даутом неторопливо шли в сторону гостиницы «Агидель». Вечер выдался хороший. Падал легкий снежок. Мадина радостно поглядывала на сына. На его бровях, на ресницах застряли снежинки. Так он еще больше походил на отца. Вспомнилось Мадине, как прогуливались они с Абдельахатом в такие же тихие вечера. Говорили, говорили и не могли наговориться. Слегка озябнув, затевали, чтобы согреться, игру в снежки. Эх!..

– Что, мама?

– Я... – Мадина растерялась. – Я, кажется, ничего не сказала.

– А мне послышалось... – В голосе Даута чувствовалось волнение. – Тебе, наверно, тяжело. Папа...

– Мы были счастливы с ним, сынок. Ты очень на него похож, и я, глядя на тебя, вспоминаю лишь об этом.

– Я продолжу дело папы в Тиряклах. Вот только закончу учебу!

Даут обычно сдержан, редко раскрывает свои чувства. А сейчас он взволнован. Может быть, то, что оставили Кукхылу в интернате и проводят вместе здесь, в Уфе, последний вечер, так на него подействовало.

– Да, сынок, я вижу в тебе его продолжение. Ты похож на отца во всем. Хоть и молод еще, успел пройти, как говорится, огонь и воду. – Мадина помолчала, собираясь с мыслями. – Я, Даут, давно хотела тебе сказать: лучше будет, если после учебы ты не сразу вернешься в наш колхоз...

– Почему?

Они как раз вошли в сквер имени Ленина, Мадина смахнула варежкой снег со скамейки.

– Давай посидим немного.

– Давай.

– Дело вот в чем. Я не сомневаюсь, сынок, что ты станешь хорошим агрономом и будешь любить землю, как любил твой отец. Но лучше будет, если в Тиряклы ты вернешься, накопив опыт, почувствовав уверенность в выбранной специальности. Тем временем я постараюсь размножить сохраненные тетушкой Раузой семена, и ты продолжишь папины эксперименты. Короче говоря, вернешься в Тиряклы, чтобы ставить рекорды.

– Вот тебе на! А я жду не дождусь, когда вернусь.

– Нет, говорят, пророков в своем Отечестве. Тебе, сынок, если сразу вернешься, будут вставлять палки в колеса, смотреть на тебя как на мальчишку. На стороне добьешься успеха скорей.

– Ты так думаешь? – Терпеливый, вдумчивый, как отец, Даут не спешил дать определенный ответ. Сначала все взвесит, потом – как отрежет. Эта черта в сыне Мадине тоже нравилась. Черта будущего лидера.

– Вот так, сынок. Заранее готовься к этому.

– А ты сама как?

– Я? – Мадина усмехнулась. – Была бы шея – хомут найдется. Я сегодня договорилась в нескольких магазинах насчет продажи нашего меда. Подыщу человека и для торговли на Центральном рынке.

– Не боишься, что навесят ярлык спекулянтки?

– Волков бояться – в лес не ходить.

– Храбрая ты у нас, мама!

Снегопад усиливался. Поглядывая на зароившиеся вокруг уличных светильников крупные снежинки, они продолжили путь к гостинице. Посмотрев на мать, ставшую похожей на снежную бабу, Даут сказал:

– Буран разыгрывается.

– Это будет светлый буран. Предвестник весны, – отозвалась Мадина.

* * *

Лидия Николаевна настояла, чтобы Кюнхылу жила у нее, а не в интернате. И Кюнхылу теперь каждый вечер перед сном заходит в комнату Абубакира перекинуться парой слов, пожелать ему спокойной ночи. Брат в это время обычно лежит на кровати, читает книгу при свете, падающем из-под оранжевого абажура настольной лампы. Взглянув на него, Кюнхылу словно бы переносится в Тиряклы, дышит воздухом родного дома. Ей кажется, что рядом с Абубакиром ляжет и другой старший брат, Даут, и они наперебой начнут рассказывать ей с Кукхылу разные интересные истории... Вот и сейчас Абубакир лежит, устремив взгляд в книгу. Нет, не в книгу. Через нее он смотрит на что-то другое. Может быть, на красивую матрешку?

– Агай...

– Да...

– Что это за матрешка?

– Ну, обыкновенная матрешка.

– Нет.

– Почему нет?

– Ты на нее все время смотришь.

– Ах ты, чернявая! Иди-ка сюда! – Абубакир, приподняв сестренку, посадил около себя. – Эту матрешку мне подарила одна удивительно красивая девушка. Она, то есть матрешка, очень похожа на нашу Кукхылу, верно?

– Верно. Я об этом и Кукеней сказала. На матрешке, говорю, нарисован твой портрет.

– Я эту игрушку купил в киоске около Эрмитажа. Между прочим, для тебя.

– Только что сказал, что ее подарила красивая девушка.

– А... Ну да. Я хотел купить, а девушка мне подарила. Свою, которую сама разрисовала. Она оказалась художницей.

– А где сейчас эта девушка?

– Не знаю. Я ее, Кюнакес, потерял. Мне осталось лишь вздыхать, глядя на матрешку.

– Ты маме об этом рассказывал?

– Нет. Только Лидии Николаевне. – Абубакир грустно улыбнулся. – Ну ладно, Кюнакес, иди ложись. Завтра не праздничный день.

– Спокойной ночи!

– И тебе тоже!

Кюнхылу отправилась спать, но заснула не скоро. Поочередно представила себе маму, Кукхылу, Даута, дедушку и всем пожелала спокойной ночи. Затем вызвала в своем воображении дунэна, Буренушку, ягнят, гусей, по которым тоже соскучилась. Эх, скорей бы наступило лето, начались каникулы! Кюнхылу, пригнувшись к гриве своего коня, помчалась бы по дороге, ведущей к Куктау... Тут ей вдруг стало жаль Абубакира. Невесел он, Лидия Николаевна, глянув на него, сокрушенно качает головой. Кюнхылу причину этого теперь знает: брат влюбился. Кюнхылу тоже влюблялась. Однажды влюбилась в Саяра, Саяфова мальчишку. Потом они подрались, и любовь кончилась. Но Абубакир ведь с красивой девушкой не подрался. И может быть, они никогда бы не подрались. Любили бы друг дружку, как папа и мама. Если б

нашлась эта девушка, Абубакир стал бы веселым, шутил и смеялся...

Мысли, нахлынувшие перед сном, не оставляли Кюнхылу и на следующий день на занятиях в школе. Преподавательница, заметив, что она рассеяна, выполняет упражнения без обычного усердия, даже спросила:

– Кюнхылу, ты что, не выспалась?

Кюнхылу не ответила, лишь стала выполнять упражнения старательней. Чтобы окончить эту школу, она должна учиться только на «пятерки», иначе ее могут отчислить. А она после школы должна поступить в знаменитое хореографическое училище имени Вагановой. Поэтому старается. Превосходит в классе в успехах всех, но не всегда. Тяжеловато тягаться с теми, кого учили танцевать с трех-, четырехлетнего возраста.

После занятий в школе Кюнхылу спустилась на станцию метро и отправилась к Эрмитажу. Там быстро нашла киоск, в котором продавались всякие сувениры, в том числе и матрешки. Достала из сумки прихваченную утром с собой синеглазую матрешку брата, показала продавщице:

– Тетенька, у вас такие есть?

– О, какая красавица! К сожалению, таких нет. Были, но распродали еще до Нового года.

– А откуда вы их брали?

– Не помню. К нам товары поступают из разных организаций, так что трудно сказать...

Продавщица занялась другими покупателями, а Кюнхылу стояла и стояла около киоска. Потом продавщица вывесила табличку «Обед» и куда-то ушла. Кюнхылу походила, заглядывая в другие киоски, и вернулась к этому. Может быть, красивая девушка, разрисовывающая матрешек, принесет таких же, как у нее?

– Миленькая, ты все еще стоишь здесь? – удивилась возвратившаяся с обеда продавщица.

– Стою... – Ласковый голос продавщицы придал Кюнхылу смелости. – Я обязательно должна найти художницу, которая разрисовала мою матрешку.

– Гм... Как же тебе помочь? – Продавщица раскрыла толстую папку с подшитыми в ней бумагами. – Вот накладные. О, сколько их! Так, матрешек, если не ошибаюсь, разрисовывали студенты института искусств. Вот на

одной накладной подпись: «Игнатьева». Больше мне ничего не известно. – Продавщица посмотрела на Кюнхылу внимательней. – А откуда ты?

– Из Башкирии.

– Красивые, оказывается, башкирки...

– Спасибо вам!

Кюнхылу, узнавшая хоть какую-то малость о загадочной художнице, заторопилась домой.

* * *

Кукбуре-младшая (назовем так волчицу-мать из потомства Кукбуре), выбрала новое место обитания неподалеку от истока ручья Тенгрибирде, возле Глубокого лога. Полагала, что здесь будет поспокойней. Но стая чужаков, день ото дня наглея, приносила все больше урона людям, и при очередной облаве, устроенной охотниками, Кукбуре потеряла еще одного волчонка. Теперь она, сопровождаемая лишь одним своим отпрыском, вела себя чрезвычайно осторожно, не отходила далеко от нового логова и волчонку этого не позволяла.

Между тем бураны закончились так же неожиданно, как начались. Засверкавший под солнцем снежный наст скрыл следы мелких обитателей леса, таких, как лисицы и зайцы. А многие куропатки, ночевавшие в снегу, не смогли выбраться из-под ледяной корки, образованной крепким морозом. Некоторое время Кукбуре с молодым волком пользовались этим: учуяв оказавшихся в плену птиц, раскапывали снег, ловили и питались ими. Но вскоре этот источник пищи иссяк.

Лютый мороз, затруднявший дыхание, пробиравший до самых кишок, усиливал чувство голода. Кукбуре, устроившая логово в дупле старого толстого вяза, наконец, не выдержала, вышла на опушку леса. А там, охватив всю опушку, трепетали, как языки пламени, красные флажки. Кинулась налево, кинулась направо – кругом это пламя. Затемненное голодом сознание волчицы вдруг прояснилось, поняла – угодила в западню. Над долиной Тенгрибирде разнесся вой, вызванный отчаянием. С раскидистого дерева вспорхнули испуганные им сороки. На Кукбуре и ее питомца бесчисленными искорками посыпался иней...

* * *

Не прежние времена, какой-нибудь попутный транспорт догонит, решила Мадина и пошагала по дороге, ведущей из Таулов в Тиряклы. Холод не пробивал овчину ее полушубка, на ногах легкие сапожки на меху — шагай да шагай.

День выдался ясный, вокруг слепящим, вытканным из лучей ковром простирались озаренные солнцем снега. Шла Мадина, и в ее душе звучали раздольные, как башкирские просторы, песни. Соскучилась она по родным местам и даже была довольна тем, что не догоняет ее машина. Догонит, быстро довезет до Тиряклов, и не успеет она налюбоваться этой красотой, этим великолепием, по которому стосковалась. К тому же знакомая дорога пробуждала много воспоминаний, можно сказать, вся была устлана ее воспоминаниями — и грустными, и радостными.

Где-то на полпути Мадина, развязав свой узелок, подкрепилась, почувствовала прилив сил. Теперь уж и пешком она до дому дойдет. Полсотни километров для здорового человека — не слишком большое расстояние, быстрым шагом — семь-восемь часов пути. Во всяком случае, до того, как засветятся вечерние огни, она будет дома.

К Глубокому логу Мадина подошла слегка утомившись. Здесь она убавила шаг, потому что всегда, проходя по этой дороге, она сворачивала к могиле матери, и сегодня решила побывать возле нее. По глубокому рыхлому снегу пройти к ней трудно, а сейчас наст крепкий, легко пройдет. Нехорошо будет, если, вернувшись из долгой поездки, не воспользуется случаем навестить дорогой ее сердцу холмик. Отец соорудил там из камней пирамидку, чтобы и зимой место это было заметно.

Поднявшись на гору, Мадина свернула к берегу Тенгрибирде и увидела натянутый от куста к кусту шнур, на котором трепетали, как языки пламени, красные тряпицы. Их было много, они охватывали полукругом большое пространство. Должно быть, охотники затеяли облаву на волков, предположила Мадина. Это ее не удивило. Еще до поездки слышала, что волки размножились и стали причинять урон аулу. В подтверждение догадки в морозном воздухе вдруг разнесся душераздирающий вой. Мадина невольно сунула руку в карман, нащупала складной

нож, которым пользовалась в пути. Тут один за другим прозвучали несколько выстрелов, послышались крики людей. Мадина взбежала на пригорок. Выстрелы прогремели уже совсем близко от нее. Среди голых деревьев показались охотники на лыжах. Два зверя заметались перед линией, обозначенной красными флажками. Сейчас их... Но нет, в мгновение ока зверь покрупней перемахнул через шнур с флажками, за ним последовал и тот, что помоложе. В первом Мадина узнала похожую на бабушкину Кукбуре волчицу, которую видела при перегоне колхозного стада во второй летний лагерь, когда остановилась у ручья, чтобы напоить коня. Тогда у волчицы было пять волчат, а сейчас, выходит, остался один подросший волчонок.

Преодолев препятствие, звери помчались в сторону Гнилого озера. Вслед им успели выстрелить несколько раз, но кто-то крикнул:

– Ребята, не стрелять, тут человек!

К Мадине подъехал на лыжах усатый мужчина.

– Ай, карындаш, как ты попала сюда? Могла ведь погибнуть.

– А волки убежали...

– Черт с ними! – махнул рукой мужчина. – А вот если бы угодили в тебя... Погоди-ка, ты не соловушка ли тиряклинская?

– Меня Мадиной зовут.

К ним уже подоспели и другие охотники.

– Ба, Мадина! – воскликнул один из них. – Она, братцы, человек бывалый. Это ведь ее мы нашли в соломе под волчьим трупом.

– Выходит, волки – давние ее знакомцы.

– Давние... Это могила моей матери... – сказала Мадина, кивнув на пирамидку.

Мужчины сняли шапки, понурились. В глазах Мадины блеснули слезы. Она почувствовала себя среди своих, понимающих ее людей.

Глава третья

Весна в Тиряклы пришла внезапно. Резко потеплело, и за короткое время снег сошел, превратившись в говорливые ручейки. Вздулась Акъелга. Скворцы, трепыхая

крыльями, помогали весне окончательно прогнать зиму. По оголившимся пашням деловито расхаживали грачи.

Настроение у Мадины в эти дни было приподнятое. Дела у нее шли неплохо. Еще до распутицы приехали из Уфы экспедиторы, купили у нее весь мед. В Таулах, когда поехала хлопотать насчет приобретения машины, встретился на улице заведующий РОНО, давно знавший Мадину, и сделал неожиданное предложение.

— Мы собираемся открыть в Тиряклах детский сад. Не пошли бы вы туда музыкальным работником? — спросил он.

— Музыкальным работником? — Мадина посмотрела на него недоверчиво: не шутит ли? Она, конечно, в течение всей жизни интересовалась культурой и искусством, но посвятила ведь себя животноводству.

— Я понимаю... Вы — зоотехник с высшим образованием, — продолжал заведующий. — Но для приобщения детей к музыке, песне в Тиряклах более подходящей кандидатуры нет. Кроме того... и вам будет так удобней, больше будет оставаться времени для других дел, для своего хозяйства. Вы будете заняты в детсаде не весь день, летом — два месяца отпуска. У нас в отделе был уже разговор о вас, мы решили, что такие условия вас устроят. Лично я был бы рад видеть вас заведующей детсадом. Но в этой должности надо ладить с председателем колхоза, а ваши отношения с ним, насколько я знаю...

— Понятно.

— Значит,..

— Я согласна.

С таким вот решением вернулась Мадина в аул. В сравнении с прежней работой, державшей в напряжении с раннего утра до позднего вечера, эта покажется чересчур легкой. Зато в самом деле у нее будет время и для того, чтобы почитать, и для приведения в порядок своего хозяйства. Если бы она уцепилась за свою должность на ферме, потратила силы в борьбе за нее, не открылись бы новые возможности. Не откладывая дело в долгий ящик, Мадина сложила в отдельную папку материалы, которые использовала при обучении музыке дочек, перебрала музыкальную литературу, купленную в Ленинграде.

Хашим не мог нарадоваться новому повороту в судьбе дочери:

— Как хорошо получилось! Я хоть и молчал, сильно переживал из-за подлости Саяфа.

— Вышло по русской пословице: не было бы счастья, да несчастье помогло. — Мадина, положив перед собой стопку книг, села за стол напротив отца. — Да, папа, если бы не возникали в жизни проблемы, я бы ничему не научилась, ничего не достигла. Они заставляли искать новые возможности. Будет у меня машина. Летом постараюсь удвоить число наших ульев.

— Дай-то Аллах! Глядя на тебя, Мадина, мне хочется прожить еще лет пятьдесят.

— И проживешь! Тебе предстоит увидеть, как, закончив учебу, Абубакир с Даутом приступят к работе, женятся, обзаведутся детьми, как твои внучки станут знаменитыми — одна певицей, другая — балериной.

— Мед да масло тебе в уста, дочка! — Хашим, прослезившись, отвернул лицо в сторону. — Обидно только, что поздновато я постиг радости жизни.

— Нельзя же все время жить прошлым, отец!

— Кстати, забыл сказать... — В голосе Хашима послышалась тревога. — Саяф присылал посыльного, велел, чтобы ты, как только вернешься из райцентра, зашла к нему.

— Ладно. — Мадина, встав, поставила книги на полку. — Если нужна ему, еще пришлет.

* * *

Саяф, долгое время предававшийся пьянству, женившись на молодой доярке, вроде бы отрезвел, попытался вновь взять все под свой контроль: побывал на молочной ферме, съездил на дальние кошары, проверил запасы сена и пришел к выводу, что их до перевода скота на пастбища хватит. А вот фуража... Из-за того, что осенью почти все зерно он сдал государству, в амбарах гулял ветер. Государство тоже хитрит: закупает зерно у колхозов по низкой цене и, превратив его в комбикорма, продает с большой наценкой. Получается, что хозяйства содержат скот, покупая то, что сами же вырастили, втридорога. Высокая по этой причине себестоимость мяса повисает на шее колхоза вкупе с ярлыком «убыточный». Не знает теперь Саяф, как выкрутиться. Коров, хоть и упадут надои, можно еще продержать на сене и соломе, а со свиньями — беда. На Русском хуторе, где восстановили свиноводческую ферму, начался падеж. Как когда-то во время

войны, стали там с отчаянья кормить голодных животных варевом из мяса сдохших свиней и соломы. Не видя выхода из этого положения, Саяф решил сходить к Мирхайдарову: бывалый ведь старик, может, даст дельный совет.

Мирхайдаров сидел с книгой в руке в избенке деда, чуть не на треть ушедшей в землю.

— Ассалямагалейкум, Азат-агай! Можно к тебе войти?

— Вагалейкум ассалям! Раз пришел, почему бы не войти? Какими, как говорится, ветрами, председатель-кустым? — Мирхайдаров снял очки, положил на подоконник, просевший как раз до уровня нар.

— Да вот решил навестить, и посоветоваться надо. — Саяф повесил шапку на олений рог, прибитый рядом со входом, расстегнул застежки полушубка. — Пойти к своему старику, так он, не успев выслушать, начинает браниться, как будто только в его время люди правильно жили.

— Когда состаришься, наверно, и ты будешь повторять его слова, — усмехнулся Мирхайдаров, потирая затекшие ноги.

— Кто знает... Но это я просто так сказал, к слову пришлось. Дело, Азат-агай, в другом. Положение на свиноферме — хуже некуда. Фуража нет, колхоз по горло в долгах. И надои упали, коров на одном сене и соломе держим.

— А как овцы?

— Ничего, упитанные, им ведь и одного сена достаточно.

— Это так... — К удивлению Саяфа, бывший председатель взял четки, начал перебирать. — Овец в колхозе излишне много, продать бы часть, деньги бы появились, да ведь не разрешат продать. Начальству для отчетности поголовье нужно...

— Да уж, сдохнут, так сдохнут, а сбыть без указания не смей... — Саяф присел перед печкой, постукал кочергой по поленьям, чтоб разгорелись сильней. — Не знаю, как вам работалось, а я устал. Иногда хочется хлопнуть дверью и податься в кошару, в чабаны.

— Легкий путь...

— А как жить? Горбач еще все перебутырил... — Саяф запнулся под предостерегающим взглядом Мирхайдарова и, как бы оправдывая себя, добавил: — И ты, агай, был

ярым коммунистом, а сейчас, гляжу, читаешь Коран и перебираешь четки.

– Не спеши с приговором, кустым. Неизвестно, каким станешь ты, когда доживешь до моих лет.

– Ладно, извини... – Саяф понизил голос. – Вдобавок ко всему колхозники воруют. Кабы не воровали, комбикормов, может, и хватило бы. Зло берет: если бы только для своего скота крали, а то ведь на пропой. На водку меняют...

– Ты допустил ошибку, убрав с фермы Мадину.

– Характер у нее... Поперечная же она.

– Такой порядок на ферме, какой она навела, вряд ли еще кто наведет. Голова у нее работает. Из самых сложных ситуаций находила выход.

– Да уж... – Упоминание Мадины вконец испортило настроение Саяфа. В райсельхозуправлении утверждают то же самое, будто сговорились. – Ну ладно, агай, извини, побеспокоил. Растерянная утка, говорят, хвостом вниз ныряет. Так и я. До свиданья. – Уже взявшись за ручку двери, Саяф приостановился. – Если бы Мадина согласилась, я бы вернул ее. Заведующей на свиноферму...

– Пока, кустым!

Словно отвыкнув, разъезжая на машине, ходить пешком, Саяф засеменил вдоль по улице. Когда поравнялся с домом Мадины, к лицу прилила кровь. Не в силах он забыть, как был с позором выставлен из этого дома. Вдобавок напротив, как будто угрожающе нацелив на него головешки, лежат останки дома, в котором проводил опыты Абдельахат. Саяф ускорил шаги, чтобы быстрей отойти от этого места, навевающего неприятные мысли.

* * *

Мирхайдаров, отложив книгу, вышел во двор, походил туда-сюда, думая о Мадине, и решил сходить к ней. Согласится принять свиноферму, нет ли, – скорее всего, нет, но ведь не безразлична Мадина к судьбе колхоза, которому много сил отдали и ее приемная бабушка, и мать, кстати, когда-то поработавшие на Русском хуторе, и сама она. И у нее, как у него, Мирхайдарова, болит душа из-за сложившегося в хозяйстве положения. Конечно, сильно обидел ее Саяф, но Саяф – не весь колхоз. Если

попросить Мадину от имени всех колхозников, можно будет ее вернуть...

Калитку, когда он подошел к дому Мадины, открыл Хашим.

– Айда, агай, проходи! – Широко улыбнувшись и сунув варежки под мышку, Хашим протянул по-стариковски обе руки, чтобы поздороваться. – Давно не виделись, я сам подумывал навестить тебя.

– Хорошо бы сделал, если бы навестил. Общение приносит большую пользу. Ну, как поживаете, как Мадина?

– Слава Аллаху, причин жаловаться нет.

– Машину, я слышал, вы купили.

– Да. Прошлым летом меда прилично накачали.... – Хашим, подойдя к сараю, приспособленному под гараж, распахнул ворота. – Вот она. Пришлось еще двух коров потратить и картошку продали. Мадине ведь трудно одной, по любой нужде надо в район ездить, начальству кланяться, теперь станет легче.

Мирхайдаров зашел в сарай, погладил машину.

– Поздравляю!

– Пусть наша удача передастся и тебе!

– Мне уж... – Реденькая борода Мирхайдарова затряслась в смешке. – Мне уж, кустым, как говорится, приготовлена одежка без ворота и рукавов. Прошли мои годы...

Выйдя из сарая, Мирхайдаров бросил взгляд под навес.

– И телега у тебя, и сани, гляжу, есть. Косилка тоже своя?

– Списанную колхозом отладил. Лучше своей косить, чем у кого-то просить.

– Это так... – Мирхайдарову пришелся по душе порядок во дворе: все ухожено, все на своем месте. – Если бы, Хашим, я, когда председательствовал, знал твои деловые качества, выдвинул бы тебя в бригадиры.

– Ладно еще не знал, – усмехнулся Хашим. – А то бы я сейчас сидел, как ты, на голых досках.

– Ты уж говори, да не заговаривайся. Так ли, сяк ли, а все же не зря жизнь прожита.

Вошли в дом. Пока Мирхайдаров в прихожей снимал полушубок, из кухни выглянула хлопотавшая у очага Мадина, поздоровалась приветливо.

– Вкусно пахнет, – сказал Хашим. – Никак, дочка, ты заранее догадалась, что я приведу гостя?

— Проходите. Ополосните руки и садитесь за стол. Как ты вовремя, Азат-агай, приходишь!

Мирхайдаров не стал отнекиваться. Приветливость Мадины повысила его настроение: значит, найдут общий язык. Когда поели и выпили чаю, он приступил к деловому разговору.

— Я, Мадина, пришел сватать тебя на работу.

— Какую... работу?

— В колхозе, слава Аллаху, работы по горло.

— Я уже в колхозе поработала, агай. Стаж у меня достаточный — двадцать шесть лет.

— Нас всех в люди колхоз вывел. Надо помочь ему в трудный момент. Я уже стар. А ты еще молодая.

— Вывел, говорите... Это, по-моему, скорей от самого человека зависит.

— Вот вы машину купили. Плохо ли?

— Если бы не держали пчел, не старались, не смогли бы купить. Есть, агай, люди, которые сами для себя картошку не могут вырастить. Взять Галяутдина с Валяутдином — они тоже ходят в членах колхоза.

Не найдя, как опровергнуть довод Мадины, Мирхайдаров решил выложить причину своего визита.

— Ко мне, Мадина, заглянул Саяф. Кажется, сожалеет о том, что ты ушла с фермы. Если позовет обратно... — Он не договорил, посмотрел на Хашима в надежде на поддержку. — Каждый из нас может ошибиться. Давай не будем уподобляться тому, кто, рассердившись на блоху, сжег шубу.

Мадина встала, подошла к подоконнику, на котором ярко зацвела герань. Сказала, не оборачиваясь:

— Не печалься, агай, из-за меня, я уже нашла себе место — устроилась музыкальным работником в детсаде.

В душе Мирхайдарова будто что-то оборвалось: эта женщина не то что колхозом — районом могла бы руководить, работа в детсаде — не ее уровень.

— Знай, что услышу это, не пришел бы я к тебе!

Мадина вернулась к столу, села напротив бывшего председателя колхоза, потускневшего оттого, что не оправдала она его надежду.

— Нет, агай, ты хорошо сделал, что пришел. Спасибо за доверие! Послушай, расскажу тебе притчу. В некой стране жил царь, обладавший несметным богатством. Од-

нажды он велел сделать золотую кровать и укладывал в нее каждого своего гостя. Однако ни один из гостей не соответствовал размеру кровати: то оказывался слишком длинным, то чересчур коротким. Чтобы подогнать к размеру кровати, гостей либо укорачивали, либо растягивали. Одним словом, никто из них живым вырваться из этого царства не мог... Вот так же из-за подгонки людей под заданные стандарты я потеряла мужа, не знаю где сейчас моя престарелая бабушка. Моего Даута едва не превратили в живой труп. Мне, агай, пока будет лучше в маленькой должности идти своей дорогой.

– Как знаешь, карындаш. Не обижайся на меня, старого.

– И ты на меня не обижайся. – Мадина положила горячую ладонь на холодные пальцы старика. – Ты хороший человек, Азат-агай...

* * *

Женитьба Саяфа крайне возмутила Галиму: кто-кто, а он должен был сделать предложение ей. Сколько пользовался ею, имя ее ославил, не узаконил отношения, ссылаясь на то, что женат, а овдовев, выбрал другую! Рябой бес! Прохиндей! Когда выпала дорога в Тиряклы, Галима решила заглянуть к нему, отвести душу.

– Загордился человек, женившись на молодой! – бросила она с порога. Увидев Галиму, сидевший в кабинете Саяфа мужчина и секретарша тут же улетучились.

– Набрасываешься, даже не поздоровавшись! – Саяф протянул руку. – При людях...

– Ничего, позументы с тебя не осыплются. Я вот не боялась, что с меня осыплются.

– То ведь ты... Ну, садись, рассказывай, какими ветрами занесло...

– Сказать, что ветрами любви, язык не поворачивается. Предал ты меня, надежд не оправдал. – Достав платочек, Галима коснулась им уголков глаз. – Зачем столько лет голову мне морочил, раз не любил?

Саяф, выйдя из-за стола, встал возле бесплодного лимонного деревца напротив Галимы.

– Ты слышала поговорку: «Мужчины одних любят, на других женятся»?

– Не слышала и слышать не хочу! – Галима, стараясь

держать сильно огрузневшее за последние годы тело прямо и выглядеть женщиной, не поддающейся времени, поднялась со стула. – Ладно, Галима еще будет нужна!

– Ты и сейчас нужна! – Саяф неожиданно обнял ее, потянулся к губам. – Разве когда-нибудь была не нужна?

– Подлиза! – Галима хотела было изо всех сил оттолкнуть его, но взяла верх давно томившая ее тоска по мужчине – сама приникла к нему. – Сегодня... буду ждать тебя.

– Жди, только сначала... – Саяф так же неожиданно, как обнял, отстранился от нее и сел за свой стол. – Надо, Галима Мухаррямовна, разрешить небольшую проблему.

– Проблему?

– Она тебе под силу. У меня кончился фураж. Фонды все выбрал, скормил. И в долг больше не дают. А у тебя есть связи на комбикормовом заводе...

– Лиса!.. – Галима опять достала платочек, осушила повлажневший в тепле лоб. – Слышала я, что у тебя дохнут свиньи.

– Добрая весть, говорят, на месте лежит, худая быстро бежит. Правду сказать, развал у меня на фермах. Пьют, на работу не выходят, воруют...

– По Мадине... скучаешь?

– Да-а... – Саяф поскреб затылок. – Надо было просто держать ее под колпаком, чтобы совсем не упустить.

– Машину, я слышала, она купила.

– Купила. Уж и водить учится.

– Думаю, не дашь ей долго радоваться.

Саяф, подняв голову, наткнулся на злой взгляд Галимы.

– Ты что?

– Я серьезно. Баш на баш. Тебе ведь комбикорма нужны!

– Только сказка скоро сказывается...

– Это зависит от тебя, мой Наполеон!

* * *

Кюнхылу все более свыкалась с жизнью в Ленинграде. В раскинувшемся на островах городе было много такого, что отвечало устремленности ее души к чему-то новому, непознанному и доставляло истинное удовольствие. Девочка старалась не терять зря время, свободное от за-

нятий в школе, и выходные дни. Она всегда носит в ранце карту-схему Ленинграда и красным карандашом берет в кружочки места, где уже побывала. Но как много еще мест, которые ей надо увидеть! Иногда она подолгу простаивает возле какого-нибудь дома, разглядывая лепные украшения на стенах, фигуры на фронтоне, башенки на крыше. Эх, нет рядом Кукхылу! Недавно пришло письмо от нее... «Я уже привыкла жить здесь, — пишет сестра. — Очень нравятся уроки музыки. Меня сводили к одной тетеньке-профессору, я спела ей. Кажется, приму участие в каком-то большом концерте». Да, Кукхылу споет, так уж споет! Сама Кюнхылу таких успехов пока не достигла, но занятия даются ей легко, довольна и этим. А ее частые отлучки из дому объясняются еще и одним секретом: она ищет ту девушку-художницу. Не искала бы — брата жалко.

— Абубакир сильно изменился, — вздыхает Лидия Николаевна. — Был парень-огонь, а теперь что?

Это Кюнхылу и сама чувствует. Переживает из-за того, что не может помочь брату. Ей и самой, когда вспомнит Саяра, Саяфова сына, становится как-то не по себе. Сожалеет, что подралась с ним.

Сегодня выходной. Брат еще спит. И в комнате Лидии Николаевны, обычно встающей рано, света не было. Кюнхылу тихонечко оделась, сунула в ранец матрешку и быстренько ушла из квартиры. Даже собака не учуяла, что она уходит, а то бы запросилась с ней на прогулку.

Дорогу к общежитию института искусств Кюнхылу знает теперь, что называется, наизусть. На выходе из метро она остановилась возле старушек, выставлявших свои нехитрые товары: цветы, зеленый лук, укроп. В ауле укроп выдергивали и выбрасывали вместе с сорной травой, а тут растят его на балконах для продажи, превращают в деньги. Кюнхылу тоже расставила на подоконниках с полсотни пластмассовых стаканчиков с землей, решила выращивать фиалки. И еще расширит свой цветник. Когда фиалки расцветут, будет продавать их в выходные дни. Видела: такие цветы покупают даже чаще, чем пышные букеты. Наладив торговлю, она перестанет брать деньги на карманные расходы у Лидии Николаевны. Неудобно же все время пользоваться ее добротой.

Дойдя до студенческого общежития, Кюнхылу достала матрешку из ранца, поставила на большую бетонную

вазу, предназначенную для выращивания цветов, сама села рядом на скамейку, раскрыла учебник. Как всегда, стали раздаваться восклицания:

– Ой, матрешка! Сколько стоит?

– Не продается, – отвечала Кюнхылу. – Сушу.

Услышав ее ответ, прохожие разочарованно отходили, а Кюнхылу знай себе сидит. Весеннее солнышко приятно пригревает ей спину, на карнизе здания воркуют голуби, иногда садятся на асфальт любопытные воробьи, интересуются, что тут девочка делает. Как глянет Кюнхылу на них, вспоминается аул. Ее Тиряклы. Там, конечно, уже прилетели скворцы, обжили поднятые дедом на шестах скворечники. Когда по улицам текли веселые весенние ручьи, мальчишки, наверно, пускали бумажные кораблики. Саяр однажды дал своему кораблику название «И.К.А.». Кюнхылу сначала не понимала, что означают эти буквы, а когда догадалась, что это первые буквы ее фамилии, имени и отчества, ей стало стыдно, она догнала кораблик и порвала его в клочья...

– Ой! Моя матрешка! Надо же...

Кюнхылу подняла голову и увидела темноволосую девушку с большими синими глазами, удивленно переводившую взгляд то на матрешку, то на нее.

– Матрешка ваша?! – У Кюнхылу от радости перехватило дыхание. – Нашла! Нашла!

– О чем ты, девочка? – Девушка взяла матрешку в руки. – Голубоглазая... Она у меня была в единственном экземпляре...

– Пошли! – решительно сказала Кюнхылу, притронувшись к локтю девушки. – Вас ждут!

– Кто?

– Там увидите!

– Хорошо. Но давай сначала зайдем ко мне, чай попьем.

Кюнхылу перечить не стала. Она ушла из дому не позавтракав и проголодалась. Девушка, оказалось, живет на девятом этаже общежития. Из окна ее комнаты открылся такой вид на город, что Кюнхылу о голоде забыла.

За чаем в комнате, пахнущей красками, уставленной рамами с натянутым на них холстом, пучками высушенных трав и цветов и какими-то еще не знакомыми Кюнхылу предметами, они познакомились поближе. Кюнхылу удивилась, заметив в глазах девушки маленькие крапин-

ки – как будто какой-то волшебник рассылал по синему полю черные жемчужинки... Девушка спросила у нее, кто она, откуда. Кюнхылу рассказала о себе и о том, что ее старший брат, познакомившись с ней, то есть художницей, а затем потеряв ее, прямо-таки заболел с расстройства. Девушка порозовела от смущения.

– Я тоже часто думала о нем, – призналась она.

– А я уже с зимы сюда ходила, – сказала Кюнхылу. – Брат об этом не знает. Пришлось обманывать, будто бы я задерживаюсь в школе.

– Бедняжка! – Девушка погладила Кюнхылу по кудряшкам. – А я была на каникулах. И вдобавок еще работаю.

– Вы уж проводите меня, пожалуйста, домой, – попросила Кюнхылу. – А то я не смогу объяснить, где пропадала.

– Хорошо.

...И вот они у двери квартиры Башкирцевой. Кюнхылу нажала кнопку звонка. В прихожей раздалась мелодия и гавкнула собака. Дверь открыла Лидия Николаевна.

– Флорида?.. Господи, Флорида!!!

Подбежавший сзади Абубакир подхватил оседавшую в обмороке Лидию Николаевну. Кюнхылу и Флорида застыли в растерянности...

* * *

Барсынбика в последнее время стала ощущать себя живым трупом. Появляется около нее кто-то, спит она или не спит, сыта или голодна – ей все равно. Время течет, день сменяется ночью независимо от воли человека, он к этому не причастен, точно так же, казалось, Барсынбика не причастна к тому, что происходит с ней и вокруг нее. В младенчестве человек сует незнакомый ему предмет себе в рот, таким образом познает, что это за вещь, повзрослев, берет предмет в руки, осматривает и откладывает в сторону, а в возрасте Барсынбики, оказывается, даже и посмотреть не хочется.

Беды, уготованные судьбой для Барсынбики, вроде бы уже полностью исчерпаны. Не осталось ничего, что могло бы ее удивить, взволновать. Поэтому она спокойна. Принимает жизнь такой, какая она есть, пришла в согла-

сие с прошлым и настоящим. Однако это не рабское согласие: ни перед кем и ни перед чем Барсынбика не преклоняет колени. Ее дух не пасует даже перед смертью, ибо дух бессмертен, смертно лишь тело. А оно у нее пока не спешит уйти в небытие. Когда-то в нем бушевало пламя желаний, постепенно пламя угасало, осталась теперь лишь зола. Но в золе еще тлеет искорка. Искорка эта — желание напоследок побывать в Тиряклах. Увидеть места, где потеряла и вновь нашла рожденную в муках дочку, прижать к исстрадавшемуся сердцу и благословить оставленное ею потомство. Предчувствует Барсынбика: Роберт Эдуардович снова придет к ней. Вот тогда она выскажет свое последнее желание. Слово «последнее» чуточку смущает Барсынбику. Может быть, это желание окажется не последним в ее земном существовании. Но желание обретает особую силу, если рассматривается как последнее.

Предчувствие оправдалось: скрежетнул ключ в замке, пришел главврач. Один.

— Как ваши дела?

— Жива еще... — Барсынбика на сей раз осталась лежать в постели, не поднялась. Роберт Эдуардович присел рядом на стул, сказал, вздохнув:

— И я пока жив. Но, кажется, времени у меня осталось мало. Хотя все, что можно сделать с помощью лекарств, сделал.

— Я могу тебе помочь, только... Придется тебе уйти с этой работы. Совсем.

— Почему?

— Твоя болезнь вызвана несогласием со своей работой и образом жизни. Не будет пользы, если, выздоровев, вернешься опять в этот омут.

— Но мне, в общем-то, нравится моя работа!

— Нравится держать взаперти ни в чем не повинных людей?

— Это делается ради благополучия нашего общества.

— Общество, которое живет по несправедливым законам, не может быть благополучным.

— В жизни и человека, и общества, к сожалению, случаются ошибки. Но я верю, что Октябрьскую революцию совершили во имя справедливости в подлинном смысле этого слова. Она стала началом великого времени, вознесшего человечество из пропасти в космос.

— Сколько это время, названное тобой великим, дало миру великих людей?

— Сколько великих людей? — Главврач растерялся. — Ну... не знаю... Это покажет опять же время. Но вот очевидный результат революции: в нашей стране нет теперь бедняков.

— Может, лучше сказать так: все одинаково бедны?

— Мы отклонились от главного в нашем разговоре.

— Нет, приблизились к главному. Из стремления подогнать всех под одну мерку здесь держат людей, которые думают не так, как все, может быть, стали бы великими. Вы превращаете их или в обыкновенных людей, или в сумасшедших. Ты понимаешь это, иначе не сидел бы сейчас здесь.

— Но я не могу считать свою работу ненужной, не приносящей пользу государству.

— Кто твои родители? Я думаю, они были совестливыми людьми.

— Отец был сельским врачом, мать — учительницей.

— Они оставили тебе в наследство совесть. Ты старался примирить ее с тем, чем занимаешься, и в конце концов это обернулось болезнью.

— Что же мне делать? Жена... Я ее очень люблю, и две девочки у нас. — Роберт Эдуардович закрыл лицо ладонями. — Извини... Я согласен бросить эту работу, если найду возможность уйти отсюда. Не хочется умирать, апай!

— Нужные тебе травы не растут здесь.

— А где растут?

— На сколько дней можешь отпустить меня?

— Дней на десять. — В глазах главврача засветилась надежда. — Есть еще у тебя просьбы?

— Когда соберешься уйти, не оставишь меня здесь.

— Отсюда живыми не выпускают.

— Значит, вывезешь под видом мертвой.

— Как же ты будешь жить... без документов, без права на жизнь?

— Это мое дело. Неприятностей тебе не доставлю, но, может быть, понадоблюсь еще. Лучше будет оставить дверь ко мне приоткрытой.

— В моем положении выбора нет. Завтра мой шофер отвезет тебя, куда скажешь, а через десять дней привезет обратно.

– Договорились.
– До свидания! Счастливого пути!
– Дай Аллах встретиться нам живыми-здоровыми!

* * *

Саяф вышел из школы в расстройстве. У него на работе проблем по горло: приближается сев, семян нет, посевная техника не выставлена на линию готовности... А тут еще Саяр... Твердый ударник превратился в двоечника. Какую страницу классного журнала ни открой, против его фамилии – одни двойки.

– Что будем делать? – Директор школы глянул на Саяфа поверх очков. – Останется ведь парнишка на второй год.

– Не знаю... – Саяф поник. На Саяра он возлагал большие надежды. И мать его очень любила. Может быть, сильней, чем остальных детей. Перемену в сыне не объяснишь тем, что в дом пришла мачеха, – его учеба ухудшилась раньше.

Пойти из школы сразу домой Саяф побоялся: может сгоряча покалечить мальчишку. Побывал в поле, развеялся, немного успокоился, лишь после этого пришел домой. Похлебал поставленный перед ним женой суп, не чувствуя вкуса. Зашел в комнату сыновей, достал из портфеля Саяра школьный дневник, оказалось, тот не заполнялся с середины января. Полистал тетради – в них были только записи, сделанные на уроках, домашние задания не выполнялись. В середине тетради по русскому языку обнаружил нечто совсем уж неожиданное. На листке красиво, с завитушками было выведено: «Письмо любимой». На обороте листка – само письмо.

«Дорогая Кюнхылу! Я очень по тебе скучаю. Выхожу ночью во двор и из горящих в небе звезд составляю твое имя. А днем сплетаю его из лучей солнца. В шуме весеннего половодья мне слышался твой голос, в проклюнувшихся из земли цветах мне чудился твой взгляд. Когда текли ручьи, я пускал кораблики, написав на них «Кюнхылу». Может быть, они доплывут до тебя? Должно быть, за то, что я обижал, дразнил тебя, Бог лишил меня возможности видеться с тобой. В книгах пишут: «Любовь – это радость, любовь – это счастье». А мне все время хочется плакать. Я тебе

написал уже много писем, Кунакес. Напишу и рву. Если письмо угодит в чужие руки, начнут дразнить, насмехаться. А я не хочу, чтобы твое имя произносили дурные люди. Ты – Кюнхылу, по-русски это значит «Солнечная красавица». Только солнечные дни немного утешают меня – они похожи на тебя. С приветом любящий тебя больше жизни Саяр».

Саяф вышел из комнаты, понурив голову. Рука, в которой держал тетрадь, дрожала. Вот оно, возмездие! Сколько он, измученный страстью к Мадине и подстрекаемый Галимой, натворил идиотских дел! Это письмо Саяра – приговор, вынесенный Саяфу судьбой. За свои преступления он заплатит несчастной любовью, крушением надежд сына...

* * *

Лидия Николаевна услышала жалобное поскуливание собаки. Почему-то ее Рекс скулил, как щенок. Он умолк, и Лидия Николаевна вновь устремилась за леса и горы, в безвестную даль. Неожиданно перед ней возникли молодая женщина в накинутой на плечи шали и мужчина в гимнастерке. Рядом с ними – Аюп, ее брат. Он еще совсем маленький, в рубашонке и коротких штанишках. Бэй, это же ее отец с матерью! Мать протянула руки: «Хатира, доченька!» Лидии Николаевне стало легко-легко. Она сделает еще пару шагов и окажется в объятии мамы. Но собака... она опять скулит, не дает покоя. Надо, наверно, вывести ее на прогулку. Сейчас-сейчас, Рекс!

Лидия Николаевна открыла глаза. Возле нее стояла синеглазая девушка, по лицу которой стекали капельки пота.

– Ты кто?

– Флорида.

– Флорида? А где Рекс?

– В прихожей.

– Почему он скулил?

– Звал вас. Вы потеряли сознание.

– Лидия-инэй!

Увидев знакомое лицо, Лидия Николаевна окончательно очнулась.

– Абубакир, ты почему, сынок, такой расстроенный? Все хорошо... А где Кюнхылу?

– Здесь. – Девочка прикоснулась горячей ладошкой к ее лбу. – Я все время стояла здесь, никуда не уходила.

– А щенок... Мне показалось, у нас скулил щенок.

– Это Флорида. Она скулила, как щенок, долго-долго. Звала вас. Вот бы мне научиться так лечить, когда теряют сознание!

– Вы полежите спокойно, – сказала девушка. – Абубакир, принеси, пожалуйста, горячего чая. Сейчас все пройдет...

– Я тебя, Флорида, узнала сразу, как только увидела.

– А я вас... не знаю. Очень удивилась, когда увидела на стене фотокарточку, подумала, что это – я. Но девушка на карточке – в военной форме... – Флорида приняла принесенный Абубакиром стакан с чаем, подержала, грея пальцы. – Вы были на войне?

– Да, в твоем возрасте была на фронте... – По щекам Башкирцевой на подушку покатились слезы. – А тебя я видела малышкой. Вы жили в Таулах. Я знала твою маму. Твой папа... он мой брат. Аюп Газизович Камалетдинов.

– Камалетдинов – отец Флориды?! – Абубакир в изумлении посмотрел на девушку. – Выходит, ты башкирка, Флорида?

Флорида улыбнулась, отрицательно мотнула головой.

– Нет, я русская. Папа русский, а мама... Мы никогда не говорили о ее национальности. Возможно, она татарка. Родилась и выросла в Сибири. И сейчас там живет. Папа умер. Нас, детей, трое.

– Я не могла ошибиться! Мы же с тобой, Флорида, похожи, как две капли воды! Мама разве не рассказывала вам о своей жизни в Таулах... в Башкирии?

– Да, некоторое время мы там жили. Но мой папа был русский. Павел Игнатьев.

Окончательно пришедшая в себя Лидия Николаевна приподняла голову с подушки, взяла руку Флориды в свою ладонь.

– Спасибо, милая! Ты вернула меня с того света. Где ты этому научилась?

– У себя, в Сибири. Там до сих пор есть шаманы. Мы жили в лесу, я выросла среди них.

– Маму твою зовут Маликой, верно?

– Машей. Но в деревне ее и вправду называли Маликой.

— Вот так, дети! Мир тесен, — сказала Лидия Николаевна, обращаясь к Абубакиру с Кюнхылу. — Сегодня нашлась моя родная племянница и я родилась второй раз. Абубакир, сходи за шампанским! За столом разберемся что к чему!

— Вам пока нельзя вставать, — предупредила Флорида. — Будет и стол, и шампанское, но давайте немного потерпим.

* * *

Мадина в последнее время основательно изучала литературу о пчелах. И чем больше читала, тем ясней становилось, что очень мало знала она об этих насекомых. «Неутомимость пчел, их самоорганизованность восхищает ученых, — читала Мадина. — У пчел нет выходных. За одну минуту пчела успевает побывать на десяти цветках и с восхода до захода солнца высасывает нектар из четырех тысяч цветков. О полезных свойствах меда пишут часто. А вот о том, что в египетских пирамидах был найден мед, и за три тысячи лет он не испортился, не утратил ни вкуса, ни цвета...»

Хлопнула калитка. Мадина глянула в окно. Оказалось, почтальонша. По тому, что она идет с улыбкой на лице, поняла: принесла письма от кого-то из детей. Встретила ее у порога.

— Хоенсе*, Мадина-апай!

— За хоенсе — самовар чая!

— Чай подождет, мне еще целую сумку почты надо разнести. — Почтальонша протянула два письма. — Часто вам пишут, апай.

— Так ведь от четверых детей письма получаю. Если по письму в неделю напишут, уже четыре письма. Спасибо, сестренка!

Сначала Мадина прочитала письмо издалека, из Ленинграда.

«Любимая моя мама! Я живу хорошо. Учусь успешно. Правда, некоторые уроки даются трудновато, но учительница советует мне не унывать. Ой, сколько событий произошло здесь, мамочка! Абубакир, наверно, женится. Они с Флоридой готовятся к экзаменам вместе. Закрываются в комнате брата и зубрят. Ай, надо же было сначала напи-

---

*Хоенсе — произносится, когда сообщается о радостном известии, за которое обычно полагается вознаграждение.

сать, кто такая Флорида! Это та художница, студентка, которую брат потерял и чуть не сошел из-за этого с ума. А я ее нашла. Долго, конечно, пришлось искать. Лидия-инэй, увидев Флориду, потеряла сознание. Сама Флорида ее и вылечила. Мама, эта девушка оказалась дочкой того человека, который работал в Таулах секретарем райкома и нарисовал твой портрет. Ее маму зовут Маликой. Флорида очень похожа на Лидию-инэй. Поэтому Лидия-инэй, как только ее увидела, сразу потеряла сознание.

Мама, не присылай мне деньги! Я начала в выходные дни продавать цветы. И еще я выполняю поручения одной бабушки, прикованной к коляске, делаю уборку в ее квартире, и она каждый день платит мне деньги. Мне не хочется создавать тебе трудности. Я поняла: могу хорошо учиться только при условии, если у меня много работы и нет времени на разные пустяки.

Я очень соскучилась по тебе, по дедушке и Савраске. Приехала бы на каникулы, но кто тогда будет заботиться о бабушке Марии? И Рекса надо каждый день выводить на прогулку. Лидия-инэй не успевает, она ведь профессор. Брат тоже все время занят. А я еще и много цветов посадила: цикламены, азалии, розы... Я, мамочка, очень счастлива оттого, что учусь здесь! Мама, если увидишь Саяра, с которым мы подрались, передай ему привет, я нисколько на него не сержусь. С приветом твоя дочь Кюнхылу».

На глаза Мадины навернулись слезы. Флорида, дочь Аюпа Газизовича и Малики... Какие неожиданности преподносит жизнь! Вот и попробуй после этого сказать, что судьбы нет. Все-таки верно говорят, что судьба человека рождается прежде, чем он сам, подумала Мадина. Затем перед ее мысленным взором предстала продающая цветы Кюнхылу. Изящная девочка с чуточку раскосыми черными глазами, губами, напоминающими спелые вишни, гибкими, как молодой тальник, руками... Из таких рук не то что цветы – крапиву купишь! Не хочет доставлять ей, Мадине, трудности. Не понимаете еще, родненькие, что само ваше существование наделяет маму силой и энергией, придает смысл ее жизни!

Улыбнувшись сквозь слезы, Мадина вскрыла письмо от Кукхылу.

«Мамочка моя милая! Я очень по тебе соскучилась! Если бы не любила музыку, не мечтала стать великой певицей, я бы и на день здесь не осталась, вернулась бы и всегда-всегда жила рядом с тобой. Учительница говорит: «Твой

талант принадлежит не тебе, а народу». Раз так, если я уеду домой, получится, что я его украла. Поэтому приходится учиться. Мы выступили с концертом в зале института искусств. Я спела «Зульхизу». Пела, представляя себя Зульхизой. Я ведь тоже люблю только свои Тиряклы. В Уфе живу вынужденно. Когда я заканчивала песню, тетеньки, сидевшие в первом ряду, вытирали слезы. Потом, когда ушла со сцены, и я поплакала. Быть талантливой, мамочка, с одной стороны, приятно, с другой, оказывается, очень трудно. На тебя все время смотрят, надо следить за каждым своим шагом, каждым словом. Я еще маленькая, а должна держаться по-взрослому. Я стараюсь походить на тебя. Но ты сама по себе хорошая. А мне надо стараться, чтобы быть хорошей, иногда я думаю: «Почему я не такая, как Кюнхылу?» Она ведь никогда не теряется, и что бы ни делала, все ей идет. Почему мы родились сразу вдвоем, раз ни характерами, ни внешностью друг на друга не похожи? Для меня многое в жизни еще не понятно, очень много у меня вопросов. Ох уж и наговорюсь с тобой, мамочка, во время каникул. С приветом твоя дочь Кукхылу».

Девочка осознала, что обладает талантом, почувствовала свою ответственность за него. Это безмерно обрадовало Мадину. Порадовал и успех дочки на концерте в институте искусств. Все начинается с маленьких побед. Кукхылу пока что подобна певучему ручейку, пробежавшему первые километры на пути к великому морю. «Пусть в предстоящем пути покровительствует тебе, моя маленькая, святой Хызыр Ильяс!» – пожелала Мадина.

* * *

Старик Сайфулла садился пить чай, когда пришел к ним Мирхайдаров.

– Айдук, кордаш! В самый раз пришел, не хулишь, значит, нас, – поприветствовал хозяин гостя и взглядом дал жене знак поставить на скатерть еще одну чашку. – Давно не виделись. Как перезимовал?

– Снегом заносило, но ничего... – Азат разразился дробным смешком. – Под снегом даже мышь выживает.

– Это так. Айда, присаживайся. – Сайфулла передвинулся на нарах, освободил место гостю. – Отведай с нами теплого хлеба и свежего масла. Корова наша, спасибо небесам, благополучно отелилась, свое масло едим.

Мирхайдаров присел на край нар, но пить-есть не стал.

– Вы пейте чай, а у меня пост, – сказал он, поглаживая бородку. – Сейчас ведь по мусульманскому календарю ураза.

– Постишься? – Сайфулла опустил на место поднятую чашку. – Может, и молишься?

– Молюсь. Готовиться к переселению в другой мир без этого все равно, что надеяться на пенсию, не имея трудовой книжки.

– Вот, значит, как...

Установилась тишина. Сайфулла молча прихлебывал чай. Азат предался своим мыслям. Ему, когда хоронили Шангарея, показалось, что красный партизан склонился к благочестию. Теперь засомневался в этом. Не зря ли пришел к нему за советом и помощью?

Опрокинув чашку в знак того, что напился чаю, Сайфулла пригласил гостя в горницу. Там по стенам были развешаны застекленные рамки с фотографиями хозяина, снятыми в молодости и полученными им почетными грамотами. На самом видном месте висели портреты Ленина и Сталина. Мирхайдаров помялся, не зная, как начать разговор.

– Кордаш, – сказал он, наконец решившись. – Я пришел к тебе за советом и поддержкой. Дело вот в чем: вознамерился я восстановить минарет мечети, который мы разрушили...

– Хы!

– Так ведь... В Коране сказано: если человек сотворит благо величиной хотя бы с пылинку, не останется это без вознаграждения, и если человек совершит грех с пылинку же, не уйдет он от наказания... И еще в Коране...

– В Коране! – махнул рукой Сайфулла. – Думаешь, я без Корана об этом не знаю? Ты, товарищ Мирхайдаров, умным человеком был. Неужто не понимаешь, что восстановлением минарета в одних Тиряклах мозги во всей России в другую сторону не повернешь, а? Ведешь себя вроде того чудака, который воевал с ветряными мельницами!

– Нет, это ты недопонимаешь! – Азат, разволновавшись, придвинул свой стул к Сайфулле. – Вот послушай, что еще в священной книге сказано: «Эй, люди, ежели

вы, нагрешив, навредили себе, не теряйте надежду на милосердие Всевышнего. Раскаявшихся он прощает»...

— Положим, я совершил много грехов. Раскулачивал, расстреливал, головы отрубал, а теперь раскаялся. Что же, отрубленные головы теперь к телам прирастут?

— Я тебе «а», а ты мне «б».

— Я к тому, что восстановление сваленного минарета подобно попытке присоединить отрубленную голову к телу. Или скажем так: изменишь ты вкус воды в море, вылив в нее ложку меда, превратится она из соленой в сладкую?

— Я, кордаш, хотел спасти тебя. Ладно, каждый за свои деянии на том свете отвечает сам. Прощай...

Не застегнув полушубок, Мирхайдаров с крутого крыльца Сайфуллы шагнул на землю, из которой проклевывалась гусиная травка.

* * *

Мадина испытывала большое удовольствие от своей новой работы. Родниковой чистоты детские голоса поднимали ее настроение.

Алиляу генаем, балиляу генаем...

В этой песенке слова не несут смысловую нагрузку, они лишь задают ритм задорной плясовой мелодии, помогают быстро запомнить ее. И дети охотно ходили по кругу, взявшись за руки, протопывая в лад с ритмом песенки.

Приобщение малышей к народным песням, начиная с самых незатейливых, даст когда-нибудь свои плоды, думала Мадина, глядя на своих подопечных. Со временем из глубины их сердец будут изливаться и «Урал», и «Тафтиляу», и «Азамат» — песни, полные любви к родной земле и ненависти к ее врагам, хранящие историческую память народа, отразившие его мировосприятие, обычаи и чаяния. Обвинив в приверженности к пережиткам прошлого, Мадину лишили возможности проводить занятия с хором. Но оказалось, что есть у нее и единомышленники. Заведующий роно хорошо понимал значение народных традиций в воспитании малышей. Вот четырех-

летний черноглазый мальчик вызвался спеть песню, которую запомнил, слушая радио.

Сыновей своих в атаки
Провожал седой Урал,
Впереди на аргамаке –
Шаймуратов-генерал…

Голос мальчика хрустальным звоном взвился через открытое окно в высокое весеннее небо. Мадина вспомнила свое детство, когда она, встав на пенек, пела будто со сцены, и ее слушателями были безмолвные деревья. Да, песни сопровождали ее, окрыляли и поддерживали с самого раннего детства. Говорят, певучие дети бывают потом несчастливые, но как без песен пригасишь вспыхнувший в душе огонь, как изольешь печаль?..

За окном на ветку сирени с готовыми раскрыться почками сел воробей. Глянув на вставших в хоровод детей, тут же улетел. Мадина, проследив за ним взглядом, заметила поднимающуюся на крышу клуба фигуру. Сказать, что кто-то лезет туда, чтобы водрузить флаг, так до майских праздников еще далековато. Обычно новый флаг там водружают перед большими торжествами. Этот символ крови, пролитой в борьбе за Советскую власть, долго потом развевается на ветру, мокнет и выцветает, становится почти белым. Перед годовщиной Октября его меняют на красный, но к майским праздникам он вновь теряет цвет. В прежние годы флаг с явным удовольствием менял легкотелый Мирхайдаров. В последнее десятилетие этим занимались другие. Однако сейчас, кажется, на крышу взбирается опять он. Да, он, Мирхайдаров. В его ли возрасте лазать по крышам?! Вот он добрался до самого верха, встал, выпрямился. До Мадины донесся его голос:

– Ямагат!

Это что еще за явление? Мадина высунулась в окно.

– Ямагат! В свое время я поспособствовал разрушению минарета этой мечети! То есть помог повернуть народ на дорогу, ведущую к безверию. Я глубоко сожалею об этом! И решил сейчас, в святой месяц рамазан, искупить свой грех, исправить ошибку... – Тут старик покачнулся. Стараясь восстановить равновесие, схватился за древко флага, но сухая, должно быть, подгнившая палка сло-

малась, и Мирхайдаров стремительно заскользил вниз по крутому скату железной крыши.

– Ах! Мирхайдаров-агай! – вскрикнула Мадина и, захлопнув створки окна, чтобы не высунулись в него дети, выбежала на улицу.

Пока добежала до клуба, там у неподвижного тела старика уже собралась небольшая толпа. Мужчины стояли, сняв головные уборы...

...Подходя поздним вечером к своему дому, Мадина удивилась: над трубой летней кухни клубился дым. Отец, что ли, затопил печку? Наверно, кипятит воду, чтобы облить кусты черной смородины, уничтожить вредителей. Он в апреле всегда делал это.

Но в летней кухне Мадина застала не отца.

– Папа... – начала было она, открыв дверь, и опять ахнула; – Олэсэй... это ты? Вернулась?!

Барсынбика, засияв, протянула к ней худые, узловатые руки.

– Не возвращаются только мертвые, а я еще жива!

В дом бабушка не пошла, сказала:

– Вздремну тут и чуть свет тронусь в путь.

– Куда?

– В сторону Куктау. Я должна найти корни кое-каких трав, надо поспешить, выкопать, пока они спят.

Барсынбика была задумчива, немногословна. За чаем коротко сообщила о своей договоренности с главврачом психбольницы. Узнав, что отпущена она пока ненадолго, Мадина огорчилась:

– Ах, олэсэй, и наговориться вдоволь не успеем, а у меня столько новостей накопилось, столько вопросов набралось!

– Человеку не дано выговорить все, что накопилось у него в душе, найти ответы на все свои вопросы, – вздохнула Барсынбика. – Придя в этот мир один раз, две жизни прожить мы не можем, а одной на все не хватает...

Мадина, выяснив, что отец к ее приходу с работы истопил баню, повела бабушку мыться. В жаркой бане старуха совсем обессилила, и Мадина, несмотря на возражения, принесла ее, легонькую, обратно на руках, как ребенка, уложила на нары.

– Ты сильно изменилась, олэсэй, и как похудела! – вновь огорчилась она.

— Не на курорте ведь, детка, я была, — усмехнулась Барсынбика и попросила заварить плоды шиповника. — Давно хотелось мне такого чая, он сил прибавляет. А утром ягодного попью.

— Не хочешь, олэсэй, зайти в дом, посмотреть рисунки и вышивки девочек?

— Детка, разве не видишь, в каком я состоянии?

— Прости... — Мадина, припав к ногам бабушки, заплакала. — Я подумала, что тебе станет легче, если посмотришь.

— Успокойся. Возьми себя в руки. Не трать силы зря, они тебе еще понадобятся.

— Должно быть, олэсэй, ты отрешилась от мирских мыслей и желаний. А я... — Мадина запнулась. — Может, и я отрешилась бы, но дети...

— Послушай, вспомнилась мне притча. Один человек, которого ночь застала в лесу, забрался со страху на дерево. В это время под тем же деревом остановилась хромая лиса. А следом появился хозяин леса — лев. Он притащил в зубах оленя. Разодрал лев свою жертву, наелся досыта и ушел. Тем, что от оленя осталось, насытилась и лиса. Сидевший на дереве человек подумал: «Бог пожалел покалеченного зверя, не оставил его голодным. А почему я должен трудиться денно и нощно, до изнеможения? Дал Всемогущий пищу лисе, даст и мне». И вот ждет он пищи от Бога, день ждет, другой, третий. Не дождавшись, ослабел, свалился с дерева и слышит голос: «Эй, глупец, зачем ставишь себя на место больной лисы? Будь как лев, чтобы излишки твоей добычи доставались другим!»

Смысл притчи Барсынбика не растолковала — заснула. Видно, сильно утомилась за день. А проснувшись, увидела рядом свою выстиранную и выглаженную одежду.

— Не то уж ты и не поспала? — удивленно спросила она у хлопотавшей у очага Мадины.

— Не спалось. Отец пошел помочь в похоронах Мирхайдарова. Я тебе одежду и еду приготовила. Долго пробудешь в лесу?

— Там видно будет.

После утреннего чая Мадина посадила бабушку в свою машину, помчала в сторону Куктау.

– Останови, я останусь здесь, – сказала Барсынбика четверть часа спустя.

– Когда приехать за тобой?

– Я сама вернусь... когда придет время.

Они расстались. Осталась Барсынбика одна.

Вокруг в затененных местах еще лежал недотаявший снег. Но уже пахло проклевывающейся из земли растительностью. Над головой – бескрайнее небо. В лесу – тишина, покой. Ах, как соскучилась Барсынбика по этим деревьям, по этим крутобоким горам со скальными выступами, по ручью, ведущему бесконечный разговор с замшелыми валунами! Если бы не дала обещание Роберту Эдуардовичу, никуда отсюда не ушла бы. Приготовила бы себе, как Муглифа, место упокоения и осталась навсегда. Но нельзя. Нельзя идти против совести: раз дала слово, должна сдержать его. Она поживет в пещере, в которой когда-то жили Ишмамат с Ихсанбаем. Узнав о ней со слов Ихсанбая, давно уж Барсынбика ее обнаружила, когда приходила сюда собирать травы. Вот и воспользуется ею, воспользуется выпавшим под конец жизни счастьем – возможностью не спеша посмаковать свободу, как смакуют терпкий кумыс...

Пройдя по знакомой поляне и перейдя через ручей, Барсынбика полезла вверх по склону горы. Как хорошо: дожив до такого возраста, она не чувствует тяжести своего тела! Бэй, лиственница, прикрывавшая корнями вход в пещеру, оказывается, засохла. Кора с нее осыпалась, ствол и толстые ветки белели, как кости скелета. Некрасиво это, неспроста человека после смерти предают земле. Но у деревьев – свои судьбы, ничего с этим не поделаешь...

...Вернулась Барсынбика в Тиряклы на девятый день, после того, как внучка отвезла ее к Куктау. Мадина опять помыла бабушку в бане, уложила спать, покормив и напоив травяным чаем.

– Олэсэй...

– Да?

– От Абубакира пришло письмо.

Барсынбика приподняла голову:

– Что пишет?

– Собрался жениться. Просит благословить.

– Что ж...

— Знаешь, кто его невеста? Флорида, дочь Камалетдинова.

— Флорида?.. — Провалившиеся в беззубый рот губы Барсынбики шевельнулись беззвучно. Немного полежав в молчании, она сказала: — Мадина, завтра рано утром за мной приедет машина. А сейчас мне надо подумать. Иди, детка, ложись спать...

Когда Мадина ушла, Барсынбика села в своей постели, обратила взгляд через окно летней кухни к темневшим вдали горам. Флорида! Сколько переживаний было связано с этим именем! Барсынбика помогла вылечить девочку и сама тогда, как бы уцепившись за нее, всплыла из прошлого, вернула себе свое настоящее имя. Она много думала о прожитых и предстоящих годах — времени у нее для этого там, где находилась после суда, было предостаточно. Но не ожидала, что судьба подкинет ее семье еще одно испытание...

Мадина, придя на заре в летнюю кухню с кипящим самоваром, застала бабушку сидящей в постели. Барсынбика этой ночью так и не заснула.

— Рано ты поднялась, детка, — заметила она.

— Я и бишбармак приготовила твой любимый.

— Спасибо.

Хотя и сказала Барсынбика «спасибо», есть не стала, лишь чаю выпила с парой ложечек меда.

— Почему не ешь? — огорчилась Мадина, старавшаяся угодить бабушке.

— Не расстраивайся. Прошло мое время есть бишбармак... Мадина, о том, что я побывала дома, никому не говори. Это только лишние разговоры вызовет... Что касается Флориды... Я помню ее красивым ребенком. Наверно, и сейчас она красивая. Но вот что ты должна знать: ее деда и бабушку, родителей Камалетдинова, убил твой дед Дингезхан...

— Что-о-о?!

— Да, кровная месть встала между нашими семьями...

— Но... столько лет прошло! Сменились поколения! Разве вы сами не развязали узелки, завязанные вашим временем?

Барсынбика вытянула перед собой руки, растопырив тонкие, узловатые пальцы.

— Немало узелков пришлось мне развязать этими

пальцами. Но не все, выходит, удалось развязать. Как бы не достались они еще и твоим внукам и правнукам...

– Тогда решай сама, как ответить Абубакиру. – Мадина присела перед бабушкой на корточки. – Пожалуйста, не оставляй это мне.

– Нет. Не та женщина мать, что родила, а та, что воспитала. Абубакир – твой сын. Ты его вырастила. Тебе и решать по праву матери. Я лечила Флориду, получила в вознаграждение от Камалетдинова, от Советской власти помилование. Я могу лишь пожелать счастья им обоим. Абубакира спасла от смерти Башкирцева. Свое слово должна сказать и она, сестра Камалетдинова.

– Ты... – Мадина удивленно уставилась на бабушку. – Ты знала об этом?

– Да.

С улицы, от ворот, донесся шум двигателя автомашины. Барсынбика встала.

– Это за мной. Не провожай меня, дочка, так будет легче.

– Олэсэй!

– Мне пора, детка.

Мадина ткнулась лицом в бабушкин подол.

– Дай мне еще чуточку ощутить твое тепло, твою защиту, олэсэй!

– Ну, ладно, ладно... Барсынбика поняла, что внучка подумала: «Может быть, последний раз», – но не произнесла это вслух. Так уж устроен человек: боится слова «последний». И в страхе этом изо дня в день приближается к последнему вздоху...

...Стараясь отогнать тягостные мысли, долго смотрела Мадина вслед машине, увозящей ее бабушку.

Эпилог

Почему я следовала за этими судьбами, что мне в них? Что мне в этой девочке с кристальным взглядом глубоких глаз, что мне в искалеченной судьбе ее матери? – ведь сколько их, этих искалеченных судеб, да и – положа руку на сердце, – вы знаете судьбы иные?

Дина Рубина,
«На солнечной стороне улицы»

Мадина вышла на балкон своего двухэтажного дома, из красного кирпича. В полнолуние ей не спится. Луна сияла так, что можно было разглядеть отдельные цветки на клумбе во дворе. В ночной тишине от расположенного невдалеке липняка доносился слабый гул. Зимой, перед бураном слышится гул со стороны Куктау, но этот был мягче и не вызывал тревоги.

Что за гул? Из любопытства, накинув на себя халат и стараясь не разбудить внучат, Мадина спустилась вниз, во двор, осторожно, чтобы не скрипнула, открыла узорчатую, казавшуюся при лунном свете волшебной, как в сказке, калитку и направилась туда, откуда доносился загадочный звук.

– Бог ты мой!

Возле источавших запах меда лип сновало бесчисленное множество маленьких тружениц из потомства диких башкирских пчел. Мадину это обрадовало до слез. Пчелы работали и ночью! Словно понимали, что надо воспользоваться коротким промежутком времени, пока цветут липы и дождь не вымыл из цветов сладкий нектар. Их деловитое жужжание и разлившийся в сухом летнем воздухе аромат добавляли прелести этой лунной, божественно прекрасной ночи.

Мадина долго стояла, завороженно следя за мельтешеньем сборщиц меда. Слух ее улавливал и другие, кроме жужжанья пчел, звуки. Вдалеке на шее отпущенной пастись лошади позвякивало ботало. На Акъелге всплескивала рыба. Обиженно ухал филин, будто жалуясь, что никак не может подстеречь добычу. Трещали сверчки, ничуть при этом не мешая глубокому ночному покою, а, напротив, подчеркивая его глубину и таинственность.

Все это навеяло на Мадину желание запеть, но почему-то первой вспомнилась ей грустная мелодия «Зульхизы».

Не олень ли бежит со степной стороны…

Подчинившись настрою этой песни, негромко напевая, Мадина пошагала по тропке, ведущей от липняка к берегу Акъелги...

* * *

Галиму, заснувшую пьяной, разбудили жажда и голоса, звучавшие за дощатой стенкой в зале. С трудом вспомнила, что там сидит Саяф с приезжим дельцом из русских, приведенным им для каких-то переговоров.

– Сколько голов? – Это голос дельца.

– Десять.

– Мало... Овчинка выделки не стоит.

– А сколько тебе надо?

– По меньшей мере... двадцать.

– Двадцать? Сложновато...

– Чего ломаешься, как девка? Первый раз, что ли? Сотни овец у тебя... ха-ха-ха... улетучились. И лошади...

– Их ведь... в доле с районными шишками сбыл.

– Мне это без разницы. Надо, так найду «крышу» в милиции.

– Мы и сами с усами!

– Вот это мужской разговор!

Вслушавшись в пьяные голоса, Галима сообразила, что Саяф торгуется из-за колхозных коров. Совсем обнаглел. Дойный гурт там и так давно шел на убыль. Если сбудет еще два десятка коров, что от знаменитой в свое время тиряклинской молочной фермы останется?!

– Саяф! – Галима насилу шевельнула пересохшими губами. Те, за стенкой, ее не услышали. Звякнуло стекло – видно, чокнулись там стаканами.

– Воды бы... запить, – сказал делец.

– Сходи на кухню... – Это Саяф. – Только смотри бабу не разбуди, хозяйку.

– Баба... А что, неплохая, между прочим... закуска. Надеюсь, не твоя собственная?

– Ничейная она, то есть общественная... как туалет.

– Ха-ха-ха! Хор... хорошо сказано... Как туалет. Ха-ха-ха!

Галима стиснула зубы. Тут дверь комнаты распахнулась и при свете, падавшем из коридора, в дверном проеме обозначилась дородная мужская фигура.

– Не подходи ко мне! – просипела Галима.

– Ой, никак тут живая душа? Живая... – Несмотря на предупреждение, мужчина, покачиваясь, подошел к кровати, на которой лежала Галима, положил чугунно-тяжелую руку на ее грудь, приблизил лицо к ее лицу. Пахнуло водкой и луком. – Спишь или... меня ждешь?

– Саяф!

– Тс-с... – Мужчина прикрыл ладонью ее рот.

Галима рывком отвернула лицо в сторону, крикнула – у нее прорезался голос:

– Саяф!

В дверном проеме появился Саяф.

– Эй, товарищ, не там воду ищешь!

– Не там? Ошибся, матушка, извини...

Оба ушли на кухню, и уже оттуда донеслось:

– Ошибся...

– Бывает. – Послышался шум воды, текущей из крана. – На, браток, пей!

Браток! Ярость придала Галиме сил, она поднялась и тоже пришла на кухню.

– Родню, оказывается, ты нашел!

– Тебя не спросил!

– Впредь будешь спрашивать! А сейчас... – Галима схватила за рукоятку стоявшую на столе сковородку. – Выметайтесь из моего дома!

– Ты чего?! – Делец, оторвавшись от кружки с водой, попятился к выходу. – Очумела баба!

– Оба! Живо! – Галима, страшная, с растрепанными волосами, босая, полуголая, замахнулась сковородкой. – Ну, кому сказано?!

– Галима! Что за выходки? – Хриплый голос Саяфа потонул в грохоте опрокинутого стула и звоне сметенных Галимой со стола пустых бутылок. Мужчины сочли за лучшее не связываться с ней, быстренько похватали в прихожей свои куртки, кепки и смылись.

Галима перешла из кухни в зал. Сколь быстро она разъярилась, столь же быстро остыла и обессилела. На столе в беспорядке лежали остатки недавнего пиршества: кусок колбасы с воткнутой в него вилкой, надкусанные ломти хлеба, огурцы, головки лука. Все это вызывало отв-

ращение, потянула Галиму к себе, как магнит, лишь бутылка с недопитой водкой. Она дрожащей рукой схватила бутылку. Перелить водку в стакан терпенья не хватило, сделала несколько крупных глотков прямо из горлышка. И минуту-другую спустя задышала свободней, в готовое, казалось, остановиться сердце вернулась энергия – оно снова забилось, перед глазами посветлело.

Возвращение Саяфа пришедшую в себя Галиму не испугало.

– Что, сорвалась сделка? – съязвила она.

– Сука!

– Осторожней, Саяф! Выбирай выражения. А то в Тиряклы... к жене... отправишься с лицом, черным, как моя сковородка!

– Это тебе надо быть осторожной! – Саяф плюхнулся на диван. – Чье пьешь? Чье ешь? Не оттуда же, – он воздел руки к потолку, – не с небес все падает. Или дедушка Аллах тебе ниспосылает?

– И водка, и пища – не твои.

– А чьи?

– Колхозные!

– Колхозные? Хи-хи! Как же, приготовили тебе там! Колхозники уже два года зарплату не могут получить...

– Потому что ты воруешь! Свое, что ли, распродаешь?

– Ворую? – Саяф, прилегший опираясь на локоть, сел. – Пардон, мадам! Ты что-то путаешь...

– Я... – Галима села на пол, оперлась спиной о стену. – Я, Саяф, ваш разговор слышала. Теперь ты – мой заложник. Понял?

– Вон как... – Саяф опять прилег на бок.

– Грабить колхоз я тебе не позволю!

– Ха-ха-ха! Что было, то уже сплыло, мадам.

– Как тебе не стыдно?! Разорить колхоз...

– Стыдно? – Саяф поднялся, налил себе в стакан водки. – Кого стыдиться-то? Тебя? Хочешь знать, так колхоз был создан за счет разорения народа, за счет отобранного у него скота и имущества. На том и держался. Откуда, как говорится, пришло, туда и ушло.

– Неправда! – Галима попыталась тоже встать, но не смогла. Должно быть, выпитая в похмелье водка сильно ударила в голову и ноги ослабли. Тем не менее она продолжила спор с Саяфом, глядя на него через растрепанные, упавшие на лицо волосы. – Мы приумножили то, что

колхоз имел первоначально. Государство поддерживало нас, оплачивало наш труд, растило героев. Миллионы обездоленных, благодаря колхозам, стали людьми, избавились от нищеты. Хаять колхозы – значит возводить поклеп на страну, на правительство. Плевать на совесть...

– Где оно, твое правительство? – Саяф вылил содержимое стакана в рот и, морщась, понюхал огурец. – А, мадам?

– Как где? В Москве...

– Дура! – Саяф, зажав в зубах папиросу, попытался непослушными пальцами зажечь спичку. – Девятнадцатая Всесоюзная партконференция... зараза... что за спички пошли... фактически вынесла смертный приговор тому, что называлось КПСС, СССР, Советское правительство. Все разваливается, а ты до сих пор талдычишь о том, что вбила в твою тряпичную голову партшкола...

– Ты – враг! В-враг народа! Я тебя... разоблачу! Партия будет жить вечно! В СССР будет построен к-коммунизм! Понял?!

– Мы его... – Наконец-то спичка загорелась, Саяф прикурил и, выпустив изо рта колечки дыма, завершил свое высказывание: – ...уже почти построили... хи-хи-хи... в твоей постели.

Галима вцепилась в штанину собравшегося уйти Саяфа:

– К-куда? П-постой...

– Демократия – смерть империи. Грош цена твоей работе идеолога!.. – кинул напоследок Саяф и, вырвав штанину из ее руки, ушел. Галима в бессильной злости нацелила в его спину кулак.

* * *

Почему-то полнолуние всегда вызывало у Самиры Мингажевой подавленное настроение. Как только ночное светило округлялось, она теряла покой. Беспокойство перерастало в необъяснимую тоску. В такие вот дни она несколько раз съездила в Таулы, омочила слезами холодный металл, ограждающий могилку сына. К матери не заходила, не возвращалась к порогу, который переступила однажды под покровом ночи, чтобы броситься в объятья неведомой судьбы. Люди обычно со временем прощают близких, нанесших им душевные раны. Самира же не

смогла простить свою мать. Она не винила Галиму в смерти сына, но мать была виновна в ее безрадостном, бестолковом детстве, когда Самира чувствовала себя никому не нужной. Конечно, мать заслуживала прощения хотя бы потому, что дала дочери жизнь, однако возвращение к ней было бы равносильно возвращению в прошлое, а Самира этого не хотела...

Через открытое окно ординаторской Самира прислушалась к дыханию ночного города. Трамваи уже перестали ходить. Лишь изредка проезжали автомашины. Если не принимать это во внимание, можно было бы сказать, что в городе царит тишина. Похоже, нынешнее дежурство пройдет спокойно. Во всяком случае, ей, врачу, особых хлопот не даставит. Тем более, что дежурит с ней Асия, опытная медсестра. Двенадцать лет уже работают они вместе, понимают друг дружку с полуслова. Бывает Самира и в семье Асии, общение с детьми медсестры привносит в ее одиночество толику радости. Хорошие дети, умницы, в особенности старший из них, двадцатилетний Байрас. Если бы сын Самиры не умер сразу после рождения, был бы теперь в таком же возрасте...

— Самира Идеаловна...

— А, Асия-апай... — Самира обернулась к вошедшей в ординаторскую медсестре. — Как больные?

— В двенадцатой палате сделала инъекцию. Пока все спокойно, нет причин тревожиться. Вы можете хоть немножко поспать. Днем ведь оперировали, устали, наверно.

— Ничего... — Самира взглянула на часы. — Час ночи... — И снова потянулась к открытому окну. — Липы цветут, Асия-апай. Так хорошо пахнет!

— Верно, нет ли, говорят, мед на липы нисходит с небес. — Медсестра тоже высунулась в окно, набрала полную грудь ароматного воздуха. — Люблю я эту пору, когда липы цветут...

— Откуда в них берется мед, я не знаю. Но вот прочитала в газете удивительное сообщение. В Турции у одного человека пчелы заполнили соты медом таким образом, что получилось слово Аллах.

— Случайность?

— Кто знает...

— А может, чудо? Много еще неразгаданных загадок в этом мире.

— В нашей работе, Асия-апай, каждый день происходят чудеса. Мало, что ли, мы видели людей, уже умиравших, а потом вернувшихся к деятельной жизни?

– Это так... Бэй!.. – Асия еще дальше высунулась в окно. – «Скорая». Вот тебе и спокойная ночь! Даже чай не успели попить...

– Может... – Самира тоже подалась вперед. – Нет, забегали. На носилках вносят...

Зазвонил внутренний телефон.

– Алло, доктор!

– Слушаю.

– Парня молодого привезли. Лет двадцати. В аварию попал. Много крови потерял...

– Сейчас спущусь.

В приемном покое Самира торопливо прочитала бланк, заполненный врачом «Скорой помощи», «Кыдрасов Батыр Загирович». Кыдрасов?! Сердце Самиры участило удары. Она перевела взгляд на окровавленного парня. Лицом – вылитый Загир Кыдрасов. Сын человека, который подарил Самире счастье материнства, вознесшее ее в небеса, и преступным небрежением низверг ее оттуда. Господи, останься сын Самиры в живых, вырос бы похожим на этого парня! Ведь и ребенок, выношенный ею под сердцем, был сыном Кыдрасова.

– Борец, мастер спорта, значок у него на груди... – Самира почувствовала осторожное прикосновение Асии. – В записной книжке нашли номер телефона родителей. Оказывается, сын этого... директора завода.

– Да-да...

– Сделали экспресс-анализ, группа крови – первая. У нас в запасе этой группы нет.

– Подготовьте его к операции. – Самира направилась к лестнице, ведущей на верхний этаж.

– А... кровь?

– У меня первая группа...

На несколько секунд Самира приостановилась. Мелькнула мысль: не лучше ли будет вызвать другого хирурга? Она разволновалась, сердцебиение участилось, если еще и свою кровь отдаст на переливание, может ослабеть, руки задрожат. Но нельзя терять время, каждая минута сейчас дорога, надо спасать парня! Она врач, у нее нет права на волнение и сомнения!

Чуточку успокоившись, Самира Идеаловна, твердо ступая, пошагала вверх по лестнице.

* * *

Не думала Мадина, что переселение в новый дом потребует так много времени и душевных сил. Прежнее переселение – из избы бабушки Шахарбану в построенный Абдельахатом и отцом дом – далось легко. Тогда и имущества у них было – раз-два и обчелся, и сама Мадина была, что называется, быстрей ветра, живей текучей воды. Но с тех пор столько всего у них накопилось! Некоторые вещи вроде бы давно уж надо было выбросить, но каждая из них окутана дымкой времени, связана с какими-нибудь переживаниями, обретениями и утратами, радостями и горестями. Вон оставшиеся от ее братишек-близняшек вещи: фуражка и сандалик. Мадина хранила их всю жизнь, как теперь взять и выбросить? Или деревянную лошадку, Савраску, привезенную дочкам отцом из Уфы?.. За что ни возьмись – оживает прошлое, за воспоминанием следует воспоминание. Даут смеялся: так, пожалуй, мы и за месяц не переберемся. Мадина понимала, что и Дауту, и невестке Нафисе не хочется брать старые вещи в новый дом. Но выбросить у нее рука не поднималась. Даже веретена и палку, к которой бабушка Барсынбика привязывала шерсть, когда пряла, сохранила.

Сам старый дом, его стены и священный порог пробуждают воспоминания о самых дорогих для Мадины людях. Сколько раз переступали через этот порог Абдельахат, бабушка Барсынбика, отец! Кюнхылу с Кукхылу впервые в жизни переступили именно этот порог. Отсюда Мадина проводила на воинскую службу Абубакира и Даута, здесь дождалась их возвращения. К этому порогу кинула набитую легким гусиным пухом подушку, встречая невестушек – Флориду и Нафису. Через этот порог вошли в дом мужья ее дочерей и, протянув ей руку, сказали: «Здравствуй, мама!» У этого порога она впервые взяла в руки трех сыновей Даута и его младшенькую, Тандысу. Здесь качала в люльке дочку Кюнхылу Альбину, дочку Кукхылу Динару, сына Абубакира Руслана, желая им долгой жизни и светлых путей. Такой вот богатой бабушкой она стала. И сколько глубоких чувств, сколько мелодий впиталось в эти стены! Сейчас, когда дом опустел, все пережитое в нем предстает заново, волнуя не меньше, чем прежде.

На стене, там, где висела картина Камалетдинова, остался отчетливый след – невыцветший четырехугольник. К слову, Флорида, когда впервые увидела картину, сказала: «Этому художнику что-то мешало, сдерживало рвущиеся из его сердца чувства. Какая жалость!» А узнав, что картину написал ее отец, поплакала и пришла к заключению: «Он обладал большим талантом!» Картину увидела и приехавшая в гости Малика. «Глаза точь-в-точь как у старухи-знахарки, которая помогла тебе, Флорида, заговорить!» – воскликнула она. Флорида ничего в ответ не сказала, лишь мягко обняла мать, и Мадина почувствовала, что некоторая напряженность в отношениях Флориды с матерью сошли на нет.

Теперь картина висит в новом кирпичном доме, в куполообразной надстройке над вторым этажом. Туда же перенесли созданное отцом Хашимом панно «Кунгыр бога». Хлопотным оказалось это дело. Но ничего, сильно не повредили. В более просторном светлом помещении панно словно уменьшилось. Руслан, сын Абубакира и Флориды, твердит: «Я его увеличу!» Может быть, со временем и добавит что-то. Очень энергичный, смышленный мальчик. И до чего же похож на Камалетдинова! Эх, не увидит его, не дожил до этих радостных дней Аюп Газизович! Спит в вечной обители уже второй десяток лет, Лидию Николаевну – Хатиру по ее завещанию похоронили рядом со старшим братом. Протосковав всю жизнь, как Сак и Сук, нашли они друг друга лишь после смерти...

Да, множество воспоминаний вызывает старый дом. На его фундаменте выросло благосостояние семьи. Плодовитое потомство Буренушки обеспечивало отличным молоком. Не ходила Мадина к соседям с миской, чтобы одолжить какие-нибудь продукты. Очень хороший доход приносили пчелы, он и позволил приступить к строительству нового дома. Отец сказал тогда: «Может быть, дети, я не доживу до новоселья. Поэтому заблаговременно выслушайте мой наказ: отдайте этот дом старикам, оставшимся без попечения». Выполнила Мадина наказ – передала дом со всеми дворовыми строениями, садом и огородом в ведение сельсовета. В малой избе, в которой когда-то жили бабушка Барсынбика с дедом, поселился состарившийся Хусаин. Увешал стены избы рисунками с изображением Саврасого. День-деньской толкутся у него ребятишки, слушают были и небылицы о лошадях, учатся

рисовать. Скоро и покинутый дом заполнят обитатели – решено устроить в нем приют для одиноких стариков.

Бабушка художественной литературой не интересовалась, но знала стихи Акмуллы, передававшиеся из уст в уста, живущие в народной памяти так же, как предания, сказки, пословицы и поговорки. От нее Мадина впервые услышала строки:

Добавлю, пусть за мной не остается:
Кто раздает, тому и воздается.
Вода в колодце тем свежей и чище,
Чем больше из него людей напьется.

Вспомнив бабушку, Мадина глянула на матицу, в щель которой сунула последнее письмо Барсынбики. В доме не было стула или табуретки, чтобы дотянуться до письма, поэтому Мадине пришлось достать его из щели палочкой. Развернула уже пожелтевший листок, принялась читать текст, написанный арабской вязью, – благо, бабушка в свое время научила Мадину этому.

«Мадина! – писала Барсынбика. – *Пришел час моего вызволения из зиндана. Иди, сказали мне, на все четыре стороны. Но сделать это одновременно невозможно. Человек выбирает одно из двух. И мне пришлось выбирать одну из двух дорог: в Тиряклы или в Мекку. Я выбрала вторую. Во-первых, мне не хочется, чтобы в Тиряклах, вы, сгрудившись около меня, превратились в моих прислужников. Использование людей в своих личных интересах – грех. Если даже они любят тебя, испытывать их терпение, отнимать у них время и силы нехорошо. Во-вторых, я всю жизнь мечтала совершить хадж, попросить у Всевышнего помилования и защиты. Может быть, на пути в святые места я встречу сородичей, превращенных волею Всемогущего в камни. Мое прикосновение превратит их снова в людей, и откроются нам еще не раскрытые тайны бытия. Это мне во сне внушила бабушка Кукхылу. Но я долго была лишена солнечного света, мое здоровье подорвано. Намерения у меня благие, а дойду до цели, нет ли – неизвестно.*

Мадина! Вот еще что я должна сказать: пока ты жива-здорова и в силах, выбери место неподалеку от могилы Абдельахата, у родников, и построй новый дом – кирпичный, с куполообразной крышей. В раствор для скрепления кирпичей разбей, не жалея, куриные яйца, чтобы дом простоял долго, мог послужить и твоим внукам, и правнукам. У каж-

дой семьи должно быть место, дающее возможность отдохнуть утомленной душе, набраться сил. Я думаю, таким местом, Меккой нашей семьи станет построенный тобой дом. Ты родилась в Тиряклах, в Тиряклах родилась твоя любовь. Благословенна земля, способная породить любовь. Прежде чем начнешь строить дом, посади вокруг, у родников и ручьев, деревья – липы, березы, рябины, дубы. Их устремленность к свету придаст ясность твоим мыслям, крепость телу. Тебе предстоит сделать много доброго для людей, ты проживешь долго. И до самой смерти сохранишь ясный ум и силу. Если я не смогу вернуться из этого путешествия, считай, что твоя бабушка ушла в другой мир. Барсынбика».

Мадина исполнила завет бабушки. Построила новый дом, а до этого, уже много лет назад, посадила названные ею деревья. Но остается пока неосуществленной ее мечта, зародившаяся в детстве, когда глоток молока и кусочек хлеба казались пределом мечтаний. Она представляла себя сидящей на вороном скакуне хозяйкой многочисленных пасущихся на горных склонах табунов. К этой мечте потом добавилось желание увидеть разлившиеся морем посевы ржи и пшеницы выведенных Абдельахатом сортов. Это желание побудило ее размножить спасенные Раузой горсточки семян, накопить большой их запас. Слава Аллаху, Даут пошел дорогой отца. Несмотря на то, что времена круто изменились и жизнь усложнилась, он вернулся в Тиряклы и, засучив рукава, принялся за работу. Сама же Мадина занялась расширением пасеки. Доход от этого дела позволил жить обеспеченно, детям – получить образование, свить свои гнезда...

Еще раз оглядев голые стены и опустевшие подоконники – прежде на них было много цветов, – Мадина с последним узелком в руке вышла во двор. «Прощай, мой дом! Ты согревал мое тело и душу, я не забуду тебя! Дай Бог радостную жизнь тем, кого ты приютишь!»

* * *

У операционного стола Самира Идеаловна действовала уверенно и четко, но стоявшая напротив медсестра чувствовала, что она не просто сосредоточена, а замкнута более, чем обычно.

– Скальпель! Тампон!.. Ножницы!.. – Никаких других слов за время операции, длившейся свыше двух часов, она не произнесла.

Самира не разговаривала, однако, за это время в мыслях вторым планом, урывками промелькнула вся ее жизнь с тех пер, как помнит себя, до сегодняшнего дня.

Вот она сидит дома одна. За окнами смеркается, а матери все нет и нет. Вдруг под нарами что-то громыхнуло, и оттуда появилась кошка с мышью в зубах. Когда кошка уходила во двор, эта мышь скрашивала одиночество Самиры: забиралась на сундук и забавно потирала лапкой мордочку. А сейчас... Самире стало жаль ее. Она спрыгнула на пол, схватила у печи совок, ударила им кошку по голове. Кошка взвизгнула, покружилась на месте, затем уползла в угол и затихла. У выпавшей из ее зубов мыши было разодрано брюшко. Мышь не двигалась, но возле ее ребрышек что-то безостановочно дергалось, билось. «Сердце», — догадалась Самира. Что заставляет его биться? Ее раздумья прервал писк, донесшийся из-под нар. Самира полезла туда. Писк исходил из валенка, который она носила, когда была совсем еще маленькой. Взяла валенок, тряхнула. Из него выпали и побежали в разные стороны крохотные, величиной с наперсток, существа. Мышата! Так вот, оказывается, в чем дело: хоть мышь, их мама, и померла, материнское сердце все еще бьется из жалости к этим крошкам! У Самиры тоже есть мама. Но она, наверно, забыла, что дочка сидит голодная в холодной избе. Захотелось поскорей увидеть ее, прижаться к мягкой маминой груди. Самира выскочила, не одеваясь, на улицу и побежала по осенней, прихваченной морозцем дороге на ферму.

Сначала она попала в помещение, где живут телята. Под них была постелена солома, перед ними лежало душистое сено. В теплом воздухе пахло молоком. От этого Самире захотелось есть еще сильней. Она позавидовала теляткам, о них заботятся, их кормят... Немного согревшись, она пошла искать маму в другое помещение и очутилась в коровнике. Было время вечерней дойки, в подойниках под тугими струйками журчало, бурлило уже выдоенное молоко. Тетеньки-доярки то ласково уговаривали, то поругивали коров, чтобы стояли смирно. Среди доярок Самира увидела и маму. Успокоилась, решила подождать, пока она закончит работу. Присела возле лежавшей, пережевывая жвачку, должно быть, уже подоенной коровы, прижалась спиной к ее теплому боку и... уснула.

Когда проснулась оттого, что корова встала по своей

нужде, в помещении было тихо. Слышалось лишь дыхание спящих коров. Ночь. Никого нет. Самира, испугавшись, решила было выбежать во двор, но не смогла открыть дверь – то ли заперли ее снаружи, то ли сил не хватило. В отчаянии упала, где стояла, и заплакала. Долго плакала. Озябнув, поднялась и зарылась в углу в ворох сена. Так и провела ночь. Утром пришедшая на дойку мать, увидев ее, удивилась:

– Ты что тут делаешь? Подожди, вместе домой пойдем. – В голосе ни жалости, ни озабоченности тем, что на всю ночь потеряла дочку. Прозвучала лишь угроза: – Совсем от рук отбилась! Вот задам я тебе за убитую кошку!..

...Вспомнилась еще бабушка, мать матери. Тихая, смирная старуха. Она, кажется, жалела внучку, но надолго около себя не задерживала, боялась гнева дочери, в особенности, когда Самира подросла и ей можно было уже поручать какую-нибудь работу по дому, по хозяйству.

– Иди, иди домой, а то мать будет ругать, – говорила бабушка. – У людей ребенок смягчает сердце, а у нее...

Как-то Самира спросила у бабушки:

– Олэсэй, где оно, счастье, где с ним можно повстречаться?

– Счастье людям встречается редко, – ответила старуха. – Есть, говорят, среди змей одна белая, их царица. Увидев ее, надо снять с головы платок и расстелить перед ней. Если сбросит она на платок свои рожки, придет к человеку счастье. Платок должен быть белый.

– А если не белый?

– Тогда не сбросит. Нужен белый.

С тех пор Самира стала носить на голове белый платок, мечтая встретить царицу змей. Может быть, поэтому она, повзрослев, выбрала профессию врача. Неспроста ведь змея изображена на символах медиков.

Тогда же, в детстве, возникло у нее желание поскорей стать матерью. «Я буду доброй, буду любить своего ребенка», думала она. Иными словами, мечтала стать матерью, не похожей на свою.

Самира не помнит, чтобы для нее в детстве устроили какой-нибудь праздник. Единственной отрадой для нее, никому не нужной, было уйти на берег Акъелги, погулять у реки. Иногда она находила там раненого птенца или

встречала захромавшего ягненка и лечила их. Ее друзьями становились существа, нуждавшиеся в помощи.

Однажды мать вспомнила:

– Атак! Сегодня ведь день твоего рождения! Эх, судьба-злодейка!

Больше ничего не сказала и не предприняла. Самира задумалась. Другие девочки празднуют день своего рождения, надевают новую одежду, вплетают в волосы красивые ленты. А у нее нового платья нет. Но ведь и старое может выглядеть красиво, если его постирать и отутюжить. Так Самира и сделала. Постирала свое белое с цветочками ситцевое платье, разогрела утюг, выгладила. Только вот заплести волосы она не могла: мать недавно побрила ей голову, чтобы не завшивела и лишних хлопот не доставляла. Волосы немножко отросли, закурчавились, однако в косички их не заплетешь. Самира нашла выход: повязала на голову белый платок и пошла к Акъелге, села там под любимый осокорь. Хорошо сидеть под ним, глядя на заречные луга, на далекий Куктау! Если бы не боялась, что мать потом опять будет орать («Чтоб ты сдохла!»), просидела бы весь день, мечтая о встрече с белой змеей.

– Доченька...

Самира вздрогнула, увидев перед собой незнакомую старуху. Старуха присела на корточки и достала из кармана камзола горсть конфет в красивых обертках:

– На-ка, детка, покушай... – Затем, ласково похлопав ее по спине, добавила: – И вот еще тебе подарок... – Старуха сняла со своих ушей сережки с бирюзовыми глазками, вернее, клипсы, – Самира тогда еще не знала, как они называются, – и пристегнула к ее мочкам.

– Ай!

– Больно, что ли? Потерпи чуточку... Они тебе идут...

– Ты кто, инэй? – спросила Самира. – Может, Белая змея?

– Ты, оказывается, слышала о ней, – улыбнулась старуха. – Если тебя спросят, где взяла сережки, скажешь: подарила Белая змея...

Уже потом Самира узнала, что старуха живет в другом конце аула и зовут ее Фаузия. После встречи с ней она почувствовала себя счастливой. Счастливые люди не причиняют зла другим, думала она и старалась совершать

только добрые поступки, ждала того же от окружающих. В школе училась хорошо, а старуху вновь увидела случайно при странных обстоятельствах: ее сажали в милицейскую машину. Пронзительно-черные глаза старухи на миг расширились. По ним и узнала ее Самира. Но зачем тут милицейская машина? Куда увозят добрую старую женщину? Для Самиры это осталось загадкой. Перед тем, как захлопнулась дверца машины, она крикнула:

– До свиданья, Белая змея!

Старуха помахала рукой над погоном милиционера...

...Самира заметила озабоченность на лице медсестры, то и дело осушавшей тампоном пот на ее лбу. Почему потеет, неужели настолько устала? Видимо, дают знать о себе четыре часа, проведенные у операционного стола вчера днем и бессонная ночь. Да еще пришлось отдать для переливания свою кровь. Потеря для нее в общем-то небольшая, а все же... Самира взглянула на капельницу. Кровь в ней заканчивалась. Наверно, медсестру это и озаботило. Но и операция подходила к концу, Самира, накладывала последние швы. У парня организм крепкий, выздоровеет. Долго еще будет жить. Будет любим и кому-то принесет счастье своей любовью. Надо думать, Кыдрасов души в нем не чает. Интересно, как это Камилла Харисовна в ее возрасте сумела подарить ему сына? И Самира ведь хотела осчастливить его. Но он отверг ее подарок. Может, поэтому умер выношенный ею ребенок?

Лишь завершив операцию, Самира почувствовала, насколько устала. С трудом стянула с рук резиновые перчатки – пальцы не слушались. Еле доплелась до ординаторской и рухнула в кресло. Спустя какое-то время до нее донесся глухой, словно из погреба, голос медсестры:

– У оперированного снижается показатель гемоглобина. Нужна еще кровь.

– Сейчас... Чуточку отдохну и что-нибудь сообразим...

– Выпейте горячего чаю!

– Сейчас, сейчас...

У Самиры мысли заметались. Неужели парень не пойдет на поправку? Она же так старалась, вкладывала душу в каждое свое движение, в каждый шов!

Из-за двери послышалось:

– Сюда нельзя! Доктор отдыхает.

– Мне надо!.. Пустите же!..

Голос Кыдрасова. Нет в нем прежней силы, уверенности, но Самира отличила бы его и среди тысячи голосов.

– Пусть войдет!

Вид у стремительно вошедшего в комнату Кыдрасова был ужасный: под глазами – темные тени, волосы всклокочены, лицо изнуренное, будто он не спал несколько суток.

– Самира...

– ...Идеаловна. – Самира нашла в себе силы улыбнуться. – Мне ведь уже не шестнадцать лет.

– Простите! – Кыдрасов вдруг встал перед ней на колени. – Прости, Самира...

– Я сделала все, что в моих силах. Но... Ваш сын потерял много крови. Мы пробовали заказать донорскую, но сейчас ночь... Нужна еще кровь. У него редкая группа...

– У меня третья.

– А у матери?

– Не знаю.

– Камилла Харисовна здесь?

– Здесь. – Кыдрасов опять же неожиданно поднялся, подошел к открытому окну, закурил, не попросив разрешения. – Здесь, но она... не мать Батыра.

– Не мать? – Самира тоже встала. – А кто его мать?

Кыдрасов повернул к ней ставшее пепельно-серым лицо.

– Ты.

– Я?!

– Ты, Самира. Мальчик не умер. Твоя мать, подкупив медперсонал, сдала его в Дом ребенка. А я... мы... усыновили его.

– Вы... украли... моего ребенка?! – Схватившись за голову, Самира опять рухнула в кресло. Все поплыло перед ее глазами.

– Самира! Самира!

Вот она опять видит Кыдрасова. Он целует ее руки.

– Только ты можешь спасти его! Я его люблю больше жизни! Он мой сын! Мой! И твой, Самира!

Успевшая взять себя в руки Самира встала, надела халат, и сказала, торопливо застегивая пуговицы:

– Батыр... должен жить!

* * *

Если бы вчера кто-нибудь сказал, что Кыдрасов сам раскроет тайну, связанную с рождением его сына, он, хоть убей, в это не поверил бы. Правду он скрывал даже от Камиллы. То, что ребенок, подрастая, становился все более похожим на него, удивляло окружающих, в особенности тестя с тещей. Они смущали душу дочери, задаваясь вопросом: не любовница ли зятя родила мальчика? Слово, говорят, может исцелить, может и смертельно ранить. Хотя Камилла старалась относиться к ребенку как к своему, сказывалась женская натура, взыгрывала в ней ревность. «Ну, не все ли тебе равно, кто его родил? – говорил Кыдрасов. – Ладно, считай, что он – плоть от плоти твоего мужа. Значит, наш с тобой сын». – «Нет, не все равно, – отвечала Камилла. – Подозрения могут взять верх над моими материнскими чувствами».

Знал это Кыдрасов, поэтому почти все заботы о мальчике взял на себя. Сам отводил его в детсад и забирал оттуда, ходил потом на школьные собрания, приохотил сына с малых лет к занятиям спортом и даже после того, как Батыр стал чемпионом России по классической борьбе среди юношей, продолжал опекать его. Если летом сын отдыхал в пионерском лагере, Кыдрасов часто навещал его там. Когда Батыр с товарищами решили совершить путешествие по Агидели на плоту, Кыдрасов взял отпуск и поплыл с ними. Камилла даже о том, что сварить, какую еду приготовить, советовалась с мужем. Хотя мальчика баловали, что называется, не сажали на стул не сдув пылинки, он не вырос эгоистом. Его, общительного, веселого, остроумного, уважали и товарищи, и тренеры. Отец представлял Батыра своим гостям с удовольствием: «А это – молодой Кыдрасов!» Прежних знакомых, знавших о бесплодии Камиллы, мало-помалу отвадил от своей квартиры.

Когда тесть и теща друг за другом покинули этот мир, Кыдрасов вздохнул облегченно – не стало нежелательных свидетелей появления Батыра в его семье. К тому же возросло состояние семьи: отличная трехкомнатная квартира стариков, дача, легковой автомобиль, импортная мебель, кое-какие золотые и серебряные изделия – все досталось им. Положение будущего единственного наследника этого состояния не изменило Батыра. Он не заважничал, вел

себя скромно. Видимо, оттого, что все его время поглощал спорт, у него не было подружек. Если заходил разговор об этом, отшучивался: «А девушки – потом!» Но судя по тому, что на стенах его комнаты висели портреты знаменитых молодых артисток, отнюдь не был равнодушен к прекрасному полу. Как-то, указав отцу на портреты двух красивых девушек над изголовьем своей кровати, он спросил: «Нравятся они тебе? Одна из них – балерина, другая – певица. Между прочим, родом из района, где ты работал секретарем райкома». – «Кого-то они мне напоминают, – сказал Кыдрасов, подойдя к портретам поближе. – Но друг на друга не очень похожи». Батыр перешел на шутливый тон: «Если уж жениться, то на таких...» – «Ну и женись на одной из них! Ты ведь тоже не из последних среди джигитов!» – «К сожалению, опоздал, папуля, – вздохнул Батыр. – Во-первых, они старше меня. Во-вторых, уже замужем. В-третьих, большей частью живут за границей».

Глядя на эти портреты, Кыдрасов понял, к каким девушкам лежит душа сына, и начал внимательней присматриваться к ним: если, дескать, встретиться похожая на артисток-двойняшек, познакомит его с ней.

...И вот авария. За какую-то долю секунды все в мире Кыдрасова перевернулось. Неужто Бог решил отнять у него единственного сына? Бог. Кыдрасов удивился, поймав себя на том, что вспомнил его. Почему в тяжелые моменты жизни всплывает в памяти именно он? Не Ленин и Сталин вспоминаются, а Бог?

Сколь бы не отрицали существование Бога, предначертанная им судьба вдруг возникает на твоем пути, как столб с дорожным знаком. И ты оказываешься лицом к лицу с ней. На сей раз судьба предстала перед Кыдрасовым в образе Самиры. И все его надежды сосредоточились на ней – женщине, брошенной им когда-то с неродившимся еще ребенком. Не поклонялся Кыдрасов никогда ни Богу, ни черту, а перед Самирой непроизвольно встал на колени...

* * *

Бессменный председатель колхоза «Алга» Саяф Шамсутдинов тщательно готовился к общему колхозному соб-

ранию. Было ему над чем задуматься. Экономика хозяйства в сравнении с прежними годами сильно пошатнулась. В свое время колхоз был укрупнен. Видя, что дела идут все хуже и хуже, соседние с Тиряклами селения вышли из его состава. Воспользовались горбачевской перестройкой. Бригады-батрачки стали самостоятельными хозяйствами. Разумеется, поля, пастбища, техника, скот были поделены. Саяф, оставшийся у разбитого корыта, плюнул бы на все, покинул свой пост, но привык к власти. Продолжает руководить усеченным колхозом, не веря в его будущее. Трудности усугубляются тем, что не заладились у Саяфа отношения с сыном Мадины Даутом. Он приехал в Тиряклы из степного совхоза, где работал после окончания института, по договоренности с районным руководством занял должность агронома. Саяф дал согласие на это, а теперь кается. Уж до чего поперечным был Абдельахат, а Даут, оказалось, упрямец похлеще своего отца. Что ни скажешь ему, язвит в ответ: «Каждый суслик – агроном!» И смеется: «Не пора ли тебе, Саяф-агай, отправиться на печку?»

Но это – частность. Тяжелая складывается обстановка повсюду. Кто только не материт Горбачева с его Раисой Максимовной! В том, что жизнь в стране пошла наперекосяк, винят их. «Раздрай», как выражался сам генсек, стал заметно усиливаться после его заявления на Всесоюзной партконференции о приоритете общечеловеческих ценностей над классовыми интересами.

Конечно, развалу в стране поспособствовали и засидевшиеся в Кремле старцы. Ходили упорные слухи о переправляемых ими в иностранные банки деньгах, тайно построенных виллах и так далее. Дыма без огня не бывает. Не соответствуй слухи правде, зачем бы стоящие одной ногой в могиле люди напрягались у руля страны вместо того, чтобы жить без хлопот на заслуженном отдыхе? Да, под видом строительства коммунизма, обманывая народ, они накапливали богатства. Не только для себя, но и для детей своих, внуков и правнуков. А что имеет Саяф, тащивший в черном поту колхоз? Ладно, есть у него дом, построил два дома для сыновей, имеет автомашину времен, можно сказать, Ноя, две коровы. И все!

Нет, рановато ему отдавать власть кому-то другому. В мутной воде рыбка хорошо ловится. Саяф Шамсутдинов должен еще поймать самую большую, по возможнос-

тям Тиряклов, рыбину. Отец, Сайфулла-партизан, перед смертью сказал ему: «Не гонись за богатством, и тебе в конце жизни надо о душе думать!» Но Саяф умирать еще не собирается. У Ленина и Сталина личного богатства не было, и все при них работали за харчи да Почетные грамоты. Саяф же, проработав много лет в руководящей должности, почувствовал силу и вкус денег. Для осуществления его замыслов нужно удобное прикрытие. Поэтому – да здравствует колхоз! Где еще, не накосив своими руками и навильника сена, не собрав самолично и горсточки зерна, можно жить припеваючи? В колхозе! Саяф тщательно готовится к общему собранию с тем, чтобы сказать веское слово в пользу колхоза. А затем... У него завязались связи с предприимчивыми горожанами. С их помощью он сколотит приличное состояние. Личное.

* * *

На исходе дня Даут подъехал к самым дальним полям колхоза. Земля здесь не из лучших, засорена камнями. Хлеба порадовали было дружными всходами, но затем развитие растений замедлилось и почти прекратилось. Во второй половине мая и в первой декаде июня дождей на этой окраине не было, ударила по посевам засуха. К тому же много уже лет сюда не вывозили навоз, почва не удобрялась, истощилась. Лошадь не накормить, так она воз не потянет, но почему-то считается, что землю можно держать на голодном пайке.

Даут соскочил с седла у лесополосы, посаженной в середине 50-х годов для защиты полей от суховеев. Народ называет ее мирхайдаровской. Даут этого старика толком не помнит, но глядя на посаженные под его руководством тенистые теперь деревья, испытывает чувство благодарности к нему и его помощникам. Люди, чтобы проложить борозды для этих посадок, запрягали коров, трудились, туго затянув пояса на тощих животах, жили с надеждой на будущее и умирали с чистой совестью...

Ломает голову Даут над тем, как укрепить экономику колхоза. Можно было бы превратить его в семеноводческое хозяйство, продавать семена пшеницы и ржи новых сортов, это увеличило бы доходы. Но бьют под коленки

не зависящие от него, Даута, обстоятельства. Штаты в колхозе после разукрупнения остались прежние, непомерно раздутые. Большинство колхозников относится к работе в коллективном хозяйстве без интереса, им хоть палкой по пню колотить – лишь бы день прожить. Цены на технику взлетели, покупка лишь одного комбайна «Дон» может разорить колхоз, а закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию низки, вложенный в нее труд не окупается. Новый животноводческий комплекс так и не сумели довести до ума, прибыли он не дает, поголовье скота из года в год уменьшается. Мать считает, что у колхоза нет будущего...

Размышляя об этом, Даут привязал коня к дереву и пошел по кромке поля, чтобы осмотреть его повнимательней. Неожиданно из-за лесополосы послышались щелканье кнута и крик:

– Куда, окаянные!.. Хайт, хайт!

Это еще что? Похоже, гонят скот, но здесь его не должно быть, поблизости гурта нет. Даут торопливо пересек лесополосу и увидел, что трое верховых прямо по посевам гонят десятка два коров в сторону дороги, уходящей в соседнюю область. Коровы, подхлестываемые кнутами, неслись вскачь.

– Эй, постойте-ка!.. Стойте!

Не остановились. Что-то тут не чисто. Надо выяснить, что это за люди, куда гонят скот. Даут кинулся к своему коню, вскочил в седло и, выехав за лесополосу, помчался вслед за верховыми.

– Эй вы! Остановитесь! Кому говорят?!

Даут нещадно бил каблуками в бока своего коня, торопя его.

– Стойте! Все равно не уйдете!

Один из верховых немного отстал от своих товарищей, вскинул ружье. Прозвучал выстрел. Даут не успел что-либо сообразить – его конь грохнулся на землю...

* * *

Мадина в течение всего дня была занята уборкой в доме. Внуки и внучки, собравшиеся на время летних каникул под бабушкиной крышей, усердно помогали ей. Все семейные реликвии подняли в помещение под купо-

лом дома. К панно «Кунгыр буга» и картине Камалетдинова добавились детские рисунки, дипломы, фотокарточки Кюнхылу и Кукхылу, присланные из Ленинграда, Москвы, Киева, Лондона, Парижа, Праги, их телеграммы маме, – все это развесили по стенам в застекленных рамках. «Пусть этот музей расскажет об истории нашей семьи и правнукам с правнучками, – думала Мадина. – Традиции ведь не зола прошлого, а постоянно поддерживаемый в очаге огонь. Надо все устроить так, чтобы младшее поколение брало пример со старшего и было достойно светлой памяти предков».

– Олэсэй, а это ты? – спросила Дилара, дочка Кюнхылу, разглядывая женскую фигуру на панно «Кунгыр буга».

– Нет, не я. Моя мама. Твой прадедушка Хашим придал этой фигуре ее черты. А вообще это – героиня легенды Тандыса. В образе Тандысы ваш прадед славит башкирских женщин, попечительниц скота – главного в прежние времена богатства нашего народа, от которого зависели его благополучие и счастье.

– Значит, это гимн женщине?

– Можно сказать и так. – Мадина помолчала, ласково глядя на внимательно слушавших ее внучек-горожанок. – Да, гимн.

– Мама мне рассказывала об Урал-батыре и Шульгане. – Дочка Кукхылу, очень похожая на нее синеглазая Альбина, подошла к бабушке поближе. – Они тоже жили на этой земле, верно, олэсэй?

– Верно.

– Мы – очень древний народ, – вмешался в разговор старший сын Даута, Урал. Ростом он был уже почти с бабушку, у него ломался голос. – Урал-батыр – наш далекий-далекий предок.

– А это что за лошадь? Почему у нее крылья?

– Эх вы, ничего не знаете! – Урал бросил на братишек укоризненный взгляд. – Это же Саврасый, потомок крылатых тулпаров. Дед Хусаин говорит, что Саврасый, когда людям грозит какая-нибудь беда, пролетает над аулом, оставляя огненный след.

– Да знаем мы! – в один голос возразили старшему брату Заки с Салаватом. – На его потомке ездила тетя Кюнхылу.

– Да, был у нас славный конек, тоже Савраской звали. – Мадина, погладила мальчиков по головкам, вздохну-

ла. – Но когда Кюнхылу уехала, он никому не позволял сесть на себя. Пришлось отдать его в колхозный косяк. Теперь уже подросли и его отпрыски. Если спросите у деда Хусаина, он пальцем покажет: «Вот этот, этот и этот – потомки крылатых тулпаров».

– Чего только от него не услышишь! – усмехнулся Урал. – Он говорит еще, что в саду нашего прежнего дома по ночам в полнолуние летают... два мальчика. Играют в догонялки.

– Два мальчика? – На глаза Мадины навернулись слезы. Вот уже и ее братишки породили легенду. Очень хотелось ей, чтобы они весело играли, только не до игр было голодным мальцам.

Альбина, остановившись перед картиной Камалетдинова, переглянулась с Диларой и задала неожиданный вопрос:

– Олэсэй... Мы все время думаем... Ты была такая красивая, а почему, когда дедушка умер, не вышла снова замуж?

Все примолкли, только Руслан подтвердил:

– И я об этом думал, олэсэй...

– Почему не вышла снова? – Мадина опустилась на стул перед картиной. – Во-первых, женщина на картине – и я, и не я. Художник, это был твой дедушка, Руслан, начал писать портрет моей бабушки Барсынбики. А я похожа на нее, и получилось, что два лица соединились в одном... Что касается вашего вопроса. – Мадина улыбнулась, показав ровные, белые, как у молодых, зубы. – Я, дети, наверно, из породы Хумай, жены Урал-батыра. Она превратилась в птицу и, чтобы снова стать женщиной, к ней обязательно должен был прикоснуться Урал-батыр. Но он умер, не имел такой возможности. И я после смерти вашего дедушки, Абдельахата, снова стать молодой уже не могла.

– Нет, ты все еще молодая, олэсэй! – Альбина прильнула к ней, обвила руками шею. – И красивая!

Дилара тоже ревниво обняла колени бабушки.

– Ты так здорово ездишь верхом! Научишь и меня, ладно? Мне очень хочется!

– Наша олэсэй и машину водит лучше всех! – добавил баском Урал. – Никакой девушке не уступит...

Мадина засмеялась.

– Ну хватит, хватит хвалить меня! А то еще сглазите!

* * *

Нужна кровь. Много крови. Только она может вырвать парня из когтей смерти. А парень – сын Самиры. Ее дитя, которого вынашивала под сердцем девять месяцев. Плод ее первой и единственной любви. Самира сегодня счастлива как никогда: ее сын жив. Сколько лет она клала цветы на пустую могилу! Сколько слез пролила на бездушную металлическую оградку! Почему мать лишила ее возможности ласкать ребенка? Из любви к ней? Или... приревновав к Кыдрасову?..

Самира нажала кнопку вызова. Вошла Асия.

– Асия-апай, приготовь десятиграммовые шприцы.

– Зачем?

– Надо...

– ?!

Впрочем, медсестра и без ответа поняла, зачем надо. На ее лице выступили красные пятна.

– Позовите другую медсестру. Я... не смогу...

– А если бы на месте Батыра оказался Байрас и ему потребовалась кровь?

– Вы отдали свою кровь на переливание два дня назад и сегодня. И снова собираетесь отдать. А сердце у вас больное. Риск слишком велик.

– Ты не ответила на мой вопрос, Асия-апай. – Самира обняла медсестру за плечи. – Если бы это был Байрас, как бы ты сама поступила?

– Так ведь он мой ребенок, мой сын...

– А Батыр – мой сын!

– Господи! Батыр твой... сын?! Но почему должна я?..

– Никто не знает меня лучше, чем ты. И ты должна понять меня, ведь мы обе матери.

– У меня рука не поднимется. Не хочу брать на душу грех!

– Грех падает на того, кто принимает решение. В данном случае решаю я. Считай, что я приказываю тебе. Мой сын должен жить, что бы со мной ни случилось. Даже дерево, падая, оставляет в земле семена...

* * *

Галиме приснился страшный сон: под зданием райкома, на котором было крупно выведено «КПСС», разверзлась земля и поглотила его.

Партия была для Галимы ближе отца с матерью: опираясь на партию, она возвысилась, пожила в полное свое удовольствие. Поэтому ей сразу не понравился замелькавший на телеэкране генсек с сатанинской печатью на темени. И слишком активная жена его не понравилась. Горбачевы начали по кирпичику разбирать здание, возведенное такими, как Галима, людьми и их предшественниками. Сама Галима давно лишилась власти и соответствующих благ, но если сон сбудется, останется она и без всякой защиты.

Галиме стало зябко. Она достала толстое одеяло, закуталась в него, но не согрелась. Встала, выпила горячего чаю, но и это не помогло. Ах, большую ошибку допустил меченый вождь! Если КПСС окончательно рухнет, народ, привыкший к тому, что за него думали партийные вожди, растеряется, станет рабом шустрых соседей, будет горбатиться на них или окончательно сопьется. Есть, правда, находчивые, предприимчивые люди и в своей стране. Взять, к примеру, Мадину. Вот такие в любых условиях не пропадут. Не хватило у Галимы сил на Мадину. Не смогла выбить ей зубы, наступить на хвост. Абдельахата отправила к праотцам, Барсынбику заперла в психушке, а с этой не справилась. Справилась бы, да наступили иные времена. Уехал Кыдрасов, оставив Галиму, что называется, с носом. А Мадина пошла в гору. Построила себе двухэтажный особняк, да еще с вызывающим куполом. По слухам, у нее на пасеке более ста ульев, на этом и разбогатела. Девчонки ее ездят на гастроли за границу. Даут – агроном. Даже приемный ее сын, Абубакир, в котором течет кровь мерзавца Ихсанбая, стал известным певцом, заодно будто бы преподает в консерватории. Эх, жизнь! Тосковавшая когда-то по ломтику хлеба Мадина разъезжает в «Мерседесе», а Галима... Впрочем, и у нее есть дочь. Только вот... Говорят, приезжала не раз на «могилу» сына. А к матери не заходила, не интересовалась ее житьем-бытьем. Какое высокомерие! Это в ней от Барсынбики. У-у, волчья порода! Ненавижу!..

Привычным движением Галима взяла в руку стакан, потянулась к бутылке с водкой, но пить не стала. Не хотелось. Баста, душа не принимает. Даже возможности хотя бы ненадолго забыться Галима лишилась.

Она встала, начала неторопливо одеваться. Посмотрела на себя в зеркале. Зрелище не из приятных. Волосы разлохматились, как помело. Лицо изрезано морщинами, под глазами — темные мешки, дряблые щеки тоже свисли... Если в таком виде заявится к дочери, узнает ли ее Самира? А она, наверно, красивая. Небось, встречается с Кыдрасовым, раз в одном городе живут. Может быть, родила от него еще сына или дочь. Расспрашивала Галима людей, сказали, что есть у Кыдрасова очень похожий на него сын. Вот к чьим порогам судьба толкает ее на старости лет. Решила Галима поехать к дочери, поклониться ей. Примет ли? А главное, простит ли?

* * *

Мадина остановилась у окруженных молодыми деревьями могил Абдельахата и Хашима. Села на скамеечку между ними. Отсюда ее дом был виден как на ладони. Окна дома одно за другим гасли, внуки и внучки ложились спать. Вскоре свет остался только на кухне и под куполом. Наверху бодрствует Руслан. Он продолжает дедово дело, расширяет панно — готов не спать сутками. На кухне невестка Нафиса ждет Даута. Тоже не ляжет, пока не придет муж. Сегодня он почему-то запоздился. Из-за этого и на душе Мадины было неспокойно, томило недоброе предчувствие.

Но вот на горе, у березы, возле которой погиб Абдельахат, на фоне светлой еще полоски в небе появилась одинокая мужская фигура. Он, Даут. Но почему он пеший? Обычно ведь ездит верхом... Когда он спустился с горы и повернул в сторону дома, Мадина окликнула его:

— Сынок!

— Мама? Ты почему здесь?

— Тебя ждала. С тобой что-нибудь случилось?

— Я-то, как видишь, жив-здоров. Коня моего подстрелили...

– Как?! Кто?!

– Какие-то люди... трое верховых... угнали десятка два колхозных коров. Видимо, в Челябинскую область.

– Колхозных коров?

– Да. Гнали сломя голову по низине, прямо по посевам. Надо думать, кто-то, хорошо знающий местность, указал на кратчайший путь... Ну, я поскакал за ними, хотел выяснить, кто такие, и нарвался на выстрел.

– Господи! Ладно хоть сам цел-невредим! Зачем же ты кинулся, видя, что их трое да еще вооружены?!

Даут присел рядом с матерью. Чем старше, тем больше становится он похожим на отца, скоро сравняется с ним и в возрасте. Как быстро летит время!

– Не могу же я допустить, чтобы на моих глазах разоряли колхоз!

– Ты один уже не спасешь его, сынок... – Мадина прикоснулась ладонью к его спине. – Ну, иди домой. Нафиса тебя ждет.

– А ты?

– Я еще немного посижу. В моем возрасте люди общаются не только с живыми...

Натянув накинутую на плечи пуховую шаль у груди, Мадина задумчиво последила за удалявшимся сыном. Последний убежденный коммунист из распавшейся колхозной парторганизации. Старается спасти тонущий корабль. Трудно ему будет. Но Мадина не станет вмешиваться в его дела. Каждый должен найти свою дорогу сам...

* * *

Самира дошла до комнаты отдыха на ватных ногах. Обессиленно растянулась на топчане, смежила веки.

Тихонечко скрипнула дверь. По шагам Самира догадалась – вошла Асия-апай.

– Как Батыр? – То ли прозвучало это из уст Самиры, то ли она только подумала, но Асия поняла ее.

– Его состояние улучшилось. Он открыл глаза.

На кожаную поверхность топчана что-то закапало. Слезы? Чьи? Самой Самиры или Асии?

– Почему... плачешь?

Ответа не последовало. Движением подбородка в сторону двери Самира дала знак, чтобы медсестра вышла.

Ей надо отдохнуть. Поспать. Теперь она знает, что сын жив, и больше ничего ей не нужно.

Медсестра вышла. Вместо нее перед Самирой возникла старуха, когда-то подарившая ей серьги с бирюзовыми камешками, и обернулась... Белой змеей. Самира постелила перед ней белый платок. На платок упали сияющие рожки. Хотя нет... то, что бабушка назвала рожками, оказалось сверкающей самоцветами короной. Самира подняла ее, надела на свою голову и последовала за царицей змей...

* * *

Больницу, в которой работала дочь, Галима нашла довольно быстро. Обратилась в приемном покое к усатому мужчине в белом халате:

– Мне надо повидаться с Самирой Мингажевой...

У мужчины округлились глаза.

– Вы... кем Самире Идеаловне приходитесь?

– Я ее мать.

– Мать?! – Усатый схватил телефонную трубку, позвонил куда-то: – Слушай, подгони быстренько машину к подъезду. Тут пришла женщина, говорит, мать Самиры Идеаловны... Да-да! – Он положил трубку. – Апай, сейчас подойдет машина. Может быть, успеете...

Галима не спросила, куда должны успеть. Эти люди, наверно, знают, где ее дочь. Возможно, она собралась куда-нибудь уехать.

Водитель санитарной машины тоже ничего ей не объяснил.

Машина остановилась у ворот мусульманского кладбища. Водитель, подождав, пока Галима выйдет из салона, коротко бросил «до свиданья!» и уехал. Должно быть, полагал, что она знает, зачем приехали сюда. Галима, в свою очередь, предположила, что дочь участвует в чьих-то похоронах. Может быть, умер кто-то из ее коллег.

В это время из ворот кладбища потекла толпа. Сколько народу пришло проститься с покойным! Обычно так бывает, когда хоронят большого начальника. Но у многих женщин глаза были красные от слез. Значит, не начальника хоронили. По начальникам не плачут, а лишь

исполняют положенный ритуал. Потому что их не любят. Кыдрасов, помнится, сетовал: «Девять раз выполнишь просьбы человека, а на десятый не сможешь – и он уже смотрит на тебя как на врага!»

Галима стала высматривать среди расходившихся с похорон людей свою дочь, единственного в мире близкого ей человека. Узнает ли ее Галима? Ведь столько лет не виделись. Должна узнать. У Самиры синие глаза – пошла в отца, недоброй памяти Ихсанбая. Волосы у нее были курчавые, щеки – как налитые яблочки...

Поток участников похорон иссяк. Люди разъехались – кто в автобусах, кто на легковых машинах. Самиры среди них не оказалось. Галима решила, что парень-водитель, должно быть, привез ее сюда по ошибке, и направилась к остановке общественного транспорта. Как же теперь быть? Пойти на квартиру Самиры, раз здесь не нашла? Хватит ли духу постучаться к ней?

Какая-то неведомая сила вдруг повернула Галиму назад. Пошла на кладбище. Походила по нему и нашла среди сотен могил только что засыпанную. На влажном еще холмике множество живых цветов. К металлической ограде прислонены венки. На высокой мраморной плите в изголовье могилы выбита надпись: «Мингажева Самира Идеаловна». Выше – ее портрет. Волосы растреплены ветром, на лице – счастливая улыбка...

* * *

Услышав слово «Тиряклы», Галима остановилась у торгового ряда, где две молодые женщины продавали молоко и сметану. С транспортом сейчас особых проблем нет, приезжают в Таулы на рынок и из дальних аулов, в том числе из Тиряклов, – для тех, кто обзавелся машиной, полсотни километров – не расстояние, всего час пути.

– Ыста, это не наша ли Галима-инэй?

– Кажется, она. Как состарилась!

Галима повернула голову к женщинам, смотревшим на нее, не стала скрывать, что слышит их разговор.

– Время не только человека – камни точит, скалы рушит... Вы из Тиряклов, что ли, молодушки?

– Да, – ответила одна из торговок, покраснев. – Давно не видели, так сразу и не узнать тебя, апай.

Галима подошла к ним поближе. Она уже не смущалась того, что вид у нее неухоженный, одежда истрепанная, пышные когда-то волосы повылезли и губы провалились в обеззубевший рот.

– Меня тут все знают. Вы, наверно, редко приезжаете на рынок. Другие тиряклинские женщины то молока мне оставят, то корота, то масла. В порядке милостыни... – Галима, опершись на клюку, смотрела на торговок выжидающе. Как говорится, пока ребенок не заплачет, ему титьку не дадут.

– Что уж ты, апай, так... живешь? – Рослая сухощавая молодушка поправила марлю, которой были прикрыты масло в комках и банки со сметаной. – Лучше бы попросилась в пансионат Мадины-инэй.

– В пансионат... Мадины?

– Не слышала, что ли, о нем? Уже лет десять, как Мадина-инэй его содержит.

– Ну да, – подтвердила другая молодушка. – Там неплохо пожилым людям живется. Сад такой хороший, огород. Зелень всякую растят, картошку сажают и пчел держат.

– Батрачат, значит, на Мадину. – Галима сморщила нос.

– Нет, апай, они же в охотку, для себя стараются. Мадина-инэй для них стряпуху и уборщицу наняла. Коммуной живут.

– Вечерами песни поют. Весело становится на душе, когда мимо их дома проходишь... – Молодушка, что пониже ростом, достала из своей сумки комок сушеного корота, сунула в авоську Галимы. – Айда, апай, вернись в Тиряклы. Мадина-инэй добросердечная женщина, примет и тебя.

– Хы... – Галима пошла было прочь, но любопытство ее остановило. Задала вертевшийся на кончике языка вопрос: – Мадина... как выглядит? Сильно сдала? Тоже ведь состарилась.

– Она еще... – Сухощавая посмотрела на низкорослую соседку. – Пятьдесят ей исполнилось, нет ли?

– Какие пятьдесят?! – возмутилась Галима. – Она разве что на год моложе меня!

...Вернувшись домой, Галима дрожащими руками заперла ворота. А то повадилась всякая шантрапа выпивать у нее во дворе. Правда, и запертые ворота не спасают. Ломают запор. Случалось, и в дом вламывались, пугали

Галиму до полусмерти. Каждый, у кого хватает сил, готов ее обидеть.

Дом требует ремонта, а на ее пенсию особо не разгонишься. Еще прошлым летом ветер сорвал с крыши лист шифера. Теперь там протекает потолок. Вода, стекая по стене, разъела кирпичную кладку, в одном месте образовалась дыра, через нее улицу стало видно. Летом дыру затянуло мхом, а как зимой в таком доме жить?

Денег на ремонт нет, и Саяф обманул. Обещал прислать людей, чтоб залатали крышу и дыру в стене. Не прислал. Сколько он пьянствовал в этом доме с партнерами по воровским делам, а пользы от него ни на грош...

Тяжело, но раз отпущенный Всевышним срок не истек, приходится жить. Теперь уж Галима не только другим, самой себе не нужна. Старость, подкравшись незаметно, крепко ее скрутила. Суставы утратили подвижность, тело стало тяжелым как бревно. Только глаза и уши напоминают, что когда-то и Галима была человеком. И не к кому ей прислониться. Поехала бы к Мадине, поклонилась, да остатки гордости не позволяют. А Мадина разбогатела, даже с иностранцами деловые связи установила. Вроде бы из Германии к ней приезжали, мед у нее – экологически чистый продукт – закупают. На ее средства в Тиряклах улицу заасфальтировали, мечеть построили, собираются Дом культуры возводить. Доходят до Галимы слухи об этом. Бесят ее успехи Мадины. И не только Мадины, ее детей тоже. Галима не была совершенно одинокой, пока в доме звучало радио. Но однажды, когда передавали по радио песню в исполнении Кукхылу, дочки Мадины, да еще объявив ее выдающейся певицей, лауреатом всесоюзных и международных конкурсов, пришла Галима в ярость. Швырнула репродуктор на пол и добила его скалкой. А по телевизору показывали, как танцевала Кюнхылу. Вся из себя такая, что и слов для описания не подберешь. Порхала по сцене, касаясь пола лишь кончиками ног, выставив тощую заднюшку. И тут не выдержала Галима, шарахнула по экрану сковородкой. Осколки стекла брызнули ей в лицо, ладно еще в глаза не угодили, поранили грудь – месяц пролежала в больнице. И вот после всего этого пойти на поклон к Мадине? Да разве же выдержит это почти уже обуглившаяся душа Галимы?

Но и жить так, как она сейчас живет, невозможно. Может быть, все же отправиться к Мадине? Сказать:

«Что было, то сплыло, подружка, прими под свое крыло». Ведь подлости против нее не столько сама Галима совершала, сколько Саяф. Это он убил Абдельахата, и Абдельахатову лабораторию он поджег. Правда, держала Галима камень за пазухой и была бы только рада, если бы Саяф убрал и Мадину. Но не справился он с этим, проявил слабодушие. А теперь, говорят, его сын, Саяр, у Мадины в управляющих ходит. Какой срам! Мужчины не умеют быть мужчинами! Галима на их месте сквозь землю бы со стыда провалилась...

Обругав мысленно Саяфа, Галима собралась выпить чаю. Подняла электрический чайник, глядь, под ним в разостланной на столе газете – портрет Ельцина. Не заметила, когда стелила, а то бы другую газету взяла, чтобы этот урод не мозолил ей глаза. Оторвала портрет, кинула, скомкав, в очаг, чиркнула спичкой, подожгла. Пусть сгорит окаянный! Она и портреты Горбачева все время сжигала. Из-за них сгорели накопления Галимы. Людей, разоривших свой народ, и сжечь мало!

Когда клок газеты с портретом превратился в кучку пепла, ярость Галимы немного спала. Чай пить она раздумала. Размочила часть принесенного с рынка корота в холодной воде, выпила кисленькую жижу.

* * *

В ожидании сына Саяф смолил папиросу за папиросой. Делал он и прежде попытки найти общий язык с Саяром. Со старшим сыном, Нагимом, разговаривать проще, он помягче, в мать пошел, горазд попеть-поплясать. У Саяра характер твердый. Хотя и нет у него привычки ломать через колено, по присловью, там куда он ступит, искры сыплются. Институт окончил хорошо. В студенческие годы хлопот отцу не доставлял, сам себя обеспечивал. После окончания учебы поставил его Саяф экономистом в своем колхозе. Но не прошло и года – хлопнул Саяр дверью колхозного правления и нанялся на работу к Мадине. Можно сказать, добровольно стал ее рабом. Не к лицу это сыну человека, всю жизнь занимавшего руководящую должность.

Так-то в материальном отношении Саяр живет неплохо. Чей еще сын в ауле ездит на «Тойоте»? Хотя и не

обзавелся семьей, всегда, опрятно одет, выглядит ухоженным. В этом плане, слава Аллаху, все обстоит благополучно. Но ведь есть еще понятие «честь». Саяф состарился. Пора передать руководство колхозом одному из сыновей. Нагим, откровенно говоря, – растяпа. Эстафету должен принять Саяр. Он потянет колхоз. И хватка у него есть, и кругозор достаточно широкий. Мадина уже не раз брала его с собой в заграничные поездки и одного посылала: он неплохо владеет английским. Если на предстоящем собрании выдвинуть его кандидатуру на пост председателя, колхозники, несомненно, ее одобрят. Саяр теперь обкатан, как камень в текучей воде, показал свои деловые качества. Люди в таких верят, пойдут за ним. Нужно только его согласие.

Услышав, что у ворот остановилась машина, Саяф выглянул в открытое окно. Он, Саяр. Приехал. Саяф засуетился.

– Жена, самовар поставь!

– Ах, я уже чайник вскипятила.

– Чтоб тебя!.. Трудно, что ли, тебе сына моего уважить?

– Ах...

– Была бы ему родной матерью...

– Господи, началось!

Разговор переходил уже на высокие тона. Тут вошел Саяр.

– Здравствуйте! Как поживаете?

– Здравствуй. Да так, по-стариковски живем... – Саяф, только что переживший напряженный момент, напустил на покрасневшее лицо улыбку. – Айда, проходи к столу.

Саяр ополоснул под рукомойником руки, вытер поданным мачехой полотенцем, сел за стол.

– Зачем позвал, отец?

– Да вот, позвал... – Саяф передвинул поближе к сыну хлеб, вареные яйца, сметану. – Поешь-ка, время ведь обеденное...

– Я уже поел. Разве что чаю выпью.

– К колхозному собранию готовлюсь я, сынок. Вот и подумал, надо посоветоваться с тобой, силы наши объединить. Дед твой покойный был одним из основателей колхоза. И бригадиром был, и в председателях походил. Я, сам знаешь, с малолетства на колхозной работе, в черном теле скот пас, свиней обихаживал. Годы, когда пред-

седательствовал, сами по себе – целая жизнь. Какое сердце мне надо иметь, чтобы наш колхоз, все, что по кирпичику складывал, в чужие руки отдать?

– Так... Ты все сказал?

– Почти... – Саяф обернулся к жене, присевшей за стол, чтобы налить мужчинам чаю. – Ты, женушка, подика, займись чем-нибудь по хозяйству во дворе...

– Ладно. Тогда чай сам наливай. – Сравнительно молодая еще, кругленькая женушка укатила к выходу.

– Так вот...

– Отец, я понял: ты хочешь сосватать меня в председатели колхоза.

– Да. Я об этом давно...

– Каковы сейчас доходы колхоза? Сколько на счету денег?

– Да какие сейчас могут быть доходы?! Смеешься, что ли? Кругом долги.

– Сколько долгов? В рублях?

– Саяр! – Саяф, разволновавшись, вскочил с места, прошелся туда-сюда по комнате. – Речь не об этом! Долгов – по горло. За горючее, за электроэнергию... Люди уже забыли, что такое зарплата. Сколько земли остается невспаханной, незасеянной! Минеральных удобрений давно в помине нет. Но... колхоз – фундамент нашей жизни. Вот его надо уберечь! Саму идею! Будет фундамент и стены возвести не столь уж сложно. У тебя ведь есть голова на плечах. Главное, не подпускать близко капитализм, разделяющий народ на богатых и бедных! Иначе наши отцы из могил поднимутся! – Саяф проговорил все это с некоторым пафосом, полагая, что так скорее убедит сына, воспитывавшегося на социалистических идеях.

– Понятно, – сказал Саяр, глядя на отца смиренно. – Значит, доходов у колхоза нет. А доходы фирмы «Мадина» исчисляются в шестизначных цифрах. Моя месячная зарплата – тысяча долларов...

– Тысяча долларов?! – Саяф снова сел за стол. – Не многовато?

– Так я же управляющий. Правая рука Мадины Хашимовны.

– Правая рука!.. Вот попользуется она тобой, пока подрастут щенки Даута, и вышвырнет на улицу! Таковы законы капитализма.

– Может быть. Но до этого я порядком разбогатею и

открою свое дело. Ведь накопленный опыт, знания останутся при мне. Мадина Хашимовна советует уже сейчас построить цех для копчения рыбы. Обещает помочь в получении кредита для покупки оборудования. Но мне нравится теперешняя моя работа.

— А честь?

— Какая... честь?

— Не понимаешь? Не знаешь, что не может ее быть у прислужника? Нет у тебя чести! — В сердцах Саяф так ударил кулаком по столу, что чашки подпрыгнули.

— Я, отец, не ворую! Зарабатываю свой хлеб.

— Лучше уж воруй, чем в холуях ходить!

— Весь мир, отец, живет по одному и тому же закону: кто-то дает работу, кто-то на эту работу нанимается. За работу платят, одни больше, другие меньше. Человек идет к тому работодателю, который платит больше.

— Это так, однако... Уважающий себя человек работает на государство, а не на богатея.

— Э, отец! — Саяр взглянул на часы. — Неправильно рассуждаешь. Скажи-ка, почему, например, старик Хусаин не стал председателем колхоза? Он что, ленив был, работу не любил?

— Хусаин! — Саяф скривил губы. — Он не способен сосчитать даже попавшие в его карман деньги.

— Вот! Сам подтверждаешь, что способности, ум у людей разные. Предположим, собрали все богатства мира и разделили поровну между пятью миллиардами его населения. Что будет дальше? Через год люди снова разделятся на богатых и бедных. Уравнять всех невозможно, да и надобности в этом нет.

— Хы... — Саяф вытер полотенцем выступивший на лице пот. — Хоть и говорят, что яблоко от яблони недалеко падает, ты, парень...

— Да, отец, я далеко от тебя откатился. Иначе в твоей тени загнил бы, не смог стать новым деревом, дать плоды...

После ухода Саяра в доме установилась тишина. Лишь часы, дребезжа по причине старости, пробили дважды — два часа дня. Часы эти, купленные вскладчину, подарили Саяфу и Нагиме в день их свадьбы молодые друзья. Да, время старит не только человека, но и металл. Полвека с тех пор прошло-пролетело. Каждый раз, когда рождался сын, Саяф радовался. Двое — хорошо, бу-

дут подпирать друг друга. Родился третий – еще лучше: треножник стоит крепко. Затем последовали четвертый, пятый... Саяф от радости, что называется, макушкой небо задевал. Впятером в такой кнут совьются, что попробуй распустить его! А что же теперь? Старший дорогу к клубу топчет. Саяр, как сын Тараса Бульбы, переметнулся на вражескую сторону. Средний пропал в Афганистане, жив ли, нет ли – Саяф не знает. Четвертый погиб в Москве во время путча. Последыш смылся в город. Остался под рукой один Нагим, да ведь было уже сказано о нем: растяпа. До чего же коварна эта Мадина! Переманила к себе самого способного из Саяфовых сыновей. Превратила в своего надсмотрщика! Лишила Саяфа опоры. У-у-у, ведьма!..

Бедняжка Саяр угодил в ее ловушку из-за любви к Кюнхылу. Ради того, чтобы хоть увидеть ее, ходит за Мадиной как на привязи. Дочки ее чуть ли не постоянно гастролируют за границей, потому-то Саяр увязывается за хозяйкой, когда она ездит туда. Уже мог бы бороду до пояса отрастить, а все не женится, не может забыть Кюнхылу. А она, говорят, давно уж замужем за каким-то преуспевающим бизнесменом. Вернее сказать, капиталистом. Их ведь стали называть бизнесменами ради благозвучия.

Проклятая семья! Кто теперь скажет, что это – потомство Барсынбики и Сибагата или как его там, прибредших в Тиряклы с маленьким сыном, везя все свое имущество в ручной тележке! И что эта самая Мадина ходила, харкая кровью, после того, как первотелка саданула ее копытом в грудь. Ну и времена настали! Голодранцы, которых в дом дальше порога не пускали, без приглашения проходят в «Красный угол», а те, кто вертел на кончике пальца тысячи судеб, низвергнуты с небес на землю, ползут на карачках к могильным нишам. «Жизнь обманчива», – говорила когда-то бабушка Саяфа. «Если сам не обманешься, как она тебя обманет?» – удивлялся Саяф. Сегодня он видит: сколь ни стараешься не обмануться, все равно попадаешь впросак. И, по присловью, сидишь- гадаешь: то ли курица заболела, то ли счастье отвернулось?

Да-а, нарушился порядок в мире. «Процесс пошел» с подачи Горбачева. И Ельцин, оказалось, слеплен из того же теста. Воспользовалась Мадина их правлением. Вот

уж побегала в эти годы! Слюной брызгала: демократия, суверенитет! Разъезжала по району с концертами, якобы помогала республике обрести самостоятельность. И опять же видит Саяф – ради себя старалась. В какие только двери не стучалась, ратуя за возрождение народных промыслов, а на деле сама богатела.

Богатство прокладывает дорогу к власти. Стала Мадина народным депутатом. Завоевала авторитет во властных структурах. Смерть мужа и беда, постигшая бабушку, почему-то не сломили ее, а, напротив, укрепили. Много сил отдал Саяф борьбе с этой женщиной. Неужели напрасно? Нет, он раскроет ее подлинное лицо на общеколхозном собрании. Ладно, если не удастся переубедить Саяра, в председатели выдвинет Нагима. Научится. Поясница, говорят, не окрепнет, пока не выйдешь на майдан, в борцовский круг. Возможно, найдутся желающие избрать председателем Даута. Но, во-первых, он подался в фермеры. Во-вторых, Саяф в пламенной речи разоблачит Мадину как хищницу, высасывающую народную кровь, вряд ли после этого кто-нибудь решится назвать имя ее сына. Однако надо еще до собрания подготовить к нему своих людей, сплотить их вокруг себя. Конечно, людей, готовых пойти за Саяфа в огонь и воду, теперь трудно найти. Зато завидующие Мадине и даже ненавидящие ее найдутся. Есть, есть такие люди! Галима, например. Вот кого можно использовать!

Номер домашнего телефона Галимы Саяф вспомнить не смог. Начал перелистывать блокнот – где-то в нем номер записан.

* * *

Ночь прошла, Венера всходит,
Чтобы зорьку разбудить
И, напомнив о минувшем,
Душу мне разбередить…

Мадина проснулась, услышав сквозь сон мелодию любимой песни. Откуда донесся божественно прекрасный голос? И почему он вдруг смолк? Если звучал по радио, кто его выключил? Мадина, приподнявшись, отодвинула занавеску окна, обращенного на восток. Там алела полоска зари. Верно замечено: зарю будит утренняя, самая яркая на небосклоне звезда Сулпан. После смерти Абдельахата

Мадина встречала зори этой песней, вобравшей в себя не только ее тоску. Изливается в ней копившаяся веками грусть народа. А в только что услышанном исполнении звучали счастливые нотки.

Кто же пел?

Мадина надела халат, вышла из своей комнаты. В доме тихо, все спят. По лестнице, покрытой ковровой дорожкой, бесшумно поднялась на второй этаж. Остановилась у спальни внучки Тандысы, прислушалась. Ни оттуда, ни из других комнат второго этажа не доносилось ни звука. Оставалось подняться в помещение под куполом, где Руслан иногда работает до самого утра... Да, он здесь. Спит на диване, накрывшись пиджаком. Видимо, недавно заснул, чайник стоит на столе еще горячий.

От холстов, натянутых на подрамники, от изображенных на них фигур веяло энергией молодости. А вот недавно законченная картина «Полевые цветы». Какая прелесть! Среди пригнутой росой зелени пестреют раскрывшиеся на утреннее солнце цветы. Как чутко Руслан уловил их свежесть и глубину окружающего, чуть затуманенного пространства!

Портрет Мадины внук уже повесил в красивой раме на стену. «Я приготовил подарок к твоему семидесятилетию», – сказал Руслан, когда закончил работу над портретом. Внук немного слукавил: если не принимать во внимание блестки в волосах, семьдесят, глядя на изображение Мадины, ей не дашь. Руслану, надо полагать, хотелось, чтобы бабушка выглядела молодой. Только по глазам видно, что это – прошедшая тяжелые испытания, но не сломленная ими женщина. Взгляд у нее пронизывающий, словно рентгеновские лучи. Чувствуются в нем решительность и самоотверженность, осознанное мужество, идущая из глубины веков отвага. И наряду с этим – нежность, порожденная умением любить и быть любимой. Руслан повесил портрет рядом с картиной своего деда Аюпа. Все познается в сравнении: если бы не это соседство, наверно, невозможно было бы определить возраст женщины на новом портрете.

Когда волнение, вызванное подарком внука, немного улеглось, Мадина перевела взгляд на холст, над которым Руслан, видимо, работал в последнее время. Пишет теперь портрет ее внучки Тандысы. Откуда в ее глазах такой свет, такая нежность? Она только-только простилась с отрочеством, ей всего семнадцать лет. А Руслан созда-

ет образ зрелой, влюбленной девушки. Это неправильно! Зачем закладывать в подсознание юной Тандысы образ взрослой девушки? Пусть еще продлится ее беспечное детство! Руслан умный парень. Надо будет поговорить с ним об этом, поймет...

Мадина спустилась вниз, вышла на свежий воздух. Наперебой пели соловьи. Каждый день в эту раннюю пору Мадина обливается родниковой водой. Извергающаяся из земной глубины вода сначала обдает таким холодом, что сердце на миг замирает, затем тело словно охватывает пламя. Ежедневная процедура, не прекращающаяся и зимой, наделяет бодростью, усиливает желание жить, работать.

Когда Мадина, облившись, повесила ведро на сук дерева у родника, в липовой аллее мелькнула женская фигура. Кажется, Тандыса. Куда это она побежала в такую рань? Мадина встревожилась. Немного погодя послышался цокот конских копыт...

...Семья сходится к чаю в десять часов утра. К этому времени все успевают управиться со своими утренними делами. За чаем обсуждаются злободневные хозяйственные вопросы. Мадина пришла к общему столу первой. Верней, возле него уже хлопотала невестка.

– Доброе утро, Нафиса! Как настроение? Вчера ты жаловалась, что голова побаливает...

– Да ничего настроение.

Мадине показалось, что Нафиса что-то скрывает.

– Ты чем-то обеспокоена?

– Все хорошо. Только... Саяр Саяфович, кажется, собрался уйти от нас.

– Саяр? Как говорится, о том, что происходит в твоем доме, узнаешь от соседей. Да нет! Если бы возникло у него такое намерение, сказал бы сначала мне. Килен, ты не замечала за Тандысой... ее не мучает бессоница?

– Не то чтобы бессоница... Но что-то с ней творится непонятное. Может, влюбилась?

– Меня сегодня разбудила песня. Вроде ее голос был... А потом я услышала цокот копыт, заглянула в конюшню – Бурыла нет. На нем ведь Тандыса ездит?

Нафиса не успела ответить. Дверь распахнулась, в столовую вошли трое сыновей Даута, вслед за ними – Руслан и, немного погодя, Даут. Пока они садились за стол, ворвалась и Тандыса с охапкой полевых цветов, сама как маков цвет. Голос серебром звенит.

– Я не заставила себя ждать?.. Олэсэй, я сочинила песню! Вот послушай слова: «Цветы полевые, узоры живые, земли моей празднично-яркий наряд! Как будто монеты в нагруднике лета сияют под солнцем и радость дарят!»

Безмятежно-счастливое лицо внучки успокоило Мадину. Искоса глянула на Руслана. Он, прихлебывая чай, разговаривал о чем-то с Уралом.

* * *

После неожиданного визита Саяфа Галима погрузилась в мрачные размышления. Привык рябой бес загребать все чужими руками! Давай, говорит, выступи по старой памяти на колхозном собрании, начни разговор ты. Положим, Галима выступит. Дальше что? Протолкнет Саяф в председатели своего никудышного Нагима, останется хозяином богатства, которое еще не успел до конца разворовать. А что от этого поимеет Галима? В лучшем случае пришлет Саяф мешок картошки и мешок муки. Как ей потом жить? Вряд ли ей и Саяфу скажут спасибо за камень, брошенный в Мадину. Она ведь обеспечила работой чуть ли не половину населения Тиряклов. Зарплату платит хорошую. Улицу заасфальтировала, мечеть построила, содержит Дом престарелых, помогает пенсионерам. Люди все видят. Неужели Саяф полагает, что о его махинациях и сомнительных связях никто не знает? Галима не круглая дура, чтобы, выступив в защиту Саяфа, раскрыть причастность к его темным делам!

Хотя Саяф не делился «левыми» доходами с Галимой, с сомнительными личностями встречался и проворачивал незаконные операции в ее доме. После смерти Нагимы Галима ждала от него предложения, так сказать, руки и сердца, он выбрал другую. Когда нужен был Галиме, глаз не казал. Появлялся, когда сам в ней нуждался. И вот опять явился. Но на сей раз его умная головушка не доработала. Галима не топор без рукояти, чтобы каждый, кто пожелает, совал ее в свою суму. Теперь, воспользовавшись сложившимися обстоятельствами, она выведет Саяфа на чистую воду. Он за все поплатится. Галима когда-то подобрала у березы, сваленной на пути Абдельахата, окурки папирос «Казбек». Их курил тогда только Са-

яф. Галима достала из шкатулки эти окурки, положила, завернув в платочек, в карман. Покажет их на собрании. Люди больше верят тому, что видят, чем тому, что слышат. Вещественные доказательства взбесят Мадину. Аул расколется на два лагеря. Мадина с Саяфом вцепятся друг другу в горло!..

* * *

Любовь пришла к Саяру неожиданно. Как внезапная весна. Вечером еще стоит зима, земля скована морозом, а утром вдруг нахлынет тепло, солнце слепит глаза, капель стучит, к полудню уже ручьи журчат. Так вот и любовь к нему пришла. Ему от радости хотелось взбежать на высокую гору, взлететь в небо или просто полежать, забывшись, на усеянном горицветом склоне горы. Повторялось то, что он пережил еще подростком. Тогда он испугался обуявшего его чувства. Но оно же, это чувство, возносило его в небеса. Он долго не мог забыть Кюнхылу. Желание хоть изредка видеть ее привело Саяра, уже взрослого, к Мадине. Нанялся к ней на работу. Во время поездок в Петербург и за рубеж он встречался с Кюнхылу под предлогом передачи ей привета и гостинцев от матери. Он вынужден был глубоко прятать свое чувство к ней, боялся лишиться даже этих коротких встреч. Со временем примирился со своей судьбой. Муж и дочь Кюнхылу относились к нему по-свойски. Саяр был рад и тому, что вхож в эту семью. Когда муж Кюнхылу оказывался в отъезде, Саяр встречал ее после поздних вечерних спектаклей, дарил цветы, в этом не было ничего особенного — подарить цветы артистке может каждый. Пожимая при встрече руку Кюнхылу, пахнувшей сценой, гримом и еще чем-то неведомым, чувствуя пьянящее тепло тонких, гибких пальцев, Саяр испытывал желание обнять ее, но не переступал черту дозволенного. Всего лишь раз он решился спросить: «Ты счастлива?» — «От добра добра не ищут», — ответила она. После этого они в разговорах редко касались личной жизни. У полностью погруженной в мир искусства Кармен (это был ее псевдоним) не оставалось, кажется, сил для переживаний, связанных с чем-либо иным. Все же однажды,

когда прогуливались по набережной в Вене, Саяр заговорил о ее будущем: «Сейчас ты, Кюнхылу, кружишься в вихре славы, у тебя много контрактов, приглашений. Но творческий век балерин короток, как весна – быстро отбурлит и пройдет. Чем ты тогда заполнишь пустоту?» – «А у меня не будет пустоты, – улыбнулась Кюнхылу. – У меня есть ребенок. Кроме того, я буду давать уроки танцев. Кармен, сошедшая со сцены, должна воспитать новую Кармен». Сказала она это задумчиво, как бы сама себе, не глядя на Саяра, устремив взгляд на реку. Саяр понял, что нет у него никаких шансов на ответное чувство ни сейчас, ни в будущем, и, хотя мучился сам, дал себе слово не мучить Кюнхылу такими вопросами. Она не запятнает женскую честь изменой мужу, и ему остается довольствоваться только дружескими отношениями.

Так он прожил до нынешней весны. О том, что доныне не женился, что дома его никто не ждет и нет у него ребенка, чтобы поласкать, посадив на колени, не сожалел. Но вот нынешней весной, когда понадобилось съездить в Санкт-Петербург, Мадина Хашимовна попросила его занести гостинцы Тандысе, живущей, пока учится, у Кюнхылу. В это время Кюнхылу, оказалось, была на гастролях, дверь открыла Тандыса. Впрочем, тогда ему показалось, что это сама хозяйка квартиры. Те же волнами спадающие на плечи кудри, те же угольно-черные глаза – Кюнхылу, будто нисколько не изменившаяся за минувшие двадцать лет. Она повисла на шее Саяра.

– Ой, как я соскучилась по тебе, Саяр-агай!

– Кюнхылу!..

– Я... Тандыса.

Саяр осторожно отстранил ее от себя.

– Прости... Ты очень похожа на свою тетю.

– Да, я выросла и стала похожей на нее. – Тандыса, смеясь, повела его за руку в гостиную. – Теперь уж ты не сможешь сажать меня на плечи, Саяр... – Тандыса запнулась, – ... агай.

– «Агай»! Раньше я был для тебя просто Саяром.

– Я ведь уже не ребенок, называть просто Саяром стесняюсь, добавлять «агай» тоже неловко, ты... вы... не такой уж старый.

Оба они смущенно замолчали. Тандыса, когда провожала его, заметно погрустнела, прятала глаза. Больше, собс-

твенно, ничего не произошло. Но в сердце Саяра, увидевшего в Тандысе юную Кюнхылу, вновь вспыхнуло чувство, которому он не смог воспротивиться.

Тандыса приехала на каникулы, однако не врывалась теперь в контору к Саяру с криком: «Привет царю медового царства!» И пососТязаться в верховой езде не звала. При случайной встрече у родника густо покраснела. Раньше она его не стеснялась. Совсем еще маленькой он убаюкивал ее на своих руках. Потом вместе бегали по лугу, собирали цветы. Вместе купались в Акъелге. Поссорившись с братьями, Тандыса грозила: «Вот скажу Саяру!» Предлагая поиграть, говорила ему: «Ты будешь будто бы мой жених». А он готов был стать для похожей на Кюнхылу девочки кем угодно. А теперь... не знает, что делать, как быть. Он в положении человека, мучимого жаждой и в то же время делающего вид, будто не замечает, что рядом журчит родник. Даже попытка Саяра объясниться с Тандысой в любви может быть воспринята как черная неблагодарность по отношению к Мадине Хашимовне и ее семье, сделавшей для него так много хорошего. Разницу в возрасте он и сам никогда не сможет перешагнуть. Остается ему одно: бежать! Бежать куда глаза глядят.

* * *

Долго сидел Даут, глядя на раскинувшееся зеленым ковром ржаное поле. С вершины холма оно казалось ровным, гладким. Во второй половине июня прошли грозовые дожди. Все посевы повеселели: и рожь, и пшеница, и ячмень, и овес. Не прошло даром и то, что всю зиму на поля вывозили навоз.

Три года назад ушел Даут из колхоза. Произошло это из-за того, что Саяф постоянно давил на него, дескать, колхозная земля – не полигон для экспериментов.

Москва в это время настойчиво добивалась поворота на селе к фермерским формам хозяйствования. Руководство республики вело более осторожную политику. Опасаясь, что крутой поворот может привести к разрухе и голоду, старалось сохранить колхозы, лишь переименовало их в АКХ – ассоциации крестьянских хозяйств. Но и созданию фермерских хозяйств не препятствовало. Пусть

они, прежде чем ломать все через колено, покажут, на что способны, тогда станет видней, как жить дальше.

Даут, воспользовавшись этим, отдал предпочтение фермерству. Многие охотно передали в его ведение свои земельные паи, согласились работать в основанном им фермерском хозяйстве. Даут прежде всего размножил семена созданных его отцом сортов ржи и пшеницы. Мать помогла купить для начала трактор «Беларус», импортный комбайн, грузовую машину. Теперь он может продавать хорошие семена всему району. Со своими компаньонами, убрав первый урожай, расплатился зерном. Но для покупки горючего, оплаты электроэнергии и труда наемных работников нужны живые деньги. Поэтому Даут приобрел коров, дойных кобылиц, создал цеха для производства кумысного порошка и картофельных чипсов. Мелет зерно в своем хозяйстве, печет хлеб на продажу.

Перед тем, как расстаться с колхозом и затеять все это, он посоветовался с матерью.

— Съезди за границу, посмотри, как поставлено дело у фермеров там, — сказала тогда мать.

Даут принял совет. Побывал в Германии, в Голландии. Наибольшее впечатление произвели на него хозяйства, оснащенные компьютерами. В компьютерах были сосредоточены сведения о каждом поле, даже о каждой корове. Из «командировки», оплаченной матерью, вернулся со светлыми мечтами, уверенностью в своих силах и надеждой на будущее. Сколько времени он потерял в бесплодных спорах с Саяфом, доказывая свою правоту в том или ином начинании! Теперь руки у него развязаны. Десятидневная поездка открыла ему глаза на многое. Он убедился, например, в том, что созданные его отцом сорта злаковых культур уникальны. Не только позволяют использовать технику эффективней, убирать урожай без больших потерь, но и обладают отличными хлебопекарными качествами.

Как хорошо, что в эти непростые годы Даут не отдалился от земли, от хлеборобства, остался верным древнему святому делу. Спасибо бабушке Барсынбике, это она заложила в его душу первые семена уважения к хлебу. Бывало, когда он и Абубакир ходили с ней по ягоды или собирать вишню, садились отдохнуть у кромки поля, бабушка развязывала белый узелок, давала им по ломтику хлеба и наставляла: «Ешьте, не роняя ни крошки!» —

«А почему, олэсэй? Что будет, если уроним?» – Даже самая маленькая крошка хлеба старше вас, неуважение к ней – грех», – отвечала Барсынбика. «И старше тебя?» – допытывался Даут. «Да. Хлеб старше всех живых существ, и нет на свете ничего более важного. Аллах сначала ниспослал на землю злаки, чтобы людям было чем питаться, а потом уж породил пахаря и сеятеля». – А мама говорила, что сначала возникли мелодии, что даже у каждой планеты есть своя песня», – не то чтобы возражал, а напоминал Абубакир. «Я не говорю, что не было мелодий, – отвечала бабушка. – Но для того, чтобы их слышать, надо быть сытым. Одной половине человеческой души нужен хлеб, другой – песня».

Если подумать, ничто в жизни человека не проходит бесследно. Пробудившаяся в деде Хашиме тяга к творчеству тоже повлияла на Даута. Собирая с дедом для его панно разноцветные камешки у речки, он стал смотреть на бесполезные, на первый взгляд, предметы, задаваясь вопросом: для чего это может пригодиться? Хашим не баловал Даута с Абубакиром покупными игрушками. Помогая деду, они научились делать игрушки из подручных материалов. И сколько «ракет» запустили, сколько самолетиков подняли в небо! Конструирование вырабатывало в них настойчивость, привычку к упорному труду. Может быть, поэтому и служба в армии давалась Дауту потом легко. Правда, там тяжелое ранение поставило его на стык жизни и смерти. Он на себе испытал, что переход из одного состояния в другое может произойти очень быстро, и не так уж это страшно. Умереть не трудно, гораздо трудней жить так, чтобы быть довольным своей жизнью, работой, семьей, детьми. Для этого нужно прилагать немалые усилия. Причем, успех приходит тогда, когда тратишь силы не столько ради самого себя, сколько ради других. Убедился в этом Даут на пятом десятке лет.

Он встал, неторопливо направился к своему коню. Надо сегодня вернуться домой пораньше. Тандыса приехала на каникулы, а он еще ни разу не посидел с ней, не поговорил по душам. Выросла уже его младшенькая. Скоро, глядишь, замуж выйдет. Как быстро течет жизнь!

* * *

– Олэсэй, почему меня назвали Тандысой? – спросила однажды Тандыса.

– Прадед твой предложил дать тебе это имя, – ответила Мадина. – Наверно хотел, чтобы ты была здоровой и сильной духом, как героиня легенды.

Тандыса любила прадеда. Теперь уж он сам для нее – легенда. Прожил всю жизнь, поклоняясь одной женщине, даже не ей самой, а памяти о ней!

Когда похоронили прадеда, Тандысе не исполнилось еще и пяти лет. В то время только и было разговоров, что о стройке, о каких-то переменах в жизни. У братьев свои интересы, мать постоянно занята на кухне, бабушка появляется дома редко, да и то из ее уст сыплются непонятные слова: рынок, конкуренция, инвестиции, кредит, инфляция... Тандыса чувствовала себя выпавшим из гнезда воробышком: летать еще не умеет, а должна научиться, а то кошка сожрет. Словом, сама о себе должна была заботиться. Появление в их семье Саяра спасло ее от одиночества. Тандыса вскоре привыкла к этому долговязому человеку, привязалась к нему.

– Саяр! – кричала она. – Давай поиграем!

– Давай, – отвечал Саяр. – А во что?

– В «волка и козлят». Ты будешь будто бы волк, а я коза.

Он никогда не говорил ей «нет». Она могла ездить на нем верхом или запрячь его в тележку – все ее выдумки и шалости Саяр принимал смиренно. Если, случалось, Тандыса заболеет, сидел у ее постели. Он любил смотреть ей в глаза, любил ее кудряшки – прикасался к ним осторожно, с какой-то особой нежностью. Возвращаясь из поездок, обязательно привозил ей гостинцы и подарки. Тандыса делилась с ним своими тайнами, в которые больше никого не посвящала.

Да, она росла рука к руке с Саяром. Он и школьные уроки помогал ей готовить. Поскольку ездил много, рассказывал о дальних странах, о жизни и обычаях других народов. Но однажды сквозь сон Тандыса услышала разговор матери и бабушки, касавшийся ее дружбы с Саяром.

— Просто удивительно, кайнам, до чего человек может привязаться к чужому ребенку. О Саяре Саяфовиче говорю. Вернулся из командировки и, несмотря на поздний час, занес гостинцы Тандысе.

— Да. — Послышался вздох бабушки. — Видно, нашел утешение в ней. Он, оказывается, очень любил Кюнхылу, а Тандыса на нее похожа. Я, килен, все думаю: не отправить ли внучку учиться в Петербург? Там есть кому за ней присмотреть, а ей пора выходить на широкий простор.

— Но она же еще совсем ребенок!

— Семнадцадь лет девочке, уже не дитя. Вспомни-ка, во сколько лет ты сама замуж за Даута вышла.

— В семнадцать.

— Когда твоего покойного свекра встретила, и мне было примерно столько же. А моей матери, когда я родилась, — шестнадцать.

— Ах-ах, в самом деле!.. А что Даут скажет?

— Думаю, не станет возражать. Тандыса будет жить у Кюнхылу. Девочке пора приобретать профессию. Поступит в экономический колледж, она же в математике сильна.

— А может, ей у Флориды пожить? Кюнхылу часто уезжает на гастроли.

— Что ж, может и у нее. Абубакир сам заводил разговор об этом.

— Кайнам, — в голосе матери Тандыса уловила смущение, — она ведь вот-вот взрослой станет, в возраст невесты вступит...

— И слава Аллаху! Всему приходит свое время!

Тандыса, запомнив этот разговор, не успела еще прийти к каким-либо определенным выводам, как оказалась в Санкт-Петербурге, стала студенткой экономического колледжа. Можно сказать, перемена в ее жизни произошла молниеносно. Она уехала с бабушкой в Питер, не простившись с Саяром, — тот был в отъезде. Потом, при встрече с ним в тетиной квартире, поняла, как сильно по нему соскучилась. Кинулась ему на шею и, если бы Саяр не отстранил ее, так бы и осталась навсегда в его объятии, растаяла в нем. А сейчас в Тиряклах не смеет поднять на него глаза, хотя все время ищет его взглядом. Что это? К ней пришла любовь? Не может быть!

Он же... намного старше ее! Но почему, проснувшись ночью, она шепчет его имя?

* * *

– Олэсэй, можно к тебе войти?

– Входи, входи! Бэй, Руслан, я сама собиралась подняться к тебе. – Мадина встала с дивана, шагнула навстречу внуку. – Ты все работаешь и работаешь. Не устаешь?

– Нет. Я и на отдых нахожу время. Сегодня сходили на озеро, купались, рыбу ловили.

– Тандыса ходила с вами?

– Ходила. Она, оказывается, здорово плавает! Олэсэй, вот какое дело: я пишу портрет Тандысы, хочу представить ее в национальном наряде. Так бы и назвал картину – «Девушка в национальной одежде». Тандыса такая колоритная! Потрясающий получится портрет!

– Я уже видела этот холст. Национальный наряд... найду. Но почему ты изображаешь ее влюбленной девушкой?

– Так ведь... – Во взгляде Руслана отразилось удивление. – Она на самом деле влюблена. Мне хотелось уловить именно этот момент в ее жизни. Значит, удалось!

– Но она еще дитя. Понимаешь? Дитя!

– Ей скоро будет семнадцать, олэсэй!

– Ну ладно. Над чем еще ты собираешься работать? Приготовил большой подрамник... – Мадина, ласково смотревшая на Руслана, снова про себя отметила, что он похож на мать. И подумала: «Хорошо, что я благословила этот брак, прекрасного внука мне Абубакир с Флоридой подарили!» Руслана не тянет в город, старается быть поближе к земле, к природе – это Мадине тоже по душе. Он вдумчивый парень, мыслящий...

– Я, олэсэй, задумал картину под условным названием «Батыры моей земли». Типа васнецовских «Трех богатырей».

– Неплохая задумка. Кого имеешь в виду под батырами?

– Кого? В центре – Салават. Кстати, как ты думаешь, олэсэй, почему наш народ, восставший много раз, более всех батыров возвеличил Салавата?

– Я думаю, Салавата народ выделил как ярчайшую

личность. Он, сын старшины, человека известного и богатого, переступил личные интересы ради общего счастья. Это во-первых. Во-вторых, был не только воином и вождем восставших, но и поэтом, песнетворцем. Воевал не против русских, а плечом к плечу с русскими против общих угнетателей. И, наконец, он обрел славу мученика, пожертвовавшего собой в борьбе за счастье народа. После подавления восстания Салавата возили по Башкортостану и публично истязали в назидание непокорным. Было запрещено называть его именем детей, даже упоминать это имя. Но каратели добились лишь обратного эффекта – народ назвал Салавата своим великим сыном... А чьи еще фигуры будут на картине?

– Чьи? Выбрать их так же трудно, как выбрать самый красивый цветок из этого букета. – Руслан кивнул на цветы, стоявшие в вазе на столе Мадины.

В это время дверь приоткрылась, в комнату просунула голову Нафиса:

– Кайнам, пришла какая-то старуха, просит тебя. Срочное, говорит, дело.

– Сейчас выйду. – Мадина ободряюще поворошила кудри внука. – Я нисколько не сомневаюсь, что картина у тебя получится!

* * *

Мадина, выйдя во двор, не сразу узнала пришедшую к ней старую женщину. Она стояла, опершись на клюку. Лицо опухшее, изборожденное морщинами.

– Вы... ко мне?

– К тебе. – Посетительница изобразила улыбку. – В самом деле, что ли, не узнаешь, подружка?

– Галима! – Мадина растерялась. Хотела протянуть руку, чтобы поздороваться, но видя, что Галима не шелохнулась, отказалась от своего намерения. – Здравствуй, Галима, здравствуй! Какими ветрами? Идем, присядем в тенек. – Мадина кивнула в сторону скамеечки под деревом.

– Просторный дом ты построила, – сказала Галима, умостившись на конце скамейки, не глядя на Мадину.

– Сейчас многие такие дома строят.

– А тот свой дом старикам, оказывается, отдала.

– Да, старики там живут. Выполнила наказ отца.

– М-да... Какие времена настали! Все вверх дном перевернулось, а, Мадина? Или я ошибаюсь?

Мадина промолчала. Давно уж она ни с кем не спорит. Много ярых коммунистов вроде Галимы перевидела. Одни первыми кинули свои партбилеты на стол и, как Саяф, принялись ловить рыбку в мутной воде. Другие, провозглашая верность идеям Ленина, оделись поплоше и в образе невинных жертв истории встали в оппозицию по отношению к новым властям. Галима, видимо, принадлежала ко второй группе: весь ее облик говорил об этом. Мадина взглянула на свои часики.

– Извини, через пять минут ко мне должны подъехать подрядчики. Начала строить асфальтовую дорогу на Таулы. Есть ко мне... просьбы?

– Асфальтовую дорогу? Это тебе по силам?

– Почему бы нет? Не на луну ведь.

– Вон как... А тебя Саяф намеревается скинуть.

– Скинуть? Откуда?

– Не знаю. Собирается выступить против тебя на колхозном собрании.

– Пожалуйста, пусть выступит! А с чего это ты решила предупредить меня?

– Я, Мадина, никогда врагом тебе не была! Вот... – Галима вытащила из кармана грязный носовой платок. – Смотри!

– Окурки?

– От папирос «Казбек». Я подобрала их после гибели твоего мужа у сваленной березы. «Казбек» в Тиряклах курил тогда только Саяф. Он подпилил один ствол дерева, убил Абдельахата!

Мадину сообщение не очень удивило: она догадывалась, что к аварии причастен Саяф. Но окурками, да еще спустя столько времени, ничего не докажешь. Саяф мог остановиться у сдвоенной березы, покурить и до, и после гибели Абдельахата. Да и не настолько он глуп, чтобы оставить явные улики преступления. Тем не менее Мадина заволновалась, поднялась со скамейки и снова села. Чего хочет от нее Галима, сама изжеванная временем, как окурок? Задала ей этот вопрос:

– Чего тебе от меня нужно, Галима?

Галима придвинулась поближе к ней.

– Возьми меня под свое крыло, подружка! Одинока я. Самира моя умерла. Мне некуда податься. Я побывала в твоем пансионате. Хорошо там. Тепло. Кругом цветы. Розы цветут...

Мадина непроизвольно отодвинулась от готовой упасть ей в ноги «подружки». Многое вспомнилось ей в эти мгновенья. Бабушка Барсынбика, посаженная в психушку. Буренушка, раненная ударом вил под рог. Коровы со вздутыми животами, отравленные аммиаком. Слова, сказанные Галимой у могилы Камалетдинова... Мадина никому никогда не строила козни, не мстила, вспоминая прошлое. Но видеть эту старуху с грязной душой в доме, хранящем светлую память, ей не хотелось.

– Человек, которому доставляет удовольствие аромат роз, не сеет чертополох, Галима!

– Постой! Давай поговорим, объяснимся!

– Извини, вон ко мне приехали...

* * *

У колхоза денег нет, подготовку к предстоящему сабантую взяли на себя Мадина с Даутом. Распределили обязанности. И вот там готовят коней к скачкам, тут вспенивается кумыс в кадках, поставлены на откорм бараны, зашипело масло в сковородках и казанах – хозяйки запасают чак-чак и баурхак для коллективного чаепития. Установлены призы: победителю в скачках – тай, то есть молодой конек, сильнейшему борцу – холодильник, лучшему певцу и кураисту – путевка на отдых в Анталию. Праздник продлится не один день, как прежде, а три дня. А то, наблюдая за борьбой, не успеваешь последить за скачками, предпочтешь скачки – не послушаешь певцов. Каждое из этих состязаний станет главным событием очередного дня. А наряду с ними сельсовет, по-нынешнему – администрация аула, подведет итоги конкурсов на самый красивый двор, на самую дружную семью, на самого благовоспитанного ребенка. Ну и своим чередом неспешно пройдут прочие затеи и игры. По распоряжению Мадины закупили много небольших подарков. Пусть каждый, кто

может передвигаться, на людей посмотрит и себя покажет. Никто не уйдет с праздника с пустыми руками.

Готовятся к сабантую и внуки Мадины. Заки с Салаватом выступят на скачках. Около них крутится старик Хусаин. Наставляет молодых наездников. Любит покомандовать. Неспроста в доме престарелых дали ему прозвище Курбаши. Самолично выбрал в косяке коней для ребят. По этой части он дока, не ошибается, только не знает, кому отдать предпочтение, кто победит – Салават или Заки. Оба молодцы. Если обращается за советом кто-либо еще, старик важничает:

– Псем нужен Хусаин!

Урал собирается выйти на борцовский круг. Накачивает мышцы двухпудовой гирей, выжимает штангу. Только Тандыса помалкивает, не выдает своих намерений. Помогает матери высаживать цветы вокруг дома. То загадочно улыбается, то грустит. Да, заневестилась внучка Мадины.

Мадина послала телеграммы дочерям и Абубакиру, пригласила с семьями на сабантуй. Может быть, приедут. Нет уверенности лишь насчет Кукхылу. Она давно живет в Италии. Ее Альбина пошла маминой дорогой, учится на певицу. Муж – музыкант. Малика живет в Петербурге у Флориды с Абубакиром. Наверно, приедет, по Руслану скучает – первый ведь ее внук. Если приедет, не наговорятся они с Мадиной, много у них общих воспоминаний, немало было связанных друг с другом переживаний.

Праздник, рассчитанный на три дня, – дело не шуточное. Хотя приходится заниматься и строительством дороги, и за работой цехов следить, в мыслях Мадины сейчас прежде всего сабантуй. Решила она еще устроить в завершение праздника фейерверк в честь победителей. В течение пятнадцати минут ночное небо будет озаряться разноцветными огнями. Это нужно прежде всего для воодушевления молодежи: если вселится в молодые сердца дух победы, то уж не покинет их, будет все время звать вперед к высоким целям.

* * *

Внезапно появившись в Тиряклах, Галима к удивлению Саяфа так же внезапно и исчезла. Впрочем, чего еще можно ждать от подобных женщин? Ненадежны они. Потому и не уважает Саяф Галиму. Если б уважал, после смерти жены сделал бы предложение ей. Но он предпочел другую, решив, что молодую жену можно гнуть, как ивовый прут, в любую сторону, куда захочешь. Так-то оно так, новая избранница его что велишь, то и делает, но дельного совета от нее не получишь. Попытаешься посоветоваться, слышишь один и тот же ответ: «Сам лучше меня знаешь». А Саяф больше не знает, чем знает. За советом к соседям то и дело бегать не будешь, нужна советчица рядом. А ее нет. Скоро Саяфу надо идти на собрание, а чувствует он себя генералом без армии. Или, если хотите, королем без свиты. Одинок Саяф. Галима, приехав в Тиряклы, даже не заглянула к нему. Крысы, говорят, первыми бегут с тонущего корабля. Стало быть, тонет его корабль, именуемый колхозом «Алга».

В ту пору, когда хлопнул партбилетом об стол, Саяф еще верил в будущее колхоза. Но, по всей видимости, колхозы и совхозы, с которыми были связаны надежды не тысяч даже, а миллионов людей, обречены, уйдут в небытие. И Саяф, поскольку ему не на кого опереться на собрании, не сможет высказать и половину того, что приготовил для разоблачения Мадины с Даутом. Вдобавок ко всему завтра – сабантуй. Подготовку к нему возглавила Мадина, взяла расходы на себя. Мадина тут, Мадина там. Взялась строить асфальтированную дорогу в Таулы. Колхоз маялся из-за плохих дорог, построить хорошую было ему не по силам. А Мадина взялась. Вряд ли ее фирме удастся довести дело до успешного завершения без финансовой поддержки со стороны районного и даже республиканского руководства. Но колхозники явно настроены в ее пользу. Придется похвалить ее начинание. Иначе народ отвернется не только от него, Саяфа, но и от Нагима.

Да, крепким орешком оказалась Мадина для Саяфа. Сколько ни старался, разгрызть не смог. Может быть, в

самом деле сработали в ней гены тарханов, доставшиеся от деда и бабки Барсынбики. Наследственность — не пустое слово. Возвращались в родные края дети сосланных в Сибирь во время коллективизации крепких крестьян, и все они, люди цепкие, жили отнюдь не бедно. Становой хребет страны исстари был крепок благодаря крестьянам-середнякам, они составляли самую умную и работящую часть крестьянства. Их деловая хватка передавалась от поколения к поколению. То же самое можно сказать и о потомстве тарханов.

Не раз думал об этом Саяф. Ихсанбай, хоть и мерзавец, сильным был человеком. Коров заставлял запрягать, но не оставалось на территории его сельсовета ни клочка невспаханной и не засеянной земли. И с голоду тиряклинцы во время войны не перемерли. Приходит к Саяфу понимание причин своего поражения, да поздновато. Если б в свое время не влюбился он в Мадину без ума и не был выставлен из ее дома с позором, поменьше ошибался бы и не дал чувству униженности взять верх над остальными чувствами...

* * *

Возбужденные подготовкой к сабантую, тиряклинцы стекались в клуб на колхозное собрание дружно, в приподнятом, праздничном настроении. Пришли и Мадина с Даутом, хотя Саяф их, конечно, не приглашал. Многие из бывших колхозников, работавшие у них, тоже пришли, одну ведь с членами колхоза воду пьют, едят хлеб, выращенный на одной и той же земле. Собравшиеся, кажется, ожидали, что Мадину, севшую в задний ряд, Саяф пригласит в президиум, но он сделал вид, что не заметил ее.

Как обычно, открыл собрание и выступил с отчетным докладом председатель колхоза, то есть Саяф Шамсутдинов. Перечислил, сколько пшеницы, ржи, ячменя, гороха нынче посеяли. Отметил, что из-за убыточности молочной фермы колхоз теперь содержит крупный рогатый скот лишь для продажи на мясо, но причины уменьшения поголовья с прежних трех тысяч до шестисот не про-

анализировал. Тем не менее колхозники слушали доклад, застыв как статуи. «Порядок прежний, сидят в позах не хозяев, а рабов», – подумала Мадина. А Саяф в это время, делая вид, будто не может сдержать волнение, продолжал:

– Товарищи, ни для кого не секрет, наше коллективное хозяйство не в состоянии сейчас добиться прежних показателей, утонуло в долгах перед государством. Ударили по нему резкие перемены в жизни страны. В границах колхоза были созданы фирма «Мадина» и фермерское хозяйство. Часть колхозников перешла туда, силы распылились. От нас отделились не просто люди сами по себе, они передали в другие руки и свои земельные паи. Таким образом на колхозной земле возникли своего рода удельные княжества. Высокой для видимости зарплатой они стараются переманить на свою сторону лучшую, самую работящую часть колхозников. Подрываются фундамент, на котором строилось и держалось наше общее благополучие, вера в колхоз и человеческая совесть. В этом деле особо отличились Мадина Ирназарова и ее сын Дауд. Ирназарова не постыдилась даже у меня, человека, отдавшего этому колхозу более полувека жизни, отнять сына, Саяра, заманила его к себе большой зарплатой и превратила в своего холопа. Товарищи, не теряйте бдительности! Прежде чем сделать какой-либо шаг, думайте о последствиях. Нас вырастил, поставил на ноги колхоз – не плюйте в колодец, из которого пили воду! Да, сегодня нам трудно. Это испытание мы можем пройти лишь при условии, что будем сплочены и едины. Сколь бы сильны не были наши недоброжелатели, есть у нас здравомыслящие люди. Есть у меня смена – мой старший сын Нагим. Я вижу в нем человека, способного повести колхоз дальше. По присловью, глядя на отца, и сын выстругивает стрелы. Нагим не запятнает ни мою честь, ни светлую память о своем деде – красном партизане Сайфулле. Не предавайте колхоз, не изменяйте своей совести, потянувшись, как несмышленые дети, к сладкой кашке и красивым игрушкам, вот мое пожелание и завет вам! Сегодня перед всеми вами я отрекаюсь от Саяра, отныне он мне не сын!

Саяф закончил свое выступление в полной тишине, не последовало обычных в конце доклада аплодисментов.

Слушатели как сидели застыв, так и остались сидеть. Праздничное настроение пропало. Не было в этом вины народа – его в течение семидесяти лет, нет, столетий, приучали к рабской покорности. Этих людей заставляли работать без зарплаты, за «палочки», начисляя так называемые трудодни, а они молчали. Но нельзя же вечно молчать!

Мадина встала. Не попросив слова, прошла вперед, поднялась на сцену. Саяф раскрыл было рот, чтобы сказать что-то, но сидевший рядом представитель районной администрации остановил его.

– Пусть выступит. Пожалуйста, Мадина Хашимовна!

– Уважаемые односельчане! – начала она. – Когда-то, в далекие времена, все люди на земле были свободны и сильны, как боги, ибо Аллах создал их по своему образу и подобию. За истекшие тысячелетия люди по разным причинам деградировали, лишь немногим Всевышний открыл свое лицо, продиктовал свои заповеди – мы называем их пророками. Однако время все меняет. Сейчас мы подходим к пониманию того, что каждый может стать и свободным, и сильным, и богатым. В пору, когда мир стремительно преображается, достигнув огромных успехов в экономике, образовании, культуре, мы не вправе оставаться в сторонке, сунув головы, как страус, в песок. Да, я сейчас руковожу двумя десятками небольших пока производств и цехов. Но изготовленные на них изделия народных художественных промыслов уже украшают изысканные интерьеры офисов во многих странах. Мы работаем и одновременно учимся жить по-новому. Давно ли мы продавали лес в Финляндию и в семнадцать раз дороже покупали его же после обработки? Теперь научились с большей выгодой использовать свое богатство у себя. Фирма «Мадина» только из продукции пчеловодства производит и продает более пятидесяти видов косметических и лекарственных средств, биологических добавок. На моих производствах работают прекрасно подготовленные специалисты. Они успешные люди, в их числе немало и тиряклинцев. Вы слышали от них жалобы на свою жизнь? Сотканные в Тиряклах ковры, свалянные здесь валенки и выделанные шкуры пользуются широким спросом, обрели славу товаров высокого качества. Наш ку-

мысный порошок используют за рубежом для ингаляции при лечении больных. Пора нам знать себе цену, товарищи!

Если я принимаю людей в штат разборчиво, не раздувая его, значит следую закону, одинаково выгодному как для социалистического, так и капиталистического устройства экономики. Когда признанный лучшим менеджером США глава корпорации «Дженерал электрик» Джек Уилч оставил при себе из шестнадцати управленцев лишь двоих и разогнал в корпорации более двухсот бюрократов, вся Америка ахнула. Но после этого «Дженерал электрик», вздохнув свободно, круто пошел в гору. На мой взгляд, Саяф Сайфуллович готовился к докладу тщательно, однако он не сумел раскрыть все причины возникших в колхозе трудностей. Подумайте сами: работу, с которой в свое время мы, шестьдесят специалистов и должностных лиц колхоза, едва справлялись, Даут сейчас выполняет с восемью помощниками. Большая часть функций экономиста, агронома, зоотехника, бухгалтера, учетчика переложена на компьютер. А в колхозе ничего в этом отношении не изменилось. Как были непомерно раздутые штаты, так и остались. Вторая причина неурядиц — воровство. Скоро в колхозе и воровать-то будет нечего. Если вы попросите Саяфа Сайфулловича представить отчет за каждую голову пропавшего в последние годы скота, отчета не получите. Да никто и не попросит — все запачканы одной грязью.

Что касается меня... Я сегодня строю планы на будущее, мечтаю о многом. Хочу сделать для родного аула больше того, что сделала. Начала строить асфальтированную дорогу на Таулы. Надо быть идиотом, чтобы тратить четыре часа на поездку вместо получаса по хорошей дороге. Я заасфальтировала улицы аула, меньше стало пыли, солнце светит в наши окна через чистые, незапыленные стекла. Построила мечеть. Внесла свой вклад в газификацию Тиряклов, в строительство водопровода. Утвердила проекты спорткомплекса и Дома культуры. Я не против существования колхоза. Каждый выбирает сам, какому богу поклоняться, каким путем идти. Лишь бы этот путь вел к обеспеченной жизни, к красоте и счастью.

Дорогие односельчане! Приглашаю всех вас на сабантуй. Он начнется завтра и продлится три дня. Давайте попразднуем все вместе, откроем друг другу сердца, повеселимся, поговорим, посоветуемся. Люди жили до нас, будут жить и после нас. Наша задача – красиво и с пользой прожить отпущенный нам срок. Спасибо вам всем за то, что внимательно выслушали меня! Теперь разрешите мне с Даутом покинуть собрание. Вот-вот начнут прибывать гости, мы должны их встречать... Да, извините, чуть не забыла сказать... – Мадина обернулась к столу президиума. – Вы, Саяф Сайфуллович, отреклись от Саяра. Я принимаю его в свою семью – выдаю за него замуж внучку Тандысу, он станет моим зятем!

Участники собрания, сидевшие до этого тихо, зааплодировали. Даут поспешил навстречу матери, спускавшейся со сцены, подал ей руку, чтобы помочь. Затем взял ее под руку. Так, рядышком, они вышли из клуба.

* * *

– Олэсэй!

Склонившаяся над сундуком Мадина, услышав прерывающийся от счастья голос, выпрямилась. Тандыса кинулась ей на шею, принялась осыпать ее лицо поцелуями.

– Хай, девочка моя! – сказала Мадина, слабо сопротивляясь порыву внучки. – Из-за того, что помалкивала, чуть ведь не потеряла ты хорошего егета, Саяр уже собрался бросить тут все и уйти куда глаза глядят.

– Спасибо тебе, олэсэй! Сегодня Саяр сам подошел ко мне. Сказал, что согласен отправиться со мной хоть на край света... Я думала, папа на меня рассердится, скажет, молода еще...

– Папа твой Саяра уважает. И потом, когда ты уехала в Питер, он очень за тебя беспокоился. А Саяра мы хорошо знаем. У нас с твоим дедушкой разница в возрасте была двадцать лет. Но мы жили хорошо, в любви. Видно, нашему роду выпало такое счастье. Говорят, первую дверь в семейную жизнь открывают ангелы. Будь счастлива, детка!

– Олэсэй, я решила спеть на сабантуе.

– Ты? Спеть?

— Да. Может, путевка в Анталию достанется мне? Если получу я, отпустишь Саяра со мной?

— Отпущу... Пусть бы это стало вашим свадебным путешествием. Но... чтобы идти в ЗАГС, тебе еще одного года не хватает.

— Зато чувств у меня — до небес!

— Ах, детка!.. — Мадина вытерла навернувшиеся на глаза слезы. — Я вот как раз собиралась показать тебе свадебный наряд...

— Платье, камзол, красные сапожки, нагрудник, накосники... Какая красивая одежда!

— Ну-ка, оденься в нее. Это наша семейная реликвия. Она досталась от твоей прапрабабушки Барсынбики моей маме, твоей прабабушке Кукхылу-Гульбану. Мама однажды сходила в этом наряде на сабантуй, но не суждено ей было попасть в нем в объятия жениха. Такие были времена, заблудилось их счастье. Потом надела его я. Дедушка твой, Абдельахат, впервые увидел меня в этом наряде. И на свадьбе в нем я сидела. Дедушка твой говорил, что на каждой монетке наряда написал взглядом слово «люблю». С тех пор все это лежало в сундуке. Платье сшито из чистого китайского шелка, монеты — серебряные. А сапожки какие! Где только я не побывала, но обувь, сшитую из кожи такого качества, не видела.

— Ай, олэсэй! Саяр, наверно, меня в этом наряде и не узнает!

— Он зашел ко мне, долго мы с ним разговаривали. «Я, Мадина Хашимовна, наверно, не достоин такого подарка, — сказал он, имея ввиду тебя. — Тандыса — звезда, а я всего лишь камешек на земле».

— А ты что сказала?

— Я сказала: и на земле есть камешки, которые сияют не хуже звезд, когда их освещает солнце. А любовь — это солнце.

— Олэсэй, ты — умница!

— А ты... Господи! — воскликнула Мадина, глядя на переодевшуюся внучку. — Ты просто райская гурия, Тандыса!

— И тебе, олэсэй, эта одежда была как раз?

Мадина опять прослезилась. О время! Как ты быстротечно! Ни догнать тебя, ни остановить невозможно. Только здесь и сейчас может быть счастлив человек. А прошлое и будущее ему не подвластно!..

* * *

Хотя Кукхылу и Кюнхылу с семьями не смогли приехать, гостей на сабантуй прибыло много. Приехали Абубакир с Флоридой и Малика. Мадина распорядилась поставить у праздничного майдана две юрты для них.

Несколько юрт поставили окрестные фермеры и одну – сменивший отца на посту председателя колхоза Нагим. Мадина же устроила под открытым небом выставку картин Руслана. До начала сабантуя народ кишел возле них. Знакомые пейзажи, перенесенные на холст, портреты людей, с которыми живешь бок о бок, производили неизгладимое впечатление. Люди смотрели на свою землю и на себя как бы со стороны, сквозь призму искусства и поражались: их обыденная жизнь под кистью художника обрела потрясающую красоту и величавость.

Толпа пестрела яркими нарядами, все постарались одеться как можно лучше. Мадина заранее через газеты обратилась к борцам, певцам, кураистам с приглашением на праздник. Откликнулись на приглашение даже некоторые жители соседних с республикой областей.

Мадина поискала глазами Тандысу. Ага, вон она стоит с Саяром. Держатся за руки. Лицо Саяра сияет, будто сто солнц светят изнутри. Как же велика ты, божественная сила любви! Даже беднягу превращаешь в батыра, а батыра возвышаешь до уровня богов. И Тандыса сегодня не простая смертная, она – звезда, утренняя звезда, которой люди дали имя богини Венеры...

Сабантуй начнется через несколько минут. Об этом по договоренности с музыкантами возвестят фанфары. Затем Мадина запоет величественную песню «Урал». Она стоит у микрофона в белом шелковом платье и накинутом поверх него, расшитом золотом еляне. Рядом с ней выстроились двадцать кураистов. Ветерок треплет ее посеребренные волосы, словно спрашивает о чем-то, Мадина изредка размыкает губы, как бы отвечает ему. Можно вообразить, что между ними идет такой разговор:

– Где росла ты, красавица?

– На Урале.

– Урал огромен. Как называется твой родной край?

– Башкортостан.

– Для чего ты пришла в этот мир?
– Чтобы славить.
– Кого, что славить?
– Мою землю, мое небо, мой народ.
– Откуда черпаешь силы?
– Из любви.

Но вот прозвенели фанфары. Гудевший, как пчелиный рой, народ притих. Полилась мелодия курая, и Мадина запела донесшуюся из глубины веков и ставшую гимном ее народа песню...

Москва – Учалы – Сибай – Уфа.
1992–2004

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

Сплетение судеб 5

Часть вторая

Надежда рядышком с печалью 145

Часть третья

Отчего соловушке не поется 226

Часть четвертая

Звезды ночью горят 400

Часть пятая

Время крутых перемен 540

Эпилог 633

Литературно-художественное издание

ГАРИПОВА Тансулпан Хизбулловна

БУРЕНУШКА

Роман-эпопея

Редактор *Н. С. Ахмадиева*
Художник и художественный редактор *А. Р. Мухтаруллин*
Технический редактор *З. Г. Чингизова*
Корректоры *Р. А. Бондаренко, А. Р. Галимова, Г. Н. Мухаметьянова*

Подписано в печать 03.08.09. Формат 84 x 108 1/32. Бумага газетная. Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Усл. печ. л. 36,5. Усл. кр.-отт. 36,92. Уч.-изд. л. 32,33. Тираж 3000 экз. Заказ № 1.0083.09.

Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой.
450001, Уфа, ул. Левченко, 4а.

Отпечатано с предоставленных файлов.

Государственное унитарное предприятие
Республики Башкортостан «Уфимский полиграфкомбинат».
450001, Уфа, пр. Октября, 2.

Издательство
"КИТАП"
имени
Зайнаб
Биишевой

Буренушка.Гарипова Т.Х.(на рус.яз.)
9 785295 046278
Цена: 100,00 RUR за шт